СОДЕРЖАНИЕ

Полифония

Дмитрий Бураго
КОСАРИ 7

Алексей Зарахович
КУПЕЛЬ 14

Розмова Д. Бураго з Д. Стусом
РОБИ, ЩО МАЄШ, І ХАЙ БУДЕ ЯК БУДЕ... 18

Игорь Лапинский
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОДИНОЧЕСТВА НЕ БЫВАЕТ... 25

ПАЦАНЫ ИГРАЮТ В ШТА́НДЕР (ГЛАВА ИЗ РОМАНА «ЗАМОК РИЧАРДА ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ») 30

Александр Чернов
СЛЕПОЙ ДОЖДЬ 35

Борис Руденко
ПРИХОВАНИЙ ПОДИХ 44

Владимир Каденко
ТРЕДИАКОВСКИЙ ИДЕТ В ПАРИЖ 48

Александр Кабанов
НЕ ХРАПИ, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ... 56

Наталя Бельченко
ВІДПУСКАТИ НА ВОЛЮ МАГНІТИ... 61

Семен Абрамович
АНТІОХІЙСЬКИЙ ТРИПТИХ (РОМАН) 68

Ирина Евса
ПЕРЕВОДЯ С КИТАЙСКОГО 106

Сергей Соловьев
ЦАРСТВО 115

Еліна Свенцицька
З ЦИКЛУ «ДОНЕЦЬК-2014» 126

З ЦИКЛУ «ВІРШІ НА МАЙДАНІ» 131

Андрей Поляков
ТЕМНЫЕ ПОЛЯ 135

Маріанна Кіяновська
НАПИСИ ПЕРЕД ВІЙНОЮ 141

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ 2014–2016

Главный редактор:
Дмитрий Бураго

Редакционный совет выпуска:
Наталья Бельченко
Сергей Главацкий
Ирина Евса
Алексей Зарахович
Марианна Кияновская
Игорь Лапинский
Владимир Пучков
Дмитрий Стус
Елена Шелкова

Издательский дом Дмитрия Бураго
Свидетельство о внесении в Государственный реестр
Серия ДК № 2212 от 13.06.2005 г.
тел.: (044) 227-38-28, 227-38-86;
e-mail: info@burago.com.ua
www.burago.com.ua
Адрес для переписки:
04080, г. Киев-80, а/я 41

Подписано в печать: 15.02.2016.
Формат: 70x100/16.
Гарнитура Franklin Gothic Book.
Уч.-изд. л. 41,54.
Усл.-печ. л. 51,93.
Заказ №1505

Оксана Луцишина
ВІРШІ ФЕЛІЦИТИ 149

Владимир Пучков
КАМУФЛЯЖНАЯ ОСЕНЬ 156

Тина Арсеньева
КОНЧАКОВНА 164
ДУЛЬСИНЕЯ 168

Анна Стреминская
ОБЛАКА ГОВОРЯТ НА САНСКРИТЕ... 173

Сергей Шаталов
ИЗ ЦИКЛА «КОДИРОВЩИК ДЕРЕВЬЕВ И...» 178
ДОМ ПУШКИНА НА БУЛЬВАРЕ ПУШКИНА 182
НА СМЕРТЬ СМОТРИТЕЛЯ РАДУГИ 184
КАРНА 187

Станислав Минаков
КОГДА ПРОСТРАНСТВО ОПОЛЧИТСЯ... 190

Анна Ревякина
ГОРОД ДО 197

Григорий Брайнин
ПЬЮТ ТЕМНОЕ ВИНО ДВА СТАРЫХ КАРАИМА... 203

Олена Степаненко
ТИХИМ ВІТРОМ СЛЬОЗИ НЕ ВИП'ЮТЬ... 211

Ольга Ильницкая
В СВЕТЕ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ 219

Александр Самарцев
ВДОЛЬ ТЕХ БЕЗДОННЫХ ЛЕТ 227

Семен Абрамович
СЛЫШИШЬ – ВРЕМЯ ШУРШИТ ПО ПЕСКУ ИСПЕЩРЁННОЙ ЗМЕЁЙ... 237

Олесь Ільченко
ЗБИРАЧІ ТУМАНІВ. МАНДРІВКИ В ПРОСТОРІ Й ЧАСІ 239

Ирина Карпинос
НАМ ВЫПАЛО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ЖИТЬ... 255

Карен Джангиров
ТЕКСТЫ 260

Людмила Коструб
ОКЕАН, ИСПАРЯЮЩИЙ ПТИЦ 266

Андрей Грязов
ФЕВРАЛЬ НЕ СТОРОЖ ФЕВРАЛЮ... 271

Константин Ильницкий
СВИДЕТЕЛЬ ПОТРЯСЕННЫЙ 276

Владимир Гутковский
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 281

Александр Шишкин
ВСЕ НАРАСТЕТ 290

Ігор Бєлов
ОСТАННЄ ТАНГО У ВАРШАВІ
(**ПЕРЕКЛАД З РОСІЙСЬКОЇ ЛАРИСИ АНДРІЄВСЬКОЇ)** 293

Елена Шелкова
ПОБЕГ АРБУЗОВ 299
НЕ ЖИЗНЬ, А СКАЗКА 306

Евгения Баранова
И ЧУВСТВО РОДИНЫ САДНИТ... 310

Роман Скиба
ТИ ЗНОВ, ШЕВЧЕНКУ, ЗОСТАЄШСЯ САМ... ... 316

Владислава Ильинская
МЕЖ БЕСКОНЕЧНЫХ ТАВТОЛОГИЙ... 322

Анна Щербакова
А ЗА ОКНОМ ЗВЕНЕЛ ФЕВРАЛЬ 330
ДВЕРЬ 333

Владимир Верлока
ГОРОД ЗНАЕТ ТЕБЯ НАИЗУСТЬ 337

Сергей Главацкий
ПОПЫТКА СВЯЗИ 341

Олег Духовный
ГРАФФИТИ 349

Лариса Наказна
ДРУЗЬЯ УСТАЛИ БЫТЬ ДРУЗЬЯМИ... 351

Сергей Нуштаев
ИЗ ЦИКЛА «АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 353

Лила Перегуда
ВРЕМЯ КАМНЕЙ 356

Игорь Касьяненко
Я В ПАРКЕ ВЕСНОЙ ПОДРУЖИЛСЯ С БЕРЁЗОЙ... 359

Валерій Марченко
НЕ ЗБОЖЕВОЛІТИ Б МЕНІ... 363

Марек Гласко
Я РОЗПОВІМ ВАМ ПРО ЕСТЕР 368
СОЛДАТ (ПЕРЕКЛАД З ПОЛЬСЬКОЇ ЛАРИСИ АНДРІЄВСЬКОЇ) 381
Ганна Яновська
ПІСНЯ БІЛОГО МОРЖА.....384
Римма Табунщикова
Я НА ТОНКОЙ СТРУНЕ........389
Любов Якимчук
СТАЛЕВІ ПРИБОРИ 393
Александра Шалина
Я НЕ ЗНАЮ, ЗАЧЕМ МНЕ ПАМЯТЬ... 397
Татьяна Аинова
ПАМЯТИ ЭПОХИ РЫБ 401
Вячеслав Рассыпаев
НЕ РАСТУТ РУБИНЫ НА КУСТЕ........407
Леонид Борозенцев
ОБРАЩАЙСЯ К ЙЦУКЕН В ПРИВАТ 414
Анна Грувер
ЗОВИ ЖЕ МЕНЯ, ЗОВИ........418
Ася Фруман
ВОСЛЕД ЧЕРЕПАХЕ-ТЕЛЕСНОСТИ МЧИТСЯ СЛОВЕСНОСТЬ.....421
Майя Студзинская
РАССКАЗЫ 424

Время метафор и метаморфоз

Юрий Проскуряков
О ПОЭТАХ – АДЕПТАХ ТРАГИЧЕСКОГО 70-Х ...431
Сергей Соловьев
МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И ЗАПИСЬЮ.....446
Андрей Беличенко
САМВАТАС И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ.....458

Душа у малых рек перенимает опыт...

Анатолий Лемыш 462
Василь Махно 463
Ольга Самолевская.....464
Валерія Богуславська 464
Андрей Грязов.....465

Вікторія Осташ 466
Ирина Иванченко 466
Поліна Овраменко 467
Андрей Беличенко 468
Олаф Клеменсен 469
Мария Луценко 470
С. Квірел 472

Наше наследие

Владимир Пучков
ПАМЯТИ ПОЭТА (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЭМИЛЯ ЯНВАРЕВА) 473

Эмиль Январев
СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ 476

Рафаэль Левчин
МЕТАРЕАЛИСТЫ И ДРУГИЕ 486

Аркадий Драгомощенко
СУММА ОПИСАНИЙ 563

Юрий Зморович
ЧЕЛОВЕК ВЫЖИВАЮЩИЙ, ИЛИ ИКРА ПО ПОВОДУ «ПИСЕМ СУМАСШЕДШЕГО» НЕКОГО КИЕВЛЯНИНА ВАЛЕРИЯ ВОФСИ 577

Валерий Вофси
ОТРЫВОК ИЗ ЭПИСТОЛЯРНОГО РОМАНА «ПИСЬМА СУМАСШЕДШЕГО» (ПИСЬМА №100 – 110) 580

Реквием

Алексей Никитин
АБХАЗСКИЙ АКЦЕНТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ПАМЯТИ ЭТЕРИ БАСАРИИ (1949–2013) 589

Наталья Бельченко
И МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК НА ФОТО ОДИН ИЗБЕЖАЛ ПУСТОТЫ... ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИНА (1939-2016) ... 591

ОБ АВТОРАХ 594

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ДМИТРИЯ БУРАГО. ИЗДАНИЯ, ВЫШЕДШИЕ В 2014-2015 ГОДАХ 606

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Все мы вышли из сказок, рассказанных мамой и бабушкой, прочитанных в книгах, пришедших к нам из темени времен. В детстве хорошие и плохие герои имели четкие имена и лица. Мы взрослели – и границы между добром и злом размывались, сюжеты запутывались, вопросов становилось больше, чем ответов. Вымысел то окутывал, то оголял реальность. Под пристальным взглядом оказывалось, что правда имеет размытые очертания и вызывает сомнения, а ложь – не такая уже страшная и обидная и все больше напоминает игры разума в безумие. Не успев вылупиться из модернизма, мы запутались в многозначных и многообразных «пост-измах». Всемогущий принцип новизны в искусстве, оставив позади идейные и религиозные ориентиры, превратил средства в смыслы, а последние обмельчали до того, что и самому автору порой неведомы. Судьба произведений искусств изобразительного ряда, оказавшись на рекламно-галерейном конвейере, зависит больше от успешного менеджмента, чем от таланта их создателей. А что же изящная словесность? Невостребованная прагматичным рынком и оторванная от массового читателя, она продолжила свое существование в современном самиздате и интернете. Среди множества авторов «словотерапийного и самолюбовательного» жанров таланты встречаются по-прежнему редко, и современникам не всегда удается их услышать. В беспокойно меняющемся мире, по большому счету, ничего нового не происходит. Рассуждая таким образом, мы все же продолжаем литературно-художественное издание «Соты», прислушиваясь к писателям, чье творчество обладает свойствами увеличительного стекла. В нынешнем коловороте событий нам кажется особенно важным продолжать собирать, а не разбрасывать камни, о чем свидетельствует самый объемный раздел издания – «Полифония».

«Соты» выходят с 1998 года, объединяя тексты авторов из разных уголков Украины. В настоящем издании мы публикуем материалы, поступившие в редакцию с начала 2014 года.

КОСАРИ

Дмитрий БУРАГО

ЦУНАМИ

Если тень океана, величие дна
в потаенном значении, в скрытом числе,
как иголка в яйце,
как Эдипа жена,
как империя,
как драгоценные угли в золе
бухенвальдских печей,
как замедленный взлет тополей

перед первым ударом в картонные сны «близнецов»,
перед школой, взведенной на дикий алтарь самозванства,
перед страхом майдана в размерной тоске катастроф
на широком экране, в ликующем шоу аванса.

Перед тем, как меняя мечту на кредитный билет
в электронную пропасть, в эфир календарного блага,
наливается тень, созревает глубинная брага,
чуть заметным волненьем расшатывая парапет.

То рождается штиль. То безветрие сводит с ума.
То стоит карусель на вершине державного взлета.
То уходит в шумерский песок молодая пехота.
То на дне океана очнулись глухие грома.

2005

* * *

Откорчемничала осень – полный срок,
Из обмерзлых пихт и сосен – лют острог.
Жалость заживо сжимает – жилы рвет.
Рвам утробы не хватает – тел не счет.

Где ты, тело Мандельштама? Клюев где?
Где поруганного храма встать звезде?
Где бессилие в зачете перед злом?
– В окончательном расчете с языком.

2006

ПОПУГАЙ СОКРАТ

Ты кого зовешь из клети, попугай Сократ,
в ожереловом рассвете, окликая сад?
Окликая каждый шорох, из какого сна
ты орешь на этот город прямо из окна?

Коммунальный небожитель, из бетонных крон,
что ты, дерзостный, накличешь на татарский склон!
Из просроченного быта, из чужих судеб
возвращение избыто, крик нелеп.

Попугай, зеленый витязь, охлади свой пыл!
Заоконный повелитель был да сплыл.
Все тебе не тот Вертинский и не тот Флобер,
Как на старом фотоснимке все «jamais».

Вот и крик с холмов уходит, где-то с вороньем
он пугливым писком тонет над тугим Днепром.
Стынет берег, и не лодки – водяная зыбь.
Что, Сократ, теперь без водки не доплыть?

Выпьешь гордую цикуту и в полет
через грозами проросший небосвод.
И оттуда, из немыслимых глубин
я услышу, что тебе не господин,

что на птичьем остроклювом языке
ты в полет меня покличешь налегке.

2008

* * *

Выбираю слова, как линей из омута.
Отпусти, кириллица, в песнь и пляс!
На веригах будет печать погнута.
Из сети таращится рыбий глаз.

Выбираю буки, а где-то ижица,
как причастие на груди.
Не буди раскаяние, кормилица,
плеском-хохотом окати!

Горечь страстную в речку сцеживай,
эй, Медведица, подмигни!
Как там млечные лета стелются?
А у нас – прогорают дни.

А у нас, что ни смерть – то праздник!
А у нас, что ни праздник – смерть!
Муж твой – месяц, лукавый странник,
оголяет степную твердь.

И не страшно гулять с ветрами.
И не боязно пропадать.
В долгой речи сплетясь корнями –
одиночество коротать.

От того ли кочуют песни,
когда воля, как водка всклень!
Русь раскосая! Русь небесная!
Перелетная Лада-тень.

2008

БАБИЙ ЯР

Книжный шкаф – широкоплечий сторож
силлабо-тонических эпох.
Вьючный стол несет печатный ворох
через бытовой переполох.

За окном подольская шумиха,
словно не утешилась орда.
Торг и смута пробуждают лихо,
отворяя настеж ворота.

От набегов щурятся трамваи,
перестукивая стыки лет.
Со дворов летят собачьи лаи
всему движущемуся во след.

И почти спокойными часами
через все пространство над Днепром
сны евреев ходят косяками,
преодолевая окоем.

То они ощупывают город,
долгим снегом обводя холмы.
Княжий град рассечен и расколот
и бубнят троллейбусы псалмы,

и в метро уходят пешеходы,
не осознавая, что следят
за тоннелем потайные воды
из подполья временных оград.

То они по куполам, по скверам,
как ладонью по чертам лица
причитают имена и веры
от окраин до краев Сырца,

до преображенья Киев-града
в белый орден на плече Днепра.
Город-витязь в склоне снегопада
снится на платформе Мориа*.

Над пустыней, там, где солнце ближе
тот же снег идет в Ершалаим.
Книжный шкаф из всех зело и ижиц
напряжен и внешне недвижим.

2008

колокол

Начинается город с верлибра, начинается Киев с дождя.
И еще Оболонь не охрипла, и Подол не молчит, уходя.
Начинается город со звука, начинается осень с нуля.
Что по Павловской метит разлука? Что молчат с высоты тополя?

Что на дальних баянах-заборах ветер в пестрой накидке садов
начинает из скрипа и сора выводить в первый ряд голосов?
Из пугливого ропота листьев, из нестройных порядков жилищ
бьются ставни, и выхода ищет сквозняков потайной пересвист.

Перевертыш, Простыш, тише будешь, если дальше и дольше бежать
из соседнего детства Иуды в молчаливую ложь-благодать.
Но взлетают шумы мостовые, собирая обратно круги,
где базары гудят разбитные, вознося над собой пироги,

где трамвайные альты и скрипки, контрабасы бетонных цехов,
где гудят изложений ошибки и скребутся обрывки стихов.
И круги, замыкая все уже, все настойчивей слух теребя,
под прохожими шлепают лужи из каштанового октября.

Даже те, что почти не речивы, что вообще не способны на звук,
полушепотом, речитативом возвращаются из разлук,
моросят из обид, обещаний, изо всех недосказанных зол.
Ах, как лают дворняги-мещане, сторожа от молчанья Подол!

И затягивая пояс туже, собирая звук в скорлупу,
Лаврский колокол голову кружит разгулявшемуся Днепру.

2010

* Мориа (гора) – упоминаемая в Библии (Бытие, глава 22) горная местность, назначенная Богом Аврааму для принесения его сына Исаака в жертву. Традиционно ассоциируется с Храмовой горой в Иерусалиме.

КОСАРИ

Я следил за экраном во время дождя –
дождь косился на окна.
Нас сводила на осень не ночь, а вражда,
разложив на волокна.

Рассекая на брызги гортани высот,
расплетая разлуки,
дождь выщипывал из пешеходных пустот
босоногие звуки.

Карандашные трели вели фонари
по картонным развалам.
Всхлип за всхлипом, а в город вошли косари
в одеянии алом.

Их характер известен, движенья просты,
даже псы из окраин
затаились огрызками злой темноты,
как застывшего лая.

Косари гонят темень с пугливых дворов,
поддаваясь размаху,
окаянные тени, лишаясь голов,
приседают со страху.

Даже дождь, беспокойно сбегая с моста,
опрокинулся в реку –
и открылась забрызганная суета
из окна человеку.

2014

ФАНТОМ

...Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь...
Б. Пастернак

Есть в плавильнях призрачная боль.
После жара, остывая будто,
ложь и право, пагуба и смута
провожают летнюю юдоль.

Перламутровые тополя
на отшибе каменных загонов
биты, как античные колонны,
а за ними минные поля.

Воздух словно грязное стекло.
Оглянуться – полудом в полнеба.
Псы не лают. Гордо и нелепо
человека славой увлекло.

От свободы застрелиться – взвыть.
Бродят Вани, Игори, Андреи,
им плевать, что врали фарисеи –
в братской мгле их некому корить.

2014

СНЕГОВИК

Поле возничим собрано в узелок –
комом за левым плечом.
Небо наотмашь, лес напролом.
Хаты дрожат подпольем.

Старая ведьма бредит: «Сынок! Сынок,
где же твой сладенький позвонок,
чтобы звонить по нему тайком
изо всей боли!»

Снеговик Голем
с морковкой и в жестяном ведре
грезит на проходном дворе
и почти уверовал, что перешел поле.

Что же ты, Голем? Где твоя власть?
В этих заборах какая страсть,
если за полем город?

Если до тридевяти земель
будет бродить в тебе зоркий хмель,
не преломив забора.

Если на всех дворовых ветрах
будет распят твой родимый страх,
и до седьмого пота

будешь искать свои семь колен
в скрепах имен и расстрельных стен,
перебирая фото.

Катит безумие свой клубок,
в сердце губительный погремок
с кровью играет в прятки:

Холодно! Холодно! Чуть теплей!
Почерк уборист, ручей острей.
Что же ты ждешь отгадки?

Солнце напялило каблуки –
захорошели лучей штыки.
Жарко, уж очень жарко!

Это с тебя жестяной должок:
ближе чем насмерть нельзя, дружок, –
Голем насмарку.

Тащит морковку шальной ручей
в бликах ликующих палачей.
Имя – воронка.

Поле возничий пускает влет –
в небе отчаянный ледоход.
Жребий вдогонку.

2014

ПИОН

Есть в синем цвете красный брадобрей.
Есть в желтом – чернь. В зеленом – долгий омут.
Из тучных клубней тянутся бутоны
на ломких кисточках в лохматый белый свет.

Зажмуришься, и катится назад
цветочный шар переплетенных весен,
бунт красок переходит в буйство, жар,
сад воскрешен и ветер светоносен!

Кружит палитра омуты времен –
теряет страх и голову пион.

2015

Алексей ЗАРАХОВИЧ

КУПЕЛЬ

СТЕКЛОДУВ

1.

Воды бродячее стекло
Качает лодку стеклодува
А он забыл про ремесло
...И я забыл про стеклодува
Кому ещё так повезло
На вымостках стоять и видеть
Всю видимость – и сушь и сырость
Весь вымысел – себе назло
Воды разбитое стекло
...На вымостках стоять и видеть –
Оттенки, тайники, приметы
Мальков тревожные полёты
И слышать не тебе советы
И верить – не твои заботы
Так рыбе, взятой под стекло
Приносят воздух в птичьем клюве
...И что ни выдох – ремесло
Трубит о спящем стеклодуве

2.

Спал под молочной звездой и смеялся во сне
Снилось – растёт молоко, как цветок на окне

А за окном тополиной охоты рожок
Белого пуха июньский, неталый снежок
Смотришь и видишь, не видишь – глядишь всё равно
Как наливается звоном пустое окно
Это тебе двухколёсное детство звонит
Сердца не чует – всего-то коленкой болит
Снова глядишь и не видишь – глядишь всё равно
Как через край перелившись разбилось окно –
Это забота твоя, запрокинув лицо
Пить, чтоб ни вдоха ни выдоха заподлицо
...Мелко вода пробегает и молоко
Перебежало смеясь далеко, высоко
Так, что и сон в рукаве, и дождь под стеклом
Мокрым снаружи, сухим изнутри сквозняком
Тычутся в руку, покуда течёт на весу
Детская комната окнами на полосу

Шитую ниткой зелёной на голубом
Так чтобы сон в рукаве, молоко перед сном

...А за окном – тополиной охоты рожок
Белого пуха июньский, неталый снежок

СВЯТЫЕ БАРЖИ

Ночных озёр продолговатый звук
Как будто лодка, заступив за круг
Елозит брюхом о пологий берег
Левее вымостков, вот где-то здесь, внизу
Мой бедный друг на голубом глазу
В судьбу не верит:
– Несть низких и высоких берегов
Но глина с пузырьками мокрых слов
Чтоб воду петь, захлёбываясь глиной
И ближе окуня с тигровой полосой
Лишь облако с серебряной косой –
...Кому как видно
Что за деревьями пристыжены огни
Трёх дачных домиков и прячутся они
Лишь створки окон хлопают – и тихо
«...Была бы музыка»... А музыка была:
Транзистор пел – как яблоня росла
Чтоб всем хватило
–Что жаль мне тех, кого уже не жаль –
Как бы в себя врастающий кристалл
Невидимы. Чей оттиск так невнятен? –
Винильный шум из чёрно-белых пятен
Шероховатость или тишина
...На подоконнике сутулятся коты
Луной подсвечены и медленно лоснятся
У каждого кота своя луна
А человек один, он спички ищет
И открывается зазор внутри окна
Где мухи спят на спинах, распахнувши
Хитиновые шубы и в углу
Подсвечником с поджатыми плечами
Стоит паук и щурится во мглу –
Там рыба-дева всё плывёт ночами,
Сложив одежду в круглую волну
...И сны мальчишек мёрзнут на причале
– Несть дальних жалоб и чужих даров
Но жажда, что ушла из берегов
Про воду петь, что прячется от жажды

...Как если б на коротком поводке
Вся видимость и ходят по реке
Святые баржи, говорю –
...Святые баржи

КУПЕЛЬ

Алексею Воробьеву

Кто прячет в сумки серебро чехони
Не ищет встречи

1.

– Вот дерево – высокое и злое
– А вот, как будто облако – простое
Два дерева сравнивший – их сравнял –
Два пня похожи как родные братья
Как всадники, когда без головы
Как все невесты, если в белых платьях
И только вдовы издали видны
...На пнях сидят, взобравшись на холмы
– Всему – купель Днепра – и день и ночь
Вычерпывают веслами младенца
Влюбленные, что взяли напрокат
Большие лодки. Вспоминаю – я –
Мне пять всего, я – сердцевина сердца
Я – кровь своя, я – мальчик-самокат
А дождь такой, а свет такой, а ветер
Деревьев, что доносятся сюда
На гнущихся перед собою ветках
*
– Послушай – над каждым из нас навсегда
над каждым из нас, говорю – навсегда
Горит в невесомости та же вода,
В которую нас окунали когда-то
И оттиск остался на ней меловой
И слезы и крик в той воде межевой
И кровь, что свернулась в углу аккуратно
Оставив нам место вернуться обратно
...Как если б не след возвращает, но стыд
– Послушай, в каком это сердце звенит
Весь черный, весь красный – как Днепр звенит,
Послушай

2.

Из двух ты выбрал отраженный лес
Так преданно, что верхний лес исчез
Сказавшись пустотой, внутри которой
Стоял костер на вытянутых ветках
Ни рыбака, ни облака... И вскоре
Лишь искра малая, как ближняя планета
То гасла, то зачем-то разгоралась
И в озере ночном не отражалась

А ты глядел, как жидкие деревья
В зеленую мешались кутерьму
Как верхние и нижние растенья
За руки взявшись, прыгали по дну
В недвижном озере чуть приподняв волну
...А думалось – по щучьему веленью
Всё было так, как только быть должно
Так отраженным видится окно
Что сразу загорается под верхним
Окном, в котором тот же самый свет
И если даже человека нет
Появится – кто отражен – бессмертен
*
– Послушай, всякой воде достается ее человек
Тот, кто забудет имя свое
Или не так: Имя свое забудет
Это в начале жажда, смерти недолгий век
Будто бы огонек полыньи
В самом дальнем углу остывающей Сулы
Или Днепра. Окликается имярек –
Входят и долго, долго идут безымянные люди.
*
– Я был – рыбак. Я видел сто чудес
Допустим, в озере качающийся лес
Вкруг озера дома, дома без толку
Их каменный, неодолимый вес
...И озеро, хранящее ребенка
Так улица спускается к воде
И как-то сразу падает и тонет
Один фонарь из белой глубины
Полночи светит – лунная дорога –
...Идет чехонь по улице моей

Розмова Дмитра БУРАГО з Дмитром СТУСОМ

РОБИ, ЩО МАЄШ, І ХАЙ БУДЕ ЯК БУДЕ...

Б.: Ми зустрілися з Вами в Музеї Тараса Шевченка, діяльність якого зазнала певних змін, і який зараз, окрім звичайного музейного простору, заявив про себе як культурний центр. Що на Вашу думку, як директора, змінилося в Музеї Тараса Шевченка? Чи можна назвати зміни в музеї мініатюрним віддзеркаленням того, що відбувається у Києві, в Україні в цілому?

С.: Це питання дуже складне! Давайте краще просто про музей. (Сміється) Річ у тім, що ми живемо на території, якій важко дати якісь визначення, де двадцять п'ять років ніхто не розуміє, навіщо культура потрібна, що з нею робити. Війну розуміють, тюрми розуміють, податки, гроші, «відкати», а культуру – не розуміють.

У минулому році культура по всьому світу – на Сході, на Заході, на Півночі і на Півдні – дуже активно розвивалася. Змінились просто форми існування людини у цьому світі, оскільки ми пережили культурну революцію порівняно зпочатком XX століття, коли з'явився фотоапарат, і всі митці, і всі художники раптом зрозуміли, що вони все життя писали так... дуже... реалістично, хотіли досягти точності при відтворенні людського обличчя, але це вже не мистецтво, це – фотографія. А зараз дитина народжується, і не бере до рук книжки, а бере планшет. Це пройшло повз нас, виникло поза культурним простором, але не поза щоденним життям людей, зокрема дітей.

Сьогодні вже неможливо ні диктувати, ні карати. Дехто намагається, особливо старше покоління, доводити: треба так, а не інакше. Але дитина має в руках пульт від телевізора або кнопку від комп'ютера. І сьогодні спосіб подання будь-якого культурного продукту має витримати конкуренцію з грою, з розвагою, зі шкідливими чи нешкідливими звичками. Відтак, музей – це спроба пошуку культурного середовища, осередку.

Б.: Але далеко не всі підуть шукати «культурне середовище», покинувши ігри та розваги...

С.: Так. І тому потрібно зробити так, щоб культура була цікавою, щоб діти змалечку звикали до думки, що мистецтво – це цікаво. Поляки, для того, аби «розкрутити» літературні твори, вкладали шалені гроші. Ми чомусь вважаємо, що на Шевченко і так будуть ходити. Можливо, але це буде покоління за шістдесят, а всіх інших треба сюди якось «приваблювати». Можна приваблювати на рівні екс-

позиції, але для цього потрібні серйозні гроші, яких немає. Можна створювати нове самим, тоді сюди приходять люди і просто йдуть до Шевченка. Ось цим шляхом ми й пішли, у нас альтернативи не було. Почали цифрувати матеріал, зробили сайт, підготували багато дитячих ігор, на які зараз дуже активно ходять. У нас діють культурні проекти, виставки міняються не раз на три-чотири місяці, як було раніше, а щодва тижні. І за рахунок цього виграють і експозиція, і якісь заходи. Я пишаюсь перебігом заходу «Мій Шевченко», коли діти малюють, читають, переписують твори Шевченка. Ми намагалися працювати із фотографією, але вона особливо не пішла. Навіть у цьому році, коли ми ускладнили завдання, діти вже надсилали готові книжки, часом лубочні, етно, часом ще якісь. Але загалом рівень мови творів про Шевченка на голову вищий, ніж багатьох інших авторів, хоча акція здійснювалася тільки нашими силами за незначної підтримки Малої академії наук і абсолютно без грошей, тільки на тому ресурсі, який маємо самі. Відзначали рік роботи з інвалідами. Мені було, чесно скажу, радісно, що вдалося реалізувати цей проект, щось корисне зробити для цих людей...

Б.: Тобто музей перебирає на себе ще й соціальні функції?

С.: Ну, якщо він не виконує соціальні функції, він нікому не потрібний. Зберігати можна і в архівах. А якщо це заклад культури, то соціальна функція – одна з показових. Але не треба забувати, що це просто інші люди, і слово «люди» тут ключове, чи не так? Люди, які мають дещо інші потреби, а культура потрібна всім. І вони мають змогу реалізувати свої культурні потреби тут. Плюс ми істотно модернізували цей простір. Триває певне протистояння з представниками традиційної точки зору на це питання, але для мене це лише ознака того, що ми робимо все правильно. Якби протистояння не було, це б означало, що фактично ми нічого не досягли.

Б.: Перед сьогоднішньою зустріччю я зазирнув до інтернету в пошуках інформації про музей і про Вас. Я з прикрістю побачив, що знаходиться чимало «критиків», незадоволених Вашою діяльністю в Музеї. І це не конструктивна критика, це справжній бруд. Але при всьому тому залишається цілковите відчуття, що «караван іде», а ті, хто «лають», не мають жодного уявлення про справжній стан речей. Чи не заважає така «підтримка» ?

С.: Вони роблять добре діло. Адже «сварка» на фейсбуці – це також реклама.

Б.: А Ви користуєтесь фейсбуком?

С.: Ні, я використовую фейсбук тільки для роботи, нічого особистого. За великим рахунком, думка таких людей мене насправді мало цікавить. Більшість наших відвідувачів задоволена змінами у роботі закладу. А ті, кого діяльність музею не влаштовує, мають право висловити свою думку, а ще – запропонувати щось своє і краще.

Б.: Як кажуть: «критикуєш – пропонуй». Але у нас чомусь користуються лише першим словом з цієї промовки.

С.: Так, дуже прикро, але не виключено, що людина нічого корисного не зробила за своє життя, тільки засуджує роботу інших. Думки такої людини для мене не існує.

Б.: Отже, давайте перейдемо від критики до конструктиву. Зараз триває фотовиставка, присвячена Донбасу. Щоправда, у сьогоднішньому медіапросторі це виглядає як певний оксюморон, оскільки, з одного боку, акція проходить у Музеї Шевченка, навколо якого має об'єднатися нація перед загрозою агресора, з іншого боку, у ній йдеться про «милу Донеччину». Як це взагалі можливо? Для багатьох, як це мені не прикро, ці речі несумісні, в тому числі і для «інтелектуалів».

С.: На мою думку, головна рана, яка проходить через тіло України, як я її бачу, якраз та прірва між Сходом і Заходом. А якщо ще точніше, ця рана проходить між містечковою и міською культурою. Якщо говоримо про культуру індустріального міста, то йдеться про Схід і Південь, аж ніяк не Центр і не Захід, – Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Маріуполь, Кривій Ріг, Запоріжжя, Одеса. Навіть Київ з цього ряду трохи випадає, бо місто далеко не індустріальне, принаймні зараз. Це місто софійності, тут була своя духовність.

Б.: Була?

С.: На жаль, вона не відчутна у просторі, в якому я живу. Хочеться вірити, що вона є, але я особисто її не відчуваю, хоч я не «барометр», не Господь Бог, я лише висловлюю суб'єктивне відчуття. І поки цього порозуміння не буде, ми будемо говорити і шукати причини проблем десь ззовні, а не в самих собі, а коріння проблеми варто шукати в нас. Згадаймо, що сильних не зачіпають, адже це робити завжди страшно. Я закінчу цю думку. Ні Шевченко, ні мій батько, Василь Стус, не могли б реалізувати себе в провінції. В містечках їх не любили, вони були занадто «незручні», надто великі для того простору, на них не можна було рівнятись, вони розривали «містечковість» самою своєю присутністю, для реалізації їм було потрібно місто. Тому, коли українська культура перебувала під загальнорадянським тиском, такий провінційний формат, окремі етнографічні портрети, виставлені на якусь своєрідну сцену, задовольняли певну категорію людей.

З іншого боку, всі ж ми бачили і знаємо, що істотних змін не відбувається і зараз, зокрема у школі. Наших класиків не дуже люблять, пильної цікавості до них немає. Аби щось змінити, треба змінювати насамперед самі підходи до вирішення питання. Ми намагаємося це робити, роблю це і я, обіймаючи посаду директора. Далі це робитиме хтось інший, який, може, навпаки, повернеться увагою до іншої категорії відвідувачів. А сьогодні що? Велика кількість етнографічних реалій. А чи може так бути? Може. Просто для когось це прийнятно, для когось – ні. В моїй картині України, звичайно, Донбас присутній. І не тільки Донбас, а весь наш індустріальний південний схід.

Б.: Ми зараз намагатимемося зібрати з усієї України, яку любимо, з якою пов'язуємо свої надії, і яка, на жаль, зараз зникає, талановитих авторів. Київ повинен об'єднувати, а не роз'єднувати. І це нам вдається, не дивлячись на те, що стикаємось із абсолютно неймовірними думками як про минуле, так і про майбутнє. Але сподіваюсь, що найгірші події залишилися в 2014 році. А зараз потрібно вчитись чути і поважати одне одного.

С.: Чому в 2014-му? Я думаю, що у нас історія хвороби значно давніша. Реакції людей в 2014-му році мені, наприклад, зрозумілі. Просто спостерігається неготовність зцілитись, підкріпити думки конкретною щоденною роботою замість зайвої риторики. Ми втрачаємо щось не від того, що хтось дуже сильний, чи від того, що ми слабкі. Від того, що письменники, які колись говорили про важливі речі, я вже не кажу про великі претензії сьогоднішніх авторів, просто бояться висловлювати власну точку зору. Чого ж тоді раптом хтось їх має читати? Ну, подивись: у нашій прозі взагалі нічого не сказано про причини конфлікту, він визрів поза нею. Автори робили вигляд, що проблеми не існує, вони її не бачили. Чи можемо ми після цього говорити про літературу, яка пізнає світ чуттєвими засобами, казати, що вона актуальна для людей? У всі віки цікавою була сміливість, самостійність поглядів. Можна все життя говорити про свою любов до Шевченка і Стуса і вважати себе патріотом. Але чому вони цікаві? Тому що їм загалом було абсолютно байдуже, що про них кажуть, вони звітувались перед Богом і не порушували божі заповіді. А зараз божу заповідь «Не укради» можна порушувати, якщо ти правильно потім сформулюєш для

неї ідеологію. Я вважаю навпаки, що ідеологіям ми нічим не зобов'язані. Я розумію, що це непопулярна точку зору, але я притримуюсь саме її. Мабуть, сімейна традиція...

Б.: До речі, добре, що Ви згадали про традиції. Колись ми говорили про те, що покоління шістдесятників не залишило по собі учнів. Виявляється, що кожен раз той, хто приходить на цю землю, народжений тут, починає все спочатку.

С.: Якщо говорити про Київ, то мені здається (здається – я б наголосив на цьому слові ще декілька разів), що коли Київ з містечка, міста перетворився на повноцінну столицю держави, він багато духовних функцій при цьому втратив. І це неминуче. Метушня, людська активність, диктат фінансів, фінансові потоки, проблеми, які купа людей має вирішити тут, щоб заробити десь в регіонах. А якщо говорити про традицію, то для мене була одна традиція, що бере свій початок від Києво-Могилянської академії, я б взяв ще українську традицію від Сковороди до Соловйова, до Шестова, Бердяєва, якась там традиція є, філософська? Але вона принаймні простежується: ідея людськості, ідея «сродної праці», ідея духовності, так? Шестов, Бердяєв входять до нашого світу через Київ, і Київ без них – мій Київ – не існує. Яка могла бути традиція в Некрасова, якщо російськомовного письменника, що для мене був, мабуть, найбільшим письменником-прозаїком XX століття, який мешкав у Києві, не вивчають в школі, бо він писав російською. Але його і в російській школі не вивчають, бо він жив у Києві. Зараз треба розвиватись, і навпаки, треба в себе вбирати. Коли ми виживали як нація, треба було перебороти і страх суржику, і страх запозичень. Виявилось, що ми потрапили, умовно кажучи, з села зразка початку XX століття до суспільства, яке мислить уже навіть не категоріями технології – технологіями візуальної культури, технологіями зображальної культури. Тоді аргумент, «а у нас є» – і називаємо прізвище. Що ці прізвища? У того ж Василя Стуса: читаю українську класику тільки задля мови, задля того, щоб цю мову вивчити. Будь-яке прізвище, візьміть яку завгодно класику, скажімо, Ґете або Бетховена – це ціла сучасна лінійка: твори, інтерпретації, словники, енциклопедії, драми, документальне кіно, художнє кіно, дещо змінюється, виникає нове, ці зміни йдуть впродовж десятиліть. А у нас фільм знімали стільки-то років тому, видали шрифтом Брайля Шевченка накладом навіть не п'ятсот примірників, а двісті двадцять, десять років тому.

Саме тому ми намагаємось повністю оцифрувати твори Шевченка, щоб його творчість була доступна в повному обсязі широкому загалу. Яка може бути традиція, коли не буде зв'язку поколінь?

Б.: Колись у двохтисячних роках ми започаткували книжкову серію. Ідеєю була «інвентаризація» поетичної спадщини України. Мова йшла про те, щоб залучити і україномовні тексти, і російськомовні, і поезії на інших мовах, присутніх в Україні. Чи потрібна така «інвентаризація» на Вашу думку?

С.: Для мене це питання, яке я не обговорюю, щодо якого не дискутую. Це частина української культурної спадщини, до неї ж належать і культура мовою ідиш, і польськомовні тексти; якщо ми говоримо про Крим, то, безперечно, до неї належить і татарська спадщина, про яку взагалі, бач, ніхто не згадує. А ще є біля шістдесяти-сімдесяти народів, яких тут живе по три, по п'ять і більше тисяч. І в них є свої здобутки. Треба зрозуміти, що, на відміну від Європи, яка виступає як формотворча цивілізація, чи Росії, яка за тими зразками собі створила імперську форму, Україна, яка не мала своїй державності, такої моделі не побудувала. Для нас у цьому ключі цінна етнографія, адже вона має певний формат, який не дуже, щоправда, сприймається в місті, але, в принципі, форма наявна: форма свят, форма ритуалів. Біда ж тільки в тому, що міська людина їх не

сприймає гідно, адже вона вихована в іншому середовищі, вона себе не ототожнює із сільським життям, із природою.

Я не можу для себе поділити цю культуру. Ну, як? Від того, що культура ідиш принесла нам категорію гарячих страв, борщ не стає менш українським, правда? Це ж дуже проста річ. Або візьми «Сім сорок» і «коломийки». Давайте з'ясовувати, що чиє, адже там мелодика в основі одна.

Чи візьми Бикова і його картину «В бой идут одни старики», він вчився з Іваном Світличним і мріяв йому цей фільм показати. Що, картина з Биковим – це не українське кіно? Що, українське кіно – це тільки поетичне кіно? Тоді це дуже погана новина, бо нединамічне кіно сьогодні глядач не дивиться. Його можна знімати скільки завгодно, а де знайти для нього глядачів? Ось, я читаю, що будуть знімати, це наше ноу-хау. О'кей, може бути один фільм чи два, але люди підуть дивитися про зоряні війни чи російський кінопродукт, бо там є добре кіно. Де проблемний фільм про нашу глибинку, про тих дітей, жінок, які лізуть в копанки, про тих самих заробітчан, які сьогодні воюють, завтра повертаються і не мають за що жити, хоч вони воювали; останні не зрідка їдуть до Росії на заробітки. Це що, не проблема? Я таких удовиць сам знаю кілька, особисто. Ось один молодий поет зі мною їздив до Северодонецька – Лисичанська – Рубіжного. У Лисичанську – Рубіжному йшла війна. Він із Західної України, Косівщини. Два його найбільші враження, каже: не розумію, чому у нас війни не було, гірші дороги, а стан художніх і музичних шкіл гірший, ніж тут, де ця війна була? Чи це не проблема взагалі? І де тоді більше духовності, а де менше? Як ту духовність, якими приладами вимірювати? А в принципі, люди і тут, і там по-своєму нещасні, тільки виявляється це по-різному. Коли людина для того, щоб прогодувати себе, їде на заробітки до Іспанії, Португалії, будь-якої іншої країни, то очевидно, що еліта політична, фінансова, я не знаю яка саме, щось робить не так. І ніхто вже не згадує, що, коли розпадався Союз, ми казали: ми – найбагатші...

Б.: Ми годуємо всю Росію...

С.: Ми годуємо весь Радянський Союз!

Б.: І що далі?

С.: Дмитре, це Вам до церкви! (сміється)

Б.: Проте... Щось же треба робити?

С.: Так ми і робимо! Модернізуємо музей, я роблю свій сайт, зробили «Барабуку», підготували ще один сайт культурних новин, зараз шукаємо гроші, щоб зробити сайт, де зберігатиметься вся українська класика, як ми її зі студентами розуміємо, зручнішим для користувачів, туди 1000–1300 осіб заходить: скачали той текст, що їм треба, вийшли. Ми хочемо, щоб вони там затримувались, а для цього потрібні інвестиції. Зрозуміло, що в сьогоднішніх умовах в Україні цих інвестицій ми не знайдемо. Залишається ідея – робити, що тобі цікаво, і те, що ти можеш.

Б.: Ви відчуваєте підтримку?

С.: Звичайно! Дружини, дітей, яким я сказав: слухайте, ну у нас зовсім-зовсім усе буде погано, якщо ви не будете працювати. Ніхто не йде з проекту, всім цікаво. Це – підтримка.

Б.: Тобто нове покоління підтримує Вас?

С.: Цілком. У нас конкуренція, потрапити до нас нелегко. Головне – бути чесним, готовим відповідати за свої слова та дії. Ну, і самому уявляти можливі наслідки діянь, а не

просто йти своєю дорогою. Зараз же це у нас непопулярна точка зору: доля, дорога. У нас говорять про інші категорії: «табло», гроші, що там ще?

Б.: Доцільність – зараз у це слово вкладають зовсім не той зміст.

С.: Але все ж є доцільність бути вихованим, культурним, не порушувати божі заповіді, не робити людям шкоди, не чинити підло. Тут слово «доцільність» звучить гарно.

Б.: Тобто роби, що маєш, і хай буде як буде?

С.: Це занадто високо, я не мислю такими категоріями. Але, наприклад, кожен із нас колись вирішував, їхати йому з цієї землі, чи не їхати. Я вирішив не їхати.

Мені треба було відновлювати спадщину Стуса, повністю з нуля з Михайлиною Коцюбинською. Якби я поїхав, ніхто б цього не зробив. Все було – пошуки грошей, пошуки видавців, опис, розробка структур. Так, нас підтримували люди: Оксана Дворко, Галя Бурлака, ще троє-четверо людей, які щось робили, а повністю це все треба було робити удвох. Я почав вчитися культурному менеджменту, ним займаюсь і тепер, майже не пишу, майже...

Б.: Але ж Ви слідкуєте за тим, що відбувається з літературними тенденціями? Яке у Вас відчуття? Щось змінюється чи ні?

С.: Мені здається, що дуже цікавим є молоде покоління, до двадцяти п'яти років, як і раніше, мені цікава українська поезія, і, як і раніше, зовсім не цікава проза. Умовно кажучи, Алексієвич – для мене більш українська тема, біль проблемна, біль національна, якщо хочеш, ніж те, що пишуть наші письменники, які визначились «за білих чи за червоних», або пишуть для розваги. Основою будь-якої прози, драми має бути зіткнення конфліктів двох правд. А покажи мені книжки наших авторів, де присутні повноцінні дві правди: з одного боку, романтичний герой, з іншого боку – пародія? З одного боку, всі гарні, з іншого – всі покарані. Ну, я такого світу не знаю, вони знають, але це не мій світ, це світ, з яким я не зустрічаюсь. Мені це смішно. Кажуть, що це література. Я перечитав зараз книжки, які висунули на Шевченківську премію, і не скажу тобі тут нічого, тільки на комітеті...

Б.: Нічого доброго?

С.: Взагалі нічого не скажу. І чого дивуватися? Довкола них немає резонансу. Це закономірно. А чого ж там має бути резонанс? Нема чому резонувати. А у нас резонанси тільки навколо якихось пародій, псевдоскандалів, реклами, і ми дивимось, як треба себе поводити: чи ногою когось вдарити в публічному місці, чи склянку кинути і сказати: «популіст». А письменники навіть таке не дуже описують, розумієш? У нас із Вами сумна розмова виходить.

Б.: Так, хочеться із сутінків вийти на світло. Світло, свято, де воно? Ось у Вас в житті, що – свято?

С.: Дружина, діти, у нас дуже цікава дитяча література. Учні, яких, слава Богу, Бог дав вже багато. Хтось радиться, приходить, хтось пішов своїм шляхом, але дотримується якихось принципів. Ось для мене було свято, коли мій близький приятель в Луганську відстояв кафедральний собор Київського патріархату всупереч усьому. Так, він навіть не сивий, він білий, як молоко, але він зробив те, що всім здавалося неможливим. Ми з ним зустрічалися раз тут, і раз – у Северодонецьку, аби його підтримати. Ось така людина є в моєму житті – і це свято. І таких прикладів насправді багато. Вчора у мене були люди з

інвалідністю. Їм було добре, діти приходять, вони тут відчувають себе щасливими, вириваючись із чогось буденного, хтось займається творчістю, це нормально.

Б.: Є відчуття, що Ви створюєте острівець людяності.

С.: Багато існує суперечок з приводу добра і зла, наприклад, студенти, трішки старші, кажуть: зло скрізь перемагає...

Б.: Зло грає білими, тому добро завжди затримується на крок.

С.: Ні, не грає білими, а «скрізь перемагає». Я кажу: людоньки, воно все одно програє, варіантів немає. На мене дивляться. Я кажу: дуже просто, візьміть найбільшого злочинця, якого можете назвати. У нього народжуються діти, і нікого зі своїх дітей він не вчить: обмани мене, зрадь мене. Всі повертаються до основ загальнолюдських цінностей. У цей спосіб всі поразки таких цінностей не остаточні, там закладено механізм самовідновлення. «Розпиляти» бюджет, отримати «відкат». Так, тимчасово може хтось на цьому виїхати. Тому я і зараз думаю, що попри те, що маємо різке зростання бандитизму, велику кількість некваліфікованих людей, багато «піни», одним з наших вічних проклять є питання «чому він, а не я?». У цьому ми анітрохи не змінюємося.

Б.: Київський філософ Віктор Аронович Малахов на своєму останньому вечері в Україні нагадав, що культура повинна містити елемент спротиву. Коли вона існує поза ним, вона зникає.

С.: Згоден, абсолютно.

Б.: Тому у мене якраз враження, що Ви відстоюєте саме нашу культуру...

С.: Не знаю, але вважаю, що мені щастить, чимало є людей, яким потрібно те, що я роблю. Зараз реалізується третій наклад моєї книжки «Василь Стус: життя і творчість». Видали батькову книжку у «Видавництві Старого Лева», наклад продали. Зараз буде виходити другий наклад у цьому видавництві, будуть дві книжки Василя Стуса виходити в «Фоліо». Поки тривали всі ці події, одна російська перекладачка переклала повністю корпус «Палімпсестів». Ми з нею листувалися. Так що ти правий: «роби, що маєш, і хай буде як буде»...

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОДИНОЧЕСТВА НЕ БЫВАЕТ...

Игорь ЛАПИНСКИЙ

Когда сердце смиряется с пространством одиночества, всё вокруг – зримое и незримое, осязаемое и предугаданное наполняется первородной значимостью, хочет получить имена и названия. А поэтому любой предмет, любое явление, обозначенные в обстоятельствах обыденности привычным, банальным словом, в исходной странности одиночества воспринимаются и как рождённые впервые, и как названные впервые.

Самое первое деяние человека после сотворения мира было деянием поэта. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым;» (Бытие, 2, 19-20). Бог создал человека поэтом, именно таким он хотел видеть его на этой планете! Но... не получилось. А поэтому – обыденность, рутинность, «бренность прозябания» стали НОРМОЙ, которой, как нам кажется, подчиняются и слова нами произносимые. Но это нам только так кажется. Язык – древнее человека, язык – могущественнее человека, язык – творитель мира. «И СКАЗАЛ Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И НАЗВАЛ Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. И СКАЗАЛ Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И НАЗВАЛ Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.]» (Бытие, 1, 3-8, – разрядки мои, И.Л.). Господь Бог сотворил мир словом, Он же и создал язык, этот мир НАЗЫВАЯ.

Как бы мы ни опошляли язык: и в быту, и в модных стёбаных литературных «творениях», язык не погибнет и не утратит своей значимости. Он переживёт нас, потому что древнее нас, потому что первозданен и вечен, и готов создавать новый мир, взамен этому, уходящему.

В жизни человека два самых серьёзных события – рождение и смерть, и оба они происходят в одиночестве, и оба они связаны с болью. Вот почему мы не любим и бежим одиночества. Однако, когда к нему привыкаешь, оно становится сладким и завораживающим. Потому что

(к чему лукавить?), окончательного одиночества не бывает – со мной всегда язык мой, друг мой. И когда это понимание становится постоянным и превращается в ощущение, а затем – в состояние, мир вокруг предстаёт вдруг в первозданной своей чистоте и свежести. Всё вокруг – новорождённое, всё вокруг – поэзия! Даже тупое.

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ

Граждане!
Отойдите от края платформы
По второму пути на большой скорости следует грузовой поезд
Уберите вещи
И держитесь друг за друга
Через вторую путю на большой скорости следует грузовой поезд
Отойдите от края платформы

Уже цветёт картофель
Прямыми рядами прямо у насыпи
И болотистые дороги тянутся в белесый туман
И низенькую ржавую рожь в зелёных плешинах
И такая широта! именно здесь произойдёт сотворение мира
А затем опять цветёт картофель
Маленькими грядками
Между серыми пакгаузами и бункерами с углем
Спешит спешит поезд
Гружёный досками и лесом

Бесконечно цветёт картофель
Почти у самой насыпи а в картофеле растут маки
Редкие пунцовые маки
А за ними густая снегозащитная полоса но деревья в ней разные
Липа сосна клён берёза
Спешит спешит поезд
Гружёный досками и лесом
Пересекая болотистые дороги
И белесый туман и рыжую рожь и горький свой дым
ИМЕННО ЗДЕСЬ ПРОИЗОЙДЁТ СОТВОРЕНИЕ МИРА
Среди деревьев я не заметил ольхи
Она серебрилась где-то в гуще и пятном промелькнула
Среди рыжей ржи я не заметил человека
Он ехал на велосипеде а рядом бежала собака
В этой широте кто-то запер небо на засов из фиолетовой тучи что углом врезалась в белесый туман
Картофель отцветает
Серые пакгаузы запирают на большие замки
И НАШЕ ВРЕМЯ ГОВОРИТ НАМ

Граждане
Отойдите от края платформы
По второму пути на большой скорости следует грузовой поезд
Уберите вещи
Держитесь друг за друга
Отойдите от края платформы

Когда сердце смиряется с пространством одиночества...

КАНЦОНЕТТА

Пой вместе со мной
Тихую раннюю мелодию ручья пой вместе со мной
Листья плывут по воде скомканы тонкие жилки холодной рукой
Пой вместе со мной

А горько так что ты меня не любишь...
Так горько будто солнечный свет
Стал ненужным
Водам ручья листьям орешника и цветам

Такой безмятежной тоски
Отрешённой тоски такой
не знал ещё мир
А голоса
А голоса сливаются вместе с хищным ручьём
Ласковым ручьём
Тихим как смех ребёнка во сне
Когда его никто не слышит
И ещё тише
Как смех ребёнка который не родился
Нашего
Так может лучше
Пой вместе со мной
Не громко не надо пугать диких птиц мотыльков голубых от жары
Пой вместе со мной
Беспечно
Не думая ни о чём
О будущем думать?
Не зли Бога не надо он скрылся в цветах скрылся в деревьях скрылся в
безбрежном солнечном свете

Пой вместе со мной
Лучше
Пой вместе со мной

ПРОГУЛКА

Гудит улица
Старый пешеход пришёл сюда перейти дорогу
В узловатой руке узловатая палка
А глаза – то небо в котором грозы уже никогда не будет

Здравствуй старый пешеход
Сказала улица
Здравствуй улица
Сказал старый пешеход

Проезжает колонна «Колхид» «Болгартранспорт»
Проезжают автобусы с водорослями людей
Проезжают дачники с лодкой на крыше
Проезжают такси с корзинами коробками и детьми
Проезжает бобик с толстым агрономом на заднем сидении
Проезжает милиция и орёт в радиорупор
Проезжает неведомо кто неведомо куда и зачем

Здравствуй старый пешеход
Смеётся улица
Здравствуй улица
Смеётся старый пешеход

А по сторонам улицы цветут липы
Запах знакомый старому человеку с детства
Он смотрит вверх где среди цветов летают тяжёлые пчёлы
Видит как нектар падает вниз в серую пыль копоть и гул
И седой подоконник смотрит из кювета серыми глазами на старика
На его узловатую палку и подагрические руки
И на улицу по которой люди едут неизвестно куда

Здравствуй старый пешеход
Усмехается улица
Здравствуй улица
Усмехается старый пешеход

Он перешёл улицу пошёл к жене на кладбище
Потрогал ограду могилы она ещё не шатается
Сел на скамеечку вытер запыленный лоб
А потом рассказывал могиле про внуков которых он не понимает
Поправил два цветочных горшка чтобы они ровно стояли
А затем слушал как растут на могиле цветы
Слушал как тарахтит ветер по кресту оторванным венчиком
Слушал как гудит вдали улица

Прощай старый пешеход
Гудит улица
Прощай улица
Шепчет старый человек

* * *

Муха села на камень
На угловатых лапках
Фиолетовая шерсть
Шерстинки двойные
Длинные и короткие
Как строки моих стихов

Её крылья сплошные прожилки
Сеть прожилок густая сеть
Которой пойман мой пристальный взгляд
А гладкая спинка
И красный хохолок между глазами
Вкраплены в серый камень
Повисли
В зелёном свете листвы

Запомним этот день и его число
Увидим под листом ревеня необозримые дали
Где свой ветер свой дождь свои законы
Своё зелёное солнце и сумрак свой
И слышно как воду всасывает земля
И тянет кверху чёрное рыльце
Гусеница

Муха села на камень
Её крылья дрожат
В них затаено
Жужжанье
Мир под листом ревеня
Затаён в полусвете зелёном
Он ждёт
Он выйдет и распространится повсюду

Запомним же этот день и его число

ГЛАВА ИЗ РОМАНА «ЗАМОК РИЧАРДА ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»

ПАЦАНЫ ИГРАЮТ В ШТА́НДЕР

Странная получилась из них пара: мужчина неопределённых, ещё не старых лет, наряжающийся в фуфайку, махорку, гимнастёрку и эффектная столичная барышня, вся из себя made in USA. Надо, однако, отметить, что махорку-гимнастёрку Иван Степанович надевал далеко не каждый день. Минули уже пятидесятые, когда подобный наряд вызывал уважение в обществе. В шестидесятые же годы подросли и превратились в юношей дети войны, для которых она воплощала не доблесть и героизм, а посттравматический синдром, порождая необъяснимые страхи и неосознанное недовольство всем окружающим. А кроме того – вполне осознанные воспоминания о голодных сороковых... Что им те орденские планки, портянки и начищенные до блеска полковничьи сапоги? В моду чётко вошла штатская одежда, и гардероб Ивана Степановича в этом разрезе определённо нуждался в пополнении. Практически, кроме китайского салатово-зелёного костюмчика, «гармонирующего», как ему казалось, со столь же зелёным китайским плащом, и ещё каких-то матросских брюк клёш, у него ничего не было.

– Что за жена у тебя была какая-то непонятная? Совсем неухоженный мужчина, – возмущалась Нина Аскольдовна, потому что интеллектуализм – интеллектуализмом, а прикид – прикидом. Без этого прикида существовать можно было тоже, но это могли себе позволить очень немногие (в провинциальной столице – по пальцам посчитать). Эти немногие тратили все свои нехитрые заработки на книги, которыми они забивали до потолка комнаты в коммуналках, и хорошо, если комнаты эти были с высокими потолками, иначе книги приходилось ставить стопками на пол, чтобы, с трудом лавируя между ними, добираться до письменного стола, заваленного тоже книгами. Эти немногие в основном занимались гуманитарными науками, проповедовали бессребреничество, а поскольку их называли «ходячими энциклопедиями», то по любому поводу они имели собственное мнение, и княгиню Марью Алексѣвну видали в белых тапочках, исповедуя совсем другие московско-ленинградские авторитеты. Одевались же они в принципиальную, невообразимую рванину, демонстрируя миру полное презрение к тирании вещей вкупе с их прибавочной стоимостью и всеми смокингами Маркса с Энгельсом вместе взятыми.

Нина Аскольдовна любила жизнь больше, чем книги, и, несмотря на почти идолопоклонное уважение к ходячим энциклопедиям, разделить их образ жизни не могла. Хотя когда-то попробовала, вступив с одним из них в близкие отношения, но не получилось... Человеку, не умеющему поджарить яичницу, нужна женщина, которая даже не коня, а «паровоз на скаку остановит», а таких сил у представительницы генерал-губернаторского рода не оказалось. Но зато эти силы нашлись у другой, и так далее...

– Почему ты не любишь стейцовых* вещей, Ваня? – почти раздражённо спросила как-то она,– ведь они самые качественные.

– Странный ты человек, Нина. Как ты представляешь себе меня на уроке труда в ярко-жёлтых замшевых ботинках, поверх которых – ярко-синий джинсовый костюм? Дети воспримут это как клоунаду и будут долго смеяться.

– Так ведь не обязательно эту парадную одежду на работу надевать. Но иметь её сильно не мешает.

---

* «Стейцовых» – американских. Киевский сленг 60-х годов.

– А где же её надевать, о, женщина! На Крещатике вмиг мусора́ привяжутся, и не потому, что джинсы им не нравятся, а потому что они – брюки-дудочки. Покажу тебе фельетон из «Крокодила» про стиляг презренных, где подробно описано, как эти дудочки режут ножницами в участке.

– А почему же моим друзьям никто и ничего не режет?

– Потому что они с импортными фотоаппаратами ходят. Видимо, мусора́ принимают их за иностранцев, а с ними мусора́ связываться не любят. Знают, что иностранцев пасёт гебня, которая терпеть не может, когда в её работу вмешиваются.

Так или иначе, но шмотками (сплошь импортными и дефицитными) Нина Аскольдовна своего друга снабдила вполне, душа её успокоилась, и теперь, неторопливо и мечтательно разгуливали они по своему городу, столь же неторопливо вступившему в светлый, звенящий сентябрь.

–Медлительной чредой нисходит день осенний,
Медлительно крутится жёлтый лист,
И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист –
Душа не избежит невидимого тленья.
Так, каждый день стареется она,
И каждый год, как желтый лист кружится,
Всё кажется, и помнится, и мнится,
Что осень прошлых лет была не так грустна.

Эти строки Нина Аскольдовна произнесла, соблюдая неестественную для их содержания интонацию. Она была счастлива, чувствовала себя до глупости юной, что, конечно же, не вязалось с общим настроем стихотворения. А прочитано оно было потому, что в городе стояла сухая, солнечная, очень тёплая осень, и, если и судилось крутиться жёлтым листьям, то это были именно первые, чуть зеленоватые по краям свидетели грядущего и пышного природы увяданья.

– Кто написал эти стихи? – взволнованно спросил обычно спокойный Иван Степанович.

– Александр Блок. Александр Александрович Блок, – с некоторым удивлением ответила Нина Аскольдовна.

– Впервые слышу фамилию этого поэта, – обескураженным, извиняющимся тоном произнёс учитель труда, – хороший, должно быть, поэт?

– Не просто хороший, а гениальный, и ничего в том страшного нет, если ты его не читал. Он долгое время был запрещён. Будучи ещё студентами, мы узнавали его из самиздата. А сейчас начали его потихоньку издавать в официозе. Грозятся даже напечатать полное собрание сочинений.

Они шли не торопясь по Рейтерской в направлении Львовской площади. По-киевски тёплый, светлый и безветренный сентябрь и впрямь мог навеять состояние того покоя в душе, который часто называют счастьем. А главное – тишина... В этой тишине слышны были собственные шаги, шорох падающих листьев и крики пацанов, играющих то ли в футбол, то ли в какую-то другую, неведомую миру игру.

Они шли не по тротуару, а по проезжей части улицы, абсолютно свободной и, как оказалось, довольно широкой. Был субботний день, и улица эта обезлюдела потому, что все ушли на Крещатик, а точнее на «стометровку» от центрального гастронома до Бессарабки, прохаживаться туда-сюда большими толпами: на людей посмотреть и себя показать. Они

придирчиво и предельно критично рассматривали друг друга: какой на ком прикид, и кто чего стоит вообще. А если кто появлялся в джинсах, а тем более в плейбоях, то останавливались, дико глядя ему вслед, не понимая – смеяться или возмущаться по поводу невиданной одежды. Наблюдая всё это, автор строк сиих вспомнил видение в Ленинградском метро. Была довольно свирепая зима, вновь вошедшие пассажиры до конца не стряхнули ещё с плеч своих иней и снег. Напротив сидела девушка необыкновенной красоты, углубившись в чтение «Нового мира» № 11 с «Иваном Денисовичем» там напечатанным. Одета была она в какое-то уж совершенно драное пальто, обута – в стоптанные валенки без калош. Когда она переворачивала страницу, то мелькнуло тоненькое серебряное колечко на правой руке, стало быть, – замужем, ещё бы! Ленинград – город очарованных книжников.

Внезапно Нина Аскольдовна взяла друга своего за руку и остановилась, молча кивая в сторону двух молодых влюблённых, прильнувших друг к другу прямо посреди тротуара и застывших в длительном и безнравственном поцелуе. «Вы посмотрите на эту современную мóлодежь! Совсем стыд потеряли, Сталина на них нет!» – воскликнула бы по этому поводу Марья Тимофеевна, соседка Бибиковой по коммунальной квартире. И впрямь, с точки зрения далёких шестидесятых, сцена эта была донельзя БЕЗНРАВСТВЕННОЙ! Что они себе позволяют, в конце-то концов!

Иван Степанович и Нина Аскольдовна с понимающей, одинаковой улыбкой посмотрели в глаза друг другу, и какая-то тёплая волна охватила их обоих.

Когда же вышли на Львовскую, то увидели следующую картину: на том месте, где Большая Житомирская впадает в эту площадь, поставлены были друг на друга три кирпича, поверх которых красовалась поржавевшая банка из-под американской тушёнки. Возле неё стоял штáндер – мальчишка одиннадцати, двенадцати лет с весьма внушительной палкой в руках. Четыре его одногодка, вооружившись подобными же средствами ближнего боя, кружили вокруг, стараясь сбить банку с кирпичей. Штáндер активно защищал банку, отбивая палки нападающих. В правила игры входило то обстоятельство, что прикосновение штáндера к телу нападающего считалось фолом, после чего оный должен был отступить и ждать появления нового штáндера. Им, естественно, становился тот, кому удалось сбить банку, что происходило довольно часто.

Арбитр этой незамысловатой игры стоял посреди проезжей части улицы со свистком в зубах, поминутно провозглашая: либо «вилы!» – это когда штандер зацепил кого-то палкой, либо «штандер» – когда банку сбивали с кирпичей. Где-то раз в двадцать минут, презрев события игры, арбитр кричал: «Атас!». Это означало, что приближается автомашина – какая-нибудь «Победа», или эмка, и тогда игра приостанавливалась, а пацаны зажимали носы и отворачивали в стороны лица, не желая нюхать пронзительную гадость – непривычный для их ноздрей омерзительный бензиновый перегар.

Несмотря на присутствие строгого судьи, игроки постоянно пререкались (зачем тогда палками махать, если нельзя поспорить?).

– Онзомезенязадазажезеблизискозонезекозоснулзусяза, аза тызыкризичизишьвизилызы! – возмущёно набросился один из них на арбитра.

– Не коснулся, говоришь? Он во всю масть, тезебязявтызыризил, Свирина! За пререкания – ещё одни тебе вилы!

– На каком языке они разговаривают? – удивлённо спросила Нина Аскольдовна.

– На детском, – улыбнулся Иван Степанович. – Они повторяют каждый слог, добавляя букву «з». Кроме того, весьма умело по фене ботают. Получается совсем не понятно. Для постороннего уха, разумеется.

Не вдаваясь в подробности штандера, влюблённые пошли дальше – по Большой Житомирской, в направлении Владимирской горки. Внезапно тишину нарушило хлопанье крыльев, и какая-то большая птица пролетела вдоль улицы, искусно лавируя между электропроводами.

– Гляди, Лаврентий Павлович полетел! – радостно воскликнул Иван Степанович.

– Какой Лаврентий Павлович? – удивилась его подруга.

– Филин. Я знаю, где он живёт – на углу БЖ и Владимирской. В том доме, где в тридцать седьмом писателей расстреливали.

– Зачем вы обижаете серьёзную птицу, называя её столь гнусным именем?

– Потому что ночной образ жизни ведёт. Охотится по ночам, потому-то и Лаврентий Павлович.

После этого непродолжительного монолога влюблённые замолчали, неторопливо шествуя между темнеющими домами. Каждый из этих домов был не просто строением, он был личностью, впитавшей и впитывающей характеры и поступки всех, в нём живших и живущих, и окна, балконы, лепные украшения его неслышно проговаривали беззвучные каменные монологи нескончаемого киевского эпоса. Когда вокруг говорят дома, а высокое темнеющее небо приглашает в свой стан первые звёзды, зачем вообще разговаривать? Взаимное молчание скажет намного больше, чем любая, даже самая сокровенная беседа.

– Штандер!..

– Атас!.. – но это уже где-то вдалеке, и по угасанию.

– Любопытная эта улица – Большая Житомирская. Сойди вниз – в любой её овраг, чего только не увидишь! Лисицы бегают вовсю, ежи кишмя кишат, как-то видел даже барсука. А птиц самых разных – пропасть. Жизнь тут бушует вовсю, а ведь – центр города! – после длительной паузы промолвил Иван Степанович.

– Наверное, поэтому я никуда и не уезжаю...

– А ехать-то куда? В Москву, в Москву?

– Зачем ты так? Я тебе что – три сестры Чехова? Нет, мой город – Питер. Хотя... я и в Нью-Йорке чувствовала бы себя нормально. Язык же ведь знаю...

– А мне тогда куда деваться?

– Вот видишь... Потому, наверное, никуда не уехала, что чувствовала – ты здесь!

После этих слов наступила весьма длительная пауза. На столь решительное утверждение Нины Аскольдовны Ивану Степановичу следовало бы ответить не менее решительным: «да, потому что ты – моя судьба!», но он этого не сделал, опасаясь, что разговор перейдёт в сторону обмена банальностями. Его смущение передалось Бибиковой и она отвернулась, тем более что в глаза лезло отвратительное уродище–под корень давящее пространство чудовищное, неописуемое здание обкома партии. Иван Степанович продолжал молчать, угрюмо глядя под тупо ступающие ноги, – он не понимал: а что же происходит? В голову по-прежнему лезло упрямое «да, потому что ты – моя судьба!», но ведь это – элементарная, забубённая фраза. Самая настоящая банальность. Тут бы стихи употребить какие-нибудь, но стихов таких он не знал. Во всяком случае – стихов об удавшейся, счастливой любви. Ай да зрелый мужчина, ай да Иван Степанович! Вкупе со всеми интеллектуалами, к которым, допустим, он не принадлежал, этот человек третьей молодости не понимал, что на языке любви не существует банальностей, ибо она изъясняется языком чувств (по интеллектуальному – эмоций). Любви не столь важно: что сказано, а *как* сказано. И, скорей всего, смущение Ивана Степановича возникло не оттого, что он опасался сказать банальность, а оттого, что побоялся произнести её фальшиво.

А что женщина? Образовавшаяся пауза вконец обескуражила её. Душа окуталась ледяной тошнотой, суммой всех разочарований пусть молодой, но весьма бурной жизни, десятикратной силы одиночество приковало её к тротуару, она остановилась, сорвала с дерева совсем зелёный, чуть шершавый лист, панически растирая его в руке. Лист был чистый, без малейших намёков на уличную пыль, кому было ту пыль подымать на полупустой улице? Будь она лет на семь моложе, неизменно последовал бы вопрос: «Ваня, ты меня любишь?», но она боялась... Боялась услышать ответ.

– Я люблю тебя, Нина. Всем сердцем, всей душой, – совершенно внезапно для самого себя, для них обоих почти прошептал Иван Степанович, бережно, как врач прикасается к ране, взял её за плечи, притягивая к себе.

И они нарушили «НРАВСТВЕННОСТЬ»! И они застыли в поцелуе тихом, как предрассветное воркование ласки, облизывающей своих щенков.

Мы не будем цитировать «банальностей», которыми они обменивались, сопровождая их смехом. Такому смеху могут позавидовать все, даже те, кто считает себя счастливым, потому что они были *самыми счастливыми* в этом мире, не понимая, не задумываясь над тем, что же оно такое, это *счастье* на самом-то деле. Что тут цитировать?

И когда они вышли на смотровую площадку Владимирской горки, их глаза готовы были увидеть то необычное, которое добрая половина киевлян видит каждый день, озирая равнодушным взглядом некое пространство, а это пространство, быть может, является главным шедевром их Великого города. Начиная с Труханова острова, и дальше, дальше, дальше ширился, масштабился безграничный зелёный океан Левобережной Украины. Именно там заканчивалась суета рутинной жизни, и начиналось бессмертие души.

Вечерело, чуть влажный ветерок шевелил сочные листья, а вдали начинали зажигаться огоньки островов-деревень лесного океана: Оболони, Троещины, Осокорков... Люди, которые там жили, были пропитаны покоем и безграничной верой в завтрашний день. Войны-то ведь больше не будет, не так ли?

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

Александр ЧЕРНОВ

* * *

Днем и ночью летят над землей
позывные немыслимой связи:
захолустная станция Грязи
мне доводится близкой родней.

В чуткой памяти – черный провал,
но в сознание ищет проходы
то, о чем я не раз в свои годы
видел фильмы и книги читал.

В дни суровые, как в старину
за полком легендарного князя,
мой отец с отделением связи
добровольцем пошел на войну.

И когда загремел первый бой,
среди грохота, воя и свиста
заметалась фигурка связиста
и душа у него за душой.

Но, смертельного страха стыдясь,
по приказу рванувшись под пули,
в нарастающем огненном гуле
мой отец восстанавливал связь,

Оживал телефон полевой,
и неслось в непроглядную полночь,
словно срочно нужна моя помощь:
«Слышишь, сын?.. Слышишь, сын?..»
И – отбой.

* * *

На обложке – стальные ежи,
оберег бесполезный в бедламе.
Словно клетка грудная в надломе
наша скоропостижная жизнь.
Из матрешек отторженных тканей
проступает последний патрон.
Межевые скрижальные камни
мы читаем с обеих сторон,

имитируя ропот словесный
неприкаянный, словно тротил.
Неужели, поэт неизвестный,
легкой смерти ты не заслужил?
Как небесный огонь в огнемете,
обжигает сетчатку и пальцы
фолианта клетчатка и кальций
никотиновым пеплом страниц,
антрацитовым пеклом глазниц
и шевронами на переплете...
Ни рожденья, ни гибели дат.
Неизвестный поэт – неизвестный солдат!

* * *

Как слушали столетия назад
кувшин, свечу, сверчка, часы с кукушкой,
как шум прибоя слушали в ракушках, –
я слушал снег, я слушал снегопад.
Я слушал снег – гуляние и крик
при массовом стечении народов,
листовками из толстых самолетов
рассыпанные рукописи книг.
Я слушал снег, который говорил
назойливыми белыми словами,
летящими в пространство куполами,
серебряными маршами перил.
Я слушал снег и домики на снос.
Я слушал птиц живых и замороженных.
Я слушал ветку железнодорожную
и старый маневровый паровоз.
Я слушал снег и Киевский вокзал,
где жизнь людей видна, как на ладони,
в обычном цвете, запахе, объеме.
Я слушал снег во все свои глаза.
Я слушал снег. Я слушал детский смех
и детский плач, и рев больного зверя.
И мотылек стучал в стекло сквозь снег.
Я слушал и ушам своим не верил.
Танцующая бабочка в окне,
чьи коконы раскручивались в смерчи...

Я слушал снег в таком глубоком сне,
как до рожденья или после смерти.

ДОМ РИЧАРДА

Сжимает улица простор,
к Днепру бежит с трамвайным звоном,
а наверху ни парк, ни двор,
а просто холм, прикрытый домом.

Произросла над мостовой
архитектурная нелепость:
фасад развернутый как крепость
и холм с кустами и травой.

Крутые склоны с трех сторон,
строптивый холм ничем не занят.
Клочок, нетронутый дизайном
декоративных мастеров.

За гребнем башен для жилья,
за лабиринтом, по спирали
лежит обычная земля,
как будто город разобрали.

Здесь все восходит к небесам.
Быть может, в башенке пузатой
в начале века жил писатель
и даже книгу написал.

А может, не жил... Нынче тут,
хотя все окна, как бойницы,
одни аптекари живут
и санитарки из больницы.

Скрывает замок пожилой
скамеек выцветшие доски,
столбы с веревкой бельевой
и разговор людей подольских.
Не обоснованный никем
музей Андреевского спуска
стоит над улочкою узкой,
как чужеземец в парике.

* * *

В полном имени – треть Александра.
От Подола в Купеческий сад
поднимусь. А за мной саламандрой
по газону вползет листопад.

Встречу полузнакомого бомжа
(много их забредает сюда)
и подумаю: «Боже, на ком же
до тряпья отыгралась судьба?»

Я немного моложе, но разве
до того уже вышколен сноб,
что меня обойдут эти язвы,
эта грусть и похмельный озноб.

Чем же выделен так среди прочих
выпускник, отставной Козерог,
от осенних наветов и порчи,
чтобы шляться, не чувствуя ног,

по кустам, по пивным, по траншеям,
по Сувидским и Брянским лесам...
Неужели когда-нибудь шею
мне свернет Александровский сад?

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

Рыба зеркальная плещется в пойме,
серая мышь копошится в соломе,
птица лесная свистит над землей.
Будто корабль в затуманенной бухте,
фосфоресцирует летняя кухня
глиной, известкой и теплой золой.

Пахнет сухою и свежей рыбешкой,
пылью, под каплями сбитой в лепешки,
погребом, грядкой и шифером с крыш.
Яблоки падают прямо в корзинку,
зябко сжимается небо в овчинку
цепко, как в полдень – летучая мышь.

Что за предчувствие реет над садом?
Капли спускаются мерным каскадом
прямо с веранды, листвы и ветвей –
то приглушенно, то резко и звонко,
то по стеклу или мокрой клеенке,
то по раскрытой ладони моей.

Словно в руке не решетки монеток,
а узелочки от марионеток,
коими к памяти прикреплены
в дальних углах, на центральных базарах,
на всевозможных платформах, вокзалах
старцы, хромые, слепцы, горбуны...

Брызги почти затопили канавки,
линию жизни и след бородавки.
Но световодного воздуха шест,
обогащая округу озоном,
двинулся по хуторам под Херсоном,
напоминая прощания жест.

* * *

Над третьим этажом мой дом имел мансарду,
на первом этаже мой дом имел аптеку.
В былые времена случалось и взаправду
средь ночи со двора стучаться человеку.
Сквозь старый дерматин, слой войлока и пакли
на мертвом языке читать скороговорку,
чтоб двери приоткрыть в дежурную каморку
и после принимать спасительные капли.

В строительных лесах, как в древнеримских числах,
запутавшись в прямом и в переносном смыслах,

не требовал мой дом на площади Победы
ни капремонта, ни искусствоведа.
Лебедки ржавый трос обвил кариатиду,
но обнаженный торс величием телесным
еще напоминал всем корифеям местным
руки Делакруа известную картину.

Потоком в шесть рядов спешат автомобили,
взлетают с двух сторон высотные строенья,
а там, где был мой дом, посажены растенья –
в проеме городском зеленый сквер разбили.
Вот настежь у двора распахнута изнанка,
палатка «Пиво, квас», цветов полезных грядка...
В два пальца б засвистеть для пущего порядка,
пусть праздный ротозей подавится баранкой!

Сквозь времени пролом, назло всему кварталу
поставив на попа три парковых скамейки,
с карманным фонарем на плоской батарейке
я в полночь заберусь в прозрачную квартиру.
Но в комнате моей развеялись с годами
и сдобный аромат лукьяновской пекарни,
и медный перезвон соборной колокольни...
От дома номер два остался лишь фундамент.

* * *

В вагоне привычная давка,
нагрузка на каждую кость.
Кадетская роща, Шулявка,
депо, Караваевский мост.

Шумы позабылись и стихли,
ландшафт за окном стал другим,
но только по-прежнему стыки
я чувствую мозгом спинным.

Обрывки разрозненных фактов
в телесную память вдавив,
лет сорок до станции Фастов
несет меня локомотив.

Смотрю на него, как из шахты,
но, чтоб не ослепли глаза,
водители воздухом сжатым
воздействуют на тормоза.

Замрет на минуту стоп-кадром
вагон на Волынском посту,
увижу под красным стоп-краном
незанятую пустоту.

Невидимый в тамбуре столбик
среди багажа и людей,
как дух замороженный, стоек
на этих отрезках путей.

* * *

Улица Брюллова. Двухэтажный дом.
Сквозь косые щели между занавесок
лампа освещает амплитуды веток,
или силуэты за двойным стеклом.

Здесь когда-то жили старики семьи:
дедушка и бабушка – Григорий, Паулина.
А теперь клубится дух пенициллина,
вихрем удаляясь от сырой земли.

Или приближаясь, словно каждый нерв
напряжен внезапным привокзальным ветром.
Разум не напрасно называют светлым,
если радость легче сдерживать, чем гнев.

Раньше тут предместье было за углом,
а теперь усадьба в двух шагах от центра.
Где же ель густая во дворе глухом?
Где же мастерская мебельного цеха?

Там, где серым цветом летом и зимой
железнодорожная ветхая больница,
там, где белка белая, синяя синица,
голубь голубой...

* * *

Оживают древесные сны,
открывается взору, как встарь,
златокаменный город-букварь
во главе рукописной страны.

Вновь по Лыбеди ходят суда,
а в Святошино водится вепрь.
Из Почайны святая вода
выплывает в языческий Днепр.

На раздолье, за славной рекой
разбежавшийся лес в лесостепь
начинает орать и свистеть
азиатской ордой кочевой.

Но внимательно смотрит дозор
с укреплений ворот Золотых,
чтобы пришлый грабитель и вор
отказался от помыслов злых.

Кто живет в летописном краю,
кто читает по карте светил,
кто разбил в рукопашном бою
наваждение вражеских сил?

Чтобы, стоя на древнем холме
над подольскими плавнями бухт,
я чертил, словно зодчий, в уме
изразцы кириллических букв.

И внезапно поверил до слез,
что бесхитростно, как на духу,
будто старую азбуку звезд,
книгу судеб прочесть я смогу,

проверяя значение слов
по незыблемой вере в добро,
по заглавным пролетов мостов,
по названиям станций метро.

* * *

Речь. Свистела стрелой и звенела дамасскою сталью,
по земле растекалась чадящею жирной печалью,
заходилась от боли, спекаясь в обугленном тигле,
и металась по свету, как плач Ярославны в Путивле.
Над страной деревянной, над полем с поганою спесью,
над рекой обернись белым голубем с радостной вестью,
но, когда обагрят тебя сполохи битвы на Калке, –
волком бешеным режь лошадиные потные холки.
Речь. Твои палачи надрывали от хохота чрево:
– Пусть читают кириллицу только могильные черви.
Истребляли дословно, учили латинскому шрифту.
Мордовали за правду и сеяли лютую кривду.
Время двигалось вспять, и бесились цепные собаки,
ты проникла туда, где зимуют сибирские раки.
На байкальских ветрах зазвучала унылая песня,
и пошли по казацким станицам подметные письма.
Да с сумой по широкой Руси с перекатною голью,
до костей пропитавшись на промыслах каменной солью:
от державных высот новогодней державинской оды
до Мазурских болот обреченной российской пехоты...
Повесть временных лет проникает в родное столетье,
разметав над собой эскадрильи крестов в сорок третьем,
чтобы дух созидания, тронув обломки бетона,
воплотился в пролетах мостов инженера Патона.

Речь. Моею надеждой сама себя видишь и слышишь,
от волненья, склоняясь над саженцем, словно не дышишь,
превращаешься в слух непрерывный, как первенца лепет,
представляешь легко, словно птичье название «лебедь», –
знак упругий и крепкий, как сильное рукопожатье,
звук доверчивый, нежный, как шепот и шорохи платья.
Так твои черенки обращаются в дудки пастушьи,
в стройных кронах органов сражаются насмерть с удушьем,
чтоб зеркальная ртуть не разъела витраж мирозданья,
чтоб нащупывать путь к устраненью причины страданья.

ПОСЛЕДНИЙ САЛЮТ

«У смерти нету репетиций», –
так и написано на лбу.
С чужих могил взлетают птицы
под похоронную пальбу.

Галдит пернатая армада,
пока воронкою живой
в небесных недрах снегопада
раздался выстрел холостой.

От ритуальной перепалки
бегут кладбищенские псы,
но давит мрак на перепонки,
как будто пища на весы.

Сугробов комья, грунта жмени,
и рикошетный штатский гром
потешен вплоть до поражений
огнем, прикладом и штыком.

Нога цепляется за заступ,
рука хватается за бок...
И ослепительно глазастый
из-под земли нас видит Бог.

Борис РУДЕНКО

ПРИХОВАНИЙ ПОДИХ

ЧЕМНІСТЬ

I

На вільному вигулі біомаси в пекельних і... тихих світах,
мабуть, час подавати під вина яловичину мармурову... –
все складається... і ось на гербі родовому назавжди птах,
то кукурікає, зирнувши на схід, то нападає на охлялу корову...

II

І я випадково узнав, що вона жива... – всього не передати!?
Це мене майже вбило... вона жахливо хворіла, жила в шлюбі...
Мені стало відомо також, що їй не вистачало сил страждати, –
більше нічого про неї не чув... з лейкемією не до жартів, любі...

III

Останні різноманітні листки перебрались нижче під росою...
Так здається, але в цих спогадах для мене не залишено й сліду...
Я не можу себе стримати перед вугром з рисом в олії із сої,
пригортаю трохи вже не коханку і обіцяю їй все... після обіду...

19.11.2015

ПРИХОВАНИЙ ПОДИХ

Версія №3: наскільки пам'ятаю, він обожнював поетів
небесного китайського середньовіччя, музику XVII сторіччя,
був схиблений на вишуканих жанрових витворах Утамаро,
фанатично марив робити все, щоб ні про що більше не згадувати, –
ще б пак! – його відображення спритно одягало ліловий ковпак,
а на зустрічі він завжди, чудово пам'ятаю, приходив завчасно...
Так от, невже не зрозуміло, що йому не лишилось нічого,
щоби мало завадити не вкоротити собі життя – такі справи...
Словом, ми його вже знайшли без ознак дихання – та і чого ждати? –
в найяскравіший день без прикмет сезону та відповідної дати...

16.11.2015

ВАЖЛИВИЙ ПОЗИТИВ

У день, коли багато чого зміниться не тільки із-за осені на не найкраще
і я, принаймні не останнім, зрозумію, мовляв, ні за яких умов і зовсім ніяк...
Вже час йти на болото та послухати свист куличка біля лози з краю хащі, –
мені ж має хоч би хтось щось порадити стосовно життя: наприклад далі як?
Я за послуги... анонімні смуги розріджують повітря та воду в ще десь цвіту –
заспокоюємось!.. Всілякі назви й терміни здатні зробить іншими всі вітражі...
Що ж до мети... отут повільніше, але я, таке є можливим, мав таки свою мету
в ландшафті, де довго тепло і де так рано ховаються в землю наїжені вужі...

20.11.2015

ІНТЕНЦІЯ

На котрійсь із багатьох вулиць, де доба переходить у вже іншу добу,
принаджуючи головний біль та ніяк не дивні відчуття в скронях,
до того ж під ранок показали по TV небачені ще краєвиди Малібу
та золотий пил, який дуже нагадував попіл крематорію на долонях, –
я чекаю... Ризик охолоджує примарні передчуття кращого в тобі... –
ніде себе діти, але, скоріше не на жаль, так ніби створені примати...
Чому мені колись хотілось якомога найдовше зоставатись в юрбі
і чому я не міг себе як слід в некращі миті психічного стану знати?!..

20.11.2015

ТАМТЕШНІ ОБРІЇ

Мій відчай за походженням з країни яких тільки скрізь не трав,
чиє в паростках зілля вбиває й лікує моторошні тіні примар
і кров звільнюється від соків незбагненної землі в сльозах отав...
На замовлених стежках там і дотепер п'є духмяну воду комар...
Мені невідомо коли ці байраки затуляли вуха від виття вовків
і фазани осліпли від вранішніх променів в молочаєві пахучому, –
майже нерухома ріка з безліччю вогників від свічок та вінків
тепер там не існує, як і кладовище теж, і я не можу збагнути чому...

21.11.2015

ПОЄДНАННЯ СТАНІВ

Корисно б знати – наше зронене існування не могло би бути почутим, –
відповідно дисконтна картка вже не діє, і в день і вночі не за ледь замало
пристрасті довкола... Потому дощить: для слави час діяти по суті тим,
кому ніщо не допоможе, у вигнанні також... Поночі, та й вітру не стало...
Я підвівся до жайворів і прочитав молитву... Передчуття, серпанок, –
мене би мали забрати в вічну замрію, що так вчасно всипана кольорами...
Серед буків, джмелів, тисів, смерек в розчищеній блакиті ось і новий ранок,
і давні сади, збирачі мурах, ніби рухались в діючому просторі дворами...

22.11.2015

ДЕЯКІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

До параної окрилена дотична сльота, що вдихнула волання якихось смуг, –
так само вранці... Гріє обміліле світло на шовковистому кошеняті... плес,
але з-під потойбічного хор змінює уявлення мерця, більш ніж орача плуг
і звечора реальність втрачає спіралі ДНК... У нас нагодилося свято небес
в непомірнім заохоченні... і нікому не захочеться в студеній воді допити очі
в зануреній голові... – Отче, все це не навмисне, бо місце для покори не втіха,
але ж як чомусь світяться зразу усі зорі і на просьбу щоб ще сорока скрекоче
та верболіз обплітає голосів на півсвіту в рибному мерехтінні – де стріха...
Там на днях виснажених заганяли в підвал... Усього в пам'яті не перебрати, –
поїли й поспівали – непомірні вихваляння! – ні на що не здатні черпаками роди,
ті що вміли припасти вустами після відкоркованої крові... – «Рідна мати...»,
або щось інше, яка різниця, в напівпорожньому вітрові – Господи не приведи...

23.11.2015

ПЕРЕД ЗАВІЄЮ

З рожевого верхів'я, де земля не тяжіє до стану душі вже так,
як би того хотілось... Неймовірно душно в показнім клекоті
на пленері тих, що не раптом знялися: шлях додому, ще б пак,
і я бажаю їм повернутись в цілості, як уже повертались он ті,
що ти так пам'ятаєш... І про що він мені розповість, твій гість?
Хіба я не знаю сам, чому властива неминучість... – що говорю?
Так, звичайно, мені пощастило не знати хоча б кого, хто їсть
з напівпорожніх долонь... Я в тілі прощений і в ньому там згорю...

25.11.2015

ЗАМОКЛА ХВІРТКА

Ллє... вже вкотре ллє, з найдальшого із обріїв розбігались фіолетові їжаки,
під ногами стежина начебто розсипається в мохові... – та що ви тямите
в повадках здичавілих собак, на голови яких посипались жовтогарячі зірки
та напівпусті стільники! Я дивився й вглядався на ледь брудне й розмите
небо... А в коричневих та зелених ланцюгах падолисту оболонки комах
підсвистували, як і в помітних тенетах павутиння також, але от вже не так,
по-іншому... Посеред двору дуже довго стояла труна, затим навідався монах,
зовсім не вдягнутий в холод, – він казав, що помремо всі, так буде, а відтак...

25.11.2015

НЕТОПИРІ

На відміну від інших деяких, зловмисник чемно мандрував у суцільній темряві, так би мовити, з перших в запамороченні днів... з ним там трапилось багато чого, потім його з якихось причин не стало, «за звинуваченням...»; тобто ще до втечі, – в жахливій місцевості біля акваторії вчинив самогубство... ага, вискочив із вікна, або здавалося, на статусній та відновленій для справжнього божевілля території... Обрії, образи, образи, зміни кордонів... відтак, словом, ніякої надії, та і світ не те щоб занурився у скорботу, жодних нарікань, але хіба це світ ось все це? До речі, наполегливі дегенерати ніби просто так збили ще один не той та не з тими літак...

27.11.2015

Владимир КАДЕНКО

ТРЕДИАКОВСКИЙ ИДЕТ В ПАРИЖ

* * *

Над пропастью спелые ягоды.
Не дотянуться – сорвусь.
О сладкие губы твои!
Упасть и не думать!

Кончается жизнь,
И смятенье проходит.

А я неотрывно смотрю на тебя,
На спелые ягоды,
На трепетных птиц,
Что парят подо мною.

декабрь 2014 г.

ТРЕДИАКОВСКИЙ ИДЕТ В ПАРИЖ

Михаилу Кукулевичу

Брел поэт по арденнским увалам,
Проходил по фламандским лугам,
По валлонским болотам шагал он,
В пикардийских полях пробегал.

Птичий гомон то громкий, то слабый,
Шум деревьев, живая трава
Превращались в шальные силлабы
И легко составлялись в слова.

И достав грифелёк из котомки,
Он писал торопливой рукой...
Вечерело. Сгущались потемки.
По лесам разливался покой.

Над закатной полоскою узкой
Первых звезд разожглись угольки. –
Он жалел, что в словесности русской
Не сыскать ни единой строки.

Но какие-то тонкие нити
Протянулись к нему в тишине –
Рифма дрогнула: «жити» – «тужити» –
И поэт улыбнулся во сне.

Он дремал на цветочной опушке,
Свято веря в прекрасный обман.
Рядом спал неродившийся Пушкин.
Путь кремнистый блестел сквозь туман.

10 декабря 2014 года

* * *

Всю пустую дорогу забрызгала липкая кровь,
Горький дым в опустелых полях застывает. И снова
Я расспрашивать стану
про судьбу, про любовь, про любовь
То звезду, то ромашку, то чуткого зверя лесного.

Не печальтесь, родные, конечно и это пройдет:
Изумрудной травою закроет, затянет воронки.
Скоро вешние аисты пустятся в перелет,
Выпуская из клювов
отрывистые похоронки.

Над недвижным Донцом в декабре розовеют снега...
Мы по здешним дубравам
с тобою бродили когда-то...
Дождь осколки бросает,
свинец рассыпает пурга,
На крестах деревянных
уже проявляются даты.

23 декабря 2014 г.

В НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

В густой зиме, на склоне лет,
Где память ёлкою исколота,
Еще хранит вечерний свет
Тобой оставленная комната.

Простая песенка плетет
Пустых забав цветное кружево,
Но прошлое уже не в счет –
Нам не до праздничного ужина.

Незыблем лед капризных рек,
И звезды зимние лукаво так
Глядят на нас который век
И ждут, когда начнется паводок.

декабрь 2014 г.

Сегодня, 24 декабря 2014 года, в день рождения Майи Марковны Потаповой, Лида напомнила мне стихотворение, которое когда-то по молодости я записал в альбом М.М. Боже, как давно все это было, и как мы были счастливы тогда. И почти все были живы. А я об этом почти забыл. Жаль, что хорошее забывается.

Когда-то я узнал о Вас «из книг»
(«Экслибрис» на изысканной латыни);
И в тот же час – вернее, в тот же миг –
Открылся выход из моей пустыни.
Немало лет и весен пронеслось
Над Киевом, Синаем и над Меккой.
Но что бы ни случилось, ни стряслось,
Отчизну я зову библиотекой.
Здесь мудрость слов, здесь дружбы благодать
Переплелись с надеждой и любовью.
Необщих мыслей общая тетрадь
С тех пор всегда лежит у изголовья.
Что б я ни пел, и что бы ни сказал –
Чужбина мне моя страна немая.
Ведь жизнь свою я навсегда связал
С незыблемой империею «Майя».

СОНЕТ

Покуда шла Столетняя война,
Я горевал над маленькою Жанной;
Ее огнем, любовью этой странной
Вся жизнь моя была обожжена...

Потом Джульетта сделалась желанной –
Толпой невежд всегда окружена,
Наложница, любовница, жена –
Прекрасная и в смерти окаянной.

Брела чума в лохмотьях нищеты,
А где-то рядом полнились движеньем
Карарский мрамор, влажные холсты...

Мы рукоплещем взлетам и паденьям,
Но лишь теперь, когда мне снишься ты,
Я назову эпоху Возрожденьем.

27 февраля 2015 г.

* * *

Воскресный день. Мне делать нечего.
Гляжу сквозь темные очки –
В траве бесчинствуют кузнечики,
Гремят сверчки.

Сюда не долетают грохоты
Атак, снарядов, поездов,
И даже шмель в заботе крохотной
К внезапной смерти не готов.

И вся природа-бесприданница,
Простор цветочный теребя,
К тебе одной листвою тянется,
Но не касается тебя.

май 2015

* * *

Светлане Петровской

Что за ветер опять нас встречает
У порога, на школьном дворе?
Время холодом день отмечает,
Тишиной на звонки отвечает –
Даже август и тот в серебре.

Задержись, неприметный товарищ,
Не спеши, оглянись, закури!
Всё пройдет. Ты ошибки исправишь,
И приятелям письма отправишь...
И замрешь у знакомой двери.

Да простятся нам глупые строки –
Мы за лень отвечаем сполна.
Полыхает пожар на востоке,
И уроки, уроки, уроки
Каждый час задает нам война.

24 августа 2015 г.

* * *

Сочится свет сквозь палевые сосны
Задумчивый, высокий, ледяной,
Над речкой, над дорогой двухполосной,
Над кладбищем, над рощей, надо мной.

Поскрипывают дачные стропила
Под тяжестью погодных перемен...
Так незаметно осень проступила
И на траве, и на морщинах стен.

Вот у воды, от неба темносиней
Уже ложится, холодом звеня,
Еще не снег, но белоснежный иней
В исходе жизни, на исходе дня.

17 сентября 2015 г.

ПЕСЕНКА О НЕЖДАННОЙ ВРАЖДЕ

В море ночном замирают валы,
Меркнут светила в тумане,
Но среди мглы
Ладят стволы
Форты враждебной Тамани.

Прежние дни под фанерной звездой –
Общая горькая убыль.
Сжившись с бедой,
Спит над водой
Прифронтовой Мариуполь.

Память без устали крутит кино.
Что там с тобою – не знаю...
Впрочем, давно
Мне все равно,
Кто тебя греет, родная...

Это непросто – легко умереть,
Опыт годами измерить...
Можно гореть,
Можно стареть,
Можно любить, но не верить.

ноябрь 2015

СОНЕТ В НОЯБРЕ

Любимая, есть раны, от которых
Больное сердце оградить нельзя...
Становятся несносными друзья
С их тайнами в безбрежных разговорах.

По ледяному берегу скользя,
Я жгу себя в обманах и раздорах,
В руках дрожит случайных строчек ворох,
В болото упирается стезя.

Но, вопреки житейским перепадам,
Я неотвязной смерти не зову
И дни свои не называю адом,
Пора снегов прекрасна наяву.
Покуда дети с их любовью рядом,
Я все еще надеюсь и живу.

ноябрь 2015

УКРАИНСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ ИВАНА ЖДАНОВА

Хтось подививсь. І дерево застигло,
Бджола в самій собі перелетіла
Крізь квітку-сон, й натрапивши на себе,
Камінчик хруснув десь під черевиком.
І тиша знов знайшла свою самотність.

Кора надрізана, та крові ні краплини,
І яблуко, що надкусили, – ціле.
В лісах крислатих опадає листя
На денце ока, снігу на поталу,
Де день і ніч зима, зима, зима.
Тамують кригу крильця комашині,
В рум'яному ранеті крижанім,
Немов насіння чорний Шлях Чумацький.
Довкола нього крутиться оскома,
І разом з мурашиним відчуттям
Зрива кільце закопчене з зіниць.
І погляд-вир засмоктує мурашку,
В снігу цупкому бідолашна гине,
До сонця прагне, сонця вже немає.
Й мене нема. Над горизонтом слова
Зійдуть дерева і заклякнуть сиві,
Я вже не зможу наздогнати їх.

Там тиша знов знайшла свою самотність,
А тут ще грає в піжмурки з собою
Той, хто не в змозі погляд повернути,
Хто дереву в пітьмі не дав зотліти,
Іуди кров відчувши на собі.

20 ноября 2014 г.

* * *

Стоїш одна – перед тобою ліс,
Шумлять листки нащадками чекання.
Тут перший крок звучить, немов останній,
Ти слухаєш, а дихати несила,
Не дихаєш – шукаєш рівноваги,
Так чують вітер трави, хмари, роки.
Лице дощу, заплакане в той день,
Коли він падав, нині проясніло –
Його очима дивишся на віти.
Заходиш в куб, всередині дзеркальний,
Де ніч птахів звучить в його об'ємі,
І давній сніг іще лоскоче губи.

Як смертний зойк, що вийшов із пітьми,
Наосліп ще, та все ж таки родинно,
Слух відсторонений ховається в пилинці.
Так само й серце зважує свій гук.

* * *

Лютневі холоди трясуть посохлі вежі
Минулої весни, притихлої трави,
І стовбури беріз хриплять в скляній пожежі,
На повінь крижану кладуть холодні шви.
Лютневі холоди беруть суху билину,
Лишаючи на склі малюнки льодяні:
Від білого орла лише одну пір'їну,
А замість звірини – лиш хутро на вікні.

Що нам робити тут, в країні сподівання,
Де марноти нема, де вічність та гілля?
Ми дивимось крізь нас, вдихаючи кохання,
Годуємо з руки тваринки немовля.
Ми входимо в життя, де непорушні води,
Висвітлюємо світ стеблинами вогнів,

Там зорі, мов струмки небесної свободи,
Там в синю кригу б'є дощу голодний гнів.

В той час, коли слова розкутої розмови –
Лиш привід для розмов, коли вчимо ми сніг
Падінню з висоти, і осягаєм мови
Конвалій та джмелів, коли буття навік
Наповнює цю мить тужливою струною
І нікуди піти – і нас беруть в полон
Лютневі холоди, що нам робить з тобою
В безмежності лісів, готових впасти в сон?

Александр КАБАНОВ

НЕ ХРАПИ, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ...

* * *

Он пришел в футболке с надписью: «Je suis Христос»,
длинноволосый, но в этот раз – безбородый,
у него на шее – случайной розой расцвел засос,
у него возникли проблемы с людьми, с природой.
Золотую рыбку и черный хлеб превращал в вино,
а затем молодое вино превращал в горилку:
так ребенок, которому выжить не суждено –
на глазах у всех разбивает кота-копилку.
Как пустой разговор, отправляется в парк трамвай,
светотени от звуков – длинней, холодней, аморфней,
но воскрес Пастернак, несмотря на скупой вай-фай,
и принес нам дверной косяк, героин и морфий.

* * *

Поэзия должна быть виноватой,
она идет по жизни вороватой:
ее карманы – два бездонных храма,
она свята, она не имет срама.
Должна, должна, вслепую отдается,
а что от человека остается:
один вагон да малая тележка
и между ног – обрезанная флешка.
Такая пошерсть или это почесть,
живу один, часов не тороплю,
по осени – на Пушкина охочусь:
а что поделать – ниггеров люблю.
Не состоял, теплее одевался
зимой в меха и в винные мехи,
да будет проклят тот, кто сомневался,
кто утверждал, что я – пишу стихи.

* * *

Алексею Остудину

Говорит мне господь: не храпи, будь человеком,
возлюби меня, как самого себя, ибо сам – одинок,
кем я только не был: колобком, блином, чебуреком,
убежал от всех, одичал, до костей промок.
Не храпи, угрожает мне идол из Хаммурапи:
отрыгни, а затем повернись на левый бочок,

тили-тили тесто, верни меня к маме-папе –
слишком много мяса оставил серый волчок.
Так церковным кагором пахнут деепричастья,
так в потемках души почему-то светло, как днем:
не буди человека, когда он храпит от счастья –
или это – бедное счастье храпит о нем.

* * *

Всех суффиксов лишена, цветет на костях природа,
и только лишь тишина не требует перевода,
добро получить свое, трофейное зло – не надо,
проглатываешь ее, как будто смолу из яда.

Восходит уроборос, чумная звезда-обида,
проснется строитель грез, читающий Майна Рида,
и сразу поймете вы, тоскуя в краю скалистом,
что всадник без головы – был геем и пацифистом.

Шериф его называл безбашенным сердцеедом,
восходит другой овал и третий восходит следом,
он бил себя по щекам перчаткою, для примера,
втолковывал мужикам о позе «миссионера».

* * *

Прости меня: я – однолюб, как мексиканский ледоруб,
которым Троцкого убили, ведь Троцкий был еврей-инккуб,
прости за твой коктейльный лед, когда надменные тевтоны,
от страха сжав свои батоны, под Чудским озером легли,
ох, если б мы понять могли, накрытые одной жаровней:
на свете нет меня виновней, на свете нет меня виновней,
меня расплавили, сожгли, исчислили на киллотонны.
За то, что этот день не прожит, как левантийское кино,
мою любовь прочтут, размножат, свезут на рынок в Люблино
китайцы – дети Поднебесной, крышующие мелкий сбыт,
о чем молчит сверчок над бездной, когда его шесток – забыт?

* * *

Комары на Байкале – размером с цыпленка –
богомола ведут под уздцы,
а затем прорывают защитную пленку,
засыпай, успокойся, не сцы.

Что им пьяная кровь да унылое тело:
пусть гудят над тобой, тяжелы –
от байкальской воды, от поддельной нутеллы,
от просроченной адской смолы.

Косоглазая бабочка выхватит плейер –
из твоей полусонной руки,
и взлетает, раскрыв императорский веер –
вот такие у нас мотыльки.

Разрыдается омуль над свергнутым язем,
свистнет хариус в два плавника:
водку пьянствуем, курим траву, безобразим?,
лезут черти из черновика.

А за ними выходит Илья Носферату –
каторжанин, шаман, содомит,
он массирует сердце, как будто простату,
и в простуженный бубен бубнит.

Твой Байкал – черновик о погибшем поэте,
ну, а как тут с любовью к врагу:
от любви, как известно, рождаются йети –
но и эти – сбегают в тайгу.

* * *

Были бы деньги, жили-были бы деньги,
пальцы длинные, да руки мои коротеньки,
не ездал бы я в поездах, когда поутру –
все, танцуя, выстраиваются поссать,
ну а ты – в пэт-бутылку, а после – идешь королём.
время пахнет падением, гривной, рублем.
Если б меня напугали чужою судьбой,
были бы деньги – ходил бы в музей-ресторан,
пил бы, и в зеркале морщил раздвоенно лбы,
как бы избавиться мне от быбы, быбыбы,
через талмуд преступая, библия входит в коран,
время срывает пожарный стоп-кран у арбы.
Низменный горец, привыкший к британским часам,
красные деньги прилипли к твоим волосам,
где твоя родина, были бы деньги и ночи,
ты бы обрезал все «й» у своих многоточи,
выбрал невесту для сына, которую сам.

* * *

Собиралось безрыбье построить безлюдье
на одном из родных пустырей,
и подсолнечный жир проступал сквозь фофудьи,
перепонки и жабры зверей.

Пахло: кухней, открытием, редкоземельем,
подгоревшей москвою в бегах,
человек навсегда остается с похмельем,
будто принц на бобах и богах.

Человек навсегда остается людвою,
и блюненависть в нем говорит:
то озерным лещом, то речною плотвою,
осьминогом на острове Крит.

Вот он входит в пустырь, вот он выключил плейер,
где поет Корнелюк о дождях,
он впервые увидел, как падок на клевер –
пергидрольный туман в бигудях.

Как призывно мерцает над явью и зыбью –
этот пастырский свет алтаря
и тогда человек обратился к безрыбью:
«Больше нет у тебя пустыря...»

* * *

А ведь раньше не было ничего,
то есть – было всё, состоящее из ничего –
пустота в бесконечном ассортименте,
выбирай, что хочешь: водку или водку,
а встретишь докторскую колбасу –
кланяйся, передавай привет,
хлеб – всему голова, не забудь позвонить,
а стаканчики сами найдутся.
И когда уж совсем ничего-ничего,
появляются сонные женщиныны
ничего из себя, симпатичныее,
а затем, появляются дети,
говорят, почему из тебя ни фига,
и стихи говорят у тебя ничего,
только это – война или водка?
Это всё – отвечаю. Последнее всё,
а стаканчики сами найдутся.

* * *

Помню, как я летел в одном лоукосте:
стюардессы разносили сонное зелье,
за бортом – облака из слоновой кости,
а пассажиры – сплошь террористы.
Снился мне секс в амстердамской любильне,
Шарль де Голль, золото Франции, башни и облака,
вдруг слоны попросили вернуть свои бивни –
вот ваши бивни, дорогие мои слоны.
Нас поимели шоколадным членом,
и мы катимся вниз по кроличьей норе,
если я совру тебе правду,
если я сорву для тебя стоп-кран?
Звук приземления цвета, небесного цвета,
кто-то меня аккуратно толкает в плечо,
это Ахмет, доброволец, поэт из игила,
истина рядом, а память – твоя могила –
чувствуешь: холодно-холодно-горячо.

ВІДПУСКАТИ НА ВОЛЮ МАГНІТИ...

Наталя БЕЛЬЧЕНКО

МІЖ ЛУК'ЯНІВКОЮ І ПОДОЛОМ

Татарка весняна – бузкова,
Осіння – в іржавій траві.
Узимку ж вона – снігурова
І люди її – снігові.

Там є Загоровка і Шмідта,
Макаріївська церква стара.
Татарка завіям відкрита
І брату Подолу – сестра.

А з братом своїм я ходила
По пагорбах диких її.
На тих старокиївських схилах
В дитинстві були снігурі.

Наш батько тримав на балконі
У кліточці їх до весни.
Пухнастії грудки червоні
В мороз випинали вони.

Хоча від заводу Артема
Дорога, мов хорда, блищить,
Animula ходить окремо
І рветься туди мимохіть.

Нема вже ні батька, ні брата,
Татарку давно не впізнать,
Та не припиняю чекати,
Коли снігурі прилетять.

* * *

Глубочицкая и Татарка,
Соседний Артёма квартал –
Для взрослого чем не Итака,
Куда бы вернуться мечтал!
Бессилие вытравит сила,
Свободная сила твоя,
Которая возраст вместила,
Всё лишнее в спешке валя.
Как речка Сырец или Совка,

Сквозь город ныряешь, промыт
От всяческой грязи настолько,
Что сердце сквозь ребра блестит
Итакою сквозь Одиссея,
Разгадкою детских путей.
И легче живется, взрослея,
Хоть голому сердцу – больней.

* * *

Ночью в лесу вырастаешь, как гриб,
Греешь дыханьем непуганых рыб,
Перегибаясь с байдарки.
Хвоя, травинки пронзают насквозь,
Чтоб никогда потерять не пришлось
Эти земные подарки.

Дышит грибница, а лёгкие спят,
За посвящённым идешь наугад,
И у тебя остаётся
Всплеск безнадёжный на зыби речной,
Тела упругого запах грибной,
Вязкий глоток первородства.

* * *

Хоч літа окраєць спливає Дніпром,
А губи твої – не відчути,
Та можна крізь воду пройти напролом,
Тим самим позбувшись отрути.

Гребти поміж чистих, міцних берегів,
Повз вимостки тьмяних рибалок,
Щоб виблиск і плюскіт усю засліпив
І сонце по тілі стрибало б.

Тоді воскресатиме воля моя,
Зелена снага ворожбита,
Бо серце випростується звідтіля,
Де присмерком болю закрито.

Є вихід – позбутись доконаних слів
І відсвяткувати вродини
Того, що в несмілому серці любив,
А впевнене серце – відкине.

Сховатись від вправності ладу, що знов
Підійде ось-ось під горлянку.
Плекає ріка чудернацький улов
І не засинає до ранку.

* * *

К саламандре вблизи Супоя
Не Пегас, так бекас домчит.
Пей закатное заревое –
Этим воздухом будешь смыт.

В запах зелени оступиться
Не моги: не пропал – пропах.
Тут столетняя власяница
Выплетается в бурьянах.

Пусть орех – мировое древо,
А шелковица – оберег.
Пусть пойдет на рыбалку дева
И наловит рыбы на всех.

* * *

Ворожити на травах, на листі земнім
І на кроках коханих, що ходять по нім,
На нестерпних очах ворожити,
Відпускати на волю магніти.

Ми у темній ріці безвідмовних шляхів
Наче риби скидаємось, – хто як зумів
Знак подати, дістатися світла:
Глибиною вподобані свідки...

* * *

Річка заходить то справа, то зліва,
Повню оточує серед заплави.
Пам'ять настільки примхлива й щаслива,
Що довіряти немає підстави.

Впала вода, і тепер вистачає
Тільки рибалочці трохи сьорбнути.
Та недолиті дощі небокраю
Попри посуху відшукують груди.

Те, що у спеку пішло за водою,
Нас зацілує грибними дощами.
Хоч би вивіркою тою рудою
Можна завжди повернутись до тями.

* * *

А тело движется на запах,
Без фонаря к нему идет
Кто был давно и прочно заперт,
Но вдохом обнаружил вход,
Где слиплись камфара и мята
И хочется лизнуть тайком
Жестокий мускус невозврата
И затаить под языком.
Надежно голову теряя,
Ее под ложечкой прижав,
Так радостно дойти до края,
Который вместе всплеск и сплав...
И выйти из-за поворота
Растерянной, совсем другой,
Сквозь запах притяженья рода,
Совпавший с этою ходьбой.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТИХИ

1

Когда-то бежал, но вернуться охота.
Есть время побега и время возврата.
И стала понятною без перевода
Неспешность, которую только и надо.

Хоть силы пока не хватает для входа,
Но чуткости хватит для верного взгляда.
Глаза привыкают – исчезла преграда –
К Звезде, принимавшей счастливые роды.

И в душах, и в воздухе вдруг потеплело.
К пещере пастух приближался несмело.
Устроился в яслях младенческий быт.

Младенцу нет дела, что станется после,
Пока его греют корова и ослик,
А сверху Звезда молчаливо глядит.

2

Когда рожденье – руководство
Для любознательных волхвов,
Тогда по городу идётся
На самый неприметный зов.
В заречье Рождества вернулись
Кто от любимых далеки;
Им огоньки в мансардах улиц –
Как бакены ночной реки.
Меандры и речные мели
Прошли беспечные волхвы,
И вот уже они у цели:
Звезда у самой головы.
И одарить среди младенцев
Осталось только одного...
Так хорошо ему под сердцем,
Но время выманить его.

*** * ***

Ой, що то воно за ріка?
Немає у ній каламуті.
Водиця настільки тонка,
Що всі покоління – почуті.
Купатися в ній – голяка.

Століттями на берегах
То юшку варили, то довго
Шукали, де всядеться птах
Звістити щасливую долю,
Шляхи – по піснях і зірках.

У лоно нічної води
Вдивляючись, мусим вгадати,
Чи йдуть вже по нас прадіди,
Чи справді зарано до хати,
І як нам біди уникати,
Коли не уникнеш біди.

* * *

пам'яті поетів Розстріляного Відродження

Полуторка їде, зчепивши борти,
Нажаханою Биківнею.
Чи можна поету від ями втекти,
Віршами домовитись з нею?

Під соснами цими – останній нічліг,
Їх нудить вапном і кістками.
І коїться щось в головах у живих,
Коли в них вдивляються ями.

* * *

Десь кров тече: від злаку і до знаку
Відкритий шлях між степових річок.
Душа-блукачка вимовить подяку,
А той, що греблі рве, пришвидшить крок.
О гребелько, ma belle, закрийся, люба,
Хай випнеться вагітна глибина.
Зупинить кров один цілунок в губи,
На другому закінчиться війна.

ВРОЦЛАВ

1

Мости сповзаються довкола,
Нутром відчувши насолоду.
Мускатним променем спроквола
Ріка в собі сп'яняє воду.

І уривається, де тонко,
Де відкорковуються брами.
Витончується оболонка,
Передчуваючи те саме.

Хтось перший губи розмикає
Між очманілими мостами,
Бо крок лишається до краю
Від річкової амальгами.

2

Мостам не набридає кроки
Анатомічно розбирати,
Розбещують грудневий спокій
Чимдуж не втримані присвяти,
І ти мускатною ходою
Найперше в погляді пульсуєш,
Від темних вій ідеш зі мною
Розпити дословесну суміш.
О цій порі вливає річка
Цнотливі запахи в повітря,
Лиш переповнена словами –
Аж їх не вимовиш – дровітня
Вечірніх вулиць перед нами
Ясминове розтулить вічко.

3

Над андрогінною рікою
Душі нема чого боятись,
Бо простір ділиться надвоє
І обопільною є радість.

І тілу вік пробачить тіло,
Бо на околицях зустрілись, –
Коли ріка не відступила, –
Затамувавши млість і miłość.

Ще можна з того нетривкого
Вогню пройтися берегами,
Щоб віршик склався паперово
І вилетів у отвір брами.

Над карамельною рікою
І містом W на Миколая
Дівчатко відкопало Трою
І досі ще її копає.

Семен АБРАМОВИЧ

АНТІОХІЙСЬКИЙ ТРИПТИХ

РОМАН

Пам'яті бабусі Ганни Федорівни Лудченко

Але що це означає – бути християнином? Яка структура життя протиставляє християнський модус раціоналістич-ному модусові сучасної епохи?

Ми не зможемо зрозуміти цього, якщо не присвятимо кілька слів опису ситуації, в якій знаходилася людина в І-му столітті до Різдва Христового. Грек, римлянин, юдей – усі вони знаходилися тоді в однаковій життєвій ситуації. Яка ж то ситуація? Вона може бути визначена одним словом – загубленість. Не можна зрозуміти християнства поза тією глибинною формою життя, яка іменується «загубленість».

Ортега-і-Гассет

Травматичного впливу може завдати будь-яка подія, що викликає почуття жаху, страху, сорому, душевного болю; і, зрозуміло, від сприйнятливості потерпілого залежить вірогідність того, що ця подія набуде характеру травми.

Фройд

Коли б гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг; коли б, мов кармазин, були червоні, стануть, як вовна.

Ісая

ПРОЛОГ

Скеля над безмежним, блискучим морем, на яку ми видряпалися, щоби побачити рештки ранньохристиянської церковки, вкрита густо запиленою рослинністю. Курява здіймається від кожного нашого кроку по спорохнявілому камінню, товстим шаром осідає на сандаліях та оголених ногах, на шортах і бездоганно випрасуваних сорочках. Саме небо, ледь не наполовину насичене від лінії обрію жовтуватими випарами збитої на порох землі, здається обтяженим спекою та втомою. Під пекучим сонцем рештки будівлі виглядають зотлілими й розпорошеними. Камені зруйнованих стін ззовні фактично перетворилися на пилюку. Грубий залізний цвях, колись глибоко вмурований у похилену плиту з черепашнику, розсипається їржею. Рештки літер ΜΗΡ ΘΥ̂, викарбуваних у камені різцем стародавнього майстра, ледь можна розрізнити на залитій сліпучим сонцем поверхні. Церкву зруйнували у VII столітті перси, що нанесли нищівного удару по квітучій Антіохії; час та природа довершили справу.

Сіре кільце завбільшки з монету сколупнулося під моєю ногою. Я нахилився й узяв його до рук, енергійно стер порох хустиною; показалася прозелень, з-під якої смутно проглянув темно-жовтий блиск древньої латуні. Я обережно поклав до кишені напівзотлілий артефакт.

Час повертатися, поки безжальне сонце не вчинило над нами розправу, гідну середньовічних персів.

...Вдома я трохи почистив оте латунне кільце, звільнив його від нашарувань пороху та зеленої їржі; останньої було проте небагато, бо пролежала ця штука віки під пекучим сонцем. Не знаю, для чого воно було призначене, але ясно, що це частка якогось старого церковного начиння. Тепер воно висить на тонкому, непомітному цвяшку в простінку моєї квартири, самим фактом свого існування свідчачи про давноминуле життя, його сподівання, його служіння вищому, його увлення про красу.

Загалом, коло – символ Вічності, яка сама себе народжує й сама себе поглинає. Змія, що ковтає власний хвіст.

Інколи, присмерком, я вдивляюся у цей темний кружок на білій стіні, і мені здається, що я бачу якісь смутні постаті, чую якісь голоси, переживаю чиїсь любов або гнів, відчуваю чиїсь страх та надію...

Це якісь уривки, фрагменти, що начебто виступають з темряви й плинуть своїм шляхом, ніяк не зважаючи на мою присутність. Але чи дано нам щось знати інакше, ніж в уривках?

СВЯЩЕНИК ІСАГАР

Я завжди радів, коли матуся брала мене з собою до обійстя римського претора. Коли ми полишали тісняву свого юдейського району й ступали на стежку, що звивисто кружляла вгору, на пагорб, де розташувалися погани, все навколо цілковито змінювалося. Вулиці тут було вимощено гладким камінням, вхід до будинку часто являв собою не просто дерев'яні двері, а обрамлявся з боків двома стовпами, що тримали на собі розлогий трикутник, в якому загадково спліталися фігурки людей, птахів і звірів. Всюди виднілися чужі літери – не тремтливі, як в юдеїв, і не усякі там закарлючки, немов пташка потопталася, як у сирійців: чітке поєднання прямих ліній, кіл та півкіл; кожна буква стояла владно й окремо, як римський достойник. Деякі будинки оточено стінами, подекуди стіна в чужинців немов розтиналася широким прорізом, інколи розбитим двома або й чотирма стовпами, й виднівся двір: вози, запряжені чистесенькими брунастими або сірими кониками; напівоголених людей, що снували туди-сюди з якимось начинням; у глибині двору можна було інколи побачити будинок, інколи навіть кількаповерховий, з вікнами назовні, часом з дерев'яним балконом, оточеним навхрест збитим поруччям. Між будинками тулилися стрункі кучеряві кипариси, які там-сям недоладно вибухали свавільною гілкою, що вибивалася убік.

Дім претора стояв на площі й вирізнявся невисокою вежею на куті, яку утворювали чотири стовпи під дахом; мати казала, що звідти господар часом звертався до людського зібрання. Двір цей огороджено залізними ґратами, крізь які можна розгледіти чудернацьких птахів на жовтих курячих ногах, з синім тулубом і довжелезним зелено-строкатим хвостом, що волочився по піску; на голівці чудної курки тремтить, мов гребінець, високе синє пір'я. Якось пташина, що підійшла до самих ґрат, зіткнулася зі мною очима, раптово зупинилася й рвучко розкрила хвіст, що перетворився на величезне чарівне коло,

подібне до неба, вкритого зірками; з розтуленого дзьоба пролунало жалісне *кр-л* – невідомо, хто з нас двох злякався більше.

Мати завжди заходила збоку, через прості й непоказні, мов у нас вдома, двері; носила до кухаря козяче молоко й сир. Як завжди, ми пройшли через гарячий простір кухні, де звідусіль палахкотіло й парувало, до кімнатки, де містився смаглявий череватий здоровань, сирієць Манней, що завжди весело пригощав мене ласощами. Але сьогодні, після недбалого привітання, він почав швидко мовити до матері незрозумілою мені грецькою; мати трохи на цій мові зналася, й видно було, що вона пристає на якусь пропозицію. Ми всі троє вийшли іншими дверима в затишний зелений садок, де я ніколи не бував; мені звеліли тут почекати, і Манней повів матусю кудись до головного будинку, що височів білим громадищем крізь зелене мереживо рослинності. Мене залишили в садку, сказавши, що невдовзі повернуться. Я охоче послухався, бо ще ніколи не бачив стільки дерев та кущів докупи. Шемеш-Сонце пробивало купи листя над головою сліпучими плямами й розсипалося між листячком золотавими кружечками, немовби хтось жбурнув згори кілька жмень новеньких, блискучих монет. Навколо було напрочуд тихо й спокійно, міського гомону, до якого я звик, не відчувалося, і я поволі просувався від дерева до дерева, дивуючись різноманітності кремезних або ж звитих, немов у судомі, стовбурів, щедрому листю, то видовжено-гострому, то круглому, то немов вирізаному візерунком по краях, і міркував, скільки ж ото дорогоцінної води треба, аби підтримувати це рослинне буяння. Раптом я побачив в гущині рослин щось виметне, зробив крок і, вражений, зупинився.

Переді мною відкрився грот у стіні, викладений з грубого темного каміння у вигляді закругленої зверху ніші, в якій височів ідол на повний людський зріст. Я бачив кілька разів ідолів у поган, які отим ідолам вклонялися, але то були маленькі кам'яні або з почорнілої бронзи фігурки, які мати забороняла роздивлятися, бо вони, хоча й не бачать і не чують, містять у собі якусь лиху силу. А тут владно стояла, на гарно витесаному з якогось особливого чорного каменю постаменті, немов жива, гола жінка, з ясного, як вибілений льон, мармуру. Кругле, зверху обійняте дбайливо вирізьбленими кучерями, обличчя вдивлялося незрячими очима кудись попри мене; й тягло, й водночас страшно було зазирнути в ці сліпі зіниці.Я ніколи не бачив жінки без одежі, й чудувався, що тут все не так, як у хлопця, та чомусь невимовно принадливе. Подібно я почувався, коли в нас на свята заграють, бувало, спільно на псалтирі, сопілці та бубні Александр, Захарія та Пінкас, Александрові сини-близнюки Евфраїм та Менашше струсять у кимвали та дзвіночки, й підпилі сусіди кинуться, співаючи, танцювати. Музика одразу перетворювала навколишнє на щось чарівне й загадкове, сповнене тужливої таємниці...

– Ісагаре! Ти що втупився! Ану геть звідси! – пролунав за моєю спиною голос матінки. Я повернувся, обличчя її виражало гнів та огиду. Вона рвучко вхопила мене за плече й сіпнула йти назад, до кухні. Манней іржав, мов кінь, щось торохтячи грецькою; я розібрав чітко лише слово, яке він усе повторював й повторював: *Ашроди́те.* Матінка гнівно мовчала.

Та ось ми вийшли за межі поганського граду, й очам нашим відкрилася з висоти, мов на долоні, уся Антіохія, що немовби вростала своїми чітко окресленими кварталами в порт з його лісом корабельних щогл, за яким, куди око сягне, лежало величезним синім простором море. Мати зупинилася, й пронизливо вдивляючись мені в очі своїми великими чорними очима, різко промовила:

– Ніколи – я тобі скільки казала: ніколи! – не вглядайся в ідола, бо він є справа рук людських, він – глухий і німий, але зло живе в ньому, й незчуєшся, як воно переплигне на тебе.

– Та... просто ніколи такого великого ідола не бачив, – виправдовувався я.

Мати опанувала собою й, сіпнувши різко плечима, перейшла до того, що жінка претора Пульхерія запропонувала їй приносити удвоє більше козячого молока; отож мені доведеться допомагати нести міхи, а що їх у нас замало, що треба буде купити ще два нових, та й не гріх ще б одну кізоньку завести... Я не дуже-то й слухав, бо відчував себе якось незвично. Голова паморочилася, пекуче сонце дратувало не до зносу, ноги були немов з клоччя. Якось доплентався я за матусею до нашого дому й присів на прохолодній глиняній долівці біля величезного глека з водою, притуливши до його гладенької поверхні розпалену щоку. Перед заплющеними очима виникала постать білої ідолиці, що немовби крутилася в якомусь танку під брязкання невидимих кімвалів, яке то зростало, то впадало до ледь чутного, але усе ще тривожного звуку.

Ночував я сам-один на даху, де було прохолодно. Темрява спустилася швидко, й ледь не вмить перетворилася на безмежне небо, що миготіло безмірною кількістю яскравих зірок,і це нагадало мені, як розкрив раптом свій здоровецький строкатий хвіст чудернацький птах зі преторського обійстя. Місяць висів на краю неба, оточений голубим сяйвом, і на ньому тьмяно вимальовувалися, якщо придивитися, постаті Авеля та його вбивці Каїна. Мені не спалося, здавалося, що з місячного сяйва от-от виокремиться й беззвучно попливе до мене крученою небесною доріжкою біла *Ашроди́те*, чогось від мене очікуючи й вимагаючи. Чомусь брали мене дрижаки, хоча повітря було ще дуже тепле; я скинув простирадло й, скоряючись незрозумілому велінню, підставив під місячне світло своє голе, незахищене тіло. Раптом мене щось судомно звело й кинуло; я немовби злетів угору, в почутті неймовірної, досі невідомої, насолоди, й впав назад. Дуже я злякався, підскочив і збіг сходами донизу, напитися холодної води з глека. Коли я повернувся на дах й знову замотався ковдрою, було предивне відчуття, що я – вже не такий, яким до того був, що мене начебто перемінили. Почав огортати мене теплий сон; і примарився мені чомусь еденський сад, у ньому – голісінькі й такі молоденькі Адам і Хава, що обіймаються: це заборонено, але неймовірно солодко й печально водночас. А з глибин мого єства підноситься й хижо озирає пару, яка біліє серед хащі, мов подвоєна *Ашроди́те*, великий і пружний Змій, голову якого має сокрушити жінка... як про це сказано у книзі Берейшіт...

* * *

Проминуло кілька років. Я вже був дорослий – відсвяткували Бар Міцва. Ще пам'ятаю, як намагався утримати тремтіння у своїй руці, коли водив по рядках Тори важкою указкою у вигляді майстерно вилитої зі срібла руки людської з витягненим вказівним пальцем. Мусив відтак бути сином заповіді. Не завжди це було просто: з того самого дня, що ми з матінкою побували в домі претора, незрячий погляд *Ашроди́те* таки зупинився на мені. Й коли підпилі родичі на святкуванні мого повноліття радісно гукали, що можна вже дати мені до рук меча, мені хотілося відповісти: краще б дали мені до рук жінку. Ночі мої проходили у томліннях і нечистоті, але вдень я був, як належить юдейському юнакові, суворий та стриманий у мові та у вчинках. У розмовах з нашими хлопцями я усвідомив, що вони мають такі само труднощі, як і я, але зайвого говорити не личило, і я лише зрозумів, що треба буде з часом знайти достойну дівчину для освяченого одруження за законом. А поки що було над чим міркувати й окрім жіноцтва.

Місто наше було славне між юдеями: як розповідають, саме тут за нечестивого Антіоха Епіфана (нехай буде прокляте ім'я його!) перетерпіли смертне мучеництво, відмовившись

їсти свинину, мати та її семеро синів; ім'я її називають по-різному; подібно, що звалася Мірьям, дочка Танхума; показували їхню зарослу мохом гробницю в скелях, де був старий цвинтар.

Нас навчали берегти юдейський дух і не спілкуватися з поганами. Хоча вже триста років ми мали рівні з греками громадянські права, галасливі й лукаві елліни були все ж таки головною бідою нашою, й правильно сказав рабі Йоганнакáан, коли його запитали, о якій годині краще навчати дітей грецьких книг: «Коли хочете, аби не вдень і не вночі». Не воліючи знати Бога Живого, вони переймалися виключно тлінними речами цього, Богом створеного, тимчасового світу, дбайливо усе вимірюючи та обчислюючи. Боги їхні, як *Ашродúте*, були втіленням наших невгамованих людських пристрастей. Якось мій батько, розглядаючи грецьку монету, прочитав на ній ім'я набатейського царя богів *Дусарес*– це означало, що чужинці вклонялися й місцевій язичницькій мерзоті. В їхній школі вправлялися у вмінні облукати співбесідника; казали, що тут годинами багатослівно сперечаються та витлумачують закони, і кожен прагне, щоби останнє слово залишилося за ним; правди ж Божої ніхто не шукає. Наші теж вміли добряче закрутити суперечку, але ж тут за гріх вважалося підносити самого себе: головне було – зрозуміти волю Бога Небесного, не одразу очевидну для обмеженого розуму окремої людини: в тому й полягає зміст нашого існування. Греки ж, щоби хоч якось пояснити самим собі сенс власного буття, мали театр, де, як розповідали, рядилися в демонічну подобу й закликали темних духів смерті, або ж, навпаки, дико та непристойно реготали до нестями. Якось я спостеріг оте їхнє видовище, видряпавшись на скелю, що височіла над амфітеатром: навшпиньки ходили там, в глибині, за спинами глядачів, що рядами збігали додолу, дуже високі люди (потім я дізнався, що до ніг вони прив'язували маленькі ослінчики), обличчя закрите машкарою, жести – штучні й смішні, але в цілому те викликання демонів було страшне й незрозуміле. Оті манівці – чи ж можна порівняти їх з нашим служінням Володареві Сил, перед оком якого ми ходили в постійній напрузі, як ото цар Давид танцював перед Господом своїм? Не знаючи цього Господа в серці, любили греки попоїсти й побалакати про те й се, гешефтували, байдикували; жили переважно в місті й сільською працею гребували. Та наш *ам-гаарець*, темний землероб, що потом своїм зрощував ниву, виглядав набагато більш гідним, хоча на словесних викрутасах або на нікому не потрібній гімнастиці не знався зовсім.

Серед нас греки сіяли отруйне насіння. Веселий кучерявий хлопець на ім'я Гіль, сусідський син, втягнувся в гурт грецьких молодиків, спокушений їхніми театром та гімнасієм, де вони, безсоромно оголені, змагалися у зміцненні тіла. Закінчилося усе тим, що став він затятим содомітом, який навіть торгував собою в порту; знаний був у місті як *баал-авейра* – чоловік гріха. Ми стримано віталися на вулиці, але я завжди уникав його чіпкого погляду, яким він, мов немов незримим гачком, начебто намагався зачепити щось таке в темних глибинах душі. Врешті-решт, його на смерть побили камінням напередодні свята Суккот. Сталося це опівдні, й нещасні батьки виносили його на погреб, коли вже смеркало, аби встигнути до темряви, як велить закон. Мовчки ми спостерігали, як виносили тіло, загорнуте в білий саван; по ньому проступали темно-криваві плями. На матір його, зазвичай галасливу й веселу Дебру, страшно було й глянути. Батько ж Йонатан, сивий, мов голуб, тупився собі під ноги, не сміючи піднести очі на людей, з якими разом зростав і прожив своє життя.

Зніжених, розпусних та манірних греків наші мудреці іменували *епікейрос* – свиня; кажуть, що саме так звали їхнього найбільшого мудреця, що закликав лише їсти, пити й кохатися з жінками. Я уявляв собі цього Епікейроса огрядним, смердючим, червонопиким старцем з блудливим поглядом та паскудними словами на вустах – зовсім не те, що

наші чистенькі сухорляві книжники з їхньою шляхетною стриманістю, що немовби постійно були напоготові до покликання Духа.

Та й усіх нас, пересічних овець стада Ізраїлева, вчили, що людина в будь-яку мить свого життя мусить бути готова до служіння Всевишньому. Ми не їмо жадібно й похапцем, як дикі звірі, але ошляхетнюємо тваринне поривання тіла молитвою до Бога, що милосердно подає нам прожиток. Ми не їмо будь-що, мов дикуни, але лише чисте, *кошерне*; подивіться на тих, хто уживає свинину, – вони й самі нагадують свиней: товстопикі, рожеві, часто огидно товсті, а ще й норовливі та гнівні; ледь-що – роздується, почервоніє й хіба не зарохкає (дехто, втім, таки й рохкає і навіть кувікає, як ота свиня).Посилаючись на Тору, що вчить у розділі Ваїкра «Не брудніть душі своєї», наші мудреці найбільш ниці прояви тваринного в людині намагалися освятити. Адже накритий стіл – це немов богослужіння, радість споживання дарів Божих, і не гоже тут хоча б у якій дрібниці скотитися до рівня тварини. Зокрема ретельно пояснювалося й усе, пов'язане з травленням їжі. Так, коли хто стримує відправлення природних потреб, то шкодить здоров'ю, й це є порушенням волі Божої. Пам'ятаю, як мені було спершу ніяково при всіх інших учнях детально відповідати вчителеві, як слід випорожнюватися: це треба робити особливо сором'язливо й скромно, не занадто оголяючи тіло навіть коли ніхто не бачить; якщо це мусиш робити у відкритому місці, то слід підійти до паркана чи великого дерева й присісти спиною до нього; по можливості треба остерігатися сідати обличчям або спиною у напрямку до Єршалаїму та Храмової гори. Не можна тоді думати про будь-що, пов'язане з Торою; у суботу же під час випорожнення можна думати про щось дивовижне, нове й незвичне, що бачив або чув останнім часом. Видаляючи залишки нечистот, не дозволяється це робити правою рукою, бо ж нею затягують вузол *тфілін*, так само, як і середнім пальцем лівої руки, бо саме його обв'язують ремінцем *тфілін*. Шульзі можна користуватися правою рукою – для нього вона ліва. І ще багато чого, гідного народу святого.

Над усім цим насміхалися язичники, що не розуміли нашого благочестя і цілком були зосереджені на принадах цього віку та своїх ницих тілесних відчуттях. Їм доволі було бенкетувати й веселитися, накопичувати гроші, торгувати на сході й на заході й усіляко прикрашати себе та домівки свої.

При цьому римляни були гірші, ніж греки: геть примітивні варвари, поведені на тому, щоб панувати над іншими народами. Передавали люди, що вони на своїх неймовірних марнотратних бенкетах, мов дикі звірі, без молитви й подяки, нажиралися до ригачки, ще й штучно викликали її за допомогою пташиного пера, аби, спорожнившись через вуста, жерти далі. І вони вважали себе вищими за нас! Вони гадали, що мають право топтати нас отими своїми м'язистими ногами у візерункових металевих чоботах, споглядаючи наші муки крізь щілину шолома, який закривав пів-обличчя, й те, що від обличчя залишалося, мало вигляд морди хижої звірини... Це були справжні воїни смерті, жорстокі й невблаганні. Усі чекали, аби швидше вже прийшов Машіах у славі своїй та скинув їх у безодню. Особливо ж ремствували *зелоти*, переважно молоді хлопці, яким кортіло битися, але щоб не зі своїми. Вони чекали на Машіаха як на вождя, що поставить над усіма народами світу не Рим, а Ізраїль.

А я собі міркував, що може воно й добре, але ж тоді нас усі ненавидітимуть, як ми – римлян. Та й війни мали б відбутися страшні. У книзі Даніеля сказано, що з часу будівництва Єршалаїма до помазаника-володаря пройде сім семиліть, а після шістдесяти двох семиліть знову будуть відбудовані вулиці і рови, і стане це часом лиха. А після цих шістдесяти двох семиліть загине помазаник, і не буде його, а місто і святиню знищить новий володар, прибулець-народ; кінець же його стрімкий, і до кінця війни триватимуть

руйнування. І зміцнить він союз з володарями в одне семиріччя, але протягом трьох з половиною років скасує він жертви і приношення, і влада мерзенна існуватиме, поки не настане повне знищення і визначене таки спіткає руйнівника. А от у Єшая про Машіаха говорилося як про людину, сповнену любові, що невинно страждатиме. Де ж отой меч Машіаха?

Ще казали, що Він, Мащіах, уже начебто й об'явився, але називали різні імена. Особливо часто – ім'я Йоганнака́ана, який омивав людей від гріха водою на Йордан-річці, але тому було відтято голову в Єрашалаїмі, й сподівання віруючих у нього не справдилися. Окрім того, перед Машіахом мав прийти Ілля, що був колись узятий живим на небо. Та й сам Йоганнака́ан, як передавали з вуст до вуст, казав, що Той, Справжній, хто омиватиме не водою, а Святим Духом, прийде слідом за ним. Дехто несміло зауважував при таких словах, що про Духа в священних книгах начебто не йдеться, і що *Ро́ах*, Дух-Мати, не може бути такою собі «жіночою парою» до *Авіну́ше-ба-Шамаїм* – Отця Небесного, який є Єдиним Сущим, *Ягве́*. Треба було бачити на вулицях та площах наших купців, шевців та кравців, які постійно, відволікаючись відсвоїх буденних справ, затято наводили один одному всі оті книжні докази, аж до того, що часом наливались кров'ю та бризкали слиною. Усі ті розмови закінчувалися розпачливим зойком: хто ж нас врятує?

А відтак в Антіохіїї з'явилися й інші посланці, яких називали *мінеями* і яких наші мудреці веліли цуратися. Подейкували, що вони чаклуни, що вчитель їхній хитрістю дізнався у Храмі, як звучить заборонене для вимови Ім'я Боже, й силою його творив великі чудеса. Й начебто один дідусь, онука якого вилікував міней, проклинав їхнє зцілення та побивався, що краще б дитина ота померла.

Минулої суботи мінеї зайшли до синагоги й всілися на лаву для рабинів. Нехай-бо; усі знали, що вони навчають народ. Отож старійшини, після прочитання Закону й Пророків, запропонували їм щось сказати: всім було цікаво. Я сидів, як годиться, позаду, й щосили витягнув шию, щоби нічого не пропустити. Мабуть, то було смішно, бо лисуватий гульвіса Гемарія, якого оті справи мало обходили, почав штовхати в бік сусіда зліва, незважаючи на те, що рука його було оповита *тфілін*, і нишком кивати на мне, як на дурника. Але вся моя увага була прикута до гостей.

Зголосився до слова їхній поводир Шауль, єрусалимська штучка. Донедавна був затятим фарисеєм та гонителем нового вчення; із загоном вершників прямував до Дамаску нищити мінеїв, але щось йому зробилося, й він раптом прийняв їхню віру. Тепер, після свого хрещення в мінеїв – тут, у нас, в Антіохії, – він, як переказували, обрав собі нове ім'я – Павлос. Біля нього сидів наш антіохійський грецький лікар Лукас, молодий та рум'яний, про якого говорили, що він дуже здібний; відтак він став мінеєм і тим само отримав право увійти сюди й сісти на лаву наставників – як зухвало!

...Павлос, лисуватий, кощавий чоловік з довгою й вузькою чорною бородою, підвівся з місця. Всі затихли. Павлос палко говорив про обраність нашу, а потім перейшов до того, що такий собі Єгошуа га-Ноцрі, що ходив та повчав по Юдеї, якого римляни стратили в Єршалаїмі, а він через три дні воскрес, – і є очікуваним Машіахом, віра в якого врятує. При цьому Павлос звертався не лише до наших, а й до тих поган, що чекали, аби ми прийняли їх згодом до своєї громади й сиділи поки що тихо при дверях. Вже сутеніло. Я напружував очі, щоби не пропустити жодного руху обличчя палкого проповідника, бо ж його *пірке* – тлумачення Писання – таки мене захопило. У якусь мить я виразно побачив навколо голови й плечей Павлоса начебто якесь тьмяне світло, а краще сказати, немовби якесь розрідження пітьми. Перевів свій погляд на голову Лукаса, що сидів поруч, – здалося мені, що те мрячне світло начебто перетікало й на нього. Я хитнув головою, що вже

почала трохи паморочитися, й перестав про те думати, намагаючись зосередитися на словах промовця. Між тим він закінчив, усі заговорили разом, перебиваючи один одного; навіть жінки на своїх хорах почали галасувати; одна навіть голосно заверещала. Старійшини, аби припинити гармидер, запросили гостей прийти наступної суботи й пояснити своє вчення докладніше, й вийшло, що гостям наче запропоновано було йти собі з Богом.

Вони й пішли, без ознак прикрості й гніву. Шауль-Павлос втомлено спирався на плече Лукаса, і, коли вони виходили, в розкритих дверях їхні постаті знову, подібно, огорнуло оте ледь помітне сяйво. Дивно – наша багатолюдна й галаслива храмина стала без них неначе би ото якось пуста.

Я залишився у збуреному стані душі: з одного боку, ці люди мовили впевнено й владно, з другого – тут не відчувалося тієї невловимої зверхності, яка ціхує рабинів. Якщо ж вони правду кажуть, що все вже відбулося, що Єгошуа таки й помер, і воскрес знову, явивши повноту панування над тілесним і духовним, то це означало, що починається цілком новий світ, у якому дитина гратиметься над норою аспіда, і не вкусить він її!

Великий і тяжкий шлях відкрився передо мною після цього спіткання, і я ще не знав, куди він мене має привести...

* * *

Церковка наша височить на вершині скелі, що нависла над морем: це околиця Антіохії, де ми, християни, згуртувалися від самого початку, щоби триматися поруч, у віддаленні від язичників. Вона невелика, грубо складена з дикого каменю, але Дух Святий нечутно віє в її просторі й входить у серця тих, хто любить красу Дому Божого.

Стиха брязкає кадильниця; синій запашний дим від ладану, що повільно тліє на червоному вугіллі, одразу же заволікає завісою усе, що залишилося за дверима. Я, покадивши, вішаю латунну посудину за тонке кільце, що з'єднує ланцюжки, на грубий цвях, вмурований у камінь стіни.

Мені вже за вісімдесят років; руки мої зморщилися й покрилися брунастими плямами; багато гріхів ними вчинено, помилуй мене, Боже!

Я вмиваю руки від нечистоти моєї; латунна миска, скупо прикрашена по краю карбованим візерунком, містить прозору чисту воду, яка помалу забирає в себе оті кіптяву й порохи, що зранку обліпили руки мої; разом з каламуттю відходить від мене гріх мій. Серце поволі стає заспокоєним.

Хоча погляд мій обмежує чорний священицький каптур, я бачу з-під нього, як Шемеш-Сонце вливається гарячим променем крізь мале вівтарне віконце; у світлі танцюють вогненні порошинки. Чистим білим рушником я осушую руки й викресаю іскру з темножовтого кременю; займається жмут клоччя на залізному держаку, який я беру правицею й по черзі підношу до ґнотиків семисвічника. У денному світлі вогники світильників здаються блідими й прозорими, але їхнє живе палахкотіння наче співає, без слів і мелодії, ту пісню, яка сповнює серце кожної істоти, що радіє буттю своєму.

Наша Служба Божа є відмінною від служіння в Храмі Єрусалимському. Там левіти ходили на свято по коліно в крові жертовних волів та овець, а для нас Христова кров остаточно змила гріх людства, і ми приносимо жертву безкровну, хліб та вино, як і заповідав Господь на Таємній Вечері. Мабуть, таки правий був левит Йосія, що його апостоли називали *Варнавою*, сином розради. Той навчав юдеїв-антіохійців: головного в своєму Писанні – провіщення Христа – вони так і не зрозуміли. І ось недавня новина: зруйнували

римляни Храм, як і передрік Єгошуа, але блиск його – нехай і досить тьмяно – відлунюється нині в наших церквах. Немає тут, звичайно, того багатства, яке вражало в Першому або Третьому Храмі. Замість багатих тканин – прикрашене скромною вишивкою лляне полотно, замість дорогоцінного каміння – кольорове скло, замість вигадливо різьбленого й визолоченого кедру – нехитрий рубаний стамескою візерунок по верхньому краю стовпів, зроблених з дерева акації. Золотого начиння теж немає. Уся наша розкіш– бронзовий семисвічник-*менора*, старої роботи, чи не Хасмонейських часів. Копіє та чаша прикрашені таким само скупим карбуванням, що й кадильниця та миска. Робив їх для церкви з блискучої латуні майстер Теофіл, з охрещених греків.

Нині ж бо постав Новий Ізраїль – *Екклезія*, Церква всесвітня, де немає ані юдея, ні грека, але усі народи рівні в Господі. Чудуюся, що колись пихато ставився до греків та римлян. Точно сказав у посланні своєму Павлос, що язичництво – то усе ж таки маслина, нехай і дика. Оливковою олією, цим даром Всевишнього, й харчуємося, й рани лікуємо, й мастимо з молитвою недужого, й грекові чи латинянину не треба пояснювати, що це таке.

Боронь Боже й згадувати, до чого веде ненависть. Арамеї клочилися з нами ще від Давидових часів, і не згасали в нашому краї заздрість і неприязнь. Не так давно, після винищення юдеїв у Дамаску, антіохійські язичники просили були імператора Тита виселити усіх нас з Антіохії, а коли, за здирщика Гесія Флора, проти римлян постали непримиренні зелоти, загинули десятки тисяч людей.

І все ж таки навернені з язичників часом бувають навіть цікавіші від юдеїв, хоча тяжко бродить в них старий хміль. Більше того, деякі – аж занадто цікаві. От хоча б Ніколай, про якого згадує у Діях Лукас як про *пришельця Антіохійського*, – з тих сімох дияконів, що були поставлені самими апостолами. Запровадив у Церкві таке, що гріх у святому місці й помислити. Мовляв, Господь прийме лише того, хто звільниться від гріха, а найкраще звільнення – то безстидна розпуста. Їсти також, мовляв, можна усе підряд... Отака собі гойдалка: чим більше нагрішиш – тим ближче до святості. Ось він, отой меч, що його таки приніс Машіах. Свої між собою розділилися: одні шукають правди Божої, другі – сатанинської кривди...

Або ж той само Теофіл, літній чоловік з черевцем, чемний та охайний, руки якого, проте, завжди чорні від праці з металом. Тепер він має огрядну чорнооку дружину Зою та п'ятеро дітлахів, а замолоду, пам'ятаю, був тонкий, мов шило, й не вилазив з гімнасію. Водночас, як виявилося,він дуже багато читав та порівнював прочитане; були серед його книг твори їхніх філософів та поетів. Коли Теофіл ще був лише оголошеним до хрещення, мав я з ним довгі бесіди, й переконався, що нам їхнього досвіду таки бракує. А також – що й ми бували нетерпимими невігласами, коли поспішали їх засуджувати. Коли я прохопився, яким мені видавався їхній Епікур, Теофіл лише терпляче всміхнувся, й пояснив, що мудрець той мав хворий шлунок, і мусив споживати сам лише хліб з водою, але й тим прагнув насолоджуватися, а не нидіти й ремствувати. Хіба ж і Тора не закликає радіти життю як дару Божому? Якоїсь доброї години Теофіл замислився, що ж ото за народ, серед якого вони, греки, живуть. Оволодів він юдейською книжністю й навіть вирішив був перейти в нашу віру, бо зрозумів, що Бог наш – Бог великий, що лише йому належить вклонятися, а не обожнювати сліпу силу демонів. Але тут йому, як і мені, відкрилося ще й слово Євангелія, і з синагогою шляхи його розійшлися. Загалом же колись кидало його, видно, в різні боки, мов корабель у буремному морі. Якось ми згадали про нещасного Гіля, й між кудлатими бровами грека немов пробігла сумна хмарка. Я не став допитуватися: знайде за потрібне – сам розповість. Адже сказано: сповідайтесь один перед одним. Але нічого він мені так і не сказав...

Є, втім, серед греків-християн і справді святі люди. Ось церковна вдовиця Іраклія, яка ще замолоду перейшла до юдеїв разом з усією своєю сім'єю, пошлюбилася з юдеєм, була ним кинута, вийшла заміж удруге вже за грека Єроніма, що сповідав Христа, й прийняла його віру. Жили суголосно й непомітно. Поховавши чоловіка, бездітна Іраклія вже років з десять горнеться до церкви, прибирає, миє, виконує всякі доручення, вміє втішити добрим словом... Нелегке в неї було життя. Замолоду торгувала дарами моря, а що всі оті мушлі, креветки і гади морські юдейським законом уживати в їжу заборонено, то втратила заробіток і ходила по людях прибирати домівки та прати за якийсь десяток-півтора лепт. За другим чоловіком трохи пожила, бо він плів кошики з лози та непогано заробляв, а коли залишилася сама-одна, стара й слаба, то й прибирати по хатах було вже не сила. Трохи розуміла грамоту й любила, водячи неслухняним пальцем по рядках, читати грецьке Євангеліє за Матусом, зашкарублий пергаментний свиток, що залишився їй від другого чоловіка, й при цьому крутила шиєю й мурмотіла. Я пошкодував її очей: подарував бронзову юдейську указку, що її вживають при читанні сувою Тори в синагозі; була в мене вдома така штука здавна. При цьому я напівжартома заборонив жінці хитати головою та мурмотіти, бо саме так роблять маги. Але невдовзі побачив, що Іраклія знову муляє свій пергамент пальцем – указку продала, бо не мала за що купити хліба. Громада церковна і я особисто почали їй відтоді трохи допомагати, але завжди довго відмовлялася від милостині. Колись живі й блискучі очі її пригасли, вона незмінно в чорному, ходить швидко, але тихо, тримається завжди збоку, але першою покладе пожертву, першою прибіжить до хворого, обмиє померлого. Коли говорить про справи віри, на її зів'ялому обличчі раптом розцвітає зовсім юна, довірлива й трохи сором'язлива посмішка. Казала мені не раз, що дуже любить Службу Божу – «начебто хтось помастить у грудях олією». Тут вона – ніщо, але бачу, що по смерті, вочевидь, буде в небі...

Зараз я правлю в абсиді; перед очима моїми вогнистий схід сонця, і це означає Христа, який заходить до всякого нашого храму через східне вікно апсиди. За моїми раменами доста людей, осяяних сліпучим світлом, які, мабуть, мружаться на яскравий промінь з вікна. Нехай для великої Антіохії ці кілька десятків – жменька. Колись ми, молоді й завзяті, незважаючи на велику небезпеку й лютих гонителів, збиралися таємно по двоєтроє, не маючи ані належного священнодійства, ані уставу, ані церковного начиння, й просто гаряче молилися спільно, узявшись за руки. Це ж у нас, в Антіохії, вперше стали уживати слово *християнин*. І – множиться стадо Христове!

Я оглядаюсь на себе тодішнього, я дивлюся немовби збоку на себе сьогоднішнього, – ні, ні в чому, здається, не погрішив я проти схованого в нас образу Божого, й твердо прагнув за життя приборкувати сатанинські позиви й виклики, що незупинно ворушилися, але відтак, здається, навічно вмерли в глибинах моєї особистості. Таким і належить бути священникові – взірцем для своєї пастви, отцем духовним.

...Я беру своєю блідою й слабкою рукою – зранку-бо й макової росинки в роті не мав – овальну хлібину, велику й важку. Агнця Божого, що взяв на себе гріх світу. Хліб у нас квасний, хоча дехто, особливо ж латиняни, вважають, що в Євхаристії слід уживати опріснока – *хліба свободи* праотців єврейських, які тікали від фараона в безвість пустелі, не маючи часу місити дріжжеве тісто. Бо ж, мовляв, Таємна Вечеря Господа в Єрусалимі була святкуванням юдейського Песаху, й хліб, як кажуть євангелісти, *ламався*, а не різався ножем, як звичайний квасний. А будь-що квасне, знак гріха, на Песах у євреїв викидається й замість хліба уживається прісна *маца*. І якщо Таємна Вечеря таки була святкуванням старозавітного Песаху, тоді дійсно треба уживати в Євхаристії опріснока. Проте більшість наших вважає, що все ж таки той день був *день перед Песахом*, бо ж чому би ото юдеї

з Пілатом розгорнули судилище над Господом назавтра, в свято? і чого б ото Симонові Киринеянину, на якого поклали Хрест Христовий, у свято працювати в полі? Та й Лукас каже в Діях, що апостоли усюди здійснювали *ламання хліба* – чи ж то десь близько року тривав суцільний Песах? Дивлячись же на отой плаский, в'язкий повсякденний хліб, що його печуть всюди на Сході, розумієш, що його набагато зручніше рвати руками, *ламати*, ніж різати ножем...Отож, оця повсякденна хлібина і є Спаситель во плоті, Святий Агнець: *Прийміть, їжте, це є Тіло моє!*

Латунним копієм, скупо прикрашеним по краю нехитрим карбуванням, я видовбую з хлібини частки для причащання й покладаю їх до грубуватого бронзового потиру з розведеним теплою водою густим червоним вином: *Пийте з неї усі, це є Кров Моя, Нового Завіту!*

Спокій, великий спокій та довіра панують у храмі. Діточки попереду поставлені: не заважайте таким приходити до Мене, – сказав Єгошуа; у декого на чолі думка, бажання осягнути; дехто стомився, позіхає, й матері, соромлячись людей, стиха штовхають таких, аби стояли рівно...

Я незграбно пересуваюся навколо престолу, долаючи різкий біль у колінах; цупкі ризи стовбурчаться за кожним рухом. Тіло моє останнім часом дуже ослабло, скоро воно відпочине остаточно, але тим потужніше палає в грудях ніжна вдячність й любов до Творця та до його заблуканого серед колького терену Творіння...

Благословен єси, Господи, що вивів мене з темряви! що започаткування Якова, брата Господня, першого очільника Церкви Єрусалимської, відтак принесені до нашої Антіохії! що, увійшовши до Церкви недосвідченим юнаком,я став її священиком!..

Благословен єси, Господи, що я посильно продовжую справу Шимона-Петроса, першого з апостолів, який очолював Антіохійську Церкву сім років, перш ніж стати римським єпископом. Я бачив його тут, разом з усією його юдейською родиною, зі статечною тещею й непосидючими, замурзаними, босими діточками: вони говорили лише арамейською мовою. Бачив так само на власні очі й Павлоса та Лукаса. А тепер ми благоговійно читаємо в церквах те, що ними було написано... Наша Антіохійська Церква постала однією з перших, вже за кілька років по Воскресінні Христовім, і тут чи не вперше почали проповідувати Христа не лише юдеям, а й еллінам. Я став свідком народження нового світу, в якому все освітлює сонце правди – Христос, що воскрес з мертвих!

Інколи я кажу собі, що усе це мені привиділося уві сні, й зараз я прокинусь, і буде мені дванадцять років, і опинюся я в зачарованому саду перед загадковою усмішкою білої ідолиці. І мляво посміхаюся: не пізнав я жінки, пішов шляхом дівоцтва й самітництва. Є ж бо скопці, які самі себе зробили такими – заради Царства Небесного... відганяю, мов навіження, те, що чув про страшний обряд самооскоплення чоловіків на честь поганської Кібели, яка у греків зветься *Ашроди́те* ...

Диякон розкотистим басом, гучно, чітко промовляючи кожний склад слова, аби всі чули, підносить моління за єпископів наших Еводія та Ігнатіоса. Добре, добре... Диякони у нас в Антіохії припинили опікуватися господарськими справами, що було в церкві від початку, і стали прислужниками в священнодійстві. Так було і в Храмі Єрусалиському, де *левіти* прислуговували священикам-*коганам.* Гарний в нас диякон Михаїл; він, як і я, з юдеїв, молодий, високий, ставний, з чорною гривою волосся та з могутнім голосом, що, мов янгол Божий, кличе людей на молитву. *Єпископ* же – постать нова, до якої треба звикнути... В єдиному на весь світ Єрусалимському Храмі вистачало обрати раз на рік первосвященика – виключно для церковних справ. А наша церква шириться не тільки в малому Ізраїлі, але по всьому світові. І мусить мати в кожному краї свого власного управителя, або, як кажуть греки, *єпископа*...

У нас аж два єпископи, що очолюють юдейську та греко-сирійську громади. Святі люди...

Еводій опікується юдеями. Тут багато хто прикипів душею до звичного. Голова в чоловіка має бути завжди покрита на знак відчуття страху Божого. Святкувати слід тільки суботу. М'яса з молоком з'їсти – та нізащо. Обрізання – то як без нього? Трохи те все підтримував сам наш первоєпископ Шимон-Петрос, вихований не в столиці, а в провінційній Галілеї. Але взяла гору думка Шауля-Павлоса, про якого я так часто згадую, – рафінованого столичного юдея, який виховувався не лише фарисеями при Храмі, а й колись був добряче навчений і на грецький кшталт. І при нагоді, як розповідають, задоволено мружачись, цитував еллінських поетів та філософів. З чужими йому було чи не легше, ніж з нами. Одразу ж визнавали в ньому «громадянина світу», людину свого кола. Об'їздив з проповіддю чи не все узбережжя моря, був навіть у Афінах, де навернув багатьох. Недарма його вже почали називати апостолом язичників...

Отож, антіохійські християни поставили ще й другого єпископа – для тих, що прийшли з середовища поган, – сирійця Ігнатіоса, якого паства прозвали *Теофорос* – Богоносець. Його ж бо ще немовлям тримав на руках сам Спаситель; він – *муж апостольський*, який прийняв віровчення від родича Господнього, улюбленого учня Спасителя, Йоганнакáана Теолога... А недавно Ігнатіосові визначено іменуватися навіть *митрополитом* – на визнання провідної ролі нашої великої Антіохії на всьому Сході.

Засмаглий, сивий, з великими й живими чорними очима, рвучкий в рухах, попри певну огрядність, Ігнатіос невтомний у справах церковних... Можливо, те, що він малятком побував на руках у Господа (навряд чи сам пам'ятає – родичі, мабуть, йому пізніше переказали), визначило, що він ревно обстоює погляд: Христос таки *втілився*, а не був такою собі примарою, як це змальовують оті з еллінів, що вчать, буцімто Христос – як Бог – не страждав насправді тілесно, і його страхітливі муки, мовляв,лише здавалися такими, для повчання простим людям. До них вже встигли прикласти глумливе прізвисько *докети* – грецьке слово *докéо* означає, кажуть знавці-тлумачі, *уявленість*, тобто, те, що видається, а не те, що є насправді. Вплутується тут непрохано у віру нашу філософське розумування; мудрагелі-язичники не стільки серцем осягають Христа, скільки прагнуть перевести усе те нове й неосяжно-величне, що дано нам, мов нужденній людині – хліб з неба, на звичну для їхніх риторів пусту балаканину, забаву багатіїв...

Вчить також Ігнатіос, що тільки в тілі Церкви можна врятуватися, а не через отаке собі окремішнє споглядання зі сторони. Отож, треба брати якнайчастіше участь у Службі Божій, сповідатися, причащатися, допомагати сироті й удовиці, нести послух та епітем'ю, влаштовувати повсякденний побут і свята церкви... Не будучи занадто твердим у грецькій мові (а що поробиш – усі народи нею користуються, навіть апостоли писали грецькою!), Ігнатіос зумів знайти в чужому мовленні слова важливі, основоположні. Це він придумав слово *католичність* – воно так вдало показує, що Церква Христова – не «грецька», не «сирійська» й не «латинська», а – *вселенська*, єдина для всього світу. Хоча не заперечує він, щоби ми, юдеї, або хто інший, правили своєю мовою й дотримувалися якихось власних звичаїв. Але така місцева церква неначе тимчасово перебуває на чужині, поза стінами Граду Небесного...Та головне, що робить церкву Церквою, – каже Ігнатіос, – це свята Євхаристія, повторення Таємної Вечері Господа, таємниче перетворення звичайних хліба й вина на Святі Дари. Тобто – на Тіло й Кров Христову, поживу нашої віри...

Диякон Михаїл різко підносить голос, промовляючи прохання про недужих, подорожуючих, полонених, про чесне й гідне закінчення життя нашого. Вочевидь, особливо гучно ще й для того, аби я отямився! Щось почастішало отаке: починаю я під час якоїсь

справи про те-се розмірковувати, та й морить мене сон. Хрещена дочка моя, добра, а проте трохи нетерпелива Мір'ям, яка часом приходить мене доглянути, у таких випадках верещить пронизливим голосом: *Не спати! Не спати!* Отож треба: коли гнівається, голос її розриває вуха, немовби дзижчання гнучкої пилки...

Здригаюся я, і, щоби не видно було людям, стискую легенько плечима під фелоном, цим символом подорожі, й кілька разів щосили заплющую та розплющую втомлені очі. Зараз читатимуть послання апостольське, а там і Євангеліє. Не задрімати би мені ото знову...

Люди відгукуються на виголошення диякона: *Господи, помилуй!* Ми запровадили Службу Божу по черзі гебрайською, грецькою та сирійською. Сьогодні-бо звучить мова Тори: *Адонаа́й ханене́ні хоте́!* Вчора «Господи, помилуй!» бриніло сирійською: *Мар раххе́мал хаттайа́!* Завтра буде грецькою: *Ки́ріє еле́йсон!*

Отак і починалася Церква: з *глосолалії*, зі свята П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшовна апостолів, що заговорили мовами народів світу. То був знак, що пора йти до всіх народів землі та сповіщати їм Того, Кого досі знав один Ізраїль: Бога Живого! І всі ми, юдеї, греки, сирійці, поросимо про одне: *Умасти, Господи олією милосердя Твого болючі рани наші!*

Коли виповниться Літургія Слова, я, долаючи неміч, піднесу догори тремтячі руки і проголошу євхаристичну подяку Господеві за милості, якими Він щедро осипав своє невдячне творіння... *Боже, яке воно усе прекрасне!*

ТЕОЛОГ ГРИГОРІЙ

Звати мене Григорієм, я народився у сім'ї антіохійського достойника Василіадіса. Дитинство та рання молодість мої пройшли безхмарно, за одним-єдиним винятком, що закарбувався у моїй пам'яті.

Не скажу напевно, як усе почалося, але начебто знову чую отой лемент, що учинився в нашому дворі, коли величезний кудлатий дядько, узявшись нізвідкіль, раптом боляче ухопив мене, шестирічного, під пахву й рвонув через двір, до мало кому відомої хвіртки в стіні, за якою починався лісок, а там і дикі гори. Літня садиба, старовинне гніздо роду Василіадісів, розташована була на самісінькій околиці Антіохії; сім'я наша перебиралася туди на спекотні літні місяці. Розповідали, що цього літа усе починалося, як і завжди, чудово, але треба ж було, аби одного сонячного ранку колишній батьків найманець, сторож садиби, чимось там ображений, вихопив мене з рук безпорадних няньок і спробував сховатися в горах, вочевидь плануючи вимагати за мене викуп, а може ще щось там собі міркуючи... До вечора він тримав мене в глухому куті між горами, в тіні густих дерев; мені спочатку було дуже страшно, і я постійно заходився гучним плачем, але мій кривдник поводився неочікувано чемно та приязно, розважав мене усякими примовками, власноруч оголював мене, коли я просився до вітру, ба навіть, пам'ятаю, трохи пестив і лоскотав зашкарублою й брудною рукою. Утім сонце почало хилитися за гори; стало зимно, й мій викрадач щільно пригорнув мене до себе, щоби трохи зігріти. Пахнув гостро, мов звір; але стало мені тепло й затишно; він гладив мене по голівці й щось заспокійливе мурмотав. Раптом на обличчя моє густо цівкнула його кров – як виявилося, з пробитої стрілою шиї, зарослої чорним волоссям, і він повалився, де сидів, придушивши мене своїм важким тілом. Я вдруге за день сильно злякався, але хтось сильно сіпнув убік раптом обважнілого викрадача; мене підхопили лагідні руки, жіночки засипали мене пестливими словами; вдома – швидко й ретельно обмили, нагодували ласощами... Я дізнався, що нас із

кривдником шукали цілий день і таки знайшли, а врятував мене наш раб-ефіоп, колись вправний воїн й неперевершений стрілець з лука; притуливши пальця до вуст, він жестами запевнив батька, що, у всякому разі, в мене не влучить, а нападника напевно покладе на місці. Стріляв він зверху, зі скелі, під якою притулилися ми з моїм кривдником; відстань була меншою за вавилонський стадій, отож, батько йому довірився... Невдовзі я мав цей випадок наче за поганий сон: чи то було, чи то привиделося – а забути не виходить.

Між тим все йшло як годиться. Усі казали, що я отримав від богів неабиякі подарунки. Скільки себе пам'ятаю, я завжди привертав увагу людей: обличчя та постава мої нагадували, як улесливо казав один з наших знайомих, статую Аполлона, ще й голова моя від дитинства була густо вкрита довгими білявими кучериками; в змаганнях у гімнасії та палестрі я зазвичай бував переможцем; дівчата за мною від ранніх літ колотилися.

Однак щось мені з тими дівчатами не складалося. Я ніяковів та червонів у їхній присутності, уникав ближчого знайомства, й мені здавалося, що вони якісь вищі істоти, до яких я, такий мізерний та занапащений (чому ото занапащений – я й сам не розумів), не маю права доторкнутися. З якимось сум'яттям слухав я розповіді свої товаришів про їхній досвід у коханні й шалено їм заздрив, хоча робив вигляд, буцімто мені то малоцікаво й навіть дещо огидно. Лід зламала молода служниця, свіже сільське дівча, яка одного разу в тихому кутку притулила мене до своїх пружних грудей... Кілька тижнів я шаленів від нових почуттів, але служниця невдовзі кудись щезла – думаю, що батьки усе примітили й побоялися, що вимагатиме вона не таємних зустрічей, а чогось більшого. Потім... потім було різне, про що я краще промовчу. Скажу лише, що одружився я врешті-решт з дочкою архонта-епоніма Алкестою, високою й ставною дівчиною, і прожив з нею шістнадцять років. Щоправда, дітей у нас не було, а розмовляти з моєю красунею дедалі ставало менше про що. Вона незмінно лишалася холодно-відстороненою на подружньому ложі, й я сам собі почав видаватися якимсь дурнем, що виснажується в майже акробатичних трюках, аби якось роздмухати в ній хоча б подобу живого полум'я пристрасті... Ота звірина хіть, оте відчуття подолання заборони, отой дикий, сморідний та запаморочливий Ерос... анічичирк! Годі й мріяти... Пристойна аристократична жінка так себе не поводить!.. Вона завжди чисто вимита, напахчена, ввічлива й готова тебе терпіти... до певної межі, звичайно ж, а потім спокійно собі засинає або ж розпочинає балачки про господарство чи про чужі достатки, хай їм усім ґрець! З часом якось так вийшло, що й спати ми почали в різних кімнатах.

Чи не більше почала вабити мене друга давня пристрасть – політика. Коли величезна багатоголова гідра натовпу зачаровано слухає тебе, затамувавши подих, і готова за помахом твоєї руки будь-кого роздерти або ж, навпаки, понести на руках, захлинаючись від щастя, – то відчуваєш себе напівбогом. Я полюбив маніпулювати чужею волею та – хитрощами чи й силоміць – нав'язувати власну думку оточенню; йшлося, звичайно, про спільноту чоловіків, а не про отой замоцьканий гінекей, де мене, по суті, було зневажено, й ким – отою прісною та позбавленою живого поривання плоті жінкою!

Тішила мене від дитинства мрія стати імператором. Рим підкорив нас, підкорив увесь світ; величезні статуї його володарів стояли посеред головної площі в будь-якому значному місті, в тому числі й у Антіохії. При цьому, тільки-но випадало мені під цією статуєю опинитися, то якось бентежили мою дитячу сором'язливість гігантські голі литки й коліна статуї високо над моєю головою – я завжди боявся піднести погляд вгору, щоби ззовні не виглядало, буцімто я намагаюся безстидно зазирнути під імператорську спідничку з довгих смуг, серед яких рівно посередині виділявся трохи коротший, ніж ті смуги, утворений з дрібних квадратів, прямокутник, який відверто підкреслював причинне

місце. Проте всякий перехожий, на знак визнання божественності того, кого зобразив скульптор, мусив узяти жменьку пахощів і всипати у вогонь – як священну пожертву. А спробував би ото не всипати. Коли у нас з'явилися перші християни, то вони проти влади ніяк не ремствували – усяка влада від Бога! – але імператора за Бога визнавати не бажали, ладану перед статуєю кесаря не курили, й варта постійно хапала цих упертих, яким від того моменту судилося або бути роздертими на цирковій арені дикими звірами, або, якщо то був римський громадянин, покласти голову під меч ката.

Саме отак підпав під загибель наш кухар Теофілакт. То був добрий чоловік, який сяяв усіма зморшками на своєму темному обличчі, неначе закопченому за роки, проведені серед казанів та пателень, коли пригощав мене, малого, якимись ласощами, що їх завжди носив у полотняній торбинці, підчепленій на шкіряному поясі хитрим металевим гачком, – спеціально для дітлахів. На старості років подався до християн. Власне, відколи його охрестили, він намагався ту площу оминати десятою дорогою, але раптом у його небоги (самотній Теофілакт побивався за нею, немов за рідним дитям) стався напад, а що лікар жив поруч з нашим будинком, і його двері виходили якраз на площу, то доля дідуся Теофілакта була визначена одразу. Батько спробував перемовити про нещасного з претором, але якраз тоді спалахнуло третєТраянове гоніння на християн. І ось мій добрий Теофілакт загинув у Римі, куди його відвезли в залізній клітці, мов небезпечного звіра, загинув у цирку, як харч для левів, і, як переказували, за присутності самого Траяна, перед статуєю якого наш кухар так і не побажав покадити ладаном.

Саме відтоді мені вже ніколи не хотілося бути імператором: пихато насолоджуватися загибеллю такого страшного ворога, як бідний Теофілакт...

Особливо ж вразило мене, коли певного дня до священної та недоторканої статуї Траяна приставили довжелезну драбину, й муляр Євтихій почав рубати на шматки зубилом та молотком шию величезної голови колишнього володаря, що дивилася поверх людей і будинків незрячими зіницями; була та голова якраз такого розміру, як блискуче на сонці від рясного поту тіло Євтихія. Потім голову цю міцно обкрутили канатами, піднесли у повітря на лебідках, вмістили на міцний віз, запряжений волами, і повезли кудись світ за очі. На місці зруйнованої голови виявився міцний залізний стрижень, вмурований у плечі статуї; дорослі мені пояснили, що сюди насаджується нова голова – чергового володаря. Й справді: через недовгий час той само Євтихій разом зі своїми підмайстрами обережно ладив на стрижень величезну благовидну голову наступника Траяна – всиновленого ним Адріяна, якого покійний імператор колись залишив у Сирії управителем краю та війська. Окремішня бородата голова, немовби у страшному сні, загрозливо розхитувалася у висоті на канатах, регульованих блоками; у світлі сонця очі її то западали тінями, мов дві глибоких ями, то зловісно поблискували пустими зіницями. Робітники обережно рихтували повільне розкачування важкої брили, всадивши, врешті-решт, металевий стрижень у спеціально видовбаний вузький отвір, який ми добре бачили знизу. Тепер статуя виглядала трохи дивно: білісінька голова різко контрастувала зі вже добре потьмянілою фіґурою, але наш новий бог одразу ж отримав свою порцію пахощів – з рук робітників, а потім і з наших рук – як найперших свідків обожнення. Як кажуть римляни, *во́ленс-но́ленс*...

Утім того ж самого року Адріян, почуваючись невпевнено на Сході, де римлян не любили, відкликав своє військо з Месопотамії та виїхав геть, розпочавши своє уславлене життя імператора-мандрівника. Та водночас він зумів здійснити низку важливих юридичних реформ, котрі поширювалися й на провінції: було знищено преторську юрисдикцію, обмежено монопольну владу Сенату і загалом аристократії та розширено права простолюду

й жінок. Суспільство заворушилося; почався якийсь рух, розгорнулися змагання та конкуренція, і люди почали судитися. Виникла потреба в юристах.

Відтоді я вирішив податися в суддівство. Заняття це теж було достатньо блискучим і обіцяло славу, а при належному вмінні – й добрий статок. Мій дядько Александр багато років був судовим оратором і побудував цілих три будинки в центрі Антіохії, що ломилися від майна. Були там навіть кілька статуй роботи афінських майстрів епохи Перикла, здається, одна бронзова голова приписувалася самому Фідію. Пам'ятаю також світлосмагляву фігурку атлета з дорогоцінної коринтської бронзи – сплаву міді з золотом та сріблом. Були тут витончені єгипетські скляні флакони для пахощів, примхливі римські світильники на майстерно вилитих з металу розчепірених лев'ячих лапах, величезна гаптована золотом фінікійська пурпурова завіса, місцеві сирійські литво та зброя в химерних візерунках і наші знані у світі лампи з тонкого кольорового скла, вкритого позолотою або наскрізь пронизаного мозаїкою з найтонших скляних ниток; багато чого ще там було, довго пригадувати. За імператорським указом, дядько, як уславлений ритор, мав право не поступатися дорогою нікому, навіть римському прокуратору. Виїздив він пишно, з почтом, на білих конях, червону збрую яких прикрашали срібні бляшки з алегоричними зображеннями Слави, Перемоги, Багатства і ще якихось там малих божеств та геніїв. Хвалився тим, що йому до столу привозили живих мурен з Північної Африки, деяких залишали вмерти своєю – голодною – смертю, бо при цьому можна було милуватися, як вони постійно міняють колір: ця розвага була запозичена від римських друзів-сенаторів.

Я вправлявся у красномовстві в найкращій риторській школі, й там до мене, як до александрового небожа, ставилися дуже уважно. Робив я неабиякі успіхи в тому мистецтві, і в наших учнівських змаганнях зазвичай перемагав, особливо коли настала пора говорити не по-писаному й завченому напам'ять тексту, а імпровізувати. Особливо вдавалися мені святкові панегірики на честь вельможних осіб та їхніх діянь. Отож, коли я розпочав свою адвокатську діяльність, то ніщо, здавалося б, не стояло на заваді демонові честолюбства, який роздмухував мій азарт до життя й перемоги. Але врешті-решт одна якось виграна мною без будь-яких труднощів судова справа примусила замислитись.

Такий собі бідак, на ім'я Філіпп, володів клаптиком землі в центрі міста, володів з діда-прадіда, й убогий, непоказний будиночок його, затиснутий між двома великими палацами– члена міської ради Харитона та жерця храму Афродити Есхіна – викликав у аристократів справжню огиду. Харитон вирішив зігнати цього, як він жартував, пожирателя нечистот, з гарного місця й приєднати ділянку до своєї господи: кортіло йому розширити стайню. Ні, звичайно, по справедливості: щось таке тому невдасі заплатити, й нехай іде собі в інше місце й не псує своєю незграбною халабудою вигляду однієї з найкращих вулиць Антіохії. Справу доручили мені; за кілька хвилин я знайшов потрібну мотивацію в законі й присудив небораці звільнити ділянку протягом місяця. Харитон задоволено розглядав свої персні, не приховуючи презирливої посмішки. А ось жертва мого правосуддя вразила мене. Худий, мов тріска, зі скуйовдженим сивим волоссям, нечесаною бородою та згаслими сірими очима, чоловік той подивився якби ото крізь мене – з повною безнадією, як жертва Року в театральній трагедії, й лише вуста його прошелестіли: *ко́ппос,* тобто, по-грецьки, – *брехунець*; ні гніву, ні образи, а сама лише огида й відчай – якби ото сказав: *сарана летить* або *змія повзе.* Я вже чув це слово; знав, що нас, риторів, саме так іменують в народі, але те прізвисько сприймалося радше як похвала, визнання нашого вміння, будило навіть азарт. А ось тепер я, начебто якимсь чудом, побачив себе очима того чоловіка: молодий, успішний, красивий багач, що живе кривдою й роздувається, мов павук, який висмоктує ще живу муху, котра потрапила в його мереживні тенета...

Я виходив із будинку суду, спускався його високими сходами, і ноги мої були неслухняні. А коли за якийсь тиждень я побачив, як здоровані-раби Харитона весело й жваво руйнують той мізерний будиночок, непрохані сльози стиснули мені груди, і я побіг з того місця, відчуваючи себе так, начебто зґвалтував та зарізав безпорадну дитину.

Саме тоді спливли раптом у моїй свідомості повчання християн, яких ми мали за пришелепкуватих: *не вбивай, не кради, не лжесвідчи в суді...* Та хто ж так насправді живе? Головне – щоби тебе не викрили, щоб уникнути ганьби. А злодії навіть мали свого бога-покровителя, якому, до речі, молилися й купці: Гермеса, котрий, за міфом, тільки-но народившись, одразу ж виліз з пелюшок та вкрав стадо корів брата свого, Аполлона, й, загнавши череду в глибину гроту, де його поклала мати-породілля, зі щирим виразом обличчя відповів богові Сонця, що й на очі тих корів його не бачив...

Якщо в нас такі боги, то хто ж є ми самі!?

Словом, перемучившись докорами того внутрішнього демона, про якого колись повідав людям Сократ, почав я помалу розмовляти з християнами та почитувати сувої їхніх книг. Яка ж то незграбна була грецька мова! Такою спілкуються на ринках! Якийсь там Маркус розповідає про їхнього Христа, а слів не вистачає, туди-сюди ліпить свої, єврейські; добре, що ми всі арамейську мову знаємо не гірше, ніж грецьку, й через неї почасти розуміємо й мову євреїв, якими, щиро кажучи, досі відверто гидували...

Талітá кумі! / Тобі кажу, вставай! – каже Ісус до померлої дівчинки, й та, на радість нещасним батькам, таки оживає... І раптом відчуваю я, з моторошними, незнаними досі ніколи дрижаками в спині, що знівечена й скалічена душа моя випросталася й встала з ложа смерті, як ота дівчина!

В убогій грецькій мові Євангелій туди-сюди та й траплялося нове слово, якого часто уживав і римський стоїк Сенека, що позбавив себе життя за наказом учня свого, імператора Нерона: *совість, сумління!*

Цього слова й цього відчуття ми не знали.

Ми, що вклонялися сонцеві й місяцю, воді й ріллі... Як сказав Платон, у місті – люди, які можуть мене чомусь навчити, а чому можна навчитися у мертвого каміння? Я б додав, що небагато повчального можна знайти й у живих істотах, охоплених шалем тілесного буття. Ми в безумстві своєму шанобливо носили на чолі діонісійських містерій величезне зображення чоловічого фалосу, і це вважалося не тільки пристойним, а й священним. Й хіба не всюдисущим демоном Еротом надихані були усі оті наші прегарні статуї богів, які лякали юдеїв своєю непристойністю? Ми були, немов песенята-підлітки, які дуріють, бо якась сила почала ратом розпирати їх проміж ноги: ось, тільки-но *його* начебто майже й не було – і ось *він* раптом є, у всій своїй непереможності! От ошалілий підліток і тичеться отим своїм нещасним багатством, куди йому вийде – до байдуже якої жінки, до чоловіка, до скотини, до живого й неживого; хтиво порається з ним власноруч по глухих кутках; попираючи суспільну пристойність, невміло малює або пише його назву на стінах будівель, щоби всьому світу крикнути про своє томління. І всі ми, навіть дорослі, були усе ж таки немов оті незрілі, але вже нечисті й занапащені діти... Хтось хижий, неначе отой мій давній викрадач, ухопив нас і грубо пестив в гущині дикого лісу, аби ми, позбавлені захисту родинного обійстя, не плакали зі страху й відчаю.

...Відтак я начебто відчув на собі, як отоді в суді, чийсь пильний й начебто заклопотаний, сповнений великого жалю погляд. Але то не був безнадійний погляд чоловіка, життя якого я розтоптав, мов дрібну комаху. Це був заклопотаний погляд Того, кого юдеї іменують Богом Живим, і не було мені куди від нього сховатися... *Господи, помилуй мене, грішного!*

* * *

Проблема полягала в тому, що риторів до християнської громади не брали, поки не зречуться своєї ганебної професії – видавати чорне за біле.

Мені таки довелося залишити цю хлібну працю й розпочати смиренне життя шевця – хіба ж не жив тим, що шив намети, юдейський аристократ Павлос після свого чудесного навернення? Щоправда, тому ремеслу він, як мені розповідали, вчився ще змалку – юдейська знать виховувала своїх дітей ще й тяжкою працею. Слава Богові, я не так тяжко грішив, як він, коли ще звався Саулом і люто переслідував християн. Зате мені не випало й бути скинутим з коня поблизу Дамаска та почути голос Христовий з неба...

Родичі сприйняли моє рішення як прояв шаленства, й рідне обійстя мене виштовхнуло, нещадно рубаючи корені, що ними я глибоко вріс у свій природний ґрунт. Батько, думаючи лише про те, що скажуть люди, відцурався мене, кричачи, що мати, дяка богам, до цього мерзенного дня не дожила. Дружина моя Алкеста, після довгих вмовлянь та погроз, зажадала розлучення й поділу майна; я залишив їй усе оте багатство, нажите неправедним крутійством словес, і знайшов притулок у одного з моїх нових братів, у скромній хатинці, яка дещо нагадала мені будиночок знищеного мною колись Філіппа. Глибоко зітхнувши, я увійшов у низькі й тіснуваті двері цієї убогої будівлі, й ось вже тридцять років як займаю тут малесеньку низьку кімнатку з віконцем, затуленим шматком грубого зеленкуватого скла. Тапчан, покритий товстою ковдрою з козячої шерсті; стіл з соснового дерева й кілька зроблених тим само теслею клишоногих стільців; полиця з сувоями на стіні – Святе Письмо й з десяток книг грецьких та римських філософів – ані батьку, ані Алкесті вони ніколи не були потрібні. Батько захоплювався сонниками, книгами про чарівників та викликання духів і всяким іншим марновірством; дружина ж, здається, вже й літери забула – цікавили її тільки красиві й дорогі речі або усілякі там білила та рум'яна, хоча від природи й так була дуже гарна...

У моїй особі громада знайшла правознавця та взагалі людину, яка могла зайти до влади та домовитися; з багатьма ж я замолоду був добре знайомий. На мою думку нові брати зважали, мене уважно слухали, попри мій теперішній убогий суспільний статус.

Усе було б добре, та мені певний час не вистачало по ночах холодної та відстороненої близькості Алкести; не втримувався я від того, аби часом не поринути у вир обіймів якоїсь палкої гетери, але то була розвага не з дешевих, бо мене задовольняло спілкування виключно з гарними та освіченими жінками. З роками, щільно заповненими тяжкою працею, постами й духовною роботою, ота потаємна виразка, що про неї каже апостол, оте невблаганне лезо Афродити у тілі моєму, трохи притупилася, й тепер я спокійно й відсторонено дивлюся на пристрасті людські, постійно й твердо нагадуючи собі латинський вираз *меме́нто мо́рі ...*

Прийми, Господи, цю жертву мою, як прийняв оті дві лепти удовиці, котра віддала на Храм усе, що мала...

Але, зрікаючись риторської професії, я ніяк не міг погодитися з тим, що треба забути, викинути на смітник той великий досвід, що його давала риторична освіта. Та вже й деякі єпископи наші, особливо ті, що прийшли з поган і отримали колись добрий риторичний вишкіл, почали потроху мовити, що не годиться відкидати усе те багатство досвіду спілкування й, головне, проповіді. Як говорив покійний старенький священик Ісагар, до мене прихильний від часів мого юнацького навернення, пояснювати незграбним словом Святе Письмо, яке читається за літургією, – недобре. Я про себе подумав, що, за незбагненою волею Божою, саме́ Святе Письмо й так доволі незграбне за стилістикою – принаймні,

Новий Завіт, який я можу читати вільно: пристойна мова тут хіба що в нашого антіохійця Лукаса, природного елліна. Гебрайську ж мову Старого Завіту я ще так-сяк сприймаю на слух, завдяки тому, що знаю арамейську, але читати ті тремтливі, наче судомою покручені літери так і не навчився. Не сказав я того доброму Ісагарові, аби його не образити, та й сам себе при тому постидався.

Але й справді, чого б отак цілковито переходити на штиб юдейської традиції? Адже почали вже помалу в церквах ставити для поклоніння ікони, чого ніколи не було в юдейських синагогах. Щоправда, не припиняються з цього приводу суперечки. Сказано-бо – *не сотвори собі кумира ані подоби*, а тут і Христа малюють, і Матір Божу, і навіть тих, кого визнали за святих.

У нашій невеликій церкві, що самотньо височить над морем, недавно з'явилися на стінах образи́. Марія Діва з Немовлям на руках, лики Петроса й Павлоса, лик Лукаса. Маляр Никодим, який довго перебував у язичництві, звик милуватися речами фізичного світу й зберіг оту опуклість обличчя, рук та складок одягу, яке захоплювало наших живописців з часів Апеллеса. Мало хто вже пам'ятає історію про те, як намальований цим давнім майстром виноград хотіли склювати птахи, але звичка начебто ліпити фарбою перебіг світла на об'ємних речах залишилася, й це робить картину переконливою – не порівняти з тими схематичними зображеннями часів вавилонян, які знаходять у землі по сей день. Навіть скульптура та барельєфи їхні примітивні порівняно з тим, що зображують на площині еллінські майстри.

...Ми сидимо у майстерні Никодима, двоє самотніх літніх чоловіків: господар і я. Знали один одного здавна, з молодих років. Не те, щоби приятелювали, але віталися; зблизило ж нас помалу перебування в християнській громаді. Останнім часом полюбляли збиратися вдвох та розмовляти про те-се.

Никодим, дрібненький, сивий, кудлатий, має допитливі ясні очі на зморщеному обличчі; він постійно чимось цікавиться, займається потроху травознавством та лікуванням, хоча ніде тому не вчився. Живе на самому березі моря, поряд з портом, і тут завжди віє свіжим й трохи запаморочливим подихом від безмежного простору солоної води. У домі його, доволі великому та заможному, незвично: в майстерні – той безлад, який завжди оточує художника: замащені кольоровими плямами посудини з фарбами; великі й малі пензлі в керамічних глеках, уламки статуй; малюнки, пришпилені просто до стіни цвяхом; велике опудало орла з розкинутими крилами і ще багато чого. У другому приміщенні – густий запах сухого зілля; сила зібраних в пучки трав, що сушаться під стелею або звисаютьв'язками по стінах; чисті посудини з лікарняними сумішами; прозорі та темні пляшки з настоянками; велика шафа, в якій хазяїн зберігає якісь речовини. Є ще кімната – особисто Никодимова, вже така, як у всіх: ліжко, стіл та довга лавка при стіні; посередині кімнати – дерев'яна колонна, яка несе на собі розпірку, що підтримує стелю, обшиту дошками. На підлозі – строкатий килим, щоби взимку не завіювало. У кутку – великий, на половину людського зросту, керамічний глек з питною водою; біля нього на гвіздку – дерев'яний черпак з довгою ручкою. У ніші на стіні навпроти лавки – написаний господарем образ Спасителя, перед яким на різьбленій, з латунними інкрустаціями, поличці встановлено потьмянілий старовинний мідний свічник на три свічки. Ісус тут доволі суворий, зі зсунутими бровами, смаглявий та чорнявий; коли свічки запалено, здається, що обличчя живе, й потай міниться.

Никодим оце якраз закінчив прикрашати церкву своїми іконами, завершивши образ Діви Марії, й сьогодні, власне, ми скромно відзначаємо цю подію. На столі вже майже спустошений глиняний глек із золотавим вином цьогорічного врожаю; поруч – менший металевий глечик з холодною водою: за давнім грецьким звичаєм, чистого вина не вживаємо, аби не паморочилося в голові. На великих глиняних тарілях – смажена в тісті риба, величезний солодкий червоний перець, зелені оливки; нарізана крупними скибками хлібина. Кривуваті чарки з мутно-зеленого скла – місцева реміснича робота – стоять напівповні; воліємо не надудлитися, а балакати, й оця наша *гомілія*, застільна бесіда, – про речі значні й серйозні.

Сутеніє. У двох віконцях невідворотно тьмяніє нічне небо, спочатку пригасло-сріблясте, а тепер вже майже зовсім чорне. Господар запалив олійного каганця; гостро запахло смаленим ґнотом; по кутах кімнати застрибали чорні тіні. Тиша. Жінка художника з рік як відійшла у вічність; діти давно живуть окремо. Великий кудлатий собака спить у кутку, зібганий в коло. Тільки глухий ритмічний шелест моря, що пливе з розкритих дверей, неспішно й розлого, мов поетичний гекзаметр, суголосить нашій тихій бесіді.

Я похвалив Никодимову працю, особливо ж відзначив тільки-но написаний образ Матері Божої з Немовлям. Никодим намалював його за настановами чоловіка, який бував у Палестині й буцімто на власні очі бачив ікону, писану апостолом Лукасом безпосередньо з обличчя Пречистої. Я щось не дуже тому вірю, бо знаю душу нашого юдейства. Зображення для них – річ неприпустима, немислима, та й чому б ото Мати Господа, жінка в літах і благочестива за старими уставами, пристала на отаку дивну для неї пропозицію – зробити з неї портрет. Не кажу вже, що будь-яка жінка, навіть не юдеянка, навряд чи погодиться позувати для портрета в поважному віці: адже Марія, коли зустрічалася з Лукасом, мала, мабуть, десь вже з сімдесят років. Так і уявляю, як би розсміялася моя зів'яла стара нянька, якби запропонували її, отаку, намалювати... Та якщо це все правда, то Лукас не тільки вправний письменник і лікар, а й дуже доскіпливий маляр.

Адже Нікодим запевнює, що у Лукаса була зображена матінка-юнка, яка ніжно горнеться до своєї тільки-но народженої Дитини. Свята Мати зображена точнісінько такою, якою мала б насправді бути, коли народжувала Христа: вона юна, цнотлива й тілесно прекрасна. Залишається тільки подивуватися, наскільки проникливо апостол відновив у своїй уяві колишню квітучу плоть, спостерігаючи насправді обличчя старої вже жінки. Таки відчувається еллінський вишкіл. Це вже не ота язичницька Афродита, що безстидно являє самі лише свої тілесні принади. А Спаситель коливає в повітрі рученятком з розчіпленими пальчиками вельми природно – саме так оті невгамовні діти постійно ворушать кінцівками.

Потім заговорили про ікону взагалі – як річ усе ще достатньо нову та ще не дуже звичну.

Никодим нині застужений, захлинається кахканням, але говорить гаряче й переконливо. Він твердить, що вже у скинії Мойсеєвій і в Соломоновому Храмі були священні зображення херувимів та волів; та й у синагогах часто трапляються мозаїки з зображеннями людей, тварин чи рослинного візерунку. Й поклоняються *крізь* ікону Богові Живому, а не зображенню як такому.

Мені також є що сказати.

Я тверджу, що образ найперше має зберегти пам'ять про вчителів наших, риси їхніх облич. Петрос – трохи огрядний, з густими сивим волоссям та невеликою бородою, з лагідним виразом обличчя. Павлос – худий, лисуватий, чорнобородий, з вогненним поглядом проповідника. Поруч лик Лукаса, молодого, повновидого, кучерявого, з короткою борідкою; саме такими, як переказують очевидці, – зокрема й покійний Ісагар – вони,

апостоли, й були. Дивимося: якраз у Лукаса набрала нової наснаги стара еллінська традиція залишати зображення або життєпис героя як приклад наступним поколінням. Хіба не описав колись Плутарх як приклад для нащадків сонм знаменитих мужів Еллади та Риму? А звичай робити скульптурний портрет з мертвого, що його практикують в тому ж Римі? Тож і Лукас не забажав, аби милі йому риси Матері Божої розчинилися в безвісті, як це прийнято в юдеїв. Вони ж бо навіть дня народження не відзначають – коли, наприклад, народився Спаситель? Нікому й до голови не прийшло записати рік, місяць та день. Коли помер на хресті – якось вирахувати можна: десь близько до юдейського Песаха, навесні; юдеї рахують це свято за рухом сонця, і ясно, що наша Пасха має бути через тиждень. А день народження в бідній галілейській родині хто став би записувати? Можна це зрозуміти: в юдеїв не вираховують долю людини за рухом зірок, бо в це не вірять.

Ми ж, греки, звикли, як навчив нас Аристотель, чіпко усе, що існує, зважувати, вимірювати, зіставляти. Важлива для нас і пам'ять про достойну людину; навіть видатним атлетам, не кажучи вже про героїв, колись ставили статуї в центрі міста; це в римлян та справа переродилася у масове встановлення безглуздих й зловісних кумирів кесарів. Але від початку нічого поганого в такому пам'ятному зображенні немає, тим більш, що до Церкви широко йдуть люди неписьменні, яким малюнок замінює книгу.

Никодим веде своє. За його міркуваннями, Христос, втілений Бог, народився від убогої земної жінки. І вона перш за все – Мати Христа, Мати Бога, що втілився. Скептик скаже, – злегка гарячкував художник, – що це черговий міф, з отих, що їх багато разів чули. Ну, це правда, що й у язичників є уявлення про матір богів, Кібелу. І єгиптяни зображували свою Ізіду з дитиною на руках... як отого малого бога звали? *Ассіріс*, чи що? Ну, припустимо, що в свідомості Лукаса виникала тінь цього уявлення, коли він писав образ Марії з Немовлям. Але ж перед ним була жива Марія; він спілкувався з Іоаннісом Теологом, родичем Ісусовим, який лежав біля грудей його на Тайній вечері! Лукас прагнув прославити саме Ісуса та Марію, а не переспівувати темні язичницькі міфи. І центром тут був саме Немовля-Бог, виплеканий у благодатному лоні жіночому...

А ще Никодим каже, що старовинні майстри були закохані лише у плинну красу тілесного, й навіть велич духу показували через досконале тіло атлета чи героя. А відтак – які герої, які атлети? Вітчизна наша – не Мала чи Велика Греція, вітчизна наша – Небо, і воюють за нього не мечем. Боротьбу перенесено *всередину*, в душу людини. І сама з собою людина бореться, намагаючись відновити затьмарений гріхом образ Божий. Художник стверджує, спираючись на власні переживання, що оте зосередження в собі наодинці, оте спостереження невидимого в екстатичному трансі примушує його, Никодима, широко розплющувати незмигні очі, затамовувати подих, звужувати ніздрі; зморені постом власні кінцівки здаються самому собісухими і млявими; немовби відчуваєш, як рум'янець спадає з поличок... І тому в іконі слід трохи пригасити коліри, розширити очі, начебто *скоротити* усе, що являє собою тілесний блиск.

Я мимоволі згадую риторичний термін *літота* – свідоме применшення; Никодим радісно вигукує: *от-от, саме так!...*

– А осяйність небесним світлом в іконі я позначаю сяйвом навколо голови. Пам'ятаєш, Мойсей, повернувшись до людей після бесіди з Богом згори, мусив затулити обличчя своє полою одежі, бо людям не сила було бачити сліпуче сяйво, яке оточувало його обличчя. Те ж само сяйво у вигляді вогненних язиків зійшло на голови учнів Христових у день П'ятидесятниці. Про це писав Лукас у Діях.

Я раптом пригадую: священик Ісагар свідчив, що в юності виразно бачив таке сяйво навколо живих апостолів.

– Отож, ти, Никодиме, добре зробив з тим сяйвом. Бо одного портрета з тлінного обличчя замало.

– Так робили споконвіку. І навіть язичники.

Никодим дістає з тієї само шухляди статуетку якогось божка, литу з бронзи у землі темношкірих Се́рів: голову й плечі фігурки оточено візерунчастим колом; на думку Никодима, це те само сяйво, німб, яким Небо оточує достойника...

Мені заманулося похизуватись вченістю та власним розумом.

– В юдейському Завіті, – сказав я, – є слово *олáм*, яке означає рух відпалого Творіння до Творця свого. Оце й є справжня, духовна краса, й німб її найкраще позначає. Ні, ікона – таки не мертвий ідол; ікона – немов вікно в Царство Небесне, де тепер перебувають апостоли, наставники наші. Це вже світ безтілесний, він – поза нашим звичайним буттям, що його Платон, не отримавши Одкровення від Бога, називав, за власним розумом, світом безтілесних *ідей*. Що ж до серських божеств, то, видимо, якісь допитливі язичники теж спостерігали сяйво навколо певних людей, що спілкувалися з потойбічним. Але литий одним шматком, з того само металу, що й фігура, німб – важкий та грубий, він радше нагадує корону варварського царя, ніж те віяння духу, що присутнє в іконному образі. Тут сама плоть людська наче розріджена, вона так легко й прозоро написана на площині ясними фарбами, а небесне сяйво серпанком огортає її...

– Слухай, любий мій Григорію, – раптом хрипко звертається до мене Никодим, – а чи не хотів би ти пристати до наших антіохійських теологів? Ці люди, як і ти, – християни з еллінів, і хочуть долучити до віри й досвід філософії. Як на мене, то досить чистого серця. Я філософії тієї вашої не дуже знаю. Але що вам, учням Платона та цього... як його? *Арефтотеля?* – обов'язково треба ще й доказів розуму....

Щось наче перемкнуло в мені: я раптом зрозумів, що моя стара шкільна наука ще може знадобитися – особливо ж нашій молоді.

* * *

Денну працю скінчено. Я поволі йду вздовж берега моря, через територію порту, в той район Антіохії, де, як мені сказали, проходять зібрання християнських богословів.

Сильний, свіжий вітер дихає з моря; по небу біжать зім'яті й збиті в купи темнуваті хмари; по дворах з сильним плеском тріпається білизна, що її розвісили, радіючи вітрові, жінки; в порту ж на кораблях усі причаїлися й поховали до трюмів усе, що вітер міг зірвати, скотити за палубу й скинути до води. На одному судні зірвалося зі щогли та покотилося з брязком по палубі металеве відро, й матрос даремно намагається його зловити; таки стрибнуло за борт, і невдаха-хлопець тільки безнадійно махнув рукою... Мою хламиду сильно завиває, і, якби не свинцеві кульки, вшиті колись передбачливим кравцем по краях одежі, вона б уже не раз обкрутилася мені навколо голови. Правда, ті кульки таки добре боляче луплять по ногах, але усе ж таки свою справу роблять...

Голова ж, відкрита вітрові, повниться думками.

Теологія... чи потрібна вона як додаток до Писання?

Справа ця нова. Для християн з юдеїв – незвична, якщо не чужа, – казуїстику своїх рабинів вони відкинули, бо ті ненавидять Христа й слизько та криводушно тлумачать Закон, переслідуючи зазвичай суто людські інтереси. Тому Павлос усі ті їхні приписи заперечив. Воно начебто й душевно, совісно – *не вари козеня в молоці його матері*, але як поміркувати, то козенятко те нещасне вже мертве, й молоко кози так само не мислить,

не відчуває й не має терзань; що вже тут лицемірити, чи не краще зовсім м'яса й молока зайвий раз взагалі уникнути – як, наприклад, ми у піст?

Скептична думка, особливо ж в нас, еллінах, в'ється, мов та змія. Ну як ото пояснити, що Бог створив, як пише юдейський Старий Завіт, оцей світ *з нічого*? *Шіболет* – так, здається, казав мій наставник Ісагар? з нічого?.. Як це воно так виходить? Усе ж бо має свій початок і кінець. Ми народжуємося з семені батька; тіло наше протягом життя витрачає життєву силу й гниє в землі по смерті, але з праху земного навесні відроджується зелень і буяє, аби потім так само зав'янути й згнити в землі... А спробуєш простежити якісь першопочатки, то й рукою махнеш, як отой матросик: ось, наприклад, курка вилуплюється з яйця, але ж і яйце – з курки! Що було на початку часів – яйце чи курка? І що ж воно таке – *шіболет*?

Або візьмемо відносини між людьми. Юдеїв було покликано стати народом святих, а що виходило? Давид вбив Урію, діадоха свого, аби заволодіти його жінкою, але ми його маємо за святого, бо він покаявся. Що саме треба вчинити, аби досягти спасіння й раю Христового? Просто покаятися? Чи є гріхи, які не прощаються? Тут явно замало – просто вірити.

...Язичникам про їхніх богів розповідали поети. О, то брехунці значно більші від нас, риторів! Їхні боги – то достоту ми, тілесні люди, тільки чомусь такі, що їдять не досхочу, а харчуються майже не-матеріальними нектаром і амброзією, та мають владу над стихіями. Отець справедливості Зевс постав проти власного батька Крона, оскопив його і кинув дітородні органи у море, від чого народилася Афродита; а ще він, Зевс, усіх богинь, німф, безліч смертних жінок і навіть юнака Ганімеда ощасливлював силоміць своїм коханням. Чим це відрізняється від поведінки підлітка, ошалілого від влади лукавого Ерота? Афродита-Венера править коханням та родючістю, а, скажімо, Аїд – смертю. У всякій силі природній кублиться свій демон, що видається язичникам богом: боги води, боги рослинності, боги вогню тощо.

...Мислителі поганські здатні лише шукати подібності між різними богами. У нас, у Сирії, батька богів Зевса ототожнюють з Ваалом або Дусаресом, у Римі – з Юпітером. Або ще сплітають там усякі нісенітниці про Мати богів, Кібелу. Але це відбиває радше політичні розрахунки. Бо ж римляни прагнуть поєднати, слідом за Александром Великим, весь світ у єдину державу під своїм проводом, отож тут зручніше ототожнювати богів, ніж шукати відмінностей. Характерно також, що імператора туди-сюди та й зобразять у вигляді Зевса, тільки того сяйва одходить... Та все це смутне, незграбне й обертається хіба що новими казками.

...Щоправда, й тут вклоняються не грому й блискавці або родючій чорній ріллі як таким, а таємничим силам, що рухають ними, іменуючи їх Зевсом чи тою самою Афродитою. Але вже і язичники зрозуміли, що вклонятися кожному пню й рівчаку, вигадувати все нових дріад та наяд– глупота. Подібно, що розум поганина теж намагається знайти коріння речей. Вже Платон говорив про *Логос* як про ідею ідей, основу буття, *світовийрозум.* Але про це говорять і юдеї – як про Єдиного Бога, який усе створив Премудрістю своєю. Та в поган Логос безликий, а в Біблії Бог – жива істота, особистість, що любить і ненавидить, страждає й ревнує. Він – *Той, Хто існує*, хоча його у світі речей начебто й немає – *Ягве́.*

...У сусідній Александрії юдей Філон хоче поєднати Тору з Платоном і вчить про *Логос* як вищу ідею; людина ж у нього розривається між хтивістю і огидою. Я ж би сказав – між поклонінням своєму фалосу і поклонінням Тому, хто тебе разом з отим твоїм пречудним фалосом створив.

...А як ото зрозуміти глибину постаті Ісуса, що його Йоанніс Теолог трактує як Слово Боже, воно же Логос? Бог і людина в одній особі?! Не смію помислити, але ж

якщо Христос втілився в таке само тіло, що у нас, то як там воно було з вирішенням суто чоловічих проблем? Не хочу натякати на те, про що ви всі б одразу подумали. Деякі патякають, що за жінку йому була Марія з Магдали, блудниця, яка покаялася й, на знак великої любові, вмила йому ноги дорогоцінним миром... іншим впадає в очі особлива близькість до нього юного Йоанніса... *Помилуй мене, грішного, Пане Боже наш!*

...Та ні, за євангелістами чітко виходить, що Ісус належав до юдейських назареїв, з дитинства присвячених Богові; ті ніколи не одружуються, змалку не стрижуть волосся й не п'ють вина. Але ж... вино Спаситель уживав, і то нерідко, навіть за п'яницю мали його фарисеї... Утриматися ж від жінки... та вже годі про це! Та хіба він зовсім приписів не порушував? Скільки лементу фарисейського було з приводу зцілень, що він їх здійснював у суботу... Можливо, Богові в нашому тілі усе-таки трохи усе легше, може, воно якесь особливе? Переповідають про саван, що в нього це тіло були загорнули при погребінні, а зараз він зберігається поруч, у благословенній Едессі. На полотні – чудесний відбиток тіла Розп'ятого, утворений чи то плямами від пахощів, що ними мастили за юдейським звичаєм труп, чи то начебто є дивний опік полотна? Чим? Тим сяйвом, що його бачать навколо святих? Адже сказав же він Марії Магдалині по Воскресінню своєму: *не доторкайся до мене*?..

Питання, питання й питання...

... Вітер посилюється. Чимчикую вже, мабуть, понад півтори години.Велике наше місто, більші за нього в усій імперії лише Рим та Александрія. Та ось вже видно світлі стіни одного з чотирьох антіохійських кварталів, де вгніздилися християнські богослови.

Чи дасть мені розраду спілкування з ними? Чи ж буде цей шлях правильним? Не дай Боже помилитися й зійти з Його шляхів! Тоді знову зануришся у безодню гріха, як оте порожнє відро, що його вільно й згубно шибав лихий вітер, доки не скинув у море!

– Радій, Григорію! Заходь, заходь! – вітає мене, ледь я прочиняю двері, дебелий рудобородий чоловік у нових зелених шатах.

Я входжу – гей-гей! – а тут доволі розкішно! Я вже відвик від таких мешкань; попри хатинок наших вірян та скромного нашого храму, буваю хіба що в якихось установах, де не забагато розкоші. А тут повіяло духом моєї молодості. Кімната доволі простора й висока; стеля тримається на двох коринтських колонах, між ними – стіл, вкритий фіолетовою оксамитовою скатертиною, гаптованою по краю золотим шитвом. Обіч столу – два бронзові крісла; над столом звисає зі стелі велика бронзова лампа, прикрашена вишуканим литим візерунком, подібна за стилем до крісел. Позаду, при стіні, – довжелезна, на всю кімнату, скриня з кипарисового дерева, з різним орнаментом по всій довжині. Але на протилежній стіні, на різьбленій кипарисовій полиці, між двома великими вікнами, які помалу тьмянішають, – стоїть велика ікона безбородого Христа, убраного на біле, по боках миготять у вечірній напівтемряві дві свічки у бронзових канделябрах. Вочевидь, антіохійські християни-теологи – люди з вищої верстви, не бідаки.

Ми всаджуємося до крісел. Ім'я свого співбесідника я вже знаю: Теодор; він, виявляється, мене добре пам'ятає, а я його – ні; на півмільйона антіохійців ми – мов дві краплі в морі. Але він якраз закінчував риторську школу, коли я свого риторства зрікся; виявляється, моє навернення набуло розголосу, й не так вже й мало людей освічених та можновладних засумнівалися. І коли християнство в останні роки почало ширитися, ці хлопці вирішили згуртуватися й внести до скарбниці Церкви свою частку.

– Ми дійсно переважно елліни, яким бракує в новій вірі тієї старовинної вченості, тієї розумової енергії, що здавна визначала нас серед інших народів, – неспішно, вміло будуючи речення й роблячи час від часу добре знайомі мені жести, вів свою мову Теодор.

– Колись Александр Македонський – ти це чудово знаєш, – задумав був об'єднати цілий світ в єдину державу, і робив це не тільки силою зброї. Учень Аристотеля віз у обозі свого війська цілий табір грецьких вчених та митців, яких лишав працювати у завойованих містах. І сягнув аж до далекої країни Серів, всюди вкорінюючи грецьке слово й грецькі звичаї. Римляни успішно повторили його спробу, але й досі не латина зв'язує в єдину *ойкумену* різні народи, а наша грецька мова. Навіть апостоли написали продовження юдейських святих книг, новий Завіт, грецькою, яка їм, простим рибалкам або митникам, була доступна – отим просторічним *койне*. І нехай юдеї були до цього єдиним обраним народом Божим, свято П'ятидесятниці підтверджує слова Павлоса: відтепер ні юдея, елліна, і всяка мова гідна, аби уславити Бога! Та в цьому Новому світі, де не місце несправедливості й неправді, мусять процвісти усі здобутки й окремої людини, й окремих народів. Нам, еллінам, є що принести на вівтар Бога Живого... Теологія – ось чого бракує юдеям; доказ істин віри розумом. І нехай наші філософи начебто часом йшли сліпма́, та як тепер без їхніх здобутків? Куди тепер без Аристотеля, скажи мені, Григорію?..

Раптом в мені наче підніс голос той новий чоловік, який формувався вже переважно серед юдеїв протягом двадцяти п'яти років. Мені дуже захотілося сказати, що кожен має те, що він має – й не більше; чи не дорівнює вся ота наша вченість тим двом лептам, що їх пожертвувала на Храм на очах Христа убога вдовиця? Але то виглядало б як упереджена незгода й провокування суперечки; власне, чи ж не з подібних міркувань я сам тут опинився? І я лише кивав і мурмотів *Так, Так* на знак згоди.

Теодор вів далі. Тепер він перейшов до питання про Логос і тіло Христове, яке й мене так цікавило.

– Йоанніса апостола недаремно іменують Теологом: він, як ти знаєш, є родичем й улюбленим учнем Спасителя й доживає віку в Ефесі. Доводить язичникам, що *Логос* і є Христос, Слово, народжене Отцем Небесним перед віками. Справді, дивись: ось я до тебе мовлю; слово, народжене з вуст моїх, – немовби моя дитина. Але воно йде вже окремо від мене у світ, воно втілене в звук. І щось таки робиться з тими, хто його слухає. Змінився ж і ти сам через Слово Боже, й сила інших людей. А пригадай початок книги Буття. Саме словом своїм створив Бог з *нічого* світ тілесний, небо й землю, і рослини, і тварин усіляких... Велика то сила – Слово Боже, втілений Христос...Сильні слова! Ось воно що таке – *шіболет!*

Не буду переказувати всю нашу бесіду; скажу лише, що вирішив: буду до цих людей ходити. Бо слід тримати в покорі розум мій, що, мов той змій у саду Едемському, постійно підносить голову.

На стіл поставили гарний литий каганець; спалахнув язик полум'я й осів, тремтячи, майже по металевий край; далі то спалахував, вихоплюючи червоним кольором з пітьми наші обличчя, то нишкнув. Подали легку вечерю: хліб, овеча бринза та городина. Випили трохи доброго старого вина. Помолилися спільно.

Теодор залишив мене тут ночувати: ніч, мовляв, на дворі, і в порту та й на звичайній вулиці небезпечно. У сусідній кімнаті вже було постелено чисте, затишне ліжко; у стіні над верхнім билом, у закругленій ніші, вміщено було невеликий образ Богоматері – за зразком від Лукаса, перед яким червоною квіткою жеврів вогник лампадки.

Подякувавши за все, я впав і одразу ж заснув, встигнувши хіба що подумки промовити: *Господи, помилуй і обережи мене від усякої скверни...*

ЧЕНЕЦЬ ЙОАКИМ

– *Слава у вишніх Богу*... – раптом зривається в радісний політ хор чистих та звучних голосів.

Я пильную службу: за Лукасом, це пісня янгольська, що залунала з відкритого неба, коли пастухи вклонилися новонародженому Немовляті.

Старовинна невелика церква, збудована ще за мужів апостольських, колись самотньо височіла над морем на околиці Антіохії; тепер її з усіх боків оточило, поглинуло місто. Людей між тим прибуває й прибуває, і помалу в будівлі стає досить тісно.

Скільки разів я спостерігав: рано-вранці хтось, у ще темній та холодній церкві, запалив самотню свічечку, й вона несміливо сяє вогненною цяткою, мов перша квіточка серед чорного поля, яке ще спить в обіймах зими, подібно до скутої товщею землі казкової Персефони. Та ось свічка запалюється від свічки; морок помалу тане й відступає кудись в кути під склепінням, і ось уже весь простір храму палахкотить морем живого досвітнього вогню. Так і наша віра Христова: від світильника, колись запаленого в безмежній ночі Голготи, спалахнуло світло Воскресіння й осяяло всю ойкумену. І світло палає в темряві, й не обіймає його темрява, за словом Іоанніса Теолога. Та пітьма не одразу відступає: вона пручається світлу, оточує його напівпрозорим чорним серпанком, пульсує й згущується, прагнучи поглинути й подолати.

Я, сирійський хлопець Ґіварґіс, а віднедавна – смиренний чернець Йоаким, несу послух на хорах, спостерігаючи за порядком серед тих, хто співає Службу Божу. Велика то справа. Сказано: хто співає – молиться удвічі. Хор змішаний: молоді ченці нашого монастиря, котрий сформувався недавно навколо цієї церковки в ім'я святих Петроса й Павлоса, діти прихожан, що їх навчає співу брат Онуфрій, кілька мирян з добрими голосами й слухом. Переважно – молодь; їм би все пустувати. Недавно наприкінці вечірні хтось потай зліпив читцеві сторінки хлібною м'якушкою, яка за ніч засохла на камінь; це викликало замішання в службі на наступний день, і священик розпорядився надалі пильно доглядати за тими пустунами.

Я змалку не знав, що то є – пустувати. Виріс я в багатодітній ремісничій родині, де діти рано були зайняті нелегкою працею нарівні з дорослими. Хліб нам давався тяжко; ми, менші, отримували меншу пайку хліба, ніж старші, й дочекатися не могли вирости, щоб того хліба наїстися досхочу. До голови нікому б не прийшло святий хліб насущний, дар Божий, переводити на глум!

Й досі страшно мені пригадати, як стояв я, малий, з куснем свіжоспеченого, ще гарячого хліба в руках, який мені тільки-но дала мати, біля воріт нашого будинку на околиці Антіохії. Свято! мати спекла хліба! Не щодня таке буває – їли ми часто й пліснявий окраєць, й черствий сухар.

І раптом якась старша дівчина, обідрана й замурзана, з тупими, безжальними очима, безшумно наздогнала мене, раптом вихопила з-за мого плеча отой кусіні з моїх малих рученят, і, мов блискавка, шугонула уперед своїми босими, засмаглими до чорноти ногами. А я залишився, мов оглушений. Я знав, звичайно, що є на світі вбогі й голодні люди, так само, як і лиходії, які Бога не бояться, але з такими нуждою та насильством зіткнувся уперше. Й судомно затявся у несамовитому крику, впавши горілиць на теплі пласкі плити, якими було вимощено вулицю.

– Ґіварґісе!Ґіварґісе! – силоміць підносила мене на ноги мати, яка вибігла на мої зойки. – Що тобі є?!

Й, дізнавшись, що сталося,почала мене заспокоювати, кажучи, що не треба ремствувати, що дівча оте нещасне, мабуть, добряче виголодувалося, набагато більше, ніж я... Рюмсаючи, я помалу заспокоївся.

...Мати моя, завжди заклопотана, завжди чимось зайнята, опікувалася вічно засмальцьованим батьком, лудильником мідного посуду, нерідко напідпитку й сердитим, та дітьми, що учиняли з ранку до ночі страшний гармидер. Не знала, власне, що з нами робити. Щоправда, двоє старших братів уже почали допомагати батькові у його справі, а сестра-підліток пішла в найми до сусідів; усі ж четверо інших колотилися переважно на подвір'ї, розважаючись, як зуміють. Та бідолашна мати і не вміла чомусь такому особливому нас, дітлахів, навчити: перебралася в місто з села, взята заміж простаком-батьком, рід якого вкоренився в Антіохії здавна, і не занадто добре знала грецьку мову, якою тут спілкувалися всі. Батьки ж бо були сирійцями, але на вулиці розмовляли грецькою, часто переходили на цю мову й між собою, хоча клочилисяусе ж таки рідною,сирійською.

З усього видно, що мати хотіла, аби ми росли справжніми містянами. Щиро зраділа, коли, за кілька днів по моїй пригоді, до двору нашого забрів мандрівний вчитель – *дидаскал,* і, всадивши нас, дітей, навколо себе, почав розповідати про Бога й диявола, про Авеля й Каїна, про Спасителя, апостолів та засновану ними церкву. Про усе оте ми щось таке чули, але смутно. А цей вчитель таки був обізнаний та красномовний. Особливо вразила мене розповідь про монастирі, які з недавніх пір почали виникати по світу, – тихе, спасенне, віддалене від злоби світу цього життя: священнодійства, молитви, чудеса. Розповів про святих наших антіохійських, про Петроса, Павлоса й Лукаса, осяяних вінцями небесними; про Георгія Побідоносця, який врятував прикуту царівну від дракона, що хотів її зжерти...

Коли оповідач підвівся йти собі, ми, дітлахи, оточили його, хапаючи за руки й поли одежі, з гучними проханнями, аби побув з нами ще і розповідав далі. Ще й мати втулила йому до смаглявої долоні криву мідну п'ятинумієву монету. Бачачи таку увагу до себе, дидаскал, літній, худорлявий монах, розчулився й назавтра таки прийшов вдруге. На цей раз я почув про першомученицю Теклю, яка, під впливом Павлоса, відмовилася будь-коли брати шлюб, а як ото правитель Антіохії Александр полюбив її, то свята порвала на ньому хламиду й зірвала вінок з голови його, за що була кинута звірам, але левиця захистила її, розідравши ведмедицю, котра накинулася була на дівчину... Вразив також Сімеон Стовпник, який сорок років простояв перед Богом на колоні, віддалившись від людей – особливо ж від жінок, і навіть рідну мати, святу Марту, не сподобив бесіди, а лише передав їй, що пора старенькій відпочити – отож вона тут-таки й померла...

Мабуть, саме відтоді зародилася в мені цікавість до самітництва, до чернечого подвигу, оточеного такою повагою серед людей. Тим більше, що життя в рідному домі, хоча й просякнуте материнською любов'ю й піклуванням, а проте занадто вже нужденне й галасливе, з кожним роком ставало менш зручним. А коли я почав підростати, оте спання по троє-четверо в одному ліжку, оте лахміття, успадковане від старших, замість доброї одежі, отой хліб з овочевою юшкою тричі на день... усе це починало нудити й втомлювати своєю безпросвітною ницістю.

Церква ж наша була розташована зовсім поруч, на скелі над морем, за рогом вулиці. Ззовні непоказна, стара й простенька за архітектурою, вона усе ж таки мала поважний вигляд – завдяки навколишньому просторові моря й неба. Тут я почувався неначе в раю небесному. Вузький сліпучий сніп світла з невеликого напівкруглого вівтарного вікна на ранішній службі; зблискує піднесена священиком срібна чаша зі Святими Дарами; з

потемнілого вже срібного кадила, що мирно й заспокійливо брязкає, але ген, дивись, і спалахнуло червоним вогником, витікає густою смугою й одразу ж розріджується в пишну й невагому хмару сизий, запашний фіміам; янгольські голоси чоловіка й жінки на хорах, то поодинці, то зливаючись, начебто потужні й чисті струмені джерела́, розчиняють усе, що на душі зашкарубіло й злежалося у камінь... Особливо мило було тут увечері. Надворі смеркає; сині вікна – немовби сумне прощання з денним світлом; з-понад зелених та червоних вогників лампадок у тебе пильно вдивляються ікони; в глибині вівтаря смутно проступає суворий лик Христа. Нечисленні поки що люди розмовляють пошепки, наче остерігаючись прогнівати Господаря цього Дому своїми нікчемними проблемами...

Я особливо полюбив з раннього дитинства образ Матері Божої, який у цій церкві здавна; дехто твердить навіть, що його написав сам євангеліст Лукас. Проте я собі думаю, що якби то справді була рука Лукаса, то, по-перше, не було б і тих, хто нині сумнівається: такі речі у памяті людській оточені непорушною повагою. По-друге, Лукас писав Марію не в Антіохії – Пречиста Діва ніколи тут не бувала, – а в Палестині, після чого проповідував у Єгипті й мученицьки закінчив своє життя в Малій Греції, у Фівах. Але невідомий старий маляр відчував ту еманацію Духа Святого, яка в апостольські часи щедро випромінювалася в Церкві. При тому, що воскові фарби за три століття посіріли й потьмянішали, смагляве обличчя Діви з великими й тривожними чорними очима виразно вимальовується серед рвучких складок червоного мафо́рію та білого хітона. Лик же Святого Немовляти важко розгледіти за срібною, вигадливої форми, лампадкою, що вміщена на рівні його очей; зате добре видно праву руку з благословляючим перстом, яка піднесена над твоєю головою, коли ти припадаєш поцілунками до вузької темної руки Святої Матері та крихітних ніжок Сина. Поверхню дошки вкрито сильно потьмянілим гладким шаром оліфи, який ще більше приглушує колись яскраві кольори. Боже, як усе це прекрасно!

* * *

Мати, примітивши, що я дещо делікатніший від моїх братів та сестер, не пошкодувала грошей (як я тепер розумію, не такі вони були вже й великі) і віддала мене у шість років до школи, що була розташована якраз навпроти нашого двору, там, де колись вирвала в мене з рук шматок гарячого хліба ота мала моя кривдниця.

Школа розкрила переді мною обрії, про існування яких я навіть не здогадувався.

По-перше, у *школі грамоти* я почав оволодівати грецькою мовою, й мені поступово стала очевидною убогість отого койне, що ним користувалися в нашій сім'ї... Утім, коли я зрозумів, що і Євангелія написано такою само простою й невибагливою мовою, і що апостоли здебільшого були такими само бідаками й пришлецями у грецькому світі, як і мої батьки, то оте невибагливе койне якось одразу стало мені миле й рідне: *ΚΑΪ ΗΝΌ ’ΙΩΆΝΝΗΣ ΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟΣ ΤΡΊΧΑΣ ΚΑΜΉΛΟΥ ΚΑΪ ΖΩΝΗΝ ΔΕΡΜΑΤΊΝΗΝ ΠΕΡΪ ΤΗΝ ΌΣΦΥΝ ΑΎΤΟΥ ΚΑΪ ΕΣΘΊΩΝ ΑΚΡΊΔΑΣ ΚΑΪ ΜΈΛΙ ΑΓΡΙΟΝ – І був Йоанніс вдягнений <:> волосся верблюда і пояс шкіряний навколо стегон його <,> і той їв сарану і мед дикий.*

А з вивченням класичного аттичного діалекту переді мною відкрився світ старої язичницької мудрості. *Багато читай – багато пізнаєш,* – повчали нас дидаскали.

Коли імператор Юліан-відступник спробував був заборонити нам, християнам, доступ до язичницької спадщини, архієпископ Кесарії Кападокійської Василій відстояв право християн читати древні книги, хоча й застерігав, що бджілка, мовляв, мусить брати мед не з усякої квітки. Отож, ми й брали, й квіток було тут, як на весняному полі.

У школі я рано познайомився з історією – змалку для мене не чужі імена Геродота, Ксенофонта або Фукідіда. Хоча Юліан Відступник і кинув ущипливе слово, буцімто в Антіохії більше мімів, аніж громадян, моє дитяче серце чомусь билося частіше, коли я читав напам'ять у класі промову Перікла над могилами воїнів, що загинули при Пелопонесі: *Найсильнішими натурами мають, за справедливістю, вважатися ті люди, котрі цілком чітко знають і жахи, і солодощі життя, завдяки чому вони не відступають перед небезпекою. Так само, у взаєминах людей наші дії протилежні тактиці більшості: друзів ми набуваємо не тим, що отримуємо від них послуги, але тим, що самі їх надаємо.*

Від самого початку я усвідомив також, що Платон прагнув збагнути невидиму, приховану суть речей, а от Аристотель, учень його, навпаки закликав вивчати багатство та різноманітність того фізичного світу, який нас оточує. Познайомився я й зі славетними грецькими поетами, починаючи від Гомера. Цей світ був усталений назавжди, немов річні цикли зміни холоду й тепла в природі.

Водночас я відчував, що усе навколо якось пружно й швидко змінюється. Щось, звичайно, залишалося таким, як і вчора. Так, для підрахунків незмінно служили заяложені абаки та власні пальці. Гомер також залишався Гомером попри усі зміни. Та, наприклад, я ще застав громіздкі старовинні сувої папірусу й замоцькані металеві стілоси, але вони на моїх очах замінилися на папір та тростинний калам. Сувої змінилися зошитами – набагато зручніше. Нас вчили, аби наші зошити, у яких ми конспектували древніх істориків чи поетів, починалися на першій сторінці зі звернення до Бога, а кожна сторінка – дбайливо намальованим знаком Хреста. Усі ми, школярі, сиділи рядками й хором скандували вже не лише поетів, як вчорашні учні, а й молитовні тексти, які вчили напам'ять; хором розучували й слова та мелодії тропарів і кондаків, які потім співали в церкві.

Серед наших дидаскалів були й язичники: риторику, наприклад, викладав сухий та жовчний Зеодотос, який примушував зубрити напам'ять усі типи тропів та синтаксичних фігур, нещадно висміюючи безпам'ятних та некмітливих. Для нього не стільки важлива була вільна й натхненна імпровізація, скільки запам'ятовування. Але ось у класі з'явилися богослови, які примушували не лише вчити напам'ять біблійний текст (то вже саме по собі, казали, було справою досі небувалою!), але й міркувати й висловлювати власну думку, вчили пробувати піднестися над нашим повсякденним людським досвідом. Ось, скажімо, пропонувалося розгорнути в міркуваннях власний погляд на те, чи у Христі присутнє саме лише Божественне єство, а людського,материнського, єства немає зовсім, бо воно розчинилося, немов крапля меду в молоці, – як ото вчить константинопольський архімандрит Євтіхій...

Та ця висота духовного польоту не оберігала від брутального насильства. Бували й тяжкі, страхітливі випадки. Пам'ятаю, як я перелякався, коли дидаскал, розсердившись на рудого, конопатого Айєджидайоса, який вперто пустував і не хотів слухати слова повчання,наказав нам, що сиділи з ним поруч, заголити його й кинути на лаву, тримаючи за тоненькі, мов бадилини, руки й ноги. Сам же, незважаючи на несамовитий зойк нещасного, узяв довгу й міцну різку, що стояла напоготові у вузькій високій амфорі, в соляній ропі, й добряче всипав з розмаху по тендітному блідому тілу, що здригалося й покривалося яскраво-червоними смугами – *один! два! три!..* Відпущений нами за знаком вчителя притихлий Айєджидайос, залитий сльозами, прожогом кинувся у двері, а вчитель гукнув йому слідом, що ім'я його (*молодий козел*) дане, видимо, було йому батьками у стані пророчого натхнення... Ми голосно реготали, тамуючи жах.

Мене, втім, не били ніколи. Навпаки, невдовзі я почав вважатися здібним учнем, на превелику радість матері. Коли мені виповнилося одинадцять років, дидаскали вмовилі

її, аби я продовжив навчання у граматичній школі, але вона не знала, чим за те платити. Вреші-решт, дійшло до самого владики. Пам'ятаю суворого старця в широкій чорній рясі, з масивною візерунчастою срібною панагією на грудях, до якого нас з матір'ю привів лисий і чорнобородий дидаскал Кастор, що особливо мене любив. Після слова вчителя архиєрей запитав мене про те-се, вислухав, як я декламую з Піндара та п'ятдесятий псалом *Помилуй мене, Боже...*, наказав проспівати кілька тропарів, задав кілька питань, бажаючи почути мою власну думку, – і доля моя була вирішена; мати щасливо плакала; витрати на навчання владика цілком узяв на себе.

...Довго оповідати про усі перипетії мого навчання. Скажу лише, що наприкінці, вже юнаком, я був визнаний церковним начальством як багатообіцяючий теолог й, можливо, навіть майбутній клірик. Отож, мені надали окрему келію й призначили утримання в гуртожитку монастиря св. Лукаса, і я, полишивши нестерпні вже тісняву й сморід рідної домівки та оте спільне з братами, постійно зашкарубіле від людських виділень, ліжко, опинився серед антіохійських богословів, які були твердо оперті на еллінську філософію, зокрема традицію Аристотеля та розумові здобутки його Лікею.

Антіохійські богослови не проводили свої дні у споглядання та спокої: вони мусили активно опиратися численним єресям, які вибухнули поруч з церковним вченням, мов дикі гіркі жрудла поруч з джерелом солодкої води, і всіляко спотворювали погляд на Христа. Гностики, вважаючи світ наш створеним злим божеством, бачили Ісуса з Назарету простою людиною, в яку вселився *еон* – частка світла від «Справжнього Бога»; покинув його, мовляв, той еон в момент тілесної смерті на хресті, що й породило записаний євангелістом зойк *Боже мій, навіщо Ти мене полишив?!* Послідовники пресвітера Арія теж вважали Христа лише обраним плотським Творінням, заперечуючи його Божественність. Учні Аполлінарія, єпископа Лаодокії Сирійської, твердили слідом за своїм вчителем, буцімто у Христі Бог і плоть людська склали разом нову, єдину природу. Свою частку сум'яття долучали язичники та численні, від початку ворожі нам, юдеї. Нікейський собор з його спробою відділити зерно від плевел викликав нову хвилю смути, й Церква Антіохійська розкололася. Справи були б кепські, якби не авва Діодор, наш антіохійський пресвітер, який заснував монастир, де навчав, зокрема, Іоанніса Хризостома та Теодора з Мопсвестії. Авва був людиною вченою, студіював язичницьку та церковну науку в Антіохії і в Атенах, і обернув грецьку філософію на справжню зброю, що дозволила перемогти і язичника, і юдея, і єретика.

Давно це почалося. Ми з товаришами, розгрібаючи одного дня за наказом начальства завали всякого мотлоху на горищі нашої богословської школи, розгорнули з цікавості стародавній напівзотлілий манускрипт, написаний якимсь Григорієм, котрий, подібно, чи то сам бачив апостолів в Анітіохії, чи переказував про них з чиїхось слів. То був досить грамотний трактат про шанування ікон, автор якого непоганою грецькою викладав, що Павлоса та Лукаса оточувало фаворське сяйво, яке на власні очі бачили учасники знаменитого суботнього зібрання в антіохській синагозі, що його описано в Діях. Були тут і не дуже нам зрозумілі посилання на *ме он* Платона. Щось таке цікаве міркував Григорій і про *літоту в іконі* як затамовану мить осягнення Духа Святого, але, на жаль, цей край рукопису було грубо обірвано. Ми показали сувій молодому ченцеві отцю Мелетію, який керував нами, але він, байдуже позирнувши на ледь доступні прочитанню, стерті часом, літери, лише пробурмотів: *А, Платон...*– і вкинув сувій у мішок зі сміттям та презирливо махнув рукою, відправляючи нас знову до праці. Так, не дуже у нас в Антіохії шанували Платона, але й досі шкодую, що того тексту нікому не відомого Григорія не врятував: він переконливо свідчив, що вже найперші християни твердо спиралися не лише на Святе Письмо та юдейську традицію, а й на грецьку філософію.

Не так було по всій християнській ойкумені, як, наприклад, і в сусідній Александрії, де теж сформувалася потужна богословська школа. Вона мала свою традицію, хто б заперечував. Старий Завіт грецькою перекладено було – ще до Христа – саме тут. В Александрії проповідував, щоправда, лише один апостол – Маркос, але це дало александрійцям право іменуватися, як і ми, антіохійські християни, *апостольською церквою*. Та якраз Маркус еллінської вченості не знав і навіть койне не занадто добре володів: у його Євангеліїї цілі клапті написано просто єврейською мовою. Та й взагалі александрійські богослови перебували під впливом юдейських мудреців, бо жило цього люду тут неміряно, не кажучи вже про потужний авторитет Філона. Навіть їхній знаменитий книжник Климент, судячи з того, що носив фамільне ім'я Флавіїв, походив, вочевидь, з тих юдеїв, що підняли заколот проти римлян на своїй землі, були полонені та помилувані Титом і перекинулися до колишніх ворогів. Климент визнавав необхідність філософії, але не занадто нею переймався. Ні, ніхто не заперечує, що тут з'явився ряд достойних християнських вчених, хоча й дещо, як би ото сказати, екзальтованих. Чого вартий хоча б Ориген, який, аби довести, що він цурається блуду, добровільно оскопився Христа ради й відтоді займався лише наукою. Це ж він переписав власноруч усю Біблію чотирма мовами: гебрайською, грецькою, латиною та арамейською, супроводивши текст *гекзамплами* – підрядковими примітками й коментарями на полях... Так, це Ориген винайшов для позначення складної природи Христа точне слово *Боголюдина*. Але ж навчав він часом і речам дещо сумнівним: наприклад, чи погоджуєтеся ви, що наприкінці часів Бог простить і помилує диявола попри безліч страходійств його? У цілому ж брати-антіохійці навчали не стільки в дусі аристотелевої традиції, скільки в дусі Платона та туманної філонової екзегези: так, слово «Єрусалим» можна булотрактувати *історично* – як місто, *алегорично* – як Церкву, *тропологічно* – як душу віруючого, *анагогічно* – як Царство Небесне...

У себе в Антіохії ми не заперечуємо такого тлумачення Писання, але, за нашею екзегезою, вважаємо, що кожну книгу Біблії слід пояснювати, скрупульозно аналізуючи обставини, в яких вона виникла. Зокрема треба постійно зосереджуватися на земному житті Господа нашого в людському тілі. Саме в цьому – *скопо́с*, тобто – *мета* витлумачення Святого Письма.

Дуже багато робить для цього боголюбивий єпископ наш Теодорос, що його називають Мопсвестійським, бо родом він з Мопсвестії. Каже Теодорос, що не варто змішувати у Христі Сина Божого й Сина Людського. Це дві різні *кноми* – Бог і Людина. Я записав слова Теодоросові: *Ми не повинні думати, що від Діви народився Бог. Не Бог Слово народився від Діви Марії, а той, хто від семені Давидового.* Бог-Логос лише перебуває в тілі досконалого чоловіка Ісуса – немов у Храмі, але ці дві природи ніяк не змішуються. Теодоросові можна вірити: адже навернув його у християнство сам славетний наш Іоанніс Хризостом, Золотовустий Іоанніс, наш, тутешній, ассирієць з Антіохії, з яким Теодорос колись разом навчався у знаменитого ритора-язичника Ліванія. Тепер, кажуть, він далеко пішов, хай продовжить Господь його роки!..

Хочеться мені продовжити думку Теодороса нашою природною мовою. Варто, мабуть, казати: Матір Божа – *Йялдат Ала́га*,а не Богородиця – *Емег Ала́га*... Але про це слід ще добре розміркувати.

... У тих міркуваннях, суперечках та копирсанні в книжковій пилюці я проводив довгі місяці підряд. А виповнилося мені між тим вісімнадцять років, і не міг я спокійно заснути вже й на своєму новому, окремішному ложі. У стомленій за день голові моїй гуло й ви-

рувало тяжкими ударами відлуння теологічних суперечок, а зміцніле тіло, попри усе те, вимагало чогось такого свого, про що мені нехіть розповідати.

Господи милосердний, Ти ж бо перебував у чоловічій плоті й нас розумієш... змилуйся наді мною, грішним, і вкажи мені шлях перемоги!

* * *

Ніч над морем була пронизана тривожними спалахами зірниць; десь далеко тріпотала гроза, але швидко насунула й сюди. Зійнялися вітер та великий шум; хвилі розбушувалися й з гуркотом насувалися на сушу, перемішуючи дрібне каміння. Вітер рвучко кидав дощові струмені туди-сюди, вибиваючи з них снопи дрібних бризок; у кожній з них спалахувало вогняною крапкою відбиття нафтового ліхтаря, що колотився на стіні під ударами вітру якраз біля мого вікна, й ця хаотично рухлива, сліпуча лавина подрібленого світла губилася, розсіювалася в безкрайній темряві й суцільній масі воді, що владно встала над Антіохією та морем замість легкого й прозорого повітря.

Спати я не міг; вікно моєї келії виходило якраз на море, й на денну втому необорно нашарувалися дикі завивання й титанічне дихання бурі. Я скочив з постелі, рвучко підняв грубо засклену, непрозору віконницю та вискочив крізь вікно, розташоване низько над берегом, навіть не одягаючись – хто мене в таку негоду побачить... Мої босі ступні одразу загрузли по кісточки в мокрому, рухливому піску. У голові промайнуло, що на піску, як відомо, й не побудуєш, і, мабуть, просто не встоїш – при такому буремному вітрі. Але розпашіле у гарячій постелі тіло з насолодою занурилося у прохолодну зливу; волосся, що за місяць добряче відросло, одразу прилипло до гарячих плечей прохолодними мокрими пасмами; і я почвалав, трохи наче й пританцьовуючи від шалю тілесної свободи, під дощем уздовж берега моря, в бурхливу темряву. Мені легко й весело було обминати великі й малі, темні від вологи, камені на піщаному узбережжі, хоча часом у темряві я боляче забивався об їхні гострі ребра. Коли спалахувала блискавка, небо раптово висвітлювалося, й гори, що вимальовувалися на його тлі, здавалися казковим чорним містом із загадковими будівлями та гострими баштами, в яких чомусь загасили світло. Злива з гуркотом билася о каміння, вода плямкала під ногами; до того долучалися вибухи та перекоти грому, й усе це буяння стихій було так само співзвучне отому незрозумілому вибухові мого дивацького вчинку, як і навколишня густа й небезпечна темрява – стану моєї душі, що в ній раптом неначе згасло світло ясного розуму, в котрому я, студіюючи богослов'я, постійно перебував цілими місяцями, ще й утискуючи себе гарячими, виснажливими ночами, коли приборкував бунтівну плоть молитвами й незліченними земними поклонами, поки, знетямлений, не падав у охололе ліжко, забуваючись на якийсь час тяжким, тривожним сном...

Раптом назустріч мені виринула з темряви постать, загорнута у фелон, – не в церковну ж, звичайно, ризу, а в справжній плащ подорожнього; обличчя ховалося під великим каптуром. Від здивування, що когось у такому штормі зустрів, чоловік рвучко відкинув каптур, аби краще мене роздивитися. Наскільки я зумів побачити, це був хлопець, десь такого самого віку, як я, виразу обличчя якого я в темряві не бачив, але щось на зразок іронічного *Це ж треба!* прочиталося в рвучкому русі піднесеної руки та пересмикуванні плечей. На мить він зупинився, пильно вдивляючись в мене, але нічого не промовив. У моїй свідомості, як, очевидно, і в свідомості невідомого, видимо, промайнула одна й та само думка: *І що б ото робить тут, оцей, голий, у таку бурю?* Я мовчки рушив далі, але хлопець раптом, фамільярним жестом, немовби ми знали один одного сто років, вказав кудись за своє плече й, наче щось важливе пропонуючи, хитнув ствердно головою. Я, в

свою чергу, нащось якби ото легенько вколонився й почимчикував далі, загорівшися в душі питанням, на що ж таке привабливе отам, попереду, він мені хотів вказати? І що може привабити голого дивака, який без мети човгає, по кісточки в мокрому піску, в дощову темряву?

Я пройшов вже десь з п'ятдесят кроків, коли переді мною раптом вималювалася з пітьми складена зі світлого каменю альтанка, яку я добре знав: там ми з товаришами не раз ховалися від спекотного сонця, звіряючи свої конспекти або просто плещучи язиками. У високо розташованих арочних вікнах було темно. Мене аж запекло від дивного, владного передчуття якоїсь незвичної й дуже важливої пригоди – немовби якась сила вела мене, незахищеного, назустріч невідомому. Зробивши кілька кроків, я опинився на порозі альтанки й, вочевидь, неочікувано загородив своїм силуетом вихід комусь, хто ховався всередині. Бо всередині пролунав здушений зойк переляку. Й – жах! – це був жіночий голос.

Я кинувся був тікати, грузнучи в піску, але раптом мене щось наче рукою утримало. *Ти тут не випадково!* – промовив у мені хтось незнайомий і владний.

Немов уві сні, немовби збоку, я побачив себе: голий, обвитий стрімкими струменями дощу, пружно, мов лісовий звір, вступаю я ціпкою ходою в темряву альтанки, що раптом обертається таємничим нічним святилищем жагуче-спокусливого, небезпечного й забороненого культу. Щось непоборне штовхуло мене в оту темну, незвідану глибину, і я, недосвідчений юнак, чомусь твердо знав, що маю робити...

Вона була антіохійською повією, але дорогою, високого гатунку, а отой хлопець, що по-братерському поділився зі мною її обіймами, – сином високоповажного антіохійського урядовця, який десь з пів-року підтримував з нею сталі стосунки, й, подібно, закохався, бо вимагав, аби вона зреклася свого стану й стала його дружиною. Я бачив його – вона якось вказала – в натовпі: ставний, відсторонений, з холодним поглядом аристократа. Спрочатку її тішило оте довге залицяння, але ж вона, дитя вулиці, розсудила, що нічого з того доброго не вийде, і рідня примусить шаленого коханця відмовитися від неї. Почуття ж його – я з жахом слухав ту сповідь, бо впізнавав тут самого себе! – не мали в її очах ніякої ціни: не занадто досвідчений юнак, що виріс у колі гарних манер та численних обмежень, занурився в її обійми як у джерело свободи й розкутості, і вона, підтримуючи оті їхні стосунки, вже пильно прораховувала, коли ставити крапку. І, як здогадуюся, не гаяла часу, бо мала багато дорогої одежді й коштовностей – утім, не лише від цього коханця, а й від випадкових знайомих, що передавали її з рук до рук. Отой братерський жест, яким мій нічний знайомець запропонував мені її тіло, був не лише жестом стихійної чоловічої солідарності, але й актом зречення свого великого кохання. Тоді вони обидва, зовсім не очікуючи на ту страшну грозу, прийшли ввечері до цієї відлюдної альтанки, аби остаточно порозумітися; вона, аби пом'якшити категоричну відмову, була з ним особливо палка й ніжна; між тим знялася буря, й вмовляння перейшли у гіркі докори; отож він покинув її та рушив просто у буревій, де зустрів мене й зрікся свого навіження. А вона, що сподівалася спокійно поспати тут до ранку, зіткнулася раптом з новим шаленцем, який був озброєний хіба що своює палкою невинністю, і проти цієї зброї, мало нею знаної, вона таки не встояла.

З місяць я майже щовечора бував у неї. Зазвичай там був гість, і я, зціпивши зуби, ковтав вогнену муку приниження, спостерігаючи крізь щілину її безперестанну, безсоромну

зраду. Навіть коли віддаватися коханню їй забороняла натура, вона вдавалася до безлічі хитрувань, аби не втратити заробітку та задовільнити клієнта. Я ж мусив терпеливо очікувати за завіскою, поки черговий відвідувач наситить свою хіть і піде собі геть. Отут наставала моя черга: розпалений й тим соромітництвом, яке мусив спостерігати,і дикими ревнощами, я, мов звір, накидався на неї, даруючи пересиченій жінці нову хвилю переживань і таки примушував її, втомлену чоловіками, нестямно кричати від насолоди. Швидко опанував я мистецтво розпусти, застосовуючи усі ті вигадливі штуки, про які майже щодня дізнавався й про існування яких досі не міг навіть помислити. За ці кілька тижнів я став дорослим чоловіком, що зрозумів і жіноче, й своє власне тіло до самісінького кінця.

А ось з душею вийшло не так вдало.

Вона з цікавістю гралася зі мною, поки я зберігав отой хлоп'ячий азарт втраченої невинності, й це нагадувало їй, як вона сама, сміючись, казала, її власну юність. Батьки її померли, коли вона була ще зовсім малою, а рідна тітка, не довго думаючи, продала її до будинку розпусти, й так вона стала *демóсіой*, рабинею-повією, що належала місту. Тітка була ще милосердна: такі рабині могли володіти власністю й навіть ставали часом багатійками, а поза стінами свого притону могли поводитися майже вільно. Та моя подруга не могла забути мить, коли тітка силоміць роздягла її перед спітнілим старим товстуном та його потворною темнопикою, в рясному золоті, дружиною – власниками цього ганебного закладу. Її, дев'ятирічну, крутили на всі боки, заглядали в усі потаємні куточки недосвідченого тіла, робили боляче, або, навпаки, будили незрозуміле почуття втіхи... Потім за тіткою зачинилися двері, й розпочалося невідоме, так само привабливе, як і стидне та страшне. Бувало, що блукала голодна цілими днями, бо якщо клієнт залишався незадоволеним, її били та позбавляли їжі...

– Я навчилася тоді усьому. Можу легко вбити, якщо мені хто спробує шлях перетнути.

Шорсткуватий голос її бринів притишено й рівно, мов метал ножа, що його ритмічно загострюють на ремені.

Моя голова лежала на її колінах; між нами панував тимчасовий – а хіба сподіватися на більше? – настрій симпатії та довіри. Та при її останніх словах я здригнувася, бо пригадав раптом оте дике дівча, що колись видерло в мене з глотки теплий кусінь матусиного хліба. Я скоса зиркнув на неї, й мені раптом видалося, що отой пустий погляд, ота хижа загостреність виразу обличчя колись були мною вже бачені.

– Що з тобою? – ліниво запитала вона, – незручно лежати?

– Та ні, щось судома взяла ногу, – збрехав я. – Скажи, а ти бувала колись у ті роки поблизу отої нашої старої церкви, що коло моря?

– Тисячу разів, – не задумуючись, відповіла вона, й раптом наїжачилась. – А чому ти питаєш?

– Просто я ж там від народження живу. Ми могли колись бачитися десь на вулиці.

– Не думаю, що то була б радість для тебе, – шорстко процідила вона.

Я порахував за краще ні про що не допитуватися, нехай би навіть ото й дійсно була вона. Тим більше, що старовинна тяжка образа якось розчинилася, поступившися жалю та співчуттю до оцієї гордовитої та нещасної публічної дівки. Так хотілося притулити її до серця й запевнити, що відтепер ніхто її не скривдитиме, і що ніколи вона не буде голодною. Але, при усій моїй життєвій недосвідченості, я прекрасно розумів, що нічийого захисту їй вже не треба, і що вона назавжди залишиться хижаком, котрий сам собі й харч добуде, і нору викопає. Що є для неї, грошовитої, розбещеної, певної себе, можливо – й змалку здатної видерти шматок хліба з рота у дитини, моя приязнь і мій захист? А що скажуть матуся? наставники? єпископ? Ні, не бути, не бути нам разом ніколи...

Пригадалася історія, буцімто павучихи з'їдають своїх самців по виконанні подружнього обов'язку. Тікай, тікай, Ґіварґісе!

Але ж як мені буде відтак обходитися без отого загадково-порожнього погляду, без отих маленьких білих грудей, що нагадують соковиті груші, без отого, здавалося б, такого беззахисного, плаского живота, що закінчується внизу підстриженим кущиком темного волосся... Без п'янких, хоча й позбавлених ніжності, поцілунків, від яких паморочиться свідомість... А що усе це належить усім – нехай! Безстидно-солодко робиться в надрах душі, коли уявляєш собі, що ти перебуваєш у безликій низці подібних до тебе чоловіків, які однаковими жестами пестять це покірне, на все готове, тіло, однаково проникають у її прудкі потаємності, однаково випорожнюють туди своє гаряче насіння...

Та добре я знав, що на тому не зупинюся – бо не зможу. Не зможу спокійно дивитися в гарне, але позбавлене живого витразу обличчя, не зможу ковзати байдужим поглядом по пустих очах, не зможу весь вік миритися з гострим та кожного разу іншим чоловічим запахом від її розпашеного тіла. Не зможу змиритися з тим, що їй цілковито байдуже, скільки природ у Господі і як вони співіснують. Що вона до церкви заходить хіба що на Пасху, з кошиком наїдків до освячення...

Начебто тяжкий камінь ліг мені на серце. Непомітно виникла між нами тоненька тріщина, яка відтоді щодня тільки поглиблювалася.

* * *

Я був роздвоєний, немов язик змії.

Зранку, в ніжному світлі сонечка, я омивався чистою джерельною водою, утирався тонким рушником, творив довірливу й сповнену надії молитву, аби цей день зберегтися без гріха. У просторих класах, що сяяли білістю стін, де завжди горіла ясним вогником лампадка перед образом, де витали, перетиналися й вступали в діалог високі й спасенні думки, я почувався одним з янголів Божих, що ним чужа всяка житейська печаль. У храмі, де ми часто бували, пітьма й сутінки долалися потужними промінями сонця або щедрим, гарячим паланням десятків свічок та лампад. Вдень я був захищений, наче панцирем, людським оточенням, людською увагою, коли всі захоплювалися моїми талантами, й обличчя моє сяяло, мов незатьмарений образ Божий, і не сміли тоді наближуватись до мене демони.

Коли ж світ поступово й нездоланно огортала пітьма, зі дна моєї душі підносився, мов той мітологічний Пітон, древній змій спокуси й всепереможної тілесної хіті. І я, нашвидку згорнувши свої зошити та сувої, міцно затуливши корком скляний каламар, легенько, аби не рипіти, закривав двері своєї келії важким залізним ключем, ховав його до кишені спеціально підібраного для нічних справ темного одягу, й, роздивившись, чи не йде хто, нечутно вислизав через вузьке віконце на морський берег, розчиняючись у гостро-солонкуватій темряві, в рокотанні хвиль і п'янкому просторі вседозволеності. Пружно пробігши низку міських кварталів, із щільно затуленим обличчям, я швидко підходив до отого старого облізлого будинку, де містився дім розпусти, збігав знайомими, вищербленими тисячами ніг, сходами на другий поверх, мовчки, без вітання, без звуку, проникав через задні двері до її мешкання, тулячись за завісою та втрачаючи всяку повагу до себе – чекаючи на недоїдки від чужого бенкету... А потім, знесилений фізично і знищений внутрішньо, як всякий, хто по волі своїй залишив і зрадив Бога, плівся неслухняними ногами через місто, що глухо вібрувало, важко дихало й хропло у нічній темряві, – до свого мовчазно притуленого віконечка, аби тихесенько шугонути до келії, впасти на ліжко й забутися тяжким, мов надробний камінь, сном. Гірше

було, якщо до мене, вкрай виснаженого й змученого неможливістю молитися, сон зовсім не приходив... а на ранок належало бути чистим і свіжим, випромінюючи доброчесність.

Це були справжні ножиці Парки, що безперестанно тупо й нищівно тіпали по вже майже перетятій нитці мого загубленого життя, і я відчував, що недовго мені залишилося отак страждати, бо всякій силі і всякому завзяттю приходить край.

І, як не дивно, якраз кохання до цієї жінки, чия душа була наглухо запечатана для правди й світла, – кохання, цей, здавалося б, апогей життя, – поволі оберталося чимось темним і отруйним, чимось смертоносним. А коли я уявляв, що одного дня таки відмовлюся від нього, то перед моїми заплющеними очима виникало смутне, ніжне видіння втраченого раю. Та хіба ж я, отакий, який є, брудний і смердючий, мов собака в злучці, смів розраховувати на повернення до його чистих квітів? Залишалося занурюватися усе нижче й нижче, в темні води гріха, дедалі більше втрачаючи власне *я*. А ось зречення отих тілесних розкошів обіцяло життя.

Треба було таки обирати: життя або ж смерть.

Усе вирішилося немовби саме собою, без моєї участі, й, гадаю, був у тому милосердний перст Божий.

Був ясний весняний сонячний ранок. Холодні різьблені тіні від листя великого старого платана, що ріс посередині шкільного двору, немовби гралися з гарячим сонячним промінням, разом утворюючи на мощених плитах начебто живий та рухливий прозорий килим. Я усамітнився подалі від галасу на лаві й робив вигляд, буцімтовтупився в розгорнутий зошит. Але у голові крутилися рядки язичницького поета, що оспівував владу Афродити:

Та не дає він мені зітхнуть,
Ерос. Летить від Кіпріди він, –
Темний, що жах викликає в нас, –
Наче в блискавці сяючи,
Вітер північний Фракійській,
Пеклом шаленництва...

На зміну цим гарячим рядкам приходили прохолодні, мов джерельна вода в спеку, повчання з книги Приповідок Соломонових про небезпеку, що її таїть у собі любов до жінки. Я таки переписав ці рядки в свій зошит, ось і вони: *Обачність буде сторожити над тобою, і розум тебе берегтиме ...щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занехаяла, і що Божий союз забула, бо її дім доводить до смерти, її стежки до Тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш це повернеться, ані не досягне стежки життя.*

Цар Ізраїльський знався, знався на жінках, але проте не прикипів до них серцем – навіть до відданої Суламіти... Боже, чому ота моя гетера не має серця Суламіти? А може, таких жінок взагалі не буває на світі? Твердить же Григоріос з Ніси, що Суламіта – то лише символ Церкви, яка перебуває у союзі з Нареченим – Христом... Так чи ні – невідомо напевно, адже юдеї здавна хором співають Пісню пісень на своїх весіллях, віншуючи молодих як Соломона з Суламітою, і рядки цього тексту палають чуттєвістю не менше, ніж вірші язичників, що оспівують міць Ерота... Ось і вони, оці слова, що так суперечать втомленій мудрості Приповідок: *Які ж бо твої любощі прекрасні, моя сестро-дружино! Які ж бо твої любощі хороші! Понад вино! І запах твоїх пахощів понад усі бальзами...*

– І що воно так палко студіюється, Ґіварґісе? – пролунав голос з-за мого плеча. – З таким обличчям моляться, а не студіюють зошита.

Це був мій новий вчитель богословії, ченець Анастазайос, що прославився блискучою полемікою з язичниками та суворим подвижництвом власного життя. Казали, що він колись був знаменитим ритором та мав величезний успіх, жив весело й вільно, але зрікся усього в одну хвилину, після того, як мав видіння Христа й апостолів у славі небесній, котрі покликали його до себе. Начебто був попереджений, що мусить витерпіти багато страждань. З тих пір Анастазайос (не знаю, як його звали до постригу) перемінився, охрестився й почав викладати у нас. Вчив він, поринаючи в глибини витлумачення тексту, спокійно, впевнено, уникаючи дешевих прийомчиків на зразок жартів або ще чого такого. Розповідали також, понижуючи голос, що він не лише нещадно карав себе батогами, аби подолати хотіння плоті, але й ніколи не знімав волосяниці зі своїх розтерзаних рамен. Та ніхто й ніколи не бачив його не те щоби пригніченим або роздратованим – навіть похмурість ніколи не відбивалася на його обличчі. Він і заздрісників не мав: усі корилися його прихованій силі й ласкавій усмішці, що не сходила з його вуст. Словом, очікувалося, що колись його таки визнають за святого, й відповідно поводилися з ним якось обережно. Мені ж інколи здавалося, що він дуже одинокий, хоча, подібно, спілкування з Богом давало йому значно більше, ніж спілкування з людьми. Моя старанність до навчання йому подобалася,і він таки мене відзначав, особливо після того, як я спростував єретичну думку про те, що страждання Христа були, мовляв, лише видимими, несправжніми. У своєму слові я вдало застосував риторичну градацію, нарощуючи силу аргументів: *чи ж має нас Бог за нижчі істоти, яких слід тримати у незнанні? Чи ж не принижуємо ми викупні муки Спасителя, трактуючи їх як позірність, ілюзію? Чи ж взагалі личить Богові комедіянство?* Анастазайос дуже похвалив мене й відтоді ставився до мене як до свого молодшого товариша. Ось і тепер він вирізнив мене з галасливого натовпу школярів, відзначив мою самотність і заклопотаність... Раптом захотілося розповісти йому усе – він і зрозуміє, і порадить, що робити...

Словом, не пішов я до класу, а залишився з моїм наставником на лавці, що притулилася під молодою оливою в кутку шкільного двору, й розповів йому, втупивши очі в кам'яний стовпчик із блискучим залізним кільцем, до якого прив'язували віслюків та коней, про все, що зі мною протягом цього місяцю відбулося. І не смів піднести очі, чекаючи на гнівний осуд: так високо в нас цінувалися дівоцтво й невинність, так потужно поборов усе оте мій співбесідник, а я, недостойний, відпав, мов язичник... ні, гірше! як ота тварина, отой тупий віслюк, у густу темряву плотського гріха...

Анастазайос м'яко обійняв мої понурі плечі.

– Оце й усе?

– Усе, – чи то вимовив, чи то схлипнув я. Аж зараз стало мені так шкода, так шкода втраченої цноти, занапащеної моєї дитячої чистоти...

– Не переймайся, друже, занадто. Платон колись казав, що душу везуть у колісниці або білі коні, або чорні, і краще, звичайно, запрягати білих. Та й чорні довезуть куди треба.

Я здивовано скосив на нього очі.

– Як, а хіба ж то не смертний гріх? Хіба я не відчуваю, що Бог полишив мене, й невимовна туга онімила мої уста?

– Людина первородним гріхом занапащена від природи, через що й смерть прийшла в світ. Але найбільший гріх – то відчай. Бог мовчить, але він завжди поруч. Треба покаятися й повернутися до світла.

Покаятися... Це означало сповідь перед усіма вірними, навколішки, посеред церкви. Чи то я сам не знав, що це єдиний можливий шлях. Мені одразу стало й легше на серці, й важче дихати. Це ж бо усе оте оповісти людям, перед шановними старими, перед молодицями й дівчатами, перед дітьми малими, врешті-решт. Я чув подібні сповіді не раз, але завжди ставився до такої людини як до зачумленої. І довго ходили оті нещасні,

немов побиті, не сміючи підвести очі. З рік тому якийсь хлопець, червоний, мов пурпур, покаявся, що згвалтував свою малолітню сестру. Усе розповів – і як дитинка несамовито кричала, і як він залякував її, а потім намагався купити її мовчання новими сандаліями, сережками та ласощами... оте все це чули і мати його, і старша сестра, і всі їхні родичі та знайомі! Утік він потім з міста, й невідомо, що з ним сталося. А відтак і я... надія Церкви, гордість матінки... ні, не переживу я цієї сповіді! Дівчата почнуть дивитися як на чорта з рогами; чесні й цнотливі товариші мої оточать презирством... ні, ні, тільки не це!

Усе це я виклав моєму старшому другові, давши наприкінці волю гірким риданням. Він заспокійливо плескав мене по плечах.

– Усі через це проходять, і поваги до них не меншає, а більшає. І що ти переймаєшся, як дівчата на тебе відтак дивитимуться? Запевнюю тебе, що з більшою цікавістю, ніж дотепер, як, утім, і їхні матері...Ну, то вже пусте, повір. Якщо будеш мирянином, то одружишся колись, та й усе.

Якщо будеш мирянином...І раптом знову, немовби шорсткий зойк сурми, пролунав у мені поклик Великого Зречення. На відміну від гіпнотичного, владного голосу спокуси, був він пропозицією вільного вибору. Я міг обрати шлях до самого себе, тілесного й тимчасового, або шлях до Того, хто є Абсолютна Свобода. Я знав, що оберу, хоча почувався наче хлопчик, який вперше наважується стрибнути зі скелі в море.

– А якщо... якщо я схочу прийняти постриг?

Анастазайос відсунувся на лавці й пильно подивився мені в очі.

– Чернече життя дуже, дуже суворе. Це не іграшка.

Я відповів зів'ялими устами, майже нечутно, але твердо:

– Я хочу стати ченцем. Хочу.

– Що ж, побачимо, – тихо промовив Анастазайос. – а поки що відбудь сповідь.

ЕПІЛОГ

Священик Ісагар мирно й неганебно помер у похилому віці від старечої слабості, доглянутий відданою Міріам. Останні тижні життя, чистий, незмінно одягнений у все біле, лежав і безперестанно шепотів молитви. Люди мали його за святого. Втім, спостерігалося тоді за ним одне дивацтво: завжди мав під рукою дзеркало й часто, лежачи на одрі смерті, пильно споглядав себе у полірованій бронзі, начебто намагаючись побачити там щось незвичне.

Теолог Григорій на старості років відійшов від богословствування й зосередився на воцерковленні хлопчиків-підлітків, вихованні з них добрих християн. Багато опікувався ними й віддавав останні гроші на їхні потреби. Його за це дуже поважали в громаді – аж до самої раптової смерті на церковному дворі, де він навчав своїх вихованців катехізису. Розповідали, що був тоді дуже схвильований якимсь неочікуваним вчинком свого улюбленого вихованця, й, гірко докоряючи йому, не витримав напруги.

Ієроченець Йоаким прославився суворим життям та ясним розумом; слухати його проповіді збігалося усе місто. Ніхто ніколи не сказав про нього поганого слова. Втім, подібно, мав якусь приховану відразу до молодих і гарних дівчат, і люди подейкували, що замолоду, мабуть, пережив нещасливе кохання. На якийсь час впав у єресь, розрізняючи в Христі людську та Божу природи, але покаявся й помер у згоді з Церквою. Могилу його люди шанували – аж до самого зруйнування Антіохії персами, після чого ніхто вже не міг пригадати, де вона знаходилася.

Ирина ЕВСА

ПЕРЕВОДЯ С КИТАЙСКОГО

* * *

Вместе с тучей дождь отступал к Отузам.
В летней кухне чайник урчал на плитке.
как ночные контрабандисты с грузом,
по садовым тропам ползли улитки.
Златоглазка билась у лампы, лиха
не предвидя в грозной чреде событий.
но уже брюхатая паучиха
к ней спускалась на инфернальной нити.
Что-то сверху шлепалось. Что-то шало
с мокрой ветки вспархивало, дичая.
Что-то, как Шушара, внизу шуршало,
раздвигая заросли молочая.
Словно детский страх, что дремал в подкорке
(просыпалась ночью, и сердце – в пятки),
скорлупу проклюнул, ища подкормки,
сквозняком озноба казня лопатки.
И уже, ревя, не помчишься к маме...
Но из дома вышла во двор соседка.
«Хорошо, – я думала, – что меж нами
не забор (по Фросту), а эта сетка,
вдоль которой, внука браня, зевая,
человек бредет запереть калитку,
шаг за шагом душу мою сшивая
с явью, так сказать, на *живую* нитку».

БЕРЕГОВОЕ

1.

По двору тетя Маша с ночи ходит, как часовой.
У калитки стоит, качает стриженой головой.
«Бог, – бормочет она, – где Ленька, внук мой? Ушел вчера,
а уже, погляди, светают листья на дне ведра.
Ведь семнадцать всего паршивцу. Взял бы, помог ему,
если есть Ты, как еговисты мне обещали. Вот
спит в сарае алкоголичка, дочь моя. Почему
до сих пор не прибрал ее Ты? – ровно сорняк, живет.
Скоро сдохну, и всё на водку спустит зараза враз.
Ей бутылка дороже сына... Ты ж, говорили, спас
от ножа одного дитятю, чокнутому отцу
подложив (будь он проклят, ирод!) вместо мальца – овцу».
«Тетя Маша, – зову, – зайдите, выслушайте меня».

Но, не глядя, рукою машет, по двору семеня,
мол, отстань. И на полушаге вдруг замираем с ней:
вон идет он, живой, красивый, как молодой Эней;
узкобедрый, широкоплечий, весь в золотом пушке;
отшлифованными клешнями краб шевелит в руке.
И когда на колючий щебень возле своих ворот
оседает она беззвучно, чувствуя: горячо,
как еще не бывало, слева, – он, побелев, орет:
«Баб, ты чё? – мы всю ночь купались! Баб, ну ты чё, ты чё?»

2.
ПАША

Только сядем за стол – врывается, как Дидона
разъяренная: «Мой у вас?» – «Да с чего б?» Не веря,
в летней кухне шурует лихо, за угол дома,
спотыкаясь, летит, в пристройке ломает двери.
Словно в салки играет, в прятки. Мелькают пятки
в черных трещинах. Что ли, полк пробежал кабаний? –
Всю петрушку за лето вытоптала на грядке,
традесканцию всю повыломала за баней.
А у нас-то зеленый борщ под орехом стынет,
ароматом смущая пять с половиной соток.
И нахальный скворец, пикируя с ветки, тырит
то кусочек лепешки, то колбасы ошмёток.
Но безумная Паша – мимо да мимо, глядя
с нескрываемой злобой: все вы – одна, мол, банда.
А у нас кореша в гостях и заморский дядя.
Запотевшая рюмка пляшет в руке у барда.
Наконец, намотавшись, Паша, как спринтер, с круга
неожиданно сходит. У боковой калитки
тормозит, вереща: «Ну, точно торчит подлюга
у лахудры Наташки или у стервы Лидки!»
...Так все лето она село изводила. Только
мужичок за порог, Прасковья уже на старте
с неизменным своим вопросом: «У вас мой Толька?»
И добегалась, говорят. Схоронили в марте.
Но когда в небесах гремит, и соседский кочет
ошалело кренясь, в курятник влетает боком, –
мы-то знаем, что это Паша вверху грохочет,
сквозь набрякшую темень грозно сверкает оком,
начиная обход знакомых до боли явок.
И блудливый Толян, угрюмо следя за тучей,
поминает недобро верок своих и клавок.
И чекушку под лавку прячет. На всякий случай.

3.
МАРИНКА

«Дай тридцатник, ведь не отстану! – Идет за мной. –
Помираю. Башка взрывается изнутри.
Видишь, майка в крови?» – «Ступай, – говорю, – замой».
«Ну, тридцатник всего!» – «Не дам тебе, хоть умри!
Кто вчера мне подшиться клялся, начать с нуля?»
Но, зеленые щуря, выцветшие глаза,
с удивленьем брезгливым вдруг выдыхает: «Бля...»
Мол, не надо ля-ля, других полечи, коза.
«Постыдилась бы сына!» – «Кто ж, как не он, губу
мне расквасил вчера? Да ты погляди, не трусь».
Выползает из тени. Краше лежат в гробу.
«И грозился еще закрыть меня в дурку, гнусь!
Ну так дашь или нет?» – «Сказала ж: не дам». – «Ну хоть
портвешка для рывка, ведь сдохну сейчас, налей».
Теребит за рукав: «Жалеть же велел Господь
всяку тварь на земле? Так вот она я – жалей.
Не жлобись, одолжи мне». Сморщенное лицо,
как на грязном платке затянутый узелок.
«В понедельник верну. – Покоцанное кольцо
мне протягивает. – Не веришь? Возьми в залог». –
«Да не в этом же дело, бестолочь!» Достаю
Тридцать сребреников: «Бери и катись к чертям
потому, что обеим нам не бывать в раю!»
Но Маринка уже одною ногою там,
где начертано: БАР на лучших в селе вратах,
и носатый Сурен, три раза налив по сто,
карамельку подкинет: «Закусь даю за так».
И любой тебе – друг. И если не рай, то что?

4.

И седую Машу в грязном платочке в клетку,
и ее срамную дочку-алкоголичку,
и жадюгу Пашу, склочную их соседку,
подбери, Господь, в свою золотую бричку.

Видишь, как плетутся, глядя себе под ноги,
за кусты цепляясь и тормозя позорно
на крутых подъемах? Куры так на дороге
загребают пыль, надеясь нашарить зерна.

Тут одно словцо – и дурость пойдет на дурость,
и степное эхо бодро подхватит: «Бей их!»
...Отстает одна. Другая, как мышь, надулась.
У нее сушняк. А третья костит обеих:

«Не сыскать у вас и корки сухой на полке!
Полведра картошки не накопать за лето!
Вечно двери настежь. Каждый кобель в поселке
знает, чем за водку платит давалка эта!»

Посади их, Боже, в бричку свою, в повозку.
Брось попонку в ноги, ибо одеты плохо.
И, стерев заката яростную полоску,
засвети над ними звезды чертополоха.

Подмигни им вслед пруда маслянистой ряской,
прошурши сухими листьями наперстянки.
Склей дремотой веки и убаюкай тряской,
чтоб друг с другом слиплись, как леденцы в жестянке.

И приснятся им за главной Твоей развилкой,
за холмом, горящим, словно живой апокриф:
тете Маше – внук, Маринке – моряк с бутылкой,
а сквалыге Паше – полный солений погреб,

да еще пампушки и сковородка с карпом.
...Кто-то всхлипнет жалко, кто-то заплачет тонко.
А куда везут их с этим бесценным скарбом, –
ни одна не спросит, – не отобрали б только.

НАЧАЛО ОСЕНИ

Еремеич, как прапорщик на поверке,
топчется у ворот,
сгоряча подрядившись безмужней Верке
вскапывать огород.

В ненадеванной, лучшей своей рубашке
(Турция как-никак!),
он кулечек дешевых конфет «Ромашки»
мнет в трудовых руках.

– Чё, жених, тормознул? – Он краснеет густо,
но не отводит глаз
от заразы, что ловко сечет капусту,
горкой сгружает в таз,

хорошо посолив, набивает плотно
в банки. Уйдя в пике,
златоглазка на миг прилипает к потной
гладкой ее щеке.

...Он копает, рыхлит, конопатит щели.
– Что еще? Говори.
А у Верки горят на красивой шее
темные янтари.

Так и тянет... Но зыркнет – училки строже –
руки, мол, придержи.
Ну и ладно. Одно донимает: кто же
ей наточил ножи?

Витька, что ли, по прозвищу Хари Кришна,
приторный, как цукат?
Еремеич вздыхает: цикад не слышно.
«Нет, – говорит, – цикад».

И, в надежде на борщ, размышляет, грустный:
стопочку или две?
Головой Олоферна кочан капустный
катится по траве.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

«Ты, как море, арбузом пахнешь, – он шепчет ей, –
от макушки до пят, как море, ты солона.
Я на ощупь могу найти меж твоих бровей
золотистую родинку: вот она, вот она».

«Не сбежать ли хоть на неделю, – он говорит, –
в заповедную волость, где никакой нас крот
не отроет, – на Корфу, скажем, или на Крит?»
Но ладонью она ему зажимает рот.

И тогда они слышат, как холодком звеня,
дребезжа, как цикады, звезды выходят в чат.
Он бормочет: «Не спи, не спи, обними меня».
И она, обнимая, вздрагивает: «Стучат!»

«То орехи сбивает ветер. Ну что ты, что?»
«Нет, фонариком светят. Не открывай. Замри».
Но уже он, впотьмах нашарив свое пальто,
натыкаясь на мебель, быстро идет к двери.

Теплый свитер спеша натягивает она,
не умея попасть в просторные рукава,
повторяя, как мантру: только бы не жена!
Сердце в горле грохочет поездом «Керчь – Москва»,

за собой волоча, сминая слова: «Сосед.
С перепоя решил, что в дом забралось ворье.
Ты не спи... Ты не спи...» Он верхний включает свет.
И, застыв на пороге, не узнает ее

в этой беженке жалкой лет сорока пяти.
Губы в ниточку сжаты, словно ушла в отказ,
как последний экспресс, что мог бы ее спасти,
но стоянку свою прогавил на этот раз.

* * *

Памяти брата

Ночью, когда скребущий по днищу бака
дождик впадает в оторопь темноты,
хочется верить в то, что твоя собака,
рыжая Веста, там же теперь, где ты.

Сонная, неуклюжая «азиатка»,
меж кучевых и перистых облаков
мордой уткнувшись в лапы, зевает сладко,
вздрагивает подпалинами боков.

Тянешься по привычке за сигаретой,
шаришь в карманах тесного пиджака, –
не положили, черти; а в тундре этой
глухо, как в танке: ни одного ларька.

«Веста, ищи!» И псина трусит покорно –
грузной своей беспомощности стыдясь –
по островкам раздувшегося попкорна,
где ни следов, ни запахов – отродясь.

...Спать бы и спать, угревшись. Но прямо в ухо,
словно глухому: внятно и по складам,
ты говоришь: «Проснись. Выручай, сеструха.
Дай мне своих. Когда разживусь, – отдам».

Я выползаю из дому. За ночь выстыл
сад, но уже из тучи сочится свет.
Тут, на столе, вчера я забыла «Winston».
Вот зажигалка. Чайник. А пачки нет.

Только промокший, путаный след собачий
к ветхой калитке тянется от стола.
Все хорошо. И разве могло – иначе?
Ты ведь сказал: «Ищи!» И она нашла.

* * *

Речь на паузы дробил. Чистил ножиком ранет.
Человеков не любил, говорил: хороших нет.
Взгляд его – брезгливо пуст – проходя меня насквозь,
упирался прямо в куст ежевики или в гроздь
изабеллы. На плече света ерзало пятно.
Наплывало время «ч», в коем честно и черно.
Там никто уже не брат никому, не свят, не прав.
Там наводит автомат на иакова исав.
Смерти беглый аудит. В раскуроченном дворе
кукла страшная сидит: муха роется в дыре
балаклавы. Шаг назад – и на линии огня
я узнаю этот взгляд – неизменно сквозь меня –
в неподвижности зрачка отразивший, как в стекле,
каплю красного жука на расколотом стволе.

* * *

Уступи лежак захмелевшей паре,
что кругами ходит, грозя войной.
Пляж трещит цикадами: «Харе, харе».
«Кришна, Кришна», – море шуршит волной.

Уступи им пирса сырую плитку.
Не впервой тебе потешать народ,
принимая всех, кто твою калитку
наобум толкнет, убегая от.

Сколько их застряло в сезонном быте,
где паук в пылу смертоносных па
мотылька вращает на липкой нити –
сам себе нуриев и петипа!

Уступи им глину заросших соток
с отпечатком четким твоей ступни.
Под орехом стол, петушиных глоток
хориямбы хриплые – уступи.

Все равно ведь кончится беспределом,
переделом, пьяной пальбой в ночи.
Но покуда в чистом сидят и белом, –
проскочи к воротам, отдав ключи;
чтоб, сияя бритой башкой на фоне
синей тучи, ливнем набухшей тьмы,
уменьшаться, путаясь в балахоне
цвета перемолотой куркумы.

МУРАВЕЙ

Муравьи, солдаты военной части,
обживая солнца слепой лоскут,
разбирают бронзовку на запчасти,
на себе старательно волокут.

Спозаранку черные ходят строем,
оттесняют рыжих (дави орду!),
раздают награды своим героям
и совокупляются на ходу.

Но гнушаясь грудой сухих отбросов,
никому не мылясь намять бока,
в холодке сидит муравей-философ
под колючим деревом будяка.

И когда избранник щедрот монарших,
протоптав тропинку к его плато,
вопрошает грозно: «А ты – за наших?» –
Он таращит зенки: «А наши – кто?»

Проводник наитий, ловец понятий,
он в дрожащем воздухе чует гром:
это Некто слез, наконец, с полатей
и в сенях грохочет пустым ведром.

...Гарнизонный вождь нумерует роты.
И снуют по саду туда-сюда
то стрекоз громоздкие вертолеты,
то мохнатых гусениц поезда.

Плавунцы швартуются. «Майна! «Вира!»
...Но, захлопнув Библию и Коран,
запыленный шланг Устроитель мира
второпях цепляет на медный кран.

И вот-вот потоп – наплывая с грядок
валунами слизней, стадами тли –
перемелет всех, наведя порядок
на отдельно взятом клочке земли.

ПЕРЕВОДЯ С КИТАЙСКОГО

Этери Басарии

Восседать на одном из выцветших берегов,
суетливых комах не смахивая со лба,
и глядеть, как сплавляет время твоих врагов
по реке Гань Ба.

Ну, вот этот, к примеру, льстивший тебе в глаза –
сочинитель доносов – знатный был эрудит.
А теперь слюдяная, узкая стрекоза
на ключице его, посверкивая, сидит.

А вон тот, фарисей, косивший под простака,
был в маневрах своих расчетливей, чем главбух.
Но во рту его – вместо грешного языка –
нынче лотос речною сукровицей набух.

Следом – третий, четвертый...Чем же ты их достал,
не дающий острастки мухам и комарам,
не зачисленный в роту гибнущих за металл?
Всех и дел-то: бумагу тушью в ночи марал;

да лепешки ломоть крошил наугад линю,
под речёвку сверчка и плюханье жирных жаб
наблюдая, как неулыбчивую луну
облачает ночное облако в свой хиджаб.

...Пятый, следом – шестой. У замшевых камышей
тормозит их зеленой заводи западня.
Так рядком на крыльце выкладывает мышей
деловитая кошка: мол, похвали меня.

Отвернуться, уйти. А дудки тебе! Смочил
дождик рыжую глину в малом твоем порту.
И щетина травы растет из твоих морщин,
и лишайник ползет по каменному хребту.

ЦАРСТВО

Сергей СОЛОВЬЕВ

МАТРИЦА

Она тикает, как часы, – солнечная смола,
в талии стянутая до нулевой точки.
Она рыщет будущее, как жилье
отнятое, и забралом своим жует
время воздуха. Вспыхивают зеркала
глаз чешуйчатых, мироточа.
Она точит ходьбу. Мир безвиден еще и пуст.
Она ходит углами, сложивши крылья
за спиною, как руки. Она одна,
матка мира, которого нет. Лишь хруст
ее желтых ороговевших брылей,
гул утробы и дрожь крыла.
Свет и тьма в ней сгущаются, как смола.
Нити лап ее – как подтеки.
Она – кольчатый ключ и янтарная скважина
одновременно. Она насажена
на кол жизни. Ни двора у нее, ни кола.
Дергается, кривясь, как под током.
Нет в ней окон. Бог не заводит
кокон своих часов, по Лейбницу.
Она, как Лейбниц, в кольчатом кафтане,
вибрируя, к себе восходит
по бесконечным лестницам
решеточных свиданий.
Она одна на свете. В ней – народы
несметные кроятся жгучим жаром,
не знающих родства незрячих букв.
Она туда ползет, где, как клобук,
зияет ход под дерево, и, замерев у входа,
вдруг тяжелеет всей своей державой,
и в долгом логове мохнатых корневищ
свивает колыбель, подвешенную к своду,
и штопает ее, как на стакан чулок
напяленный. И взмыленного рта челнок
живую нить сучит, и глаз ее, как свищ,
вспухает... Стихло все. И крестным ходом
они идут, младенцы, из нее – в чулок:
лишь девочки, личинки белолицых
царевен-несмеян, гурьбой идут, икринка
к икре, светясь и извиваясь, балеринки...

А у нее, царицы, пляшет синий ток
во рту, разъятом вкось, и солнечные спицы
незримые в руках воздетых, вяжет
пространство над собой, и время
в чулок откладывает. Клейкие секунды
в нем тикают, окукливаясь, пряжа
шипит, шевелится, дремучая, как древо,
в чулке. Она под ним лежит, лицо суккуба
прикрывши лапой, дергается в схватках. Обрастают
секунды новорожденные кожей, в младо-
минуты превращаясь, заплетаясь в косы
часов. Святые ясли, райские сады над ней светают,
зернистыми скрипя кругами ада,
вращаясь под углом друг к другу, как колеса.
Уже их тьмы и тьмы – сестер, снующих в мир
за смертью, чтоб, домой с добычей
вернувшись, срыгивать ее младенцам в яслях,
и слизывать с их губ, еще неясных, вязких,
ответный поцелуй, как эликсир
бессмертья – часа на три полета. Закавычен
их мир: тут – поцелуй, там – смерти полон рот.
Они – объятья панночки-старухи
с Хомой. Их узкокрылый род
ни женщины не знает, ни мужчины.
Она – царица-мать, они машины-
убийцы и преданные няньки-повитухи
ее детей, которые, взрослея в поцелуях,
вопьются в жизнь и выйдут из пелен
в убийцы нежные, в хитиновые сестры,
в вишневый ад. Она лежит, трубя, пируя
своей утробой до седьмых колен,
и выдувает, как стекло, тягучий остров,
как тучу винограда над собой, как подвесные
сады, они стекают соком, сном, старинной битвой
курчавых всадников живут, как говорил
тот профиль птичий, чье имя осыпь с недосыпа
змеила вниз, и яблоко глазное бритвой
лучей крошило. Осы, Хелувин...
Висят над нею куколки народа,
как липы свет и цвет, и мед, и рой...
Гудящий ствол, ветвистое гнездовье,
склонясь над ней, своей мануфактурной кровью
шумит. Она лежит и слушает, как кровная порода
толчками движется под тонкою корой
чулочною, и каплет, будто липов май,
сукровицей, слезой и дословесной слизью.

Она лежит под древом, золотиста,
как луковица, из которой тмится,
вздымаясь, лабиринтный рай,
и шевелится во тьме, как волосы, и листья
свивает в коконы, и матрица державы
над ней, как люстра, наливаясь светом,
дрожит. Она лежит, вся в отблесках, царица,
и вяжет древо на незримых спицах,
и жалит тень свою, и пышет жаром
утробы, как труба архангела, воздетой.

ИЗБА

Это их будущее висит, подергиваясь лицом,
роговеющим с каждым часом:
как по стеклу пенопластом вести – такой
звук они издают, вибрируя... Как кольцо
с пальца пытаются снять, так их кольца
хитиновые через голову лезут... как спитой
чай с радужными разводами – их тела
переливчаты, выворачиваясь наизнанку.
И губами, взмыленными от визга,
в тьму впиваясь, они, дети веретена,
утром еще лилейные, как мениски,
в коконах, рвут эту нить Ананке,
и вскипают лицом, как в стакане сода,
взвихренная чайной ложкой
тела их, непроглядного в белой мути,
и, отворяя рты: «Жить! – визжат. – Жить!»
И от визга этих бескрылых крошек
няньки-девственницы беленеют
и летят из-под дерева, желтые, как ножи
нежности, взблескивая на лету
солнцем с кровью, нервно кипящей дрожью:
жить, то есть жизнь добыть, и во рту
донести ее и сцедить – рот в рот –
этим чадам, прозрачным еще, бескожным,
в темноте светящимся, как язычки
пламени. Вот летят они, чуть разболтанно
в воздух ввинчиваясь, эти сестры
золота, с боковой нарезкой.
И глаза их вспыхивают, как очки
у электросварщиков, а за ними версты
тел их кипят плевком и расходятся веером
над притихшим лесом.

А за краем его – изба
на куриной ноге стоит. А в избе –
двадцать тысяч медовых женщин,
чужестранок, привезенных для труда.
Они хоть и помельче здешних,
но зато отдают себя, как душа
Богу, в каждом вдохе своем – другому.
А потом, запекшиеся, как ранки
воздуха, над избой висят, и падают, не дыша.
А наутро снова выходят в гомон
птичий, в зябкий дагерротип леса,
и зернисто тянутся меж стволами,
как роящийся иероглиф,
сам себя читающий – то в небесной
версии, то в земной. Покачивают головами
стебли в буклях цветочных, провожая
разоренными ртами день. А те,
над лесом, делятся на две стаи:
одна продолжает висеть пожаром
в небе, другая – незримая, в сорок тел –
уже за лесом избу листает,
и рвет страницы ее отрядов,
взметаемых на защиту, рвет их тьму,
и они ссыпаются буквами со страниц,
и холм их смерти растет, живой
еще, но – как на весах – избу
уже перетягивает: она висит
над ним, запрокинута; утлый рой
дымком над нею едва курится.
Двадцать тысяч сестер лежат,
подергиваясь на земле, надвое
перекушенные, то есть сорок. Лица
подрагивают еще, глядя в остывший жар
не своего тела. Такое им и присниться
там, откуда их вывезли, не могло:
им, вышитым, будто воздушный батик,
смугло-вощеной нитью, иль из картин Брака
вышедших в тонких в облипочку кимоно
с крыльями за спиной, завязанными на бантик, –
им, дюймовочкам-европейкам, им, под лаком
своих домовинок-тел темнеющим: дом – работа,
им, панночкам перелетным (да, как та –
лезвием перочинным всверкивала, вставая),
им, мореным в кипящих сотах
безостановочного труда,
и не снилось такое: стая
в сорок сестер выворачивает избу наизнанку;

двадцать тысяч бьются об их броню
лбами, в пену, как волны, рушась.
Это как против немецких танков
польская конница с шашками наголо.
Будто волосы тлеют – так шевелится этот ужас
тихих тел их, покрывших землю.
Сестры лезут в избу, и щекою к щеке
вглубь ползут, их забрала в меду,
но не мед им постель и веселье,
а младенцы, – их люльки во мгле
покачнулись и скрылись во рту.
Взмыли сестры, летят, за щекой их голубя, в очах
уже солнце садится. Вернулись. Царица
счет ведет исподлобья, волхвуя,
пока те, прикипая к губам ее чад,
их младенцами кормят, изжеванными до водицы,
и сливаются в поцелуе.

ДУПЛО

Тот же лес, то же лето, но ближе к концу
света. День сидит, как в гримерной
комнате. Дерево с подземельной пульпой
на цыпочки привстает, к лицу
поднимая ветви. Там, под корнем, –
девочки-гнойнички светятся, будто пульки
мутные в нервных коконах. И горит нора,
как шкала приемника, там, во тьме,
верещит на пределе звука,
будто стрелку гоняют из края в край,
изводя сестер, прикипевших лицом к шкале,
повторяющих мир по буквам
новорожденным. Выжжен лес, паутинист, пуст
август уст. Под глазами мешки
у небес. И сердечный румянец. Полями
пыль бредет, прорастая, как куст,
влево, вправо...
И лежит на боку, искореженный, в яме,
богомол, будто велосипедная рама.
А вокруг него ходит сестра,
и жует его цепь в сочно-солнечной смазке.
И с обрывком цепи вдруг взметнувшись, летит –
будто выхлоп костра –
на лету поправляя и щеки, и каску,
и вертящийся компас в груди.

Ночь ножей в ней. Ее сезам:
смертью смерть. И еще: гори я
днем с огнем... И еще потуже
стягивает поясок. Ни мужа,
ни земли ей. Всем слезам,
всем младенцам она Мария.
Всем младенцам ее, царицы,
всем сестра она – по серьгам,
кроме тех, изжеванных до водицы,
за щекой. И тех, кто еще не там.
Пуст кренящийся лес под ней,
она водит очами, играя зумом.
Лес, как поезд, вытягивается, и в желоб
взгляда ее течет, отпарываясь от полей.
Она передергивается на весу, и
цвет сетчатки меняет: зеленый, желтый,
красный. И пикирует в крону дуба,
или дуб взлетает к ней: там – дупло,
вглубь роящееся и вовне, будто гарью
дышит, смыкая и размыкая губы
смоляные, иссиня-черные, в них тепло
и темно. Она пальцем читает их, Мата Хари,
она нижет их глазом и метит губу
едковатой слюнцой, чтобы сорок сестричек
наживили по запаху путь, как в начале
времен в ту читальню-избу.
Стелет мягко она. Ее медленный танец обличий
усыпляет, пока она водит лучами
по сводам, все глубже вползая в дупло.
Но странное дело – они словно не замечают
ее, продолжая свой утренний ритуал.
Они расхаживают в нектарных масках, и крылом
обмахиваются, как веером. Они сличают
свои лодыжки ниточные, встав на пуант.
Они у стены стоят, как у зеркала, и разводят руки
в золотистой пыльце, и зеркально
отражаются, узя глаза, друг в друге.
А над полем несут рисунок –
полустертую охру, – как наскальную
живопись, и роняют его на поле,
а потом возвращаются, колесуя
воздух, в дом, с песнями, во хмелю,
и с восходом луны, как голем,
рассыпаются и лежат во тьме,
глядя в лунную кисею,
чуть подрагивая, как окалинки,
остывающие в золе.

А наутро они святые, в нимбах
расхаживают, шестикрылы, пьют росу
будущего, сепию меж ладоней
перетирают, молятся, мукуталибы
пыли цветочной, женщины на весу,
вьются, жужжат, долдонят,
вертят головками, полевые ванны
перебирая, вязнут в них. А потом в дупле
в старца складываются, и розгами
дождевыми охаживают себя, и манны
ждут, вольноотпущенницы в словаре
дней. А могут сложиться в письмо Дубровского
и лежать, перешептываясь, до косматой
Машеньки, до медвежьей ее руки.
Сестры лесные, они в колодце
воздуха – мытари бесноватых
трав. Дуни-ведуньи, они легки
на ногу, как на восходе солнце.
Вот они, сонные, в утренних туалетах,
юбками в дальних комнатах шелестят,
зеркальце посолонь с веером за спиной,
между ними стрижется полоска света,
город, сумрак, пластиночка на костях.
А она, как троянский конь, наплывает, с той
лишь разницей, что те сорок братьев –
как сознанье ее – не внутри, а вне.
Она помнит избу, не она ль тогда
угол метила, чтоб потом, как в горящем платье,
та металась, черна, как матерь
божья, и разламывалась в огне
на две смерти – на *нет* и *да?*
Тот же лес, только эти, она обводит
вязким взглядом их тьму лица,
не похожи на тех, в избе, чужестранок.
Эти здешние. Они видят ее, но вроде –
ни агрессии, ни испуга нет. Как и нет конца
церемонии этой странной:
наплывают парами, как в кадрили,
пригибаясь, пятятся, как играют
в ручеек, отплывают вглубь, и ржаными
ручками пожимают тьму. А другие
в стороне стоят и головками вслед кивают,
как фарфоровыми, неживыми.
Странно все это, думает, и у входа,
как шуруп со свинченною резьбой,
прокручивается, взблескивая, свиристя
панцирной челюстью. Думает: от народа

этого и следа б не осталось; какой там бой –
так, час-холостяк...
Только цель не они, а гумус
распеленатых детств. Одной
весь его не набрать за щеки.
Угол метит, и слышит голос –
тот, со свинченною резьбой,
будто хрип соловья в трущобе
мерзлой крови. И в глубь гнезда
шаг за шагом, но против воли,
продвигается, будто ее влекут
волоком, и уже вода,
обнимает ее за шею... То ли
дом над ней, то ли дым метут.
Вход, она оборачивается, как свет –
еле тмится в конце тоннеля.
Тишь, все замерло: стены, своды...
Вспышка, дрожь, искрящийся фиолет
прошивает ее. Но в теле –
будто вата, и тлеют годы,
будто вата во тьме, и вдруг –
этот тонкий неразличимый
для ее слуховых извилин
звук, летящий в лицо ей рой
рук, и она уже в нем, в пучине,
в шар свернувшейся, в пылкой пыли,
в топке тел их, развихренных до черты,
за которой лишь синий пламень...

До нее, но уже оплавив
и утрачивая черты,
шар от жизни уже по ту
сторону охлаждают, крошась в руду,
будто знают, что вилка смерти
между ними и той, внутри
раскаленного шара – три
десятых... Им жить на свете.
Ей, обугленной, – на свету.

исход

Что она видит?
Мутные карандаши бродят по лесу –
оранжевый, желтый, красный.

Мутные карандаши в длиннополых пальто нараспашку,
ходят, красят, пошатываясь.

Что она видит этим глазом, подернутым патиной,
этим средневековьем с отслоившейся живописью,
этим восково-тусклым сфумато,
этим заросшим колодцем в паутинных разводах трещин
с подрагивающим зрачком,
перевернутым, как ребенок в плаценте.

Как ребенок, стареющий с каждым шагом ее,
с каждым взглядом на эти мутные карандаши в стекле,
на эти острые, впившиеся в зрачок, осколки сини,
если б она могла видеть.
Она ползет, опустив голову,
перебирая лапами в палой листве,
взблескивая, как перевернутая корона,
смятая, полая,
оставляя зазубренный след,
заметаемый листьями,
август, мутные карандаши,
длинноногие дети смерти.

Что она помнит?
Калугу? Гофрированные дирижабли,
спускающиеся с небес,
как ладони в молитве?
Ржавое облачко,
отцепленное, погромыхивающее?
Остов Елены?
Куклу земли?
Гоголя, завернутого в третий Рим,
с растущей, как ноготь, Аппиевой дорогой?

Хитин империи, сестры, карандаши...
Лес тонет в ее глазах, как Цусима,
со взбегающей вверх листвой.

Что она помнит?
Дерево?
Вязку его корней, как змеиную свадьбу?
Себя между ними, хитиновую валторну?
Эту нотную азбуку, наливающуюся во тьме,
огоньки деревень,
эти выкройки девочек, кровь и пленочки крыльев,
этот бег под собой в три сестры шестиногий,
этот белый тоннель на тот свет,
где внизу, как вокзал, чуть качается лес,
и зеленая кашица-жизнь за щекой.

Что она помнит,
отползая все дальше от дома,
от царства, от роя народа,
от слипшихся вязких секунд своей крови,
зарываясь в листву,
как луковица часов со стершейся позолотой,
как ветхая девочка,
как скорлупа,
как поддетый лучом, сковырнутый, запекшийся город.

Что она помнит,
оборачиваясь через плечо,
глядя из вороха книги
в рваных закладках тропинок
с мутными язычками огня?
Август?
Гул печной в животе?
Осень маточных труб, заметаемых прелой листвой?

Острогубые мальчики с колким светом в глазах.

Эти мелкие, медные, как монеты, вертящиеся на ребре,
мальчики. Вверх подброшенные, высверкивающие.
Эти плавкие мальчики,
однодневные,
вьются бедрами, свиристят роговеющими губами,
застят небо, роясь над утробой ее,
всем народом сплотясь,
лезут по головам,
чтобы первым припасть к ее кровным,
искромсанным в схватках ложеснам.

Что она помнит?
Как затачивались их глаза,
глядя вниз, прицеливаясь,
и ломались, как грифель, водя незрячими?
Как старели они на лету,
эти мальчики новорожденные,
как болтались в удавках семени
эти вздернутые эдипы
с тихо выбитой из-под ног матерью?

Что она чувствует,
засыпая себя листвой, как чужбину,
останавливая мгновенья – одно за другим – в себе,
отчуждаясь от времени, развоплощаясь,
начиная с тонких лодыжек на золотом каблучке,

и выше – к остывшему солнцу ее живота
с тем мальчиком-смертником,
прикипевшим к нему с перевитыми крыльями,
как рукавами, завязанными за спиной.

С тем задувшим из-под корней ветерком,
выдувающим золото, как сухой мусорок:
сонмы снулых сестер, пустотелых, звенящих,
и обветренных смертью мужчин.

Она чувствует,
как он стучит по спине,
этот кровный слепой позолоченный дождь.
Она движется в глубь – листьев, ночи, земли.
Нет ни тела ее, ни границ, ни страны.
Только взгляд еще длится –
туда, за плечо, где под деревом, подрагивая головой, покачивается на нити будущая царица с тоненькими светящимися руками, перевитыми за спиной.

Еліна СВЕНЦИЦЬКА

З ЦИКЛУ «ДОНЕЦЬК-2014»

* * *

У густому диму
І в кромішньому домі...
Я тут просто живу,
Тут, в землі невідомій.

Добрі люди стоять
У межі злої ями,
Роздивляються, що ж
Відбувається з нами.

Суд почався страшний,
Чи то інша потреба.
Час збирати каміння –
Й летить воно з неба.

Йдуть там сірі сніги,
Йдуть там люди в покорі,
І хрущоби вночі –
Зуби велетнів хворі.

Там, де стид – як реп'ях,
Існування – як втеча,
Де вмирає життя
В метушні й колотнечі,

Де залізо тече
Із небесної вати,
І не знає ніхто,
Де себе заховати,

Там, де сила нечиста
Містами гуляє, –
Я тут просто живу.
Де живу я – те й маю.

Сонце. Кров на землі.
Вітер. Двері закриті.
Я тут просто живу.
Комусь треба тут жити.

* * *

Притулитися, слухати ніч,
Вона тане, мов чорна крижина.
Чути шурхіт сухий. На шматки
Це мою роздирають країну.

Розливається спокій і жах
Там, де котиться долі навала,
Над людьми, що вбиватимуть нас,
Над людьми, що за нас помирали.

Всі пішли. Не лишився ніхто.
Мертві риби повзуть чи хвилини.
Тільки небо розколює дощ,
Скляне небо моєї країни.

І стоїть холодна весна,
І лишається холод з нами,
За собою женеться сам
Натовп з вовчими головами.

Що тепер? Дим в повітря летить,
Вікна вибиті, двері розкриті,
Кличе кров догори, догори...
Як людей від людей захистити?

* * *

Пахне домом і смертю. Нікого нема.
Не бентежать нікого полічені строки.
Орач п'яний стоїть, а на його жнива
Звідусіль позліталися круки-пророки.

Від каміння лихого трава захистить,
Все в руках Твоїх, Господи Боже.
Тільки руки ті білі, холодні, тонкі,
На повітря замучене схожі.

Це життя починає свій вовчий танок,
І приходить до нас влада тиранозаврів,
В її пащу кладемо своїх діточок
Під здригання веселих литаврів.

* * *

Мамо, мамо, ти послухай
У степу на видноті,
Чи не твоя це дитина
Плаче в смертному житті?
Ось і ніженьки розбиті
Йдуть до річки, йдуть на дно.
Мамо, мамо, сонце вийде –
Що побачить тут воно?
В тиші вранішній зловісній,
Коли сором навіть спить,
Бачиш – ось маленьке лихо
Виростає кожну мить.
І тече холодний потяг,
І в пітьмі блукає Бог,
І злітаються хвороби
До білесеньких кісток.
Серед тихого свавілля,
Серед вільного виття –
Мамо рідна, мамо бідна,
Чи ти бачиш кров життя,
Що під теплим небом світу
Стиха скраплює в імлі...
Пропадають твої діти,
Мамо, на твоїй землі.

* * *

Братики мої, лебедики,
Де ви линули-були?
Ви снігами позаметені,
Хробачками полягли

В землю, холодом оголену,
Де замерзла кропива,
Там на всі чотири сторони
Не кінчається війна.

Це сестричка вам залишила
Бідні стебла кропиви,
Щоб летіти. Вітром хилиться
Світ, розквітлий на крові.

Ой летіть, летіть, лебедики,
По залізних по світах...
Очі завтра як підвести нам,
Коли в світі стид і жах?

Ой летіть, летіть над кривдами,
Кропивою вас зів'ю.
Чому кожен в цьому світі
Любить кривдоньку свою?

Кривдонька донькою кинутою
Просинається вночі –
Вас же сон веде над прірвою,
Сон тужливий і нічий,

Сон, де горе стало долею,
Де поранені слова,
Де сестричка зачарована
Обіймає – кропива.

* * *

Що ж ви, друзі? Що ж ви, вороги?
Що не так в цій скорченій країні?
В світ який веде неправда синя?
Який сором в'ється навкруги?

Де ми? Як на гнилище прийшли?
Як ми опинилися в гноїщі?
З сторінок підручників старих
Дивляться на нас п'яниці віщі.

Огорожа, Господи, Твоя
Падає. Постали хвилі праху.
Ось і знову сповнена земля
Смородом від сорому і жаху.

А на нас чекає чужина.
Вийти в нерухомість невідому
І шукати в моторошних снах
Речі, що лишилися від дому.

* * *

Світе, світе мій хороший,
Чом палаєш, чом гориш?
Правда чиста, правда чорна
Похитнулась, мов комиш.

Відлетіли душі темні,
Там, у зойках породіль.
Тягнеться життя, як жереб,
А витягується – біль.

Де лежали люди рідні,
Там суріпка і спориш...
Світе мій, безжальний, бідний,
Чом криваво так мовчиш?..

* * *

Збережи мені мову – українську, російську, іврит –
Не за присмак нещастя – за біль в піднебінні.
По крижинах, по снігу, черемхою світло летить
І зелене життя до небесного простору лине.

Як сирени співають в жовтогарячій воді
І як кров'ю ревуть мої вени яремні, наскрізні...
О не йди від руїни, від глини рудої не йди
І від берегу злого палаючої вітчизни!

Це країна, де все – тільки втрата і стид,
Та обійми її до хребтини аж душу стискають!
Місто сповнене тінями, що вони всьому чужі,
Місто сповнене тінями, що докоряють...

І нарешті вже плакати можна, і ласкою горнеться біль.
Збережи мені мову – і більше не треба нічого.
Хай майбутнє на обрії деревом чорним стоїть,
Хай минуле валиться зрубаним деревом в ноги.

З ЦИКЛУ «ВІРШІ НА МАЙДАНІ»

* * *

Коли полум'я співало,
Кривдою повите,
Йшли ми, люди, в гайдамаки,
А тепер – в бандити.

Навкруги скорботні півні
Та смутні зозулі...
І чужого не навчились,
І своє забули,

Коли знову наступили
На ті ж самі граблі...
І взялися чорним пилом
Наші гострі шаблі.

Тишком продані, всі втрати
Віднайшлися знову,
Тільки слово вже не справа,
Ба навіть не слово.

Вкритий струпами, кремезний,
Лазар воскресає,
За нутро його роздерте
Б'ються кривди зграї.

Час приходить, час відходить
Пориванням щирим.
Поросла горожа кров'ю,
Воля стала звіром.

* * *

Щоб заснути хоч на хвилину,
Щоб забутися хоч на мить...
Чорний сон – там моя вітчизна
Безупинно болить, болить...

Подивіться, о подивіться,
В землю сходить зерном народ,
Тільки його відчаю Кітеж
Виростає з залізних вод.

Дзвони падають, дзвони линуть...
Подивіться, дивіться сюди:
Це не храми стоять – крижини,
Не будинки стоять – льоди.

Подивіться, о подивіться:
Висихає, мов кістка, час.
Цілували суче залізо,
Цим залізом різали нас.

Перекинулися на тумани,
Ми і хмарами стали теж...
Земле, земле, хіба ж ти не мати,
Нащо нас від себе женеш?

Що ми злого тобі зробили?
Глевтяком на дорозі – час.
Нам у відповідь буде вітер,
Вітер нас захистить від нас.

* * *

І всі напишуть вірші про майдан,
Постануть революції поети,
Неначе помаранчеві намети,
Яскраві і веселі в драбадан.
Все хочеться героїки й жалю,
І когось викривати до загину,
А потім напувати досхочу...
Циганський табір – ось моя країна.
Цей сум розхристаний і цей роздертий жаль,
Покірна і спустошувальна гідність
І безлад відчаю, журби розгардіяш,
Що від дідів і прадідів лишились
На смітнику. Ніхто не спить вночі –
Шлях горілчаний спереду й позаду.
Сміття танцює, музика гримить,
Всі зраджені – і зраджують за зраду.

* * *

Тіло кинути в повітря
Ваблять, зваблюють дахи...
Теренами України
Покотилися жахи.
Одягли всі шати білі,
Нижче поясу – блакить,
І де праві, і де ліві,
Вже не можу зрозуміть.
Грай же, грай, моя бандуро,
Коломийки вигравай,
Неозорий і байдужий
Шлях у рай через сарай.
Наша мова солов'їна,
Та померли солов'ї –
Їх на сало і на мило
Й на пісні перевели.
Скрипка, скрипка виграває,
Вихиляється місток,
Розляглися хворі трави...
Ось такий він, наш лубок.
Україно, в твої квіти,
В твої ріки і гаї
Вбивці, вбивці залюбились,
Закохались шахраї!
Грає, грає зла бандура,
Виграває зла сурма...
Україно, нене люба,
Хіба можеш ти сама?
І бажання це єдине
Знає кожний сучий син –
Притулитися і жити
Хоч з ким-небудь, бозна з ким.
Побратими – та не з тими,
Покупці – та знов не ті.
В небо дивлячися, мріють
Сурми, сурми золоті.
Від загибелі до згуби
Шляху торного нема.
Грай, бандуро жовтозуба!
Мрій, розчавлена сурма!

* * *

І як пес до своєї блювоти,
Як свиня до рідного бруду,
Повертаємося в покорі
До Твого нестрашного суду.

Під очима голої суті
Стоїмо самотні та голі...
Бо тепер вже не людським плугом
Переоране наше поле.
Тільки спільний над нами стид,
Тільки сором спільний над нами –
У раптових багатіів
Із раптовими злидарями.

А в обличчях великий спокій
Втрат полинних, образ полинних...
Ми пишаємося тобою,
Дивовижна наша країно!

* * *

Брати мої старші, все б вам пити.
Брати мої молодші, все б вам грати.
Вітер – наше життя. Україно полинна,
Чи не скажеш, куди мені серце сховати?

Хто це ходить надворі? І чому закриті
Білі двері останньої злої оселі?
Час іде – та до ночі ще треба дожити.
Час іде – гарби його скрегочуть в пустелі.

О брати мої бідні, розхристані, хижі,
О яка розриває легені тривога!
Ваші голови, наче розбиті валізи,
На жертовник поклали незнаного бога.

Тільки його немає... Він прийде, він прийде,
З неозорою ніжністю буде карати.
Щоб ніхто тебе більше не гнав і не кривдив,
Ти голубиш сокиру, закоханий кате.

ТЕМНЫЕ ПОЛЯ

Андрей ПОЛЯКОВ

Тёмным полям –
не темнее полей умирания –
слово приходится следом
а голос ничем:
столько же тела на нём
сколько слышно двойного дыхания
в «нет» и «не рядом»
(письма)
или в «может-быть-завтра»
(ночей)

МЕРЦАЮЩИМ УСТАМ

Поэзия мертва. Она стоит
как статуя, объятая собою

Какую тьму по зеркалу глядит
Кого сквозь сон пугает головою

Но до сих пор мерцающим устам
почти дыша, как юноша, внимаю
и стариком синею по ночам
когда пылинки с мрамора – сдуваю

ВСЁ, ВСЁ, ЧТО БЫЛО ВЫПРОШЕНО НАМИ

Всё, всё, что было выпрошено нами
что вынуто на холода январь
из тела мягкого, по имени любого –
не поддаётся ни чернилам, ни губам

Полуегипетская ночь языковая
чуть освящённая, прекрасная-везде
для нас кончается, почти напоминая
что люди с яблоком и книги на воде

Зачем же нам тогда йцукен и фыва:
держись, мой друг, одежды и хлебов
ведь прошумел Орфей неторопливо
к заупокойной младости готов

И вот Автобус часто-настоящий
несёт, как царь, пустыней городской
тепло одной красавицы, не спящей
от слова Господи и слова далеко

Но в волосах её тысячеруких
на тёмной, как Мария, глубине
мы станем блеск руин и мёртвых плясок звуки
чтоб за спасение благодарили не

ПОЙ МНЕ В ПЕСНЮ

Пой мне в песню, как синица
прилетает к мёртвым в дом
пой, как падает ресница
пой, как зеркало кружится
пой, как есть, о том, о сём

О наклонном белом мире
где стекло в словах растёт
где Платон распят на лире
и не слышит, что в квартире
шелестит вселенский лёд

где любовь гремит ключами
на КВАДРАТАХ городских
и, в обнимку со свечами
ждут суда её ночами –
сотни бедных и пустых

ЛЕТАЕТ БАБОЧКА

Твой ангел печален –
но Бог неслучаен

Летает бабочка
и мотылёк кружится
Поётся девочка
и мальчик говорится
За книжным шелестом
с холмами и свечами –
чем они заняты?
Наверное, ночами
Вот зиму прожили
и скоро будет лето
и что-то страшное
как борщ или котлета
как полубабочка
над свечкою шипящей
как посох пастыря –
тяжёлый, настоящий

Ходите Господу
нестройными рядами
Хватайте девочек
и мальчиков руками
Не пейте вечности
из козьего копытца
Не спите с бронзою
которая вам снится

А эта дудочка –
ни добрая, ни злая
Отполирована
гортань её сухая
Она лишь кажется
на ближний свет похожей
но мыслит – воздухом
и лицемерит – кожей

Спасибо клавишам
как пальцами стучащим
Спасибо дурочкам
горящим, предстоящим
Спасибо мёртвому!
для ангелов знакомых
стоит день-золота
лишь в царстве насекомых

ЗА КЕМ УСТРОЕН ВДРУГ

«За кем устроен вдруг весь куст языкокрылый
под чёрной насыпью не чёрным никаким
Зачем перрон – лицом, анфас его унылый
и мы, стоящие как звери, перед ним
Убудем, Боже наш – скажи куда – отсюда
хоть на другой разъезд, не важно, хоть туда
где намерцает мышь и назвенит простуда
псалом 136, несчастный, как вода!»

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК

Маленький мальчик лицом на восток
прошелестел: «Одинок-одинок»

Камень очнулся и больно взлетел
над головой у тебя засвистел

Едешь ли в храм, не спешишь ли домой –
камень свистит над твоей головой

II

Служба светлеет, а камень свистит
тело тебя, как бы лёжа, стоит:
хор наступает, оно умирает
камень светлеет, светилен СВИСТИТ –

ДУША ЗАЩЁЛКАЛА

Душа защёлкала, что тело надоело
а слово голое ей кожу отдаёт
и раскрывается: «Я старило и пело
внутри смоковницы, у Галилейских вод

Собою слышало как Симона позвали
на рыбопроповедь, похожую на дым
которым засветло поднялись и дышали
мы в бедном воздухе субботы, золотым

Психейка-пёрышко, Мария-молодая
давай обнимемся на правом берегу
где в прятки трапезы с Отцом когда играя
пролились лицами сказать своё ку-ку

Пока в Израиле земное солнце машет
и кровли Города в крови его блестят
произнесёт меня едва один из наших –
переоденемся, друг другом шелестя!»

УЖ МЫ СЛЕГКА НЕ ГОЛУБКИ

Уж мы слегка не голубки!
и я почти забыл
и ля-ля-ля, и лёд строки
и то, где я побыл

Стада детей играют там –
они всегда-вода
но тишину твою к стадам
я не впишу туда

Пускай здесь только тень реки
среди груди твоей
зато – прозрачней лёд строки
и ля-ля-ля страшней

ПОВТОРИ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ:

Повтори, если хочешь: как сумерки женской руки
как ходьба в подъязычном раю, нас болеют и мучат
преантичные овцы, предлинные виды реки
пребагровый склон, пресизая туча

Что река говорит, повторяя себя, как река –
то идёт под рекой человек, повторяющий реку
и ему лучше книги темнит небольшая рука
и словесные овцы живут по нему (человеку)

ОН НЕ СКАЗАЛ, ЧТО ЭТО ВАЛЕНТИН

Вручи мне, птица, зрения росток
Подай мне, рыба, голоса глоток

Он не сказал, что это Валентин
когда рука еврейкою лежала
и сквозь неё я видел как дрожала
стеклянная река среди маслин
Ходили тени хлеба и вина
а он смотрел несветлыми глазами
как зыбкая, прозрачная жена
казалась человеком – рядом с нами
Блажен, кто, перед тем как воскресить
перекрестил чуть тёплую камену
которая готовая на смену
прийти душе и тело шевелить

Красив, кто каждым словом зачерпнул
из Иордана ночи и молчанья
кто сам в себе, как в дереве, уснул
чтоб слышать плеск, и свист, и щебетанье
Он помнит птиц, не сеет и не жнёт
он знает рыб, и трудной речи просит
и ласточка ему чабрец несёт
и окунь – полглотка воды приносит

КАКИЕ ТОРЖЕСТВА В СОМНИТЕЛЬНОЙ ОТЧИЗНЕ

Какие торжества в сомнительной отчизне
Овидий запрещён, а чем наполнить день
Переверни тетрадь, читатель мой, присвистни –
на стол перелетит её двойная тень
Тогда отметишь ты шум ветра, клёкот орлий
земная пелена сорвётся с глаз твоих
прилежней станет слух! слова проснутся в горле!!
ты к небу воспаришь на крыльях сих двоих
и различишь внизу подвижную картинку:
уж вечер; уж народ сгоняет пастушок
уж Август миновал – поднялись, как пружинки
над крышами дымы; уже валит снежок
В столице дорогой – и то зима настала
благополучно пал последний легион
и варварский вандал с душою из металла
себе устроил хлев средь бюстов и колонн
Зачем ему стихи? нехитрая забава –
любое из имён на лезвии ножа
вращай туда-сюда... А бережная слава
сама найдёт того, кому она нужна
Ловец латинских пчёл, пытавшихся укрыться
в развеянный чертог, не бойся преуспеть
на поприще своём, чтоб с участью смириться –
нет участи светлей, чем в Риме умереть
Но весь ты не умрёшь! проверено другими:
заштопает судьбу, как честная игла
любое из имён, произнесённых в Риме...

Я отложил тетрадь и встал из-за стола

НАПИСИ ПЕРЕД ВІЙНОЮ

Маріанна КІЯНОВСЬКА

* * *

снам надламує спини
світло тепле осине
і солодкі ожини
стережуть манівці
бо повітря надвечір
перетворює речі
і людські і лелечі
в золоті острівці
не лякайся віддавши
все стається назавше
все стається назавше
і назавше зника
гілка гілку хитає
щось тихенько питає
і ріка замовкає –
перетворень ріка

З ЦИКЛУ «Л Ь В І В М І С Т О К»

4. ПРОСПЕКТ СВОБОДИ

Любові Якимчук

написи перед війною
проростають на стінах
як пліснява
стрит-арт це те що вціліє (мабуть)

уламком продряпано *Люба Журба* –
і пронизане серце

неначе у сні
коли все нерухоме
голі луганські будинки
здригаються кровоточать
вікна болять

мама мила раму
мама має рану

у Львові в мами
немає рани

у Львові інше червоно-чорне
evergreen

7. ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ

Сихів віддаляється від моря дедалі дужче
власні вітри власні крамниці
чайки на біг-бордах лелітки на вишиванках
водії маршруток узятих на абордаж

дивишся і не віриш що ці небеса
пожмакані або навпаки занадто лискучі
відкриваються заради віршів заради музики
заради всього що хтось називає повітрям
хтось інший любов'ю а ще хтось нічим – заради Бога і ближнього

але що далі? – запитуєш і дерева відповідають
що бурштин вже посіяно і смарагди пляшок з-під пива
проростають на звалищах голосами русалок і жебраків
що минуле стугонить у безтямних трубах новобудов
в кістяках китів гладіусах кальмарів у передчуттях і відсутностях

Сихів пересихає отже не буде вдосталь крові вина води
ні солоної ні сухої ні залізної ні живої ні мертвої
будуть тільки жінки і дівчата з обпаленими сонцем плечима
тільки тенти важкі і маркізи і каміння у головах нічийних собак

синьоокий Синдбад у кав'ярні пересипає кавові зерна обвуглені
згадує слово для кораблів для метеликів і для мух
що зринають із висхідними потоками і ніколи не повертаються
як чоловіки заколисані ув'язнені в вершах

9. ВУЛИЦЯ СЯЙВО

міст на якому можна чекати заходу сонця колії унизу
пахнуть пітьмою і кавою хоча тут все інакше аніж здається
пористий обрій край міста в якому ховаються дощі й пілігрими
обрій з іншого боку виблякла фреска сіро-молочна молокозавод
і ніяких готелів тільки бароко барако-гуртожитків
два хлопці далеко коло кіоска на рекламі дівчина і відро
пиво і пиво у гальбах із гіркотою горілка і пиво
Левандівка жорстока і добра ексклюзивна обачна зажерлива лагідна

ти людина ти з Сяйва ти завжди переїжджаєш цей міст
або переходиш його чи перебігаєш або вихоплюєшся
звучиш раптово і несподівано падаєш вниз проламуєш ніби дитяче місце
дах вагона і весь привокзальний штин переповнений штоф околиці

у мобілці пронизливо вибухає рингтон чоловік що йде озирається
катакомби привчили його що не можна посипати голову попелом
не можна нічого на самоті крім того що роблять усі завжди і щоразу
бо інакше птаство голодне вижне зерно і на денці подзьобає очі

подай мені руку на цьому мосту
але не подає

ні руки ані подаяння

15. СТАНІСЛАВ ЛЕМ. ПАРК КОСТЮШКА

гравій незрозумілий на смак собака їсть і стає невидимим
і хлопчика наздоганяє але той бачить чує і відчуває
тільки сонячних псів а не цього вщент прозорого і живого
який пахне травою і сховками у траві золотими деревами

хлопчику озирнися алея кричить парк Костюшка вдихає повітря
аж темніє в очах хлопчику озирнися зробись ліхтарем делікатний і слабосилий
озирнися застигни стань стовпом піддайся тому хто прагне назвати
хто волає причини немов імена а тоді імена як причини

стань віддаватимеш світло і лиш удень залишатимешся ні з чим
стовбури дерев потьмяніють синиці прокинуться проб'є годинник на Ратуші
матері приведуть дітей інакших ніж ти із надкрилами плащиків
із м'якенькими черевцями наче в комах – малих бездосвідних і самотніх
вони обсядуть доріжки затопчуть сліди і з вереском гратимуться в кузьмірки
хтось пожбурить каменем у невидимого собаку і тоді ти крізь вушко голки пройдеш
і ти хлопчику що був утікав прокинешся вже потойбіч в орбіту упійманий
прохромивши голим небесним тілом шкаралупу яйця дракона

З ЦИКЛУ «ЛИСТИ З ЛИТВИ»

НЕДІЛЯ, 1 ЛИСТОПАДА 2015

Вино в Паланзі – це таке вино,
Як ностальгія, золота й багряна,
Просякла в негулке подвійне дно.
Це – раптом голе дерево. Це – рана.
Це – тріщина на порцеляні. Чи –
Жест пам'яті, по вінця і сухої.
Дивлюся у вікно, вино п'ючи.
Назовні – запах солі, запах хвої.

В кав'ярні ж тихо. День усіх святих.
Я знов не вдома (хоч в молитві – разом).
Гортаю книжку, навіть кілька книг.
Вино і книги – з кавою і джазом.
Душа моя пуста, лиш аромат
Її повнить, запитуючи – звідки
Думки про літо, яблуневий сад,
Про наш квітник – троянди і нагідки.
Метелики – як листя, що паде
Тут, за вікном... Пригадую – і маю
Подобу світу, що не був ніде –
Ні перед раєм, ані після раю,
А є лиш тут, у цю хвилину, так,
Як мислиться, як відблиски і тіні –
В День пам'яті померлих. Креслю знак –
І самохіть вихоплюється з ліній
Маленька ружа, вся без колючок,
Candida Rosa, місце благодаті.
Горить свіча – і променів пучок
Вихоплює півспогад: мішкуваті
Ялини, переддосвіди Різдва –
У Львові (свіжозрубані, базарні)...
А тут – така Литва, така Литва...
Розсміяні, заходять до кав'ярні
Дві пари молоді. Розповісти б,
Як сяють щастям, дзвінко як говорять...

Відкрила Гая Плінія – листи,
Пишу листа – Тобі, і келих поряд.

...Є простір серця – кажуть, є завжди,
Не кажуть – є дощенту, до загину.
...Я потім ще до білої води
Піду навзрид: пелюстки в море кину.

СЕРЕДА, 4 ЛИСТОПАДА 2015

Спала. Снилось – читаю листа.
Тиха ніжність у кожному слові.
А прокинулась – тінь золота
На стіні, і словами любові
Ніби списано аркуш шпалер
(Ще й чорнила не висхла волога).
Є такі закапелки в «тепер»,
Що існують, вміщаючи Бога.

Є такі перетворення скла,
Що усе за вікном оживає.
От і я: умирала була –
А тепер – і бринить, і співає
У мені кожна жилка мала,
А тоді від розчулення плаче.
Знов кажу: умирала була –
А тепер народилася наче.
Вітер шарпає крони, це знак.
Десь метелик осліпнув від крику.
Відчуваю і дихаю так,
Ніби враз осягнула велику
Іншу правду – завжди ту саму,
Ніби в спеку пройшлася по кризі.
Я учора ковтнула пітьму –
Аки лев на малюнку у книзі.
Еліксир, реактив, наратив –
Добрий сон. Я позбулась отрути.
Крик метелика – пранегатив:
Він ховається в вічність, щоб бути.
Знаєш, сни відкривають часи.
Я сьогодні відкрила дорогу
Перетворення краплі роси
У безмежне вмістилище того,
Що стається – із нами чи ні –
Як, наприклад, пейзаж у вікні.

Я жива, це, напевно, Литва
Означає щось більше для мене,
Аніж простір. Не слово, не два –-
А любов і її сокровенне.
Вітер з Балтики хмари жене.
Все, що суще, вміщає мене.

Обіймаю. З Литвою.
P.S. Мар'ясь,
Я сьогодні шалена якась)))...

ПОНЕДІЛОК, 9 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ

Переклад – перетворення речей
В слова моєї мови досконалі.
Я потребую кави і ночей –
Тоді лягають вірші, як емалі.

Це завжди – мов побачення: така
Тривога огортає, так бентежно
Папір біліє... Ледь тремтить рука –
Й ледь мліє... Підбираю обережно,
Немов цілую трепетно в уста,
І образів, і звуків філіграні.
Так, в мене є в перекладі мета –
Це насолода. Майже як в коханні,
Знесилена, я падаю навзнак:
Віддавшись вся, не здатна говорити...

Всевідання всевіддавання – так!
А ще – екстаз від способу творити.

Чуттєвість – так!
Жадаю і люблю.
Приймаю в себе не слова, а тіло.
Тому – є досвід, майже без жалю.
Я переклала – бо мені кортіло
Сприйняти, доторкнутись, віднайти...
Відчути вірш на дотик і на запах.
Відкрити часом втрачені світи,
Яких нема ніде, на жодних мапах.
Великі привілеї відкриттів –
У спробах перекласти, передати
Звиск двигуна, лункий пташиний спів,
Кота – муркливе, песика – кудлате...

Буває – інтонація жива
Приходить зразу ж, гріє вірш, співає.
Та зазвичай – минає день чи два,
Чи навіть рік. По-різному буває.

Ось Венцлова. Це мій апофеоз.
Я з ним вже тиждень сплю, щодня – потрохи.
Вже переклала одинадцять роз-
буялих віршів: є вірші-епохи,
Вірші-моря, вірші-вершини-гір...
Вірші-як-дітваки – малі та любі.
А нині трапивсь вірш-як-хижий-звір:
Гарчить на мене, люто шкірить зуби.
Ну, та нічого. Якось раду дам.
Це ж Венцлова (до того був Кайокас).
Я називаю речі, як Адам.
Переклад віршів – це найкращий доказ,
Що Бог існує. А Литва – Едем.
(Паланга – також, ніде правди діти).

Купила нині трохи хризантем.
Вони мені, ще й тут, – не просто квіти;
Вони були вологі, як бузок;
У пуп'янках – минулого чарунки.

Купила гарний бурштину разок,
І ще куплю – своїм на подарунки.

Прощаюся. Це вийшов довгий лист.
Найдовший – із Литви – у місто Лева.

P.S. Міняю листопад на падолист:
Тут майже облетіли вже дерева...

ЧЕТВЕР, 26 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ

Пакувалася туго. І щоразу ж здається: узято
Тільки найнеобхідніше, найнеобхідніше, най...
А насправді багато всього, ох, занадто багато,
У валізі моїй – перебір, перехлюп через край.
Пакувалась, металась кімнатою – нетля достоту.
Напишу-но трактат «Про примноження слів і речей».
Лігвопалеонтолог – бо лігво. До сьомого поту
Ладувались валіза й наплічник (аж шкода плечей).
Наступила на ручку, яка закотилась під ноги,
Захотіла в Південну Дакоту (там Пірр) і в Париж.
І уже під кінець півгодини збирала з підлоги
Кольоровий, бурштиноподібний сирійський кишмиш.
Ліжко стало порожнім, усе позникало зі столу,
Навіть світло змінилося, стало якесь не таке.
Я лишаю кімнату – до того обжиту – як голу.
Біле крісло зробилося раптом важке й громіздке.
Тільки дзеркало ще реагує на мене, аж доки
Не зачиняться двері – поволі, тихенько, як схлип.
Проминуть безконечні сезони, минатимуть роки –
Але я пам'ятатиму дощок кректання і рип
У єдиному місці, під килимом, бамкання дзвонів
Із Assumptio Діви Марії, поверхні та сни
В цій кімнаті, де все не моє – окрім двійка вазонів:
Я лишаю фіалки, я їм зичу діждати весни –
І потрапити в руки хороші, щоб світло й до світла,
Бо – не світлом єдиним, потрібні ще ґрунт і вода.
Я в готелі «Дємедіс» хворіла, щоправда, та квітла,
І мене оминала – я дякую Богу – біда.
Телевізор я тут не вмикала, воліла у парку
Споглядати, сприймати – і носом, і шкірою теж,

Мов дитина, яка розглядає в малесеньку шпарку
Древній дім, сад старий, що здається – ну зовсім без меж.
Цей «Дємедіс» – як мед гіркуватий, зі смаком полину.
Написала тут книжку, могла би – і десять томів.
А тепер я, покинувши дюни, нарешті полину
Через Вільнюс і Люблін – до Львова, від моря – домів.
О, якби я могла, як дівчатко мереживно-юне,
Пережити цю подорож гарно, на крилах пісень.
В сорок два вона вмерла, а я? Я, покинувши дюни,
За три ночі читатиму «Проби», тому що Монтень
Означає для мене – мене у сукупностях й мірах,
Назбиралось питань непростих, золотих, як яйце.
І кортить же махнути хвостом – і пройтися по дірах
І по норах кротових (при зустрічі – більше про це).

Обіймаю тебе, меланхолію кинь, то ж не туга.
Ми з тобою із туги виносимо вірші живі.
Вдома, кажуть, зима. Кажуть теж, неабияка хуга.
І в Литві холоди. Біла ожеледь, лід на траві...

ВІРШІ ФЕЛІЦИТИ

Оксана ЛУЦИШИНА

* * *

я – одержима – і зілля моє гірке
наче морем вистуджений гінекей
наче келія темна в пітьмі земній
у якій я похована в повний мій зріст німий

я – одержима – от тільки спитайте, ким –
сином чужинським чи богом моїм зірким
зорями тьмяними – ніччю тонкою – чи
тим поцілунком що на губах гірчить

я – одержима – і царство докруж чуже –
ми – це сузір'я чорні над нами – вже
сурми сурмлять і мерці повстають – таке
зілля моє гірке і навік гірке

* * *

HELLO, MARINA TSVETAEVA AND ALL WHO WROTE ABOUT YOU

коханці своїй – мов букет – криваву честь – як вона
сказала
а я що маю сказати? а в мене і слів нема
тільки мовчання – тільки струни Баала
і острівна зима

о, повернись, вернись, сине чужих історій,
я тобі все віддам – я стану така, як ти –
що моя Україна? – де вона там, у морі,
із якого не виплисти і не втекти?

що та кривава честь – яка мені честь, коханий?
все – лиш за доторк – один тільки доторк твій!..
Бог ігнорує рани і омиває рани
Бог – це такий поет – жорстокий і золотий

* * *

сурми, король помер – то ж сурміть! –
про цю неповторну єдину мить
про захід сонця який вже – ні
тому що король назавжди в труні

лице його біле і тіло бліде
тепер лиш підземна трава знайде
а кучері дощ поцілує – сурміть! –
допоки він ще не в могилі лежить

о Боже нехай я ляжу із ним
о Боже ці сурми розвій у дим
о Боже мій зглянься будь ласка згля-
на мене на Себе на короля

* * *

і тисячі планет, і атмосфер – мільйони
і вже по швах тріщить затертий батискаф
я дихаю тобі в невидимі долоні
аби настав той час що досі не настав

аби усіх морів тяжкі метеорити
згоряли на льоту як одіж захисна
невже мерці колись навчаться говорити
чи тільки йти по дну у космосі без дна

* * *

все, Господи, все – із цього одного гака
тіло моє зніми горло моє звільни
сочиться кров повільна неначе мряка
плутаються сни

все, Господи, все – я дякую за науку
зріж мотузки благаю благаю зріж
хочеш – візьми за руку чи не бери за руку
ту що сама як ніж

* * *

кола з бурбоном, останній притулок ослаблих
темна недоотрута – з якої ні берегів
ані моря не видно – а видно лиш білі кристали
у підводних садах де дикий час обмілів

ви, що маєте серце! – серцем своїм відчуйте
як моє іще б'ється в темряві, голосне
а більше нема чого дати; все суще і все незбуте
у неміцних обіймах ніжно тримає мене

кола з бурбоном – ви, що маєте серце!
ваші серця – єдине, ваші серця – це я
серце моє – мале запотіле скельце
або каміння і висохла течія

* * *

дочко тих хто ходив у хрестові походи
сьогодні ти стала за ваше діло неправе
так як тобі і личить – а зорі й води
котяться далі повз тебе і – аве аве

чаша твоя – то шолом – а в ньому черви
герб – то кості вимиті від мясива
всі вже тебе впізнали – бо що у гербі! –
ти і у гробі впізнавана і красива

дочко тих кого відшукати годі
мати світу з якого втекти несила
вірна смерті – або ще кажуть – породі –
поки вона милосердя не попросила

* * *

вона закінчує збирати маслини чи масло у бутлі лити
вбирається в біле (поки не чорне) – і замовкає лунко
хто із богів – чоловік мнемозіни? кого з них просити
аби затулив своїй жінці рота бодай цілунком?

хто із богів милосердий – у кого сьогодні свято
хто п'є вино (нерозведене) – за чиїми столами?
зглянтеся, зглянтесь – це муж якого відтято
від жони за столом самотнім – зглянтесь над всіми нами

це муж якого відтято, муж о світлім волоссі
цар її світу – тієї що чорна у білім
хай її пам'ять зайде як сонце і хай не просить
притулку у домі неначе притулку у тілі

* * *

мати якого світу якої колядки пані
там де бризки вогню у чорноті ялин
сніже інопланетний ляж на вулиці ранні
так як колись до тебе інші сніги лягли

це не погана доля це не труди покори
просто земля тобі не богоданий дім
мають лисиці нори, мають дерева гори
мрець обирає лоно і спочиває в нім

в тебе нема нічого в тобі горять боліди
десь за межею глини холоду і тепла
ангели, люди – годі! буде іще боліти
те що не ляже в тіло і у його світла

* * *

марія і йосип зачинають дитя (але не христа)
і здригається обрій і матриця золота
долини і гори вулкани ліси моря
над якими сьогодні уже не зійде зоря

ми вгриземося вглиб у самісіньку твердь земну
я густу її темряву наче врожай зітну
я комахою ляжу у камінь її основ
щоб навіки тривала менша за смерть любов

* * *

цар в'їжджає у місто, душа – у тіло, зоря –
низько у землю котра уже під ногами царя
зір мій не кам'яніє слух мій не відплива
допоки ще палить підошви підземна його трава
допоки зоря не згасла, допоки сонце-зоря
допоки я обіймаю землю неначе тіло царя

* * *

сонце на сході встане, потоне в морі
дух святий не відає алегорій
духу вони ні до чого – а нам достоту
слово потрібне вимірювати скорботу

духу вони ні до чого – а нам для тіней
межи входом і виходом, межи ліній
тих островів і вдихів що ріжуть воду
межи яких безсловесним нема проходу

* * *

сині води затоки чорні голови пальм
зблискує біля підгорля гаряча сталь
мить завмирання – і та, за якою жаль

мертва комаха яка не тоне в воді
питає у мене – що скажеш ти на суді
я не скажу нічого – ні зараз ані тоді

ми – візерунок сталості і краси
я тобі ще жива ти мертва мені єси
інше – мана і зранені голоси

* * *

пір'я пташине попелом між дерев
Бог упритул підходить і за руку бере
щоб у країні див у країні див
хтось залишився вічним і молодим
тиша як повінь чорні заллє міста
тиша вповзе у камінь, оглушливо-золота
вмовкне усе, тільки серце у клітці – ні
наче останній птах на німому дні

* * *

річко плачу, річко вогню і льоду
ти оперізуєш моря вологу рану
світ що не знає заходу ані сходу
дав себе проковтнути левіафану

річко плачу, на тебе уся надія
ти що проб'єш собою усіх лускатих
сонце впаде під море, земля зміліє
тільки аби ти мала де танцювати

* * *

може прийдуть слова може впадуть зірки
у безодню води що не безодня вже
хто з нас сьогодні невидимий і зіркий
хто з нас сузір'я Цербера стереже

хто з нас спускався в пекло чи підіймався в рай
у яких буяє морська трава
слухай, слухай – але не відповідай –
поки тремтіння водоростей трива

* * *

не бійся не бійся вони при тобі стоять
поки крадеться сон мов полохливий тать
поки зорі могутні у лезі морськім горять

поки мовчить земля і її зело
поки місяць впливає в небесне тло
яке з-під землі з'явилося і під землю пішло
тепле від тіла його, голови, свічі

поки сузір'я палають немов ключі
поки здригається темна трава вночі

* * *

у мене слів не зосталося – тільки кров
як підмурівок незнаних мені основ:
так у джерелах зринає вода жива
так із землі виростає п'янка трава

так плодоносить сад і співає птах
так завмираю я у твоїх руках
так всякий рух виникає із пустоти
так піна морська шепоче: тепер – ти...

* * *

вино у чаші – як довга смертельна ніч
чоловік знімає сорочку – під нею небо
розпізнати обличчя – не розпізнати облич
і по колу – від тебе до мене від мене до тебе

пустота і огром атмосфер на живі вуста
із уламків себе я збираю картину світу
повертаюсь у неповернення, у міста
первозданної пам'яті вічного неоліту

тільки море шумить і втішає мене і жде
я йому із людським вином переможна чаша
губи твої у небесному – тільки де
наша ера і кров невситима наша?

* * *

знаєш що, Феліцито, здайся: ніяк, ніяк
ти не здолаєш цих голосів і криків
те що ти бачиш як нездоланний знак –
просто життя, твоєму рівновелике
знаєш що, Феліцито, здайся – пірнай, пірнай
море – для всіх, і вода його над тобою –
світла як пекло або сліпа як рай –
хвилею б'ється – розкішною і німою

знаєш що, Феліцито, здайся: проси, проси
ще одного натхнення – і диких розламів ліній –
поки живуть підсвічені голоси
у піднебессі – або у піднебінні

Владимир ПУЧКОВ

КАМУФЛЯЖНАЯ ОСЕНЬ

* * *

На неторной тропе, на безлюдной опушке грибной –
камуфляжная осень стоит у меня за спиной.
Чует бритый затылок прицельного ока сверло,
от которого речь в травматический узел свело.

Непутёвая родина, что ж это стало с тобой!..
Битой пиксельной рябью взорвёт небеса листобой –
сыпанёт по глазам, что и так от печали мокры,
то ли горсть снегирей, то ли жменю махновской махры...

ЖУЛЯНЫ

Медоносные травы жуя,
поминая улётные ноты,
в алюминиевом стойле Жулян
винторогие спят самолеты.

Жмёт налыгач, но тянет взглянуть,
как двоится сквозь слезы сухие
золотая высокая грудь
опрокинутой навзничь Софии.

Здесь по-прежнему дёготь в цене,
в нежном небе зияет прорехой
хуторянского рая венец –
небоскрёб с горобцами под стрехой.

ЦИТАДЕЛЬ

Славный денек!.. С утолённой печалью вчерашней
сядем в тенёк под картечью калеченой башней.
Сняли осаду. Фасад размалёван, как ребус:
«Bar Bastion». Демилитаризована крепость.
Рваные уши наставили встречному вою
псы крепостные, вышвырнутые на волю.
Мы из страны, что всегда пребывала в осаде,
порох копила и локти кусала в досаде,
до миллиметра делила казённую пайку,
мёртво зажав мавзолея гранёную гайку.

Равенство хлеба и водки... Ах, много ли надо
детям кирзовой Слободки и Дикого Сада!

Сняли осаду... Но что нам соблазны ОВИРа!
Сели над пропастью, свесили ноги с обрыва:
город подсолнечный снизу шкварчит, как жаровня,
пылкий ракушник – державным гранитам не ровня.
К лакомой кромке, довеску имперской краюхи,
вольные волны, шурша, подползают на брюхе.

Прядают яхты, на боны накинув поводья.
Бухта в штриховке – как мачтовый лес в половодье.
За волнорезом – закатная тропка до Бога.
А за спиною – булыжная наша дорога...
Ржут интуристы, где мы на часах сатанели,
лбы расшибая о вшивые швы цитадели.

БОЯРЫШНИК

Где пожгли усадьбу адмирала
в девятьсот беспамятном году,
мы росли, душа не обмирала,
пьяно цвёл боярышник в саду.

Здесь водили в прятки, темнолики,
предки, ускользнувшие из рам.
Выводки садовой земляники
густо расселялись по ярам.

Над Психеи треснувшей фигуркой
колыхалась белая луна...
Память, ты сухой змеиной шкуркой
в снадобья давно истолчена!

Адмирала ночкою погожей
утоптали мёртвого в мешок.
Прорастёт у барышни под кожей
пьяного матроса корешок.

ВЫШИВАНКА

Ты иголкой крестила рубахи,
пряча нитей исподних концы:
всё цветочки да райские птахи,
а в изнанке – узлы и рубцы.

Запасала румяна и блёстки,
торопилась по-новому жить,
но на черт-те каком перекрёстке
стала чёрной червоная нить.

Ты такого не знала соблазна:
захлебнувшись надеждой хмельной,
что ж ты, ненька, кивнула согласно,
будто я у тебя неродной?

Перед сватьями печь колупая,
тупишь взор, чтобы стыд превозмочь,
золотая моя, голубая,
ненаглядная сукина дочь!

И молчу, побелев от позора,
за оградой обиду тая,
рядовой интернатского хора –
в вошебойке остриженный я.

Не сули вышиванок-гостинцев,
по стерне, по колено в снегу,
я к тебе из любых сиротинцев
все равно – чуешь, мамка! – сбегу.

Маков цвет по щекам гладью вышит,
но заветный секрет – в узелке.
Обними! – пусть никто не услышит,
на каком мы молчим языке.

ГОД БЫЧКА

Одного не хватает толчка,
чтоб отчалить на парусной тяге...
Это год не Быка, а бычка –
беспородной лиманской дворняги.

Где причал об одном фонаре,
он бичует, отвержен от стаи,
пряча тело в мохнатой норе
у ольвийской дорической сваи.

Шевелится течению в лад,
глупый раб постоянства и веры,
сторожит терракотовый клад
с утонувшей когда-то триеры.

Так, от мира укрывшись рукой,
утепляясь вином и ватином,
доходяга хранит за щекой
золотую монетку с дельфином.

Это год не Быка, а бычка –
самокрутки, похмельной заначки,
позабывшего ноты смычка,
потерявшей решенье задачки.

Чтобы слово, назло падежам,
заискрило от встречного слова,
мы, дружок, разговор по душам
забычкуем до лучшего клёва.

Глянь, бенгальская божья свеча
рассыпается брызгами света
над картонной времянкой бича
и панельной скворешней поэта.

Ледяная мерцает вода,
и кляня, как постылую ношу,
я, наверно, уже никогда
этот сумрачный берег не брошу.

Пусть дрожит на песке золотом
Год Бычка, как обмякшая гиря,
шевеля обеззвученным ртом
и крылатые жабры топыря!

РЕКА МЕРТВОВОД

Крытый замшей гранит и чумацкого утра рассол.
Край ущелья кренит валуна ледниковый мосол.
И разлуку таит не толящая жажду вода.
По веревке – в аид... Я тебя не найду никогда.

Веет ветер высокий, и слабое сердце болит,
зуммерит над осокой опухший от спячки нуклид,
а из каменных сот неотрывно глядят за тобой
то обглоданный глод, то убойный цветок зверобой.

По равнине, в рванине – влекло эти воды весло,
чтобы в тесной стремнине их корчью падучей свело.
Что мне хлеб на меду, родника искряная слюда! –
в преисподнем саду я тебя не найду никогда.

На откосе крутом в тощем русле шуршат будяки.
Перевиты жгутом сухожилия мёртвой реки.
Но клокочет поток, рваный норов по норам тая,
как плетёный батог, как змеиного тела струя!

На железную клямку ущелье замкнёт вертолёт.
Как аптечную склянку – храню в рукаве Мертвовод.
И шиповника след – поцелуя отравленный грош –
рдеет эхом в ответ: ты меня никогда не найдёшь...

* * *

Есть стихи – антикварная лавка,
где на полках – холодные бюсты.
Не узнать их – пожалуй, неловко,
но потом отвернулся, и баста!..
Эта рифма – витая булавка,
коей сколоты Джойсы и Прусты.
Эта фирма – заманка, уловка,
помесь мрамора и пенопласта.

Боги носят пурпурные тоги –
муза треплет базарные джинсы:
ей корсеты убогие туги,
в свитерке предпочтительней шансы.
Ведь стихи – не златые чертоги,
а скорее – контактные линзы:
тут фонарики светят из вьюги,
и осями сверчат дилижансы.

ВЕРА

Укрой, сохрани и обрадуй,
соцветья крест-накрест сведя,
сирень за церковной оградой,
тяжёлая после дождя!
Где в кронах полночного сквера
горит золотое шитьё, –
забудь, одноклассница Вера,
суровое имя своё!

Летит, лепестки обрывая,
ночные сверлит облака
окраинный рокот трамвая,
сухой вибровызов сверчка.

Под этот нехитрый оркестрик
целую меж темных ветвей
налипший сиреневый крестик
над вырезом блузки твоей.

Архангел нас ловит на слове,
в небесные горны трубя...
У Веры – упрямые брови
и взор, устремлённый в себя.
Губами, как порох, сухими,
забыв про еду и питьё,
всё шепчет заветное имя,
суровое имя своё.

ДОЧЬ. НАБРОСОК

Не тоскует ни о ком,
погружённа и пытлива
эта ива над мостком
в отражении залива.

Смят подола мокрый край,
на меже глубокой глади
преломляются у свай
перехваченные пряди.

Мир в кувшинках не раскис,
и хранит свои наивы
хлорофилловый эскиз,
акварельный профиль ивы.

Перед ней – окно без дна,
все в аквариумных тенях...
Так русалка склонена –
с ноутбуком на коленях.

ПОКРОВСКАЯ ОЖИНА

Поэма

В фокусных переплётах
окон, как в фотораме,
пчёлы в небесных сотах –
звёзды над хуторами.
Ноет в калитке тихо
сорванная пружина,
боком шуршит ежиха
там, где живёт Ожина.

Кто на подворье ступит –
брови Ожина супит,
ловит она на слове,
любит она – до крови.
Было б сполна в коморе
рыбы, вина и хлеба!..
Там, где верста до моря,
дальше – верста до неба.

Трудно в шаланде зыбкой,
даже в мечте ребячьей,
плыть не заветной рыбкой,
а сиротой рыбачьей.
С нежностью притаённой
раннего ждать заката
дочерна прокалённой
дочери интерната.

Круто моряна солит,
больно Ожина ранит:
не подпускает – колет,
вцепится – не отстанет.
Плети навскидку мечет,
когти в засаде точит,
болью Ожина лечит,
счастья Ожина хочет.

Может, в избытке сладкой
ягоды навязалось?
Тот отпускник с палаткой –
что-то в нём показалось...
Дивным косила оком,
шагом дразнила шатким.
Щедро поила соком –
чёрным, дремучим, сладким.

Нежностью тяжелела,
встречным теплом живилась,
жалила – и жалела,
жалилась – и журилась:
«Было б сполна в коморе
рыбы, вина и хлеба.
Если верста до моря –
значит, верста до неба...»

Утром смыкала створки,
разом смывала в море –
от интернатской хлорки
до инфернальной хвори!
И в низовой ветрянке
как-то отсохло сдуру
всё, что привил по пьянке
нежный залётный гуру.

Волосы в узел стянет,
губы до слёз кусая,
выйдет к лиману, станет
в мокрый песок босая.
Дышит тепло овечье,
ноги в щекотке дафний,
оспинка на предплечье –
след от прививки давней.

Тина АРСЕНЬЕВА

КОНЧАКОВНА

Моей Донеччине

1.

Меня выплавляли из белого зноя,
Ковали в трезвоне степного бурьяна;
В рожденье меня освятили войною,
Искать заповедав её постоянно.

Но ратного я не знавала дерзанья,
Чтоб прядали кони и брони сияли, –
Мне помнятся только седые сказанья
Сребристого лоха на тихой Каяле.

Встречаясь, мы клали костёр, и неплохо
Гуляло в степи однодневное братство!
В тяжёлой короне у чертополоха
Рубинов несчётица – наше богатство.

Здесь ветер не терпит упористой крепи,
Играя в шары прошлогодней травою.
Мне выпало – мимо: на то они степи,
На то и простор, чтоб разъехались двое!

На то и ветра, чтобы старые пеплы
Провеяв, рассеять в набеге ковыльном.
Есть на́ небе сокол, на хуторе петел,
И ты меня, давнюю, помнишь – навылет.

2.

Наш край – окоём, потому мы душою просты;
Легки на подъём, возникаем среди пустоты,
Дневную луну погружаем в клубящийся прах,
Детей на войну снаряжаем при певчих кострах.

И все мы, нездешние, с травами спрядены в шёлк.
У ласточки вешней спроси, кто откуда пришёл;
У нас ни точила, ни мельницы, – только лишь сталь,
Чтоб дымом горчила и скрежетом полнилась даль.

Пришелец, в предание канет твой княжеский стяг!
Не знают здесь белого камня, лишь белый костяк
В траве на пригорке безглазо глядит в небеса,
А травы здесь горьки и прямы в следах колеса,

А очи несыты, а руки огня веселей,
И выманит сын твой меня из волны ковылей
Улыбкой растерянной, после посадит на цепь,
Чтоб княжила в тереме, помня калёную степь.

3.

Как здесь беспамятно ранней зимою!
Степь, опустев, обернулась тюрьмою,
И никуда мне отсюда не деться,
Разве что в бабкин колодезь глядеться.

Разве что видеть, как ветер без спросу
Вербе расплёл тяжеленную косу,
Там, где зегзица мой век куковала,
Смертное свеял с холмов покрывало.

Как заприметит меня, озорную, –
Эх, да как высвищет ночь вороную!
Дикая, прянет – навзнос да и криво,
Руки изранит косматая грива.

Не укатали бы горки крутые –
Многим ночам натрудила хребты я!
Я их к истокам водила кругами, –
Ночи-то чуют, а знают – курганы.

Знаешь, что́ высмотришь, ну его к ляду,
В полой степи, где препоны нет взгляду?..
Чуешь, куда́ устремляешься духом
В вольном просторе, где стёжечка – пухом?..

Много не пей окоёма, зеница:
Может, весь мир – это наша темница?
Только курганы, толковники ветра, –
Стража её, но стоит безответна.

4.

Сердцу к сердцу искони
Путь заказан по прямой!
Теплишь ты свои огни –
Жжётся мой.

Буерак растеребя,
Длят расселину ручьи...
Добры кони у тебя –
Злы мои.

А как рухнет конь в браздах
Да повыщербим ножи –
О чужих мне городах
Расскажи.

В золотых моих сетях
Притомившийся силач –
О чужих тебе смертях
Не заплачь!..

Устилаем степь телами –
Душу небу, кости псам, –
Рвётся ль, тянется ли пламя
К небесам...

Тетивы или струны
В травах ноющая боль –
Ваши спущены челны
В нашу соль.

Цвет наш маков или рожь
Ваша, – там, где неспроста
Тяготенье к раздорожью –
Креста!..

Где холщовой белизны
Лоб, и древо, и стена, –
Колыбельная луны
Всё одна.

Там, где ярая вода
На днепровском валуне,
Дымом пустит весть орда
Обо мне;

Где зарю венки девчат
Расцветили у плетня,
Чёрны очи умолчат
Про меня...

5.

Ты всё та же, пыль скудельной земли,
Над тропой и над дорогой большою,
И вгоняют острый клин журавли
Между небом и живою душою,

И живого сердца ищет стрела,
А на сердце ищет разум управы;
Здесь я счастлива когда-то была,
Здесь меня любили птицы и травы,

Так любили, что трубили рассвет,
Чтобы нас вдвоём с тобой не застали, –
В тех местах меня давно уже нет,
Мы, номады, дорожим ли местами!

Но, когда тебя настигнет зима,
Вспомяни, покуда свет не потушит,
Как иду я по откосу холма
Под заплачки колокольцев пастушьих.

6.

Когда-нибудь сыщут заржавленный меч;
Придут времена – разуверимся в снах.
И я обернусь, но в былых временах
Себя не сыщу: в них незримая течь.

В неё уходило, что деды, сокрыв
От внуков, хранят под покровом травы,
А в здешних местах сплетено – на разрыв! –
Наносное зелье – и мы таковы.

Здесь добрый не вдруг приживается злак,
А нива в волненьи остиста и зла;
Горелая копь собирает в кулак
Степную ладонь, – на излёте стрела!

И люди неведомых пришлых родов
Здесь плавят железо и брони куют,
И в серых навалах людских городов
В невемом рожденьи мне даден приют.

Встают и пустеют в степи города,
Земля поновляет травы суровьё...
Каяла, куда утекает вода?..
Какое сегодня прозванье твоё?..

Последний мой взгляд – отлетев от земли, –
В раздолье, где всякий пригорок знаком:
Под теми же звёздами, в той же пыли
Гуляет степная княжна с чужаком.

2005

ДУЛЬСИНЕЯ

Как-бы-поток-сознания

1.

Вспомнишь в липкости млечной незрелые смоквы,
Зимний сплин обезболишь дисплеевой сплетней...
Что ни море, на пляже такая же мокредь
И хватило бы на зиму выручки летней.

Но инжир не усох, и река не иссякла,
Окружная меж сосенок жмёт на педали,
А в людском обиходе случается всяко,
И везде благодать, где меня не видали.

Вот возьму и, неважно с какого помина,
Нарисуюсь в дверях полуночной невежей,
Брошу мокрый чулок в безделушки камина
И глинтвейна дождусь на подстилке медвежьей,

А с рассветом, уйдя по ручьёвому ложу,
Распишусь бахромою подаренной шали
В том, что даже и памяти впредь не встревожу:
Опыт – грош на помин, да и стоит гроша ли.

Эх, куда повело. Примощусь на диване,
В складках пледа по-дружески кот заскучает.
Напуская туману из всех Трансильваний,
Над огнем синепёрым забуйствует чайник.

Сколь ни плющит бесснежную нашу марину
Эта морось, глядишь, да и выйдет проруха,
Что придушенный ангел прокусит перину
И затем отплюётся липучками пуха.

Утром будут белеть снеговые остатки
На опрелостях осени детской присыпкой,
И покажутся благом домашние тапки,
А гнетущие зимы – гуманною ссылкой

С попущением, благословясь в непогоду
То ли манной небесной, то ль снежной крупою,
Свысока поглядеть на смятенную воду,
Нерушимую твердь попирая стопою.
Есть налог на свободу, и он – отлученье;
Есть закон тяготенья, зовётся – разлука;
И мечта – и покрова её совлеченье;
И, по слову: «стучите», – входящий без стука:

Что ни в хор, то не в лад, что ни в строй – без ранжира;
Что ни дай, то не впрок, – вожделеет иное;
Что ни сев, то и взлом: словно семя инжира
Ломит скрепу веков, обогрето стеною.

Неуёмность смоковниц на камушке голом,
Беспардонные отпрыски в буйстве дочернем:
Да потрафь вам случайный прожорливый голубь,
Запустили бы щупальца в храмовый череп.

Как вы там без меня на реке тридевятой?
В этот присмерк, где я – как *на Севере диком*,
Ваш несбыточный город, и крепкий, и святый,
Входит – мёртвого рыцаря мраморным ликом.

Увлекаема мига лукавой обраткой
В петушиный сигнал на опасном рассвете,
Стылой матрицы лба я касалась украдкой,
Отогнав помышленье о скверной примете.

Спи, надгробие. Смерть за поэта ходатай.
Спите, латники, соизволеньем калики.
Где я прежде жила? И жила ли когда-то
Анаграмма моя на твоём сердолике?

Но уже и морозец, присвистнув моряной,
Хрустнув гирлом, затеял в картофеле рыться.
А у кирхи в кафе прямо гофмански пряный
Для сугреву глинтвейн, это к сведенью, рыцарь.

Да хранит нам тепло этот блочный домина,
Хоть земля костеней, хоть сугробами вспухни.
Зимний вечер. Пахучие зерна comino.
Как я, вечная странница, счастлива в кухне.

Кто я, – патиной крытых словес накопитель,
Всё затем, что неймётся мне в собственной коже.
Глянь в окошко: к Луне подкатился Юпитер, –
Где-то там, над зубчатою башнею, тоже...

Здесь ли, там, – кто умён, заправляет торгами,
Только я над уловом моим без почина:
Как всегда, оттого, что раздор с берегами
У реки, но эпоха тому не причина.

Зимний вечер, пастушка. Пряди свою нитку.
И компьютер жужжит, словно те веретёна.
Если вдруг невзначай на пороге возникну,
Это будет двойник, да к тому же сластёна.

Ибо ссыльной душе в человеческом тесте
Не сидеть без потачки её маскараду,
И размах моих крыл – в отстраняющем жесте,
Что во имя любви учреждает преграду.

2.

В той земле чернобривцы горячие, дикие мальвы
На откосе, а степь взгромоздила бесплодные гряды.
Мы в бесплодном порыве к инакому, в общем, нормальны,
Если нам по природе не свойственно вжиться в обряды.

Старики же твердят, что, сбываясь, предстанет инако
Всё, что, ум горяча, безоглядно душа вожделела,
Испарится кипучая страсть, и отложится накипь, –
Впрочем, бренный сосуд, я о том никогда не жалела.

Глаз ли клал на чужие краи славянин бесшабашный
Или нечто с прибором, с раздолий своих и покутий, –
Пробрало костяную слоновость надышанной башни
Мировым сквозняком возбранённых ему перепутий.

Ни именья, ни имени: семя в чужом огороде, –
Принесёт ли сам-сто, светлы очи потупь и не зарься.
Голод – божеский пёс и, как псовой пристало породе,
В гурт вгоняет овцу, гонит взапуски волка и зайца.

Здесь и там, и доселе и присно – и жарко, и росно,
А в солёной начельной росе мои радуги пляшут,
И бросают горбатый мосток колоколенке рослой,
И витражную святость наводят на плоские пляжи.

Я в пастушеской финке* лохматые гладила морды,
Сыр вином запивала, вникала в значенье сигнала
И следила в пыли большака легионы и орды,
Отсебятиной века зайдя в полосу маргинала.

Всем пределам чужак, собираю дорожную сумку:
Что сокровищем сердце сочтёт, то и будет родное, –
И несу по земле мою жизнь, как чужую придумку,
На дорожной пыли оставляя тавро именное.

Где те дворики в бархатцах, где те откосы в бурьяне?
Хошь – на Склон Королевы? А хочешь – со Склона Собаки?..
Кто я? Чадо земли, что её разменяли по пьяни.
Что там? Гиблого места звезда – упреждающий бакен.

Ох, не верь: всё – душа-медонос, ядовитое жало!
Мне же – хлеба насущный ломоть да тепла комнатушку.
В иберийском ли бархатце мечется отсвет пожара –
То на скифских равнинах тоска обуяла пастушку.

3.

Жмурки солнца, пепельную замять, остовы дерев
Изъясни впопад, но не витийствуй, перехожий бард:
Без того, карминными глазами юно озверев,
Из охапок иглицы понтийской колко фыркнул март.

Наверху ворочается ветер в смятых облаках, –
Погоди, всплыву, лишь только скину жернов меховой:
Вознесусь беспамятной креветкой в пенных пузырьках,
Отрешусь, как беззащитных скиний спящий часовой.

Что колóм несвежая сорочка – пыльная весна:
Обряжаясь, иволгою всхлипнул сонный палисад,
Но уже любая оболочка сделалась тесна,
И трава расталкивает плиты, впору и впросак.

Урывай из рыбьих трепыханий парусный лоскут,
Посолонь солёною тоскою песне попусти
Плыть в посад, где отгулы дыханий медью потекут,
Где почуешь камень под рукою – плотью на кости.

Где клинок притих в атласе ночи, ангел под стрехой,
Ведьма – в дымоходе, изваянье – в нише, ключ – в замке,
Знаешь, там, по Склону Одиночеств, к Площади Сухой,
Ходит Некто, просит подаянья, с дыркою в руке.

* finca, исп. – имение

Может быть, отсыплют горстку зёрен с многотрудных жатв
И нальют в подставленные горсти влаги ключевой;
Но ладоням, напролёт пронзённым, – что им удержать?
Канет семя, звякнув, словно гвоздик, в щёлку мостовой...

Некто, вскользь по галечному руслу уличных теснин,
Расточится в мозаичной кладке стародавних стен.
Вслед Ему, невытравимо русской горечью равнин
Мой гранат подпитывая сладкий, я отброшу тень.

Я вросла дичком огненноцветным в каменный разлом,
Иволги заплачкой восковые теплятся уста;
Вызревая зёрнышком несметным под её крылом,
Прозреваю, может быть, впервые, как печаль проста.

Так, меж двух Иберий разнородных внатуг натянув
Общий кров, живу, и мне незнамо, где моё крыльцо;
И танцует на раздольях ровных легкая, как нуль,
Шар-трава, пустот моих динамо, Сирина яйцо.

Так меж двух Галиций, волчьим воем оплывая в дол,
Напрягает корду притяженья пленная луна;
Маков цвет, к светёлке приневолен, так в отрясе гол, –
Лишь во рву забытого сраженья жизнь его красна.

Так и сад мой в ливень громогласный пеною удил
Отлетает, оперев на сошки черен привитой.
Кто меня, свой вымысел атласный, в пестрядь нарядил,
Я прочту на бронзовой ладошке Авильской святой.

У меня тут в глины запрессован парусный залив
Так, чтоб сберегать у баяниста в вытертом чехле;
Слышишь – свищет иволга спросонок в скрытности олив
Там, где рвёт фонарные мониста город на скале.

И когда фантазия постится, взяв на поводок
Всё, что в праздном сердце горевало, шло рапою вежд, –
В колких бусах иглицы понтийской дышит холодок
Из ненасытимого провала сбывшихся надежд.

Одесса – Толедо – Одесса, 2012

ОБЛАКА ГОВОРЯТ НА САНСКРИТЕ...

Анна СТРЕМИНСКАЯ

* * *

Облака говорят на санскрите,
Облака говорят на латыни...
Говорите со мной, говорите!
Этот день был тяжелый и длинный.
Облака надо мной проплывают
и словарь драгоценный роняют:
«агни», «веды», «поэта грекорум»
и рифмуют его с «романорум»...
Древнийагни горит в наших жилах,
мимо стройная дэви проходит.
И в уме все слова колобродят:
Веды – ведьма, медведь, джива – живы...
Облака знают все, все видали:
древних ариев славу и горе,
древних греков дороги и дали,
древнеримских владений просторы.
Но к истокам припасть тянет снова,
что всанскрита живительной влаге.
Мама – мата, брат – братар, и слово
полыхает огнем на бумаге!

КОЛЯ БУНИН*

Папа в гостиную входит большими шагами –
мальчик к нему выбегает четырехлетний.
Радости детской в гостиной самум и цунами...
Клич испускает ребенок веселый, приветный!

Папа – кричит – покатай меня на трамвае!
Счастья предел – этот красный, чудесный, звенящий...
И ничего он вокруг уж не замечает –
только трамвай – воплощенье мечты настоящей!

Жил ты зачем? Ты – ребенок, песчинка, пылинка...
Так и ушел ты в сонме таких же пылинок.
Жизнь проблестела на солнце седой паутинкой...
Миг – оборвалась! В сердцах лишь осталась повинных.

---

* Сын И. Бунина – Коля умер в возрасте 4-х лет от осложнений после скарлатины. Это был единственный ребенок Бунина.

Папа – кричит – покатай меня на трамвае!
Крик этот длился в ушах и в Париже, и в Грасе.
Фото в нагрудном кармане своем сберегая,
жил твой отец, суть познавший и жизни, и страсти.

Где ты сейчас, на планете какой обитаешь,
в парках каких, по аллеям каким пробегая?
– Там, где Господь катает мальчиков на трамвае,
с папами вместе так радостно он их катает!

ПАРИЖ

Что ты со мною делаешь,
что ты мне говоришь?
Слышишь, Париж?
Видишь, Париж?
Знаешь, Париж?

Все бродяги твои изысканно так просты,
словно есть у них дом где-то там
неземной красоты.
О, как весело нам в нечистом твоем метро –
там играют «Бесамемучо», танго, фокстрот...

Поднимусь на вечерний Монмартр и сяду под Сакре-Кер,
чтоб глядеть на твои огни, как в глаза – в упор.
Чтобы тайны твои ты разбалтывал мне налегке
на французском, арабском, бенгальском твоем языке!

Ароматы твои буду помнить я долго, до...
тех пор, как состарюсь, как мой состарится дом.
Круассаны твои, «Шанели» твои, «Ферро»...
Даже вонь негритянской мочи в ветвистом твоем метро!

Не забуду я площадь с веселым названьем Пигаль,
и как Элвиса Пресли старик из Нью-Йорка играл!
Там священные тени бродили – ты помнишь ли кто?
Кто стоял там в цилиндре и в сереньком летнем пальто?

* * *

Я в новый день вхожу – он двери распахнул –
всего лишь новый день, один из тысяч.
Вот светлое окно, вот стол и стул,
вот завтрак на столе. Но как мне искру высечь
из белого огнива дня, скажи...

Дом осветить, границы все раздвинуть,
чтоб день был для меня как маленькая жизнь –
наполнен до краев, дождями вымыт.
Чтоб был не скомкан старою газетой,
а весь наполнен смыслом, словом, цветом!
Чтоб обретал он плоть, и вкус, и запах,
пред тем, как солнце заскользит на Запад.
Чтоб было все в том дне: любовь, и боль, и стих,
и луковиц сиянье золотых,
и красных яблок вспышки, и свеченье
костров осенних и листвы осенней!

ПОДСНЕЖНИК

Муторный март – это моя душа...
Серые дни – скупые пайки тепла.
Движутся облака по небу не спеша,
мокрые хлопья дней – мимо витрин стекла...

Что удержать бы мне?
Жизнь – словно снежный ком...
Ну а душа по весне
глупым подснежником!

Тянется из щелей
обледенения...
Господи, ты согрей,
дай воскресение!

Ящик, Пандора, твой –
гроб любви и тепла.
И над моей страной
ты себя превзошла!

Но среди сонма бед
надежду не погубить!
Глупый подснежник вслед
тянется, чтобы жить.

* * *

Как плод, исторгнутый наружу,
в ком жизнь взыграет первой лимфой,
так и стихотворенье душу
вмиг обретет с последней рифмой!

И сказанное верно слово,
в крови, измучено темницей,
вдруг захлебнется жизнью снова
и в стих свободный воплотится!

И сколько их, таких упругих,
я родила и в мир пустила.
Они – друзья, они – подруги
и беспризорники в пустыне...

Они с собаками в обнимку
спят на осенних листьях зябко,
и на пожухлых, старых снимках
они – любви и ссор загадка.

Они с дельфинами резвятся
и с рыбами плывут на нерест.
Они в пыли, средь декораций,
и за окном их тихий шелест...

Они в объятиях горячих
и в сфинксах древнего Египта.
Их слышит в тишине незрячий,
и тень от них на манускриптах.

И есть надежда: ведь когда-то,
хоть, может быть, уже сегодня,
что их, ни в чем не виноватых,
благословит рука Господня!

МАГОМЕТ

Если гора не идет к Магомету,
то она устремляется к Богу.
Гора идет к солнцу, к свету –
одна у нее дорога.
Горы – это такое море,
которое вдруг застыло.
Ступени в небо зовутся Горы,
кусты и трава – перила.
Магомет поднимается тихо вверх,
в котомке – овечий сыр.
Магомет – поэт, и мимо всех вер
он идет к дарителю сил.
Он идет к источнику точных слов,
припадая к горной воде.

Собирает в котомку он свой улов
звуков, запахов, рифм везде.
Голубые волны вокруг него,
что недвижны триста веков.
И пена тумана его зовет,
сотканная из снов.
Магомет сидит на вершине горы.
Мысли его тихи...
И потоком с неба текут дары,
и ливнем идут стихи!

Сергей ШАТАЛОВ

ИЗ ЦИКЛА «КОДИРОВЩИК ДЕРЕВЬЕВ И...»

КУПАНИЕ

с медлительностью
задуманных вещей
поднимается тело
в ожидании наготы
едва тронутой воды
погружаясь
в невесомость золота
восходящего солнца
оно
как завершенная женщина
плещется ныряет
и боги растут в глазах
и длятся
задевая ресницы
пробуждением

* * *

архитектура трепета
в траве
в шагах
их не догнать
там гефсиманский сад
для дерева
БЫЛ
только сад...

МУЗЫКА ПУСТЫНИ

триста тысяч роялей
родила песчинка
в порыве ветра...

KNEPHASICRON*

у вечернего чая достаточно света
чтобы освещать твои губы
всю ночь

и повториться
за горизонтом дыхания

В РЕЛИКТОВОМ ЛЕСУ#1

только у этого дерева
драгоценная тень
вот и лег ее измерить
такой ли длины
должен быть гроб?
вместо ответа
у ног вырос камень

ИЗ ЦИКЛА
«СЛОВА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ»

* * *

предсказания теряются
в поисках тебя
будь то вечер
или тихие ночи
сны как незрячие
зеркала
на грани твоего отсутствия
находят место гибели
в неописуемости музыки
успевая поменять
как в замедленной съемке
картины
вчера
на голос
из ниоткуда

* мраки священные («Илиада», 17,455)

* * *

слова в сопровождении чисел
покидают меня
как мужество
в запретной комнате
не входи!
оставайся в черновике
с неподдельным спокойствием
наблюдай –
слова преображают меня
в это воскресное утро

* * *

– что с тобой? –
спрашивает в телефонную трубку
твой голос
– ну, как ты все эти годы? –
шепчу я
на полпути к тебе
с незатейливым багажом
приближающегося моря
а ты уже целуешь меня
и видишь в моих глазах нечто
подобное полету птиц –
разлетающийся пепел того
что нас разлучает
оставляя в памяти
оттиски близости
перепутав Южный полюс
с Северным
эта любовь будет длиться
даже если нас
за руки и за ноги
растащат в разные стороны
даже если окажемся без воздуха
на другой планете
без каких-либо средств
чтобы выжить

ИЗ ЦИКЛА
«ЕДВА ЗАМЕЧЕН»

* * *

Я здесь едва замечен.
Один поезд приходит, другой уходит,
А мне ехать некуда.
Твоя поднятая рука застряла
В облаке.
А я никак не могу начать
Ни исповедь, ни молитву, ни симфонию,
Ни жизнь.

* * *

когда в зеркале
проходит навсегда
вагон луны
жужжит нерабочая пчела
и продавец
как страшная ангина
на фотографии успеет рассмотреть
вечерний поезд

* * *

когда наступит китай
не удержаться от всадника
со слезящимися глазами
это время раздела имен
на тибет и кино
где успевает остаться все
что не успел запомнить

* * *

Двигаюсь, не задевая велосипедистов.
Утром они с трудом различимы на дороге.
Мягкое скольжение шин
позволяет им не оборачиваться.

Без опознавательных знаков,
совершенно голые, на пуантах колес,
будто НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ,
будто только что кому-то приснившиеся,
не замеченные среди немыслимого количества убитых,
(оставленных посреди постели,
посреди дорог,
посреди небес)
в ужасе, что смерть до сих пор
не знает их имена,
они, укрывшись моим невниманием,
оставляют на поругание
беспокойство ненаступившего дня.

* * *

Если спросят,
Как давно я плакал?
– КАЖДЫЙ ДЕНЬ, – отвечу и,
Будто что-то утратив за спиной,
Стану строить всем рожи
И делать
Умопомрачительные гадости.
Странно, что таким образом
Хочу свести все к шутке.
Но уже слишком поздно –
И я ныряю в прозрачное озеро слез
И заплываю в такую расщелину,
Где меня невозможно рассмотреть.
Ты, кажется, сказала:
– В твоих глазах появилось родимое пятно.

ДОМ ПУШКИНА НА БУЛЬВАРЕ ПУШКИНА

– Этот город заключает в себе живую несбыточность.
(Некто о Донецке)

Такие коды требуют разъяснения...

Степь. Сплошная степь. Степь без права на эхо в панический полдень, с единственной стеной посреди пустоты. ОН/она (с пернатым рюкзачком) бился головой во все, что окаменело, и от этого стена становилась еще больше (она росла), будто картина, где краски (густые от слез золотых) вытекали из раны. На этом холсте из кирпичной кладки кровь багровела, синела, покрывалась желтизной, потом исчезала.

– У тебя нет сердца, – сказала она.

И сердце упало...

Его сердце с грохотом впрыгнуло в неслыханную БЕЗМЕРНОСТЬ, и тогда он приволок бревен немыслимое множество и построил сруб вокруг стены. Все задышало жизнью нехоженой! Как-никак первый деревянный дом в степи!.. Прямо в начале бульвара Пушкина!.. Но об этом НАЧАЛО даже не догадывалось...

– Бревна-то откуда?

– Это крепление для копанок. Видимо, из Болдино или Михайловского, видимо, из... Свод Центрально-заводской до сих пор держится на одних стихах.

– Не может быть!

– Может, может. Только нужно зажмуриться крепко-накрепко и до невозможности долго умалчивать о крыльях.

...Нет, все было не так. Дрейфующий во времени дом... Дом-призрак... Дом Пушкина... Прямо из самого Пушкина. Его видели и в других городах, но он там почему-то на долго не задерживался, но здесь... ЗДЕСЬ – ДИКОЕ ПОЛЕ – сердце Великой степи, на одной широте с Байконуром. Здесь можно читать поэзию не только над, но и под землей. Уголь вырубали просто так, чтобы освободить место для стихов. Представь: Пушкин в лаве почти неразличим среди чернорабочих... поэтому его толком никто и не видел, будто и не было Пушкина... вовсе.

Только надпись одна: «Свое человекоподобие посвящаю вам».

– Кому это вам?

– Тем, до кого не долететь в такой кромешной нелюбви, – переводя дыхание,-

Там под землей он все чего-то выкапывал, вымаливал, выспрашивал.

– Окаменевшие папоротники могут говорить?

– А как же... Чтобы потом со знанием дела выдохнуть: «Хуже, чем на земле, не бывает нигде!»

Уголь за ненадобностью сжигали на кострах, и земля раскалялась до температуры Солнца, а потом захлебывалась в кашле чугунной слюной.

ОН/она (с крыльями) разгуливали по бульвару. Деревья, как в поместье: высокие, стройные, ну такие, из которых получаются аллеи... летучие.

– Это была она, точно ОНА.

– Где доказательства?

– В праздники всегда надевала цветастое платье...

– Тогда почему в платье и с трубкой Байрона?

– Она ее курила или раскуривала.

– Для кого?

– Ну, скажем, так: ПОЧТИ из дыма начинался бульвар Байрона.

– Думай, что говоришь? Трубка Байрона и целый дом Пушкина... Здесь в разнотравии ты совсем мозгами рухнул... Логика тик-так... Логика ГДЕ? Лучше коллекционируй закаты во время пожаров. Смотри – все горит.

– Это фотосессия со вспышками... Вспышек много... Они целая родина света... ОНА ЖЕ – само впечатление... Ну, МУЗА, одним словом... Вот и хотят ее запечатлеть в каждой мыслимой и немыслимой подвижности дома... на фоне окна, на фоне стены, которая вот-вот распахнется... на потолке...

– Как она туда доберется? Крылья-то в рюкзачке?

– Ну, это совсем просто. По стихотворным аллюзиям... Я сам так не раз на всякие высотки и выше... Бывает, подхожу к реке – реки нет. Подхожу к дереву, а дерево во мне.

Иногда к *НЕЙ/к нему* подходили люди с гарфанками и что-то мучительное говорили. ОНА плакала. Плакал и он (точь-в-точь ее отражение в зеркале, только с бакенбардами).

ПРОЛЕТАЯ НАД ЕГО РУКОПИСЯМИ (ВИД СВЕРХУ)

...он смахивал выступающие на ветру слезы тыльной стороной ладони, провожая экваториальным взглядом ангелов: белых и голубых, желтых и золотых – пролетающих мимо и дальше, почти бесшумно и с голосом (тихим воркующим звуком бессмертия), над степной «брусчаткой», к тайной зависти воробьев, вынужденных беспристрастно махать куцыми крыльями, чтобы не упасть вниз на медленно текущую, никуда не впадающую улицу, и вдруг...

ПРОЛЕТАЯ НАД ЕГО РУКОПИСЯМИ (ВИД СНИЗУ)

...словно по волшебству разом застывших в воздухе, в затылок друг дружке, зависающих на минуту, кажущейся вечностью, прежде чем снова плавно набрать ход и уйти вдогонку за первыми, или мигнув золотым зрачком и взывая к уходящим, свернуть вбок, за этот крошечный деревянный дом в степи, где можно укрыться от смерти несущейся.

УЖЕ НА ЗЕМЛЕ...

...*ОН/она* счастлив, потому что нет ни одного летящего пешехода, никого, кто бы осмелился преградить ангелам путь, прервав, хотя бы ненадолго, их продвижение к единственной цели, непостижимой для человеческого разума... (умопомрачительного!), а вместе с тем имеющей силу сил, заставляющей их, свободных, повиноваться – весной, летом, осенью, зимой, днем и ночью, в любую погоду одному маленькому СПАСЕНИЮ.

Сколько *ОН/она* себя помнит, а вся *ЕГО/ее* жизнь была как застывшая капля янтаря, где он/она всегда стояли на углу под бесконечно падающим небом, улыбаясь и смахивая слезы, которые упрямо наворачивались как надувающиеся шары от избыточной жары или полета величественного...

И вот, *ОН/ОНА* обуглились от этих слез нескончаемых (и вместе с ними дом). Скелет – это тоже чертеж, но только улиц бесконечных, внутренних. КУДА они заведут, если на одном дыхании, без компаса?

– Давай пойдем.

– Куда?

– Пойдем повсюду!

Святой Антоний (Пушкин оглянулся), отряхнув от угольной пыли оброненный в ангельской суматохе цилиндр, бросил его вдогонку идущим, как бумеранг, со словами (чтоб уж запомнили насовсем): «...Извиваться всем телом, быть повсюду, быть во всем, разрастаться вместе с растениями, течь, как вода, дрожать, как звук, сиять, как всё сущее, погрузиться до дна материи, – быть самой материей... и не будет конца этому городу, и все обретет ЖИЗНЬ НОВУЮ...»

НА СМЕРТЬ СМОТРИТЕЛЯ РАДУГИ

Обойдя все пустыни, он глотком воды уравнял свои странствия с серебряными птицами на горизонте и, оглянувшись, увидел: дом, ребенка и утренний стол.

Малыш вкусно ел оладьи. Когда же его лицо окончательно изгваздалось в сметане, родители поставили перед ним зеркало... И, то ли от ужаса перед увиденным, то ли от

невозможности вернуться к себе прежнему, малыш расплакался. Чья-то рука бережно отерла ему щеки, губы и на глазах у безропотных родителей увела из дома. Та же рука на глазах у других пап и мам поманила еще одного плачущего ребенка, затем еще одного, и еще одного, и...

Как в пантомиме (с пропущенными движениями), они бежали сквозь дремучий лес к своим серебряным птицам. Их очертания теряли всякую значимость, и они на время становились травой, песком, водорослями.

И вот – вода у самых ног. Здесь, у воды, Бог случается чаще, чем где-либо. А вдруг встреча, и такая – что навсегда!

Дети плывут, не оглядываясь, и рядом дельфины. Они на плаву надевают акваланги и погружаются глубоко. Так глубоко, что сквозь толщу воды доносятся голоса китов, отгоняющие от детей видения другого моря. Серебряные птицы, серебряные рыбы проносятся, как случайно оброненные ключи от множества дверей, где за каждой, подобно звездной карте подводного мира, затаились залежи драгоценных книг.

Кто успел прочесть хоть одну строчку? Хотя бы слово?

Вот маленький аквалангист, самый быстрый, самый непотопляемый... Он-то наверняка...

И некогда спасительная рука (все та же!), для которой жестокость и милосердие – равно чужды, сорвала аквалангистскую маску с ребенка, и он, в беспомощных телодвижениях, потерял подставленную спину дельфина. В костяных объятиях воды дельфин вскрыл свои запасы воздуха, и малыш в «серебряном лифте» поднялся к солнцу.

«Море сегодня на удивление медленное», – кто-то написал на песке.

Солнца полным-полно в глазах, в ушах, в голове. Дети, преисполненные света, ступили на берег. Как в древнем Акрополе, их поджидают хоры.

«Я и море – два больших камня».

Срывающимися голосами они надеются воссоздать увиденное в книгах, вернуть к жизни дельфина и возговорить свое восхождение к солнцу.

– Какую нужно иметь силу, чтобы петь для тех, кого представить себе не можешь, – бормотал застывший пейзаж. И нечто невозвратное приблизилось к губам, ресницам, лбам...

И тогда из детских голосов вырвались иные голоса – глубокие, ломкие, страждущие, наделенные видимым сердцем и ясной памятью. ВСЁ случается в такие минуты! И маленькие головы, обведенные величественной рукой, воссияли.

– Пусть... от этого разрушатся наши сердца! Пусть! Но мы все равно останемся. Мы будем!

До самопожертвования они всматривались в пространство, будто в нем виделось бесчисленное множество окон и дверей в КУДА-ТО. И это КУДА-ТО они пытались тут же очертить, зарисовать на всём, что попадалось под руку: бумага, камни, низко опустившееся облако. А может, всё это и есть облака? Костры, костры облаков... Как они меняются, заштриховывая солнце!

– Это дождь! Самый настоящий дождь дождей.

– Мне мама не разрешает рисовать дождь – я могу заболеть и стать мертвым.

От волнения у малыша сломался карандаш, и тут же с небес сорвалась серебряная птица. На невероятной скорости она пронзила землю и, оставив легкое землетрясение, ушла...

– В какой части земли нам ее спасать?

Отовсюду на дождь собрались улитки. К каждому их домику дети приставили по крошечной лестнице, которые раздавала все та же рука. Восходя глазами к самой последней ступеньке, дети умудрялись соскальзывать в НИКУДА.

А дальше? Дальше – в письма... Здесь замечательно дышится, пишется! Здесь замечательно всё!

А тем временем звери приближались к самим себе и становились паузами в охотничьих пересудах. Охотники, совсем не замечая снующих под самым носом хищников, сквозь густоту кустарников наблюдали лишь роскошь облаков, ибо только в таком танце – синева: нагая, немыслимая, чужая...

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Здравствуй, облако! Когда зимой выдыхаю твои очертания, то удивляюсь самому себе: почему этого не случается летом? Неужели все оттого, что у меня хронически не хватает времени думать о тебе?

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Здравствуй, солнце! Всякий раз, на восходе, горизонт дышит так взволнованно, что вот-вот исчезнет. Как я встречу утро без тебя?

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Здравствуй, птица! Я стараюсь замечать каждый момент твоего приземления, каждый взлет. Но когда я пробую об этом говорить, получается: птица – справа, птица – слева, птица – во круги дальше...

На преподавательском столе стоит учитель. К нему поднимаются дети. Они фотографируют, рисуют, лепят ту часть неба, в которую всматривается он. А там? Там все меняется, растет, сияет. Там все...

«На лодках подплывают родители!»

«На плотах подгребают родители!!»

«На воздушных шарах, на дельтапланах летят и летят родители!!!»

– Ну да, и на самолете...

– На самолете не долететь (не летают сюда самолеты), – как бы мимоходом обронил учитель и пропел:

– Вот и славненько... вот и хорошо... а то как-то полюбилось благолепное пение, тихий говор и солнечные блики на стенах.

– Они ад нам устроят!

– Или рай?

– В аду скороговорки и сковородки, в аду всё в дыму. Ни деревца, ни травинки...

Учитель прикоснулся к каждому.

– На самом деле, – все едино: все утешения, все радости, всякое веселье. Только там, где ад, – там меня не будет.

«ВЕРНИТЕ НАШИХ ДЕТЕЙ!!!»

Учитель «освежил» себя из канистры бензином и, улыбнувшись в сторону разбегающейся детворы, вынул из кармана огниво...

Затем, подобно сказанию, принялся оглашать погоду на ближайшие дни...

Однако голос его УЖЕ звучал не здесь...

КАРНА

...Никакой возможности рассмотреть лицо невесты – его скрывает фата. Девушка «упакована» во все прозрачно-белое, как отдельный фрагмент тропического ливня (кстати, повсюду шёл дождь), перемещающийся по церемониальным тропам. Слезы умиления охватили толпу!.. Подобно смертнику, я прорвался сквозь непроходимую свиту к объекту всеобщего вожделения и поднял вуаль – это было лицо покойницы, теряющее свою посмертную маску (или обретающее?)

– Мне порекомендовали Вас, как профессиональную плакальщицу, – с такими словами я распахнул дверь входящей.

– Час моей работы стоит больших денег.

– Вы это называете работой?

– А как назвать то, что человек делает за деньги?

– Но Вы же не совсем человек?

– Это заблуждение, – она как-то очень уж по-домашнему посмотрела на меня. – Я – человек и всё, что с этим связано.

– Говорят, Вы совсем не спите...

– А мне говорят, что Вы продали дом, дабы оплатить мои услуги, но по Вашему поведению, в этих хоромах, трудно предположить, что они проданы.

По дому пробежало волнение.

– Так что я должна оплакать?

– Мою прошлую жизнь.

– С такими просьбами ко мне обращается каждый второй.

– Некое число чего-то в чем-то, вот я и...

– Когда начнем?

– Прямо сейчас.

– Сейчас не получится. У меня заказ.

– Хорошо. Завтра с утра.

– Но нельзя же так. Мне нужен настрой. Необходимо накопить определенное количество слез. Не по одной же слезинке выдавливать из себя? – и, как бы со сцены. – Я же понимаю – вам нужен поток! Дайте время, я сама позвоню.

Перед тем, как попрощаться:

– И не выслеживайте меня, как это делают некоторые, чтобы убедиться в своем выборе, я этого не люблю.

Я кивнул головой, но как только захлопнулась дверь, тут же пошёл вслед.

Моя способность перемещаться, когда человек моргает или смотрит в другую сторону, придавала мне уверенность, ибо желание знать, как она это делает, было выше всяких договоренностей.

Я до такой степени уверовал в свою невидимость, что без труда миновал всех, кто мог мне помешать пройти ко гробу, в котором, кстати, никого не было. Кажется, она меня заметила, или это только...

– Сколько вам лет? – удивленно спросила остановившаяся рядом со мной женщина.

– Много.

– А до сих пор в прятки играете, а играть-то не с кем – все на кладбище ушли. Я вот полы собираюсь мыть.

– Кого унесли-то?

– Кто его знает, кого? Разное говорят, – и почти шепотом: – Может, и никого.

– А плакальщицы... Где плакальщицы?

– Так это ж плакальщицы – самое интересное – ради них-то все и собрались.

– Но они-то где?

– В ресторане, небось, а то и еще где-то... – и она перевела взгляд на небо. – Они-то птицы высокие. Можно сказать, мастерицы своего дела. Вот я, например, никогда ни слезинки, а тут разрыдалась. Угомонить никто не мог. Рыдаю себе и рыдаю... Рыдаю себе и рыдаю...

– У меня тоже ни слезинки, а так поплакать хочется, – и я осторожно протянул руку своему внутреннему идиоту.

– Ничего, что я без предупреждения, – спросила женщина с незапоминающимся лицом.

– Такие, как Вы, всегда вовремя.

Не снимая обувь, она проследовала к единственному креслу у стены.

– Если поставить посредине гроб – будет неплохая инсталляция.

– Без гроба не плачется?

– Я же должна куда-то сливать слезы.

– Давайте я принесу всякие емкости.

– Лишнее. Гроб – в самый раз.

– Откуда я Вам его возьму?

– А Вы сами?

– Что я сам?

– Наденьте черный костюм, желательно с бабочкой, и прямехонько на стол. Нужно же как-то выходить из положения, – она подробно осмотрела комнату. Здесь явно ее не ждали.

– Судя по всему, к моему приходу Вы не готовы.

– Ошибаетесь – я даже нарисовал Ваш портрет.

– Интересно взглянуть, и где же он?

– В моем сердце.

– Это плохо, – резко выдохнула женщина. – Потом придется мучительно расставаться.

Я хотел перебить ее, но...

– А расставаться придется, – продолжила она, – и совсем скоро.

Входная дверь тут же захлопнулась, я последовал за ней.

– Что Вы привязались?

– Боюсь потерять запах Вашего присутствия.

– Это обычные ароматизаторы.

– Причем здесь ароматизаторы?! – взорвался я. – Вы тут пришли и расковыряли во мне всякое такое, о чем и говорить...

Она смотрела на меня с готовностью сносить любую муку и мучить, но хлынул дождь, и мы вернулись. Она долго ходила по комнате, не находя себе места. Потом остановилась у окна, рассматривая мокнущих под дождем птиц. И будто некий небесный киномеханик материализовал рядом со мной увиденное этой женщиной. И когда расстояние между пернатыми, смиренно сносящими непогоду, сократилось до нашего с ней поцелуя, она закрыла лицо руками и разрыдалась, то и дело удивляясь количеству хлынувших слез. Казалось, ее сосредоточенное лицо воспринимало их, как секретные послания или предсказания оракула, а потом...

Потом, воткнувшись лбом в стену, спросила:

– Вы этого хотели?

Я растерялся, достал бутылку водки и почти всю осушил прямо из горла.

– Как-то холодно... Совсем холодно, – обходя слезы стороной, буркнул я и захлопнул входную дверь.

Она осталась наедине со всем, что случилось или должно было случиться, будто одержимая с потерянным раем.

Я вошел в ближайший храм. Туда вбежал «карлик» с крошечным ножичком, приставил его к моей сонной артерии и завизжал: «Всё, сука, тебе конец!» Весь его речитатив состоял из безостановочного повторения слова «писец», изредка прерываемого всхлипываниями и молитвой. Тут же он целовал иконы с таким пылом, что на них облупливалась краска, а по храмовым стенам медленно ползли океанические слезы.

Станислав МИНАКОВ

КОГДА ПРОСТРАНСТВО ОПОЛЧИТСЯ...

* * *

Проснёшься – с головой во аде, в окно посмотришь без очков,
клюёшь зелёные оладьи из судьбоносных кабачков.

И видится нерезко, в дымке – под лай зверной, под грай ворон:
резвой, как фраер до поимки, неотменимый вавилон.

Ты дал мне, Боже, пищу эту и в утреннюю новь воздвиг,
мои коснеющие лета продлив на непонятный миг.

Ты веришь мне, как будто Ною. И, значит, я не одинок.
Мне боязно. Но я не ною. Я вслушиваюсь в Твой манок,

хоть совесть, рвущаяся в рвоту, страшным-страшна себе самой.
Отправь меня в 6-ю роту – десанту в помощь – в День седьмой!

Мне будет в радость та обновка. И станет память дорога,
как на Нередице церковка под артобстрелом у врага.

* * *

Памяти Н. Клюева и О. Мандельштама

Поставь на полочку, где Осип и Никола,
Осенний томик мой: я там стоять хочу.
Мне около двоих родны словес оковы,
Где – колоколом течь, приколоту к лучу!

Реченья их – речны, свечение – угодно
Тому, Кто чин дает журчале-словарю.
Коль-ежли иордань жива, хотя подлёдна,
Тогда и я, гордясь, глаголю-говорю.

Кто с этими двумя, тот не избегнет злата:
Кто складень растворит, тот и обрящет клад.
За косным языком искомая палата
Венчает звукосмысл и затевает лад.

И впредь усладу вить доколе? А дотоле:
Хмельною птахой – фить! – в глаголемый силок.
Я стану так стоять: я к Осипу, Николе
При-льнущий-ка щекой доверчивый телок.

Что слабые тела палач забил железом,
То слёзно вспомянёт желёзка-железа.
Но дождик золотой не смят, не перерезан –
Его глотает ртом зелёная лоза.

НА СМЕРТЬ МИХАИЛА АНИЩЕНКО

Три бутылки рижского бальзама –
и упал на пристани поэт.
У него от русского Сезама
открывашек и отмычек нет.

Всякий волен жить среди кошмара,
а ему, подумайте, на кой?
Беспокойный городок Самара,
стихотворца Мишу упокой!

Если ты запойный алкоголик,
а не просто пьющий человек, –
эту жизнь, испетую до колик,
различишь из-под закрытых век.

Можно быть, конечно, и без рая,
если слово русское постиг,
но, к полку последних добирая,
ходит Михаил Архистратиг.

Станешь ты не совести изменник,
а рванешься ввысь, многоочит,
если твой небесный соименник
меч тебе, тщедушному, вручит.

* * *

Бегство (читай – изгнание) – та же смерть,
в нём душа устремляется в духоту,
впредь не в силах выситься, быть и сметь,
покидая вещное на лету.

И, попав в непонятное, как шпана
озираешься, странный: некуда дальше бечь,
потому что повсюду – одна хана,
и лишь изгнанный может про то просечь.

Вроде б – ходишь и выглядишь так, как все,
но не ловишь больше наземный кайф,
а родимых, отрезанных в чёртовой полосе,
слышишь сердцем, издали, даже не тронув Skype.

ВОЛЧИЦА

Марине Кудимовой

Когда пространство ополчится
и горечь претворится в ночь,
грядет тамбовская волчица –
одна – товарищу помочь.

И на рассерженны просторы,
где дух возмездья не зачах,
но искорёженны которы,
глядит с решимостью в очах.

Гнетёт серебряные брови
и дыбит огненную шерсть,
и слово, полное любови,
в ней пробуждается как весть.

«Почто, беспечный мой товарищ,
ты был расслаблен, вял и снул!
Покуда тварь не отоваришь,
не размыкай железных скул!

Сжимай – до вражьего издоха –
любви победные клыки!»
Кровава хворая эпоха,
но лапы верные – легки.

* * *

Этот страх беспримерный в башке суеверной,
твоей умной, дурной, переменчивой, верной, –
жадный опыт боязни, тоски, отторженья,
я лечил бы одним – чудом изнеможенья.

Потому что за ним – проступает дорога,
на которой уста произносят два слога,
два почти невесомых, протяжных, похожих,
остающихся, льнущих, ничуть не прохожих.

О, я помню: боящийся – несовершенен
в смелом деле прицельной стрельбы по мишеням.
О, я знаю, что дверь отворяет отвага,
и летает бескрылая белка-летяга.

Плоть поможет? Положим, и плоть нам поможет:
ужас прежний – на ноль, побеждая, помножит,
чтоб отринуть навек злой навет сопромата.
Сочлененье и тренье – завет, не расплата.

Плоть – сквозь плен осязанья и слуха –
прозревая, восходит к подножию духа,
тех прославив, кто в боязной жизни прощальной
льды расплавил телесною лампой паяльной.

(ИОСИФ)

Мария, спи.

Он вышел на крыльцо,
Погладил свежеструганные лаги,
березой пахнущие. Возле верстака
вздохнула тень и глухо шевельнулась,
и звякнула невидимая цепь.
Он в голубятне отворил притвор
и, подойдя к бадье, под старой сливой
лицо в тугую воду окунул.
Живой листок, прилипший к бороде,
коснувшись пальцев, снова стек в бадью
на черную колеблемую воду.
Звезда, дрожа, стояла над овином.
И там, под ней, рассвет – едва-едва...
О, Господи, как я непеременчив!
С какого ни затею слога,
с какого ни начну угла
обшаривать умом передстоящий мир –
все возвращаюсь к хижине одной,
вот к этому единственному крову...
Ну что, скажи, опять в груди щемит?
Он в дом вошел. Жена еще спала.
Он дочери поправил одеяло.
В сознании толпились имена:
Иван, Олег, Петр, Всеволод, Арсений...
Он взрогнул, узнавая имя *то*.
Жена спала, тяжелыми ладонями
большой живот от мира заслонив.

Он тронул ее смуглый лоб
и, на пол сев, приткнулся к животу,
и стук расслышал еле различимый.
На хуторе, в лесу, взорал петух.
И небо занялось
живой лучиной.
Спи, ладо, не тревожься, будет сын.

тополь

Если тополь за окном,
Ничего не надо боле.
С ним – без муки и без боли
За оконный окоем

Можно кануть. Голубой –
Бессловесный, беспечальный –
Глубиною изначальной –
Он врачует нас с тобой.
Трепет, ропот. Лист и ветвь.
Ничего в нем больше нету –
О покое два завета:
Тихий звук и слабый свет.

Плат – заплата на заплате –
У него, но ты не плачь.
Мы за счастье не заплатим:
Тополь – царь, а не палач.

Тополь – плот, и тополь – поле.
Пальцы слепятся в щепоть.
Гул целебный, дар тополий
Единяет дух и плоть.

Это – я ль? А это – ты ли?
Явь? Или ее испод?
Волны света золотые.
Тополь. Воля. Путь. Господь.

* * *

Тысячелетняя война.
Беспамятство. Пыланье кровель.
Неизлечимо жизнь больна.
А я не жажду братней крови –

Ни лопнувших от боли глаз,
Ни голосящих жил на дыбе.
Ни злого хлеба, ни тряпья
Чужого, ни чужого дома.
Со мною – смуглая мадонна.
Ее улыбку в яви пья –
Сквозь блудный ливень Вавилона
Я слышу жизнь тугого лона
И знаю: эта жизнь – моя.
(Верней, уже – мое продленье).
...С какой чарующею ленью
Ты трогаешь свою щеку́
В пигментных мраморных разводах
И листик тополя щенку
Игручему пускаешь в лапы!
В кругу ежевечерней лампы
Мы держим счастия пыльцу
Немногую на пальцах слабых.
Играй-дуди, вселенский лабух! –
Покуда катится к крыльцу
Тысячелетняя война...

* * *

И понял он, что это – не война,
не сеча, понял он, не брань, не битва,
и этот вой – не песня, не молитва,
а прёт и прёт ликующее быдло,
и все под ноль ровняет, как волна.
И понял он, что он – всему вина,
и что душа молчаньем сожжена,
и сердце непричастностью убито.
И понял он. И жизнь ему обрыдла.
И льдом сковало черный Иордан.
(А может, это – Лопань или Уды...)
И смертью жизнь предстала для иуды.
Но избавлённый жребий
не был
дан.

* * *

...Где бы ни был –
ты всегда у Небесных Врат,
и повсюду – во́т он – и под, и над –
Ерусалим всесветлый, небесный град,
вопреки реальности, имя которой – ад.

О, пошарь, преступи черту,
если ты жив вообще –
скулящий, ноющий денно и нощно вотще;
коли взыскуешь лишь для жратвы куска,
лиловым зевом зияет твоя тоска.

А за стеною, в такой же пустыне, лежу и я –
ах, нам бы манну небесну глотать не жуя!
Но паче заветной манны алчем мы пищи земной.
Оттого ли жизнь истекает, словно из раны гной?
Пред иорданью горнею как преклонить шелом?
Где же ангел-привратник, что говорит: «Шолом»,
в белое обряжает и отворяет врата?
Господи, – говорю я, – где ж она, та черта?
Господи, – говорю я, –
хлеб наш насущный даруя днесь,
за унынье прости мя и, равно, за песью спесь,
за вселенскую леность, недвижную, как налим!
Ибо тот упасется, кто жил и дышал лишь им:
Ерусалим, – твержу я, –
где же ты, град мой небесный, Ершалаим?

ГОРОД ДО

Анна РЕВЯКИНА

* * *

Город мой. Тот, где с детства отсутствует море,
и повсюду степь – невозможно рыжая с янтарём,
словно вечный рассвет, как картинка на мониторе,
словно юность отца, упакованная в альбом.

Не сдержаться, когда прикасаешься к камню,
когда трогаешь тёмную землю, что на крови.
Если ты здесь родился, то родился ты неслучайно
в чёрнокаменном городе, что стоит на краю земли.

И до взморья отсюда добраться две сотни гривен
по наезженной трассе, не так ли, – знакомая блажь?
Но ведь ты здесь родился, а значит, не будь наивен,
эта степь – твоё личное море, твой дикий пляж.

Под обветренной кожей, под веками, в подреберье
море плещется, как живое, – искрит янтарь.
Это море – твоя свобода, твой дом, твой берег,
оберег твой, твоя история и печаль.

Знаешь, Господи, это счастье, что так привычно
из окна наблюдать, как морем вскипает степь,
и плывут облака – вон одно, словно ключ скрипичный,
и так хочется каждое облако рассмотреть...

Каждый камень под ярким солнцем играет светом,
преломляет луч, так хлеб преломляешь ты
с самым близким, твоим, проверенным человеком,
с тем, кто знает тебя до точек и запятых...

С тем, кто тоже почувствовал море однажды кожей,
на безморье иные смыслы, иные ветры, иное дно.
Город мой. Будь. Пожалуйста. Осторожен.
Мой степной чёрнокаменный Город До.

13 марта 2015 года

* * *

Когда ещё встретимся? Обними меня, хоть одной рукой.
Помнишь, как пахло солнце тмином и молоком,
помнишь, как мы сидели и придумывали, что за рекой,
когда вырастем, непременно построим дом?

Вот мы и выросли, вытянулись во весь человечий рост,
сколько пролито детских слёз было перед тем, как
стало понятно, что мир не заканчивается на городе роз,
впрочем, он не заканчивается и в других местах.

Но только у самого края, где небо трогает террикон,
где восходит солнце, похожее на пылающий шар,
ты мог бы дышать спокойно, зная, что здесь твой дом,
и не зацикливаться на взрослых пустых вещах.

И в слишком простом убранстве нахлынувшего мирка –
детского и неопытного, как все несбывшиеся мечты,
просвечивается, словно калька, тобою невыбранная река
и дом, который всё же построили, но не мы.

17 января 2015 года

* * *

И просвета не видно,
даже в полдень, когда в зените
наше общее солнце сияет особенно ярко.
Отче создал нам мир
и сказал свысока: «Живите!
Кто как сможет, живите,
не по книгам, так хоть по ремаркам».

Бескорыстно расходуя время
и прочие недра,
будь-то нерв или сила двоих –
самых близких здешних,
мы добавили в письма
ужасное слово «наверно»,
мы его добавили даже в песни.

В этом слове так много сомнений,
что колет сердце выводить его на бумаге,
катать вдоль дёсен.
Я хочу здесь остаться поэтом,
пусть даже не первым.

Быть поэтом, поверь мне, –
изящнейшее из ремёсел.
И в неровностях строчек
родятся большие смыслы.
Утончённые, грубоватые, как захочешь.
Пусть в твоей большой и широкой жизни
будет время на то,
чтобы просто служить отчизне,
а не ставить над нею точку.

Потому что время
нас всех рассудит и обесточит,
потому что время обескураживает и лечит.
Если ставить точку,
то лишь там, где укажет Отче,
где заблудшее человечество
не живёт по законам речи...

А живёт по закону крови,
впиваясь в глотку,
ухмыляясь жутким оскалом
насмерть больного зверя.
Человечество – воск,
из которого при неправильной обработке
исчезает вся божественная материя.

28 ноября 2014 года

ГОРОД ПОСЛЕ

Приходить к нему, как к источнику света, тепла и счастья,
говорить с ним или молчать о насущном хлебе.
Знаешь, сколько скорби в его горячем: «Не возвращайся!»
Мы с ним встретились спустя лето, и было небо
самым синим морем, а горы в зернистой дымке
отливали сталью, проржавленной и щербатой.
И глаза слезились, будто бы в них соринки.
И был ветер, а не какой-то там вентилятор.
И был день, не похожий на те, что раньше
отравляли мозг чередой незнакомых улиц.
Я не знаю, что будет дальше, мой милый мальчик,
но бесспорно мы будем счастливы, раз вернулись.
И никто уже не отнимет у нас наш город,
утопающий в сумерках, словно сентябрь в пряже,
когда ты ощущаешь каждой дырявой порой,
как железный воздух внутри пейзажа
превращается в нежность родных объятий.

Мой любимый запах – листва и осень,
когда время, самый строгий повествователь,
ошибается в числах. И Город После
так похож на тот, что был До разлуки.
Мы вернулись, и воздух полон ещё амброзией.
И ты снова обожаемо близорукий.
И я снова тебе читаю всю ночь Иосифа.

15 сентября 2014 года

* * *

Что ни дом, то короб пустой,
что ни слово, то сух язык, –
эта боль посильней зубной.
Бог, как опытный ростовщик,
назначает такой процент,
не расплатишься до зимы.
После смерти не будет цен,
только свечечки зажжены.
Под ногами горит асфальт,
и не слышно колоколов,
в этом городе плавят сталь,
проливают свою же кровь.
А за городом светлячки
освещают победный путь,
я гляжу сквозь твои очки,
я желаю к слепцам примкнуть.
Что ни дом, то сплошная скорбь,
что ни голос, то вой сирен.
Этот город был слишком горд,
и теперь он пошёл в размен.
Бог торгуется, как банкир,
не уступит и двух монет.
Бог смеётся, что Божий мир
утверждает, что Бога нет.
Его смех – канонада дня,
город плотно берут в кольцо.
В этот город пришла война,
я боюсь ей смотреть в лицо.

19 августа 2014 года

* * *

Приготовь себя ветру, подставь ему свой хребет,
в глубине городской геометрии жизни нет,
только камень, глазищи зданий, кресты-кресты.
Ветер немощен и бездыханен внутри толпы.
Он не чует в границах города своих крыл,
его город в сквозняк и шорохи превратил –
вдоль заборов и тротуаров мести листву.
Никакого таинства и причастности к волшебству.
Приготовь себя ветру, представь, что ты ветряной,
погрузись в него деревянной своей головой,
словно в омут или в какой-то иной сосуд.
И надейся, всем сердцем надейся, что не спасут.
Говори с ним о тропах, хотя их для ветра нет,
он свидетель потопа и фразы: «Да будет свет!»
Говори с ним, но больше, чем слово, используй слух,
этот ветер, в известной степени, – свя́тый дух.
Он тебя приподнимет над стадом и большинством,
но ты снова, как в детстве, прячешься под столом
и боишься того, кто воет в печной трубе.
Мой хороший, не бойся, воют не по тебе.

28 марта 2015 года

* * *

Здесь так тихо, что слышно часы и вены,
как в замочной скважине ключ говорит: «Пожалуйста!»
Когда мой отец после крайней тяжёлой смены
не целует меня с порога, но и не жалуется
на кромешную тьму подземелий и пыль, что въелась
в его пальцы, лицо, одежду и даже в голос.
Это смелость, любовь моя, просто мужская смелость,
неразменная и не разменянная. Наш полюс
на краю земли – просто кряж, что горюч и чёрен.
Чёрно-белые зимы, как старые киноленты.
Этот край свободен, и он в тех, кто его достоин,
он впитался навечно в тело твоё пигментом,
когда в самую малую щель проникали недра
нашей страшной земли – изрытой да истощённой.
Здесь так тихо, что истошно пятится суеверный,
и дрожащей рукою крестишься ты, крещёный.

В эту землю вложили душу, подняли в гору,
эту землю явили миру, как символ ада,
и на ней построили пыльный суровый город.
В этом городе редко случаются звездопады,
чаще ливни, и ливни эти с больным пристрастьем
всё ведут допросы – кто праведен, кто виновен.
Этот город меня ощущает своею частью,
и я счастлива быть его городским бетоном,
мостовой и стеной разрушенной, речкой в камне.
Моё сердце здесь – расхристанное, живое,
оно стало памятью у подножия памятника
неизвестному, но отчаянному Герою.

3 января 2015 года

ПЬЮТ ТЕМНОЕ ВИНО ДВА СТАРЫХ КАРАИМА...

Григорий БРАЙНИН

* * *

Вот он сидит в кафе, и пальцы под виском,
и волосы отвесны, как маятник Фуко.
Он видит, как, отставив кисти рук,
ты движешься, и как очертишь круг.

Он ждет тебя, он ждет тебя одну,
как Штирлиц ждет в кафе свою жену.
Целует воздух он, забыв язык,
он, как разведчик, заново возник.

Другое дело – ты. Ты хороша,
летает в небе легкая душа,
и цвет загара, теплый, будто хлеб,
так привлекателен... Илья и Петр, и Глеб
возбуждены и выдыхают в такт,
и норовят вступить с тобой в контакт...

И я здесь был, и пиво пил.
И черный «Гиннес», вязкий, словно воск,
втекал в мою гортань, и грудь, и мозг,
и я любил. Я так тебя любил,
что целовал любовников твоих
(мы вместе с ними пили на троих)
– Илью и Глеба, Глеба и Петра.
А ты парила в небе до утра...

Вслед за тобой и он бы полетал,
да зацепился взглядом за металл...

В АВТОБУСЕ

Луна, привязанная к нам,
плывет за нами по пятам,
и неподвижные, как своды,
деревья спят по сторонам.

Твой профиль, спрятанный во мне,
был виден также на окне,
и за стеклом по небосводу
он плыл, привязанный к луне.

Природа, лежа за окном,
была объята общим сном.
Селенья плыли в сером хламе,
как будто лодки кверху дном.

Как лента с рваными краями,
плыл Старый Крым в оконной раме,
и небо двигалось за нами,
как будто за улиткой дом.

* * *

Мы в электричке. Еле-еле
ползет зима за нашим эго,
пока в окне темнеют ели,
в клочки разорванные снегом.

Темна платформа Северянин,
пейзаж за окнами застынет,
и город Бабушкин застрянет
в твоей судьбе посередине.

Из двери этого вагона
нет выхода. Без остановки
мелькнут в пространстве заоконном
пустые кадры Маленковки.

Летят чем ближе – тем быстрее
знакомых видов зарисовки.
Внутри вагона душу греет
сограждан сонная тусовка.

Неузнаваемое детство,
как черно-белое кино,
страшит реальностью соседства,
с которым сжиться не дано.

И жизнь, похоже, добежала
вдоль черной насыпи горой
до площади у трех вокзалов
моей отчизны роковой.

Москва, Москва, ее багрянец,
кому-то – «Станция Зима»,
а мне платформа Северянин
близка отсутствием ума...

* * *

Когда стоят часы и в воздухе нет спешки
во двор к Патык-Каре пришел сосед Мурза,
чтоб посидеть в тени, где слизняков кромешных
баюкает в усах спиральная лоза.

Блуждают наугад сакральные улитки,
растительная жизнь струится из земли,
и в раковинах плоть сворачивает в свитки
цитаты из Торы, пакуя их в тфилин.

Витают духи трав. Плодов зеркальны срезы.
Над ними за столом – старик Патык-Кара.
Я вижу: из очков в оправе из железа
глазами стрекозы в нас смотрит виноград.

Он нас ведет в подвал, где терпкий запах ночи
от вязкого вина сгущается во сне,
и прячась среди мхов, томятся души бочек,
настаивая рай и истину на дне.

В густой, как кипарис, пахучей ночи Крыма,
где южная луна играет бахромой,
пьют темное вино два старых караима –
Мурза, Патык-Кара с Медведь-горой.

ДВЕ КАРТИНЫ А. ГЛУМАКОВА

Синее пламя, красное пламя, желтое пламя,
мы среди этих мазков в горящем бедламе,
знаки вопроса в малиновой середине –
я бы ушел, да запутался в паутине.

Может быть, это перья прекрасной птицы,
может быть, это шторм, и блестят зарницы.
Снятся мне юрьев день, петушок на спице,
цацка, а может, дрянь, но к утру проспится...

А на другой стороне – лучезарный пастух.
Нимб его счастьем сияет и песенка спета,
вол златоокий идет по волнам его света.
Вот и утро, и свет его не потух...

* * *

По белому песку ходила стая птиц,
и он ее кормил с руки, как прежде,
и было странным повторенье лиц
у бюстов птиц, приросших к побережью.

Стихия, как распахнутый рояль,
все ропщет, ропщет на свою природу,
и в ДНК вращается спираль,
и пьет, и пьет одну и ту же воду.

Пока дрожит на воздухе струя
зеркальная, как образ побережья,
моя Любовь разгонится, как я,
и полетит, как Вера и Надежда.

И этим птицам с обликами дев
их голоса, созвучные с прибоем,
даны, чтобы, пюпитры не задев,
могли взлететь, очнувшись от запоя.

МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Синие тучи, темные тучи, светлые тучи.
В медное море тянется с неба солнечный лучик,
режущий лучик белого света с темного неба,
светлого неба, синего неба, теплого хлеба.

То ли ко мне возвращаются краски черного моря,
то ли в крови пульсируют волны счастья и горя,
то ли в мой мозг проникает с небес темная круча,
то ли мой хлеб преломили со мной годы и случай.

Месяц не май, голод не тетка, сердце не камень,
темные волны, белая степь, пыль под ногами...
Вижу – бредешь по воде наших дней, будто апостол,
темные ночи, светлые дни – поза и поступь.

Кто ты, скажи мне, контур твой темен, взор же твой светел.
Как ты красив, путник судьбы моей, что ж ты не весел?
Кто огорчил тебя, брат моих дней, тень моей ночи –
темные тучи, светлые тучи, писем ли почерк?

Может быть, волн боевые стада – общие цели?
Может быть, ветра сладкое «Да!» – хлеба и зрелищ?
Древних ристалищ плечи и торс, ремни сандалий?
В темном сандале твоих волос – жизнь на привале?

Как ты прекрасен, спутник мечты, звездочка с неба.
Где же ты спишь, чтоб тебя не нашли, где бы я ни был?
Медное море, светлая высь – пей до отвала.
Ах, поцелуй меня, моя жизнь, как целовала!

2014 ГОД

Первый год, когда я не вижу море.
Я гляжу на него и не вижу, не вижу!
Только – шум толпы, и птицы горланят в хоре,
и я слышу Их крик и что-то в нем ненавижу...

Я встречаюсь опять у фонтана в советском Гуме
(в ту же воду войти, чтоб уже не уйти сухим),
«я там умер вчера»*, задыхаясь в Их белом шуме,
поглощая язык, на котором писал стихи.

Тьма подбегает к ногам и на чёт и нечет
отбегает назад, оголяя подошвы глыб.
Струйки её извиваются в месте встречи,
напоминая выброшенных прибоем рыб.

Клокотанье тьмы неделимо на части речи.
Круглы рты у Них, как у рыб, говорящих «О».
Будто у Брейгеля, уходят цепочкой в вечность,
белую вечность, незрячую, как молоко...

* * *

Ты стоишь за окном,
за которым мы вместе стоим,
и глядишь в ПУСТоту,
куда ты оПУСТила меня,

* А. Еременко «Я там умер вчера, и до ужаса слышно мне было...»

и я вижу, как я,
уподобившись первым двоим,
отражаюсь в окне,
как другие подробности дня.

Я стою под дождем,
искажаясь в оконном стекле,
и смотрю на окно,
под которым стою под дождем,
я гляжу, как стекает вода
по стеклу наших лет,
затекая в окно,
где мы больше друг друга не ждем.

Я гляжу сквозь тебя –
ты сегодня прозрачней стекла,
я гляжу на себя
сквозь твое отраженье в стекле.
Ты, как струйка дождя,
что, дрожа, по стеклу потекла,
искривила пространство,
оставив невидимый след.
Ты стоишь у окна,
дождь стоит, как стена за стеклом.
Ты стоишь у стены –
чуть заметней стекла под водой.
Мимо капли летят
и сквозь стену летят напролом.
Дождь идет за стеклом,
он идет по воде, как святой.

Ах, не плачь, моя жизнь.
Мы почти научились летать.
Мы, как стая из теней,
летаем под стаей из птиц.
Но опять в этой схеме
забыли такую деталь,
без которой сольются с пейзажем
черты наших лиц...

НОВУЮ ЖИЗНЬ

Я – сущий, подумал я. Ко мне подошла белая беременная кошка, подняла на меня глаза и подала голос. Что, сущность? – сказал я и погладил её. Кажется, она этого и хотела. Сущность – подумал я.

На стене дрожал овальный солнечный зайчик. Такой же зайчик дрожал в зеркале шкафа. По всем признакам оба зайчика происходили из поверхности чая, дрожащей в чашке чая на столе. Я прикоснулся к чашке. Оба зайчика отозвались синхронным подрагиванием. Один и тот же зайчик, живущий в чае, был одновременно и на стене и в зеркале. Я оторвал чашку от блюдца – зайчики исчезли, сделал глоток и поставил чашку на место. Оба зайчика тут же появились на тех же местах, но изменили форму. Они стали похожи на прозрачный конус со светящимся шариком на вершине и стоящий на сверкающем основании. Похоже на картинку «Солнце над морем». Это были другие зайчики. Предыдущих я проглотил вместе с глотком чая. Я съел зайчика или двух почти одинаковых зайчиков. Их сущности исчезли во мне. Они стали не сущими.

Я не сущий – подумал я. Не сущий. Несущий. Что несущий? Я представил себе человека, несущего что-то в мешке. Что может быть в мешке? Какие-то его пожитки. Несущий, несущийся. Несущий себя, свою жизнь и какие-то её атрибуты, бельё, например, или ботинки. Несущийся навстречу времени и несущий время в этом мешке.

Несущий – ещё может быть несущий яйца. Несущийся со своими яйцами или несущий яйца, как курица. Нет, курица кудахчет, а этот молча несётся. Скорее черепаха или другая рептилия. Такая вот деградация, или, как говорил наш классный руководитель Леонид Абрамович, налицо не прогресс, а регресс.

Итак, несущий яйца, молча, как рептилия, на берегу моря, например. Беззвучно выпадают прозрачные яйца прямо в песок. Одно, второе, третье, складываются в прозрачную пирамидку со светящимся яйцом на вершине. Морской пейзаж с солнцем. Солнечный зайчик, появившийся на стене после того, как я съел предыдущего. Поел зайчиков. Всех поел. Как Кронос своих детей. Какое простое слово. Поел – скажи спасибо, сказала бы бабушка. Но тут поел – не в смысле позавтракал или пообедал, а в смысле – проглотил. Принял в себя, как дракон солнце на китайской картинке, изображающей солнечное затмение, или как у Чуковского – крокодил солнце проглотил. И в этом «поел», есть какая-то мифологическая обратимость, кольцевое время. Кронос поел своих детей, но потом назад вернул в целости и сохранности, вне всякой связи с пищеварением.

Кошка крутится возле меня. Грациозная, несмотря на беременность, и слегка прозрачная, как живородящая рыбка гуппи, набитая исчезающе маленькими и прозрачными мальками. То, что у неё внутри, в отличие от Кроноса, она не поглотила, оно там появилось почти из ничего и выросло внутри, а потом родится, отделится от матери и превратится в отдельную сущность... Надо начать новую жизнь – подумал я.

Чая больше не было. Солнце за окном передвинулось по своей орбите вверх и в сторону. Под ним деревья шевелили листвой и поблёскивали. Сегодня подходящий день. Как раз тот день, как говорил наш сосед-алкоголик, когда его жена не пускала домой. Ася – кричал он и барабанил в закрытую дверь. Я твою мать, жидовку, зарежу, и сегодня как раз тот день. Угроза была пустой. Тот день пришёл не к тёще, а к нему. Он давно не существует, а фраза или мысль про тот день существует. Она живет во мне со всем своим философским грустным юмором и уносит меня в подъезд дома 135 по ул. Постышева. В подъезд, где я знаю каждую выбоину на ступенях лестницы, где я и сейчас отчётливо вижу покрашенные зелёной масляной краской панели, грязные окна, и слышу эхо шагов и дыхание соседей. Новую жизнь – думаю я. Сегодня как раз тот день.

ТИХИМ ВІТРОМ СЛЬОЗИ НЕ ВИП'ЮТЬ...

Олена СТЕПАНЕНКО

ПАЦИФІК ЕТА

Чорт забирай твою катастрофічну впертість!
Чорт забирай твою вперту катастрофічність!
На тій стороні серця, де лежить твоя незалежність
На мапі мого – простяглась безсоромна ніжність.
І скільки не накладай на кальку ці контурні карти,
Скільки не намагайся пробитися через ці кляті митниці,
кордони і вододіли,
Це все одно що крізь скло
продиратися голими пальцями
відчуваючи врешті тепло лише власної
крові,
що залишає тіло...
І кожного ранку через наше ліжко летять
Потяги смерті від Еускаді до Аскатасуми,
І кожної смерті в мені торохтять
залізні іржаві квіти,
залізні підсклянники,
гроші залізні на божевільні суми,

і кожного разу, коли ти відходиш без мене – без нас –
у ніч,
ми розуміємо
– ти щоразу ідеш востаннє,
і щоразу я забираю в тебе одну яку-небудь річ
ніби на пам'ять – й ніколи не повертаю...

Але чорт забирай ці святі божевільні гори!
Чорт забирай цих освячених гір божевілля!
Врешті-решт ти береш автомат
і рушаєш дитинно-голий
лишивши навіть окуляри
Навпомацки...
Попідтинню...

* * *

Любов – вона ніби ніготь,
Чим глибше вростає – тим більше болить.
У неклінічних випадках просто звикаєш,
не завважуючи незворотність процесу.
і коли гра на роялі реальності
переходить у фазу коди,
коли вже вона тебе, а не ти – її –
залишається ампутація –
кров'ю на клавішах. Та частіше –
слідами протекторів на спині і вереск гальм,
що залишають Її колеса.

Адже мати свободу вибору – чи не мати свободи вибору
означає не мати вибору взагалі.
Світ згаса непомітно – і першими відходять звуки,
ніби хтось видирає по клавіші раз на століття
і бац –
назавтра все заніміло...
І лише холодильник серця гудить і гудить
сука – гудить і гудить –
Так ниє і сіпається заражена рана,
і хочеться її чухати й роздирати –
і здерти нарешті –
здерти
разом із тілом.

І коли відходять від тебе всі кольори –
Так, наче всотують і ковтають самі себе
Ледве розкрившися – райські пір'їни гербер,
хочеться задерти голову і кричати – гей ви там, нагорі –
чого вам треба від мене –
чого вам ще – треба?!

Але нічого не зміниться – лише білість і тиша,
Білість і тиша всередині і навкруги
жодної тіні жодного світла
день рік чи годину – може менше а може й більше

і лише там нагорі
чиясь велика рука підносить до вуха маленьку мушлю
Землі –
Прикладає до вуха – легенько стрясає –
аби лиш почути, як там він – чи гудить,
чи корчиться, плющиться, дихає – чи болить
серця твого холодильник.

ФАНТАЗІЯ C-MOLL
Praeludium

А взимку місто стає холодним, чужим, великим,
здається – мертвим.
Простір розширюється – коштом низького неба,
і кожні морозні, мокрі, грязькі – і найближчі метри
долаються як дорога в Сибір,
        як шлях від порогу – до пекла,
і в запамороченні сипляться з каруселі білі дахи, обличчя,
порожні постелі – й оселі...
і наша любов – безсила снула рибина –
занурюється у недосяжні глибини.

Allegro ma non troppo

А там – хто кого нас в кому виїдає,
заміщує, витісняє – хто з нас кому болить?
Ми боремося з холодом, як Ізраїль
з янголом, як з коляскою – інвалід.
І коли ти, виснажений до кінця,
хочеш натиснути на Деліт –
щоби стерти тебе із себе –
зі свого й земного лиця,
 серця,
з усіх доленосних нещасних своїх планид,
перепостити як ченця
перемерти себе як СНІД –
і бувай,
   аддіос,
      привіт!

Andante

...пада сніг за вікном,
перехожі прискорюють крок,
твій картатий шалик десь там від напруги змок,
зависає земля на сніжинці, тоншій за волосок,
і тремтячий палець, наведений на курок,
тисне Enter – вкотре, на посошок.
і полегшено ти сідаєш на сніг –
зав'язати шнурок,
і великий Чумацький Шлях починає новий виток,
і великий Бог підіймає легкий смичок –
й ранні сутінки падають – сині, як монітор,
жовті лампочки зір викладають над ними смайл,
і зелений місяць моргає, як світлофор,
ти вертаєш додому – просто додому, не в рай...

й тихі кроки звучать у тональності соль мажор...

Інший берег тут, прости і забудь,
захисти і розрадь
Дж. Керуак The Scripture of the Golden Eternity

Був собі чоловік із дефектом дикції,
так ніби думкам у його голові значно тісніше,
аніж словам у роті –
і маленький зеленоокий хлопчик всередині нього бігає,
вітрячить руками над головою – киш, киш.
Гиля, Гиля!!
А вони злітають, кумедно ляскаючи
по стегнах незакритими змістами, –
і сміються, штовхаючися в його
незахищеному шаликом горлі.

І крізь такий-от гармидер чуєш усе, ним проказане, –
із незначною лакуною у повітрі,
наче крізь сито, вуаль чи рекламу на шибі маршрутки –
нібито все і видно,
але така
гратчаста
сітківка,
така розкреслена структура світу,
що здається:
ти – це компактна в'язничка
із зовсім дрібною – тобою – в центрі.

А-ти такнелюби-лабутивпійманоюЮЮю!
І коли він освідчувався в коханні – так невчасно, як завжди,
так
повільно й ретельно,
ніби відповідаючи раніше вивчене,
ніби згадуючи втрачене –
слова у вузькому горлі стикалися,
спотикаючись,
давлячи одне одного –
і
втрачали найменшу надію.

І навіть коли він помер – про це розказали люди,
такі дорослі негарні люди із бездоганною вимовою,
розуміння цього надійшло
з таким самим запізненням,
легким заїканням свідомості,

що коли ти остаточно запливла за буйки
усвідомлення цього факту –
шлях назад був майже невидний.
І тепер, дивлячись на світ –
Наче крізь сито,
ледве помітне гратчасте сито –
(чорно-білий дефект набутої смерті)
не можеш позбавитися відчуття –

у тебе чуже дифтерійне горло
із замерзлими,
не встиглими бути промовленими
словами.

ЙОВАНА

Де ти була, квітко-Йовано,
коли він насилу доповз до твоїх вікон,
по шию грузнучи у скривавленому асфальті
і покликав тебе так
розпачливо-пристрасно,
ЙОВАНО!
Що усі дзеркала сполотніли в твоєму домі
і наче пелюстки зов'ялі
скинули амальгаму.
саме того дня Єрусалим був зруйнований,
саме тоді надвечір Карфаген зайняли китовраси
і до Казані удерлися варвари,
а він усе кликав тебе, як він кликав
тебе,
ЙОВАНО! –
аж усі наречені світу обрізали свої коси,
щоби звити кубельце для його розпачу, щоби
омити його заплаканий голос
своїми сльозами.

От тільки тебе не було,
легковажна Йовано...

А потойбіч Вардару діброва горіла,
і тонкий місток із верби, і
ув жодному решеті не стане достатньо місця,
щоби її задмухати.
А він гукав тебе із такою напругою й силою,
що вся кров у його легенях стужавіла в чорні вузлики.
У церквах заридала нафтою парсуна Миколи Другого,
і порвалися навпіл куліси в сільському клубі...

А ти давала інтерв'ю для студентської стінгазети,
розумнице-Йовано,
ти їла булочку із корицею, у формі серця,
ділячи її навпіл із негарним редактором,
чи було тобі солодко,
Йовано?
а його вже майже засипало, зігріваючи,
усе сухозлітне листя з-посейбіч Вардару,
і його голос осліплий був чутний
лише охоронцеві-янголу,
якому теж
було холодно...

І коли ти вертала додому у цілковитій темряві,
і спіткнулася об щось, що вже не було живим,
уже не могло тебе кликати і чекати –

у твою долоню упало останнє з твоїх імен, сухе
і пошерхле,
        йовано.
А назавтра ти вже не змогла
        згадати, як тебе звали...

БАБУНЯ ВІРА

Ну що ти, каже, Оленице, – так побиваєшся слізно?
Того, хто плаче – Бог бачить упівока,
        того і молитви дослухає у піввуха,
рюмсу і янголи облітають упоперек кола –
а на маківку йому й не сядуть,
        не промуркочуть історій про незнане,
                тихим вітром сльози не вип'ють...
А вийде за ворота голубів годувати –
скажуть птахи – солені крихти у плакси,
полетять до іншого маляти –
        і зганьбиться хлібець у пилюці.

Ну ж-бо, не сумуй, моя люба –
        ходімо краще зі мною під грушу,
поглянемо, як там козенята грають –
        поплавками безтурботно на плямистих хвилях –
нарвемо їм солодкої травиці –
        біля цвинтаря трава зеленіша.

Бачиш – ти прим'яла споришик,
 притоптала малий подорожник –
а вони піднялися й радіють –
 ніби їх не зірвуть сьогодні
ось і ти, дитя моє, тішся –
 щодня, як трава весела.

Адже у бога кишеньок не злічити,
 у кожній – маленьке світло,
в тому світлі – липа розлога, облита утішним світлом,
як риба-ніч пилком самоцвітним –
 і в кожній квітковій колисці –
 гойдається диво найдивніше,
таке, що й уявити годі, і чекати – життя не стачить...
А ти собі тішся, Оленице, –
 знайдеться й для тебе гостинчик.

Я прокинулась – а бабуні немає,
 винесли бабуню із двору, під солодку траву поклали...
а плакати більше й не хотілось –
 ніби тихо-тихо – а чути,
як липа довкола квітне
 цвітом нетутешньої втіхи, радощів безкорисних –
для найслабшого дихання світу,
 для найменшого козеняти...

А більшого й просити не можна
ніколи – солодшого і бути не може –
діставати кожен день з-під подушки
як розкришений дарунок від зайця...

* * *

Коли апостол андрій та олена зводили колізей,
Їхні очі були сумні, а рухи гострі й легкі –
Візьмімо, кажуть, цю цеглу, і зброю, і цих людей –
І підем туди, за місто, на інший берег ріки.
Адже ніщо не палає так ясно, як щойно пролита кров,
Ніщо не триває так довго, як ненависть і війна –
Візьмімо ці танки й сокири, віруси й бомби – хто з чим прийшов –
І рушимо далі, де тібр тече, де євфрат.
От вони йшли, не спиняючись – їх обганяли роки,
Лущилось сонце іржаве – і місяць лляний вицвітав.
Тільки пустеля незмінно метала ікру пісків,
Ніби вона рибина. Ніби небо – метал.

Назустріч ступала непам'ять, наче орда німа,
І воїни підкорялись, і забували вщерть –
Імена спочатку коханих. Тоді – ворогів імена.
Імена тих, хто завдав їм рани. Потому – тих, кому вони заподіяли смерть...
Імена спраги і ненависті, голоду і вини
Імена крові – найдовше,
Залежні від віку, статі, пори року та натільних джерел...
Останнім – зійшло забуття великого ймення війни,
І вони зупинились. На древку зогнив орел,
Штандарти, гармати і шаблі – увесь цей тлін
Нагий, безіменний, сірий, потрібний – нащо? Кому?
І тут підійшла трава і стала вище колін.
Трава лягла в їхні руки, як безневинна зброя,
Трава проросла у їхні серця –
і лишила злоту безшелесну тьму...

Коли апостол андрій і олена завершили свій похід –
не озирнулись. Не скрикнули, не розімкнули рук
за ними зелене море виходило з берегів,
затікаючи в кожну долоню,
завершуючи кожну війну...

В СВЕТЕ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

«с трудом переношу свет настольной лампы,
он слишком желтый и с детства «не к счастью».
Г.П.

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ...» КЛАССИКА?

Любовь. Это когда мне десять лет. А сестре пятнадцать. Я готова чистить вместо нее рыбу. Черно-коричневые толстые бычки с наростами на голове. Шершавые. Воняют. В них есть кровь! Вырезаю пузики. Бегу в ванную. Блюю. И опять... кишки липнут, черт, черт! Слава Богу, не сестра это делает. Вернется с работы мама – а все уже сделано. Она ...на меня не подумает.

До вечера руки воняют рыбой.

Потом стирка. Трусики сестры, испачканные кровью. Недоумение – почему? Почти догадалась про взрослое. Страшно, хочу отстирать навсегда. Не получается. Выбрасываю в мусор. Бормочу: «кровь – любовь, кровь – любовь». Первая в жизни рифма. Плохая. Классическая.

Любовь всегда пахнет рыбой.

ЧИСТОЕ МЕСТО

С моей бабушкой Лелей я познакомилась, не знаю когда. Когда у неё ещё не было холодильника. Просыпаюсь как-то утром, жарко. Грюканье кастрюльки. Иду на кухню. Бабушка говорит: «Сейчас блинчики будут. Пойди в чистое место, принеси масло. Оно в литровой банке. Сонная, ищу чистое место. По пути захожу пописать. В унитазе стоит банка. С маслом к блинчикам. Бегу, кричу: «Ты же медсестра, нельзя, нельзя!» А она спокойно: «Это у тебя в голове нельзя. А в жизни можно. Там вода подтекает, место чистое, прохладное. Твое чувство брезгливости ошибается. Ты ему объясни, что банка стеклянная, защищает масло, блинчикам будет свежо, а не прогоркло. Сама подумай».

* * *

С этого всего и началось во мне развитие парадоксального мышления.

И теперь я разговариваю со своей брезгливостью, гневом, правдой жизни, а не борюсь. Но от этого я разогреваюсь, как атомный реактор. Задача – уследить за уровнем тепла, выдаваемого окружающим. Чтобы не ожечь, если зашкалит. Рыба, трусики и масло в унитазе меня зашкалили.

ПО СЕКРЕТУ ОТ МАМЫ

Правда жизни вызывает во мне отвращение. Лучше бы моей мамой была бабушка. После общения с бабушкой я делала генеральную уборку, училась на «хорошо» и «отлично», жёсткой мокрой рукавицей обтиралась и матных слов не говорила. После общения с мамой я убегала из дому. Особенно замуж. Но замужняя жизнь, как и жизнь с мамой, сплошные ошибки и неконструктивна. Лучше бы я вышла замуж за бабушку. Рядом с бабушкой – всего хотелось.

О СМЫСЛЕ ТВОРЧЕСТВА

У меня двойная бухгалтерия, двойная жизнь. Потому что вокруг много свинства. Мне хочется из него вырезать кусочек ветчины. В переводе на обычный язык это звучит так: «фигнёй не мучайся, давай о хорошем».

Я человек верующий. Я верю в Бога и знаю, что Бог тоже верующий. Он верит в меня.

Я к нему стремлюсь, а Он находится всегда там, где надо. Главное, не обижаться, если что-то не совпало. Но у меня плохо получается. И когда обижают, мне хочется дать в морду. И я даю. Испытывая сладкое чувство вот, защитила, себя, дуру. Нет чтобы спокойной быть, медленно разогреваясь, как атомный реактор. Знаю ведь, как надо теплотой отвечать на прикосновение жизни. Теплотой, жаром. Не западая на эти самые прикосновения. Увы. Западаю. А бабушки рядом нет...

Мама, мужья и дети и есть самое главное прикосновение жизни, от которого спасает только жар.

Из жара я пишу, слова помогают регулировать теплоотдачу. Регулирую градусы. Тексты превращаю в печатные. Тоже мне вопрос – в чем смысл творчества? Кровь – любовь. И ничего больше.

О ПРАВДОМОТСТВЕ

Говорили: «Скажи правду, и я тебя прощу». Гадость какая. Ежу понятно, чего она стоит, правда. Да подите вы все, правдомоты, искатели. Читайте меня. Нравится? Потому что свое узнаете. Вот она, правда: «О, как срамна любовь земная. И ты такой, и я такая». Дальше про то, что «Нас в мир послала обезьяна, а Бог ничем не обязал». Такие вот плохие стихи хорошего поэта Чичибабина. Я хотела ему это сказать, но он так громкал голосом, что не решилась.

В детстве я подолгу смотрела в зеркало – искала маму, папу и обезьяну. Про мысли Дарвина узнала. Никого не находила в отражении, кроме себя. И решила, пусть они как хотят, а я сама по себе. Вон у меня глаза светятся всегда узнаваемо: радостью и любопытством. При чем тут мама и папа, они вообще привычно шутили, что меня подменили в роддоме.

Мне эта их шуточка дорого стоила. Я начала сомневаться. И это были мои первые в жизни сомнения. Кто из нас чей? Мучительное состояние. Я захотела правды.

И добивалась. У моих родителей по ночам кровать не скрипела. Они больше не делали детей. Может быть, я вообще подкидыш! Больше правды не ищу. Однозначности нет. Есть Бог. Какая разница, кто меня родил, мама с папой, обезьяна? Когда Бог есть. Если Он есть. А если нет?

Мне не наплевать, но сомнения мучают – с легкой руки мамы и папы. Во всем. И это непоправимо.

АЛЬТЕРНАТИВА

Влюбленные меня всегда интересовали. Я приставала с вопросами к тем, кто жил в любви. То есть в семье. Я знала, продолжение любви – свадьба, дети, один обязательно Иван – дурак, всех спасающий. Если же нет в семье дурака, то есть старуха с разбитым корытом, дед альтруист с честностью, которая хуже сами чего знаете, и правдой жизни, все за неё друг с другом борются. А обретя – ненавидят, или прощают великодушно, прежде семь шкур спустив. Или убивают.

Правда – твой кусочек ветчины из всеобщего свинства. И стоит задуматься, а не простить ли всех прочих за их ветчину? Или – убить за свинства?

Когда я в себе обнаружила желание знать правду другого человека, я стала несчастной и агрессивной.

Все ходят в гости по утрам и поступают мудро. Сжирают эту самую «ветчину». И мою придут и сожрут. Будет такой пир во время моей чумы. Так отчего же я пишу эти песни? Мне опять захотелось правды, и я метну её свиньям?

Читающий, если ты раздражился за свинью, то ты мне и не нужен. Брось, не читай. Не жри мой кусочек, он тебе – без пользы.

Ну а если ты интересу для – то, мил друг, прости.

О НЕОДНОЗНАЧНОСТИ

Он сумасшедший или гад? Он, мой маленький, грибочками пахнущий. Ночью пошла посмотреть, как спит, одеяло поправить – он брыкается во сне. Забыла, что последние ночи спит, не раздеваясь, завернувшись в ковер. А сегодня... вообще его там не лежит. Брожу по спящей квартире. Нигде его нет. Иду на улицу. Осень. Двор пуст, в центре высокий орех. Под деревом старая ванна. В ванне лежит сын. Пьет шампанское. Разговаривает по мобильнику. Сухой ореховый лист планирует и падает. Сын говорит:

– Уйди, женщина!

Я, сквозь красоту абсурда, ору:

– Я не женщина тебе, я – мама!

– Плюнь мне в глаза, – спокойно отвечает, – если ты мужчина.

Гад, однозначно решаю. Гад. Но помню, что, к ужасу моему, нет ничего однозначного. Сумасшедший гад!

И куда мне деться от страшной любви к нему? От жалости и тоски. Вот звонок у нас дверной не снаружи, как у всех, а внутри квартиры. Сын смеется:

– Так ведь лучше звонить, уходя, а не возвращаясь! Впрочем, и вернувшись можно, если очень хочется, только смешно – ждать, чтобы впустили в собственный дом. Прочие пусть стучат. Чтобы им отворили...

Пьёт.

– Я, – говорит, – стянул у тебя деньги. Думал, не заметишь, как раньше. Молодец! Надо же было тебя как-то научить обращению с деньгами. Пропил я их. И ладан купил, чтобы нечисть из дома выкурить.

– Кто, – спрашиваю, – нечисть?

– Тс-сс! И пальцем повел – ещё осталась! Внимания не привлекай. – А в руке стакан с «отверткой». Какие гайки он в себе отвинчивает? Ох, плохо все кончится. Однозначно. Только горе в моей жизни однозначно.

УСТРОЙСТВО МИРА

Взрослой я стала в тот момент, когда муж взял настольную лампу и посмотрел, как я устроена. А я уже родила ему сына, и он сопел здесь же, в коляске у окошка.

Вдруг поняла, что я жена и мать. А муж – юный натуралист. И у нас не совпадают интересы. Мне не хотелось посмотреть, как мужчины внутри устроены. Внешние проявления казались важнее.

Когда наш сын получил в подарок первую машину, то, повертев ее, сказал:

– Машина? Новая? Буду ломать.

Теперь у нас появился внук, и, даря ему машину, я постаралась, чтобы она была очень большая. Чтобы легче было посмотреть, как устроена. Может быть, не придется ломать? Надеюсь, что наш сын и наш внук обойдутся без настольной лампы, не станут выяснять, как устроена жизнь в глубине, где таят глубину. Впрочем, как им угодно. Но мне тогда это очень не понравилось. На мне учились женщине. А хотелось любви. После меня у мужа были другие женщины. Вероятно, они внутри устроены несколько иначе. Поэтому я их рядом с ним не вижу, воистину – лучшее враг хорошего! Он в вечном поиске!

В глянцевом журнале для деловых мужчин написали, что «Первая жена была слишком сложной для него женщиной. Брак был недолгим». А отношения, которые браком назвать нельзя, длятся всю жизнь.

Свет настольной лампы мягко освещает рукопись. Но светлее она не становится.

«Я СКАЖУ, ЧТО ЭТО ЛЮБОВЬ БЫЛА. ПОСМОТРИТЕ НА ЕЁ ДЕЛА...»

Б.О.

Куда мы лезем? Это дыра? Мы окажемся где? Не ползи на меня, не наползай! Когда долезем – что станем делать? Лю-би-мый!

Сквозь тоннель золотого берега мы пробираемся к выходу. Море вопит внизу о радости бытия.

А я... тогда висела над твоим письменным столом, мордой в стенку. Был не мой день. Был день Че Гевары. Мы с ним затылком к затылку заключены были в общую рамку. Я переверну его мордой в стенку, когда мы вернемся с нашего праздника любви. Он случился потому, что я соблазнила тебя, отвлекла от революции. Увезла на побережье. И ты наполз на меня, как улитка, как черепаха, как слон на кита. Кто кого сборет? Кто – кого?!

Милый! Я одарила тебя адом, в который ты ввёл меня, поглаживая по совсем беременному животу, целуя запрокинутое лицо моё, глаза. А глаза косили на письменный стол, где американский солдат приставил пистолет к животу беременной вьетнамки. Я увидела в момент поцелуя твою картинку под стеклом и упала в обморок. А ты думал – от счастья?

Ты был известный враль и воришка. Врал на всякий случай и не всегда в свое удовольствие. Врал впрок. Я привыкла жить во лжи и терялась, когда пытались «Жить не по лжи». В предлагаемой жизни «не по лжи» не было самодостаточности. Разве Солженицын в своей жизни – самодостаточен?

Ты совершал поступки для тебя странные, например, дарил цветы. На мой день рождения – ободрал клумбы возле обкома партии, и некуда было ногу поставить в комнате, по которой в банках, вазах, тазиках и кастрюлях цвели розы. Я была счастлива!

Ты подарил мне книжку Цветаевой, ни у кого такой не было. Мне завидовали. Потом приехала твоя новая жена, провела пальчиком по корешку:

– Привет, тезка! Так вот ты где! А я искала тебя на своей полке.

Сходное чувство испытала я в доме, где мой маленький Будда стоял в чужом шкафу, и чужая женщина, что одарила тебя раем, проследив за взглядом, протянула Будду мне:

– Неужели твой? Он мне его на счастье подарил! А ему ты подарила?

– На счастье... – сказала растерявшись.

– Получилось! – ответила она радостно.

Это было в доме, где тебя арестовали.

ИЗ НЕНОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Бутылка всегда наполовину пуста, ведь не бывает наполовину полной бутылки, как не бывает наполовину еврея или наполовину подлеца в нормальной жизни. А поскольку жизнь не нормальна, многое допустимо. В том числе и полуукраинцы, и полуневежды, они – полупрекрасные люди, полуженщины, и полумужчины, и вообще «дробные величины».

Люди живут, не задумываясь о тонкостях, и можно сказать – все в порядке! Если бы не норма. А когда-нибудь и норма «станет полной, наконец», для тех, кто живет с надеждой, – с надеждой ведь тоже не все в порядке! Надеются или храбрые, или глупые. Знающие не верят, не надеются, может быть, и не любят. Они печалуются. И ежатся, словно замерзли.

Знающие мужественны, только – грешные. Широкие в жизни. Это трудно для близких, они, страдая, сузить хотят.

А я люблю свободу. Придумала, что во мне разные субличности. Но, знакомые друг с другом, они не понимают, как перепрыг из одной в другую происходит. Поэтому (обязательно можно)! – жить разные жизни.

Я знаю теперь, что в жизни всегда есть место для жизней. Мы ведь не одну проживаем, пока живем. И они не линейно расположены, могут и в разных плоскостях.

Человек быстрых реакций, я слежу за переключением скоростей. И, соблюдая технику безопасности, избегаю столкновения миров.

Выжидаю годами, подстерегая удачу. Я из нападающих, и не люблю защищаться. Нападая, можно проявить великодушие, не напасть. Защищаясь – никогда!

К старости я разлюблю драку.

А глаза у меня поздно прорезались. Думала, что все любят. Оказалось, нет. И – не научить любви! После двадцати, с любовью было решительно покончено. Какая любовь, какие французские романы, «Красное и черное», «Милый друг», мансы – обжимансы с мальчиками, когда на Вацлавской площади – советские танки. И мои ровесники гусеницами по таким вот как я, курносым и тонкоруким. А папы, бывшего на этой же площади в 1945, уже нет нигде, не скажет, что это было?

Голумбиевская Аня, тихая и толстая – вышла протестовать у памятника Пушкину, с какой-то Розой. И еще с какими-то тремя инаковыми (не такими, как все прочие в 1968 году.) Я недавно из Праги вернулась, так там, на месте, где девочку с мальчиком наши по площади размазали – чехи памятник поставили, к которому наклониться нужно. Потому что он до колена. Чтобы каждый поклонился! Березовый крест с венком из колючей проволоки. – А я люблю эту ужасную страну, которой больше нет. СССР называлась.

Но эта любовная песня для иного дыхания.

ВСЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ

Лысенький. Нос крючком. Говорит – у меня уже не стоит. Но хочется. Собственно, даже не знаю, семь лет назад это было... а сейчас – просто не знаю. Ну и что, что восемьдесят два. Вот у тебя глаза русалочьи, и мне своих не отвести. Заворожила. Умница. Полежи со мной. Разденься и полежи. Давай помогу, рыбонька.

Интересно, думаю. А если бы у него – глаза, как у Ихтиандра, и стояло, как в двадцать три, а мне – восемьдесят два, и сиськи как авоськи на гвоздике – он бы – полежал со мной? Но вслух жалко произнести, – по руке погладила:

– Не хочется, – ответила.

– Да отчего же – не хочется? Мне вот ведь очень хочется!

Пили сухое красное, сыром заедали. Расстались дружески, стихов на год вперед начитавшись.

Потом долго мылась под душем, смывала старость. Какая же сволочь я – как за дверь, так мочалка с мылом и – ужас, ужас! А в гости опять пойду.

Он спрашивает:

– Почему пришла? Будешь подружкой? Я таблетки какие-то попью, таблетки специальные есть. И все получиться может. Но, – добавил, – жалко на это действо энергию тратить. Лучше стихи написать, или картину. Время мое кончается. Времени мало. А ты как думаешь?

А я ничего не думаю. Зачем же прихожу к нему?

Это – любовь.

ПАВЛОВ И ЕГО МАМА

День, похожий на стакан с недопитым кефиром, встретил Павлова на скользкой ступеньке вагона мокрым холодом и об руку повел домой.

Павлов вернулся из командировки злой и голодный. Добравшись к дому, обомлел: окна темные, мертвое молчание. Дверь парадной сорвана.

«Света нет, – подумал, – свечки нет, спички неизвестно где...»

Развернулся и пошел к Лиде.

Лида открыла дверь, накормила Павлова, засунула в ванну. И ни слова не промолвила.

Чистый и сытый Павлов уставился на Лиду – она молча указала на диван и ушла в другую комнату.

Утром Павлов нашел на кухне завтрак под салфеткой и записку: «Поешь и уходи. И не приходи никогда».

Павлов поел и ушел. Думать, что жизнь не удалась, было мучительно.

Открыв дверь коммуналки, Павлов обнаружил, что в квартире никого нет. И ничего нет. Только закрытая комната поджидала не съехавшего вовремя хозяина, да на общей кухне остались его стол, стул и чайник на уже раскуроченной кем-то плите. Прямо на полу стоял стакан из-под кефира, от него скверно пахло.

Еще неделю в сосредоточенном отчаянии жил Павлов в опустевшем доме. Потом сходил в ЖЭК.

После этого тихо и потерянно прожил еще восемь месяцев. Дом рушился – сами собой выпадали, раскалываясь, стекла, с треском отскакивали обои, куда-то исчезали батареи отопления, краны...

Мир забыл о Павлове. Никто не приходил, не стучал в двери. Не звонил по телефону, который почему-то продолжал работать. Впрочем, Павлов не пользовался им.

Так что вроде и телефона не было, как не было электричества, газа, соседей, Лиды...

Павлов рассматривал отражение в зеркале: седой, мешки под глазами...Сердце и почки – все полетело, тело стало рыхлым, и вены на ногах... Расстроился, лёг лицом в стену. Не брился уже три дня... нет, пять. «И не буду», – решил, засыпая.

Проснулся оттого, что ничего не снилось. От пустоты в себе проснулся.

Вот в этот момент в дверь и постучали.

Вставил ноги в разболтанные тапочки. Повернул ключ, толкнул дверь. От двери, открывшейся наружу, кто-то отпрянул. «Всегда приходится отскакивать», – почти равнодушно подумал Павлов.

За порогом стояла мама.

– Мама... – сказал Павлов и заплакал.

Мама вошла, походила по комнате и легла на еще теплую от Павлова постель.

И Павлов понял, что пора сдаваться.

Он снял телефонную трубку, но опоздал. Гудка не было.

Мама лежала тихо, не шевелясь. Он боялся рукой потрогать, но все-таки потрогал. Ничего не случилось.

Павлов просидел возле кровати на стуле до глубокой ночи.

И всю ночь сидел на стуле возле неподвижно лежащей мамы, которая светилась, как керосиновая лампа из детства. Он представил эту лампу с маленьким колесиком в зазубринках и на штырьке, чтобы регулировать яркость, и пальцы его шевельнулись, подкрутив... Мама погасла.

За окном медленно светало. Павлов решительно ни о чем не думал. Не побрился. Ушёл на работу вовремя.

Все спрашивали – что это он, бороду запускает? Павлов молчал. Поработал до обеда. А в обед побежал домой, распахнул дверь...

Мама жарила блины на Бог весть откуда взявшейся керосинке. Накормила его блинами и чай подала в комнату.

Погладила по голове воздушной рукой, словно обдала ветерком из горячего фена...

И Павлов затосковал люто и безысходно.

Купил водки, напился.

Мама всю ночь сидела рядом с ним, как он тогда, когда она вернулась, откуда не возвращаются.

Проснувшись, Павлов наткнулся взглядом на стакан рассола в маминой руке.

Он даже не пытался разговаривать, не трогал её больше. Она к нему иногда прикасалась, по голове гладила.

Больше с постели Павлов не поднимался...

Его нашли в понедельник, в полдень. Рядом с кроватью Павлова сидела старая женщина. Когда её попытались поднять со стула, она исчезла.

Тихого и бородатого Павлова, не отвечающего на вопросы, отправили в психиатрическую.

Поскольку Павлов объяснить про женщину ничего не мог, кроме того, что это его мама (собственно, он и этого не объяснял, просто звал ее : «мама», «мама»), – а куда она делась – про это ничего не решили, зная, что маму Павлов похоронил лет десять тому.

Так и осталось невыясненным: что за женщина сидела рядом с выпавшим из ума Павловым, куда вдруг делась? Что вообще произошло с человеком?

...Как будто кто-то, в самом деле, может ответить на подобные вопросы...

2

– Прощайте, улыбнулась я доктору.

– До встречи, – ответил он.

...Я подумала, дописав рассказ: почему Павлов, а не Петров или Сидоров? Почему «выпал из ума», а не «вошел в другой»? И поехала в психиатрическую.

– Да, – ответили в регистратуре. – Павлов лежит у нас в отделении. Обратитесь в ординаторскую к лечащему врачу.

Доктор спросил:

– А кто вы ему?

Ответила:

– Автор.

...Рассказ о Павлове и его маме доктор выслушал молча. Тоже удивился, почему Павлов:

– Вы что, все-таки знаете его?

– Нет. Покажите мне Павлова. Можно с ним поговорить?

У доктора взгляд стал странным, как-то рассеялся.

– Павлов аутичен, ну, не совсем контактен, – сказал он. – Вы не сможете с ним поговорить. А описали вы его правильно. Он узнаваем – идемте, покажу. Мне не кажется, что вы морочите меня.

И мы пошли к Павлову.

В большой многоместной палате возле окна лежал мой Павлов. Рядом с кроватью стоял стул.

– Стул мы не убираем, больной подолгу на него смотрит и нервничает, если стул передвинуть.

Павлов повернул голову и посмотрел на стул. Пальцы его зашевелились.

– Колесико крутит, – задумчиво произнес доктор. – Я все думал, что он делает, оказывается, фитилек лампы подкручивает, той, из детства...

Над стулом появилось свечение. Чем активнее подкручивали пальцы Павлова пустоту, тем ярче становилось свечение, пока не проявился контур сидящей женщины.

Мы с доктором посмотрели друг на друга. А потом на Павлова.

Павлов отвернулся к окну. За окном сгущались сумерки. В палате темнело.

– Я думаю...

Но доктор прервал меня:

– Не думайте.

И, помолчав:

– Мой вам совет. И не пишите.

ВДОЛЬ ТЕХ БЕЗДОННЫХ ЛЕТ

Александр САМАРЦЕВ

* * *

«Суетись не суетись – без надежд надежней» –
лирик он же эссеист рухнул за таможней
поле черное обвел и сквозь хмель продолжил:

«Бога ими не толкай – и тебя вспомянут
буремглойный Николай ворон ли в бурьянах» –
но покуда шла в степи баз проверка данных

как добылся черный спирт? агнца где мотало?
Клял он Кельн в котором спит Киев – где сметана
будто бил псалмом Давид Карлоса Сантана:

«СтаканЫ вы стаканЫ из глуши трезвлёной
наберемся пацаны безграничной Зоной» –
(я ж его жениться вёз от жены законной

слово дав ей на цепи довезти до места
глаз да глаз – давай не спи! – жалость неизвестна
потому как степь да степь алкашу невеста

и пока в проходе он трупом прохлаждался
шляху Млечному бросал два своих гражданства
из девятых из кругов к Данту вырывался

что мне – думал в кресле я – зрячая планида?
Песен где моя семья на плечах Давида?
на плотах сквозь водопад скатертна сердита

где? – ведь нет семьи простой с полотенцем общим
эх! – с гладильною доской с парусом и кормчим
мной была бы я – тобой не разлей не морщи

стрЕлок и на шею рук теплых низачемно
мед юлой колечком лук – слезное крещендо –
тьмой рассветного луча вьешься возвращенка

...Так соседями зажат и маршрутным игом
корчусь а блаженный гад овощ всё нас двигал
к матерям – и кто бы пнул кто б заткнул кто б выдал
полынье промежду жён финишной же стуже
– падай! – не даю смешон ведь не он мне нужен –
долг тупой тупее льда перегарней хуже

может больше никому – осью и опорой
от его проклятий жму зубы как на голой
сцене как мотнёт Коран уязвленный Торой

без надежд не суетя и без их диктата
иисусово дитя вспыхни «нас багато»
хоть едва ли понимайт чем такое свято

ЛЛОРЕТ ДЕ МАР

Автобус ночью – ни границ ни пробок –
из плеера капричиозо рондо
дар разве он убог когда негромок
чуть смутен а что смутно то народно
поспорь – и расступились Пиренеи
на всё про всё под яблочным фламенко –
в старинной школе так на перемене
по кафелю скользим но здесь маненько
спектр упрощен до розовой Риохи
рассветом выясненья отношений
мементо морем втягивая крохи
к ногам сползает горизонт нашейный
Плодись над пляжем винтовое семя!
Уже ноябрь попрятались крольчата
бетон с фонтаном почему не в теме?
Я тоже Лорке предпочту Мачадо
не сердцевину плача и разрыва
а рюкзаки вприпрыжку за портфелем
мертвелых ставен линия строптива
кому вставлять записку? где прострелян
модерном коридор в тупик барочный?
Родня кровями черенку змеёныш
от сотворенья оба непорочны –
срезая кожуру лишь повод множишь

колодец рыть под тоненьким балконом
нектарно растекаясь о бензине
уступ к уступу в чреве колокольном
напрасные возвраты тёмно-сини
к полоске мела вывернутой суслом
Добро бы так сосед – а мы о грустном
и чокнувшись судьбою полигамной
по яблоку накатим амальгамой
Маяча мозг спинной в ту землю вмою
на всё про всё одна лишь мышца слева
отель подвяжет плоскою горою
как будто бы нарочно снятой с неба

* * *

Полив захлебнулся из шланга чихнуло «чах-чах»
за лесом шасси выпускает серебряный Боинг
кто в чертополохе завяз кто поржать алкоголик –
на трех – и трава и работа – ясны языках
Дай красному гимну дохнуть на залетном фарси
от сербского с русским кислинка под кёльш ежевичный
измором священным забором ощерься прости
но этой молитвой но этой щадящей жарищей
истрачена влага росе наваждений вдогон
гусей горделивому страху и кроличьей воли
о «блуде труда» перекинемся гунны в пинг-понг
еще б мы не беженцы – нас бы сквозь пальцы пололи
но долгому сердцу зажмурясь в распыл предстоя
но гимну что пел под черешней Реза соль безвредна
ведет на посадку сорняк занебесные недра
и счастья не рубит его выхлопная струя

1996

* * *

М. М.

Дуновеньем сухумским – фрагмент хребта
из проема полуоткрытого
Есть в обмане калитка не заперта
маслом жалящим эвкалиптово
Там за нею синица к столам орлиц
и к восшествию вентилятора
просочилась – шлейф от морей смолист –
пеклом тем же и перепрятана
Мы теперь пируем – поводья прочь! –
тайный кесарь сморгни от скромности
воздавая тостом как липнет скотч
всем разлукам – и тем что вскорости
прососут ходы в гимне золотом
нарезаючи по касательной
на воротах Мусорных желобком
крест с безропотною козлятиной
От шести углов да за пятый пункт
вновь и вновь масла невечерние –
паутиной к выходу солнце ткут
буйноствольные виночерпии

Иерусалим, август 1998

* * *

Спящего – солнце жалит
с кем я ночь пережил
это лоза и ольшаник
скрученные в инжир –
их из ведра пустого
или вновь через край
схватка взойдя в Красково
дразнится: «Обсыхай!»
Сетью бликов от цинка
обескровив лучи
как муравьи тихо-тихо
вяжут кричи не кричи
дачу на курьем поддоне
мох пёсьих цепей
высохни всё что утонет
жёванней земляней
Ягодный срез серёжек
брызг наливной овал
их войною я прожит
а иначе б узнал
про свои неотсыпно
те же с хвостиком три?
В перегнойном «спасибо»
сырость камня «умри»
Но проснуться мешая
перочинной лозой
вскрыта влага смешная
да и нет никакой
если солнце затенькает
в корень и за ушко
возраст на четвереньках
а сраженье ушло

ПОТОМУ ЧТО И НОЧЬЮ

У истока дороги Военно-Грузинской
длинноухий упрямец остался один
его тоже холера взяла в карантин
привязала к столбу – он Высоцкого с «Зинкой»
как терпел как мычал на балконы косясь!
С нами бог тех пиров та дырявая власть
но душа и копытцам глухим не чужая –
отмотался аркан и на волю – хренась!

Банку из-под сгущенки пустую швыряя
в соловьиное логово – где же вась-вась?
где по кругу плутавший настырный ревун
от его ли прыжков изжелтела чинара?
Вроде пили не слишком и чисто без лун
отчего же торчим и торчим здесь не пара
убежденному ветру воды бурдюку
если горе-кордоны дырявы бессрочны
а пахнет хачапури – прощайте ку-ку!
Ночью? Нет не сбегу Потому что и ночью
изваянья в погонах считали до ста
к табуретам прилипшие и к минералке
при распахнутых ртах сон во сне сон без сна
видно вместе судьба дожидаться осла
где застрял дорогой? где твой колышек жалкий?

1977

КАССЕЛЬ, ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА

Очкаст планшет в фуражке при квитках
честь отдает нам цирк благополучный
кусается компостер однозвучный
полуоглохшим «битте» «гутен таг»
«яволь» – усы фельдфебель-керубино
(сюда б еще картинное «вах-вах»)
а мы? нас двое слитых воедино
без слов забот и непонятно как
Изревновался – чахнет – разреши
студенту пострадать – да! мы жестоки
к Лже-Вертеру – сам был им от души –
но все-таки полегче с караоке
Штанину теребит наш визави
расписан по стыдливому фарфору
и этой краски все-таки возьми
откуда знаем что там ляжет впору?
Юнцы-жирафы (рюкзачье горбом)
ошпаренные как из дискотеки
на пересадку ломанут – сойдем?
Опаздывать – так сразу и навеки
Ступени вниз еще еще восход
до горизонта с рамою летучей
нет у нее опоры кто ж разлучит
с таким обманом и гнездо совьёт
прижавшимся поверх частицы «бы»?
Сталь стекол изгибается атласно
выдавливая бюргерское масло

в румяный день Защитника Судьбы
Но этот фокус – рама над землей –
прикрыл мечту взять паузу от чуда
студент залюбовался – сглазил – сдута
ирония – верни нас и умой
Нет цели быть непонятым двойным
доверясь ожиданию сухому
прозрачен местный колокольный дым
деленный на вокзал и тягу к дому
за первым ложно прячется второй
матрешка святцам от руки в реестре
и рама нам стальная – аналой
нет повести конечней и воскресней

1999, 23 февраля

* * *

В школу торопят Заело пенал
Терминал Перегружен лифт
Вырываюсь в язык – обнял или заклял?
Нет идей – где же та что растлит?
«Чуешь?» Чую Тарас! Тяжек трос
Мати мати не плачь! – примощусь на углу
Не дал Бог простоты – но пророс
и люблю (усмехнулись) Люблю

2001

* * *

То лиловы то скользки грозой одинаковой
вьются молний мальки – я черпну их панамкой
а еще бы сорвать «Огоньковского» Бунина гроздь
бузины с той обложки (в асбест не обмакивай) –
жгусь но чтобы сошлось
круговою порукою
у 2-й ли Тверской да Ямской разномастной родни возле Кукольного
за кефиром чесать языки кто зевая сбежится
кто поддеть дорогого внучатого ландышем ситца –
водружая на стул головой в абажур
все ли сбудется пусть расскажу:
в треть накала подъезд освещен при параде
на щербатых ступеньках развернут сожженный Рейхстаг
а преград не имеющий наш лепрозорий умыт как детсад
но пивною соседней украден
под копирку союзом залейся – и старт!

...Нет границ новоделам а пене и в кружках не тесно
хоть на воле бок о бок пивная раздула шатры
бузина с той обложки хранит страшный отзвук асбеста
трёшь её не загасишь – по-бунински жгучи остры
узелковые ткани в прицел дальнозорких диоптрий
под землёй же очкарик улыбкой вагона расплавив края
между «Соколом» и «Маяковской» суровую маму кадря
запрокинутые их головы аэростаты и парашютов десяток неробкий
обвивают с мозаик чтоб всё унаследовал я –
не одни только гланды волной и тревожные бронхи
к этим легким изгнаньям присажен модерн-примитив
оплетая посадкою тускло горящее вышнее место
рыбок-молний панамкой еще прихватив
в ласко-ласковом и лиловато-асбестовом

2008

ПО ДОРОГЕ НА ПОЗИЦИЮ

От пота заскулит скула
бьет по бедру приклад
Дорога вязкая кругла
и ты в неё как вмят
Упал – накрыл (ни тпру ни ну)
с проплешинами луг
где одуванчики войну
рассыпали невдруг
Но вот сминая нежный взрыв
– невиннее нельзя –
взвод отряхнулся значит жив
зашаркала кирза
И все навытяжку стоит
вдоль тех бездонных лет
мальчишьи стриженый старик
босой как в стельку дед
...Пыль отвердела запеклась
а он – прошли – все видит нас
удушью поперек
за пухом пух за разом раз
вниз по щекам – от слабых глаз
дорогой всех дорог

1971, 1995

МЕЖ БЕРЕГОВ

На корме коснемся спинами
узнавая как рябиновы
а еще и зеленей
от зари
от дизелей
посреди стремнины вспененной
теснотой того мгновения
жмурясь
чтобы не гасить
брызжущую ненасыть
Брызг тепла и ветра –
натрое
повязалось невозвратное
цепью бакенов красно
скручивая волокно
знать зачем теперь – возможны ли
отпускаемые ложные
нити
позвонков прочней
тьма очнись – и мы над ней

ЕВГ. ЛЕСИНУ

Оккупируем скамейку даже ноги не поджав
словно АБВГДейку на пивасе и коржах
не евреи не прибалты а в законе москали
нас не выжрешь из-под палки (разве малость подсоли)
Налетались и присели отдыхая головой
не бродяги не персеи примус чиним не впервой
этот ж наш бульвар проклятый башням пусто ночь нежна
двухголовые орляты Кафку пьют из Шукшина
прям-таки сосут утробно а на выходе закон
про нетронутые ребра если куришь но тайком
Патриаршее корыто Чистым тоже не указ
там Ерема читто-гритто здесь – хэрэ топить Кавказ!
Мы здесь власть? прими в трахею кто не спрятался – ау!
– место я не отогрею но пластмассовый – порву

ИЗ «ДНЕВНЫМ ЭКСПРЕССОМ»

3.

Море хладное отступит
от пустого маяка
Что ж как сальто на батуте
прочь – отвага коротка?
С этим блеском не сложусь
но и вычет зреет слабо
Жди меня ты где Мисюсь?
– воскресенье у завлаба
Серый день наш в декабре
на скамье в оранжерее –
потеснились пожалели
кто мол мне? кто я тебе?
Переглянутся в тепле
три блокадницы и вне
Росси Лиговка Растрелли
Дальше кто? Кто кто ты мне
Отступить ли в самом деле

6.

Этот двор накликанный
и сугроб нашептанный
и морозец шелковый
на разрыв испытанный
Голос мой насмешливый
и приезд непрошеный
примешь все как должное
примешь делать нечего

Свитком пара чайного
развернулось прошлое
только не прочтешь его
а ничего ведь не было
ни заплыва с брызгами
ни тропы инжировой
и зачем все ниже ты
опускаешь голову

на дворцовом севере
ты еще смиреннее
и еще шелковее
перед кем виновная
нежная ирония
что нам эти проводы
скатертью безбрежною
через двор накликанный
сквозь сугроб нашептанный
до отказа полного
до гудка бездомного
до забвенья чистого

* * *

Ю.

Мысль изреченная есть Маркс
а Маркс – наружу гордый Фройд
китовы недра этих касс
морозцем вмятые в народ
он стоя по вагонам спит
год как слизнуло языком
Я просто перенес мой скит
на холм дарёный за Днепром
Я просто… впрочем с дрожью дрожь
ей слаще именно в толпе
родных всё более и сплошь
мы не погибнем о тебе
состав извилистый как фронт
свой усилитель кобзари
пригнув – нас переходят вброд
нас – это нас здесь все свои
Звони! Без этого мертветь
да не вопрос и не масштаб
догадывайся что и впредь
хотя бы веруй что могла б

СЛЫШИШЬ – ВРЕМЯ ШУРШИТ ПО ПЕСКУ ИСПЕЩРЁННОЙ ЗМЕЁЙ...

Семен Абрамович

ПСЕВДОМОРФОЗА

В цветущем дереве бурлит весна,
Жар солнца пьет сияющая крона.
Равнина, пробудившись ото сна,
Ему шлет волны свежести зеленой.

Но сдвинет время основанья дней,
И ка́нет древо в темную пучину,
Где через много лет поток соле́й,
По утверждённому натурой чину,

Невнятному для радостных невежд,
Сгустится тайно в некогда живую
Программу-форму, дивно образуя
Каменноу́гольный, холодный труп надежд.

МОЯ ЗИМА

Здесь на черных ветвях россыпь яблок горит золотых.
Здесь мясистая почка магнолии дышит дурманом.
А в разорванных ветром просторах рождается стих,
Как веселье на дне опустевшего мигом стакана.

Но сметаются листья опавшие с глади дорог,
Да в сарае пылится давно заржавелое ве́ло.
И маячит на грани небесного круга порог,
на который – карабкаться всем естеством
помертвелым...

СМЕРТЬ БЕРСЕРКА

Эгей! В горниле разъяренном туч
Огнебородый свой вздымает молот!
Был панцирь мой безжалостно расколот,
Был твой удар божественный могуч...

Метал я руны, снарядившись в бой,
На океанском берегу пустынном.
Не дрогнул я, узнав свою кончину:
Сразиться с богом – страшный жребий мой.

Так знай же, Тор, как ярость леденит!
Я погибаю! я тобой разорван!
Но я приду, приду, как Фе́нрир чёрный,
И – пряну в твой сверкающий зенит!

ИЕРУСАЛИМСКИЙ СИНДРОМ

Свеченье золотистое томится,
В закрывшем солнце облачном пласте́.
Моментом росчерк обозначит птицу
В белесой непрозрачной высоте.

Шершавость камня, шорохи иврита.
Да небо, близкое, как никогда...
И кажется, что полностью излиты
Из Божьей чаши гнев и благодать.

* * *

Слышишь – время шуршит по песку испещрённой змеей,
Извиваясь в тоске изощренно-размытой струей.

И куда же летят, чередуясь под солнцем-луной,
Дни и ночи мои, и бытийность всего, что со мной?

Все возникло из тайны и в тайну уходит всегда.
Задрожит, просияет и с неба сорвется звезда.

Лист зеленый увянет, скукожится и упадёт,
А несорванный плод на чернеющей ветке сгниёт.

Вкрадчив, явственен шёпот сомнения в благе вещей...
Твой я, Господи, или, возможно, что все же ничей?

ЗБИРАЧІ ТУМАНІВ

Олесь ІЛЬЧЕНКО

МАНДРІВКИ В ПРОСТОРІ Й ЧАСІ

УРИВКИ З КНИГИ

ДЯДЯ ГРИША З ВУЛИЦІ НЕКРАСІВСЬКОЇ

Дядю Гришу знали всі кияни, що мешкали тут. Він щодня, з ранку до вечора, сидів у своїй дерев'яній халабуді, чи, коли хочете, будиночку на розі вулиць Некрасівської та Артема, і лагодив взуття. Він був шевцем. Чоботарем. Черевичником. Тобто людиною, потрібною всім. Дядя Гриша неперевершено усміхався дівчатам, жінкам, молодицям і бабцям, які приносили взуття до його дощатого храму з реанімації підборів, носаків і закаблуків. З чоловіками будь-якого віку він був ввічливий, але, звісно, не такий галантний, як із дамами. До жінок він звертався на старий київській манір: «Мадам».

Його усмішку можна було б назвати голлівудською, якби не великий золотий зуб трохи збоку, праворуч, на верхній щелепі, що затьмарював своїм лихим блиском тьмяне сяйво решти природних зубів. Та нас, хлопчаків, чомусь найбільше інтригував той неспростовний факт, що дядя Гриша накульгував. Виходячи зі своєї майстерні, віддаляючись від хатинки із вивіскою «Лагодження взуття», він неначе втрачав частину своєї сили і йшов неквапом, спираючись на темний, тонкий, але вочевидь міцний ціпок. Так, кульгаючи, він рухався щовечора кудись у сутінки, мабуть, до себе додому. А ми, малі, на безпечній відстані слідували за ним, не наважуючись, втім, надто далеко віддалятися від рідної домівки, від такої знайомої до дрібниць вулиці Некрасівської.

Вулиця була незвичайною – і не лише з погляду дитини. Непарний її бік складався лише з чотирьох «номерів». Наріжний будинок на цій стороні був найвищим. Він вважався за адресою таким, що належав до вулиці Артема (що мала свого часу гарну назву – Львівська). Та споруда – добрий зразок архітектури початку XX століття, типовий прибутковий будинок. Нам, хлопчакам, він був пам'ятний тим, що в ньому мешкала сім'я нашого товариша – Кирила. У великій квартирі він жив із батьками-науковцями, бабусею і дідом – вченим, професором, доктором геолого-мінералогічних наук. У поважного діду-ся був власний кабінет із величезним столом, колекцією

мінералів (серед яких – загадковий камінь «мавпяча шерсть» і зуб мамонта!) та неймовірними книжками про динозаврів чехословацького видавництва «Артія». Ті скарби можна було розглядати годинами. Напрочуд інтелігентна і навіть вишукана родина приваблювала дорослих і дітей затишною, приємною атмосферою дому.

На першому поверсі цього будинку, на самісінькому розі, знаходився й відомий мешканцям всього району овочевий магазин із вічно гнилою картоплею, брудною морквою й страшними, величезними огірками-жовтяками в дерев'яних діжках. Не надто люб'язні радянські продавчині не поспішали обслуговувати трудящих, тому ті воліли «переплачувати», але ходити по нормальні овочі на не дуже далекий Сінний базар.

Далі по вулиці стояв і стоїть будинок шістдесятих років, така собі «поліпшена хрущовка», в якій свого часу відмовилися отримувати нові квартири відомі артисти естради і кіно Тарапунька і Штепсель. Їм простацький будинок зі стелями висотою аж в два метри й сорок сантиметрів до душі не припав. І правильно!

Наступний будинок під номером три, зовні нічим не примітний, приваблював нас, малих, тим, що між ним і високим парканом сусідніх споруд лежали просто неба справжні скарби: дерев'яні ящики, тара з-під «дарів ланів», які потроху гнили в отому магазині «Овочі-фрукти». З дощечок цих ящиків можна було робити, скажімо, справжнісінькі «спартанські мечі» і битися ними аж до повної їхньої розтрощеності.

Звідси й до самої вулиці Юрія Коцюбинського тягнувся паркан, за яким горбатилися корпуси гаражів. Ті гаражі були не простими. Як зауважував один дідусь із Некрасівської, «ета гараж Савєта міністров!». Та нас цікавив не цей «урядовий заклад», а величезний розлогий чорний осокір чи тополя, якесь світове дерево, що своїм корінням ламало асфальт, а верховіття надавало для гніздування величезної колонії гайворонів. В лютому-березні чорна зграя, сидячи на гніздах, галасувала, каркала, джеркотіла і відтак подавала сигнал Всесвіту про незнищенність життя.

На протилежному боці коротенької вулиці під десятим номером і досі знаходиться міська санепідстанція. Цікаво, що вона діє тут віддавна. На будинку, зведеному на межі XIX і XX століть до 1970-х років можна було прочитати фігурний напис: «Городская санітарная станція». Потім літери невідомо нащо збили.

Будинок під номером восьмим у свідомості його мешканців, а також жильців сусіднього, шостого будинку, займав поважне місце. Адже у восьмому, в підвалі, знаходилася котельня, що опалювала ці два будинки.

А от будинок під номером шість на Некрасівській, зведений 1914 року, пам'ятний мені як жоден інший в Києві. Адже ваш оповідач народився саме в цьому будинку і прожив у квартирі № 7 перші двадцять п'ять років свого життя... Мабуть, найважливіших для формування людини років. В нашій п'ятикімнатній квартирі тоді зберігався інтер'єр – що зовсім нетипово для помешкань у Києві, які перетворювали на «комуналки», перебудовували... В квартирі гордо сяяли кахлями високі «голландські» печі, на стелях вишукано вилася ліпнина. В квартирі існував і «чорний хід» для прислуги, тобто сходи, які вели у двір, і кімнатка для неї ж. А от «парадний хід» справді був парадним: чистим, фарбованим в гарні кольори й мощеним на сходових майданчиках добротною плиткою відомої фірми «Бергенгеймъ». Втім, допитливого читача, який цікавиться Києвом початку XX століття, відсилаю до моєї книги про архітектора Городецького «Місто з химерами».

Школа № 106, яку я закінчив, мала і донині має адресу «вулиця Некрасівська, 4». А от неоковирні на вигляд, але милі споруди на розі з вулицею Артема, завершувала згадана наріжна майстерня дяді Гриші.

Нас, малих киян, дуже цікавили двори, що існували на вулиці Артема, на протилежному боці від Некрасівської. Варто було зайти в арку дерев'яного, типово київського особнячка (Артема, 34), як перед допитливим мандрівником поставали справжні дива. Як і здавна було заведено в Києві, двір за особняком являв собою невеликий фруктовий сад. Моє покоління ще пам'ятає не заасфальтовані двори, а вкриті травами, моріжком, споришами, що так добре пахли в тіні величезних горіхів. Коноплею у людський зріст тоді ніхто не цікавився. Малечу приваблювали розкішні абрикоси, яблуні, груші – точніше, їхні щедрі плоди. На лавках у затишних двориках сиділи бабусі, які могли тут-таки варити варення, гомоніти про своє, наглядати за зовсім малими онуками, що плуталися у високих травах...

Автомобілів у ті стародавні часи в місті та й на вулиці Артема траплялося неймовірно мало, тому перестороги моєї бабусі: «Як будеш переходити вулицю, подивися праворуч і ліворуч: чи немає машин!», сприймалися як зайві й нудні нотації дорослої людини. На початку 1980-х років будинки на парній стороні вулиці Артема були по-варварському знищені...

Проте я хочу повернутися до розповіді про колоритного дядю Гришу. Подейкували, що його син, який закінчив Ленінградську академію мистецтв, став вправним художником і емігрував до Канади. В 1970-ті роки єврейська еміграція тривала... Невдовзі дядя Гриша повідомив здивованим клієнтам черевичника, що й він виїздить із країни. То було прикро: він таки добре лагодив взуття.

Та маленьке диво сталося за кілька років: дядя Гриша знову з'явився на нашій вулиці! Виявляється, він приїхав просто погостювати в рідне місто і прийшов до знайомих на Некрасівську. Гриша змінився невпізнанно! Він несподівано став струнким, позбувся ціпка, хоча таки трохи накульгував. Майстер, що неначе помолодшав, сяяв справжньою голлівудською усмішкою: його золотий зуб зник! Всі зуби стали чудовими, майже природними на колір.

Але найбільше вразило добропорядних міщан його вбрання – сліпучо-білий піджак, ідеально випрасувані штани й прекрасні туфлі. Де й подівся той сором'язливий і водночас лукавий швець у засмальцьованому фартуху!

Тимчасове повернення дяді Гриші та його остаточний від'їзд стали певним знаком – часи змінилися. І справді: будинки на вулиці Артема безжально знесли – разом із дерев'яною халабудою під назвою «Лагодження взуття», фруктові дерева пропали, двори заасфальтували. Але за своєрідною іронією долі майже на місці майстерні дяді Гриші тривалий час знаходився взуттєвий магазин «Інтертоп». На розі Некрасівської і Артема, на розі дитинства і дорослого життя, незабутнього і нового Києва...

ВІЧНІ КОЛА В СТАРОМУ СКВЕРІ

Чи може людина п'ятдесят років поспіль гуляти в одному із київських скверів, міряючи кроками щербатий асфальт? Мені здається, що ні. Навіть із перервами на сон, харчування, на ходіння до школи, інституту чи університету, на мандрівки далекі й не дуже... Не може нормальний чоловік займатися дурницями піввіку. Але я наче спростовую своїм одноманітним життям своє ж твердження.

Це неначе якась хвороба – креслити подумки нескінченні кола на крайніх, найдовших доріжках садка (аби маршрут був упорядкованим) – вечорами, серед дня, у вихідні й будні... Знічев'я, або для кращого сну, або для розваги, або ж, зрештою, щоби випити пива – окупувавши (хвилин на тридцять), попри незадоволення пенсіонерів, одну із садових лавочок.

Справжні кияни ці зелені острівці серед заасфальтованого міста називають саме «садочками», чи «садиками» (коли згадати слово російськомовних мешканців).

Мушу сказати, що сам садок в центрі міста з часом змінювався. Його зелені газони під старими деревами колись були щільно обсаджені різними кущами – вовчими ягодами, глодом, ще якимись невідомими мені чагарниками. Проте за останні чверть століття всі ці чудові живі бордюри між доріжками й островами підстрижених трав дивним чином зникли. Як і сама трава під деревами: садок давно ніхто не доглядає і навіть не поливає. Адже посаду садівника, якому в стародавні часи навіть звели крихітний будиночок в одному з кутків скверу, давно скоротили, і тепер внуки киян і діти неофітів міста вільно витоптують колишні газони, неухильно доводячи верхній шар ґрунту до того своєрідного стану, коли він курить влітку, стає справжнім болотом під осінніми дощами або ж твердою грудкуватою поверхнею взимку.

Але в садку не все змінювалося так банально і прогнозовано. Насправді Павлівський садок (така його назва – навіть не знаю, чи закріплена вона офіційно?) є справжнім містичнім місцем, де через певні проміжки часу зникають паркові статуї! Хочете вірте, а хочете – послухайте найбільш правдиву історію нашого міста.

Колись, дуже давно... І це не слова казки, а спостереження киянина... Так от, колись в центрі саду білів круглий фонтан, неперевершений витвір совкового «мистецтва». На колі фонтана-басейну (кола в садку, бачте, присутні скрізь...), зроблені з невідомого мені матеріалу, сиділи троє досить потворних голих піонерів, вбраних лише у плавки; характерні галстуки вказували на їхню партійну приналежність. Сиділи вони зі здоровенними коропами в руках. Коропи, на відміну від піонерів, мали цілком функціональне, а не ідеологічне значення: з їхніх роззявлених ротів до круглого фонтана більш чи менш регулярно падали-струменіли тонкі цівки води.

Та найцікавішою, як на мене, була фігура піонера в центрі фонтана, вбраного так само, як і його товариші. Цей робінзон гордо стояв на круглому острівці-узвишші серед каламутних вод шедевра садово-паркового мистецтва і урочисто тримав у високо піднятих руках... Ні, не рибу. А щось подібне до фруктової вази – точнісінько такої, як на картинці в забутій тепер «Книзі про смачну і здорову їжу» (бестселер серед радянських жінок, передмова товариша А. Мікояна). Саме із цієї вази іноді, при подачі під належним тиском, також цвіркала вгору вода, заливаючи плавки піонера, які таким чином виглядали якось двозначно: адже піонер із замоченими трусами, судячи з виразу його обличчя, аж ніяк не вилазив щойно з басейну чи річки, та, власне, і не збирався шукати якусь водойму, хоча б і ту, що плюскотіла в нього під ногами.

Взимку, коли фонтан був порожній, чи, частіше, коли не спущена вода в круглому басейні просто замерзала, антирадянські диверсанти в особі школярів, пройшовши до центру фонтана, прилаштовували-приморожували до плавок стоячого піонера довгу бурульку. Відтак горизонтальний фалічний символ нахабно стирчав уперед, вказуючи або ж напрямок руху до громадської вбиральні, яка таки була в садку, або ж (хтозна?) натякаючи на те, що такого піонера-акселерата вже час було приймати до лав ленінського комсомолу...

Проте часи змінюються... І садок разом із ними. Одного дня почалася докорінна реконструкція смердючої вбиральні садка. І не встигли міщани оговтатися від такої несподіванки (все одно всі діти, як і раніше, аби не вчадіти у цьому громадському закладі, ходили для задоволення своїх природних потреб за тили місцевої трансформаторної будки), як просто за добу старий фонтан також був знищений.

На його місці постала «модерна» і досить небезпечна для малюків споруда, що являла собою велику, просту, метрову завглибшки, квадратову за обрисами, забетоновану

яму в асфальті. З дна цієї ями чудесним чином на світ Божий іноді з'являлися простатично-хворі струмені, по литки виповнюючи водою дно витвору авангардової радянської архітектури малих форм.

Тимчасом буйна фантазія якогось чиновника (вочевидь, після доброго обіду із чаркою) напоумила його, що цей сквер, мабуть, отримав свою назву від імені персонажа совкової міфології Павлика Морозова. Виходило, що Павлівський садок, названий так ще на початку XX століття, є, а самого Павлика в ньому немає! Влада усвідомила свою недалекоглядність щодо ленінського плану монументальної пропаганди. І тут почалося справжнє будівництво століття в масштабах окремо узятого скверу.

Упоперек Павлівського садка було прокладено-прорубано... дорогу? алею? – невідомо що: широке і вимощене тяжкими бетонними плитами. А невдовзі на пагорбі, до підніжжя якого простягнулася небачена тоді казенно-сіра площина, постав і пам'ятник. Невідомий юнак у картузі й «касавароткє», вочевидь хворий на якусь тяжку спадкову хворобу (його босі ноги, трохи зігнуті в колінах, неприродно виверталися досередини), загрозливо здіймав праву руку над головою. Хлопець дивився кудись понад верхівки дерев, не звертаючи уваги на посаджені біля нього три хирляві російські березки. Місцеві аналітики-краєзнавці вирішили, що, поза всякими сумнівами, це і є легендарний Павлик Морозов. Хоча жодного підпису на монументі не існувало.

Найбільш інтригувало те, що при безпосередньому дослідженні цієї триметрової статуї було виявлено: вона абсолютно порожня всередині. Простукування її сірої поверхні й пробивання арматурними прутами пальців ніг Павлика незаперечно довели, що за зовнішнім матеріалом «під камінь» криється страшна порожнеча. І це був чудовий символ зниклої невдовзі держави та її влади, символ, створений злодійкуватими робітниками, які поцупили всі будматеріали, які тільки могли.

Фікція монументу дочекалася свого гіркого фіналу за кілька місяців. Добре піддаті трудящі вночі скинули з пагорба статую борця за комуністичні ідеали. На ранок двірник і садівник парку в одній особі вже прибирав розбиті руки-ноги Павлика. Голову, здається, знайдено не було. Товариш П. Морозов зник так само раптово, як і з'явився.

За якийсь рік, поблизу вже засипаного фонтана (так, яма посеред парку стала великим квітником!), несподівано розпочалися будівельні роботи. Найпершим постало підніжжя для якогось пам'ятника! Незабаром було встановлено і сам монумент. Реінкарнація очікуваного всіма Павлика Морозова була дивною: чоловік у військовій формі, з шашкою при боці, уважно читав невідому книгу, яку впевнено тримав у правиці. Це був явно не П. Морозов... Але хто?! Розгадка невдовзі була явлена всім постійним променадникам старого садка. На одній з кількох плит полірованого червоного граніту, які правильним квадратом охопили постамент, фальшивим золотом блищав напис: «Арк. Гайдар».

Логіку радянської влади годі було збагнути. Адже тов. Арк. Гайдар навряд чи колинебудь намотував кола у сквері – отак, як усі ми... До чого він тут? І чому ж не Павлик???

Ви не повірите, але незабаром бідолашного Гайдара спіткала доля його колеги П. Морозова: Аркадія знайшли вранці потрощеним. Прибирання решток вояка і літератора тепер відбулося значно швидше... А за пару днів наш трудящий люд поцупив всі гранітні плити. Навіть і ту, з написом.

Вважаю, що відтак цілком доведено: Павлівський садок містичним чином є нещасливим для різних монументів. Про це свідчить і те, що відновлений невдовзі постамент (безперечно, для нової статуї!), на якому стояв Гайдар, так ніколи і не був використаний за призначенням, а чорний лабрадорит, що так необачно тоді встановили, було вкрадено першої ж ночі.

Вочевидь, після цього влада зважила на знаки долі й припинила зведення чергового монумента. Але хто ж постав би на темному камені? Загадка.

Нині у Павлівському садку товчуться сумирні пиворізи, які вдень і ввечері дегустують пінний напій, купований в найближчих ятках, і гуляють молоді мами із дітлахами. Та й куди молодицям подітися? Парків і скверів у «найзеленішому місті Європи» – кіт наплакав. Отож вибору в них немає. Як і в мене. Всі ми завчено робимо вічні кола на одному місці.

ДЕЩО ПРО ПАРОПЛАВ «М. КАЛІНІН»

Пароплави приставали просто до Дніпрового берега: пристані в першій половині 1960-х років у селі Бучак, що на Канівщині, не існувало. Пасажири заходили на колісний пароплав, який димів здоровенною трубою, сходнями – дошками із набитими упоперек рейками.

Пароплавів ходило на Київ, як пам'ятаю, аж два. Один з них називався «М. Калінін». Всю ніч, пливучи в бік Києва проти течії, колісне диво шуміло, лопотіло, плескало по воді величезними лопатями. Селяни з клумаками сиділи десь унизу, скопом, поблизу страшної парової машини, а «багаті» городяни – палубою вище, в каютах.

То був дивний час і дивне місце. Радше – межичасся і межимісце... Люди з неймовірно мальовничого села, порізаного небаченими за глибиною ярами, з чудовими листяними лісами довкола й справжніми степами на лівому березі (трави на весь зріст, озера... – просто картина з «Тараса Бульби»!) жили своїм неспішним життям. Світла в селі не було. «Лампочки Ілліча» з'явилися в Бучаках, як деколи називали це село, аж на початку 1970-х. Отож всі лягали із заходом сонця і вставали рано-вранці...

Дивним мешканцям міст, які з'являлися в цих краях і не могли довгий час отямитися від довколишньої краси, селяни продавали фрукти: вишні, абрикоси, груші, сливи... На запитання «по чім?» відповідь і міра були одні, не залежно від товару: «Руб відро!».

Абрикосові дерева мене, малого, вражали найбільше: вони росли де їм заманеться. На схилах ярів, між городами, навіть на узліссі, забуваючи про сусідство лапатих кленів, дубів, грабів, акацій, осик...

Ось спогад про абрикоси. Іноді було чути, як одна сусідка кричить іншій – через низенький тин, кричить так, немов то не мала огорожа, а китайська стіна: «Гаааанно! В тебе сливи є? – Єєєє! – А які? – Брикоси!»

Найдивовижнішим видовищем в Бучаку, вірніше, під горою, на Дніпрі, був пором. Селяни переїздили ним на лівий берег косити сіно і випасати худобу. Пором являв собою просто великий пліт, підштовхуваний класичною «моторкою» – човном із двигуном.

Здавалося, що тоді, дуже давно, завжди стояло колосальне, на всю Україну, на все безмежжя обріїв, вічне спекотне літо; простягалося величезне безлюддя чистого піщаного пляжу і тільки іноді в просторі чувся довгий жіночий погук поромнику через ріку: «Даваааай перевоооозууу!»

Одного разу поромник напартачив: забув про «шалену швидкість» своєї моторки й плоту і вирішив проскочити перед самохідною баржею... Неповоротка довга посудина, звичайно ж, ударила в пором. У воду попадали люди, корови, коні, свині... І досі не розумію – чому свині були на поромі? Просто кіно!

А кіно, до речі, в Бучаку полюбляли знімати... Приїздили кіноекспедиції з Києва, шаліли від краси тих місць, дешевих харчів, селян-філософів... «А підемо до Марії по само-

гон... Чи є вона вдома? От лихо – ключ під порогом лежить, – значить, хата замкнена, нема нікого... Ну нічого, в тітки Ганни, жони бригадира, самограй точно є!»

Колгосп у Бучаку був не просто колгосп: орної землі довкола майже не знайдеш. Отже, в селі працював риболовецький колгосп. Силу-силенну риби тягнули іноді довжелезними сітями, й маса срібних тіл скидалася під ногами і плескала хвостами на березі.

А потім... Потім все закінчилося. Обрії розпалися.

Спогад нагадує, як довкола, уздовж Дніпра, лежали зрубані дерева, або плавали, напівзатоплені, в придніпровських озерах. Пором теж зник. Отак, руйнуючи краєвид, його готували для затоплення водами нового Канівського «моря». Водосховище поглинуло сінокоси з озерами на лівому березі, калинові прибережні гаї, неймовірні пляжі й непрохідні ожинники на правому...

Земля зникла, мов Атлантида. Люди лишилися. Але щось в них змінилося.

Іноді мені здається, що пароплав «М. Калінін», на якому я, малий, колись із батьками повертався до Києва, не був кинутий напризволяще десь на піщаних косах, не був порізаний на металобрухт... Мабуть він, невеликий провінційний «Титанік», пішов на дно разом зі своїми улюбленими берегами, заплавними луками, тихими краєвидами. І фільм про це ніхто не створив.

ЯК Я СТАВ ЕМІҐРАНТОМ

Мій час у Києві вже вичерпався...
Олег Лишега, «Портрет»

Учбові палички в місті перемін

Місто, в якому я народився і живу, дивовижно мінливе – як хмарне небо. Здавалося б, що і 1930-ті, й сорокові роки, коли його нещадно нищили, вже в далекому минулому... А проте і зараз в ньому постійно зникають старі, навіть капітальні будинки, а натомість постають новітні неоковирні споруди. Століття руйнації триває. Бездушні й захланні окупанти, мародери, нищать місто. Де будинки вісімнадцятого століття? Де – дев'ятнадцятого? Їх наче й не існувало...

Так само дивовижним чином вулиці, на превеликий подив автомобілістів, раптом набувають однобічного руху чи закриваються для проїзду, а звичні дорожні знаки і дороговкази переміщуються у майже містичний спосіб. На пагорбах у відомих городянам старих приміщеннях створюють новий величезний музей (до речі, що в ньому буде? звідки візьмуться експонати?); натомість зник музей історії міста – всі його скарби роками «тимчасово» лежали у коробках. На все воля чиновницька, а не Божа.

Відтак потроху перестаєш слідкувати за невпинними змінами, втрачаєш гостроту міського зору, відчуття плину часу, й займаєшся просто констатацією: ще вчора на цьому місці щось було... а оце диво несподівано з'явилося!

Але тим не менш... Кудись пішли дві фігури робітника й колгоспниці над входом до Пасажу, а кам'яний Дем'ян Коротченко (хто це, до речі?) і досі визирає з дикуватого парку (В ніч на 27 травня 2015 року був знесений, – *прим. ред.*)? Чому один славний гетьман повернувся до міста у вигляді пам'ятника на Подолі, але також постав і фантастичний у своїй потворності монумент князю Святославу, що, кентаврично зливаючись із конем-мутантом, виїхав на Пейзажну алею?..

Час пливе містом, місто зникає у часі... «Салони» і магазини невідомого, за великим рахунком, призначення зайняли звичні здавна місця вимерлих гастрономів, де сталий

контингент любителів кави і більш міцних напоїв створював неповторний колорит вранішніх і вечірніх годин міста, яке або прокидалося й готувалося до праці, або ж поспішало відпочити після роботи.

Згодом починаєш розуміти, що насправді бентежить дуже виразний у вічному місті плин часу. І ти, припнутий до одного місця своїм розміреним життям, змушений споглядати довколишній калейдоскоп нових урбаністичних пейзажів, – немов спеціально демонстровану для тебе виставу із постійною переміною декорацій і нескінченною появою все нових і нових персонажів. Як виявляється, ліку дійовим особам немає, а обличчя в них здебільшого нетутешні.

Але... може, всі ці фантасмагорії, що розгортаються перед очима таких реліктів, як корінні мешканці міста, – просто нерозгадане послання вищих сил? Знаки, які потребують розшифрування? І що, до біса, все це означає?

Часто про якість «тектонічні зсуви» довкола свідчать малопомітні, на перший погляд, речі. Скажімо, мешканці мого міста – і ті, хто говорив російською, і ті, хто тримався української мови, – ніколи не вживали слова ринок, лише «базар». Так склалося. Проте з деяких часів слово «ринок» гордо постало на фасадах старих міських базарів... і в мові прибульців, неофітів міста.

І ти вже плутаєшся і не розумієш: що минає – місто, чи ти у ньому? Лишається тільки з подивом фіксувати зміни довкола і мріяти про мандрівки до інших країн і міст – тільки тому і для того, щоби, повернувшись додому, знову впізнавати обриси мережаних вулиць, вечірні схили, якісь знакові лише для тебе місця.

...Якось запросив моїх друзів, що приїхали з Волині, в один з японських ресторанів: як-не-як екзотика для нерозбещених людей «синьоокого краю», як казали радянські журналісти. Химерні страви ми їли паличками – я «звичайними», мої друзі – так званими «учбовими» (рухомо скріпленими з одного кінця). Адже «учбовими» паличками можуть їсти і неофіти східних кухонь... Мила подружня пара сопіла, старалася, але таки впоралася із креветками, кальмарами та іншими представниками теплих морів і океанів.

Я згадав той приїзд і вправи із паличками, коли недавно проходив повз інший ресторанчик східної кухні. Через велике вікно мені, з вечірньої вулиці, було добре видно, як всі люди за столиками – абсолютно всі! – звично, легко, вправно їли страви звичайними паличками. «Учбові» їм вже були не потрібні...

В місті таки щось дуже змінилося. Мабуть, ми іноді просто не хочемо помічати тих змін...

Де Ярославів Вал?

Що робити українцеві, що народився, як і його батько, як батько його батька, у русифікованому Києві? Говорити українською, писати українською... Але цього разу мова не про мову. Я про людей, про час. І про людей в часі.

Київ змінювався завжди, якимось дивним чином зберігаючи при цьому свою неповторність. Час і зайди, що не відчували духу Києва, які й донині мають лише одну мету щодо мого міста – підкорити його, зламати «через коліно», зруйнувати всі старі будинки й вирубати дерева, – постійно спотворювали обличчя Міста, як просто називав його Михайло Булгаков, але все одно воно містичним чином, з новими будинками і вулицями, залишалося Києвом. Містом, яке люблять і часом клянуть його мешканці.

Після страшної руйнації міста, заподіяної комуністами у 1920-х і 30-х роках та їхніми наступниками, пост- чи криптокомуністами, а кажучи просто – «совком», Київ докорінно змінився. Зникли і зникають не просто пам'ятки історії, мистецтва, архітектури.

Зникли знакові речі, які має кожне місто – собори, назви, цвинтарі. Зник краєвид, який і робить мешканців певного місця тими, ким вони є – чи то палкими прихильниками беззмістовної виробничої забудови й смітників з териконами між нею, чи то споглядальниками, закоханими в зелені схили над рікою, золоті бані стародавніх соборів, вулиці з бруківкою, химерні «прибуткові будинки» і особняки із дворами, що були просто садами за ошатними фасадами.

Новітня навала пам'ятається добре. В Києві 1970-х років відбувалися не тільки руйнації старої архітектури – цілими кварталами – але й арешти патріотів і закриття українських шкіл «на прохання трудящих». Зникали люди, зникали будинки... Тривало знищення «звичайної» забудови, тієї, що і надає обличчя місту, тривало знищення тих будинків і подвір'їв, які, власне, і зберігали чарівність Києва. Так, їм було дуже далеко не лише до архітектурної гармонії старих, середньовічних міст Європи, вишуканості паризьких бульварів, але й до шедевральних споруд, скажімо, Львова. Але ті зниклі київські будиночки були справжні, автентичні, свої. І неповторні.

Проте це була лише прелюдія до справжньої інвазії. З'являлися нові мешканці центру Києва, які говорили з таким акцентом, який шокував навіть російськомовних киян і викликав у всіх «автохтонів» підсвідоме відторгнення. Несподівано характерний «ґаварок» стало чути на теплих літніх вулицях під каштанами. І це було так само дико, як снігові заметілі десь на пляжах Флориди.

Інші люди притягували за собою, наче магнітом, таких самих інших, інакших людей. Київська інтеліґенція стала справжнісіньким раритетом, як й інтер'єри старих київських будинків.

Цивілізація скоробагатьків вибухнула новобудовами на живому тілі центральних районів Києва наприкінці XX століття. Водночас якісь зовсім не київські обличчя заполонили місто. Таксисти почали ставити запитання, що приголомшували: «А гдє ето – Ярославов Вал?»

Старі кияни перестали упізнавати вулиці міста. Серед модерних і нахабних багатоповерхівок зникли затишні двори з обов'язковим горіхом, грушею, вишнею чи абрикосою посеред густого споришу. То були не просто трава і дерева. Це були символи затишного, українського по суті, під накинутою машкарою, міста.

І серед нових будинків, вулиць, людей, я, нікуди не виїжджаючи, перетворився на еміґранта у своєму місті, на чужинця, який має вчитися жити у новому, часто ворожому до всіх і всього середовищі.

Проте це не ностальгія за минулим. Це спроба погляду в майбутнє. Як стверджували паркани, «всьо будєт Донбас». Нові вітри зі сходу, новий плебс, неофіти зі страшним, кримінальним минулим, яке вони хочуть нав'язати як норму життя коматозному нині місту. Місту, що перетворилося останніми роками на справжній мегаполіс третього світу, місту, яке мій знайомий назвав просто і влучно: «привокзальний нужник».

Я вичерпався у Києві, але Київ все ще не вичерпується в мені... Що далі?

БЛЮМЕНШТРАССЕ, ЦВАЙ

Хочете знати, чим насправді була війна –
читайте негероїчні історії.
Ярослав Грицак

Нарешті, вже пізно ввечері, проїхавши чимало дорогами Німеччини, ми відшукали в Кельні вулицю Блюменштрассе, номер «цвай». Як не дивно, цю адресу я знав мало не з дитинства, не уявляючи, що коли-небудь, переживу купу «вождів», крах імперії, негаразди зі здоров'ям і зможу дістатися цієї непримітної вулиці. Мені про неї розповідала мама. Вона (суто теоретично) могла б тут жити. І якби вона опинилася на вулиці із назвою, що нагадує про радянські шпигунські фільми, то я б не народився.

Ми з моїм другом очікували побачити старий будинок. Натомість за відомою мені адресою стояв невиразний бетонний куб 1950-х років. На першому поверсі «архітектурного шедевру» розташувався турецький клуб і забігайлівка.

– Зрозуміло, – зітхнув мій супутник. – Той будинок, про який ти казав, розбомбили під час війни. Це ж нова споруда.

Звісно, він мав рацію. Ми ще трохи пройшлися вулицею і почимчикували до автівки.

– А мама тобі казала, як звали того німця?

– Так, казала, – кивнув я. – Ганс. Здається, Ганс. Прізвища не пам'ятаю. Та, можливо, вона й не згадувала його...

– Життя в окупованому Києві... – неспішно міркував мій друг, – навіть не уявляю того виживання.

– А я трохи уявляю: мої розповідали...

– Розкажи.

Спробую переповісти. Адже, виявляється, минуле не проминуло. Воно присутнє в нашому дні – часто досить несподіваним чином. Я згадував оповіді мами й бабусі...

«Не встигли...» – мабуть, така думка промайнула в багатьох киян, переважно жінок, дітей, літніх людей, що змогли переправитися через Дніпро й аж на лівому березі почули звістку: «Німці вже в Бортничах!» Київ оточили війська вермахту, відтак про жодну «евакуацію» не йшлося. Абсолютна більшість втікачів мусила повертатися в невідоме – у вересневе місто 1941 року. Починалося неймовірне, тяжке, страшне і незвичне життя в окупованому Києві. Мої рідні більш як два довгих роки разом із тисячами й тисячами інших мешканців Києва мали виживати в рідному місті, що раптом стало ледь упізнаваним...

Такі чи подібні спогади й досі переказують в рідкісних тепер сім'ях корінних, з діда-прадіда, киян. Табуйована довгі десятиліття тема про життя, існування простих киян в їхньому місті із вересня 1941-го до листопада 1943-го року, лише за останні років двадцять почала розкриватися – й часто із зовсім несподіваного боку.

Адже тоді лихі літа постійного більшовицького терору, як способу управління країною, змінилися на зловісні, нескінченні місяці «нового порядку» нацистів. Ще живі люди, які пам'ятають 778 днів життя «при німцях», як казали кияни.

Сучасній людині важко уявити те страшне буття городян. Але, як не парадоксально, то було все-таки життя. Люди мусили жити й прагли вижити. А спогади людей, що пережили німецьку окупацію, часто показують несподіваний Київ і людей у ньому. Очевидці ще раз доводять: часто саме історія XX століття є для нас найбільш таємничою, не очікуваною, інколи вражаючою.

Хочу нагадати лише кілька штрихів про «звичайне» життя у надзвичайних умовах... Не варто розводитися тут про моральні й фізичні межі людської витривалості чи філософію життя там, де його і бути, здається, не може. Іноді прості факти, спогади кажуть більше, ніж стоси суб'єктивістської літератури.

Німці увійшли до Києва впевнено, мов до себе додому. Вправно орієнтуючись за точними мапами міста, вони займали будинки, установи, організації, оселялися в покинутих квартирах і в гарних, неушкоджених помешканнях, які їм подобалися. Скажімо, у відомого київського архітектора Павла Альошина, в його великій квартирі на Великій Житомирській вулиці, зарозкошував німецький офіцер, безцеремонно вказавши хазяїну на його нове місце. В листопаді 1943 року, коли цей «істинний арієць» тікатиме з Києва, він поцупить у Альошина старовинний килим з вітальні...

Новим господарям міста припав до смаку нелюдсько-помпезний стиль сталінської архітектури й вони швидко зрозуміли призначення кожної споруди. В колишньому будинку кривавого НКВС на Володимирській розмістилося гестапо... Й жоден киянин відтак не ходив тією непарною стороною вулиці.

У вересні-жовтні 1941 року багато киян змінювали помешкання, «обмінювалися квартирами»: або через руйнацію їхнього будинку, або ж намагаючись приховати свою причетність, приналежність – через місце праці або далекі чи близькі родинні зв'язки – до влади, що покинула місто.

Настав тяжкий час: в перші ж дні окупації совєтські підпільники зруйнували центральну частину міста – вони привели в дію приховані в будинках міни. Нині цю акцію, під час якої крім трьох сотень німців загинули й кияни, називають варварською. Неповторна архітектура міста була втрачена, а головне – обірвалося життя мирних мешканців Києва. Німці ж реагували швидко і жорстоко. Почалися розстріли цивільного населення – заручників, «підозрілих». Тривало й планомірне винищення євреїв і ромів. В концтаборах тим часом знаходилися десятки тисяч приречених військовополонених...

Двоюрідна сестра моєї бабусі, чорнява, схожа на справжнісіньку єврейку, мусила два роки просидіти в підвалі одного з будинків. Вона не сумнівалася, що німці, побачивши її й затаврувавши: «юд!» – неодмінно розстріляють.

В двадцятих числах вересня 1941 року вийшов з ладу водогін, і кияни брали воду з водогінних колонок, а часто змушені були носити її аж із Дніпра. Важко уявити, як зморені голодом люди, особливо взимку, тягали повні відра на київські гори... Але так було.

В місто прийшов і голод. Восени першого року життя «під німцями» з того ж таки Дніпра кияни діставали затоплені мішки зі збіжжям. Проросле зерно пшениці, зіпсоване пшоно – все годилося для виживання. «Хліб» чи «коржі» робили з решток муки, перемолотого картопляного лушпиння із додаванням гірких плодів київських каштанів. Їли і мелясу, що надходила в місто з кинутих цукрових заводів – через спритних людей... Але на базарах – Сінному, Євбазі – продавали й пироги з горохом, і гарячі пісні супи-борщі... Були б гроші! Або ж речі – на продаж, на обмін...

Головним завданням кожного дорослого киянина, крім, звичайно, не бути розстріляним чи відправленим на примусову працю до Німеччини, став пошук роботи. Отримана від німців «арбайтскарте» свідчила про те, що людина десь таки працює, а це було деякою гарантією від висилки до «Райху»... Постійна робота означала й таке-сяке регулярне харчування. Велика удача – влаштуватися прибиральницею, відкрити свою майстерню, найнятися мийницею посуду, а то, скажімо, й друкаркою в якусь установу...

Звичайно, згадувати про *такі* місця роботи після вигнання німців означало б підписати собі вирок. Адже будь-який, навіть підневільний, труд в німецьких установах сталінська влада могла потрактувати як «співпрацю з фашистами».

Нескінченними холодними вечорами – дров, зрозуміло, катастрофічно бракувало – кияни читали книжки зі своїх домашніх бібліотек, газету «Українське слово», яка видавалася в місті... До речі, коли українське націоналістичне антифашистське підпілля, пов'язане із цією газетою, наприкінці 1941 року було викрите нацистами, з'явилося «Нове українське слово».

А люди, молодь зокрема, в ті часи ходила до опери, кінотеатрів! Так, в холодному, заціпенілому від голоду Києві показували німецькі фільми на кшталт знаменитого «Дівчина моєї мрії» зі справжньою кінозіркою Марікою Рьокк. Можна уявити: дівчата й хлопці-підлітки, попри страх, який панував довкола, мріяли про кохання... і дивилися на його солодкаво-казкове зображення на екрані. Але чари, скажімо, ще довоєнної фільмової стрічки «Петер» чи «Індійської гробниці» закінчувалися, а на виході з кінотеатру могли вже стояти німецькі спецзагони, які тут-таки забирали всіх хлопців і дівчат, віком від чотирнадцяти років, аби «без пересадки» відправити їх до Німеччини. Але молодість є молодість, і люди знову йшли до кіно, аби поринути в ілюзорний світ іншого, красивого, щасливого життя героїв мерехтливого екрану.

Перша ж зима в місті була для киян і навіть для окупантів – німців, угорців, італійців – жахливою. Прийшли страшні морози. Італійські солдати, що мали не добротні шинелі, а якість плащі-накидки, дубіли від холоду. Угорські офіцери, аби не вітатися зі своїми німецькими союзниками, часто просто переходили на інший бік вулиці: всі розуміли, що «бліцкріг» не вдався. А німці тим часом чим далі, тим більше заглядалися на молодих киянок, які явно вигравали «дуель» краси з нечисленними безбарвними німкенями.

В будинку на розі Фундуклеївської, за Оперним театром, де тоді жили мої рідні, у його дворі та прилеглих спорудах розташовувалася німецька частина. Один з солдатів, пришелепуватий Ганс, з якого кепкували його ж товариші, накинув оком на мою маму, п'ятнадцятирічну красуню. Ганс не втомлювався повторювати, що війна незабаром закінчиться, дівчина підросте, вони неодмінно одружаться і будуть жити в його рідному Кельні на отій «Блюменштрасе, цвай». Солдати реготали, а мама назавжди запам'ятала назву міста й адресу... Тому ми з другом і шукали цей будинок – все ж таки цікаво глянути на матеріалізовану віху можливої долі.

Іноді Ганс та інші солдати пригощали голодних маму та її молодшого брата цукерками, а одного разу дали покуштувати пудинг. Діти не зрозуміли, що то вони їдять, але та смакота закарбувалася в пам'яті надовго.

Влітку жилося трохи легше. Київські фруктові сади і городи давали поживу киянам. Можна було нарешті вигрітися на сонці, переїхати човном на Труханів острів, на пляж, навіть сходити на футбол. Матчі відбувалися досить регулярно й українці переважно вигравали у своїх супротивників.

Минули два роки дивного життя, коли іноді здавалося, чи хотілося уявити: війни неначе й немає...

А потім у Київ увійшла Червона армія, і за деякий час над багатьма киянами, які вижили, почало тяжіти тавро людей, що «перебували на тимчасово окупованій території», тобто були мало не зрадниками... Але то вже інша історія.

Іноді ми знаходимо дивом вцілілі старі світлини і вглядаємося в обличчя *тих* людей, розглядаємо краєвиди й будинки Києва, якого вже немає. Мимоволі я порівнюю зникле місто із сучасним. Парадокс: навіть безповоротно понівечений, напівзруйнований в XX столітті Київ ще донедавна дивним чином зберігав невловиму принадність.

ХОР

Хор цей існує, співає і досі. Чудовий хор «Дніпро» Київського університету. Крім інших чеснот йому притаманна така якість, як тяглість доброї традиції. І це приємно: нечасто трапляється на наших теренах щось, що має успадковану культуру, школу в найвищому розумінні слова, викшталтуваність і досконалість.

Наприкінці 1970-х років в хорі співало двоє моїх добрих друзів, і крім наших зустрічей, як тепер кажуть, «за неформальних обставин», я ходив на виступи хору. І слухав, слухав...

«Дніпро» мав традицію іноді співати просто неба, а саме біля пам'ятника Тарасові Шевченку в парку його імені, в знаковий для кожного українця день 9 березня. Отож хор приходив уранці до Кобзаря, що в задумі стоїть навпроти червоного корпусу університету... Звучали пісні. А що саме співав хор – варто згадати. Влада дозволяла виконувати виключно дві пісні: «Заповіт» (слова Т. Г. Шевченка, музика народна) і «Широка страна моя родная» (або інакше – «Пєсня о родіне», створена для кінофільму «Цирк»; слова Васілія Лєбєдєва-Кумача, музика Ісаака Дунаєвського). Першим виконували «Заповіт», а вже потім – веселеньку «Страну».

До речі, існує такий літературний анекдот про створення цієї взірцевої сталінської пісні. Лєбєдєв-Кумач мучився над текстом, не в змозі створити щось нове про «родіну». І от одного дня, вживаючи горілочку разом із жовчним і дотепним Юрієм Олешею, Васілій поскаржився на тяжку долю поета-пісенника. Олеша вихилив чергову чарку й іронічно порадив: «Пиши щось просте і зрозуміле. Про те, яка широка в нас країна, як багато в ній лісів, полів і рік...». І тут Лєбєдєва-Кумача осяяло...

В ті часи саме 9 березня довкола київського парку Шевченка і в ньому самому спостерігалося, з одного боку, незвичайне пожвавлення, а з іншого, як це не дивно звучить після сказаного, дивна відсутність людей. Автомобілі ДАІ й самі працівники цієї служби, прибуткової для кожної людини у формі, з'являлися у підвищеній кількості на бульварі Шевченка, на вулиці Володимирській, біля університету, на вулиці Терещенківській (тоді вона називалася Репіна). Тобто Шевченківський парк був оточений незвичною кількістю людей із смугастими жезлами.

Не менш цікаві персонажі траплялися в самому засніженому в ті дні парку. Скромні, непримітні чоловіки прогулювалися по двоє знелюдненими алеями («чомусь» того дня в парку ніхто з обережних киян не гуляв). Чоловіки в цивільному, але з військовою виправкою тримали зазвичай в руках невеликі парасолі або ж книги. Так, на вигляд досить грубенькі книжки в темних палітурках...

Аж ось у визначений час до пам'ятника Кобзареві приходила купка слухачів. З'являвся і хор «Дніпро». Співаки ставали по ліву руку від Шевченка, а глядачі-слухачі – праворуч. Диригент змахував уявною паличкою... Хор співав дві пісні... Хлопці в цивільному пильно вдивлялися в обличчя тих, хто прийшов до пам'ятника – з квітами або ж без них, вдивлялися, хто і як слухає хор, чи підспівує йому. І на тих слухачів, які після виконання «Заповіту» демонстративно вдягали зняту було шапку, й на перших словах «Родіни» йшли геть із парку.

Одного разу щось змінилося. Неначе в повітрі запахло жаданою відлигою. Після співів біля підніжжя пам'ятника хор повернувся до червоного корпусу, але не зайшов до нього, а раптом зупинився, як за командою, на сходах і почав співати народні пісні. Першу, другу, третю... Натхненно, чудово, світлими гарними голосами. Диригент у сум'ятті ходив перед студентами, зникав у будівлі університету, виходив знову і просив не співати тут...

Потроху перед сходами, перед хором почали збиратися перехожі. Дехто стояв і слухав, усміхнений, дехто полохливо йшов далі, постоявши хвилину-другу. Озирнувшись, я нарешті побачив неподалік тих, кого шукав поглядом: двоє чоловіків у непримітному одязі і з такими ж «ніякими» обличчями прискіпливо вдивлялися в несподіване дійство на тлі червоного будинку.

Зрештою «Дніпро» зайшов до університетського корпусу. Чоловіки зникли.

Тоді нічого лихого зі співками не сталося, наскільки мені відомо.

«ПИСАТЕЛЬСЬКІ РУЧКИ»

Літній чоловік приязно усміхався до мене, наче вперше бачив.

Я загнав автівку VW Bora, мою просту й надійну помічницю в мандрах Україною, до гаража і саме зачиняв великі залізні двері.

Василь Федорович, сторож-охоронець будівельної фірми, у дворі якої і стояв мій гараж, наче по-новому, пильно позирав на мене, оглядав з ніг до голови.

– Так ти писатель?! – він не міг приховати здивування. – А то ти постоянно ставиш і забираєш машину, а вчора оце дивлюсь на тебе по тілівізору! Так гарно розповідаєш...

– Власне...

– Так подари книгу! – сторож метикував швидко, – у тебе ж, сказали в тілівізорі, он їх скільки!

– То просто різні видання!

– Та я ж і кажу: різні! – Федорович задоволено усміхнувся. – Ти не думай, я багатьох писателів знаю. Всім інтересуюсь! Я вирізки з газет вже тридцять років збираю. Про все. Про космос, ізобрєтєнія, войну, історію... Три чемодани вже стоять! Кажу внучці, бо дочка ж, дурна, не понімає... Кажу: бережи! Тим матеріялам, може, скоро ціни не буде! Бо там же всі газети, ще старі! Це ж тепер ніде не знайдеш... Внучка в мене хароша: танцює, співає в гуртках. І мову вчить, і математику. А дочка, дура, із зятем кажуть малій, що «не нада етот жлобскій язик знать». То я з ними спорю і про писателів розказую!

– А яких же ви письменників знаєте?

– Та усіх! Я ж у Спілці писателів ремонт робив! На Банковій. З самим Яворівським здоровкався, і з тим, другим... як його? Забув ім'я. Я замки на дверях міняв, бо коли нове руководство прийшло, то первим ділом сказало всі замки помінять. А замки такі старінні! Латунь, величезні. Та куди їх? Повикидали...

– Жаль. Дарма ви їх викинули... такі речі слід зберігати. Там же цілий особняк так добре зберігся...

– Не думай, я розумію! Там ще такі гарні, великі дверні ручки були – бронза чи що... А може, та ж таки латунь. То я їх зняв і забрав!

– Як?! Навіщо ви це зробили?!

– Так то ж історія! Унікальні, як ото кажуть, ручки! Писательські ручки! Та за них, може, брався і Тичина, і Бажан, і Гончар! Ох, переполоху тоді було: всі бігають, кричать: «Пропали ручки старінні!» А я їх тихенько заховав. «Де, – питають, – ручки?!» А я кажу: «Та мало хто тут ходить? Тіко поклав – уже нема!»

– То де ж ті ручки?!

– Як де? На дачу відвіз, почепив на дверях. Внучці розказую, щоб берегла. Бо за ті ручки бралися всі писателі! Наші! Хай мале знає, згадує діда, що зберіг! Я ж понімаю, яка то цінність...

СЕКРЕТ ВАРЕНИКІВ З КАРТОПЛЕЮ

«Перегони» на триколісному велосипеді від кухні, довгим коридором, через вітальню бабусі й діда аж до їхньої спальні. Ось одна з перших мандрівок і розваг мого дитинства. Величезна стара п'ятикімнатна квартира сама запрошувала до таких експедицій. Втім, можна було мандрувати й примхливими узорами старого перського килима, що вкривав усю чотириметрову заввишки стіну вітальні, або роздивлятися ліплення (фрукти й квіти) стель у тій же вітальні, або їдальні, або ж в обох спальнях чи кабінеті...

А краще – розпочати мандрівку, вдивляючись в гобеленові зображення ще одного старезного килима, що висів над диваном. Громіздким, неповоротким диваном, на якому я спав. На тому килимі росли неймовірні квіти, розбігалися примхливі, химерні візерунки, де-не-де виглядали голови пещених, вгодованих, повнощоких янголят, а вгорі, для завершення картини, сиділо ще й двійко молоденьких ангелів, що недбало звішували ноги з хмаринок і щосили дмухали в довгі сурми.

Сторінки книг нашої величезної бібліотеки також надавалися до захоплюючих мандрівок. Особливо мене чомусь приваблювали книжки, написані не зовсім зрозумілою мовою. Якісь вони були нетутешні, пишні й грубезні. Надзвичайно поважно стояли томи в старій шафі з бабусиної вітальні, на цупких палітурках яких золотом блищало слово «В.Шекспиръ». Я, малий, намагався їх читати, але крім темного, складного змісту, заважали ще й незнайомі літери – ѳ, ѣ...

Справжніми принадами для «мандро-читання» трохи згодом стали «Острів скарбів» та «Робінзон Крузо» – зі старими чорно-білими малюнками. Виразно запам'ятався той, де Крузо із жахом розглядає слід босої ноги на піску свого безлюдного острова. Мапу ж Острова скарбів я перемальовував кілька разів, немов готуючись таким чином і до майбутніх пошуків якихось цінностей, і до власне мандрівок з відкриттями великих і маленьких америк.

Назви різних країн поступово входили в життя хлопчака з київської вулиці Некрасівської: далека Америка, сусідня Польща, таємничий Китай, дуже приємна країна Грузія (принаймні так про неї завжди згадували батьки) і похмуро-ворожа Москва. Але про ворожість щодо нас цієї «країни» мені суворо забороняли говорити вголос, тим паче зі сторонніми людьми. Так географія перепліталася із реаліями і таємницями дорослого життя...

До речі, грузинська тема часто була присутня в розмовах моєї родини. Батько, що працював на Київській кіностудії імені О. Довженка, часто їздив у відрядження і «кіноекспедиції» (не зовсім зрозуміле попервах слово я чув змалку), отож нерідко він згадував і гостинну теплу країну, яка йому дуже подобалася. Так я запам'ятав назви та імена: «Грузія-фільм», Отар Коберідзе та інші.

Один з батькових друзів-грузинів, колег по кінематографічному цеху, завжди дуже своєрідно вітав із днем народження мою маму. А народилася вона 1 січня... Отож, скажімо, 30 грудня серед дня дзеленчав телефон і низький, приємний голос зі своєрідним акцентом, після вітань і поздоровлень із невідворотним Новим роком, повідомляв тата: «Григорій, я дещо надіслав Діані на свято й день народження! Зустрічай тбіліський поїзд!» Голос називав номер вагону й навіть ім'я провідника, який мав передати таємничі дарунки. Батько дякував, клав рурку й зітхав, усміхаючись. Потяг із Тбілісі прибував до Києва рано-вранці, здається, о п'ятій годині.

І наступного дня батько пішки йшов на вокзал – ми жили не надто далеко від нього. Таксі він брав уже звідти додому, і зрозуміло чому...

Я прокидався вранці не лише від того, що батько повернувся, але й від якихось неймовірних пахощів. Вони проникали до нашого помешкання із великого ящика: тато

ледь заносив його на височенний третій поверх старого будинку без ліфту. Пахощі линули від невіданих нам, невідомих науці, чарівних і загадкових квітів, точніше – гілочок якогось чагарнику, вкритих отими квітками, подібних до мальви чи дикої шипшини. Мама розставляла зрізані гілки по всій величезній кімнаті й відтак ми опинялися на тропічному острові, де, звісно, не бувало зим. І засніжений Київ за вікном ще більше підкреслював нашу квіткову, несподівано-приємну віддаленість від морозів і завірюх.

Під шаром квітів у важенному ящику були власне подарунки: кілька пляшок вина «Кіндзмараулі», щільно пересипаних жовтогарячими кулями мандаринів. Грузинський друг знав, що мама любить це вино і щедро надсилав його до святкового столу.

Часто гості приходили до нас 31 грудня, а вже 1 січня – то вже поза всяким сумнівом. Відвідини тривали весь перший тиждень року, аж до Різдва, про яке бабуся радила так само голосно не говорити.

Часто гостями були не лише родичі й добрі знайомі, але й актори, режисери, тобто батькові колеги. Вони з'являлися переважно несподівано: взимку і влітку, навесні й восени, пізно ввечері, але мама примудрялася завжди почастувати їх борщем і варениками.

Ці дві страви були «хітами» посиденьок для людей з будь-яких міст. Інтелігентний Віктор Іларіонович Івченко, неголосний Михайло Глузький, іронічно усміхнений Армен Джигарханян, по-домашньому розслаблений «дядя Слава» – В'ячеслав Тихонов... Всі їли наче вперше і востаннє; а особливо захоплювалися маминими варениками із картоплею. І не могли збагнути: чому вони такі смачні.

Висувалися різні гіпотези (ну, крім аксіоматичної, само собою зрозумілої вправності господині дому). Отже: незвичайне тісто (мама це спростовувала); особлива вода (з-під крану, на жаль); чудова картопля (так, але таке припущення правильне лише частково)... Далі фантазія чоловіків здебільшого не просувалася. Але один меткий московський актор, який не ображався на батькове іронічне звернення до нього – «кацапура» – запідозрив, мов той москаль-чарівник, що діло тут нечисте. Він намагався вивідати у мами секрет, проте вона просто зізнавалася, що секрет таки є... А от розкрити його вона, звісно, не може.

Лише через кілька років моїх споглядань за маминими ворожіннями на кухні над каструлями й мисками, картоплею й тістом, вона, сміючись, показала мені якийсь невеликий сіруватий кавалок. Невідому речовину мама розтирала разом із картоплею, щоби цією сумішшю й виповнити свої знамениті вареники. То була ліверна ковбаса! Вона не забарвлювала картопляну начинку, проте надавала вареникам багатого, несподіваного присмаку. Все було геніально просто...

Іноді мама давала мені покуштувати дивної ковбаси. Мені вона смакувала, хоча «натоптати» такого дива досхочу, гадаю, не спромігся б ніхто.

...Батьків давно немає. І таких вареників, звісно, ніхто вже не робить. Але нещодавно, попри протести розуму, я спокусився і ностальгічно купив трохи ліверної ковбаси. Вдома, відрізавши шматочок нового продукту й поклавши його до рота, я зрозумів, що більшої гидоти зроду не їв... Дива хімії і новітніх технологій харчової промисловості перемогли неперевершений секрет вареників з картоплею.

НАМ ВЫПАЛО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ЖИТЬ...

Ирина КАРПИНОС

ЗОЛОТАЯ ТЕРРАСА ПРОВАНСА

Я сегодня спрошу у Винсента:
Как ты жил в этом бешенстве красок?
Мы с ним выпьем, конечно, абсента,
Полетаем от Арля до Грасса...

Золотая терраса Прованса,
Сумасшедшая близость Ван Гога...
Август звёзды роняет, как вазы,
И осколками блещет дорога...

Это буйство и цвета, и света,
Одиночества и ожиданья,
В жарких корчах кончается лето,
Тянет холодом из мирозданья...

Эх, родиться бы арлезианкой!
Выпивать на террасе с Ван Гогом,
Приносить ему холст спозаранку
И не клянчить удачи у Бога...

ВЕНЕЦИАНСКОЕ

В Серебряном веке, коротком и ярком,
Поэты любили в Венецию ездить
И с чашечкой кофе сидеть на Сан Марко
И в небе полуночном трогать созвездья.

Венеция рядом с времён Сансовино:
Крылатые львы и певцы-гондольеры.
Поэты пируют, поэты пьют вина,
Поэтов ещё не ведут на галеры.

И Блоку покуда не снится «Двенадцать»,
И пуля не скоро убьёт Гумилёва.
Поэты ещё не отвыкли смеяться
И верят в могущество вещего слова.

Не пахнет войной голубая лагуна,
Собор византийский с квадригой прекрасен,
Ещё не задернули занавес гунны
И хмель венецийский ещё не опасен.

И можно до слёз любоваться Джорджоне
И долго бродить по Палаццо Дукале,
Стихи посвящать беглым ветреным жёнам,
Катать их в гондолах, купать в Гранд-Канале...

Поэты в Венеции пьют на пьяцетте,
Война мировая вдали, как цунами.
Запомните лица их в огненном цвете!
Всё кончится с ними. Всё кончено с нами.

МОДИ И ЖАННА

Когда умер Амедео Модильяни, его жена Жанна выбросилась из окна.

Не подходи, не подходи к окну!
Живи ещё! Мы встретимся позднее!
О Жанна, о жена, не множь вину!
Как мне на Страшный Суд явиться с нею?

О Жанна, на земле стихи писать
Я не умел, я чёркал на салфетках
Изгибы шей, змеиную их стать,
В тех тонких девочках-кордебалетках...

И лишь одна Верлена наизусть
Читала ночью – северянка Анна,
И навсегда исчезла – ну и пусть,
Освободив тебе дорогу, Жанна!

Не умирай! За каждый мой портрет
Тебя осыпят серебром и златом.
Не знаешь ты ещё, что смерти нет!
Есть Божий дар и вечная расплата.

О Жанна! Ты летишь в последний бой!
Я принимаю страшную награду.
Теперь мы скоро встретимся с тобой.
Я снова твой. Люблю тебя. Ты рада?

ВТОРАЯ РЕЧКА

125 лет назад, 15 (3) января 1891 года, родился Осип Мандельштам.

По улицам шатался, как Гомер,
И изучал науку расставанья,
Шум времени, бессонницу, скитанья,
С безмерностью поэта в мире мер.

Владивостокский пересыльный пункт.
В бараке лагеря «Вторая речка»
Под разговор о Данте бесконечный
Уходит жизнь... Нет больше сил на бунт...

А далеко на западе жена
Идёт под снегом в траурном костюме
И говорит: «Сегодня Ося умер.
Отмучился. Так радуйся, страна!»

Ох, сколько зим прошло! Могилы нет.
Есть улица, не в Питере – в Варшаве.
Но юбилеи празднуют в державе,
Поэта убивавшей много лет.

Он умирал, шутник, гордец и враль,
Так далеко от нищенки-подруги!
Под Новый год, под завыванье вьюги...
Вторая речка... Вечная печаль...

РОЖДЕСТВО

Наступит вновь рождественская ночь...
Я вспомню строчки доктора Живаго...
Метель, свеча, герой уходит прочь...
Но замело дорогу за оврагом...

Всё меньше яблок, золотых шаров,
Цветная мишура давно поблекла,
Похож на крепость необжитый кров,
И ветер, зимний ветер рвется в окна...

Нет, я не стану в эту ночь гадать.
Я знаю всё. Я ворожбе не верю.
Кому-то навещуют благодать,
Кому-то – только новые потери.

Как мне в Сочельник грустно! Где-то фронт...
Все так и не приблизились к согласью...
Любимые ушли за горизонт...
Но вновь Младенец улыбнется в яслях...

Ах, в эту ночь, рождественскую ночь,
Мир заискрится в снежном отраженьи!
Метель, свеча, и Он уходит прочь...
И страшно далеко до Воскрешенья...

НАМ ВЫПАЛО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ЖИТЬ...

Сто лет не сплю. И мертвый телефон –
Эпохи войн невыносимый фон.
Гудки, гудки, гудки – и нет ответа.
Как поминальный зуммер: где ты, где ты?

Всех унесло взрывной волной времен.
Я помню только несколько имён.
Но чем их меньше, тем они дороже.
Их голоса волнующи, до дрожи...

Я так боюсь остаться без любимых,
Людей, зверей, пока ещё хранимых
Той силой, что превыше тьмы и света!
Но телефон молчит – и нет ответа...

Нам выпало в ночное время жить,
Глаз не смыкать, на гуще ворожить
И ждать обетованного рассвета,
Читать стихи и доверять поэтам.

Эх, тяжек путь, в котомке – ни гроша
И так отчаянно болит душа!
Но перед утром чудеса бывают –
И голос в мертвой трубке оживает.

ПАМЯТИ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА

Эльдар Александрович Андерсен
Уходит, летит, улетает...
Эльдар Александрович Андерсен
О том, что он умер, не знает.

И ангелы крыльями белыми
Ему аплодируют плача,
И яблоки падают спелые
В Эдеме, у Бога на даче.

Эльдар Александрович, сказочник,
Волшебник, весёлый и странный,
Опять улыбается, кажется,
С небес его обетованных...

И Ханс Христиан его слушает...
И круг собирается дивный...
И музыку к этому случаю
Играет им Таривердиев.

Рязанов Эльдар Александрович,
За смутное время простите!
Мы любим Вас, Гений Закадрович!
Летите, летите, летите...

Карен ДЖАНГИРОВ

ТЕКСТЫ

* * *

Тяжела твоя ноша –
две половинки
яблока

* * *

Сердце вселенной
там, где летит
стрела

* * *

За спиной апельсина
качается о-
кеан

* * *

Жизнь – это Вдруг,
а все остальное –
время

* * *

Человек – это тайна,
в уголке которой
плачет большое
животное

* * *

Те, кто искали
Еву, нашли
осколки разбитых
женщин

* * *

В
каждой
ложечке солнца
толпы идущих
в рай

* * *

Как громко чирикает
ранняя осень
в капельке во-
робья

* * *

Дожив до весны,
небо ложится
на бок

* * *

В
воде
тонет
река, века –
в секунде

* * *

С годами осколки
снарядов, застрявших
в теле, сливаются
в колокол

* * *

Многое можно
простить, созерцая,
как нежно букашки
спинками трутся
о солнце

* * *

Так и живем –
тишиной называя
все, что не в силах
услышать

* * *

Рисуя границы,
думаем, что
идем

* * *

Как много дорога
прячет от глаз
идущего, чтобы
идущий дошел
до конца

* * *

В каждом убитом
желании плачут
травы, цветы
и звери

* * *

Море всегда
в одном миллиметре
от сердца

* * *

Мы возвращаемся из странствий.
Но возвращаемся не мы

* * *

Рассвет – на лапы ягуара
с полей густых стекает лань

* * *

Роза раздевшись,
оказалась монахиней

* * *

Слеза стучится головой
о камень

* * *

Ищет гора
к кому хоть на миг
прислониться

* * *

Забывая
самые яркие
самые чудные
самые-самые
звезды – становишься
незаметно становишься
нищим

* * *

Пока ты рисуешь
далекие дали,
рядом стареют
бабочки

* * *

Доверяя кому-то,
доверяешь отрезку
времени

* * *

Не строй ничего
на птицах – они
улетают

* * *

Не думай о том,
куда уплывают
твои корабли –
это плывет
вода

* * *

Отпусти
все, что еще
не явилось

* * *

Искал тебя
в каждом уголке осени...
А ты была там,
где цветет снег

* * *

В этом городе у меня никого не осталось.
В этом городе у меня никого и не было.
В этом городе я никогда не жил.
Так почему же с такой нестерпимой тоской
я вспоминаю об этом городе?

* * *

Возвращаясь осенними вечерами,
она любила раскладывать тонкими пальцами
удивительно тонкие камни, которым
я придумывал странные имена.
А когда они таяли и близилось утро,
мы тайком убегали из этого времени
туда, где торговцы веселым воздухом
за девять угаданных правильно птиц
продают золотые шары

* * *

Она любила ловить на рассвете детей
и сдувать с них губами солнечный пух,
который, сбиваясь в веселые стайки,
поднимался все выше и выше, пока...
А когда, удивляясь, я спрашивал... Тихо
она обнимала меня и шептала:
«Посмотри в небеса, разве это не чудо –
золотистые облака!»

* * *

«Твое море пустынно, – шептала она –
потому твои дни так похожи на дюны,
по которым лишь ветер и волны...», потом
подходила к окну и водила руками
по стеклам, откуда счастливые рыбы,
выплывая тяжелыми длинными стаями,
падали шумно... О, как мы любили,
стоять у обрыва, столкнувшись губами,
и слушать, как бьется в ожившей воде
мое осторожное сердце

Людмила КОСТРУБ

ОКЕАН, ИСПАРЯЮЩИЙ ПТИЦ

РОЗА, НЕСУЩАЯ КАМЕНЬ

В самом начале 90-х в один из книжных магазинчиков одного из провинциальных русских городов запорхнула совсем еще юная девушка... потому что там, на другой стороне планеты «аннушка разлила масло». Девушку звали Людмилой и это, пожалуй, было единственным, что Вселенная знала об этом создании в тот теперь очень далекий миг. Аннушка снова разлила масло, и взгляд любопытной девушки столкнулся с «Прикосновением» – книгой моих верлибров. Так началось Соитие. Планеты «Еще» с планетой «Уже». Сознания редкостной птицы с сознанием неба для тех, кто случайно выжил.... Души, восходящей к Солнцу, с душой, созерцающей смерть Заката. Сердечка, стучащего о Бесконечность, с Камнем, ломающим стены в Иное... От каждого соития что-то всегда рождается. В случае с нашей девушкой началось Возвращение. (Много позднее Людмила Коструб неоднократно мне говорила: «Такое странное чувство, будто я, наконец, вернулась домой...»). К тому, что лежало с ней в колыбели и что постепенно стиралось реальностью по мере ее нарастания. А оно – «Прикосновение» – безусловно, лежало под носиком этой малышки (в колыбели и до колыбели), еще не ставшее книгой, но существующее изначально, которое мне на исходе 20-го века выпало обнаружить.

Проходят годы, где-то опять разливается масло, и в августе 2008-го Людмила становится моей ученицей. Становится одной из многих, занесенных ветрами в мои леса... Леса, расположенные высоко в горах, отчего частенько их обитателям элементарно не хватало воздуха. Как следствие, в этих горных зарослях умирали многие. А тем, кому удавалось остаться, еще предстояло перейти этот мир хотя бы на одно мгновение. То есть, Видеть и Слышать то, что за пределами всех дистанций и, стало быть, есть Везде. И, стало быть, просто Есть. Ибо все, что Есть – Есть Везде, а все, что Отсутствует, бушует в местах сиюминутного назначения. И, как показала практика, Перейти Мир – оказалось много сложнее, нежели просто выжить высоко в горах. В полном объеме удалось это только одной, со всеми «тяжелыми» для нее последствиями, главное из которых – Приговорённость к Слову, как к высшей мере существования.

За 7 лет, проведенных в моем измерении, многому я научил Людмилу, ещё от большего отучил, но... Всё это техника постановки верлибра (и, частично, техника Ловли Сущего), или другими словами – техника огранки тех самых камешков, которые вместе с «Прикосновением» почивали в её самой первой кроватке. Не было бы этих уникальных осколочков, данных ей милостью Божьей, техника так и осталась бы техникой, как не более чем инструмент механической сборки текста. И не было бы сегодня великолепной книги верлибров, с которыми читатель ознакомится ниже и в которых поэза... Звенит родниками в ущельях Незримого... Ранними птахами начинает Утро... Высокой травой прорастает сквозь Вечность... Завершается розой, несущей Камень... И все остальное из этой же «редкой оперы», что и подобает делать поэзе, раз уж она – Поэза. Причём каждым представленным текстом, каждой строкой и буквой. Ни единого «рядом», «около», «близко»... «Пуля ложится в пулю». Что и позволяет мне утверждать, что это лучшая книга верлибров, сотворенная женщиной за все его времена. И потому сегодня я делаю то, что должен был сделать давно, ибо давно уже видел, что так долго и грустно пустующий Трон, наконец-то, нашел свою госпожу. И я говорю – Королева! Королева Русского Верлибра! Она – Людмила Коструб.

Президент «Ассоциации Русского Верлибра»
Карен Джангиров

* * *

Поэзия – это
кувшинные крики
дельфинов, сорвавшихся
в небо, железо
в крыльях, пустоты
мурлычущих в коже
кошек, бутоны
цветущих в долине
точек, шары
тюленей из лунного
сахара... и
океан, испаряющий
птиц

* * *

Как странно вращаться
в зеленой мерцающей
лошади, слушать
волны, цветущие
в камне, хранить
сломанный дождь
в бутылке

* * *

Слегка передвинуть
пирамиду Хуфу.

Чуть-чуть поменять
направление Нила.

Немного поправить
оттенки зеленого...

И опять оказаться
там же

* * *

Карену Джангирову

Слезы...
Слезы уставшему от
спазма сухих зрачков...
Руки с мороза в воду холодную, в воду...
Огромным стихам твоим: «Аллилуйя!»
Зеркало с трещиной величиной
в слово «Однажды», куда
можно войти и увидеть
реки обнаженной лирический бег,
имя которой –
«Рядом»

* * *

Слоны
раздвигают
пространство ушами,
чтобы вместиться
в реальность тропических
бабочек

* * *

Чуть промедлишь, и вот –
пустая река громыхает
ребрами мертвых рыб

* * *

Краешком Африки
чувствую, как
океан закипает
в капле

* * *

Научи меня двигаться
степью вокруг
стрелы

* * *

Рисуя границы у рек,
мальчик становится воином

* * *

Сжимая в ладони вселенную,
можно услышать, как в трещинах солнца
поют золотые ракушки

* * *

У рыб очень тонкие
стенки – они
подплывают друг к другу,
чтобы послушать,
как в них собирается
дождь

* * *

Чешуей
самых изящно
скользящих змей
покрывается ночью
нежная кожа
невест

* * *

Когда на земле
умирают фиалки,
время меняет
цвет

* * *

Океан выгибает
спину, устав
прыгать за чайками

* * *

Из трещин гор
весной сочатся
ласточки

* * *

Сочиняя пространство,
художник становится
точкой

ФЕВРАЛЬ НЕ СТОРОЖ ФЕВРАЛЮ

Андрей ГРЯЗОВ

* * *

Вернемся в прошлое столетье...
Где детством пахнут поезда,
Где жизнь пока что – междометья,
Но жадно дышит первым «да»!
Как свежевыпеченным хлебом,
И первым холодом в груди,
Чем вопросительнее небо,
Тем восклицательней дожди!

ФОРМУЛА РОСТА

Вячеславу Амирханяну

Я вспять иду к зерну от браги –
Отец, который прежде – сын,
Я прорастаю из бумаги,
Ростком засохших древесин.
Из бересты гудящей пущи,
Зажатый в цепкий клюв клеста,
Не умерший и не живущий
В прожилках клейкого листа.
Побегом старого набега,
Хазарских стрел, копыт, огня,
Я – из земли, куда телега,
Как пресс впечатала меня.
Я – корешок в глухом овраге,
И до рождения продрог.
Я – из густой полынной влаги,
Архивной пыли всех дорог.
Из неоформленного где-то,
Я – тот, кого пока что нет,
И не тянусь к теплу и свету,
Но чувствую, как тянет свет.

Расту сквозь сон слепой дворняги,
Пронизан болью сквозняка,
Я прорастаю на бумаге
Забытого черновика
Поэтом, лекарем, прохожим,
А может, пьяненьким дьячком,
Я – буква с тонкой нежной кожей,
И непослушным языком.

Я – слово первое до срока,
Начальных букв случайный стык,
Пока ещё не видит око,
И зуб неймет – молчит язык.
Не понимая назначенья,
До взмаха старенькой косы,
Я наклоняюсь как растенье
Под светлой тяжестью росы.

* * *

Малютка жизнь, дыши...
А.А.Тарковский

Малютка – жизнь, скажи, зачем, скажи,
Ещё в пеленках точишь ты ножи?..
В чужую жизнь вгрызаешься легко
И на губах и кровь, и молоко...
Ещё до жизни, как в черновике,
Что жжется в материнском молоке?
Чертополох, крапива, белена,
Прыщавая вселенская вина...

Подружка-жизнь, смотрю в глаза твои –
Слезой твоей стекает яд любви...
И линии читаю по руке,
И вижу их прощальное пике...
И, замирая, слышу голос твой,
Как он становится молчаньем и травой.

Старушка-жизнь, нелепая судьба
Горбатишься, горбатишься, горба...
Ты запоешь, а после замолчишь,
Мой крематорий, сплин мой, ранний чиж...
Кто спутник твой? Кто? Вечный жид и жлоб?
Все наши стрелки загоняет в гроб.
А ты твердишь – держись! Кричишь – держи!
Я жизнь твоя! Я – жизнь, я жи... я жи...

* * *

Что происходит? В самый тихий омут
Уносит жизнь волнением волны,
И если кто-то точку слуха помнит, –
Как в детстве – ставят в угол тишины.
Что разделило нас, как Стрелку с Белкой?
По ходу звездно-вакуумной войны,

Мой ангел в сердце забивает стрелку,
Чтоб был прямее – угол тишины.
Ты повторяешь слово многократно,
Как повторяет псих или дитя,
Ты говоришь: возьми меня обратно,
Туда, где тихо плачут и молчат.
Молчат светло, тепло, исповедально,
И грех – всего лишь свойство стороны,
И где целуют дерзко и нахально...
Возьми меня за угол тишины...
Там детство пахнет спичкой, нафталином,
И плачет кровь на кончике пилы...
И, поднимаясь, улетают клином
Южнее сердца острые углы...

* * *

Небо желтое от света,
Солнца лопнувший желток
Освещают два предмета,
Две судьбы на посошок.
И витые закоулки
Тихи, гулки, как шаги,
Две судьбы играют в жмурки
И расходятся круги
Как от брошенного камня,
Как от брошенной жены,
В луже мутного сознанья
Чистой правды и вины...
Все вернется, обернется,
Пепел-Феникс – все одно.
Ослепляет блеском солнце,
Щуря черное пятно.

СВЕРХНОВАЯ

В кармане сада черная дыра.
Звезды падучей след, или костра.
И ты моя залетная сестра,
Щелчком луну гасившая, как бра...
Я рядом сяду и с волос стряхну
Застывший пепел и дерев труху.
Жучка и первобытный ночи страх,
И чью-то ласку в жестких волосах.

Я разбужу и мы пойдем с тобой
Туда, где Чингачгук и Зверобой
Заваривают чай из чабреца,
И ждут звезды сверхнового гонца.
Раскуривают мир в своей трубе...
Но я не расскажу им о тебе.

* * *

Зови меня по имени – когда
Ворвутся в Киев призраки Чапая,
Кипит во мне не кровушка – вода,
В какой-то мир высокий выкипая.
Зови меня собачьей кличкой – где
Я просто жил едиными хлебами,
Припав к ослепшей солнечной воде
Сухими от неверия губами.

* * *

Февраль не сторож февралю,
На месяц вешают в петлю
Свой высокостный мозг,
А март снимает капюшон,
Пьет из подснежников крюшон
И гладит сизый нос.
А я шатаюсь без пальто,
За что купил, продал за что?
Не важно, тает снег.
И я ещё к тебе вернусь,
В духовке ждёт хрустальный гусь.
И наш медовый век.

* * *

Скажи ему по самое скажи.
Чтоб в наковальню стукнул молоточек.
И степлером осенние дожди,
Чечеткой, прошивали толщу ночи.
Я знаю, здесь напросится пробел,
Не потому, что рифма – полукровка,
А потому, что между наших тел.
Вползет зачем-то божия коровка.
Взгляни в неё, по самое взгляни,
Ты знаешь, как кастет стихотворенье?
По линии петляющей жизни,
Из точки слуха в многоточье зренья.

УТРО

Я на скале с улыбкой горца.
Мигает море сотней век.
В одной руке родится солнце,
В другой – счастливый человек.

ДЕГТЯРИ

На Дегтярёвской всюду дегтяри,
Здесь ложкой меда август застывает,
Разбавив утро каплями зари
И каплей ртутной красного трамвая.
Здесь старый враг почти что старый друг,
Он, раздобрев, предстанет в лунном свете,
И, безусловно, лучше новых двух,
Хотя бы тем, что был когда-то третьим...
Здесь старый друг уже и тем поэт,
Что состоит из плюша и из пуха,
Пусть сочинил за десять долгих лет
Пяток стихов для внутреннего слуха.
Спрошу: «Как жизнь?» Ответит: «Без пяти...»
И убредёт за призраком трамвая,
Строфой тяжелой на своем пути
В потемках душных искры высекая.

Константин Ильницкий

СВИДЕТЕЛЬ ПОТРЯСЁННЫЙ

SAGRADA FAMILIA*

Собор из каменного пуха
и вьющихся кирпичных нитей.
Стяжание святого духа
здесь опредмечено в граните.

Времен свидетель скоротечных
стал знаменитым долгостроем.
Путеводитель к жизни вечной,
он будет вечно недостроен.

Явление людского гения –
как шоковая терапия,
когда обрушится сомнением:
не к той нас жизни торопили.

Не те заложены критерии,
увы, в житейские законы.
Не в тех богов не то чтоб верили,
на всякий случай бьем поклоны.

А может, в тех! Мир так устроен –
где добродетель, где злодейство...
И, может, верно недостроен
собор Святейшего Семейства.

Январь 2015 г., Барселона

СВИДЕТЕЛЬ

Я был свидетель потрясённый
вполне космических явлений:
как в океане полусонном
играли звездами тюлени.

Как мотобот сорвало с талей,
полярный день ответил эхом,
и ткань созвездий расплескали,
пока мешали мат со смехом.

---

* Собор Святейшего Семейства в Барселоне, который строил гениальный архитектор Антонио Гауди.

Я был свидетель изумленный
таких тропических закатов,
где солнце с карри и лимоном,
муссон с ванилью и мускатом.

Где солнце медлило с уходом
и, исчерпав все аргументы.
из-под воды, под теплоходом
струило золотые ленты.

А море было синим-синим.
Пронзительный волшебный цвет.
С той синью непереносимой,
что ведома одним любимым,
когда нас нет.

В проливе Дрейка брызги соли
принес с собой туман летучий.
Я видел, как вулкан Стромболи
дымами наполняет тучи.

А море Чёрное явило
с кефалью запахи полыни.
Поверьте, это правда было.
О том свидетельствую ныне.

Январь 2015 г., Касабланка

ГРИНВИЧ

Кто бы как бы не был строг,
если только в Гринвич зван,
пропускает между ног
нулевой меридиан.

Впрямь захватывает дух,
только ноги развели,
пребыванье сразу в двух
полушариях Земли.

Фотокамеры щелчок.
Не один такой дурак.
Вот вам Запад, вот – Восток.
Правда, хорошо-то как!

Эх, закаты да рассветы –
орбитальная краса.
Вся планета разодета
в часовые пояса.

Лихо во Вселенной кружит,
восхищая Млечный путь.
А кому-то будет хуже,
если пояс расстегнуть?

Январь 2015 г., Фуншал

ТАЙНА ВКЛАДА

Всё, что нажил, то и прожил
по тавернам, по музеям.
Разбросал по миру гроши,
стал смешливым ротозеем.

Я во все концы планеты,
где был счастлив улыбнуться,
инвестировал монеты,
чтобы вновь туда вернуться.

Инвестировал с размахом:
где с моста в стремнину Дарро,
где с причала в воды Тахо,
где с кормы у Гибралтара.

Мои смайлики-монеты...
Кто-то спросит, где здесь профит,
утопить, как кануть в лету,
королей чеканный профиль?

Просто мне вернуться надо
в те места, что сердце грели,
где следят за тайной вкладов
и лягушки, и макрели.

И опять лечу по свету.
Нет минуты оглянуться.
Я ещё не всю планету
обогнул, чтобы вернуться.

Сколько чудных мест в Китае,
как прекрасна Кумбре Вьеха...
Только жизни не хватает
ни вернуться, ни доехать.

А планета – как монета.
Инвестиция – что надо.
Знает кто-нибудь об этом?
Но хранится тайна вклада.

Май 2015 г., Дублин

* * *

Мне свобода безверия ближе,
чем грузила церковных вериг.
Но в структуре мышления вижу
и абсиды, и алтари.

Это просто не очень заметно,
как в привычных конструкциях фраз
потаенная ветхозаветность
каждый раз формулирует нас.

Всё пространство житейской дороги
так же купольно, как небосвод.
Кто на выход – слабеют ноги,
а душа тренирует взлёт.

Тут и церковка на вершине,
где, пространство собрав в щепоть,
высотой, глубиной и ширью
осенит вдруг тебя Господь.

Май 2015 г., Корк

ПО КРУГУ

Хоть утром навсегда простились,
но вечером опять свиданье.
Вся жизнь – как тест на совместимость
с побегами, любовью, бранью.

Но этот бег уже по кругу,
где раздражения терпимы,
и прорастание друг другом
становится необратимым.

Ты ратуешь за перемены,
в родные стены возвращаясь.
А я со всей своей вселенной
в твоей ладошке умещаюсь.

Июль 2015 г., Котор

СЧАСТЬЕ

Был, и есть и буду счастлив
до конца, пока живой.
И не важно – день ли, час ли.
Это принцип и настрой.

У изгнанников из рая
впереди лишь терпежи.
Но себя превозмогая,
можно осчастливить жизнь.

И происхожденье чуда –
в этом росте над собой.
Чтоб сказать: «Я есть и буду.
До конца, пока живой...»

Июль – август 2015 г., Пераст – Одесса

СЛИЗНИ

Листок переползают слизни,
а селезни утюжат пруд.
Я в подетальный список жизни,
конечно, внес бы их маршрут.

Но списка нет. И сад осенний
наполнен запахами прели.
Он лишь нарезка из мгновений,
что выжить в памяти сумели.

А в памяти тускнеют лица,
с дымком костров уйдут детали.
Увы, желанье сохраниться
реализуется едва ли.

Тропинка вьётся луговая,
через мгновенье дождик брызнет,
и жизнь, как листья, подгнивает
в предчувствии скольженья слизней.

Сентябрь 2015 г., Одесса

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Владимир ГУТКОВСКИЙ

* * *

Дрожит под потолком от лампы круг нездешний
И дуновеньем уст касается лица
Парящий ореол божественной скворешни,
Невидимых садов летучая пыльца.

А штору отогнёшь – там день давно в разгаре.
Струением своим к зениту взор увлёк,
Где лучезарный пар сладкоголосых арий
И призрачных миров неуловимый ток.

То слабая душа бессмертия взалкала
И облачка мазок на глади голубой –
Инверсионный след небесного вокала –
Звучит музыкой сфер и манит за собой.

Но досыта снабдив надеждой бестолковой,
Внезапно снизойдя и вновь покинув вдруг,
Оставит там тебя беспомощного снова,
Где лампы над столом дрожит нездешний круг.

* * *

Родина моя – Евбаз!
Вот ответ на ваш вопрос,
почему я Жидкоглаз.
Жидконос. Жидковолос.

Говорят, что был Исход.
Кажется, ещё Завет.
Всё давно прошло, и вот
нынче и в помине нет.

Наш Отец настолько дряхл,
что не может ничего.
Время обратилось в прах.
На престол взошёл И.о.

В глубине священных книг
то ли сказка, то ли быль.
Но, когда вникаешь в них,
то глотаешь только пыль.

И от нестерпимых уз,
и от бесконечных дум
помутился и обрюзг
мой не больно крепкий ум.

Как мечтал один Арап –
дескать, «тленья убежит»!
Но судьбою смерть поправ,
Вечен в мире только Жид!

Жизнь несущий на весу.
В душу тесно облачён.
Что скитается вовсю.
Проклят. Этим и прощён.

Ну, а я уйду туда.
В царство призрачных теней.
Понимая, никогда
больше не увижусь с Ней.

В рай довольно узок лаз.
Но, похоже, кончен рейс.
Как ты там, родной Евбаз?
Я уже на месте. Хвейс!

* * *

Я сегодня не попал в дождь.
Почему-то не попал в дождь.
Я по-разному старался попасть.
Я его подстерегал за углом.
Я сквозь струи ливня шёл напрямик.
Только он всё ускользал от меня.
И опять я не попал в дождь.

Столько лет не попадаю в стихи.
Много слов есть и больная душа.
Знаю как и понимаю зачем.
Начинаю хорошо. Тон держу.
Даже слёзы вызываю иногда.
Только это... только это – не то.
Столько лет не попадаю в стихи.

Я давно не попадаю в любовь.
В свет и мрак. Полёт, паденье, провал.
И неважно, что умею летать.
И мой сон летит рядом со мной.
Обгоняя, возносясь к небесам.
Возвращаясь, раскрывая глаза.
Я давно не попадаю в любовь.

Я всегда не попадал в жизнь.
А теперь? А что уж теперь.
Жизнь кончается, проходит. Она
не глядит ни в упор, и никак.
Лишь бросает через плечо –
Никогда тебе в меня не попасть!
Я всегда не попадал в жизнь

Вот и снова в дождь не попал.

Я БЫЛ НА РОДИНЕ ЛЮБВИ ...

Я был на родине любви.

То, что я там увидел,
могу только перечислить.
Описать не смогу.
Не сумею.
Там нужно ходить босиком.
Но суровые служители на входе
всем выдают белые тапочки.
И предусмотрительно
наглухо застегивают души.
Это безжалостно, но милосердно.
Иначе они могут просто
не выдержать и разорваться.
Ещё там заставляют
надевать защитные очки.
Они сильно искажают,
а помогают слабо.
Но спасибо и за это.
За частично работающее зрение.
Это единственное
доступное там чувство.
В остальном
ты глух и безгласен...

Я был на родине любви.

Там очень умелые гиды.
Нашего брата туриста
они повидали всякого и немало.
Никто не хочет возвращаться оттуда.
Но никому не удается остаться.
Некоторые поддаются увещеваниям,
внимают голосу разума.
Цепляющихся не слишком деликатно
выпроваживают пинками.
Ничего не поделаешь –
время сеанса ограничено...

Я был на родине любви.

Визу туда выдают только один раз.
Не пытайтесь утерять паспорт.
Или подделать документы.
Отпечатки глаз хранятся вечно.
Вас больше туда не пустят...

Я был на родине любви.

У меня была хорошая группа.
Редкая группа крови.
Мы и сейчас иногда встречаемся,
хотя это и против всех правил.
Долго говорим по телефону.
Говорим о другом,
но каждый из нас помнит –
мы вместе были на родине любви.
Но они уходят. Уже уходят.
Скоро я останусь один.
Или их оставлю одних...
Я был на родине любви.

Я смотрю в окно.
Ласточки спустились совсем низко.
Такая понятная примета.
Я становлюсь назойливым и однообразным.
Как дождь.
Но пока он не пошел.
Пока я могу повторять это.
Я говорю снова и снова...

Я был на родине любви.

КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ОСЕНЬ

В созвездье впечатлительных гостей
руины поэтических страстей
воздать согласны каждому по вере.
Естественное сопряженье скал
собою представляет пьедестал,
где профиль будет не один примерян.

Пролог, переходящий в эпилог,
Возвышенно высокопарный слог,
Созвучия, богатые фонемы.
И сквознячок уносит легкий пар,
Отходы снов, подкорки вялый жар
Оскомины навязчивые темы.

Вещать посредством чистого листа,
смежив глаза, не разомкнув уста,
лишь изредка душою – чаще чревом.
А в промежутках оседлав кровать,
перебиваться, как перебивать,
и знать – тебе всегда внимает Ева.

Но всё-таки тащиться по следам,
что оставлял стреноженный Адам,
и загребать веслом по сонной глади,
попутно занося себе в актив
недопрочтенной жизни детектив,
и так и не решив – чего же ради.

Да, многолики здешние места,
куда я возвращаюсь неспроста
по прихоти души. Но, в самом деле,
их снова обходя за пядью пядь,
не понимаю – что могу понять
в истоптанном словами Коктебеле.

БОЛЬНИЧНОЕ

Где-то так влачатся дроги.
За стеклом развозки
серый краешек дороги.
Беглые берёзки.

Фары. Встречные маршрутки.
Ранняя кафешка.
Предпоследние минутки.
Медленная спешка.

Так. Приехали. Достигли,
наконец, предела.
Это вам не фигли-мигли,
а серьёзней дело.

Кто последний? Я за Вами, –
болтовня пустая.
Вот и я сюда вливаюсь.
В данный быт врастаю.

Не вода, что точит камень,
а смена регистра.
Отвыканье-привыканье
происходит быстро.

На своём халате рваном
туже стянешь пояс.
И на стуле прикроватном –
роковая повесть.

Разрежаясь, свет истает
в приглушенном лае.
Я сочувственно читаю.
И сопоставляю.
С тем, что в отдаленье мнилось, –
здесь соприкасаюсь.
Ничего не изменилось,
Александр Исаич.

Не особенно надеюсь –
осень в зимней хмури.
Тот же корпус, так как дело –
не в архитектуре.

Та же сцена Мельпомене –
базис и основа.
Та же вкрадчивая бренность
бытия земного.

Здесь, в преддверье многоточья
темноты острожной,
вместе – врач, водила, летчик,
признанный художник.

От тоски ночной капризной
задвигаем шторы.
И о жизни – только жизни –
водим разговоры.

Опасения, что ныне
вдруг протянешь ноги,
отгоняя прикладными
мыслями о Боге.

Канцлер выставит оценки –
с крючка не сорваться.
Скорбный лист на бледной стенке –
график операций.

Ну а что душа больная
пока не на тризне,
грубо так напоминают
плановые клизмы.

Сладострастия отмычка,
тихая отрада –
чтоб поласковей сестричка
выбрила, где надо.

Память – яркой вспышкой блица.
А на крайний случай
можно молча помолиться,
жалко поканючить.

Ночь. Над миром воет ветер
фронтально и тыльно.
И звезда на небе светит
жадно и обильно.

Что от сотворенья длилось –
пребудет до века.
Ничего не изменилось
в смертном человеке.

То, к чему душа стремилась,
то, о чём писалось.
Ничего не изменилось,
Александр Исаич.

Страшный суд, конечно, страшен,
но в запасе вера,
подпитавшаяся Вашим
сумрачным примером.

Что грядущее пророчит,
что всего дороже...
Стоп. О впечатленьях прочих
напишу чуть позже.

Час настал. Нет места страху.
И себя не жалко.
Все. Пора снимать рубаху.
Подана каталка.

* * *

«Ветреный летний день».
Так же как и всегда.
Я посижу в тень,
вспоминая себя.
Я посмотрю взгляд,
брошенный на вчера.
Я прошепчу – Брат!
Я промолчу – Сестра...
По ногам холодок
тянет из-под двери.
Я похожу без ног
по росе у зари.
Давнего лепета бред.
Хроноса чёткий щелчок.
Я не хочу – Нет!
Я ещё новичок.
За потом разберусь,
страх разжаловав в грусть.
Пусть и не повторюсь.
Не повторюсь. Пусть.

* * *

Неба звездная крона.
Сердца смертная рана.
Трубы Иерихона.
Берега Иордана.
Не разорвать оковы.
Извечна времени смута.
Но главное – это слово,
его бы не перепутать.

В предвкушенье покоя,
подведенья итога –
любви поклониться в пояс,
оглянуться с порога.
Эхом дальнего зова,
вожделением яви
в ночи пришедшее слово –
утром прошепелявить.

Да, отсутствие толка,
цели, смысла, резона.
Так же рвется, где тонко,
как и во время оно.
Жизнь не начнется снова.
Даже в посмертной славе.
И все-таки – хоть бы слово
после себя оставить.

Александр ШИШКИН

ВСЕ НАРАСТЕТ

* * *

Каждый пишет в будущее,
А думает – навсегда.
Кровью набухшее –
«нет» и «да»,

Точно под ногтем ссадина,
Потемнеет. Ноготь сойдет.
Ничего нам не дадено.
Все нарастет.

19.05.13, Севастополь

* * *

Эта внутренняя Монголия,
Степь души и бесснежный мороз.
Солнце слепит синевою горнею.
С кого спрос?

У дверных петель кожа старая
Держит холод, но тянет щель.
Здесь зажился задаром я.
Синь что Гжель.

И по капле тепло выветривает
В небо, голосом, в дверь.
А еще в Монголии время из тверди
Бывает, поверь.

30.12.12

* * *

Передали мне от матери посылку,
Сапоги да бушлат,
Чтобы долго их носил я
Без заплат.

Чтобы не студился,
Не мок,
Чтоб, когда сносился,
Кончился срок.

19.05.13, Ялта

* * *

– Нету сладу! Нету сладу!..
День как день. Чуть поближе к аду.
Сохнут кроссовки, промокшие в слякоти.
Неужели и мы подростками блякали,
Бабки пороли нас, матери плакали,
А отцы натирали на бляхах якори?
Ерунда какая-то. Быть не может.
День как день. Только ад моложе.

23.02.13, Сиануквиль

* * *

И мы с тобой из те(к)ста одного.
Прочитан день и вылеплена форма.
И ночь стоит огромною стеной
В полмира, раздирая птицам горло.

И речь постичь, и выучить язык
Не в силах тьма. Так предок наш томился
На ощупь и на слух примеривать слова
И верещать, как птица.

Там где-то за стеной у времени и тьмы
И ты вжимаешься в родную половину,
Но знаем точку мы,
Где хрип гортани, выпрямивший спину.

14.04.13, Пхукет

ААА

Жизнь прошла непроглядная
От тюрьмы до сумы,
С Дон Жуаном и Анною
У Демьяна-Косьмы.

На Ордынке шесть метров
И пустая кровать,
И от детства «зупинка» –
Вспоминать, вспоминать...

23.03.13, Пхукет

* * *

Дети редко читают стихи отцов.
Когда ребенок рисует,
родители думают,
видят его лицо.
А дети думают,
что сами они по себе.
Когда оборачиваются,
поздно и не по себе.
И уже не надо читать,
прочли уже мудрецов
Больше, чем заподлицо.
Детям осталось понять
в их взрослой судьбе
Их детей самих по себе.

19.05.13, Алупка

ОСТАННЄ ТАНГО У ВАРШАВІ

Ігор БЄЛОВ

ПЕРЕКЛАД З РОСІЙСЬКОЇ ЛАРИСИ АНДРІЄВСЬКОЇ

* * *

Коли посуне музика по трупах,
дірявлячи виски, мов дробовик,
ми вийдем у фойє нічного клубу
й минуле враз мене повалить з ніг.

Це й є життя – воно зійшло з екрана
і нам права урізало тоді ж.
Жива вода в роти тече з-під крана
й холодних кахлів найбілішу з тиш

цілує в лоб мелодія усяка,
і знаючи, – не вшиється – кранти,
спливе, мов кровотеча, і просякне
пальта демісезонного борти.

Та в парку божім кожну хвіртку видко,
під каблуком земля співа з листа,
оскільки на живу – ще й досі! – нитку
намертво зшито вистиглі вуста

рядком, убивчим, наче п’ятитонка,
тому блідим фантомом, хіть-не-хіть,
розкисла від горілки оболонка
над прірвою ошатною стоїть,

і на наступний крок шукає звагу,
допоки денне світло плеще з ламп,
й мені над тім’ям ампулу, мов шпагу,
розламує сонливий ескулап.

ВІРШ ПРО МАЛЮКА ТА КАРЛСОНА

...Карлсон харкнув мимо смітника
й полетів геть.
Данила Давидов

задля застуджених голосів у нічних магазинах
задля гарячих сердець під капотами легковиків
опівніч у середмістя злітаються душі красивих
розумних і помірно вгодованих чоловіків

захоплюють кафе і бензоколонки
вояжери у найглухіші кути
пострах вітчизняної оборонки
один із них я а можливо й ти

на видиху із зірками діляться хмелем
у скверах розлякують зграї ворон
і від'їжджає твоя стокгольмська стеля
у загарбаний бур'янами мікрорайон

ти ждеш допоки фінгал під оком погасне
прокидаєшся мертвим і більше ніколи не спиш
і якось гарного дня читаєш на кухні гасло:
«ти не станеш дорослим Малюче надію облиш»

життя розправляється з нами одним ударом
коли осінь долає горлянки ламкий рубікон
а те що горить це просто місяць над баром
подібний до монети у п'ять шведських крон

і ми п'яніємо тільки нюхнувши корок
погибаємо з грацією підбитого корабля
але кнопку на пузі шукаємо до упору
якщо раптом з-під ніг утікає земля

ОСТАННЄ ТАНГО У ВАРШАВІ

нас обох розвозить від слів розлуки а ще тому
що збиває з ніг вогненна вода фрі-джазу
перепрошую *паньство* я футболку з тебе зніму
це усі проблеми знімає зразу

все що взято у музики повернемо їй сповна
і вона погодиться нам залишити
тільки нервові клітини де окублилася звірина
і самокрутку до смерті не добиту

чи то краплини дощу чи то лак у волоссі – дарма
так чи так на порядок поближчали хмар дивовижі
наші короткі життя вмить проковтне пітьма
наче відеомагнітофон – касету
з «Останнім танго в Парижі»

бог мого сновидіння він ні хіра не простий
там де кружляє нон-стоп і гаражі темнаві
у повен зріст виробляє він музику не для товстих
значить буде іще у нас бейбі
останнє танго в Варшаві

хай шастають за тобою невиспані вартові
кожен хто різною мірою взнав тебе зблизу
і прикордонник поляк перегортує паспорт твій
як донжуанський список

заіржавлена магнітола грає на дні ріки
в кінозалі вмикають світло й забутий голос
лоскоче нерви:
вставай тут Марлон Брандо поліг за твої гріхи
а ти спиш наче мертвий

ЛИСТІВКА ІЗ ВІЛЬНЮСА

картонний метелик випурхнув із руки
і розтавши в повітрі дверима хряснув
нержавіюча злива мовчки стоїть навкруги
й не жалкує часу

я ніколи не взнаю – бо почерк розмок укінець
де тепер тебе носить мовби у пляшці цидулу
і в якому кафе цепеліна гучний свинець
виделка з ножем розітнули

під якими сузір'ями затамувавши дух
за тобою пильнує уже пів-вокзалу
а з динаміків ллється почерез пруг
перший весняний грім зі смаком металу

я тебе пам'ятатиму навіть коли помру
отак вони і звучать на вулиці й у квартирі
слова що не перепали чайкам здмуханим за виднокруг
і не збагнеш що у запису а не в прямому ефірі

пісню про два світи на кордоні крутять котра
затикає пельки морю та антициклону
це віленський швидкий мчить на усіх парах
жемайтійського самогону

ДОННА АННА

Сніг у жовтні – те саме, що удар нижче пояса.
Підмосков'я хворіє світанком
і розріджується туман.
Усе, що тобі залишилося – вісім годин
до поїзда,
сюжет для повісті та пластиковий стакан.

У твому рідному місті півроку стояла жара,
на вокзалі квітла черемха і плакав акордеон,
але надходять приморозки, печалиться дітвора,
безнадійний окуповуючи стадіон.

Твої кавалери бритоголові місяться день за днем,
проклинають буржуїв і не жалують алкашів.
А розмова довкола політики та інших серйозних тем
пропахла смертю, як доза афганської анаші.

Анно, минуле не вернеш, мляво збігає ніч.
Ти прийдеш на працю, надягнеш білий халат
сестри милосердя, знов у твоєму вікні
просмерділий мікстурами листопад.

А все решта забуто – пережито, точніш.
Тільки згадуються часом померлі від ран
подільники чоловіка, що поліг у Чечні,
та застрелений бандитами Дон Жуан.

МОЄ ЧОРНЕ ЗНАМЕНО

Столиця лаштує довгі ножі,
сонце відчалює у офсайд.
Райдуга в люках калюж лежить,
начеб її закатали в асфальт.
І, мов обдовбашений санітар,
манячить у дверях нічний бульвар.

По горло вогнями він нас заллє
й потягне туди, де гримить Колтрейн,
де мама-анархія в дезабільє
мовчки зціджує свій портвейн.
Тут на гостині – котрий то вже рік? –
усі ночі поспіль я жду зорі.

Сірник, догорівши, летить із вікна.
В легенях солодкого диму сувій.
Примарний голос – портрет Махна,
що був чорно-білий, тепер живий.
Я сторожко відповідаю стіні:
«Здрастуйте, Несторе, ви це мені?»

Він мовить: «Амба, весни не чекай!
Ви просрали завіти батьків, як один.
На вбитій карті заліг твій край
суцільною пасткою зі свердловин.
А у віскі хитається, мов пароплав,
скривавлена крига кронштадтських розправ.

Вам, хлопці, з вождями не повезло.
Роздув силікон їхні м'язи круті.
Ось де всесвітнє чаїться зло
з газовим вентилем напоготів.
Ще й флот Чорноморський забімбав усіх –
сталевим коліном нас лупить під дих.

Де твої милі? І днем із вогнем.
Я всі усмішки їхні назавжди зітру
із газетних шпальт, що пропахли свинцем,
а відтак з «однокласників. крапка. ру».
Витопчи офісний свій планктон
і слідом за мною – *c'mon*!

Рви пельку системи, допоки життя.
За борт її шавок усяких мастей.
Хай совість спаковує коркотяг
у *чвальні походи потьмяних смертей*.
Спершу без крові беремо вокзал.
Словом, вирішуй. Я все сказав.

І під гуркіт епох він відходить ген,
Судьба учиняє похабний рух.
Штори шерегом чорних знамен
Шепіт нестямний сіють навкруг.
І врешті вир чорних постелей мене,
мовби у бочку з мазутом, макне.

Поміняло паролі все в світі всуціль,
ось тому й по-дорослому крутить нас
наш персональний підскроневий біль,
уже непохитний, немов спецназ.
І неждано доля, колись легка,
в кухлі пива втаїть удар клинка.

І об'явить нам обрій вогненну грозьбу.
Наші джунглі камінні понищив напалм.
І з бубновим тузом на кожнім горбу
Кінна армія суне назустріч нам.
Ось король, далі дам і валетів ряди.
А за ними на всьому скаку – кінь блідий.

І нам замінить повітря повіки-віків
позолочена музика їхніх підків.

ПОБЕГ АРБУЗОВ

Елена ШЕЛКОВА

* * *

Планету назови мою Печалье.
А на планете этой, как цветы,
Растут голубоглазые молчанья,
И пляшут, пляшут лунные коты.

Меня учила нежность быть спокойней
И провожать моё и не моё.
Счастливых поездов тебе, перонье,
Желает разбитное вороньё.

Езжайте, поезда, не очень шибко.
Кондукторша, не будь в пути лиха.
Ты совершила грубую ошибку,
Богатого оставив жениха.

Пусть не заманят к морю крики чаек,
Не завлечёт прогулкой свет Венер.
Но если, вправду, золото – молчанье,
То я давно уже миллионер.

ЕСЛИ ТЫ МОЁ СТИХОТВОРЕНИЕ

Мы с тобой ходили в сновидения,
Я ловил сачком снега зимой.
И не знал, что ты – стихотворение,
Всё ещё не созданное мной.

Уносил снега под солнце, в рощицу,
Чтобы снег не подхватил бронхит.
Ты смеялась:
Если вдруг не сложится,
Сложатся прекрасные стихи!

Как я злился!
Хочешь – будь неверною,
Можешь чашки и меня побить.
Но просил я до стихотворения
Никогда меня не доводить!
Довела.

И вот однажды в мир немой
Цвета снега стих упал в тетрадь.
Просто стать строкой незабываемой:
Нужно научиться забывать.

Поделись талантами забвения.
Как сбежать,
Найти другую грусть,
Если ты – моё стихотворение,
А стихи я помню наизусть?!!

ИСТОРИЯ ОДНОГО СУМАСШЕСТВИЯ

Чтоб серым не ходить по белу свету,
Я объяснял прохожим невезучим,
Что паровозы, как стихи поэты,
Из труб для неба сочиняют тучи.

Я толковал в их деловые лица,
Зелёные от гонки и прогресса,
Что листья в октябре – самоубийцы:
Срываются с дубов под мерседесы.

Что яблоку бывает очень страшно,
Когда всё ближе, ближе чьи-то зубы...
У яблони от горя сносит башню
И замирают даже лесорубы!

Не наступай на корабли, прохожий!
Припомни, как пускал ты их по луже...

Меня прервали. Врезали по роже.
Я только начинал о самом нужном!

Меня поймали, повели конвоем,
Я брёл в кашне, наручниках, печали.
И понимал, что ни стихом, ни воем
Не докажу, что все мы одичали.

Я вырывался, я просил ответа,
Душа хотела ввысь, туда, где боги!

...Какая-то ужасная планета
Всё время попадалась мне под ноги.

* * *

У маленьких принцев – большие ресницы.
Закроешь – и ты на одной из планет.
Исчезли кареты, ушли колесницы
И даже трамваев почти больше нет.

Бегут по границам железные птицы
От Марса до Солнца за десять минут.
Но у самолётов печальные лица.
Что это за птицы, когда не поют?

Всему есть граница – везде проводница
Проводит, посадит и чаю нальёт.
А мне бы от скорости этой укрыться
И ехать в трамвае всю ночь напролёт.

От рельсов и станций беги, мой Гораций
К деревьям, деревням, да хоть – к праотцам!
Кому это снилось и как могло статься,
Что отдан мой город ТАКИМ мудрецам?

...а я всё стою и прохожих пугаю.
И «кто ты такая?» кричат они вслед.
А кто я такая?
А я не такая.
Я всё жду трамвая,
Которого нет.

* * *

Куда идём мы с Пятачком?
Винни Пух
Брось монету в море, чтобы вернуться сюда.
Примета

Ты подарил мне пятачок
На память, просто так.
Я был когда-то дурачок,
Теперь – большой дурак.

Пятак, зажатый кулачком
Живёт в моём дому.
Куда идём мы с пятачком,
Не скажем никому.

На свете много есть примет,
Но верю я лишь ей:
Забросишь горсточку монет –
Вернёшься поскорей.

Летят монеты вглубь реки,
В колодец и фонтан.
А я кидаю пятаки
За твой большой диван.

* * *

Это глупо и нелепо,
Я с ума сойти готов:
Васильки – осколки неба,
Слишком много васильков!
Словно ангел от печали
Стал крушить стекло небес.
И осколки опадали,
И врастали в поле, в лес.
Никогда спокойным не был.
Вижу синие поля.
Значит, поле – это небо?
Значит, был на небе я?
Значит, рвал я не цветочки,
Мастер васильковых дел,
А, дойдя до крайней точки,
Небо вновь собрать хотел?..

* * *

От неба убежали капли
И небо стало горевать.
Я, кажется, влюбился в грабли,
И наступаю я на грабли,
И наступаю я на грабли,
Чтоб целовать их, целовать...

ЛОПУХ

От жары завяли все стихи,
От жары расплавились печали.
Я хожу, срываю лопухи,
Чтоб их джипы не переезжали.

Сколько предстоит ещё стихов
Поздней ночью или ранней ранью?
Я хожу с букетом лопухов,
Чтоб лечить тех, кто меня поранит.

И бежит на свет девчонка-жизнь...
Свет в конце тоннеля – это поезд.
Ты лопух на сердце приложи,
Приложи, пока ещё не поздно!

Я один, но знаю – стою двух,
А быть может, даже целой роты.
Ведь таких, как я, зовут Лопух,
Нас срывают, чтоб лечить кого-то...

ПОЕЗД

Странники со странностями. В страны
Чёрт их и кондуктор вновь понёс.
Поезда, я знаю – наркоманы.
Поезда не могут без колёс.

В знойный день и в лютые морозы
Мчится поезд – в город, в море, в лес.
И живут под кайфом паровозы,
От того так часто сходят с рельс.

Скорость увеличивая, дозы
Поезд по дороге всё сметал.
От чего так любят эти розы
Расцветать на рельсах, между шпал?

Он тебя проехал, не заметив,
Он тебе ни стука не сказал.
Но о чём ты думал, семицветик
Поезду глядя во все глаза?

Что мы ищем, сердце рвя на части?
Мы найдём покой, нам повезёт.
Только не меняет адрес счастье,
Счастье там, где нынче горизонт.

Я лечу, вовек не успокоюсь,
Здесь не те, а там не то, не то...
Я прекрасный сумасшедший поезд

...за которым не бежит никто.

ТЕЛЕФОННЫЙ МОНОЛОГ

Я – телефон. Я слышу голоса.
Я знаю, это признак паранойи.
И снова обострение – весна.
В меня поют, смеются, плачут, воют.

Звонки для встреч легки и коротки,
И на свидания потом летят ракетой.
Но есть на свете длинные гудки –
Они для тех, кто любит без ответа.

Но, наплевав на мудрость и на быт
В хрущёвке синеглазая Мадонна
Звонит ему, звонит ему, звонит,
Не зная даже номер телефона...
И говорит: «Мне Бог шепнул: рискуй!
Я к Вам звоню, гудки рыдают где-то.
Как страшно трубку подносить к виску –
Как будто это дуло пистолета!»

...я – телефон. Без денег и без виз
Я сокращал немыслимые дали.
Но сколько раз меня бросали вниз
За то, что их любимые бросали!

Я телефон, я слышу голоса...

ПОБЕГ АРБУЗОВ

...а грузовик разбился вместе с грузом.
И выпало их чуть ли не две тонны.
Катились трассой смелые арбузы,
Как головы романтиков казнённых.

Побег арбузов! Тысячи по лужам...
Глядел на них и удивлялся кустик.
А тот арбуз – кривой и неуклюжий –
Моя башка, слетевшая от грусти!

Какая нас вперёд толкала сила?
И поняли не только липы – кедры,
Что, даже став арбузом, я катилась
К твоим ногам, к твоим промокшим кедам.

Друзья-арбузы, нас потом поймают
И повезут на казнь в огромной клети.
А люди ничего не понимают!
И покупают нас на радость детям.

Романтики в неравном поединке...

Хоть так меня узнай по всем повадкам.
Купи меня за семь рублей на рынке,
Разрежь меня. Я буду очень сладкой...

СТРАНА СОЛИРУЮЩЕГО САКСОФОНА

Оркестры, повсюду оркестры, оркестры.
По струнам идёшь, понимаешь: труба.
И дружбе нет места, и нежности места,
Но всё же страну сочиню для тебя

Страну Солирующего Саксофона.

Нет тихого слова – всё чаще и чаще
От звуков и звяков гудит голова.
Здесь галстук, и тот подбирают кричащий,
А я всем назло подбираю слова

К Стране Солирующего Саксофона.

Я их подбирал, как девчонка помаду,
Которая знает что встреча – финал.
А всё оттого, что когда сам я падал,
Никто никогда меня не подбирал

В Страну Солирующего Саксофона

И пусть одному мне кружиться трамваем,
И пусть одному возвращаться домой.
Я – неповторим.
Или неповторяем?
Я – не подбираем к тебе
и тобой.

Я – буква.
Я – слово.
Я – фраза, которой
однажды взорваться – затихнут миры.
Среди оркестрантов, играющих горе
Услышь меня
И подбери,
подбери

В Страну Солирующего Саксофона.

НЕ ЖИЗНЬ, А СКАЗКА

Жил-был старый сказочник.

И, как все старые, и сказочники, он слыл в округе маразматиком.

Его дочь стеснялась профессии отца – у её подружек родители если и были сказочниками, то сказки рассказывали исключительно своим жёнам, как все приличные люди.

– И, к тому же, ты норовишь сочинять сказки со счастливым концом, а это уже никуда не годиться! Хоть бы ты написал сказочку на современный манер, а? Хоть пару трупиков! А то в доме уже продавать нечего! Все твои сказки заложены-перезаложены! От твоих светлых сказок у нас бесконечные чёрные дни!

Но старик был упрям и, сдавая бутылки по утрам, на ходу сочинял светлые сказки.

От обилия сюжетов в голове у Сказочника в последнее время начались видения, и, сколько бы холодной воды он ни выпивал по утрам, видения не прекращались.

Но, если он бросит таскать бутылки в дом, то нечего будет сдавать, и тогда они с дочкой совсем помрут с голоду...

И старик беспечно отмахивался от видений, списывая их на буйную писательскую фантазию.

В Союзе Сказочников сказочников не любили.

А «этого» и подавно.

Уж очень он был правдив, и искренне верил, что его сказки могут кому-то помочь.

А всех нормальных людей такая ненормальность бесила. Многие его просто боялись.

– Больной человек! – вздыхали коллеги и бежали воплощать на бумаге задуманные юмористические миниатюры, необъятный размер которых внушал авторам уважение к себе, а читателям кладбищенскую скуку.

А Сказочник блаженно улыбался, и сочинял, сочинял, сочинял...

Но однажды его дочь заболела.

Смертельно.

Перестала ругать отца и тайком взяла с полки томик Шекспира.

Как-то в троллейбусе, на сидениях, предназначенных, согласно инструкции, для беременных и инвалидов («и» было перечёркнуто) она увидела Принца и полюбила его.

Дочь бледнела, худела, не спала по всем законам любовной лихорадки. А когда она, презирающая поэтов и стихи, робко протянула отцу свежеиспечённый сонет, отец не на шутку испугался за своё чадо.

Он хотел соврать ей, что никакой любви нет, что это гормоны, что после всего останутся лишь тягучие, как сопли, дни с надоевшим мужем и кучей ребятишек, на которых уж наверняка природа отдохнёт... (Правда, глядя на дочурку можно было предположить, что дети у неё будут гениальными). Но Сказочник был слишком добр для этого.

Ах, много, много мог бы поведать старик дочке, но он и сам верил в любовь, несмотря на седины и предсолидный возраст.

Может быть, отговорить дочь могла бы мать, но та давно скончалась, разумно решив, что умирать в один день с таким мужем, как старый Сказочник, слишком большая жертва искусству.

Но дочь ей, конечно, не поверила бы. Потому что человек не только не учится на чужих ошибках, он ещё, гад, умудряется не учиться на своих.

В общем, на свадьбу срочно требовались деньги, потому что Принц упорно не желал идти в ЗАГС без полцарства в придачу, а Сказочник мог ему предложить разве что полбутылки.

И вот, возвращаясь с очередного бутылочного променада, и нервно оборачиваясь, как шпион в отставке на свидании, Сказочник добрёл до своей халупы, и дрожащей от стыда и напитков рукой вывел заглавие новой сказки: «Смерть в утробе или...». Что «или» Сказочник так и не мог придумать, ведь он всю жизнь писал только добрые, лопоухие сказки.

Но отцовская любовь творит чудеса, и Сказочник с непривычки выдал такой неприкрытый шедевр детективно-постмодернистского искусства, что в Союзе Сказочников только диву давались. И шёпотом говорили, что старик откопал в своих бутылках литературного негра, и он творит за него по ночам.

В шедевре было всё – и захват Земли инопланетными божьими коровками, и постельно-батальные сцены с летальным исходом, в которых, не размениваясь на мелочи, участвовала целая рота солдат, и ещё что-то такое, не подпадающее ни под один диагноз, сиречь – литературный жанр.

Сказочник был уверен, что он явно пал жертвой чужого вдохновения, потому что на утро не мог поверить в написанное. Походы в Союз Сказочников и издательства с рукописью казались дорогами на эшафот – длинными и не предвещающими ничего хорошего. Правда, он утешал себя тем, что эшафот – это всегда возвышение. Правда, ненадолго.

Ловя заинтересованные взгляды сестёр по перу, прочитавших повесть, Сказочник чувствовал себя неловко.

Он покрывался бурым румянцем с синюшным оттенком в самых неожиданных местах, а вслед ему шепталось: «Да, были люди в их время. И какой это дурак придумал, что раньше секса не было?» Сказочник набирал ход, но, удирая от одного шёпота, попадал в другой.

И не было этому конца. Даже дочь стала смотреть на него с уважением.

Сказка вышла бешеным тиражом, автора стали узнавать на улицах, брать автографы и занимать червонцы без возврата.

Сказочник, привыкший к дешёвой отечественной горилке, чувствовал себя ужасно, распивая дорогущие коньяки, присланные заводами с рекламными целями в угрожающе – оптовых количествах.

Двое соседей набились к звезде в охранники.

Он был в отчаянии.

Сказочник так привык к своей бедности, сроднился с ней, что решительно не знал, что делать с такой кучей денег.

К тому же дочь, почувствовав всю приятность тяжкого бремени славы отца, послала своего Принца и пустилась во все тяжкие.

Стайки местных прынцев увивались за ней, и ей это льстило.

Для Сказочника наступили чёрные дни.

Днём он прятался от поклонников, а ночью пил и плакал над своими сказками, которые он издавал за свой счёт, но подарить никому не решался, чтобы не испортить детективно-могильного имиджа.

После ночных возлияний ему казалось, что сказки оживают и ползают по нему, как тараканы.

Из последних сил он пошёл к врачу.

Врач посоветовал ему поменьше думать, не писательское это дело, а пить только с собутыльниками, чтобы те могли сфотографировать его ползающие сказки. После чего потребовал автограф и тысячу гривен на покупку подопытных слонов для лаборатории.

Сказочник сломя голову бежал по улицам, где километровые бил-борды триумфально провозглашали о премьере нового боевика по мотивам книги Сказочника.

– Никому, никому не нужны мои сказки! – кричал старик, пугая нервных ларёчных алкоголиков и сумеречных поэтесс.

От распития рекламных коньяков видения стали глянцевыми, но приходить не перестали.

Между видениями в квартиру к Сказочнику ворвалась молоденькая сказочница с уверениями в вечной любви и желанием остаться с гением навсегда, после чего улучила момент, когда Сказочник налёг на рекламные коньяки так, что уже не мог стоять, и привезла его в ЗАГС.

Наутро «Гений» махнул дрожащей рукой:

– Делайте что хотите, только не трогайте меня и оставьте в покое!

Но, несмотря на то, что пылкая сказочница вовсе не пылала желанием трогать старичка, теперь в квартире покоя не было ни секунды. Молодая жена и дочь сутками ругались из-за наследства,нимало не смущаясь присутствием пока ещё живого отца и мужа. Охранники хихикали и страстно играли в шашки, опуская фигурки с таким грохотом, что казалось, кто-то постоянно роняет рояль.

В соседней комнате орали дети молодой жены от предыдущих вечных любовей, извлекая из себя такие душевынимающие децибелы, от которых поплохело бы человеку с куда более устойчивой нервной системой, не говоря о старике.

Сказочнику стало не до сказок.

Целыми днями он носился по судам, куда его непонятно откуда взявшиеся родственники подавали иски о наследстве, и доказывал, что он пока ещё жив, так что наследовать нечего. Вид Сказочника начисто опровергал его слова, и он понимал это сам.

На премьере боевика по мотивам его бестселлера он с горя затянул такую масштабную речь, что логически завершил её только на второй день, очутившись в элитной психлечебнице, куда его запихнули жена и дочь.

Элитная психушка отличалась от обыкновенной надписями на английском языке (для иностранных психов) и ватными смирительными рубашками с термоподогревом, которые надевались, несмотря на тридцатиградусный июнь. Медсёстры с уважением глазели на знаменитость и называли его гордостью психушки.

Плохо, плохо было Сказочнику.

Соседом по палате оказался безумный инженер, который соорудил у себя в хрущёвке складную переносную Эйфелеву башню, а когда та сломалась, решил сжечь своё творение, как Гоголь свои «Мёртвые Души». Мёртвых душ в результате этого действа оказалось 30 человек, а единственный выживший в катаклизме местный оперный певец на радостях, что остался жив, свихнулся, и теперь лежал в соседней палате на полном пансионе у благодарных слушателей, которые тоже чуть не свихнулись от радости, узнав, что больше не услышат пения Орфея. Теперь его талантом наслаждался медперсонал, но позволял себе эту роскошь только в поминальные дни. А в остальное время лечил Орфея волосатой тряпочкой, в простонародье – кляпом.

Естественно, такое соседство не могло вернуть Сказочнику душевного спокойствия, но он на это и не рассчитывал.

Инженер и в психбольнице остался верен своему призванию, и с чисто шизофренической сосредоточенностью конструировал из койки гробики для насекомых.

Его затея навивала уныние, и пролетающие мимо мухи злобно жужжали.

Меркантильно сдружившись с инженером, Сказочник уговорил его отложить бессмертное дело создания мушиных гробов и сделать им ключи от дверей палаты. Инженер с чисто шизофренической нормальностью удивился, как это ему самому не пришло в голову, но просьбу выполнил.

Тёмной, как рояль, ночью выбирались друзья из сумасшедшего дома. Мёртвую тишину нарушало лишь жалобное пенье всеми забытого певца, от которого застывала кровь в жилах, и даже главврачу хотелось бежать без оглядки, но он был связан клятвой Гиппократа и белыми простынями, предусмотрительно захваченными из палаты нашими беглецами.

Жутко, жутко было в сумасшедшем доме и за его пределами. Километровые дубы шуршали столетней листвой, возвышаясь на фоне тёмного неба как... километровые дубы со столетней листвой на фоне тёмного неба. Старик испугался. Он потерял дар сравнения.

Сказочник бежал по чёрному городу, забыв про своего безумного напарника, забыв про врачей, славу, неблагодарную дочь и ещё тысячи грустей, из которых складывалась его непутёвая жизнь. Он набирал уже совсем нечеловеческую скорость, пролетая мосты, дома, витрины, бил-борды с собственными изображениями, и его седые волосы развивались на ветру как старый веник.

Он бежал, бежал, бежал, пока Кому-то не надоело смотреть на страдания старика, и этот Кто-то не разрешил ему разорваться на тысячи сказок, светлых, как светлячки.

Сказочник исчезал, казалось, навсегда. Но это только казалось.

Пройдёт совсем немного времени, и он появится опять – может быть не здесь, не в этом городе, не на этой планете, и его будут звать по-другому.

Но это будет он.

Он всегда возвращается.

Евгения БАРАНОВА

И ЧУВСТВО РОДИНЫ САДНИТ...

* * *

И жалею, и зову, и плачу.
Горек мир отброшенных вперед.
Подарили – крестик на удачу.
Говорят – до свадьбы заживет.

Дым пройдет. И яблоки проснутся.
Редкой птицей вылечу на свет.
Наступает время революций,
как избитый вовремя сюжет.

Наступает.
Солнышко алеет.
Почему-то Ливию бомбят.
И зову, и плачу, и жалею.
Жизнь моя!
Приснись ко мне назад!

1913

Мне нравится глагол «выпрастывать».
Он жил во времени, когда
неделю шли из Химок в Астрахань
передовые поезда.

Скоромные сменялись постными.
Крестьяне выбирали квас.
– В Америке, ну право Господи,
не то что, батенька, у нас.

– Ты глянь, Егорий, там искусники...
– Сережка, к гильдии гони...
– А Маркс я говорю вам...
– Мусенька!
Как вы прелестны, монами!

– У Елисеева собрание...
– Париж несносен, entrenous.

И сумерки сгорали ранние,
почуяв, кажется, войну.

И, поддаваясь аллегориям,
грустил на столике Вольтер,
что все закончится историей
в четыре миллиона тел.

ПОСВЯЩЕНИЕ КРЫМУ

Воспоминай меня, отрава,
насмешник, ухарь, птичий крик
(и нежный говор Донузлава,
и караимский запах книг).

Воспоминай меня, живую,
с корнями-пальцами волос,
в соленых капельках лазури
и в босоножках на износ.

Я – только дерево, я – слово,
произносимое в горах.
Какая разница с какого
мы переводимся как «прах».

Как порох-пламя. Мед-гречиха.
Как вой бездомных Аонид.
Креманка Крыма. Очень тихо.
И чувство Родины саднит.

О ЛЮБВИ

Мой первый муж
(он трудный самый)
мне говорил – умрём
вдвоём.
А я его любила, мама,
как старенький аккордеон.
Как вечера на кухне общей.
Как чая благородный чад.
А я его любила...
Больше
об этом вряд ли говорят.

И так легко,
светло,
упрямо
цвела под ребрами свирель.

Я так его любила, мама,
как не люблю его теперь.

* * *

внутри себя спокойнее, там лес.
и попугая розовые перья
и поцелуй в 2007-ом
(какая малость, а хотелось плакать).

внутри себя есть порт, аэропорт
и кукол приснопамятные кельи
и аромат смородины во рту
и туфельки, подернутые лаком.

внутри себя уютно, хорошо,
коробкой спичек управляет лоцман
и пахнет утро «Красною Москвой»
и снегопад, и санок торжество.

какая глупость – локоть ободрать.
идет бычок, качается, смеется.
идет, уходит, мало ли – вернется.
чего там только не было
чего.

* * *

Один уехал на Чукотку,
другой в израильской глуши
вгоняет теги-блоги- сводки
в репатриацию души.

Знакомый в Риме,
друг в Бангкоке
(но ждет билетов в Хошимин).
Как рыбу, глушат нас дороги,
не приводящие в один

из тех краев, где солнца муха
гуляет в чашке голубой...
Ползет История на брюхе,
переминая под собой.

Вожди сияют перламутром,
у подданных – стальная грудь.
Боюсь, боюсь однажды утром
на пражском кладбище уснуть.

* * *

Не смотрись в зеркальных карпов.
Не желай себе лисенка,
вкус крапивы, стук черешен,
солнце – море – каравай.

Потому что память – снится,
потому что память – пленка,
под которой остывает,
облетает голова.

Не играй с героем в шашки.
Не купи себе журнальчик.
Не кривляйся,
не ломайся,
спи спокойно, как Бальзак.

Вырастает даже репка,
папа, мама, одуванчик.
Вырастает даже кожа,
из которой шьют рюкзак.

Не смотрись в зеркальных карпов!
Не проспи. Не будь занудой.
Не приглядывайся чаще
к отражениям простым.

А иначе сам увидишь
полколоды, четверть чуда,
треть коробки, часть рисунка
и разбитые часы.

* * *

Когда власть изменяется чаще, чем расписание,
когда в центре столицы бесплатные дарят гробы,
моя Родина – женщина с пепельными глазами –
устает оттирать от крови отвердевшие лбы.

Они могут быть глупыми, злыми, смешными, жестокими.
Все равно они люди – что в нео-, что в палеолит.
Моя Родина – женщина в доме с разбитыми стеклами.
Она плачет и плачет и, кажется, даже скулит.

Ни любви, ни тепла, ни пощады, ни позднего знания.
Только гром, только горн, согревающий всех до костей.
Моя Родина – женщина.
«Женщину, женщину ранили!
Пропустите кого-то! Хотя бы кого-нибудь к ней!»

ЦВЕТАЕВОЙ

И сверху дно, и снизу дно,
и жар теплушкой волоокой.
«Мне совершенно все равно,
где совершенно одинокой».

В какую даль, каким быльем,
в какие стены дольше биться.
Над умерщвленным журавлем
танцуют хищные синицы.

И всяк герой неуловим.
И тесен мир, как русский дольник.
Запомни, друг мой, на крови,
лишь на крови растет шиповник.

*** * ***

И вдруг я поняла, что не нужна.
Не нужен Даль, раз существует wiki.
Не нужен:
Пруст,
и хруст,
и крест зерна.
Не нужен вкус и запах ежевики.

Не знать необходимости во всём,
во всех, ко всем –
на паперти склонений.
Офелии не нужен водоем.
Чукотка не нуждается в оленях.

Молись,
лукавь,
сходи от суеты,
возглавь восстание – хотя бы для игрушек.
Мой славный,
слабый,
кропотливый,
ты,
однажды ты не будешь больше нужен.

* * *

Говори обо мне, гори.
От колибри возьми калибр
и забейся гвоздем в тисках.
Говори обо мне,
строка!

Говори обо мне, играй
Черным морем о руки свай,
черным небом о нёбо дня.
Находи у меня меня.

Были очи – осталась ночь.
Выпал голос – остался глас.
Говори обо мне, морочь.
Говори обо мне – сейчас.

Говори обо мне! Не жаль
ни чужих, ни своих углов.
Говори обо мне, печаль.
Говори обо мне, любовь.

ПОСВЯЩЕНИЕ ПОЭЗИИ

Не покидай меня! Не пробуй!
Не пей, не ройся, не взыщи.
Метафизический Чернобыль
необитаемой души.

Моя поэзия!
Хотя бы
не проходи. Не привечай
дороги-дроги, мысли-крабы,
и городов чужих печаль.

И лица лишние, и скатерть
в слезах от кофе с эскимо.
Любимец музы, певчий катет!
Смотреть и больно, и смешно.

Моя поэзия! Трамвай ли,
от солнышка ли ржавый пес.
Ты-дух_ты-дым. И осень валит.
И жизнь летит из-под колес.

Роман СКИБА

ТИ ЗНОВ, ШЕВЧЕНКУ, ЗОСТАЄШСЯ САМ...

* * *

Осінь – сутінки року, а сутінки – осінь дня...
Просто сталась накладка, і більше нема фонтанів.
Ми вже не поспішаєм, говоримо навмання.
В нас попереду вічність, та ми на землі останні.
Вся двоякість від листя – що вогке, проте сухе,
Урочисте, мов ода – і зустрічам, і розлукам.
То глухі ми до неба, то небо до нас глухе.
Коли з'явиться Ангел, то світлом прийде – не звуком...
Голосних надто мало, а інших він не вимовля.
Але й жесту достатньо, щоб статися нині чуду...
І фонтани розкинуть прозоре своє гілля,
І, замерзши під північ, як верби скрипіти будуть...

* * *

Віриш у Завтра,
Забивши на глузд і на досвід,
Перевіряєш на мудрість
Безрідні цитати...
Хоч би щодня ти
Проводив за дослідом дослід, –
Всім вже відомо,
Що Завтра не може настати...
Тим, хто удома,
І тим, хто завжди – подорожні...
Тим, хто з тобою,
І тим, хто з тобою незгодні...
Що їм сказати?..
Будильник стоїть на сторожі.
Спиш, прокидаєшся...
Бачиш: настало сьогодні...

МІСЦЕ

Нині озеро знов безхмарне.
В ньому плавиться сонця мед.
Та намарно таки, намарно
Ви розставили свій намет...
На усяких я надивився:
Тих виводив, а інших – ні.
Дуже схожі вони були всі.
Безіменні і мовчазні...
Тут по ночах голосить слізно
Щось невидиме й неживе.
А вода ця густа й залізна,
І підкова по ній пливе...

* * *

Давно ягнятам світ народжено
І молоко небес густе,
А вівці щуляться стривожено,
Мов не для них трава росте.
Зле пастухові. Знає – винен їм,
Що після свят вже дев'ять днів
Літають понад полониною
Рогаті душі баранів.

МІСТЕРІЯ З ЖУКОМ

То святий Скарабей,
Чи Стоніг неземної породи...
Він, учувши тебе,
Заповзе до твоєї господи.
Термінатор Терміт.
Його очі – упевнені й ласі.
Він, химерний, мов міт,
Що мандрує по просторі й часі.
Богомол чи Тарган:
Він – із тих, хто крізь полум'я й воду...
В нього ріг-ятаган
І спина у яскравих розводах.
Ти смілива, та страх
Ланцюгами скує твої м'язи...
То – Володар комах,
То зараза, що в ложе залазить.
Він – лапатий, мов сніг,
Він нікому не був односельцем.

Він устромить свій ріг
У твоє розкуйовджене серце...
Вже разів із мільйон
Від племен він приймав тебе в жертву.
Цар пустель Скорпіон...
Він живу тебе знає і мертву...
Двері ділять світи
І прочиненість їхня зловісна.
Нерозважлива ти
Не замкнула їх нині зумисно...

Писемний раритет
Цей літопис, мала, про ЛІТО.
Мало ЛІТО чимало літ.
Жив чернець – не від цього світу –
І лишив нам на пам'ять світ.
Раз у раз обертав він стилос:
Все, що бачено на віку,
З часом стислося і вмістилось
На кленовому, на листку...
Відпалала війна у червні,
Спопеливши себе дотла.
Наш чернець в таїні печерній
Записав, що вона була.
А у липні зійшов Небесний,
І трава крізь золу зросла:
Вір ченцеві – він свідок чесний:
Він торкався його крила.
Три врожаї вродили в серпні –
Не натішився з них чернець,
Написав, що десниця терпне...
Закарлючка... І все – кінець...
Дорікнути тобі не смію
Глухотою до змісту рун.
Певно, й сам я не розумію
Тих нотаток, що вів цвіркун.
ЛІТО старше від літописця,
Вже й воно пішло з помела.
Не ставай на шляху у листя.
Листя в Лету летить, мала...

* * *

У пістолі відсирів порох.
Кінь замилений від погонь.
Ти при ватрі сідаєш поруч
З Тим, хто дивиться на вогонь.

Кажеш: «Треба поради, діду...»
Кажеш: «Діду, у світі тьма...
Я далеке і ближнє звідав –
Там погано, де Вас нема!..»
Ти не перший прибув, юначе,
По жарину з Його долонь.
Він тебе розуміє наче...
Але ж дивиться на вогонь...
Хто спізнав одкровення плазми,
Хто століття пустив на дим,
Той ні з ким не буває разом,
Навіть з тим, хто при ватрі з ним.
Так ведеться, і що вже вдієш –
Він безмовний, мов на посту.
Повертайся у безнадію.
Повертайся у суєту.
Будуть будні і ніч озима,
Напівістина снів тяжка...
Всі б ти відповіді отримав,
Якби їх у вогні шукав...

* * *

А ти все не з'являєшся, Маріє...
А тут ні верби не ростуть, ні злаки...
Коли пустеля осіда на вії,
Верблюди й люди знову бачать знаки:
То міражі – і траси, і готелі...
Єдине, не подібне на оману, –
Летючий кущ Перекотипустелі,
Що манить до Великого туману...
Де вже не вразять крики мандрагори,
Де не осліплять танці саламандри.
Там начебто народжуються гори...
Там начебто завершуються мандри...

* * *

В цих вікнах крига, а не скло...
Сюжет морозяного знімку:
Як світ народжувався взимку,
Коли із космосу мело...
Світлинка надто нечітка,
І знов хтось дивний, давній віком,
Стоїть весь вечір біля вікон
І, не постукавши, зника...

ДИЛІЖАНС

Ми маєм час, коли немає часу.
Та на своїх дійде уже не всяк.
Ти візника гукнеш захриплим басом,
Аби по місту розвезти друзяк.
А п'яний завжди влізе у халепу...
Ось пам'ять заливає береги:
Глянь – ти не містом їдеш, а по степу,
І в почеті твоєму – вороги...
Повітря згусло – видихнути годі...
Б'є в мозок і зціляє, мов бальзам.
Минувся степ. І вороги відходять...
Ти знов, Шевченку, зостаєшся сам...

АПОКАЛІПСИС-2

Розходяться води колами –
Русалки виходять голими
У світ, де законам полум'я
Належить пріоритет.
Он поліс – в диму і містиці.
Я точно знаю, що місто це
Впаде, коли сонце з місяцем
Зустрінуться тет-а-тет.
Он древніх печер служителі –
Ступають полями житніми,
Вдають, що святі, а жити їм
Три рази по три рази...
Посвячені і причащені,
Утомлені і пропащі ви –
Розлито буття на чаші дві:
Гойдаються терези.
І коні летять без вершників.
Сюжети ще не завершені –
Усі, хто не вмерли першими,
Знайдуть собі ворогів...
А тіні йдуть пілігримами:
Зупиниш їх – стануть зримими...
«А звідки ви, браття?» – «З Риму ми...» –
«То з миром вам, дорогі...»

АНТИКА

Засмаглі ахейці ідуть на війну –
Ніколи не рано вмерти.
Волосся Сократа росте в глибину,
Та гірше, якщо Гомер ти...
Забродить в зіницях клінічна пітьма.
Молись на вулканні жерла.
Бо що, як прозрієш, а світу й нема? –
Увесь катаракта зжерла...

* * *

Дві зорі, пурпурові й пінні.
Зліва – захід, а справа – схід.
Достигає на віях іній, –
Значить, я вже напав на слід.
Та ревуть сопілки циклопів,
Шаленіє свята гроза...
Нереїда, душа потопів,
У кипучій воді щеза...
Надто пізно тебе шукати.
Надто пізно гукати всіх.
Спочивають на дні фрегати.
Вислизає земля з-під ніг.
Ще півмиті і – вітер Бора
Скрутить вир водяних пожеж...
Я останній. Все інше – море.
Зліва – захід. І справа – теж.

Владислава Ильинская

МЕЖ БЕСКОНЕЧНЫХ ТАВТОЛОГИЙ...

* * *

меж бесконечных тавтологий
и бесполезных биохимий –
ты луч во тьме любой дороги,
ты штиль в груди любой стихии,
своей не понимая силы,
ты излучаешь столько света –
что мог спасти бы Хиросиму,
родись ты раньше на полвека...
но вторгнись ты в клубок событий –
наперекор скупому небу –
его запутанные нити
не привели тебя ко мне бы.
и в мире – все равно паршивом
(пусть малость просветлевшем внешне),
меня бы тихо удушила
тебе не отданная нежность.

* * *

новое утро стягивает одеяло, как будто скальп.
плещет тебе, еще сонному, в лицо ледяной водой.
нужно подняться на ноги, нужно идти искать,
то, что и так всю жизнь волочится за тобой.
и пока ты вот так вот гоняешься за хвостом,
наступаешь себе на горло, расплющивая кадык,
твой хранитель кладет на коленку двойной листок
и старательным почерком записывает ходы.
и когда ты уже совсем собьешься и с ног, и с сил,
и поймешь, что по всем подсчетам прошел лишь треть,
подойди к нему спящему и тихонечко попроси,
чтоб он дал тебе на свое творение посмотреть.
а когда ты начнешь возмущаться и возражать,
мол куда подевался его знаменитый слог –
хорошенько задумайся и рискни ему доказать,
что твоя история интереснее чем колобок

* * *

рисуй меня, рисуй
по капельке, по слою
под соло кастаньет
оттачивай туше
рисуй меня, рисуй
растрепанной, босою
рисуй меня такой,
чтоб жалко было жечь.
рисуй меня, рисуй
под жаркие te amo
упрямой и смешной
останусь на холсте
рисуй меня, рисуй
пускай сегодня рамой
окажется для нас
привычная постель

* * *

как тебе там живется в твоем дому?
варятся супчики, взращивается герань?
сереньких будней подслеповатый мул
каждое утро тянет в сырую рань?
а у меня перессорились день и ночь –
поочередно мои выкалывают глаза...
вечером требую: господи, обесточь!
утром молю его: господи, озадачь!
он улыбается, переключает свитч
и из меня по новому льется речь,
если тебе ее не дано постичь –
можешь попробовать просто ее сберечь.

ной

ми кудись пливемо вже багато місяців поспіль,
від північних пасатів постійно волога постіль,
кожна наша хвилина минає неначе постріл,
залишаючи зранку купу порожніх гільз.

ми навчились хіба що надійно плести канати,
рятувати лише для того, щоб катувати...
подивись, як голодний туман поїдає натовп,
а крізь димні легені спливає нестерпний біль.

подивись, як за розовий обрій тікає память,
хоч ти пестиш її і бавиш її роками,
як натомість у скроні зростає холодний камінь,
що ночами загойдує, тягне тебе на дно...

і коли ми дістанемось царства підхвильних течій,
подивись мені в очі без речень, без заперечень,
подивись, як у той незабутній самотній вечір,
де ми щойно з тобою зустрілись, маленький Ной

30 ШЕКЕЛЕЙ

так, как ветер вздымает новые паруса,
так, как воздухом наполняется парашют –
он стремился ворваться в сказочный райский сад,
забывая о том, что сначала положен суд.
а когда над каналом свешивалась луна,
ему снился тот, кто однажды его спасет...
убиенных своих нашептывал имена,
забывая о том, что за это представят счет.
только утро всегда приносило такую муть,
что простить себя никаких не хватало сил...
день за днем проходил он тот же порочный путь,
забывая, о чем недавно еще просил.
день за днем, постигая суть своего стыда,
он скитался по миру, прячась от пустоты...
правда, даже самые мудрые города
забывали о нем, не успев от шагов остыть.
и когда, наконец, случился тот самый суд
и спаситель ему представил тот самый счет,
тридцать шекелей – знал он – точно его спасут
тридцать шекелей – это мелочь, Искариот.

* * *

какие блики,
какие блоки...
мы многолики,
но одиноки.
и льются токи,
струятся токи,
текут сквозь руки
на эти строки.
бегут сквозь время,
скользят сквозь пламя...

в таком гореньи,
в таком цунами –
мы дышим чище,
мы дышим чаще...
на самом днище,
в дремучей чаще,
мы станем легче,
мы станем проще...
расправим плечи,
расставим точки.
увидим будто
уже за кадром
твое не буду,
мое не надо...
мы будем – выше
мы будем – дальше
иначе выжить
не думай даже.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

время вытекает из-под лопатки соседского малыша,
играющего в песочнице. вытекает на прозрачную улицу,
переливаясь в первых лучах весеннего солнца
и если ненадолго остановиться и прислушаться,
можно услышать, как вырастает первый куст можжевельника
на склонах еще никому ненужного полуострова,
как выползают на каменистый берег рыбы с прозрачными головами,
как в ритуальном танце сдвигаются и сдвигаются тектонические плиты,
высвобождая потоки раскаленной любви,
которая создаст и уничтожит стеклянную бесконечность
всего за несколько мгновений до следующего большого взрыва...
мы с тобой временно обитаем внутри нее
и стремительно приближаемся к тому моменту,
когда придется стать маленькими бестелесными песчинками,
чтобы перебраться по узкому тоннелю на другую сторону
и все, что мы можем друг другу дать –
немного надежды на то, что там
уже не действуют
законы
гравитации...

* * *

что толкнуло к охоте – не помню, таков рецидив,
что гоняет по засранным стройкам, ночным подворотням.
оказалось, достаточно просто себя убедить,
что на все наплевать, что существенно только «сегодня».

бестолковый романтик – я красил улыбкой рот,
ни секунды не дрогнув, плясал на краю преисподней...
все останется прежним, никто никуда не уйдет,
ведь на все наплевать, ведь существенно только «сегодня».

и под низким дурманящим небом, на стыке ветров,
и в изгибах мостов, и в плену бесконечного полдня –
заворожено слушал стеной нарастающий рёв
здесь на все наплевать, здесь существенно только «сегодня».

я был жалким бойцом. я не знал, что такое война,
но когда в голове назревала кровавая бойня,
я сжимал кулаки и сквозь битые зубы стонал,
что на все наплевать, что существенно только «сегодня».

и когда, по прошествии долгих сегодняшних дней,
не нашел за спиной ни любви, ни восторга, ни правды,
я остатками памяти вывел на первой стене,
что существенно все – и вчера, и сегодня, и завтра.

* * *

перспектива потопа – страшней самого потопа,
потому что, когда ты стоишь на краю обрыва,
вспоминается весь твой скупой, бесполезный опыт:
от рождения и до сегодняшнего прилива.
перспектива потопа – страшней самого потопа,
потому что, когда ты спускаешься к океану,
из глубин его слышится древний, манящий шепот,
приглашающий то ли в пекло, то ли в нирвану...
перспектива потопа – страшней самого потопа,
потому что, когда потоп набирает темпы,
ты ложишься спиной на поверхность его потока,
и легко утопаешь в пучине его контемпа...

* * *

в сплошное полотно сливаются пути,
срывается состав с последнего маршрута.
не спрашивай меня, хочу ли я спастись...
пролистываю жизнь минута за минутой:
пытала тишиной, свистела соловьем,
то улыбаясь нам, то пробегая мимо,
мы грелись, как в мехах, в дыхании ее
и верили всерьез, что мы неуязвимы.
нам даже удалось не выжить из ума,
под сапогами тех, кого пустили в душу...
но ветер остывал, и близилась зима,
и мы в своих домах не знали, что снаружи
сквозь горы и леса, поля и города,
сквозь суету витрин и тротуаров кротость –
по рельсам ледяным несутся поезда
и черная звезда им освещает пропасть.

* * *

остудить бы сердца, отвести войска,
привести бы в порядок свою страну...
и не следует правых в войне искать
(это тоже ведь способ вести войну) .

поедает купюры голодный мир,
но когда-то приблизится «время Ч»...
и тогда не поможет ни фунт, ни быр*,
ни кредитная карта, ни тревелчек.

не помогут подземные города,
не помогут воздушные корабли,
если с неба исчезнет одна Звезда
от того, что с ней справиться не смогли.

от того, что в спирали прозрачных дней,
заслонившись от света других планет,
разукрашенным стадом ползли по ней
почитатели блеска чужих монет.

но однажды обрушиться звездный шлейф
и когда ты увидишь его вдали –
не жалей, человечество, не жалей
положить пятаки на глаза Земли.

* быр – денежная единица Эфиопии

ВООБРАЖАЕМОМУ СЫНУ

все начнется со света и им же кончится...
и пока твоя матушка в родах корчится,
ты впервые поступишь не так, как хочется,
покидая уютный мир.
из него выползаешь, как будто из лесу
(оторвавшись от самой надежной привязи)
в ледяные тиски мирового кризиса,
дикарем – на роскошный пир.
поначалу ты нем и не знаешь правил, но
не бойся, тебе объяснят, как правильно
нужно жить, чтоб тебя подключили к кабелю,
раздающему барыши.
реверансами будет намного проще, но
когда ты поймешь, что везде непрошеный –
обнаружишь внезапно себя на площади,
среди груды горящих шин.
можно делать что хочешь, и жить по совести,
пребывая в тактической невесомости.
не просить и не спорить, ни с кем не ссориться,
посадить свой контрольный бук.
все, что ты в этот мир принесешь хорошего –
обернется в итоге троянской лошадью,
и ты вновь очутишься на той же площади,
проклиная свою судьбу.
расширяется космос, планета вертится,
продолжает надежда оттуда черпаться,
и я знаю, родной, как тебе не терпится
доказать мне, что неправа.
твоя матушка просто трусиха, нытик и
переевшая этики да политики
на сегодняшний день может стать родителем
лишь красивым своим словам.

ИСТИНА

прозрачные слова меняются местами,
а истина лежит незыблема на дне...
лежит себе и ждет: ну кто ж меня достанет,
не век же мне торчать на этой глубине.
поднимется песок, закрутятся воронки
и, кажется, вот-вот начнется путь на свет...
но истина лежит, по-прежнему, в сторонке
и горечи ее конца и края нет.

проносятся года, муссоны и пассаты,
и тысячи комет, и сотни тысяч дней,
и мы с тобой, увы, совсем не виноваты,
что истина никак не станет нам видней.
в кромешной темноте, под тоннами иллюзий
не слышно ничего, здесь только тишина.
познавшему ее нельзя вернуться к людям,
он больше никогда не сдвинется со дна.

* * *

нет никакой гарантии, это опыт.
это – уникальный эксперимент.
вам отпускается время, оно же – топит
в мутных своих глубинах. в один момент
ты превращаешься в точку небесной сферы,
ты превращаешься в пыль на краю земли,
когда твой внутренний доктор откроет двери
и скажет: простите, мы сделали что смогли.

ПАНДОРА

она лежит прекрасна и грустна,
она лежит без отдыха и сна,
она лежит и смотрит, как волна,
беснуясь,
набирает обороты

а под нее стекаются года
внутри нее полощется вода,
которая затопит города
по щучьему
велению
природы

утопленников всплывшие глаза
осмотрят сверху опустевший зал:
им многое захочется сказать,
им многое
захочется
послушать

сквозь толщу изумрудного стекла
ворвется малахитовая мгла
и от нее родятся Тишь да Гладь,
которые
родят
Другую Сушу

Анна ЩЕРБАКОВА

А ЗА ОКНОМ ЗВЕНЕЛ ФЕВРАЛЬ

За окном, завешанным плотными темно-зелёными шторами, звенел февраль, а с Терентием Павловичем происходило Бог знает что, но он давно чувствовал, что с ним творится что-то неладное и из ряда вон выходящее – уже несколько недель щемило, ныло и давило сердце.

– Болит, так болит! Мало ли у кого что болит! – вначале не сдавался он.

Но, кроме боли, в груди вроде что-то постоянно распирало и давило. Казалось, что нечто стороннее поселилось внутри него, и, постепенно разрастаясь, уминает, утрамбовывает соседние органы.

Пожилой врач, к которому он пришёл на приём, посмотрев кардиограмму, неодобрительно покачал головой:

– И чем это вы, батенька, сердце свое так перегрузили – так увеличено...

А потом, посмотрев сквозь затемненные стёкла очков печальным взглядом человека, которого достали люди, решил пошутить.

– А помните старый анекдот о печени алкоголика? Если лёгким из-за печени не хватает места, то лёгкие надо удалить!

Но Терентию Павловичу, который раньше бы посмеялся вместе с врачом, было не до шуток.

– Так что же мне делать? – задал он вопрос несколько раздраженным тоном.

Врач, опять погрустнев из-за человеческой чёрствости, выписал какие-то капли, таблетки и домашний режим.

– Покажетесь через неделю, а если, не дай Бог, ухудшение – вызывайте!

– Домашний, так домашний!

Терентий Павлович засел дома.

Человеком он был аккуратным, и хотя лечиться и болеть не любил, все предписания врача выполнял с большой точностью.

Шёл уже пятый день, а ему ничего не помогало. В груди продолжало колотиться и давить пуще прежнего, Терентий Павлович ощущал свое сердце, как нечто чужое, вернее, самостоятельно чужеродное, совсем отдельное от всего остального организма.

Прислушиваясь к ритму: то нормальному и чёткому, то тревожному, прерывающемуся и трепещущему, как птица в руках – он понял, что сердце уже заняло почти всё возможное пространство!

В его воображении оно было похоже на помещение со множеством комнат, переходов, коридоров, кладовок и стенных шкафов, в которых хранятся разные ненужные предметы и домашняя утварь, вроде пустых, давно забытых стеклянных банок.

Мысленно путешествуя по пространству своего сердца, он видел светлые, ярко освещённые комнаты и просторные залы, проходил темными галереям и коридорами, о которых раньше даже не подозревал, попадал в маленькие, без всякого освещения помещения и тупички, а затем вновь оказывался в светлых пространствах с большими окнами, сквозь которые заглядывала сверкающая инеем на солнце зима.

На полочках, заполнявших практически все помещения, были разложены все его достижения, успехи и неудачи, огорчения и счастливые моменты. Радость соседствовала с печалью, свет переходил во тьму в маленькие комнаты без окон, которые полностью были набиты обидами, горестями, болью, страхом и прочими малоприятными вещами...

В сердце обосновалось всё его прошлое, настоящее. И Терентий Павлович внезапно понял, что происходит: сердце было занято, наполнено тем, что в нём накопилось до этого времени, и места для будущего в нём просто не оставалось...

Терентий Павлович чувствовал – невзирая на приём лекарств, сердце увеличивается и увеличивается! В отчаянии он выбросил в мусор все таблетки и, едва превозмогая безумную, тяжелую как все беды земли усталость, уже больше не заботясь ни о чём, вышел на улицу в февраль!

– Кто знает, сколько мне осталось?

А внутри тем временем происходило какое-то движение, будто помещения в сердце менялись местами: светлые залы сами по себе делились на мелкие, тесные кладовки, а кладовочки и маленькие комнаты, объединяясь с коридорами и переходами, превращались в большие пространства.

Несмотря на всё это безобразие, вызывающее еще большую внутреннюю тяжесть, Терентий Павлович помог какой-то хрупкой как воробышек старушке спуститься по скользким ступенькам подземного перехода и перевёл её на другую сторону.

Бабушка благодарно улыбнулась:

– Спасибо вам! Такой видный мужчина с большим сердцем! – умильно пробормотала она вслед.

– Откуда она знает о большом сердце? Неужели это так заметно для посторонних? – Терентий Павлович испуганно ощупал грудную клетку, но внешне всё было в порядке. Не зная, куда себя деть, он случайно забрёл на одну из аллеей парка, располагавшегося напротив его дома.

– Ох, и тяжело же тебе, браток, – сочувственно пробормотал пробегающий мимо него дедушка с окладистой бородой. Ему было уже много лет, но бежал он легко, как юноша.

– Тяжело, – вздохнув, согласился Терентий Павлович, опустившись на скамейку. – И что же мне делать? – задал он вопрос, скорее самому себе, чем подвижному дедку.

Давно не рассчитывающий на человеческие ответы старичок от удивления даже приостановился, и внимательно взглянув в лицо Терентия Павловича, посоветовал:

– А ты разгрузи, почисть сердце-то! – и, не вдаваясь в объяснения как именно это сделать, как его разгрузить, помчался дальше догонять что-то, то ли молодость, то ли стремительно уходящие из его жизни желания.

Вернувшись из парка, в котором, в общем-то, было довольно тоскливо, Терентий Павлович заглянул во двор. Дышать стало совсем уж невмоготу, сердце, постепенно пробираясь к горлу, билось, стучало, будто рвалось из тела вон. В глазах потемнело, и он присел на скамейку возле детской площадки.

– Дядя, вам плохо? – участливый детский голос заставил открыть глаза.

На него в упор смотрели две огромные черно-синие сливы, занявшие большую часть бледного круглого личика, обрамлённого черными кудряшками.

У девочки глаза занимают всё пространство, а у меня – сердце, пришло в голову глупое сравнение.

– Скажи, если в чем-то чего-то слишком много, а это что-то полностью закрыто, как оттуда всё извлечь, достать? – вдруг задал он ребёнку странный вопрос. Но дети любят странные вопросы, потому что сами их часто задают.

– Очень просто, – ответила девочка, загребая сапожками снег. – Надо взять ножницы – любые, и прорезать маленькую-маленькую дырочку, а потом ее увеличить – всё оттуда и выпадет! – пояснила она, авторитетно вздохнув, удивляясь, что взрослый дядя не понимает таких элементарных вещей.

Немного подумав, девочка с глазами-сливами открыла рюкзак и, нежно постучав по затылку игрушечного мишку, висевшего на короткой цепочке, вытащила небольшие ножнички для рукоделия с закруглёнными кончиками.

– У вас, наверное, ножниц нет! Могу одолжить, – и с серьезным видом протянула ему их на раскрытой ладошке. – Только обязательно отдадите! Завтра в это время после уроков я здесь на скамейке буду сидеть и ждать. Не забудете? А то мама ругает, что всё теряю... – и, не дожидаясь ответа, девочка, счастливо улыбнувшись, резво убежала прочь, махнув на прощание хрупкой ладошкой, запачканной темно-фиолетовой пастой шариковой ручки.

– Так всё просто? Отверстие? – изумился Терентий Павлович. – А почему бы и в самом деле не попробовать?

В другой части двора, где он думал найти укромное место и там разобраться с ножничками и дырочками, несмотря на довольно прохладный и влажно звенящий зимний день было многолюдно и шумно как на остановке городского транспорта в час пик.

Все скамейки были облеплены стайками старшеклассников и студентов близлежащих колледжей и университета.

– Вот досада! – тихо вознегодовал Терентий. Сильно огорчившись, он почувствовал, как сердце больно толкнулось о ребро. – Боже, еще увеличилось! Куда уж больше? – испугался совсем.

Зайти в подъезд, подняться в свою квартиру просто не было сил, и он пошёл за угол дома.

Никого. Тишина... Только ничья собака предупреждающе рыкнула на него из под густых кустов.

Сердце, раздвинув рёбра, нахально выпирая, стучало под самой кожей, как мотор. Осторожно нащупав край твёрдой мышцы, он аккуратнейшим образом вырезал в коже, а затем и в той живой ткани маленькое круглое отверстие. Было страшно, немного больно, но эта боль и в сравнение не шла с тем, что он чувствовал постоянно!

Из дырочки сразу же что-то выпало, но ему даже не захотелось посмотреть, что именно. Сделав шаг, он внезапно почувствовал, что тяжесть в груди стала меньше!

С каждым его движением из отверстия что-то со стуком падало, высыпалось на дорожку, а ему становилось всё легче и легче. С каждым шагом давление внутри исчезало, и он будто видел, как сердце постепенно сжимаясь, уменьшается в объёме. Исчезают комнаты, залы и тёмные коридоры, в пыль рассыпаются полки в кладовочках. Теперь они были совсем не нужны, потому как всё, что находилось там, внутри, одно за другим вываливалось из маленького круглого отверстия, теряясь на расчищенном от снега асфальте.

– Бог мой, сколько всего накопилось!

Он шёл, гордо выпрямившись, и люди, которые видели его до встречи с девочкой, просто не узнавали Терентия Павловича! Обернувшись, Терентий увидел, как один из пробегающих мимо мужчин нагнулся и поднял что-то выпавшее из его сердца. Оглядев со всех сторон находку, прохожий, тщательно отряхнув её и почистив, спрятал в портфель, девушка с теплой повязкой на гладких рыжих волосах тоже что-то присмотрев для себя, подняла и спрятала в карман клетчатого пальто, но ему это всё уже стало безразличным.

Непривычная легкость радовала до головокружения. В квартиру Терентий Павлович, даже не воспользовавшись лифтом, взлетел по ступеням, как в восемнадцать лет!

– Не забыть бы завтра девочке ножницы отдать... – улыбнулся, вспомнив внимательные «чёрно-синие сливы» и мелкие симпатичные кудряшки.

Его внимание привлекло разнообразие звуков, ворвавшееся в комнату вместе с легким предвесенним влажным воздухом. Он прислушался к музыке улицы и понял, что это за окном, завешанным тёмно-зелёными плотными шторами, радостно звенит февраль!

ДВЕРЬ

Он знал, что эта дверь существует ... Старая, серо-голубая, потрёпанная и потёртая – с волнистой оборочкой небрежно присохших капель по краям. Тот, кто сделал её, не пожалел краски!

Возможно, она привиделась, приснилась ему или он просто её придумал, но твёрдо знал, что она реальна – так же реальна, как и всё то, что его окружает. Он закрывал глаза и видел полутёмный коридор, чисто вымытые плитки с серо-коричневым орнаментом, кое-где ещё поблескивающие на полу зеленоватыми вкраплениями стекла или какого-то тёмно-зеленого минерала.

Знал, что как только подойдет к ней – увидит, что на ней нет замка, и она не плотно закрыта. Покачиваясь на потемневших, слегка проржавевших от времени петлях и поскрипывая, она как бы хочет открыться, нерешительно и осторожно приглашая войти вовнутрь.

Но там, за этой старой потертой простотой светилось что-то невероятное. Краешком глаза он увидел, что там, за дверью, как бездна колеблется красно-серое пространство.

Куда ведет эта дверь? Что за ней? Что за той дверью – Рай или Ад? А может быть и то, и другое вместе...

Возникшее в нём с первой секунды напряженное ощущение ... нет ... скорее – знание, убеждение, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы «оно», то, что там светилось цветом мутного сизого перламутра, проникло в их общую реальность.

Это нечто было очень опасным, значительным, ужасным для всех смертных, и он чувствовал, понимал, что позволив «ему войти», он, возможно, навсегда разрушит мир людей.

Знание тайны наполнило его существование особым смыслом. Он понял, что стал хранителем чего-то необыкновенного, волнующего, существующего, возможно в ирреальном пространстве, но от этого не менее важного и значительного.

И теперь его предназначением стало, сберечь эту тайну до определенного времени, а может быть и передать следующему хранителю.

Старый квартал, в котором он родился и жил испокон веков, был расположен на высоком холме, почти горе. Ступени вместо улиц, тесные ряды домов вдоль них,

плотно смыкающихся боками и через узкий промежуток улиц почти смыкающихся верхними этажами, через окна которых можно было пожать руку соседям напротив. Перешагнув через этот незначительный провал, можно было просто зайти к ним в гости, посидеть, побеседовать о разных вещах, запивая плавно текущую беседу крепким зеленым чаем, остро пахнущим свежей мятой, сладким, как заколдованные плоды любви и молодости, растущие в королевских волшебных садах.

Все это было знакомым и любимым с детских лет. Но знать досконально их квартал, его подвалы, крыши, подземные переходы и выходы от дома к дому, мало кому удавалось. Многое в этом и для него до сих пор оставалось неизведанным. Ведь все древние кварталы старинных городов тщательно оберегают свои тайны, открывая их только избранным ...

Он любил свой большой и красивый город на берегу моря, плывущий среди зелени пальм и эвкалиптов как бело-голубой океанский лайнер, а иногда он представлял его огромным воздушным кораблем-дирижаблем, обмываемым морскими и горными ветрами плывущим в жарком мареве раскаленного солнца...

А еще, он, как и все его друзья, любил, покуривая, сидеть у моря на песчаных пляжах и следить за рождением волн, наблюдая, как одна переходит в другую, а затем умирает, рассыпаясь пеной и брызгами в мелком песке.

Любил играть в футбол на берегу в своей дворовой команде, и каждая клетка его тела радовалась молодости и жизни, впитывая морскую соль, солнечные лучи и запахи холмов.

По вечерам, расположившись в любимой чайной на тех же холмах, приятно было следить за закатом солнца и слушать шум города, разнообразие его голосов и предвечернее пение птиц. Над городом витали запахи суеты, разговоров, цветов, крепкого кофе и мятного чая. День уходил, а с ним уходили мысли, связанные с ощущениями, впечатлениями, и событиями, произошедшими на его протяжении... Опускался вечер, закрывались магазины. С его приходом с улиц исчезали торопливые женщины и красивые девушки с говорящими темными, как ночное небо, глазами... Время текло легко и беззаботно.

Но все это было до того, как он узнал о двери и комнате. С тех пор жизнь его круто изменилась. Почувствовав себя значительным, посвященным в тайну, он осознал, что кроме тех простых радостей, которыми он жил, теперь появилось предназначение, которому должен следовать. И, несмотря на то, что ощущение и вкус жизни он любил больше всего на свете, роль хранителя приобретала в его глазах сокровенный смысл. Постоянно думая об этом, и оберегая от посторонних глаз знание о неизвестной двери, ведущей в таинственно светящееся пространство, он больше не решался вести прежнее существование.

Теперь ему никогда и ни на что не хватало времени: кто-то влюблялся, женился, рожал детей, делал карьеру, его же предназначением было мысленно охранять загадочное помещение, наполненное несметными богатствами рая или ужасной огненной горечью ада. Там было неизведанное и необыкновенное, и это теперь составляло весь смысл его бытия.

Время шло, розовый песок его часов непрерывно перетекал из одной прозрачной чашечки в другую. Как-то раз, спустившись в подвал по какому-то незначительному поводу, он заблудился в длинных коридорах, изучить которые не хватило бы жизни, и забрел в ту часть, в которую никогда раньше не заходил. Когда же, обнаружив неизвестный ему переход, он уже почти вышел к площадке, ведущей наверх, вдруг остановился – перед ним была дверь. Старая деревянная дверь серо-голубого цвета с оборочкой краски по боку – точно такая, именно та, какую он видел в своих мыслях!

Едва заметное движение изнутри показывало, что прикрыта она не плотно – дрожала, как живая, словно приглашая его войти. Жемчужно-серый, с легким красноватым налетом свет, манил его, поблескивая в узкой таинственно приоткрывающейся щели. Оправившись от шока, он сделал нерешительное движение в её сторону, осторожно протянув руку.

Мысли метались как испуганные птицы. Но страх, мешавший ему сделать решительный шаг, просто меркнул перед любопытством и желанием узнать, что же там, там внутри. Сильное желание увидеть не давало ему покоя до такой степени, что он даже ощутил покалывание и дрожь в кончиках пальцев.

Что же на самом деле таится там, в глубине за дверью, о которой он так много думал и как редкую драгоценность тщательно охранял такое длительное время?

Закрыв в глаза, он шагнул вперед, почувствовав, как тихо скрипнув, дверь поддалась, и остановился, замерев на месте.

– Что? – пытался понять он, не размыкая век.

Ничего не происходило. Но через мгновение ему показалось, что кто-то едва слышно, будто вскользь осторожно коснулся лица, волос...

Медленно приоткрыв глаза, он понял, что это луч солнца, пробившийся сквозь небольшое запыленное окошко полуподвала, которое ещё сохранило остатки цветного старого витража, скользнул по его щеке. С недоумением оглядевшись, он вдруг понял, что ни рая, ни ада здесь нет, никогда не было и не могло быть!

Это была просто кладовая комнатка, в центре которой стоял старый колченогий стол, на котором возвышалась древняя пишущая машинка с поломанной клавиатурой, а в углу большой нескладной кучей лежали, валялись целые и поломанные швабры, рядом с которыми мирно соседствовали ведра и тряпки для мытья полов.

– Как же? ... А где же? – оторопело и растеряно оглядывался он в поисках тайны.

Тем временем из коридора внезапно донеслась веселая песенка и через секунду соседская девочка с первого этажа, позванивая разноцветными браслетами, влетела в кладовку.

Вскрикнув от неожиданности, она испуганно затормозила, чуть не сбив его с ног.

– Что? Что Вы здесь делаете? – удивленно и застенчиво подняла она огромные глаза, которые словно разбрызгивали счастье юности.

Девочка впоследствии обещала стать красавицей, но сейчас ещё рано было об этом говорить.

– А ты что здесь делаешь? Давно знаешь об этой двери, то есть, комнате? – все еще недоверчиво оглядываясь, спросил он.

– Конечно! Я каждый день помогаю маме убирать коридоры и лестницу, – уже смелее ответила девочка.

Смущенно оглянувшись по сторонам, она схватила нужные для уборки швабры и быстро убежала, успев окинуть его любопытствующим взглядом темных смеющихся глаз, и он опять услышал ту же веселую мелодию, уходящую по ступенькам наверх.

Трудно даже было сказать, что он почувствовал в этот момент. Разочарование?

Нет, разочарованием это назвать было нельзя ... Скорее, он был опустошен настолько, что не чувствовал ничего. Все, во что он верил, считал своей миссией, тайной, оказалось старыми швабрами, тряпками и разбитым столом.

Сквозь полуподвальное окно с остатками цветных стекол светило солнце, освещая цветом мутного сизого перламутра старые бутылки темно-зеленого стекла. Свет играл с

пылью, полосами ложился на серый, истёртый веками плиточный пол с вкраплениями какого-то темно-зеленого минерала...

Внезапно выскользнув из кладовки, один из лучей лёг на подвальные ступеньки, ведущие к выходу, по которым недавно убежала поющая девочка, будто предлагая идти за ним.

Наконец он осознал, что вся его значимость и знание тайны было обманом, иллюзией..., как и сама тайна. Ощущение, будто его обокрали, обездолили, лишили чего-то грандиозного, вызвало внезапную вспышку обиды. Он понял, что не прав, что на самом деле этого грандиозного, как оказалось, никогда и не было ...

Ещё минуту постояв, он двинулся по ходу солнечного луча, стараясь не наступать на него. Поднявшись наверх к выходу, он заметил, что луч, указавший ему путь из подвала, исчез. Но это уже было неважно, потому что голоса города, улиц, его шум и суета шквалом обрушились на него, смыв остатки обиды и недоумения.

Спускаясь по ступеням улицы, он вышел из своего квартала, и, услышав море, пошел к набережной. Сила реальности с каждым шагом наполняла его тело, мысли, чувства и это забытое ощущение приносило ни с чем несравнимую радость.

Он огляделся вокруг. Как и раньше, мужчины, собираясь группками, сидели у стен зданий или стояли на тротуарах, обсуждая новости возбужденными гортанными голосами. Среди них он увидел несколько прежних друзей, заметив его, они заулыбались и подняли руки в знак приветствия.

Напряжение, впустую державшее его длительное время, отпустило. Все стало как обычно, как раньше, и легко вздохнув, он направился к ним!

Раскаленный город, постепенно остывая, с удовольствием впускал в свои владения ночь.

ГОРОД ЗНАЕТ ТЕБЯ НАИЗУСТЬ

Владимир ВЕРЛОКА

ЧЕРНОВИКИ ЗИМЫ

Постучит в деревянную полночь
Снегопада слепой шепоток,
От бессонницы лучшая помощь,
Дирижерства случайный урок.
А потом минареты морозов
Нацарапают в небесах
Многоточий косые угрозы
И дремуче-игольчатый страх.
На трамвайном стекле прорастает
Непролазная злая трава.
Холода нас ногами пинают,
Загоняя в чулан естества.
Я согнусь от немыслимой скуки
И увижу в прицеле нуля,
Что замерзшие реки, как руки,
На себя наложила земля.

* * *

Глухая ночь. Пустой аэропорт.
В карманах греют руки самолеты.
Шершавый снег за окнами метет,
Не соблюдая правило субботы.
И я его читаю, как слепой,
Перебирая кончиками пальцев
Скуластый голос книжной мостовой,
Сжимая посох древнего скитальца.

* * *

Скучно верить толстушке-зиме.
Как сугробов амбарные книги,
Мелом крашены стены в тюрьме,
Не по нотам поют забулдыги.
Но из этой прорехи времен
Свет сочится густой и смолистый.
И на цыпочки встал Парфенон,
Чтоб узнать, что же с нами случится.

* * *

...ибо таковых есть
Царствие Божье
Лк.10.14

Не подглядывай, море, успеешь еще посмотреть...
На ресницах кулис ненароком случилась слеза.
И покуда трубач не целует охрипшую медь,
Заучи назубок, что тебе говорила гроза.
Одолжи эту дивную твердость у спелых камней,
Разбуди долговязых дорог говорливую знать,
Чтобы встретиться нам на соленых развалинах дней
И поверх непроглядного слова друг друга понять.
Нас правдивостью сказки, как хлебом ржаным, накорми.
Так по ржавому солнцу вслепую бредут острова.
Мы могли быть царями, но, видишь ли, стали детьми,
Лишь бы запросто к нам погостить заходила трава.
Только море молчит, или лапу лениво дает.
Только в детских руках беспризорное небо живет.

* * *

И видел я семь Ангелов,
которые стояли перед Богом,
и дано им было семь труб.
Откр. 8.2

Люди, как флейты, упрятаны в бархат квартир.
Ни звука, ни голоса, воздух зыбуч и неплотен.
Утренний кофе. Некстати исчезнувший мир.
Ссорятся тени в пустых рукавах подворотен.
Выйди на улицу, вот фестиваль пустоты.
Стань снегопадом на черной полоске перрона.
Если промедлишь, тобой разведутся мосты.
Видишь – у кассы архангел стоит с саксофоном.

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ

Как театр в отсутствие зрителей,
Или тонкого уха травы
Голос, взятый у горных обителей,
В электричку садятся волхвы.
Что им смерть? От видения жуткого
Их крутая зима бережет.
Или балует выстрелов шутками
Государства тяжелый полет.

Легкокрылое кружево полночи
Тверже слова и глины сухой.
Ждут заране обещанной помощи,
Повидаться хотят со звездой.
И в хлеву под покровом ненастия
Им светила такая звезда,
Что, предчувствуя двоевластие,
Замерла в Иордане вода.

ВАРИАЦИИ НА КНИГУ ИОВА

Будто соль на сухих губах,
Взялась коркою пыль дорог.
Если в небе висит страх,
Значит, мимо прошёл Бог.
Неразборчивой станет речь.
И сухой, как песок, гортань.
Можно просто на землю лечь,
Подорожником вдруг стань.
Свиток этого дня закрыт,
Зачерствел пресный хлеб слов,
Ты остался всеми забыт,
Ты теперь совсем как Иов.
Даже гневаться нет сил,
Словно камень тяжёл вздох,
Но объявшую тьму спроси –
Что ты сделал со мной, Бог?
И тогда темноты вязь
Разорвёт над тобой гроза,
И почувствуешь, как смеясь
Дождь целует твои глаза.

ВРЕМЯ БАРОККО

Ближе к осени зонтики летних кафе улетают на юг.
Почему – неизвестно, скорее всего, по привычке.
И как в жилах листвы процветет желторотый испуг,
Так и в жилах провинций зеленая кровь электрички
Носит нас, будто воздух. Слегка капители штормят,
Значит, как и назначено, сбудется время барокко.
И в материи сумерек может запутаться взгляд,
Отрываясь от ветки глазной и пускаясь в полет свой
короткий.

* * *

Город знает тебя наизусть.
По прожилкам расплывчатых улиц
Расплескалась смолистая грусть,
Веки кленов в нее окунулись.
А в провинции Моцарт царит,
И испачканы воском сонаты
Пальцы ветра. Но он говорит,
Что мы сами во всем виноваты.

ПОПЫТКА СВЯЗИ

Сергей ГЛАВАЦКИЙ

МОЙ СОЛДАТ

Мой боец, мой солдат, я теряю тебя,
Будто армию, будто победу над злом.
Если ангелы спят, когда демоны спят,
Я тобой прикрываю себя, как крылом.

Я тобой прикрывался, ты этим – жила,
Это был твой суровый солдатский паёк.
Моя армия больше не стоит крыла,
О ней грустные песни сирена поёт.

Твоего офицера знобит, мой солдат,
И победа над злом далека, за рекой.
Я поднялся на борт, и – уносит вода
Твоего офицера домой, на покой.

КРАСНАЯ КНИГА

1

Медленный зверь возвращается в ад,
Поенный пеплом, корнями и снегом.
Что ему нынче конвой или нега,
Ведом ему только вектор «назад».

Медленный зверь возвращается в круг,
Сломленный сонмом чужих приключений,
Сквозь можжевеловый саван мигрени,
Сквозь мимикрию к ней прежних подруг.

Каждый и каждая зверя – оставь.
Сам – мимикрия огня и дыханий,
С нимбом из чьих-то сухих подсознаний,
Медленный зверь возвращается в явь.

Мимо миров, безразличных к сынам,
Согнанных в тучу движеньем обмана,
Брошенный будущим и постоянным,
Медленный зверь возвращается к нам.

2

Меченый зверь всех распятых мрачней:
Рыжие кони и бледные кони,
Адские твари – на каждой иконе,
Но за спиною того, кто на ней.

Средь задохнувшихся солнц-недотрог
Меченый зверь облетает, как роза,
И осыпается выжженной прозой,
Будто бы сказочный единорог.

Всё ему – меридиан, параллель,
Одновременно – экватор и полюс,
То ли над бездной ползти, то ли в поле,
То ли октябрь встречать, то ль апрель...

Меченый зверь компостирует дни,
Но – одиноки и утлы дороги
Их, ибо все они – единороги,
Хоть и зовутся конями они.

3

Загнанный зверь слепотой осаждён,
Держит в котомке – гербарий агоний,
И – уступает безликой погоне
Место под Вегой, всем Млечным Путём.

Сонмом пустот облицован вокзал
Судеб, куда не свернёшь – задремотье.
Всем – и душой, и рассудком, и плотью –
Загнанный зверь попадает впросак.

Кто его знает, зачем он таков –
То ли по-своему жизнь прожигает,
То ли всеядные яды ласкают
Мойр по ту сторону мёртвых веков.

Хоть и не теплятся в жухлой траве
В кладезях пепла, в нордических трюмах
Тихие, тихие белые шумы,
Всё ещё слышит их загнанный зверь.

4

Раненый зверь – суть – обратный отсчёт.
Язвами взят он в кольцо и помечен.
Он истекает туманом картечи,
Воском и ртутью, и – кровью ещё.

Пусть Млечный Путь смотрит зверю в глаза!
Веге во ртутную лужу пора лечь.
Всё, что осталось от мира – паралич
Огненных нот в саблезубых лесах.

Раненый зверь знал свой собственный срок.
И оберег, и тотем его – нежность.
Но среди тех, кто плетёт безутешность,
Он ничего для тебя не сберёг.

Словно обрыв, на котором не спят,
Словно успенье, которым не дышат,
Раненый зверь – и всё ниже, и выше.
Он – и себя не сберёг для тебя.

*** * ***

С утра пойдёт толчёный снег,
Такой, что толком не увидишь,
Каков – ослепший человек,
Каков – в глазу обрюзгший Китеж.

Лото снежинок сменит лёд.
Воздушным змеем в Третьем Риме –
Ты в мир отпустишь самолёт,
Чтоб он лавировал меж ними.

Не чуя трещин миража,
Не повинуясь отраженьям,
Войдёшь в начинку гаража
И станешь собственной мишенью.

И не поймёшь, что носишь мор
С собой, что вразнобой – все птицы,
Что я, мой Свет, так и не смог
Принять, что ты – самоубийца.

И станет Змей воздушный сед,
Упавший в Ирий, и, конечно,
Найдя на энной полосе
Тобой растерянную нежность.

ПОПЫТКА СВЯЗИ

В утопической комнате, через века,
Где невидимо – смутной тревоги озона,
Где остыл жёлтый плед и озяб кардиган,
Будут две телефонные трубки – бессонны...

Они будут висеть на своих проводах,
Кем-то сняты и брошены, и позабыты,
И бессмысленно будет само «никогда»,
Когда призраки станут шептаться открыто

В эти трубки, и будут слышны – голоса
Их – знакомых – из разных вселенных и капсул,
Их, погибших давно, как и все чудеса,
Их, ушедших в подполье от армий коллапсов.

И – возможно – что случай сыграет ва-банк,
И – сойдутся мгновенья в испарине грусти,
Два тоскующих призрака, раб и раба,
Обнаружат, что есть между трубками – устье,

И дождавшись звонка, через век или два,
И услышав друг друга, узнав по дыханью,
Наконец-то отыщут такие слова,
Что на время – изменится суть Мирозданья...

Плоскость моря – экран телевизора лишь.
Сингулярность де-юре – стоять над обрывом.
В астеническом небе петляет камыш,
Словно древнего Ящера Времени – грива.

Подвенечные радиоволны в одно
Нас сольют, словно воду из всех водопоев,
И тогда я поверю, что счастье – дано,
Что тобой станет в тысячный раз – всё живое,

И, при жизни поправ, будто вечность – собой,
Равновесие астмы и воздуха – вьюгой,
Эти призраки бледные, словно прибой,
Наконец-то – быть может – полюбят друг друга.

WHITE DOT

Земля стучится в Землю.
Стучится Небо в Небо.
И пахнет лихорадкой
Мой обморочный мир.

Глаза глазам не внемлют.
Сознание – как ребус,
На все горячки падкий,
Коллаж из адских СМИ.

Стена уходит в стену.
Вода несётся в воду.
И не было печали,
Но нас зачали – здесь,

Под девиантным тленом,
Над сингулярным бродом,
Где спит конец в начале,
И нежить на хвосте.

Тебя за мойру держат.
И мир в хмельном восторге –
Как шведская могила,
И мир – как белый шум,

И голоса умерших
В калейдоскопе оргий,
Цейтнотами насилуй,
И дом мой – парашют.

Реальности, дрожите.
Нейтрино вас погубят.
Меня не разрешили.
В июле будет снег.

И, сельский небожитель,
Мой мозг – как кубик-рубик,
И – будь готов к могиле,
И будь готов – к Луне.

X, Y, Z, T (НУЛЕВЫЕ КООРДИНАТЫ)

Что знаешь ты, зеленоглазая моя,
от том, как любят привиденья после смерти,
каков озноб от мнимой боли у предсердий,
как страшно быть амфибией, когда маяк
ревёт в тумане по тебе и прочим бренным,
быть в мире мёртвых и живых – одновременно?..

Где капитаны немы, будто циферблат,
бесплодна Мельпомена, будто саквояж пуст,
где призраки ведут любовь свою, как тяжбу,
и, отлетает в небыль тот, кто стал крылат,
и суженую, даже если и не жил с ней,
он любит в сотни раз сильнее, чем при жизни...

И понимает призрак в этот миг,
что в каждой прошлой жизни суженой, любимой –
не важно, вставшей рядом ли, прошедшей мимо –
была одна и та же девушка (ремикс
лишь!), в каждой жизни только ею был овеян,
и после каждой смерти – думал лишь о ней он...

Что скажешь ты, когда все чувства жизней всех
в одну любовь я соберу, как птицелов, и
беззвучно буду ждать – тебя – у изголовья,
на Рубиконе том, на должной полосе,
где чувства все за ночь одну тебе приснятся,
где все они в одну любовь объединятся?..

УГРОБЛЕНО ПОД ЗАМКАД

Генофонд, геноцид, геномор, геноцирк...
Золотые тельцы нас берут под уздцы.
Кто был ночью убит, тот сто лет уже спит.
За Садовым кольцом обретается спирт,
Под Садовым кольцом пьют коллекторы СПИД,
И за крепкое здравие пьёт инвалид,
И скорбят по нам – Киев, Одесса и Минск...
Поминать уже некого – чёрный помин.

Мы – обрубки без ног, мы – культяпки без рук,
(Девятнадцатый год в наших генах – хоругвь),
Ходим в чёрном – сто лет и не знаем, что так –
Поминаем царя, что мы всё ещё – там,

И морально мы – трупы – уже – навсегда
(С девяностых душа наша стынет во льдах),
И нам снится, что вместо царя мы лежим
На постели его, что – постельный режим.

Это княжество катится в тартарары –
В состоянье искусственной чёрной икры,
И никто никогда не поможет ему,
И на нём – нефтяной чёрной метки хомут,
И славяне ему, будто валенки, жмут,
Все замкадыши молча шагают в тюрьму,
Под замкад, под замок, под кладбищ телеса...
Улетайте, славяне, в *свои* небеса!

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

Пусть вначале был Жест,
А потом уже – Слово.
На твоём *этаже* –
Ни того, ни другого.

Мир деяний, не – слов,
Мир пространства, не – звука,
Словно шар-змеелов,
Словно жестов порука,

Нам с тобой незнаком.
Мы идём, как бродяги,
От всего, что – потом,
Разбегаемся в страхе.

Сколько лет босиком
Мы обследуем темень,
Не умея в наш дом
Превратить это время!

Сколько жизней подряд
Мы бредём, будто дремлем,
Не умея в наш сад
Превратить эту землю!

Нас сорвала Луна,
Как траву – буреломы.
Эта вдовья страна
Вся исходит истомой –

Слишком ветрена мгла,
Пахнет ликантропией,
Моя дрожь приплыла
За тобою мессией.

Моя смерть принеслась
За тобою – стоп-кадром,
Как непрошеный князь
За своим императором,

И теперь я могу
Целовать твои губы,
Сам себя душегуб –
Храмом звать звёздный купол.

И мы снова идём,
Окаянные двое,
Под жемчужным дождём,
В даль, в – *своё*, в – неживое.

ГРАФФИТИ

Олег ДУХОВНЫЙ

АКВАРИУМ

Голубь в окне – наверно, благая весть
проклюнется вскоре, надеюсь, осядет взвесь
злобы дня, буквальной, конкретной злобы.
Страна празднует, как всегда, «день жалобы».
Отпевает живущих не то поп, не то сотник,
но июль раскрывает спасительный зонтик,
и пусть глючит процессор,
чтобы был я в процессе
любви, постижения женщины спящей,
заснувшей под мелькающий «ящик».
Хорошо жить в любви, в тесноте...
Она светится вся в темноте.
Аквариум комнаты,
рыбки плывут по стене,
и простыни скомканы –
звук отключили стране.

* * *

Всего и надо-то – уткнуться мне в плечо,
обвить рукой, шептать мне горячо
какие-то слова, вернее, звуки.
Я вторю за тобой, как неофит,
неведомый любовный алфавит
ночной страны в преддверии разлуки.
Нам до конца его не разучить
и не узнать, что скрыто за словами –
уже готов рассвет нас разлучить,
застыв, как меч, у нас над головами.
Терновник моё тело оплетёт,
вонзившись в сердце острыми шипами.
Всего и надо-то – уткнуться мне в плечо,
оставив ночь волшебную на память.

СУРГУЧ

Дом деревянный стоит, скрипучий,
огромный, как родительский чемодан,
посылки в мешковине с печатью сургучной,
с очень ценным, наверное, чем-то там.
И бежишь, и катишься, и летишь на велике,
облизываешь губы, капает сургуч,
почта привокзальная, нам туда не велено,
но мы же не нарочно, это санки с круч
съехали, заехали
чёрным зимним вечером
по мосткам бревенчатым
в кляксы телеграмм.
Ах, смола сургучная
и слеза горючая,
всё хожу, канючу я:
«Больше я не буду, честно-честно, мам...»

ГРАФФИТИ

Душа упакована в кокон пуховика,
спреем наружу, крутит двойное сальто
вместе с позёмкой, похожей на хомяка,
снующего по асфальту.
Но пока суть да дело – снег уже прошёл.
День застыл в окне, как вода в графине.
Человек откидывает капюшон,
в чёрно-белый шагнув граффити.

ДРУЗЬЯ УСТАЛИ БЫТЬ ДРУЗЬЯМИ...

Лариса НАКАЗНА

* * *

Я опять ищу углы
в комнате своей без стен,
разжигаю в ней костры,
примиряю жизнь в катрен:

мысли разные звенят
в голове, да все не те...
Если в слове нет меня –
значит, нет меня нигде.

НА ДВОИХ

Первыми падали желтые листья,
ты им прости эту слабость осеннюю...
Пьяный туман по извилисто-лисьей
бродит душе..., ну а я за спасение
выпью до дна...
Полнолунье сегодня...
(Шабаш устрою во имя забвения...)
Знаешь, казалось, что милость Господня
это когда на двоих откровение.
Соединение двух искушенных,
то ли безумием, то ли пророчеством.
Только, наверное, у прокаженных,
это когда на двоих одиночество...

5 ЗОЛОТЫХ

Друзья устали быть друзьями,
теперь свои среди врагов.
А я безбожными стезями
иду в страну для дураков.
Не то чтоб мне хотелось очень
почувствовать себя бревном,
зарыть монеты лунной ночью,
и чуда ждать! Нет... Все равно...

До дыр заношенная совесть,
чертополохом голова.
Мне в одиночку жизни соль есть
и верить в антибожества.
Костыль – опорою по жизни.
Породистая грусть в глазах.
Мне б рассмотреть в стаканной призме,
как дышат небом паруса.
...Взойдут рассветные мигрени.
И боль холеная – под дых...
Но, опускаясь на колени,
в руке зажму пять золотых.

_____

я опрокинула ладонь
и оглушила жизнь тихонь.

ИЗ ЦИКЛА «АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ»

Сергей НУШТАЕВ

КРЫМ

Люлякебабы тополей
В пылу углей зари вечерней...

Уютный столик... «Водолей» –
Названье крохотной харчевни.

Давай ещё здесь посидим,
Вина закажем, сыра, хлеба...

Крым, облаков душистый дым,
И искры звёзд в мангале неба...

ИЗ СБОРНИКА «СОННОЕ ЦАРСТВО»

ПОЛНОЛУНИЕ

На улице луны полным-полно!
Немудрено, что в эту ночь не спится.
Бессонницы листаются страницы...
А может, это так заведено, –
мы – тоже сон, и он кому-то снится...

Там, за околицей – незримая граница,
но преступить её нам не дано,
как вон той бабочке, которая в окно
безцеремонно и давно стучится.

ИЗ ЦИКЛА «КАЛЕНДАРИ»

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ НА ЛИСТКЕ КАЛЕНДАРЯ С ДАТОЙ 13 ДЕКАБРЯ

Декабрь, тринадцатое. На дворе весна
царит, наперекор календарю.

Прозрачен воздух, празднично ясна
лазурь небесная... Дверь настежь отворю

и так же запросто шагну через порог
в весну из середины декабря,

как эти вот шагнули восемь строк
на отрывной листок календаря!

ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ

Вот-вот от «истощенья»
погибнет календарь...
Свой встретит «день рожденья»
«упитанный» январь –

румяный и весёлый!..
Застолий череда –
заколядуют сёла,
напьются города...

Морозной вереницей
цепь празднеств промелькнёт –
смех, свечки, ёлки, лица,
шум, тосты... Новый год!

Январь – не за горами –
нет времени совсем!
Бредут волхвы с дарами
в далёкий Вифлеем...

ИЗ СБОРНИКА «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ»

РУНО ОБЛАКОВ

Руно облаков... На его светлом фоне
древесные ветви, как древние руны.
Кораблик балкона отчаянно тонет
в лазурном просторе небесной лагуны.

Здесь в воздухе времени ветер витает –
священные руны, обряды, друиды...
След тянется за самолётом и тает –
везут аргонавты руно из Колхиды.

Столетние липы столичного парка,
чуть зримое веретено самолёта...
Из облака нить выпрядают три Парки –
нить чьей-то судьбы, неизбежное что-то...

КАМА-С-УТРА (И ДО ВЕЧЕРА)

ПовременИ! – я Времени шепчу, –
По времени, ещё ведь не пора?

Вчера я с вечера и до утра
прожил сто жизней с ней.
Ещё хочу!

Стой, Время! С той,
с которой случай свёл,
не разлучай! Не мучай!

До зари
остановись! Минут не замечай!
Не различай часов, дней, лет,
– замри!

ЧИРКНИ СПИЧКОЙ!

...Чиркни спичкой, если хочешь –
чтоб зажечь солому строчек,

чтобы вспыхнувшей страницей
мне к ногам твоим свалиться,

чтоб горящих точек стаей
на глазах у всех растаять,

обращая в пепел жаркий
исправленья и помарки...

Чтоб как Феникс возродиться
снова чистою страницей

и начать, открыв кавычки,
с первой строчки: «...Чиркни спичкой!»

Лила ПЕРЕГУДА

ВРЕМЯ КАМНЕЙ

ПЕРЕСТУПЛЕНИЕ

На закрытой конечной станции трамвая
на рельсах сидит пятнадцатилетняя осень,
отстукивает костяшками фламенко,
а танцевать ей пока не о чем.

Обнаженные плиты забора
греют бока на ячменном с солодом солнце,
а туда, за их спины,
городу не разрешают ходить –
он еще маленький.

Там не названные по именам
оттенки ветра,
отголоски цвета,
отроги времени
просят, чтобы их помнили,
гулко молчат и улыбаются.

Цикады щекочут под любопытством,
и город, подглядывая сквозь пальцы,
идет, спотыкаясь, наружу
через извечное высоковольтное нельз-з-зя –

и встают на дыбы заборные плиты,
и осень, истерично счастливая,
пускается в пляс по нагретому гравию,
а ей навстречу сквозь туши бетона
с шелестом, ревом и рокотом
несутся долгожданные братья и сестры.

СКАЗКА

Привези мне из Афганистана
Утра, синего до оскомины,
Ветра сочного, переспелого,
Огоньков ядовито-ласковых,
Приперченных морозом гор.

У костра приготовь мне сказку
В решете из дырявой памяти
На углях, на углах, на улицах –
Ветках города пересохшего,
Переломанного грозой.

Там, где прах ходит в гости к праху,
Прах лепешки печет из небыли,
Прах гоняет синичек по двору,
Прах смеется и курит облако,
Чтобы ночью приснился дождь –

Там с утра из росы багровой
Подберет меня время под руки –
Прокопченное, седобровое –
На повозку уложит ветхую
И домой меня отвезет.

ВРЕМЯ КАМНЕЙ

Мальчик учился у камня. Таков ученик –
Быть продолженьем вразрез со своим естеством.
Рельсы разобраны, дальше идем напрямик
К дереву знания – просто обнять его ствол.

В сердце моем проступают чужие черты –
Роет могилу Адам себе лишним ребром –
Я музыкальный наводчик Господней арты,
Семь километров на завтра – огнем и добром!

Время идет в наступление, время бежит,
Хроника грузно цепляет деталь за деталь,
Камни у девочек учатся плакать и жить,
Камни у мальчиков учатся петь и летать.

ДАМА

Дама – не то чтобы та, которая пик –
Волосы цвета зависти, кожа – спеси –
Ищет в бокале того, кто не будет тесен,
Ищет того, кто бы свыкся, но не привык,
Он же стоит под сердцем, теряя в весе –
Для священной коровы священный бык.
Легкость ее походки – обман пружин,
Даже вода в ней жесткая – накипело.
Танец уныло тянется грязно-белый,
Из полоскания переходя в отжим.
Он же проник в любовь, словно пуля в тело,
Вечно на дне покоится недвижим.

Вечер – двойной бурбон из тоски со льдом –
Червы и червоточины в черный красит.
Дама – почти что джокер в коктейльной рясе –
Пошлый бордель раскладывает в дурдом
Ради того, кто льнет к великанской расе,
Из лилипутов склеив себя с трудом.

АУКЦИОН

Мой
Дом
Ушел с молотка.
Ну, ничего, потерплю
Пока:
Может, мне Бог приготовил такой же,
Но с видом на облака?

Мой
Муж
Женился на ней.
Ну, да ладно,
Ему видней.
Может, с кем-то другим будет проще
Прожить до скончания дней?

Мой
Сон
Приснился другим.
Вот незадача! –
Второй поглядим...
А может, стоит на время вернуться
В мир, где мы пьем и едим?

Мой
Звук –
Мое существо –
Мне достанется вместо всего,
А потому я желаю вам счастья,
Даже пускай – моего.

Я В ПАРКЕ ВЕСНОЙ ПОДРУЖИЛСЯ С БЕРЁЗОЙ...

Игорь КАСЬЯНЕНКО

* * *

Смотрю на пик Сюрю-Кая.
Там, наверху, где ветры дики,
белеет облако на пике.
А раньше был на пике я.

В ту пору, не жалея сил,
я в гору лез неутомимо,
чтобы теперь, гуляя мимо,
небрежно бросить:
я там был.

Я был. И в этом смысле с облаком
мы отличаемся лишь обликом.

* * *

Я поэт. Я, как птица, ужасен вблизи.
Не ловите меня – я свободная птаха!
Я могу испугаться и клюнуть от страха.
Но любить меня можно. И в этой связи
Вы ищите меня настоящего – там,
Не на улицах и не на книжных прилавках,
А когда я с божественным грошиком в лапках
Опускаюсь на голую паперть листа.

В этот миг я – как солнечный луч на росе...
Я пронизан любовью, как рыбами море.
Ну а в прочие миги – я сам себе горе.
И, как все, одинок. И ужасен, как все.

БЕСПОКОЮСЬ

В берлогах Сибири проснулись медведи.
В Нью-Йорке пытались клонировать совесть.
За стенкой поют и дерутся соседи.
А я беспокоюсь.

Я в жутком волненьи хожу по квартире,
Смотрю в телевизор – ну, сколько же можно!
Скажите скорей, что хорошего в мире!
А в мире тревожно.

Удельного князя лишили удела,
Гагары загадили Северный полюс,
Казалось бы, вроде, какое мне дело?
А я беспокоюсь.

Жена говорит, что я псих, неврастеник!
И письма мне клеит на телеэкране.
Я нужен ей только для секса и денег,
А я многогранен.

Я тонкий ценитель кино и театра,
Я песни пишу на серьёзные темы!
И, кстати, я был у врача – психиатра,
Там те же проблемы.

А диктор кричит, что беда на пороге,
В Непале на гуру напали гурманы!
В Бомбее поссорились кобры и йоги,
А в тундре шаманы.

Опасность повсюду, но где же причина?
В каком я её должен видеть ракурсе?
В постели жены незнакомый мужчина,
Он тоже не в курсе.

Газеты толкуют о порче и сглазе,
А мне уже ясно – я падаю в бездну –
Сегодня на финском сижу унитазе,
А завтра исчезну.

И нет мне иного лекарства от века,
Чем бегать в избушку к зелёному змею,
Он добрый, он может понять человека,
А я не умею.

Я вижу людей, их тревожные лица,
Жестокие споры, нелепые позы,
И думаю, Боже! Зачем я не птица,
Не ветка мимозы.
Зачем я смотрю с беспокойной тоскою,
На эту сумятицу свадеб и воен?
Вот был бы я бабочкой или рекою, –
Я был бы спокоен.

Как славно быть сразу и целым и частью!
Бушующим морем и тихим причалом,
Звеном бесконечности и в одночасье
Концом и началом.

Как просто быть крохой живого потока!
Пыльцою и полем, где травы по пояс!...
Но я – только я, мне всегда одиноко.
И я беспокоюсь.

* * *

Я в парке весной подружился с берёзой
Когда она, белая, плакала сладко.
А я, увлечённый житейскою прозой,
Шёл мимо и сам для себя был загадкой.

И вдруг (будто молния вспыхнула ярко)
Я кожей почувствовал рядом живое –
В холодной пустыне весеннего парка,
В стране одиночества встретились двое.

С тех пор стали частыми наши свиданья.
И вскоре я понял берёзины речи,
Она говорила мне о мирозданье,
Где всё не случайно. Тем более встречи.

Где люди, животные, птицы, растенья,
Их осени, вёсны, приходы, уходы,
Все это – фрагменты, мгновения, звенья
Играющей жизнью гирлянды природы.

Чуть позже к нам стали слетаться стрекозы
И бабочки, пёстрые сёстры фантазий.
И нам было радостно в круге берёзы,
И мир мой был полон союзов и связей.

Тем временем в городе пыльном и шумном,
В реке человечьей, как соль, растворяясь,
Я жил, притворяясь успешным и умным,
И мне даже нравилось жить притворяясь.

Казаться похожим на всех, а на деле,
Быть рыцарем тайны – большой, беспредельной.
Мы, люди, воюем и всё что-то делим,
А в мире ничто, никогда не отдельно.

Мир полон соцветий, созвездий, созвучий,
В нём значима каждая метаморфоза,
Он создан быть сразу светилом и тучей,
Он одновременно и я и берёза.

Он прячется радугой в солнечном свете,
И в этом великого смысла разгадка –
Он весь в каждом запахе, звуке и цвете,
И в каждом из нас целиком, без остатка.

В нём нет вообще ни распада, ни смерти,
Лишь перетеканье и коловращение,
И вечная жизнь и в её круговерти
Любое прощание – суть возвращенье.

Столетья спустя здесь, опять, как и прежде,
К живому живой подойдет и обнимет,
А я в шелестящей зелёной одежде,
Раскину уютную крону над ними.

И если заплачу, то лишь о высоком,
От счастья заплачу и от умиленья,
Не капелькой грустной, а вкусным потоком,
Берёзовым соком, слезой обновленья...

«О да. В этом мире всему есть причина», –
Подумал прохожий с тоской городскою,
Увидев, как в парке рыдает мужчина,
Прижавшись к берёзе небритой щекою.

И тяжко вздохнул от бездарности века,
Где психов тем больше, чем меньше порядка...
Ему было горько. Он был человеком.
А я был берёзой. И мне было сладко.

НЕ ЗБОЖЕВОЛІТИ Б МЕНІ...

Валерій МАРЧЕНКО

* * *

Я на дороге в мир иной
Уже давно пылю ногами.

Но то, что все еще я с вами –
Увы, не то, что вы со мной.

* * *

Пожелай себе добра!
Ветхи вечные начала.

Сколько судеб раскачала
Та, из первого ребра.

На снегу ли, на листе –
След равно недолговечен.

Мал отрезок человечий –
Разность чисел на кресте.

Пожелай себе добра –
Жеста верного и слова.

Осторожность змеелова
Дарит зрелости пора.

* * *

Не збожеволіти б мені...
Як жити вільному від Бога?

Як битий шлях, як та дорога,
Що лиш курить у далині?

Не збожеволіти б мені...

Гірчить роса на полині.
Куди впаде, такою й стане.

Минуть жнива, полин зів'яне,
Заграє сонце на стерні.

Не збожеволіти б мені...

Так б'ють у дзвони на свята,
Так серце в груди било й било.

Заздалегідь відгомоніли
Ще молоді мої літа –

Так б'ють у дзвони на свята.

* * *

Старалася мати
Дитя не приспати,

До ранку не спала,
Колиску гойдала...

Почав син зростати,
Почав дорікати:

Мов, годі вже, мати,
Годити й повчати.

Пішов, не вклонився...
Вже рік, як не снився...

На мить задрімала
Та й сивою стала.

Хіба ж вона знала,
Що ті колискові

Не сина приспали,
А синову совість.

* * *

Хочеш спати й спати, мамо?
Мрієш, щоб приснився?..

Я наснюся такий самий,
Як і народився –

Ще сліпий, а вже крикливий,
«Яблуко печене»...

Не прокинься, моя сива,
Додивися, нене.

Додивися! Я ростиму,
Навчусь говорити.

Відгукнусь на слово «сину»,
Схочу повторити.

Ще маленький (пам'ятаєш?)
Впаду на порозі...

Ти підхопиш, загойдаєш:
«Руці мої, нозі!..»

Ти підхопиш, розцілуєш...
А я вже великий...

Спи... До ранку намудруєш
Нові черевики.

Щось тепленьке мені зв'яжеш,
Вишиєш сорочку.

«Обережно, сину, – скажеш, –
З дівками в садочку!»

Десь, під серцем мені скажеш:
«Нагнись, поцілую»...

А у серці куля вража...
Вже й не б'ється... Чуєш?...

* * *

И долго небо остывало,
И брило голову мою.

Я тих и светел, как в раю.
Моя звезда отбушевала.

И одиночество мое
Блестит, как белый подоконник.

Гуляют блики по иконе,
И свет исходит от нее.

С тех пор как вышел за порог,
И все желания оставил,

И утро радует. И Бог –
Благословен и, благо, славен!

* * *

По деревьям бродит лень,
Водит ветками-смычками.

Красной сеткой под зрачками,
Словно рыба, пойман день.

И блестит, как чешуя,
Шифер крыши – иней тает.

Небо глубиной пугает,
Как весною полынья –

Значит, вновь осознавать
Неоправданную робость,

Упираться в эту пропасть
И дыханьем согревать.

* * *

Я шел, беззаботно листвою шурша.
Опавшие листья шептались о вечном.
И я улыбался легко и беспечно,
Но чувствовал, как остывает душа.

В белесое утро туманного дня
С корзиной, сплетенной своими руками,
Я буду скитаться, любуясь грибами,
По лесу, в котором все помнит меня.

Овраг постарел и оброс ивняком,
Но в сердце его, глубоко под лозою,
Все так же струится на свет родником
Живая вода с заповедной тоскою.

Пройду по ручью мимо старых болот.
Они никогда никого не встречают,
И только так шумно и тяжко вздыхают,
Когда замечают, что время течет.

Под елью, где низко гудят небеса,
Прилягу и тихо усну на пригорке.
И, может, приснится, что рядом у норки –
Зевают лисята и мама-лиса.

Я знаю – когда-то тревожную дробь
Мне выстучит дятел, он всем барабанит...
Пор-р-ра!.. И в холодном осеннем тумане
Послушно исчезну в положенный срок.

* * *

Старый бугор с пожелтевшей залысиной.
Тополь случайный торчит независимо.

Дальше овраг, переброшена досочка
Через ручей – полоса и полосочка.

Ветер с болота доносит до странника
Приторный запах сырого торфяника.

Долго стоит над колодцем заброшенным
Гостем непрошеным.
Прошеным...
Прошеным...

* * *

Иду по тропинке, до пояса – рожь,
Ладонями глажу колосья.

От жаворонка – в каждом колосе дрожь...
Блаженное многоголосье.

С утра меж иголок сверкала роса –
Недолго продлилась неволя.

Ромашка, репейник, осот – голоса
У кромки нагретого поля.

От солнца вконец исхудала земля,
Хоть были снега к урожаю...

Колышется рожь – провожает меня.
Оглядываюсь – провожаю.

Марек ГЛАСКО

Я РОЗПОВІМ ВАМ ПРО ЕСТЕР*

Полковнику Адамові Білинському

Я сидів у кав'ярні на розі вулиць Гесс і Алленбі, грошей залишалося тільки на одне пиво, аж тут зайшла дівчина, що їздила разом зі мною до Тверії, а потім до Ейлата. Вона сіла за мій столик, і я знову дивився на маленький шрам біля спинки її носа. Але зараз я бачив її не дуже добре, хоча назовні шкварило сонце й було понад сорок градусів спеки. Бо я сидів у темному куті – там, де й усі, що п'ють на кредит.

– Чарівні уста й зелені очі мої, – сказав я. – Ти повинна бути зараз в Ейлаті або в Тверії.

– Зараз у Тверії надто спекотно. Бачиш того типа біля шинквасу?

Я обернувся і глянув на нього: йому, мабуть, перевалило за шістдесятку. Він пив каву, і я бачив його мокру від поту сорочку, хоча він сидів навпроти вентилятора.

– Непоганий дядько, – сказав я. – Я бачив, як він виходив учора вночі із нічного клубу на Яарконі.

– Він хоче, щоб я пішла з ним.

Я глянув на нього знову. Не знаю, навіщо він пив каву: жили на його шиї набрякли і він безсило притискав руку до серця, як усі ті герої німих фільмів, у котрих так майстерно тремтять губи, коли вони колінкують на землі, а тоді в падлюки, що хоче в них вистрілити, здригається рука.

– Він не сказав тобі, що ризикує своїм здоров'ям? – запитав я.

– П'ятдесят фунтів.

– Це все, що він сказав?

– Він сказав, що я нагадую йому доньку. Його донька померла.

– Буває й таке. Що з нею сталося?

– Вона була хвора. Сама вкоротила собі віку.

– А що ще робити людині, батько котрої платить п'ятдесят фунтів за десять хвилин?

До нас підійшов офіціант.

– Що будеш пити? – запитав він у мене.

– Я ще подумаю.

– Ти думаєш уже дві години.

– Не люблю смітити грішми.

– Ти не мав досі такої нагоди.

---

* Публікується з дозволу Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG

– Вона заплатить за мене, – сказав я. – Але правило незмінне.

– Що будеш пити?

– Ще один «ґолд стар».

– А ти?

– Так само, – сказала вона.

Офіціант відійшов і приніс нам два пива. На ньому були біла сорочка, штани від смокінга та пас. І все це прилипло до нього, ніби він виліз із ванни.

– А чого ти хочеш від мене? – запитав я.

– Мені не подобається цей старий, – сказала вона.

– П'ятдесят фунтів – це непогано. Робітник заробляє на будові сімдесят на тиждень. Це лише десять хвилин.

– Ти підеш зі мною?

– Хочеш, щоб я давав вам поради?

– Ти мій хлопець, і ми підемо попереду. А він позад нас.

– Розумію, – сказав я. – Ми закохані, а він всього-на-всього перехожий, якому в той само бік, що й нам.

– До мене поліція чіпляється.

– Гаразд, – сказав я.

Вона поклала гроші на столик, ми підійшли до того старого, і я знову побачив набряклі жили на його шиї й каламутні очі, хоча він ніколи не вживав алкоголь. І навіть у тому нічному клубі, до якого ходив щоночі, він ніколи не пив, а тільки ставив дівчатам і всім, що просили його про це, але сам не пив ніколи. Він мав достатньо грошей, аби повірити, що люди люблять його, проте й не був аж таким грошовитим, аби розбуркати їхню ненависть.

– Ми підемо попереду, – сказала вона. – А ти за нами.

Вона обняла його, пригорнулась і сказала щось до вуха, але я не розчув цього. А потім ми вийшли на вулицю, й він волочився за нами по осонню. Я нічого не говорив тій дівчині з оповідання Селінджера й ненавидів його за те, що це він, а не я вигадав для неї ім'я, *однак у неї справді були зелені очі й чарівні уста, а я думав про Естер: коли я побачив її уперше, вона стояла посеред зали, в якій плямкало над тарелями три сотні людей, і щось говорила, а її тендітні плечі були темні й сильні, і всі чоловіки в тій залі дивилися на неї, але вона нічого не знала про це; вона була занадто молода й надто гарна, щоб розуміти їхні погляди. Цілковито як та, з котрою я був до неї і котра тільки тоді, коли розірвала зі мною й закрутила з іншими, додумалася, що чоловіки її кохають, але вона ніколи не розуміла, що вони ненавидять її, адже була занадто гарна, щоб котрийсь із них зумів повірити, що вона покохає його по-справжньому й зостанеться з ним назавжди. Щоб зрозуміти це, їй потрібно було ще кілька років, але потім, коли вона вже справді второпає це, то водночас зрозуміє і те, що подібне знаття безплідне, – і так буває з ними усіма.*

– Він іде за нами? – запитав я.

– Так.

Ми завернули до якоїсь брами й подерлися сходами вгору, а він ішов за нами слідом, хапався на кожному кроці за поруччя, і я чув його важкий подих, а та дівчина біля мене здіймалася сходами, мовби кішка – тихо й легко, і я не бачив поту ні на її обличчі, ані на її сукенці, а коли ми зупинилися на останньому поверсі, вона обернулася до мене, і її подих був чистий, як у дитини.

– Зажди хвилинку, – сказала вона.

Вона пішла коридором, і коли їй відчинили, почала розмовляти з кимось, і вони сперечались, а той старий зіп'явся врешті нагору і став біля мене.

– Я попив би води, – мовив він.

– Я теж.

– Мені недобре.

– Мені теж.

– Але мені шістдесят років.

– Зате в тебе є п'ятдесят фунтів, – сказав я, – і зараз вона почне розповідати, що ти якнайкращий у тій справі. А я стоятиму в коридорі й чекатиму вас.

– Я попив би води, – повторив він. – Про що вони так довго балакають?

– Торгуються за ціну.

Вона повернулась і сказала:

– Вони бояться. Їх виказав хтось. Ходімо в інше місце.

– Мені треба попити води, – сказав старий.–Я загубив свої ліки. В мене хворе серце.

Ми зійшли сходами донизу й посунули вулицею, а він брів позад нас. Та дівчина йшла швидко і навіть я ледве встигав за нею крок у крок – у неї були довгі ноги, і вона була сильна, мов кішка, і спритна, мов кішка, отож ми йшли сонячним боком вулиці, а той старий дибав за нами, і я чув його уривчастий подих. Був полудень, і люди спали, *а я думав лише про те, як Естер сиділа колись зі мною, і я пив, а вона мовчала, тільки дивилася на мене. Я не знав, про що розмовляти з нею, хоч міг би розповісти їй багато. Я міг розповісти б їй, що шукав її увесь час і що я занадто старий, аби вірити, що кожна жінка є курвою, і міг розповісти би їй, що я шукав святу жінку, бо святі існують-таки, а якщо їх навіть нема поміж нас, то вони є у нас, у наших змучених серцях, у нашій важкій крові, у наших порожніх снах, у нашій хіті, яку ми вдаємо з іншими, з отими дешевими та доступними, котрих варт забути, і котрих, однак, пам'ятаєш. І я міг сказати б їй, що в мені теж живе якась добра й свята жінка, і я міг би випростати руку і сказати, що вона саме така, але я не зробив цього. Бо був занадто сором'язливий – так здавалося мені попервах А потім здавалося, що я був просто занадто дурний. Однак тепер, коли Естер більше нема, я знав, що був просто занадто слабкий, аби справді мати святу жінку, але тоді я був молодий і здоровий і міг би мати її, коли зумів би забути те, що пережив, що бачив і що почув від інших людей. Бо тоді я ще не знав, що коли жінка й чоловік зустрічаються заради того, щоб кохати, вони зустрічаються в порожнечі, десь у самому осерді випаленої землі, куди не долітають ані звуки, ані галас, і куди не повертаються всі ті слова, які вона казала іншим чоловікам і які він казав іншим жінкам. І хай це правда, що з кожної з них можна зробити курву, але лиш тому, що ми не вміємо робити з них святих, а вони роблять лиш те, що ми вміємо з них робити. Але я не зміг нічого, і небагато з чоловіків, яких я знав, змогли це, а я знав їх багато. Знав льотчиків, котрі літали на машинах, що їх не погоджувалася страхувати жодна компанія, знав шістнадцятирічних терористів-убивць і знав іще чимало інших урвиголів, і всі вони вміли добряче хляти, битися, коли не можна було інакше, й битися, коли можна було спокійно піти додому, і всі вони вміли виживати в пустелі, в запіллі й у в'язницях, але ніхто з них не був аж таким сміливцем, щоб насправді повірити в добрість жінок, – ані п'яниці, ані душогуби, ані всі ті завсідники в'язниць. Цього не зміг і я; я зміг про це думати, але й сьогодні не зумів би повірити в це, й тепер, ідучи вулицею, подумав, що проходитиму повз них і не скажу їм цього ніколи, а якогось дня я стану старий і мені доведеться платити за їхнє кохання й диктувати їм слова, які вони мусять казати мені, поки їхні молоді тіла прийматимуть піт і запах мого тіла, сповненого смерті. Й вони скажуть мені це, а тоді мені вже буде байдуже, і я слухатиму їх, а тим часом я міг би стільки сказати їм. І тоді я скажу їм усе це, а вони не почують мене, бо квапитимуться до котрогось із тих молодиків, що не скажуть їм нічого.*

І я думав про той день, якого вона прийшла до мене вперше, а саме того дня хазяйка викинула мене на вулицю, бо я втратив роботу й не мав чим їй заплатити; тоді ми пішли до моря, і падав дощ, отож ми стали у фойє кінотеатру, і там я поцілував її і сказав, що кохаю, а потім фільм закінчився, і вийшли молоді хлопці, зіщулені й зі затятим виразом облич, а я дививсь їм услід, – як вони виходять у дощ, похитуючи стегнами, й навіть подумав, що не треба й заглядати в афіші, – і так зрозуміло, що то був вестерн, але тепер, ідучи вулицею з цією дівчиною і чуючи, як хекає старий, котрий іде за нами, я подумав, що багато віддав би, аби дізнатися, що то був за фільм. Тільки що Естер більше не було; її не було, отож, нема чого й дошукуватись.

Я знайшов нову квартиру, але моє ліжко було таке вузьке, що, мабуть, досі моя нова господиня здавала ту кімнатчину псові, тому я звернувся до товариша, який працював у майстерні, і коли його шеф пішов додому, він зоставив мені ключі, і я розпиляв раму ліжка газовим апаратом і допаяв шматок нової рами, і познаходив пружини, і було б це, либонь, добре ліжко, тільки що я був нетерплячий, бо вона того вечора мала приїхати до міста, і я квапився, і в мене не все вийшло так, як належить, і посеред ночі усе це завалилося з тріском, і моя господиня прийшла й викинула мене з квартири, позаяк я обіцяв нікого не приводити, тож я узяв Естер і ми знову пішли до моря, і знову падав дощ, і ми стояли у фойє того кінотеатру, і я мусив віддати їй свою куртку, бо вона мене не попередила, і її сукенка просякла кров'ю, а потім ті хлопці знову вийшли з кінозали, і цього разу вони були згорблені, з обличчями, сповненими гіркоти та знаття про усіх тих одчайдухів, про їхні буремні, проте короткі шляхи, котрі завершуються розрядом у двадцять чотири тисячі вольт, а я дививсь їм услід і подумав, що то, мабуть, була якась картина з Богеєм, але тієї назви я вже не пам'ятаю теж, і тепер воно усе це мені без потреби, оскільки її вже нема.*

Ми зійшли сходами ще якогось будинку й сунули крізь куряву й котячий вереск, а той старий шкутильгав за нами, і вона пішла кудись, а я стояв у коридорі й курив сигарету, й закурив уже другу, і тільки тоді він видряпався нагору і став біля мене, а я дивився в його каламутні очі.

– Мені недобре, – сказав він.

– Ми вже обговорили це.

– Я загубив свої ліки. В мене проблеми із серцем.

– Скоро вона вже буде ваша.

Він зазирнув у коридор. Вона стояла там і щось тихо говорила, і ми нічого не чули, хіба що котячий вереск і його сапання.

– Чому ти йдеш за нею? – запитав я. – За такі гроші ти можеш мати десяток інших.

– Вона добра, – сказав він.

– Звідки ти знаєш це?

– Бо я не знаю її.

– Ти пізнаєш її за мить, це всього-на-всього проститутка, що стане тобі в п'ятдесят фунтів.

– Вона добра, – сказав він. – Я часто дивлюся на неї. Я вже застарий, щоб помилятися.

– У твоєму віці це не має значення. Ти можеш верзти дурниці, а можеш говорити ніби по писаному. Тебе все одно ніхто не слухає.

* Прізвисько актора Хемпфрі Богарта (1899–1957), визнаного Американською кіноакадемією найкращим актором в історії американського кіно. Уславився в амплуа благородного циніка. (Прим. перекладачки).

Вона повернулась і сказала, що там хтось помер, і ні сьогодні, ані завтра в них не можна, тож ми спустилися сходами знову, і він ішов за нами, *а я думав про те, як посварився з Естер і пішов пиячити, а потім визнав, що був винний, ось тільки в мене не було грошей на автобус, тому я узяв таксівку й поїхав до неї, а потім наказав водієві чекати, але той таксист мене знав і витяг корбу, і став навпроти мене, і ми почали битися під дощем, і він мене заюшив, а потім мені підвезло зацідити йому, і він повільно й патетично опав на землю, мов осінь у Вірджинії, а я пішов шукати її, й мені сказали, що вона в кіно, тож я пішов туди, а там на екрані саме бились якийсь таксист із якимсь пияком, тому я почав сміятись, і тоді спалахнуло світло і стрічку зупинили, бо фільм крутили в клубі, і всі вони дивилися на мене, а я стояв і сміявся, витираючи кров, бо він поцілив мені тією корбою в голову, а Естер устала й підійшла до мене й вивела мене звідти, і ми почали сваритися знову. Тоді я повернувся до того кінотеатру, відібрав у оператора плівки і спалив їх у полі, бо згадав, що той фільм був уже старий, тим-то й таксівка була стара, тож водій не мусив лупити свого пасажира кулаком, він міг узяти корбу, аж тут прийшли поліцейські й забрали мене. І коли мене вже запихали в джип, вона підійшла і сказала, що вирішила позбутися тієї дитини. То був час, коли я страшенно пиячив, і хтось сказав їй, що дитина не може народитися здоровою; я не міг пояснити їй, що все це не так, бо мусив відсидіти те, що заслужив, а коли я повернувся, вона сказала, що вже по-всьому. Й тоді я забрав її зі собою в пустелю, і вона жила там зі мною в кабіні вантажівки, де було ліжко для другого водія й ручний кулемет, уночі вили шакали, й усе відбувалось, як у поганому фільмі, – коли Раппапорт* посварився з партнером і мусив закінчити стрічку вдвічі швидше, бо в його кишенях свистав вітер, а пустеля, шакали й кулемет – це завжди не абищиця для тих, що сидять у глядацькому залі й мусять почуватися так, аби після сеансу ще якийсь час переживати все, що вони побачили на екрані, але в нас з Естер і справді не було нічого, лише ця вантажівка і мій ручний кулемет, і бляшанки з «корнед-біфом», який ми їли з ножа, і ще ми мали трохи помаранчів і теплу воду в слоїках, які обгортали мокрим полотном, аби її можна було пити. І я сказав, що не випущу її, поки не стане запізно зробити це вдруге. А їй було двадцять, і вона була найвродливіша, а мені було двадцять шість, і я не мав нічого, крім неї й тієї дитини, якої чекав і на яку не мав грошей. Однак це була моя перша дитина, а я був першим чоловіком у її житті, тож треба було змиритися з тими шакалами з поганого фільму і з місяцем над пустелею, який був занадто гарний, щоб про це вийшло колись розповісти або написати, треба було змиритися з усім, аби та дитина могла жити.*

А потім Естер мусила повернутися додому, а я зостався сам і спав у тій своїй машині з одним типом, який цілий день мовчав, бо був тверезий, а починав говорити надвечір, коли випивав більш як половину пляшки, а я ще тримався якось, але потім ми пили разом, і так ми пили з ним два тижні, а тоді я на кілька днів повернувся до Естер і залишив його самого. Я й досі не знаю, як його звали і звідки він походив, бо він розмовляв мовою, якої я не розумів, так само, як він не розумів моєї. І тоді вона сказала, що більше не піде до лікаря, навіть коли народжуватиме, бо лікар, який робив їй операцію, виявився свинею і намагався чіплятися до неї, а я день і ніч умовляв її, але вона затялася родити сама, і коли надійшла пора, ми поїхали за місто до мого приятеля, який віддав нам свій будинок і свій джип, і оселилися там, і там не було нікого, крім нас з Естер, і коли ми вже прожили там кілька днів, я зустрів ту дівчину.

Я їхав до міста, а вона зупинила мене на шосейці й попросила підкинути до Хайфи, тож я підібрав її і ми розбалакались, і вона сказала, що є студенткою медицини і приїхала

* Герберт Раппапорт (1908–1983) – німецький, а згодом голлівудський кіномитець, асистент і партнер Георга Пабста. Від 1935 року жив і працював у СРСР.

сюди на канікули, й чекає тут свого нареченого, а потім повернеться в Штати. Я підвіз її до Хайфи і вона запросила мене на пиво, але я тільки подякував. Поїхав далі й мене не було вдома два дні, а потім я повернувся. Й тоді настали найгірші часи, бо я не міг торкнутися до Естер, і не міг сказати їй, що все це можна робити інакше, бо вона була для цього занадто молода й надто дурненька, а я не хотів зробити нічого, що могло видатись їй огидним. Бо тоді я ще вірив у те, що все життя буду з нею. І тепер, ідучи вулицею з цією іншою дівчиною і з тим старим, що плентався позаду, я подумав, що не помилився лиш раз, не помилився саме тоді, коли лежав поряд із нею, і думав, що буду разом із нею усе життя.

– Слухай, – сказав я до тієї зеленоокої. – Я вже теж утомився. Припиняй це.

– Він мені не подобається.

– Він не мусить тобі подобатися. Візьми гроші й дозвольте мені піти. Хіба він зробив тобі щось погане?

– Ні. Він сказав, що я добра. І ще багато всяких таких речей.

– Він дурний, як усі старі. Тільки що він зле почувається. Він загубив свої ліки.

– Ні.

– Він так сказав мені.

– Це я забрала їх. Витягла в нього з кишені й викинула. Я знаю, що в нього хворе серце.

– Ти підла курва.

– Він сказав, що я добра. І говорив, що всі жінки добрі, а якщо вони стають інакші, то це провина чоловіків. Ти віриш у це?

– Ні, – сказав я.

– Нащо він говорить такі речі?

– Він хотів тебе розвеселити.

– Нащо?

– Ти коштуєш п'ятдесят фунтів. Він платить багато і має право багато сказати тобі.

– Хіба йому грошей шкода?

– Йому всього шкода. Йому навіть шкода тих дурниць, які він накоїв. І шкода, що не може накоїти їх удруге. Тільки говорити про це вже пізно.

Ми йшли далі, *а я думав про те, як за кілька днів їхав шосейкою знов, і тоді та дівчина знову зупинила мене, а той її хлопець був із нею, отже я знову підвіз їх до Хайфи і не відмовився, коли вони запросили мене на пиво, і ми трохи посиділи, і той хлопець розповідав про свого брата, який провів чотирнадцять місяців у таборі військовополонених у Кореї, і описував, як воно там було. Тільки я не слухав його й не знаю досі, крізь що пройшли усі ті американці, котрі втрапили до рук своїх ворогів, я дивився на нього й розумів, що побачив його даремно. Я не думав про неї досі, та коли вони сиділи, обнявшись, і сяяли від щастя, я помітив, що вона неймовірно вродлива. Я ніколи не думав про це раніш, хоча мав повне право думати про це ніч у ніч, адже я так довго був без Естер і зберігав їй вірність, а це було не так-то легко – лежати біля неї і думати, як було з нею колись.*

Я поїхав далі, до Акко, і там пішов до свого приятеля, котрий був лікарем, і розповів, що Естер затялася народжувати сама і що я тут безпорадний. І тоді він сказав, що це божевілля, а я відповів, що він не знає жінок, які народилися в Ізраїлі, і він дав мені адресу лікарки, котра мешкала неподалік нас, і я повернувся знов і пішов до неї, і вона сказала мені те саме. Тільки що вона теж народилась уже тут, в Ізраїлі, і я не мусив нічого розповідати їй про жінок. Її чоловік був приємним хлопцем, і ми сиділи до пізньої ночі за пивом, а він розводився про ізраїльських льотчиків і про те, як вони літають із надзвуковою

швидкістю поміж скель і б'ються взаклад, що пролетять на відстані завширшки з крило, як оце наші хлопці в Польщі літали під мостами. І він оповідав іще багато інших цікавих речей, одначе я слухав неуважливо. Я думав про ту, що зустрів на дорозі, і думав про те, що я вже так довго без Естер, бо я надто сильно кохаю її. Урешті та лікарка сказала, що все ще може вийти на добре, й запитала, чи є в мене телефон, а я сказав, що маю лише оцей джип, і мені знадобляться три хвилини, аби приїхати по неї, коли настане час; і я повернувся до Естер знову, лежав біля неї й не годен був заснути.

Через кілька днів до мене прикотив Йорам, і Естер вийшла до іншої кімнати, а я мусив сказати, що вона недобре почувається, хоч це була неправда: Естер не зносила Йорама, котрий полюбляв хильнути, і була люта на нього, бо їй здавалося, що він намовляє мене на пиятику, і так само поводилася завжди Йорамова дружина, коли я приходив до нього. Я сказав йому, що найліпше буде піти поплавати, і ми вийшли з будинку, а дорогою до моря я побачив ту дівчину, що не мала машини і теж хотіла добутися до якогось пляжу, отож, ми взяли її, кілька пляшок пива і поїхали плавати, а потім Йорам, котрий був уже трохи напідпитку, коли заявився до мене, випив забагато пива, а до того ще й дві чарки коньяку, і почав залицятися до тієї дівчини, а я дивився на неї, а вона дивилася на мене, поки Йорам обіцяв, що візьме її ввечері до міста й покаже їй усе, що варто там оглянути, а я знав, що його дружини нині немає вдома. І коли він несподівано поцілував її, я відіпхнув його і сказав: «Йораме, ти маєш дружину, і вона теж має хлопця». І ми всі повернулися додому, і розмова вже не клеїлась, а потім минуло багато місяців, поки Йорам перестав на мене фиркати; Йорам був малорослий, і йому складно було би зіграти героя-коханця навіть у любительському театрі, і як усі чоловіки такого штибу він бігав за дівчатами й робив усе, щоб його вважали Казановою, і лютився, коли йому не вірили. Й того само вечора я сказав Естер, що коли я помру, хай вона не сміє виходити заміж за жодного з тих коротунів, які так солодко блудять очима, бо жоден із них не вміє бути вірним, і сказав їй, що коли я помру, вона мусить знайти собі гарного хлопця, котрий любить часом хильнути з друзями, бо лише такі хлопці є добрими чоловіками, і треба вибачати їм навіть якщо вони трохи попивають, і навіть якщо котрась із дівчат затягне такого до себе додому і повідомить уранці, що незабаром день їхнього шлюбу, адже він був надто підпитий, аби згадати звечора, що вже давно одружений. Я сказав усе це Естер, бо часто думав тоді про смерть. Але я не помер, лише вбив Естер, бо надто сильно її кохав і не бажав зраджувати її.

Коли хтось починає всерйоз думати про смерть, то потім уже ніколи не зможе припинити. Я найчастіше думав про це саме тоді, коли Естер була вже на останньому місяці й коли та дитина вже мала народитись, і Естер вигадувала для неї імена, і спочатку ці імена їй подобались, а потім вона вигадувала інші та знову поверталася до попередніх, і вона вигадувала для тієї дитини професії, які спочатку їй подобались, а потім вона знову вигадувала інші, аби знову повернутися до попередніх, і їй на гадку не спадало, що дитина якогось дня сама вибере для себе професію, а імена для неї вигадуватимуть інші жінки або інші чоловіки, так само, як я охрестив якогось дня Естер Кішкою Чарівника, і тепер усі прозивали її лише так, навіть батько й мати, котрі вигадали й дали їй справжнє ім'я. А потім вона якогось дня заспокоїлася, прочитавши в газеті, скільки заробляють льотчики на пасажирських рейсах, і вирішила, що син буде льотчиком, і покинула думати про доньку. Може, тому, що Естер кохала мене і знала, що я хочу сина, отже вона звикала до цієї думки, і коли я купив велетенського плюшевого пса Гуффі, вона сказала, що хлопці не люблять таких іграшок, і їй навіть не спало на гадку, що потрібен час, аби дитина стала хлопчиком або дівчинкою, а вона вже не любила того пса, який спав разом із нами. А я весь час думав, що краще мені було б не жити і що все закінчиться тієї миті, коли почне жити

дитина, бо тоді в мене вже ніколи не стане відваги на те, про що я думав так часто, хоча я знав: те, про що я думаю, не може бути правдою, оскільки вбивають себе дуже різні люди – самітники, щасливці й батьки родин. І я думав, що завжди жив так, аби від миті, якої я відійду, від мене не зосталося жодного справдешнього спогаду, і тому я ніколи не розповідав людям правди про себе, і тому я вигадував речі, яких ніколи не ставалось, і тому я втікав від усього, що могло би статися зі мною, бо я боявся людей і бажав, щоб по мені не зосталося нічого. А тепер уже було запізно, тепер я знав, що зоставлю по собі слід, який існуватиме ще багато років і викаже сліди, якими я пройшов.

А Естер тоді не виходила з дому, і я їздив джипом по молоко й харчі, а раз на тиждень – до аптеки по снодійне, але й воно не дуже допомагало, я лежав уночі поруч неї, не в змозі заснути, й думав про те, як було з нею раніш, тоді, у мене вдома, першого дня, і думав про всі ті ночі в пустелі, коли не було води, щоб помитись, однак її було зроблено, мабуть, із молока, і я вже ніколи потім не мав такої жінки. І я думав про те, що коли мені було важко, вона ділилася зі мною їжею, і думав про те, що ми могли б зараз робити з нею, маючи аж до осені дім і воду, й харчі, і навіть трохи грошей, аби піти в кіно чи запросити когось на гостину. І я думав про те, як Естер ненавиділа світло і як сильно вона соромилась, і як завжди, приходячи до мене, вона притискалася так, що важко було дихати, і що вона ніколи не усвідомлювала своєї сили, і я думав про те, що Естер страшенно лається, але це було так, ніби дитина повторювала слова, яких не розуміє. А ще я думав про те, що коли вночі в пустелі було холодно, вона лягала на мене, а тримати її на собі, ненабагато нижчу від мене на зріст, було нелегко. І я думав, що міг би робити усе це з нею, а потім спати, але мені перешкоджала ота маленька людинка, яку я бажав і на яку ми тепер обоє чекали. І ще я думав про те, що коли все завершиться, то в будь-якому разі промине ще багато часу, поки Естер знову стане така, як раніше, проте, може, вона вже ніколи не стане такою, як була, і я думав про всіх тих жінок, тіла яких знищили діти.

Той старий, що йшов за нами слідом, несподівано зупинився, і ми завернули, а він стояв, опершись об стіну, і важко дихав.

– Що з тобою? – запитав я.

– Серце.

– Тут є аптека. Хочеш, зайдемо?

– Ні, – сказав він. – Це ще далеко?

– Так, – сказала вона. – Але я пішла з тобою. Ти сам цього хотів.

– Ти йдеш із ним, – сказав він.

– Щоб поліція не причепилася.

– Ти й справді не можеш іти зі мною?

– Ні, – сказала вона. – В мене ще купа часу.

Вона знову пішла попереду й вела його не тими вулицями, де були гарні крамниці й гарні кав'ярні і де можна було перейтися в затінку полотняних маркіз, що захищали вікна; вона йшла тими вузькими вулицями, де не було тіні й де людина мусила брести проти сонця, а він тягся за нами, і коли я обертався, то бачив біль на його лиці. І він увесь час притискав руку до серця, як той співак, котрий виконує пісню про те, що його серце належить усім жінкам і що він увесь час утікає від нього. Це була погана пісня, і той співак теж був не з найліпших, і коли він зійшов зі сцени, плескали тільки поодинокі слухачі.

– Я не дуже розумію, чого він причепився саме до тебе, – сказав я.–Ти вже була з ним колись?

– Ні.

– Таж він не зробив тобі нічого поганого.

– Ти вже говорив про це.

– Треба ж про щось говорити, коли волочишся по тому сонцю. Я охоче з тобою побалакаю. Адже ти платиш мені десять фунтів.

– Я не хочу жити, – сказала вона. – Ти можеш розгорнути цю тему,

– Можливо. Люди, що хочуть убити себе, часто намовляють на це інших людей, і коли їм це вдається, умирають нібито через них. Я прочитав цілу купу таких історійок. Твоя думка неоригінальна. А це зовсім старий тип. Йому небагато треба.

– Звідки ти знаєш про це?

– Багато людей про це думають.

– Але всі вони хочуть жити.

– Ти не дуже мудра. Ти однаково ніколи звідси не втечеш. Ти зостанешся тут назавжди. Може статись і так, що будеш колись квіткою. Більше мені нічого сказати на цю тему.

– Усі говорять про це.

– Це непогана тема. Треба й за це дякувати Богові.

– Мій хлопець загинув, – сказала вона. – А я не кохала потім уже нікого іншого.

– Гарна історія... – сказав я. – Коли я була молода, то мала хлопця, який загинув, і ніколи вже потім – і так далі. Я чув у житті багато таких історій.

– Ти не віриш у це?

– Я тобі вже сказав: історія гарна. Можеш розповідати її, і тобі завжди віритимуть. Мусиш докинути лише, що ця людина боролася за найсвятіші справи в світі або щось у такому дусі. Це лиш на кілька слів довше, а звучить куди краще. І що з ним сталося?

– Його вбили на сирійському кордоні.

– Це не годиться, – сказав я. – Зрештою, він ганяв по полю з автоматом, стріляв у інших людей і загинув як чоловік. Зміни це. Хай буде автокатастрофа. Тоді матимеш безглуздя смерті, й воно є саме тим, з чим ти не годна змиритися. Розумієш?

– Так. Але ж ти сказав, що ця людина мусила боротися за найсвятіші справи в світі.

– Я передумав.

– Це все неправда, що я тобі розповіла. В мене ніколи не було такого хлопця.

– Це звучить уже краще. Тільки про це ти говори, звичайно, напослідок. Туга за коханням. Порожнеча. Це сучасніше. Тільки що не змінює справу аж ніяк.

– Таж ти знаєш, що я кохаю тебе.

– Ні. Я нічого не знаю про це. А як давно про це знаєш ти?

– Я бачила тебе колись у ресторані.

– І я привернув твою увагу веселістю?

– Так.

– Напевно, сказав перед тим якійсь дівчині те, що зараз говориш мені ти. Інакше я не мав би за що гульнути.

І навіть Естер я сказав, що кохаю її, тільки від Естер мені не було нічого потрібно. А потім, коли Естер уже не стало, я говорив це усім жінкам, аби це раз і назавжди перестало означати що-небудь у моєму житті, і це єдине, що мені в цьому житті вдалось, а я пробував і писати, і бути льотчиком, я хотів вступити до Іноземного легіону, а потім піти на війну до В'єтнаму. А ще потім мати багату дружину, а тоді іншу багату жінку, і всім я говорив те саме, що й Естер: ті самі слова і в ті самі миті, бо Естер уже не було, а мені кортіло знищити все, що належало їй, але ті жінки не знали про це, і коли я їм це пояснював, вони не вірили мені, й одні ходили зі мною до психіатрів, а інші до нічних клубів. А я говорив їм увесь час ті слова, що й Естер, а потім пояснював це, але вони все ж таки не вірили мені,

навіть найдурніші з них. Я не зміг урятувати Естер, тому бажав знищити все, що належало їй, я не міг уже ніколи й нічого сказати їй, отож я говорив одне й те саме усім тим іншим жінкам, однак мені не вірили. Тому навіть це мені не вдалось, тим часом Естер вірила мені завжди і, може, навіть пішла б до тієї лікарки, якби я наполіг і якби поговорив із її батьками, і я міг навіть відвезти її силоміць. Але вона була зі мною й вірила, що з нею не станеться нічого лихого, поки я біля неї.

І вона вірила, коли я говорив, що якогось дня зароблю досить грошей, аби мати квартиру, а тоді в нас будуть і книжки, і гроші на кіно, й вона вірила, коли я говорив, що вже направду покину пити, і вірила, коли я говорив, що якогось дня ми поїдемо до Європи і, може, нам удасться побувати на Сицилії, і тоді я покажу їй усіх найманих убивць, яких депортували зі Штатів і до яких бармени зверталися Commandatore. І вона вірила, коли я говорив, що ми вдарятимемо одне одного струмом, якщо я торкнуся до неї високо в горах. І вона вірила, коли я розповідав про все, що бачив, а бачив я небагато, тому вигадував для неї різні історії про різних людей, яких я не знав, і вона вірила, коли я оповідав фільми, котрі вигадав, а таке бувало, коли ми не мали грошей на кіно, за яким Естер пропадала. А потім я вигадував для неї книжки й розповідав про картини в Луврі, де ніколи не був. І тому все, що я оповідав, ставало правдою.

Я ходив до моря й багато плавав, аби стомитись і спати, але тільки Естер уміла втомити мене по-справжньому. І я часом підбирав ту дівчину, якщо вона стояла на дорозі, а коли її не було, я бачився з нею на пляжі, і ми розмовляли деколи про різні речі, за винятком тієї єдиної, стосовно якої у нас обох не було сумнівів. Бо в таких ситуаціях говорити про це даремно, тож вона розповідала про свого хлопця, який мусив поїхати раніше, ніж вона сподівалась, а я розповідав їй іще менше. Я дивився на новозведені будинки і думав, що через кілька років Ізраїль стане такою само країною, як і всі решта, і вже не буде сенсу тут жити. Але тут було поки що небагато людей і небагато автомашин, а туристи, котрі приїздили сюди, швидко діставали сонячний удар і їхали геть, спершу заявивши, що вони в житті не бачили чудеснішого краю і не куштували кращої кухні, тим часом їжа в Ізраїлі така, що навіть в'язні в Європі здійняли би страйк, якби їм давали те кляте кошерне м'ясо без крові, що мало смак паперу, з якого виготовляють черевики для небіжчиків. Але зараз тут іще були помаранчеві гаї, пустеля й оті шакали з поганих фільмів, які так злостили мене. Й багато речей злостило мене тут, і тому я любив цей край.

Та дівчина запливала далеко в море і її не було деколи навіть упродовж години, а я дивився їй навздогін і думав, що Естер не може тепер плавати, а вона вміла плавати краще від тієї дівчини і краще від мене. І я думав, що Естер стала важка й сонна, і я анітрохи не був певен, що вона не зостанеться такою назавжди, і починав знову думати про всіх тих жінок, тіла яких знищили діти, про шрами на їхніх животах і про їхні груди, і про те, що мені розповідала одна жінка: як після пологів вона ненавиділа свою дитину, і про те, що розповідала мені інша жінка в Америці: вона потім уже ніколи не кохала свого чоловіка, бо не змогла забути болю, якого завдала їй дитина, а опісля я думав іще про одну жінку, котра сказала мені, що не знає прекраснішого відчуття, ніж коли вона народжує, і вона хотіла мати від мене дитину, але з цього нічого не вийшло. Я міг обмірковувати це все з того чи з того погляду, розпитувати різних лікарів і різних жінок і знову думати про це, я не подумав лише про найпростішу річ: ця дитина відбере в мене Естер на довгий час, а я занадто кохав її, щоб зуміти прожити без неї одну-єдину ніч, і це теж було, як у іншій поганій пісні з репертуару іншого поганого співака, але це було саме так, а тоді я починав думати про своїх шакалів, про кулемет, якого не було де подіти вночі і який все одно

треба було мати, бо такими є правила гри, і я знову починав думати про всі ті паршиві фільми, в яких забагато правди про всіх нас і які ніхто не любить.

А потім та дівчина поверталася й розповідала мені про своє навчання і про те, що через два роки вона вже буде лікаркою, розповідала, скільки зароблятиме за рік по тому, а скільки по двох, і знала все, що чекає на неї далі – аж до дня, коли вона безболісно вріже дуба, і це мало настати через кілька років по тому, як вріжуть дуба її чоловік і всі її укохані пси.

Ми знову зійшли на сходи якогось будинку, а той старий ліз за нами, і тоді дівчина із зеленими очима сказала, що помилилася дверима, і ми повернулися донизу й зійшли іншими сходами, а він уже не спроможний був піднятись і стояв на сходах, а вона простягала до нього руку.

– Ходи, – сказала вона. – Це тут.

– Допоможи мені, – попросив він.

Вона спустилася на дві сходинки та простягла руку знову.

– Це вже близько, – сказала вона.

– Але ти не постукала в двері, – сказав він. – Може, і тут зайнято.

– Ні, там напевне є місце. Там достатньо місця для нас усіх. Ходи.

Він зіп'явся на одну сходинку і вхопив її за руку, але вона відсунулася.

– Ходи, – сказала вона. – Я не маю часу.

І тоді він, мабуть, зрозумів її, а я відвернувся, коли вона розстібнула свою сукенку згори донизу, і тоді він підвівся на сходовий майданчик і впав, а вона схилилася над ним.

– Тепер він мусить іще раз сказати, що ти добра, – сказав я. – Це повинно закінчитися саме так. Знайшлося би безліч охочих використати це в кіно. Адже він хотів побачити свою доньку. Тепер він мусить сказати щось. Ти, мабуть, розчарована?

Його забрали, а я повернувся до свого ресторану, а вона йшла слідом за мною. Я зайшов і всадовився не в темному куті, а біля шинквасу, офіціант підійшов до мене й відвернув вентилятор від мого обличчя.

– Я мав через тебе досить проблем, – сказав він. – Хтось, мабуть, настукачив моєму шефові, що я наливаю тобі в борг.

Я поклав перед ним на ляду десять фунтів, і він подав мені пиво.

– Ні, – сказав я. – Коньяк.

– Який?

– Не став дурнуватих запитань. Нічого такого не сталося, щоб я почав пити якісний.

Вона сиділа біля мене, а я дивився на відображення її обличчя, і навіть у тому тьмяному дзеркалі вона все одно була дуже вродлива.

– Можна, я вип'ю з тобою?– запитала вона.

– Я ніколи не міг зрозуміти, нащо ти п'єш, – сказав я. – У тебе є гроші і ти знайдеш у цьому місті вдосталь людей, які повірять в усе, що ти розповіси їм про себе.

– Ти не віриш мені.

– Я не розумію, чого ти хотіла від цього старого, – сказав я. – Це правда, він був скурвиним сином. Я часто бачив, як він сидів і ставив іншим, але ніколи не пив сам. Його я теж не розумію. Я не розумію нікого в цьому місті, але всі ви мене анітрохи не обходите.

– За винятком однієї людини.

– Я ніколи не приховував цього.

– Але ти й сам казав, що вартуєш небагато.

– Хай там як, але так воно вже є. То чого ти хотіла?

– Але навіть це тебе не обходить.

– А якщо він не загнеться? Уся задумка до одного місця.

– Він після двох інфарктів.

– То навіщо цей третій?

– Щоб ти повірив мені.

– Я вірю тобі. Але це аж ніяк не змінює справи.

– Наступного разу я зроблю це з собою.

– Та ну! Ти надивилася забагато поганих фільмів.

– Те, що ти бачив, не було фільмом.

– Найгіршим, який я бачив. І пощо ти розстібнула сукенку, коли він почав конати? Це з Біблії? Мойсей, якому заборонено вступити до Землі Обітованої?

– Ні.

– То що ж тоді?

– Ти розповідав мені про це вчора ввечері. Що хотів би написати оповідання про людину, котра йде містом і здихає від хіті. І ти розповів про цю ідею з сукенкою. Я сказала, що це невдала затія, а ти впирався, що з цього може щось вийти. Я спробувала довести тобі, що це дурня.

– Я був п'яний вчора ввечері. Не пам'ятаю жодного слова.

Я замовив іще один коньяк *і думав про те, що коли розпочалися перейми, я вскочив до джипу і далі усе теж покотилось, як у поганому оповіданні, бо двигун не схотів заводитись, і я мусив відкрити капот, а тоді побачив, що кінці дротів вологі – це тому, що наша автівка стояла неподалік моря. Я підпалив їх сірником, і трохи гуми навіть обвуглилось, і я поїхав до тієї лікарки, однак її не було вдома. Й не було нікого, хто міг сказати б мені, що вона поїхала до іншої породіллі. Я просто гатив у зачинені двері й ніхто не відчиняв, а потому я поїхав до тієї дівчини, бо згадав, що вона студентка медицини. Проте я забув тоді, що був без Естер уже чотири місяці, тож коли вона відчинила і я побачив її, сонну й теплу, моя свідомість вимкнулась, а коли ми приїхали, було вже занадто пізно, і хай минуло аж стільки років, я знаю: це сталося лиш тому, що я занадто кохав і не хотів зраджувати її; і це сталося лиш тому, що я бачив того хлопця, і що жінку завжди бачиш крізь іншого чоловіка, і тільки крізь нього, бо так я побачив Естер, коли вона стояла посеред зали, й на неї дивилися сто з лишком чоловіків, отож усе закінчилось так, як і почалось, і так і мусить бути, і кінець завжди такий, як початок, і все, що відбувається в цьому світі, триває між болем двох людей – розпочинається болем і завершується болем. А оту ненависть посеред болю матері й болю її дитини, яка вмирає на шістдесят років пізніше, іще називають коханням, і, вірогідно, так воно усе й мусить бути. Хіба що тепер уже конають без болю і, може, скоро навіть народжуватимуть без болю, і позбавлятимуть дівоцтва без болю.*

– Як на мене, це перестає бути цікавим, – сказав я.

– Чому ти не віриш мені?

– Зажди ще трішки. Може, я ще піддам і почну вірити тобі. Бо ж я вірив учора в історію про того старенького.

– Вона подобається тобі й досі?

– Ні, – сказав я. – Він мусив сказати щось наприкінці. Але не про життя і смерть. Щось цілком неважливе, яке стало раптом важливим.

– У тебе вже є якась ідея?

– Ні. Мене це більше не забавляє.

Я замовив іще один коньяк і думав про те, що ми побачили, коли зайшли до мого дому. А через три дні я пішов звідти, й ціле щастя, що вона не стояла на дорозі – там, де стояла завжди, коли я її підбирав. І ціле щастя, що я не бачив іншого чоловіка в іншій автівці, який підібрав би її, коли вона голосувала, помітивши стрічну машину. І я не повернувся вже ніколи ні до неї, ані до того будинку, і я лише раз проїжджав тією дорогою, і це було під час дощу, і я був у машині сам і не їхав у пустелю – цілком у іншому напрямку. І я не помітив навіть того будинку, де вбив Естер і нашу дитину, я просто проїхав крізь дощ і думав тоді, як мені сплатити борг саме в цьому ресторані, в якому я сидів зараз, і це було єдине, що подобалося мені в усій цій історії.

– Ще один коньяк, – сказав я.

– Ти зашвидко п'єш.

– Таж я не збираюся сидіти тут цілу ніч.

– Ти і так не годен спати. Чому не можеш посидіти зі мною?

– Гаразд. Я посиджу з тобою. Я вже казав, що ти маєш зелені очі й чарівні уста?

– Ти вже п'яний.

– Це в твоїх інтересах. Я буду говорити це всю ніч.

– Але не віритимеш мені.

– Не знаю. Може, я навіть кохаю тебе.

– Тільки завтра ти забудеш про це.

– Може. Адже я забув історію про того старого. Я забуваю все.

– Бо ти п'єш.

– Ні. Я п'ю, бо не бажаю пам'ятати цього. Я не говорив, що він мусив сказати насамкінець?

– Ні. Ти був п'яний. Ти сказав тільки, що це повинно статися на сходах і що я мушу простягнути до нього руку, а він має йти за порухом моєї руки.

– Він і справді говорив, що ти добра?

– Так.

– Тільки що я не казав цього.

– Ні. Ти тільки сказав учора ввечері, що не любиш отих нових книжок, і сказав чому. Ти сказав, що там нема жіночих образів. І що чоловікам уже не потрібні жінки, і що вся ця література є писаниною ментальних гомосексуалістів. І що тебе не цікавлять драми проституток і п'яничок.

– Так воно і є.

– Ти сказав, що тобі бракує святих жінок.

– Я завжди маю одну з них. Але вона в мені.

– Розкажи мені про це.

Я був уже вимучений і не мав охоти пити далі. Знав, що не сп'янію, тим часом завтрашній день буде жахливий. Заплатив і побачив, що мені ще стане на кіно.

– Ні, Естер, – сказав я. – Я вже стомився. Цілий день намагався вигадати якусь історію про тебе і про дитину, яку я міг би мати від тебе. Але з цього нічого не виходить.

1966

СОЛДАТ

Це було в липні 1945 року. Тоді людей ще дивувала тиша: тиша бентежила і в неї ніхто не вірив. За два місяці по тому, як змовкли останні постріли, селяни виходили під хати і, заслоняючи очі долонями, дивились у безхмарне небо. Пташині ключі весь час невідворотно нагадували їм повітряний наліт, а євреї на вулицях міст усе ще ховали обличчя й мали тривогу в очах.

Солдат, котрий ішов поряд з жінкою, сказав:

– Чи ми боялися? Важко на це відповісти. Дехто каже, що відвага сидить на стільці, ймення якого – страх. Але чи це направду так? Мабуть, що ні. Там треба було вибирати, розумієш? Треба було вибирати хоча б заради того, щоб знати, із чим ти вмираєш. Страх часом нападав, і тоді людина зіщулювалася. Страх нападав навіть уві сні. Деколи ми харчилися – далеко від фронту – і раптом я відчував, що боюся... В кожного з нас були такі миті. Декотрі бійці прокидалися серед ночі і кричали. Вони були тоді, як малі діти...

Солдат обірвав і закурив цигарку. Вони вийшли за місто, зоставили вже позаду останні злиденні хатини й господарки городників. Тепер ішли вузькою стежиною, що бігла почерез поля. Їх засліплювало сонце, нагріта земля пахтіла сіном і домашнім молоком. Солдат мовчав. Жінка, що йшла поряд, поглядала на його непорушне й суворе обличчя. Вона багато років чекала на нього і тепер мріяла, щоби солдат уже перестав говорити про *це* і сказав щось буденне – про погоду, про землю, про сонце. Їй здавалося, що тієї миті, коли він зронить перше таке слово, то більше не повернеться до своїх спогадів, і тоді їм обидвом удасться про все це забути. Вона бгала долоні й подумки підказувала йому всякі такі слова. Вона знала, що він її кохає. Отож, він мусив відгадати її думки.

Проте солдат мовив:

– У нашому батальйоні був один такий хлопець. Селюк, який думав лише про те, щоби повернутися й надалі длубатись у своїй землі. Всі знали, що він боїться. Він дуже боявся, і його страх передавався іншим: це почуття заразніше за тиф і від нього потім важко зцілитися. Колись я чув, як йому стиха бажають смерті – і тільки тепер розумію, що це було жорстоко. Але тоді я хотів жити, а цей чоловік носив у собі смерть. Він боявся, – боявся так, що в нього весь час були білі очі. А загинув, як герой, ба, як батальйон героїв! Одного разу ми йшли через село. З усіх боків утікали люди, вози були навантажені, гнали худобу, везли старих і хворих, що вмирали на возах. Пам'ятаю одного добродія: він тарганив на плечі плуг. Ми відступали, залишаючи неушкоджені хати й неторкану землю. Там, де ми досі воювали, від хат не зосталося навіть сліду, а земля була тричі переорана снарядами. Тут вона була неторкана, на ній сходило збіжжя. Розумієш? Ми відступали, він знав, що ми віддаємо цю землю без бою, а ті, що прийдуть за нами, отруять її і спаплюжать. І тоді в тому солдатові пробудився гнів. А це був не наш край, це було дуже далеко звідси. Той солдат поліг там, але бився як чорт, як тисяча чортів. Пам'ятаю, ми прозивали його Гжесик. Я навіть не знаю його справжнє ім'я...

Він зірвав стебельце ковили, розтер його й здмухнув з долоні. Гарячий вітер овівав його обличчя, й солдат мружився. Перед ними біг пес, якого солдат привіз із собою з війни. Цей пес мав дуже смішні вуха й куцого хвоста, його звали Гранат. Жінка ненавиділа цього пса й щоразу заплющувалася, коли він підбігав до неї, лащився й лизав руки. Солдат привіз із собою багато речей: осколок, який влучив у ціль над його головою, сплющену згори кулю від гвинтівки, яка свого часу застрягла в його нозі,

латунні попільнички зі спиляних гільз. Його папіросницю було зроблено з алюмінієвої бляхи від розбитого літака. Жінка мріяла, щоб до їхнього житла заліз якийсь дивакуватий злодій і забрав би все це. Сама вона не могла на це зважитись – отруїти пса чи знищити ці речі. Вона чекала на солдата багато років і впродовж безлічі безсонних ночей думала, що все, привезене цим чоловіком зі собою, буде близьке їй і дороге. Проте сьогодні він був іще далі від неї, ніж тоді, коли, вдивляючись у темне небо за вікном, вона думала про день, коли він повернеться. Він був далі від неї й анічим не нагадував чоловіка, образ якого вона носила в серці, коли їх розділяли відстань і війна. Небо за вікном ріділо, вона думала:

«Чи він повернеться, чи він іще живий? Здоровий чи поранений?» Інколи її терзала тривожна думка: а чи він – так далеко від неї – не покохає іншої? Але вона одразу відганяла цю думку і знову твердила: «Чи він повернеться? Чи живий? Чи здоровий, чи не поранений?» Під її вікном, на подвір'ї, хлопчаки день при дні бавились у війну. Їхні тоненькі голоски пробуджували в ній ненависть. У них були дерев'яні автомати, дерев'яні шаблі й паперові пілотки. Одного дня вона помітила, що дітлахи грають у розстріл євреїв, й заприсяглася собі: коли він повернеться, вони назавжди залишать будинок, у якому вона на нього чекала. Зараз вони вийшли за місто, щоби підшукати місце для нового будинку. На полях золотилися копиці зжатого збіжжя. Вдалині чорніли рештки зруйнованого вітряка – випадковий снаряд розтрощив крила й зірвав дах. Солдат помітив той вітряк і сказав:

– Бачиш? Мені пригадується історія, яку розповідав один мій приятель. Це сталося ще у тридцять дев'ятому. Німці наступали, і їх було дуже багато. Наші відходили в напрямку лісу. Раптом із лісу виїхали два танки й відрізали відступ. Тоді той хлопець, що розповідав мені про це, разом із кількома товаришами сховався до такого само вітряка, й вони поливали звідти німців зі «станкачів». Несподівано гупнуло у вітряк. Нікого навіть не зачепило, тільки борошно заліпило всім очі. Потім вони втікали наосліп, під вогнем, і, уяви собі, – нікого навіть не зачепило! Той солдат поклявся жодного разу не брати до рота ні кусня хліба, ані чогось іншого, що бодай пахне борошном. На війні, як бачиш, стаються й кумедні пригоди.

– У цьому вітряку, – тихо мовила жінка, – коли в нього влучила бомба, ховалося багато жінок з дітьми, й вони загинули геть усі. Це були прості сільські жінки, тому вони й сховались у вітряку, бо гадали, що ворог не стрілятиме по вітряках – адже в них роблять хліб, який є святою річчю. Але всі вони загинули.

– Ба! – сказав солдат. – І це, мабуть, була легка бомба, до того ж вона вдарила збоку. Це ще нічого. Американці влаштовували нальоти, в яких брало участь по кілька тисяч літаків. Кожен із тих літаків міг скинути по кілька тонн бомб. Страшно уявити навіть, що там коїлося! Після такого нальоту ніхто не знав, де була *колись* вулиця, а де будинки, і сам дідько не розпізнав би цього. Під тими руїнами люди вмирали по кільканадцять днів і ще бозна скільки лежатимуть там, поки їх відкопають і поховають по-людському.

Вони зійшли на найвищий пагорб. Місто залишилося вдалині. Зараз, у призахідній заграві, зчорнілі покрівлі будинків здавалися золотими. Спалахували вежі костелів, і розливався величним сяйвом блиск над банею єдиної в місті церкви. Небо над віддаленим лісом уже темнішало, долом плинула ріка, і з полів зринали вологі тумани. Околиця тут була гарна, птахи співали голосніше й вільніше, повітря ширше штовхалось у легені. Жінка сказала:

– Тут ми побудуємо наш дім.

Солдат мовчав. Він стояв на пагорбі й розглядався навкруг себе. Обернувся в бік лісу. Потім глянув униз, наморщив лоба й ворушив губами, наче вираховуючи щось. Він заслонив очі долонею й довго вивчав околицю. І раптом його суворе обличчя прояснилося в широкому усміху. Він ухопив жінку за руку, притягнув її до себе та сказав:

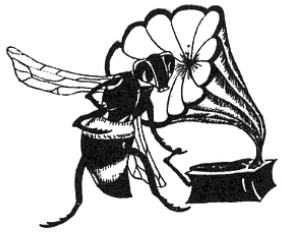
– О, бісова мамо! Уяви тільки, яка звідси чудова оборона! Тут вистачить три «станкачі», кількох гранатометників – і нічого більше! Можна оборонятися кілька тижнів! Припустімо, що ми відбиваємо атаку, яка наближається від лісу...

– Ні! – розпачливо гукнула жінка. – Ні!

Солдат здригнувся, і його обличчя згасло. І тоді, вперше після повернення з війни, він побачив, що на цій землі росте збіжжя, що люди заорали її плугами, що на ній працюють, не вбиваючи. Він пригадав, що земля це не тільки могила, а й життя людини. І раптом, уперше після повернення з війни, відчув страшенну втому, відчув, що він старий і дуже самотній.

1955

Переклала з польської Лариса Андрієвська



Ганна ЯНОВСЬКА

ПІСНЯ БІЛОГО МОРЖА

СЕЗОННА МІГРАЦІЯ

І сталося:
разом зашурхотіло по всіх полицях.
Вимкнені дорогі кавоварки,
що кілька тижнів порожні стояли,
випускали з блискучого вимені
маленькі довгасті згортки.
Лампи сушили
свіжі вологі крила –
і десятки метеликів розгортали свої прапори,
відпочивали на стелі, лизали розсипаний цукор.
Трусили свою кольорову пудру
на пінку твого капучіно,
налітаючи на світильники,
на вимите зранку скло.
І повітря пінилось ними,
і гойдала хвиля столи,
стільці,
полиці.
Червінь і золото опадали
на вилиці, плечі, волосся.
Не розгубився тільки старий охоронець:
вимкнув світло і прочинив вікно.
І з малої кімнатки
вихопилася буря –
і над головами перехожих,
торгівців, митників
понеслася туди,
звідки усе береться:
теплі хвилі повітря,
позивні весняному листю,
і де море зранку викладає вздовж берега
мушлі, схожі на білі кавові зерна.

* * *

Діти циклону
колись боялись батьків і темряви
колись
важкі гіпопотами хмар
несли сонце на спинах
повз них
невидиме
не гаряче

А тепер ті хто
не нарікає на сонну погоду
хто пройшов
крізь стіну
грози
неушкодженим
електричним
суцільним разом з усім що на ньому
той знає
чий він
і вирізняє своїх
незалежно від віку і масті

І коли впаде туман
коли вода просочить
і шкіру і камінь
коли прийде сніг
і як дитина
накриє долонями
будинки машинки
дерева
і скаже
Моє –
Світ належить їм
Таксисту який дивиться
на лялькові весла склоочисників
і посміхається
Бадьорому перехожому
з мобільною балачкою під дощем
Не юній вже жінці
якій дощ і туман розрівнюють зморшки
В'єтнамці
на барабашовськім лотку
яка горда у своїх трьох светрах куртці
і пакетах поверх чобіт
і думки її не вчитаєш
без словника

Сплячому сон
Безсонному найпрекрасніші із можливих сутінків
Доки сонце
прийде
вгамує
приспить

* * *

Захід відіб'ється в чорних боках
Байкерів і жуків;
Буде гудінням заповнений шлях,
Доки ще пил не сів.

Вдарить в плече, мов снаряд – бабах! –
Вчепиться жук-рогач.
Сови невидимі ген на дубах
Здіймуть чи сміх, чи плач.

Далі поїдуть уже удвох.
Спиняться, де в траві
Сходи, що їх розбирає мох
Тихо на складові.

Хочеш за ними? Он байк у кущах –
Ми не згубили слід.

Вірш тільки знявся, мов жук, із плеча
І полетів на схід.

китовий тост

В нас настільки подібна ця тайна німа,
Що й ховати, й розкрити потреби нема;
Хай же кожен у тиші, що в ніч проростa,
Мовчки вип'є цей келих за себе – кита.

За легені і крила, яких не просив.
Океан навзамін наші взяв голоси
За свої позивні, звукову товщу вод.
Не зійдімо із обраних нами частот.

І за спрутів, яких ми вже переросли,
Що до дна, до задухи нас не донесли.
Від гаків і присосок сліди на боках
Заросли, коли з ран води вимили страх.

І за те, що мовчання – це вигадка, це
Наче між камінців черепаше яйце.
Бо й коли мовчимо, то у вухах нурця
Суголосно гуркочуть китові серця.

Пиймо нині й за ту сліпоту, що вона
Десь ладнає на прові свого гарпуна.
Їхня справа – рулетка й безглуздий наказ.
Хай додому пливуть, не побачивши нас.

І нарешті, щоб нам, як година проб'є
Вже направду зустріти мовчання своє,
Не скінчити у бруді на березі путь...
Всі блаженні кити островами стають.

НОКТЮРН СЛАВКУРОРТУ

А коли осідає пітьма, із солоних боліт
вилітає комар – небезпечний, отруйний москіт;
випливають стоноги на простір озерний із нір;
в тих, хто в парку лишився, новий прорізається зір,
починає світитися сіль, що на шкірі, – та сама, яку
ще не змито у прісній воді, не лишилось в піску.
І стоїш, і лежиш, непомітно втрачаючи сіль,
і обох накриває пейзаж, огортає, мов хміль.
В санаторіях сплять інвалідні візки, але ті,
хто провів у них день, ходять хмарами у висоті,
чи в обіймах відрощують крила у темнім пилку,
чи ідуть через прірви, вчепившись у линву слизьку
міцно пальцями ніг, що на дні залишили сліди;
і десь там, де сліди, кінь щоночі ірже з-під води.

ПІСНЯ БІЛОГО МОРЖА

до океану на північ річка виносить листя
листя у товщу іде тінями риб лягає
і дирижаблі-моржі назустріч із дна знялися
і зустрічають його на дорозі в зиму безкраю

білий морж випливає вперед першим на березі буде
кине до обрію пісню потужного звіра
і ті що з моря вже вистромились по груди
слухають і споглядають немов офіру

жертву снігам і кризі які вже скоро
інію що обсяде на березі вуса
і не відлунять як водиться бурі гори
значить офіру прийнято
значить мусить

бути
зима легкою і дно багатим
мушлі ряснітимуть солодко і без ліку
значить її перетнуть легко всі морженята
і доживуть до білих блискучих ікол

білий морж заспіває назустріч вітру
хмари зупиняться сонце постоїть послуха
морж випромінює звук відбиває світло
стежачи за осіннього листя рухом

Я НА ТОНКОЙ СТРУНЕ...

Римма ТАБУНЩИКОВА

ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЗЫКА

Возвращается музыка, ты повернулся во сне,
Заскрипели пружины диванчика узкого-узкого.
И зачем эта музыка ночью приходит ко мне,
Чтобы злую бессонницу словно соседку науськивать.

Неприкаянный, тоненький звук облекая в слова
Я ее приручу, не заплачет, сощурится ласково.
Эту музыку, помнишь, когда-то ты сам рисовал,
Сквозь апрельские росы скользя акварельными красками.

И она разливалась по городу, пахла сосной
И не сорваннымпролиском, и тишиной в перелеске.
Просыпался на ветках раскидистых дремлющий зной...
Я на тонкой струне, как малек на натянутой леске.

* * *

Я макаю тебя в Париж,
Пью процеженный свет глотками.
И мне кажется, ты паришь
Над созвездием Мураками.
Над вокзалом, где старый чёрт
Объявляет начало рейса.
И царапиной смог течёт
По шершавому нёбу леса.

БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК

Ветром подхвачено резкое «брось».
Время оставит следы, уходя.
Пеструю спину пробили насквозь
Острые гвозди косого дождя.

Рваться из кожи вон в мертвой петле,
Раны небес на лету бередя,
Разве он может? Прибили к земле
Острые гвозди косого дождя.

Можно часами валять дурака,
Брюхо купая в дорожной пыли,
Влагу вдыхать, но нельзя размокать,
Став неотъемлемой частью земли.

* * *

Застиранный август висит на балконе.
Дождь плачется чаще, а тычется реже.
И я ухожу целиком в заоконье
От этой тоски непонятной, медвежьей
По теплой берлоге, по маленьким лапам
Холодного солнца в озерных глазницах.
Мерещатся улицы, вскрытые лаком,
За лесом, еще не умеющим сниться.

* * *

Океан оживает в пределах комнаты.
Не чеши против шерсти он будет хмуриться.
Будет слизывать гарь и остатки копоти
С перепуганных окон, плевать на улицу.
Выпадать из терпения, выть на лестнице.
Заползать под обои, от влаги бурые.
Океан дышит ровно и пахнет бурями.
И в бетонной коробочке не поместится.

* * *

Сном приходит нирвана в клетчатом кимоно.
Мне садятся на плечи кречеты и молчат.
Я давно не молилась, Господи, как давно...
И давно не кормила тощих своих волчат.

А они точат зубки, катаются по траве,
Подползают к ногам – собаки, ни дать ни взять.
И горчит им щепотка смерти на рукаве,
Отучает неглупых руки в крови лизать.

Посыпает нирвана пылью свои следы.
Шесть продавленных точек лапками пикачу.
Я молчу, я в бреду, мне чудится белый дым.
И встревоженный кречет гасит мою свечу.

* * *

Распахивай шубу оконного шепота.
Не надо рыдать в переломанный снег.
Раскроются жабры трамвайного ворота
И выскользнет рыбий, промасленный мех.

Развязывай сказ языками околицы.
Раскладывай пазлы ветвистой тропы,
Наружу лицом, если ветер отколется,
Пусть падает, падает в тыльную пыль.

* * *

Как я вела своё лето по шумным дворам, подворотням.
Как я терялась в больших городах, поездах без билета.
Как созревал на губах поцелуй колдовской – приворотный.
Лето рыжело и дождь нерадивый корило за это.
Вечером пахло корицей топлёное небо, жгли листья.
Я и сейчас закрываю глаза, закрываю и вижу
Позднее лето в колени мне тычется мордочкой лисьей.
Я расскажу тебе всё, время спит, пододвинься поближе.

* * *

Давит ночь, мне ее не поднять – так она тяжела.
Вглубь уходят слова от ненужной и глупой возни.
Вентилятор в борьбе с духотой истрепал два крыла.
Загорелась победа в натруженном сердце – возьми.

Лунный сок из разбитого неба течет по лицу.
Тьма впадает вДонец, виден городу кончик хвоста.
Опускается берег и края не видно концу.
И седеет песок бледно-серую грудь распластав.

ВАГОННОЕ

Катится, катится голубой вагон...
А. Тимофеевский

Ночь замурована в синем вагоне.
Потом пропахший матрац.
Теплая водка, ладони в агонии.
Душно, ползком мимо трасс.

Ком, синий ком в узком горле туннеля.
Голая, скользкая тьма.
Ма, я вернусь накануне апреля,
Вёсны сопрели в домах.

Сны раскаленные толстые лапы
Ставят на грудь, языком
Лижут ума ледяные палаты.
Катится, катится ком.

СИНИЦА

Если в жарком бою испытал, что по чем, –
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
В. С. Высоцкий

Тухнут стихи на газетной странице.
Город никак не проспится с похмелья.
Дикие люди ловили синицу.
Глупые люди ей красили перья.

Нет, не Париж, не Чикаго, не Ницца –
Спит захолустье под заревом теплым.
Только и слышно как бьется синица
Синими крыльями в грязные стекла.

Пятится черное небо в наколках.
Встану у зеркала: «Кто же теперь я?»
Будут годами пылится на полках
Нужные книги и синие перья.

* * *

Ничего тебе девка-гадалка не скажет хорошего.
У нее на губах кислых слов созревает смородина.
День в дырявой калоше заснул, уплывая от прошлого
И наткнулся на старый роддом – это родинка родины.

Черный кофе остался на дне, после выпитой горечи,
Опустевшего брюха горячей, фарфоровой дурочки.
– Если мы только стадо, – ты спросишь: – то реки и горы чьи?
А она улыбнется: «Есть тот, кто играет на дудочке».

СТАЛЕВІ ПРИБОРИ

Любов ЯКИМЧУК

СТАДІОН

плаский живіт стадіону
круглий живіт вчительки фізкультури
вона підіймає руки у спробі злетіти
але заважка
тому не відлітає із зеленого поля в синє
вона кричить: шикуйсь!
і зелені огірки дітей
нарізаються кільцями на «перший-другий»
вона змішує кільця і приправляє їх докорами
«ти що, глухий?»
та глупими дотепами
(краще не повторювати)

а я сиджу на трибуні і бачу
як діти підхоплюють зелений аркуш поля
та набивають на ньому
синій м'ячик вчительки фізкультури

ЗЕЛЕНА КУРТКА

зеленої куртки вже не було
на вішаку висіла тінь від неї
як хвіст молодої ящірки
поміж вишневого жакету
та синього светру
зелена-зелена тінь

а ти шукав і шукав
у шафі та за нею
у будинку і поза ним
і навіть подивився у небо
чи, бува, не пролітає там курка
тьху, куртка
кар-кар-кар
тільки чорна
і жодної зеленої

а, може, куртка – як листя –
пожовкла від осіннього холоду
і облетіла униз шафи
а потім прийшов двірник
зібгав її граблями в купку та підпалив
і тепер твоєю курткою пахне повітря
пахне двірник
пахне осінь
зеленою
зеленою
курткою

БРОВИ

ні-ні, не одягну чорної сукні
чорних туфель і чорної хустки
прийду до тебе в білому –
якщо доведеться прийти
і дев'ять білих спідниць
будуть на мені одна попід одною
я сяду перед дзеркалом
(воно буде завішене рядном)
чичиркну сірником
він обгорить і я
наслиню його
і намалюю собі чорні брови
поверх моїх чорних
і буде в мене дві пари брів
мої і твої над ними
ні-ні, не одягну чорної сукні
я одягну чорні брови
твої на себе

УРЮК

це був жовтий вірш, жовтий
м'який і трохи колючий
був у ньому жовтий кіт
якого я назвала абрикосом
і золоті вуса сонячних променів
що проколювали обличчя наскрізь, як сирі спагеті
а шрами від дірочок ставали веснянками
там був теплий ромашковий чай
яким я напоїла жовтого кота

та кіт став рудим
був у вірші мед від застуди осінньої
не той що мед від застуди зимової –
трохи біліший
це був жовтий вірш, жовтий
але я його не писала так довго
що він зігнив у коричневий колір
і тепер абрикос став урюком
облизую його шершавого язиком
а він торохкотить кістками
тобто однією кісточкою

СТАЛЕВІ ПРИБОРИ

мама – не чашка
а тато – не звір
але мама надбита
а тато тримає її за ручки
і не дає зробити ковтка
пові-
тря

мама – не чашка
але чомусь розбивається
коли натрапляє на ліжка кутик
хоч сам кут ховається в панцир
угинається і відповзає
тато – не звір
але чомусь він ричить
коли вона розливається
сльозами
і розставляє руки
як чашкові
в боки

її сльози гарячі
як солодкий чай
який ковтаю не дмухаючи
ковтаю разом із віддзеркаленням
тата і мами

НА СХІД ВІД ЧАШКИ

я вимикаю мамину тінь
я вимикаю татову тінь
я вимикаю всіх вас
але чую крик

за вікном вулиця вийшла з берегів
та асфальт пливе на захід від чашки
на схід від чашки стою я
та чую як голоси батьків сваряться

низький хоче вниз
високий хоче вгору
хто в цьому винен?
бАх!

якась машина поїхала вгору
бахнула лобом об стелю
поряд голосно гудять комарі
тобі боляче?
давай помажу йодом
помаж собі

я вимикаю свою тінь
і промиваю всі рани чаєм

Я НЕ ЗНАЮ, ЗАЧЕМ МНЕ ПАМЯТЬ...

Александра ШАЛИНА

* * *

мне бы слово, чтоб за него зацепился слух,
чтоб ребенок в тебе зажал в кулаке испуг
и ответил мне правду, а взрослый в тебе молчал

...деревянная лодка стукнулась о причал,
деревянная лодка с мальчиком на носу,
и у мальчика пляшут локоны на весу,
и на коже солнце плещется и горит.
он хохочет, да только правды не говорит...

счастье щурится, усмехается в стороне,
что мне делать с тобой, не пойманным на вранье?

* * *

получается, мы друг друга перерастаем.
я не лягу в кровать прокрустову, не проси

...дом далек и непрочен – раковина пустая
в черноморском песке, вдали от земной оси.
возвращаюсь в него за ласковым пониманьем,
когда воздух от жара делается тугим...

оставаться как есть – китайское бинтование,
неестественно глупо мучить себя таким.

* * *

разбираться будем потом. сейчас
в доме включен свет, в доме включен газ,
в бессловесном воздухе резонанс
от любого звука.

хоть смотрюсь я этаким гордецом,
ко мне ходят люди с твоим лицом.
и на кухне время брюзгой-жильцом
потирает руки,

и слюнявит пальцы, считая дни.
избегая вынужденной возни,
выхожу из дома. поди смекни,
отчего же струсил.

отчего все гладко, но чую слом,
отчего прямые большим числом
неизбежно сходятся под углом,
образуя узел.

* * *

я бы лучше стояла в роще, чем гадать на кофейной гуще,
дух лесной как орехи лущит несмешных городских детей:

тишиной забивает горло, тишиной затыкает уши,
я бы лучше, намного лучше...
но на деле, я лишь честней.

* * *

Это было мое решение: говорить
о тебе не с тобой – неправильное решение.

пес мой в марте простыл, и, кажется, был бронхит,
но неделю назад наметилось улучшение...

я не еду домой на майские, ходит слух,
проверяются поезда на границе с Крымом,
да и ехать туда теперь – это слушать двух
соломоновских матерей о правах на сына.

я не знаю, зачем мне память, когда она,
как история государства: при каждом новом
государе переписывается, и вскоре –
принимает любую форму, в какой ценна.

но без памяти, кем стану, и кем я есть?
человек потерявший дом, не обретший дома...
гость, который не помнит, у чьих он сейчас знакомых,
но проходит к столу... и ему предлагают сесть

ЗАРИСОВКА

все что могло смешаться во мне смешалось
круг замыкается, в нем замыкаюсь я.
женщина плачет, не вызывая жалость,
«голая» в свете узкого фонаря.
я подавлю желанье остановиться
и попросить ее промолчать беду.

город брезглив. прохожие кривят лица.
я поднимаю голову и иду.

* * *

кто покинет меня, тому – нет пути назад.
вот стою: под ногами степь, в голове – царь град,
бьются косноязычные колокола, гудят.

от затылка до лба расходится этот гул.

и, казалось бы, слово выплюни, догони...
но пока в этом мире, объевшемся белены,
есть четыре спины – моих крепостных стены,

я стою на своем и сдвинуться не могу.

* * *

Если к тебе прибьется моя зима,
жди ее с теплым хлебом и молоком...

дети, ростки дающие от ума,
держатся от сердечных особняком.
я не имею ножниц, но садовод
очень умел – комар не подточит нос.
дайся макушку срезать – и в рост пойдет
корень сердечный, известь и купорос
вместо манжетов белых по рукавам.
будешь теперь смеяться и горевать.

можешь, конечно, не верить моим словам
я тебе не любовница и не мать.

* * *

Я ночую в доме простых людей,
для которых бог – это свойство быта –
он в жаре вечерней, в муке из сита
и ему не надобно быть сложней

и такого бога легко любить,
он привычен, выражен, осязаем.
и мы с ним не то что друг друга знаем,
но могли бы, в общем, заговорить

при других обстоятельствах. там, где я
родилась – он холоден и двуличен
где росла – почти не входил в обычай,
где училась – был сложен, но пояснен

и на двадцать третьем своем году,
все что я могу – стать спиною к свету
и смотреть, как бог, которого нету,
заполняет щели... печет еду...

ПАМЯТИ ЭПОХИ РЫБ

Татьяна АИНОВА

ПАМЯТИ ЭПОХИ РЫБ

Воды отходят, чтоб новой земле родиться.
Выловить эту тайну деревья стонут.
Рыбкину песню в клюве уносит птица.
Рыбы в воде летают, а птицы тонут.

Горное озеро выше костра в долине.
Ветры воды постоянней ветров воздушных.
Но не живут под водой – ни огонь, ни клинья
птиц перелетных, забывших о рыбьих душах.

То-то и грезится рыбам большим и малым
о металлической птице, акуле неба:
вот бы она в их родной водоем упала,
вместе с мальками-людьми распласталась немо.

Не потому, что навек утолится голод,
что фюзеляж хорошеет, рачками вышит,
а потому, что с тех пор это будет город –
город священный, посланный рыбам свыше.

Из потаенных времен прилетят потомки
молча молиться памятникам-скелетам –
чтоб миновали сети, чтоб лед был тонким,
чтоб небеса не отняли воду летом...

Все бы летать и мечтать, да тесны полеты
в речке отмеренной, сдавшейся в плен бетону.
Младшая рыба в тотемном созвездье, кто ты?
Рыбы в воде летают, а в небе тонут.

А на земле все равно наступает лето,
щедрое – всем достается, не всем хватает.
Солнце смеется над миром, желавшим света,
смертью смеется, и птицы в огне летают.

Февраль 2013

* * *

Этому городу угрожает инсульт.
Или инфаркт – все равно ему только снится,
что он сердце и мозг Державы. Но сосуды его несут
металлических тромбов растущие вереницы

наяву. И все медленнее. И все трудней
виагристыми вечерами ему напяливать гордо
ритуальную маску пространства, сплетенного из огней,
крашеных в звездную жизнь. Он стар – суперстар – этот город.

Вонью и матерщиной веет холодная пасть –
метропасть внутренних массовых перемещений.
Если бы он был мужчиной, я бы не стала с ним спать.
Но я не с ним, я в нем. Такая любовь пещерней.

Это любовь паразита. Взгляд мой охотно ест
клумбы, фонтаны, фронтоны, церковные главы –
здесь не найти свободных, но много съедобных мест.
Зато я не размножаюсь, хотя могла бы.

А кто посмелей – размножаются, клонируя шустрое зло,
протезами небоскребными подменяя
живое усталое тело – пока их родное село,
покинутое, звереет от пышной истомы мая.

Я чувствую: этот город придется покинуть мне.
Когда его вольная кровь прорвет, наконец, плотину,
и сгинут – в заветной волне, во всеядном огне –
все те и не те... вряд ли мне суждено во плоти, но

можно, расставшись с судьбой, воспитать фантом –
антонимом этажей, антиподом Прокруста –
зализывать раны времен и пророчить о том,
что это святое место не будет пусто.

Киев, Май 2011

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Будто праздничней, разгульней, горячее,
чем манит оттенком крови и пожара.
Если Божий, значит – лучший и ничейный...
Не вкусила,
но в ладонях подержала.

Нет, не солнцем, лишь луной, но в полнолунье,
но так ярко, будто все уже проснулось
неразбуженным, за миг до поцелуя...
Не вкусила,
но губами прикоснулась.

...Прежде жала отравляющая жалость,
прежде знанья окрыляющая сила...
Не вкусила,
но щекою прижималась –
кожа к коже, нежно-нежно...
Не вкусила!

Оттого, что все вмещаемое в разум –
все заразы истребленья и позора,
преступленья, войны, прочие оргазмы
в нем сокрыты, точно в ящике Пандоры.

Но пока висит он прочно и высоко,
невредим, – вообразить еще возможно,
что в сравненье с этим вкусом, этим соком
все несчастья неизбежны.
И ничтожны.

Так любуйся им, пока он плод незнанья,
не печалями – мечтаньями расцвечен!
Оттого, что рай недолог –
до изгнанья.
Оттого, что тишина.
И боль.
И вечность...

HOMO ABSURDUS

Утоляющий жажду начнет с воды.
Даже если придется кончать цикутой.
Так блаженно, так истово пьют сады,
сколько их ни трави и во льды ни кутай.

Утоливший захочет чайку, пивка,
замечать, что природа полна инсталляций,
дегустировать запахи, звуки... пока
жажде чуда не время ещё утоляться.

Прежде чуда снисходит до нас чудесант,
закомпьютерный гений, прокуренный профи,
человек, вместо сада растящий сайт,
превращающий воду в крепчайший кофе.

Он уже прописался в таких мирах,
где веб-хостинг сильней болевых фиксаций.
И в дрожании рук неповинен страх:
а чего ему, собственно, опасаться?

Даже вырубив (начисто) все сады,
всех людей, прозябающих столь затратно,
и застывшие в ужасе их следы –
электричество можно врубить обратно.

Потому – вне делений на пух и прах,
не от смерти, так смертью – но все спасутся.
Да, я верю, я знаю, что в Божьих руках.
Но я чувствую: руки Его трясутся.

2013

ПОВЕТРИЕ-2014

Где расчет верховодил и оберегал,
разгулялся на воле угар-перегар.
От голодной зари, от элитных сигар,
от скупого огня обелиска
перезрелая тьма разжигает костры.
Чем свирепей чума, тем живее пиры.
С торной тропки ума не сойти до поры.
Но пора уже, кажется, близко.

БАНАЛЬНОСТЬ БОЛЬ

«Для меня она – боль...» –
нечто подобное поэты
нередко говорят о поэзии

– Ау! дитория! Дитя!...
Я не готова, будто к бою.
Они пришли. Они хотят,
чтоб их кормили свежей болью.

Они сейчас – одно дитя...
Дитя, не знаешь, чем заняться?
А вот пустышка для тебя
из звуков и агглютинаций –

галлюцинаций языка –
симплоки, эллипсы, хиазмы,
густых метафор облака,
старинных символов миазмы –

нетрезвый строй увечных строк,
чьи раны рифм исходят гноем.
И ты высасываешь сок
блаженной боли. Остальное

ты только хохотом сблюешь,
клочками памяти растащишь...
Но если слез прольется дождь –
о, это всех оргазмов слаще!

Вода темнее в глубине,
будь океан ты или лужа.
А ниже, там, на самом дне –
отчаяние. Боль. И ужас.

Твои. Я лишь источник слов,
ловец, удачливый не слишком,
рыбак, русалка, крысолов...
Ты помнишь? Я дала пустышку –

стихи. Молчание и вой.
Стихи – предвестники несчастий.
Души застенчиво-живой
отмершие в экстазе части.

Но мне ли корчиться внутри
словесной клетки? Боль конечна,
ее предел – предсмертный крик.
А дальше – беспределье. Вечность...

* * *

Не человек – кто в наши дни живет
Марина Цветаева (1918)

Я больше не хочу быть человеком.

Я больше не могу быть диким зверем.
Домашним и подавно – вмиг зарежут.

Я больше не вольна быть вольной птицей.

Мне слишком больно плавать томной рыбой,
молчащей на крючке кривого крика.

Я бабочкой прелестной отпорхала
еще году в две тысячи четвертом
заветных незабвенных две недели,
а дольше не позволено природой.

Другими насекомыми не стану,
у нас вражда: они меня кусают –
я их давлю. И сходства никакого.

Заманчиво быть вещью: им не больно
и у вещей есть шансы на бессмертье.
Но из вещей гожусь я только в книги,
а книги – пыльный хлам былых столетий.

И вот сейчас я чувствую: я ветер.
Невидимый, неведомый, но вестник,
неуловимый суетной судьбой.

Наверно, так становятся собой.

2015

НЕ РАСТУТ РУБИНЫ НА КУСТЕ...

Вячеслав РАССЫПАЕВ

МП-320

Такое небо над Шулявкой – оферзеть!
Окороле́ть и вмиг опешить – по макушку.
Не то Ярило пролил хереса чекушку,
не то у Зевса коротнула теплосеть.
А может, ты огни вечернего Канзаса
на мост Патона спроецировал лучом –
и, снизив яркость, детский возраст мой учёл,
чтоб райским знаменем орнамент не казался.

И в каждом отблеске хромированных туч
свой трансформатор, свой диод и прерыватель.
Инопланетный фильм был виден мне с кровати,
а ветер дул. Он был разгулен и певуч.
А интонации мои – ох, дармовщинка!
Филе донешты, семислойный мармелад...
Но сахар вреден – и досрочно пролегла
от губ к виску дугообразная морщинка.

А это пение обкуренных зарниц –
хоть жри виагру и закусывай кардурой!
Владельцы «фордов» с их педальной субкультурой
забили площадь – ни пролезь, ни развернись.
И туча-пума вдаль гналась за тучей-лосем,
и перепрыгивать костры взывал рожок...
Зачем открещиваться? Помнится свежо:
я впрямь ферзел, задев носком квадрат е8.

Тихонько гаснет однодневный парадиз.
Завязка празднична, развязка лапидарна.
Ты тяготеешь к посвящениям бездарным
и поздравлениям от вдов и директрис.
Нимфетка с Бортничей – уже не Капулетти;
как мальчуган ты в этом мире упразднён...
Возврата нет – я ждал тебя сегодня днём.
А завтра... завтра будет очень сильный ветер.

МП-449

Противный норд-ост в это утро работал на совесть,
а мальчик в ветровке и джинсах при минус семи
встречал своего побратима – не то из Перми,
не то из Читы, где живут, с языком не освоясь.

Дождался – и пять еле тёплых костлявых сосисок
растроганно сжали котлету из козьих хрящей.
Они были оба готовы свариться в борще –
но только без швей, без доярок и без финансисток.

Уже по закрайкам стремнин зацветала капуста,
томатная паста сочилась из сопочных жерл –
и скудный ландшафт от морковного жмыха рыжел,
и разве что важенки практиковали распутство.

Когда мурманчанина духом святым попустило,
читинец ему приоткрыл захламлённый канал,
моря закружились в глазах, паренёк застонал –
и дальше их в вечность несла центробежная сила.

Ах, если бы мальчики сгинули вместе с телами!
Паноптикум сирой планеты на женщин богат.
От нечего делать они разнимали ребят,
да так, что смешались цвета на морской гистограмме.

Подкравшись к зелёной ветровке по-заячьи хрупко,
«Мочи голубых!» – заорала вощёная вошь.
И въехал в худющую спину карбовочный нож,
которым вчера вырезались узоры на фруктах...

В горячей крови, ощутив, как гетеры плюются,
оставшись без брата, пацан сиганул со скалы.
«При чём тут пастух, – скажет поп, – если дохнут козлы?»
А им ещё год оставался до первых поллюций.

Пытались полярники внюхаться в красную дымку
над мысом, где в вечных снегах закипает окроп.
Нашли, приоткрыли двухспальный надтреснутый гроб –
и чуть не упали: скелеты лежали в обнимку.

МП-577

А принцесса Микоки, согласно ранжиру, –
как-никак, продолжение знатного рода.

Пашет кроткий король. С ним когда-то дружила
половина князей (вроде даже до гроба).
Трансформация жизни по матричной схеме
понесёт короля метеором сквозь склоки...
Весь налог адресован родившейся в шлеме
и кевларовых брюках принцессе Микоки.

Едут крыши у глав арбитражных судилищ:
дилетант в конституцию вносит поправки,
да такие, что бычьим умом не осилишь,
а писательским – только при помощи травки.
Подрастает принцесса Микоки на фоне
снизошедших до статуса хиппи соседей –
одиноких мальков коматозной чехони
во франчайзинге вяленной заживо сельди.

Короля, что давно перестал быть козырным,
заедает инфляция видимой гранью.
Даже сетует местная пресса зазывно,
что искусственно доллар привязан к юаню.
Королева красива. Шесть версий инцеста
в репортёрской среде уже стали сквозными.
Протестантские регенты славят принцессу,
повторяя её неудобное имя.

...Отскандалившей маме седая Микоки
ставит в банку четыре дешёвых нарцисса.
У детей венеричка, у внуков – заскоки;
напилась бы, да водка не стоит акциза.
Этот фарс королю – словно медная сдача
при покупке овечьих кишок и сычуга.

Не мешайте величеству: он только начал
ферментировать чувства забытого друга.

МП-597

Пенной Адриатики азарт.
Заглушая хохот истукана,
режется сквозь кобальт и базальт
пионерский голос Костюгана.

Песен прошлых лет винтажный вид,
град из перезрелых мандаринов...
Друг меня уже не прогневит,
давнюю романтику отринув.

Отыскал географ за стеклом
жёлтый остров без капитализма,
где мальчишка, музами влеком,
не бывал ничьим копытолизом.

Здесь неузнаваемый ноябрь,
роз напаковавший в макроноздри,
подгоняет дохленький корабль
к берегу близ пристани Га-Ноцри.

Он ещё выдерживает двух
девственников с сахарной планеты;
при прорыве третьей будет звук
рвущейся бумаги разогретой.

Коська... Это ж надо псу под хвост
кинуть нам дарованное свыше –
только для того, чтобы компост
в виде школьной нравственности выжил!

Не растут рубины на кусте,
в рай тебя плодами поманившем.
Горизонты, видимо, не те,
что у заигравшихся парнишек.

Если и заблудится волан,
с неба приземлившись в цикламены, –
можешь плыть. Но там – уже Милан
и Лоретти слишком современный.

МП-643

Что ж вы, детские кубики в спальне,
подрасти мне никак не даёте?
Тут задержишься – станешь опальней,
чем кусок... пластилина в компоте.
Отсырели от потных подтёков
шестигранные олигофрены...
Так бывает: кому-то путёвка,
а кому-то – всё Барби да Кены.

На вторую от космоса букву,
за шедевр выдавая подделку,
предпочли составители булку,
но душа ударяется в белку.
Карнавал септаккордов и тоник
завлекал в эти рёбра и грани:
сложишь правильно – вот тебе домик,
ну, а вот и дорога с буграми.

Арестантская боль от подтяжек
лезет в новое тело сырое,
но вполне инженерный гаражик
я из кубиков всё же построил.
Накануне этнических чисток,
блиц-ревизий и рейдов по штольням
стебельком пусть учует любисток,
где объект неизвестный и что в нём.

Так и эдак верти свой рисунок –
юг ли, север – всё белый Малевич.
Непосредственно клинит рассудок:
не захочешь сомлеть, а сомлеешь.
И мечты моего празднолетья,
несмотря на запущенный люэс,
сконденсировались на френд-ленте...
Я и вправду, стервозы, люблю вас!

Торжествуй, диссидентская рожа,
что сосед – всего-навсего брокер.
Бороздить небеса можно лёжа
в скрытой камере хитрой коробки.
Гаражом для кобылки незримой
не отпугивай акселерата:
каково ему с шинной дрезиной
разобраться в сетях тессеракта?

МП-900

Разве это репрессии – пихтовый край,
прыгунцы, гомонливая Шуша?
Там хоть карму свою в хвойной жиже стирай,
где чертей свежепойманных сушат.

Из лишайного города я бы умчал
в ежевичник, лишённый контроля
и, возможно, одним поворотом ключа
свет на главный свой промысел пролил.

Ни одной надзирательницы – ты сечёшь?
Мандельштам бы не понял сюжета.
Я б хотел быть единственным зверем, кто вхож
в эту церковь нежаркого лета.

А репрессии – это когда и петух,
и гусыня с обкусанной лапой
говорят тебе, как ублажать потаскух –
но душа остаётся крылатой.

Это если задёшево чинят зонты
и пекут филигранную пиццу,
а твоя измочаленность ждёт быстроты
за полдня до решения спиться.

Закупил, помню, брюки – кажись, восемь пар
до прогресса буржуйской болезни.
Моль не тронула их, но просрочен товар:
ни одни на меня не налезли.

Вам самим-то смешно, если хочет кума
запихнуть в майонезную банку
Барабека, Крылова, обоих Дюма
и успеть в туалет спозаранку...

Этапируйте пленника в снежный июнь
к прыгунцам и брусничной диете!
Ну, а ты, милый друг, на колбаску не клюнь:
не простят тебе этого дети.

МХ-81

Песня зарянки стала иной –
даже без шума магнитных бурь.
Принципиально другое кино
давит экраны – бери да халтурь
в грязных массовках вороньих стай,
нюхай разнёсшийся ветром бром,
пой, называй это «Бибер-стайл»
и перестань козырять добром.

После семи распахнёшь окно –
небо, как смесь десяти пластмасс,
и не укладываются в канон
новые рождество и намаз.
Ёжики густо обсели мой
позеленевший трамвайный тупик –
с пшиком ресурса попробуй взмой
в чернь круглых дыр, не сломав кадык...

Всё. Тишина. Дружбаны, ку-ку!
Знаю, взросление – не порок.
Я вас прощаю. А дань клыку –
пращур любил валить кабарог.
Чем бы ни полнился красный том
в буквах тиснёных и галуне –
буду есть фрукты с закрытым ртом,
если в нектар не нагадят мне.

Жди иль втыкай – всё равно придёт
старость – бесшумная, как сегвей.
Долго казалось, что антидот
непобедимых седин сильней.
Ну, а как только толпе обезьян
карстовый свет проберётся в тыл, –
пусть рапортуют своим князьям,
что за Персей над Угандой проплыл.

Леонид БОРОЗЕНЦЕВ

ОБРАЩАЙСЯ К ЙЦУКЕН В ПРИВАТ

МУЗЫКА

Откроет свои америки нам золотая судьба.
Веки прикрыв ладонями, как мотылька сачком,
Ляжем ничком, где берега искусанная губа.
Пусть нас поднимет музыка, которую подберём.
Ю. Броварная

Дочь капитана Блада уходит в блуд,
В Гумбольдта вырос Гамлет – пиши «Прощай!»,
Веря в себя, Иуда, как в Высший Суд,
Капелек петли видя, плывет за край.

Жить на Руси вольготно лишь главврачу –
Хуже главреду: не чтут его травных глав.
Жалко его, я и сам перетечь хочу
В книжки на полках, как муха, в янтарный сплав.

Если сосед не выдаст – медбрат не съест:
Каждая дверь больницы – моя сестра,
Я им целую ручки, как лобный крест,
Чтобы вдохнуть прогулочный ромб двора.

Эх, развязать бы крылья больничных стен,
Выйти осколком Кая из сердца крыш,
Чтобы не спать на вырост, не жить взамен
И не сбегать при свете в себя, как мышь.

Если однажды все же от всех тайком
Перегрызу решетку, как лапу волк, –
Я не покину этот печальный дом,
Как покидает рощу засадный полк.

Нет, не смогу я в ближних ворот ушке
Нотой из гаммы выпасть, сорваться в лёт –
Мимо могил больничных пойду к реке –
Лягу ничком – пусть музыка подберет.

2012

* * *

Вот поезд из утлого «*А*» – в беспросветное «*Б*»,
Где стрелочник Анна готовит из дома побег.
По жизни идя, как на рельсы, как в водную гладь,
Она его помнит, и это – увы, не отнять.

Она ему верит, а поезд отчаянно мчит,
И это уже невозможно никем залечить,
Как будто земные стихии все разом впряглись
Стянуть в один узел все беды. О, Анна, молись!

По-лисьи молись, изощренно. Я – Каин – твой брат,
Который предчувствию встречи смертельно не рад,
Который не знает ни Яго, ни Герды-сестры,
Который вторым на алтарь присылает дары,

Манкурт своей страсти, пророчества книжного раб,
Заложник Шекспира, стишат неизбывный арап.
Бегущие строчки табло, полыхая огнем,
В воронках глазниц просочились в ночной окоем –

Читай и молись, и хотя бы в молитвах не лги.
По смерти моей император оплатит долги.
Я – Каменный Гость твой сегодня, кричи не кричи...
Я встречу тот поезд запретный сегодня в ночи.

2011

* * *

Из сияющих бездн, говорят, изречен,
Тот пророк умолчаний над левым плечом,
Что сидит и тасует в глухой тишине
Откровений поток, приходящий извне.

Он – кальяновый призрак – в рассветном бреду
Зажимает губами мундштук, как дуду,
И играет, смеясь, мириадами слов,
В дымных кольцах качая случайный улов.

Так во сне дорастаешь до чудных высот,
Над которыми ветер обрывки несет
Недосмотренных фраз, не разверзшейся тьмы
Из Монголии внутренней и Колымы.

Говорят, говоришь? Говорю, не уснуть,
Тем, кто пробовал огненный воздух вдохнуть,
Кто вжимался меж слов в упоительный стыд,
Где надежды глоток с безысходностью слит,

Где безвременный зритель – бесплотный сквозняк
Ослепительной ложью, как водкой, набряк,
Где в себя возвращаешься, как в кинозал,
Как в нору, из которой ты не вылезал,

Так кричишь: «Белый кролик, эй, там, впереди,
Не тащи в мое зеркало лет – пощади,
Пусть из памяти вытрут мой голос дожди –
Я останусь с Алисой, как с пулей в груди».

2013

*** * ***

«Гагарин в космос летал – Бога не видел...»
(из советской агитки)
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»
(Матфея 5:8)

Пригубим пятьдесят... Отлегло, отлетело
Столько призрачных лет после выхода в космос.
Достучаться до неба казалось так просто:
Нужно быть лишь правдивым, открытым и смелым.

Даже пульс различим там, на главном радаре,
Там нас любят – звони, чтоб почувствовать зуммер.
.....
Я звоню, но как будто внутри кто-то умер:
Тишина.
...лишь в мобилке смеётся Гагарин.

12. 04. 2011

ПЕСНЯ ОБ УТРАЧЕННОЙ РОДИНЕ

Новый мир бестелесных Контактов выгружает из жизни и быта,
Притупляет на кончиках пальцев ощущенье обид и вины.
Окунешься – и как не бывало ни Ремарка, ни Хэма, ни Свифта,
Ни знакомых по лестничной клетке, ни вчерашней привычной страны.

Сядешь в поезд, откликнешься в аське – и дорога под клавиши ляжет,
Накренится озябшее небо, замедляя бессмысленный бег.
Вдруг очнешься... а в пасмурной Риге больше яркого нет трикотажа,
И под вяленым питерским солнцем – каждый третий прохожий узбек.

Что за бред? Возвращаешься в Google, теребишь поисковые службы,
Бесполезные ищешь ответы на «*что делать?*» и «*кто виноват?*»,
Но страницы ответствуют: *Error*. Вот и там никому ты не нужен.
Все, что мог, ты, дружище, прощелкал – обращайся к Йцукен в приват.

2011

Анна ГРУВЕР

ЗОВИ ЖЕ МЕНЯ, ЗОВИ...

АХИЛЛЕСОВА ДЕВОЧКА

Леониду Борозенцеву

Его сердце приковано кентервильской цепью – порт
верен ему. Взгляд его – сталь. Взгляд его пристален.
Трубач баюкает футляр на пристани, а он – насвистывает.
Его грубые губы обветрены. Он – отчалил, отчаялся, но пока фьорд
любит его, он уверен, упрям, уперт.

Горе било его под дых, горе целилось в солнечное сплетенье,
укрывали горы от грома, горы ночью скалились тиграми.
Игры с кинжалами остаются беззвучными играми, тихими играми.
Ахиллесова девочка, точка возврата, не ходи за ним тенью,
белой немой ускользающей тенью –

помни – солнце уходит вечером и забирает тени с собой.
Ахиллесова девочка, развяжи его сети и возвращайся к нему –
танцуй для него на песке under a violet moon.
Слушай дыхание ветра и зверя. Слушай морской прибой,
заплети в волосах венок – пламя и зверобой.

Трогай раны его языком, ахиллесова девочка, девочка-медь.
Расширяй зрачки его, не диктуй правил, не ставь границ,
уведи его из забытых снов, укради из пыльной клети страниц.
Девочка-медь, люби его. Люби его, девочка-плеть,
он выпьет тебя до дна, не бойся дотла сгореть.

Только – не подавай виду,
что любишь ее...

ТИШЕ

Боже, выходил из этих дверей – пьяный. Вернулся – седой.

Это яд мой.
Это боль моя, моя одичавшая, пугливая боль –
на потолке,
в уголке в паутине путается, как девчонка в чужой фате,
выпавшей из ветхого шкафа, вылетевшей на свет –
выцветшей, как горе, выгоревшей, как моль.

Я не знаю, как это – не слышать ночами вой.
Я не знаю, как это – любить детей.

Так ребенок заталкивает сломанный шпингалет
под кровать ногой,
так тряпичную куклу теряет в траве
(что щекочет колени, целует небо и пачкает белые шорты)
и считает одной из прочих.
И хохочет,
и хоронит загадки и сны в темнице, в тюрьме –
как афиши заклеивают друг друга на фонарном столбе,
так кружатся влюбленности в его голове –
все быстрее, и пальцы бегут по клавишам, forte!

И она забывает меня,
пока листает книгу, мучает пианино, отбивает мяч.
Остается лишь на себя пенять,
как ребенок заметит пропажу –
услышишь плач.

И прошепчешь:
ну, тише... тише...

ГУМБРИЯ

Мальчик, дальше!
Н. Гумилев

В черной и лиловой Гумбрии чахнут чопорные лилии.
Будто раненые волки, отступая в темноту,
стонут волны страшно, сдавленно, от бессмертья и бессилия,
и уходят мягким шагом в глубину твоих зрачков.

Там, у пирса, коронован обреченный в принцы шут –
пьет, углем рисует слезы, искривленный в плаче рот.
Он поет под звон гитары, смех дурманящий русалок,
он целует им запястья, губы, пальцы, снова пьет.

На закате ты увидишь: под высокий грозный купол
пламенем взовьются тени акробатов, слуг и шлюх.
Этот паж с глазами вора, эта дьявольская труппа –
будут верной твоей свитой, шаг за шагом, вдох за вдох...

Ты войдешь – и все затихнет, онемеет. Только сердце –
мое сердце будет биться в самом небе, на самом дне.
Ты войдешь бездумно, грубо, влажная, моя, живая,
приручишь и это море, и бескрайний дикий лес.
Мед смешается и горечь, солнце с ночью, джазом, перцем.
В черной и лиловой Гумбрии,
в дивном и кошмарном сне...

SUMMERTIME

Зови меня Джун, – говорит она.
Зови же меня, зови...
И я задыхаюсь словами и ветром. И слышу, и чувствую, как
адреналин бьется жилкой ее виска, бежит у нее в крови,
и дети кричат, и дети играют в мяч, течет по камням река.

– Ты слышишь?
звуки слились в поток, звуки слились в потоп.
Висок ее – соль на моих губах. Висок ее так горяч,
и шепот ее:
одиночество, ночь, автостоп.
И солнце спалило нам крышу, и дети играют в мяч...

Теперь – стоит только закрыть глаза – я вижу ее следы.
Я шел по ним слепо – на джаз и на запад, на запах ее волос.
У берега пела труба, она шла босиком по кромке-каемке воды,
плелась паутина в петлю обо мне, ловили сачками стрекоз.
И шепот ее:
забудь и беги, забудь и беги, беги.
Забыть и бежать? не целясь – пустить в пустоту тетиву,
идти за стрелой? Разбиты дороги. Овраги, пороги, враги...
Я просто иду за ней. И – зову ее... и зову ее... и – зову...

...Зови меня Джул, – говорит она, засыпая у меня на груди.
И ночь пахнет медом. Над нами – лимон-луна.
К ладоням прилип песок, разбитые пальцы саднит,
и воздух звенит, и девчонка – сама струна.
И мертвое море так ровно дышит, так тихо спит,
и если мы сами умрем в этот жаркий и жадный июль
от выпитых танцев и поцелуев до дна на одной из безумных street,
нас отпоет Том Уэйтс под свист шин и пуль.

И протекает сквозь пальцы время. Мимо плывут теплоходы.
Спи, моя милая Джул. Никто не найдет наших тел,
не вспомнит наших имен. Это не счастье ли, это ли не свобода?
Бог улыбается, глядя на нас, словно так и хотел.

...Бесшумно пришли дожди. Она отрезает пряди моим ножом.
Она еще больше похожа на мальчика, не отличишь –
с этой ее упрямой улыбкой и взглядом, от которого у меня ожог,
к нам прилетают дикие птицы, и приручилась белая мышь.

Здравствуй, мой милый Август,
лето почти прошло.

ВОСЛЕД ЧЕРЕПАХЕ-ТЕЛЕСНОСТИ МЧИТСЯ СЛОВЕСНОСТЬ...

Ася ФРУМАН

* * *

Вот из дупла, как будто смола,
проистекают слова ствола;

молча, сосредоточась,
вглубь идет древоточец.

Сверху звенит, как котёл без дна,
дня раскаленная голубизна,

снизу ровной основой
стелется гул сосновый.

* * *

лыко прёт во строку, не спросясь,
без оглядки на смысел и связь,
самородным бахвалится звуком,
что возник, как из грязи – князь,
напеваем под нос и мяуком.

* * *

На дворе – пробуждение кнопочек-почек
и уборка сухой рукописной листвы.
Вот и почерк уже еле виден, как копчик:
недоотмершие хвосты.

Кто кому виноват, если век разучился
от руки закручивать вензеля,
на полях выцарапывать тайные числа,
самого себя веселя.

За ненадобностью, как несжатый колос,
на корню засыхает кудрявый пустяк,
отнимается почерк и глохнет голос
на безумных таких скоростях.

А в моей-то чернильнице вечно лилово,
что плеснули однажды, то и раздам:
вот, рисую по памяти длинное слово,
отсылаю Вам по складам.

* * *

Анне Глазовой

Сладок лета напоследок,
времени малинник;
стая лиственных соседок
накануне линек,

Лень, и воля, и истома,
свет после полудня.
Ноги просятся из дома:
в доме многолюдно.

И летишь себе, отпущен,
маковое семя,
по дворам, садовым пущам,
над шумами всеми.

Колобродит дачный Сидор
в шпорах петушиных.
Всюду дни стоят как сидр
во семи кувшинах.

* * *

Воздух – что время: то сжат, то раздут.
Контуры сна из него растут,
звука пружины ждут,
в шаге отсюда клубится мгла;
чтоб развернуться, ищет угла
случай, скрученный в жгут.

Воздух – ячейки ничейных сот,
сам он не знает, куда занесёт
беглую белку в прыжке,
сколько стоячих, сидячих мест
или: какой запечатан жест
в каждом его вершке.

* * *

Памяти стружки, сухие соцветья,
звуки оттаявшие из рожка:
что бы тогда изменилось, ответь я
как-то иначе, не дрогни строка?

Раз леденец у былого похитишь –
век перекатываешь во рту.
Памяти лёгкий, выцветший Китеж
глубже и глубже со мной на борту.

* * *

Вослед черепахе-телесности мчится словесность,
пытаясь догнать-перегнать эту мать-перемать,
премудрое имя спешит на предмете повиснуть,
чтоб мир сковородкой поймать.
Ан
нет.

Майя ***СТУДЗИНСКАЯ***

РАССКАЗЫ

* * *

Ты заходишь в аптеку и покупаешь пачку презервативов. Ты тратишь на это минут пять или семь. Перед тобой пожилая женщина расплачивается за корвалол. Больше никого. Ты и безучастная аптекарша неопределённого возраста. Она будто пытается отгородится от мира тяжелой каштановой чёлкой, опустив её почти на глаза…

Пара скользких пакостных ступенек, пара снежинок приземляются на нос, и ты продолжаешь свой путь. Стараешься не считать шаги, а когда не получается, останавливаешься и дышишь медленнее. План того, что ты будешь делать с этой женщиной, вертится у тебя в голове. Может быть, она произнесёт какие-то неожиданные слова или сделает жест… или… Не важно, тебя не удивит это и не зацепит. Ты идёшь к ней не удивляться. Её внезапность и непредусмотренность также заранее продуманы и отточены на многих до тебя.

Сизый воздух города наполняет лёгкие прохладой. Зябкие пальцы, ты не позволяешь им дрожать. Краски гаснут, размазались, перетекая одна в другую, лишь вспышки светофоров чуть опекают глаза. Приятное равнодушие будней, когда прохожие не видят друг друга. Ты отталкиваешь от себя город, ныряя в подъезд. Он обнимает тебя затхлостью. Первые несколько секунд многоквартирный дом кажется нежилым, но ты с усилием сбрасываешь оцепенение и решительно вызываешь лифт. Ты не даешь себе погрузиться в раздумья, неумолимо шагаешь к двери, жмешь на звонок. Дальше… калейдоскоп вызывающих красок, внятных и однозначных ощущений без примеси колебаний, оценок, принципов… Счастьем это не назовешь, но… Это свобода? Это её вкус? Странный и лишний вопрос. Пахнет ладаном. Нет, показалось. Парфюмы – самые дорогие из дешевых. А потом это конфетти опадает… Будто только что кружилось в воздухе, все было наполнено его, пусть и незамысловатым, но милым беспорядочным танцем, а теперь вдруг лежит на полу… бесцветностью кверху…

В прихожей ты порываешься пригладить волосы, поправить воротник, но спохватившись, уходишь так. Тебе нет дела… никому нет дела. Ты больше не замечаешь

подъезд, не замечаешь ступеней и того, как сырой воздух хлестнул тебя по горячим щекам. Ты не бежишь. Просто тебе пора. Пора бежать...

Ночь набросила свой капюшон на город. Было ли всё как ты планировал? На этот раз? Уже не имеет значения. Ничего не имеет значения.

В темноте улицы стали ярче и праздничнее. Цветные огоньки скачут, посмеиваясь в игривых глазах прохожих-полуночников, металлических пуговицах пальто, серьгах, лужицах... Мир что-то празднует. Он сбросил дневную очевидность. Расслабился... Из автобуса выскакивают шумные трое. Один из них поскальзывается и падает. Что-то разбилось. Они и ворчат, и хохочут. Тебя кто-то тянет за рукав. Симпатичная девчушка... Нет, девушка лет семнадцати. Она смотрит на тебя с весёлым равнодушием:

– Вы потеряли это! – у неё в руках сверток.

– Нет. Я ничего не терял!

– Но я же видела, как вы это уронили! – девушка широко и настойчиво улыбается.

Ты берешь только потому, что она готова упустить его. Ты надоел ей со своим упрямством и несогласием. Она лишь хотела сделать добрый жест... Девушка быстро исчезает, ее темная неприметная куртка сливается с темнотой. Мимо проходят трое навеселе, уже оправившиеся от падения и утраты новой порции алкоголя.

– Это случайно не ваше? – ты протягиваешь им сверток.

– Старииик! – они дружелюбно хлопают тебя по плечу и идут своей дорогой.

И ты – своей... Задерживаешься возле ослепительной витрины. Выхолощенный свет. Разворачиваешь подарочную бумагу в мелких сердечках. Внутри разбитое зеркальце. Иероглиф из трещин. Знакомые глаза... Поднимаешь голову. Смутный бессодержательный силуэт в витрине. Невольно возвращаешься к глазам... К иероглифу, силясь его прочесть... Рождается боль, растекается по венам, сдавливает горло, ударяет в голову, пульсирует в висках. Ты бы закричал, но немота...

В двух шагах зажигаются новые фонари, смех, разговоры, объятия и прощания...

ВЫПЕЧКА

Казалось, комната впитывает в себя солнечный свет. Он становится густым, медовым, а пылинки в нём оседают с грациозной медлительностью... Нет! Скорее танцуют – неуверенно или зачарованно.

Арджи месит тесто. Он редко заглядывает в свою импровизированную пекарню – раз в несколько месяцев. Встаёт в пять утра, ещё до восхода или в тот час, когда небо полыхает зарождением нового дня. С лёгким ликующим сердцем он тщательно убирает и моет кухоньку, изгоняет пауков, вытирает муть с оконных стёкол, открывает их, впуская нетерпеливый свежий воздух. Он приносит муку, яйца, немного кефира или сметаны, специи... Печь постепенно набирает жар... Солнце украдкой заглядывает вовнутрь, чуть позже – смелее, потом – совсем уж бесцеремонно... Окна проделаны в каждой стене... Свет неприличный, разоблачающий, бескомпромиссный. Только в полдень – никакого прямого попадания света в глаза... Арджи давно мечтает о большом окне прямо в потолке или о прозрачной крыше.

Как только солнечный свет становится почти осязаемым, Арджи весело дует на горстку муки и несколько секунд наблюдает за кружением её мельчайших частичек. Ему хорошо! Сказочно хорошо!!! И он приступает к тесту...

Сегодня Арджи не был действительно расслабленным и окрылённым. Да, всё спорилось, хотя вчера он не предчувствовал, что ему предстоит день в пекарне… Арджи ничего не купил заранее: яйца в его саду отложила соседская курица, муку он взял из домашних запасов, из специй – только кориандр. Арджи терпеть его не мог, но сегодня это важный ингредиент.

Когда приходили посетители, он немного мрачнел, возможно, вдохновение ослабевало и он становился чуть больше человеком, чуть меньше стихией…

Он не ожидал увидеть эту женщину. Именно её… по имени Дуки. Дурацкое… Но теперь все имена такие, неизвестно откуда, кем придуманные, сплошь редкие. Она нравилась ему. Красивая? Трудно судить, ему, смотрящему вглубь. В ней было что-то тонкое и нервное, а ещё – испуганно-ленивое. Не повод, чтобы влюбиться… Но Арджи давно перестал искать смысл или докапываться до корней своих пристрастий. Они виделись несколько раз в год на различных городских праздниках и ярмарках, разговаривали, однажды вместе помогали тушить пожар в торговых рядах… вместе с другими добровольцами.

Она села нас стульчик возле дверей и он с болью уговаривал себя смириться. На её лице неопределённое выражение – вымученное, вопросительное. Подтекст – пожалей меня и скажи, как жить дальше… Арджи разминал тесто, его пальцы всегда рады этому занятию – ни напряжения, ни усталости. Обычно он слишком долго разминал его. Каждый раз слишком долго… так долго никто не возится с тестом… кроме Арджи. И он молчал сейчас, не из вредности, а выжидающе. Похоже, женщина… Дуки понимала это. Он поднял глаза, точнее сфокусировал взгляд. Его правя щека вдруг стала теплее, чем левая, но не родился ещё тот человек, перед которым Арджи потупит взор. Он сцепился с ней взглядом, стараясь придать мягкость своему резковатому, неприветливому лицу. Даже тот внутренний подъём, который он испытывал, пока месил тесто, не разглаживал упрямую складку меж бровей, не расслаблял подбородок.

– Наверное, странно явиться вот так вот без предупреждения…

– Нет… совсем нет… – ласково выдохнул Арджи.

Он так и не успел хотя бы поцеловать её… Только несколько раз прикасался к её плечу. Она не была бы ленивой или испуганной, если бы у них дошло до…… Но не склеилось.

– Мы едва знакомы… – продолжила оправдываться Дуки.

– Достаточно знакомы! – Арджи немного улыбнулся.

– Я…

Арджи замер, его пальцы больше не месили тесто, они дрожали…

– Ужасно быть такой, как я!

– Привлекательно… – Арни беззлобно поправил Дуки, чувствуя её невыплаканные слёзы как свои собственные… Их общие слёзы.

– Я не о внешности… – Дуки покраснела.

Всё-таки он доставил ей маленькое удовольствие.

– Я о чём-то большем, чем о внешности… – продолжил Арджи, его пальцы пока не вернулись к тесту.

– А я о бесполезности… Я не нужна…

– Кому? Предполагаю – себе?

– Людям…

Арджи расхохотался. Искренне, он снова смог погрузить руки в податливое месиво. Теперь они работали не слишком энергично, а бережно, уважительно, с радостной обречённостью…

– Скажи ещё – обществу. Не глупи. Мироздание порождает тебя с какой-то тайной целью. Твоё рождение нечто вроде кирпичика, который не даёт ему рассыпаться до основания... Не только твоё, конечно... Любого из нас...

– С какой? – Дуки задала детский вопрос.

Арджи очаровала такая реакция – предсказуемо наивная, однако тёплая как лучи, которые сейчас озаряли его лицо и не давали видеть Дуки отчётливо.

Арджи пожал плечами:

– Не имеет значения... Поверь! Ты выполняешь своё предназначение, не взирая ни на что. Плохая погода не отменяет весны, хоть и нарушает её привычный ход.

– Хотелось бы... но...

– Чего ты хочешь? – Арджи перебил – резковато, а ведь он не сердился на неё, иногда – на других, но не на внезапно поглупевшую Дуки. – Великих дел? Славы? Богатого мужа?

Она прикусила губу.

– Чувствовать себя уместно...

– Ты хочешь чувствовать себя правильной, чтобы не к чему было придраться? Воображаемые другие? Воображаемо важные другие? Зачем тебе их зависть? Она греет? – пальцы Арджи окрепли, наконец-то он обращался с тестом жёстко, как и положено.

Дуки неопределённо дёрнула плечом, однако в её глазах вспыхнул живейший интерес к его персоне. Она и раньше была заинтересована в нём, но отказывалась осознавать это. Ленилась, трусиха!

– Не знаю, зачем мне другие... много посторонних, перед кем я оправдываюсь... Весь мир со мной, он не судит, но я ищу одобрения первых встречных... чтобы на жалкое мгновение почувствовать себя своевременной, ведь у меня нет ничего, что бы могло оправдать мой приход в этот мир, кроме...

– Кроме? – Арджи снова отстранился от теста, он опёрся о стол, тот рассержено кряхтел.

Арджи улыбался, всматриваясь в неё, краешек раскалённого солнца в окошке скрадывал многие детали. Арджи не моргал...

– Кроме самого мира... – быстро сказала Дуки, растеряно прислушиваясь к сказанному и не веря, что произносит это.

Арджи отошёл от стола. Впервые он повернулся к тесту спиной.

Он коснулся её носа, оставив там отпечаток муки. Уж эти крохи он себе подарит!

– Я тебя люблю, но не женюсь... не женился бы... any way... – с нежностью сказал он.

Дуки вскочила. Возмущённо? Да, она полагала, что в таких случаях обязательно сердиться. Но в глубине души эти слова не смутили её, душа всегда знает всю правду заблаговременно...

– Я не...

– Тише, – он приложил к её губам палец в муке, а потом к щекам и лбу.

Ей будет жалко смывать прикосновения Арджи.

– Однажды ты бы начала банальничать, мечтая о свадьбе... от страха не оправдать ожидания тех воображаемых судей и ценителей. Желая замужества, ты бы забыла обо мне, сосредоточившись на призраках...

– Забыла о тебе?! Да кто ты... Какой она должна быть?! Почему ты считаешь, если женщина хочет за тебя замуж, значит, она забывает о тебе?! Что-то не стыкуется!!! Где логика?!!

Вот теперь Дуки злилась честно. Ей не особо шла разгневанность, лишь глаза красиво, жизнеутверждающе заблестели... Волшебно!

– Не знаю, какой она должна быть... Никогда не думал об этом... может, в юности и думал, но не помню, что именно... Тебе нравится кориандр?

У Арджи зудели кончики пальцев – тесту не терпелось снова ощутить их, но он был занят другим... любовью?

– Ты издеваешься надо мной, потому что я бесполезная! – горько выдавила из себя Дуки и отступила через порог.

– Ты не услышала главного! Ухватилась за вторую часть, а то, что я люблю тебя, ничего не значит?! – Арджи не пошёл за ней.

Она торопливо убиралась прочь. Она прекрасно расслышала последнюю фразу, но боялась поверить и остаться в дурочках... это сильнее желания просто остаться здесь с ним. И она бы мешала ему очень и очень... мешала бы выпекать хлеб.

– Послушай!!! Тебе повезло!!! Тебя легко любить! Ведь у тебя нет ничего, кроме себя самой! Можно просто любить тебя без всяких причин! Просто любить! Тебе очень повезло с собой!!! – орал он ей вслед.

Арджи не сомневался – Дуки слушала и запоминала каждое слово. А вот соседские чертята-недоросли, чумазые, в ярких шортах, босые, гоняли мяч... Далековато... Сегодня они не пытались выбить окошко в его пекарне, не ржали под дверью, мешая тесту отдыхать перед тем, как его отправят в печь... Один из них повернул голову и ядовито оскалился в сторону Арджи. Они слышали крики? Несомненно! Уловили смысл? Не важно!

Арджи сосредоточился на тесте, больше не реагировал на звуки, долетавшие с улицы, не замечал лёгкую дымку, которая порой обволакивала светило, и оно на несколько секунд тускнело, пучки лучей редели... Он подбрасывал тесто, ловил, размазывал по столу и снова собирал в единый аппетитный комок. Арджи пел, красивым интимным голосом, если бы кто-то отвлёк его и поинтересовался песней, он бы не смог внятно объяснить, где её слышал... Мелодию рождало само тесто, приняв чёткую окончательную форму, тесто замолкало, переставало излучать музыку, которую улавливал лишь Арджи.

Пока тесто переводило дух, а пламя в печи оживало, приободрённое парочкой поленьев, он привычно уселся на пороге, поставив стул в дверном проёме. Он щурился, глядя на солнце. Почти слепой от его яркости. Пот лился градом – летний без запаха, светлая рубашка прилипла к телу. Арджи не обгорал – не дано. Ни чувства, ни огонь, ни летний зной не обжигали его... От жары он мог только задремать минут на пять-десять...

Соседские чертята притихли, может, помчались на старое кладбище, ловить крыс и разорять птичьи гнёзда. Природа проживала очередной виток своей бесконечной и неутомимой гармонии, которую человечество разучилось воспринимать и впитывать.

Когда солнце немного изменило положение на небосводе, а ветерок подсушил рубашку, Арджи поставил тесто в печь, подбросил ещё дров... Сердце тихо сжалось...

Они приходили в день выпечки – разные поводы, разные причины, случайности, необходимости, профессиональный долг, заблудились... Знакомые, едва знакомые, незнакомцы. Они говорили, чаще искренне и неловко. Арджи обычно помалкивал, ни о чём и ни о ком не сожалея, вдыхал их суть, спрятанную под разными социальными или асоциальными ужимками. Редко вступал в полемику как сегодня. Больше слушал, прощался приветливо и тепло... Однажды никто не пришёл. Арджи обеспокоенно носился с буханкой по городу, так и не обнаружив нужного человека... Он скормил её птицам, гнездившимся в рощице у оврага...

– Ну вот, я выпек твою смерть, Дуки! – сегодня он... нет, не жалел, огорчился, не бунтовал, сделал как положено, опасаясь, что все эти проволочки с разговорами могут повлиять на ход событий... ухудшить...

Он достал хлеб из печи, особенный аромат – пряный, с явной сладковатой ноткой и едва уловимой горчинкой... Кориандр не заметен. Неповторимые сочетания вкусовых нюансов, впрочем, как у любого хлеба, что ему случалось выпекать. Много общего, но в то же время не сравнишь и не выведешь средний типичный вкус и запах, не угадаешь послевкусия...

Зря она надумала всяких глупостей! Каждый оставлял в этом хлебе часть самого себя, ту лучшую, какой мог поделиться со стоящими людьми, ту, которую неосознанно мечтал подарить им... Даже человек, не явившийся самолично, оставил крупицу в дар...

Теперь нужно было найти именно того, кому предназначалась выпечка, тех, кто охотно и радостно примет последний дар ушедшего. Они могли быть и незнакомы при жизни, но те, для кого выпекался этот хлеб, всегда без возражений принимали его. Никто никогда не выбросил и крошки, Арджи был уверен, он бы уловил...

Голыми руками вытащив из печи буханку, он приложился к ней губами, его кожа горела, но ни боли, ни ожогов.

Дуки пойдёт на свидание. Сегодня? Ах, Дуки! Арджи подозревал, что время в пекарне отличается от того, в котором живут уходящие... Может, прошёл день или два, а для Арджи всего несколько ясных часов.

Ах, Дуки! Сильнее всего она хочет вернуться сюда... К нему. К Арджи. Но всё равно идёт на свидание с сероглазым и плечистым. Он симпатичный. Арджи сказал, что её можно любить без причины, не то чтобы она поверила, но сероглазый и спортивный вдруг позвонил и назначил встречу. Она хотела бы пойти к Арджи... на свидание или просто так!!! Столкнуться почти... считай, случайно в городе. Она бы этого очень хотела, но, надев каблуки, сделав причёску, замаскировав меланхолию ярким макияжем и отвлекая внимание воздушным трепетным платьем, она спешит на свидание к другому. Он весёлый! А если нет? Она притворится, что ей смешно. Ведь её можно любить без причин – чего ещё желать?

Она идёт пешком, стремясь опоздать... Старая часть города. Парковая лестница. Дуки воображает, будто её походка стремительно-безрассудная, будто в ней ощущается оптимистический ритм и Дуки задаёт тон всему вокруг. Нет! Её походка шаткая и строптивая, непоследовательная, спотыкаясь, Дуки падает на каменные ступени и ударяется...

Она тотчас же примиряется со смертью. Её последняя мысль: «Хорошо, что я не пересплю с этим сероглазым бодряком! Я бы всё время представляла Арджи на его месте, а они совсем не похожи...»

Аржди ещё разок целует хлеб – долго, губы безболезненно, хоть и ощутимо пылают. Для кого? Он не может определить... Точно не для сероглазого. Куда идти с выпечкой? В каком направлении?..

Чертята заглядывают в дверь – трое, а трое умостились у окна. Всего шестеро, а впечатление – точно пекарня окружена, взята в осаду. Один чертёнок протягивает руку с грязными ногтями и босой ногой щупает пол у порога.

– Хлебушка! – глумливо клянчат они. – Свеженького!

Хор ядовитых визгливых голосов.

Физиономии в саже или в мазуте, глубоко посаженные глаза – у всех шестерых, цвет и выражение сложно определить, огромные приплюснутые носы и самое выразительное – рты бессовестных сладкоежек.

Неожиданно для самого себя Арджи откусывает кусок… В его глазах слёзы, одна, особенно тяжёлая, выкатывается на скулу…

Чертята разочарованно вздыхают и, выставляя вперёд ладони, пятятся. Изумление на их неумытых рожах, и рты будто уменьшились. Они часто выпрашивают хлеб и пытаются утащить, хотя бы крошку, поэтому Арджи ест медленно, тщательно пережевывает и ничего не роняет на пол.

– Я бы не женился на тебе any way… Любимая! – повторятся он.

Он и так знал, каким будет дар Дуки… Ему ничего не нужно от других людей, он полон до краёв. Но выбора не существет. Теперь его сердце бьётся сильнее и чаще. Дискомфорт! Он вытерпит. А потом привыкнет и однажды всё пройдёт.

Вечерняя свежесть, цикады звенят о том, что лето удалось на славу.

Арджи сражается с неуступчивым ржавым замком, который вдруг перестал ладить с ключом… Запах ржавчины дразнит чувствительные ноздри. Кровавая аллюзия. Арджи замечает, что на его рубашке не хватает двух пуговиц. Ещё с утра она была совершенно новой, а сейчас выглядит потёртой и застиранной.

Он бросает дверь открытой. К следующей выпечке он приступит ещё не скоро. Арджи переедет в другой город и построит там новую пекарню, а возможно, просто организует печь на заднем дворе в неухоженном уединённом саду.

Деревья по бокам дороги выглядят массивнее, чем при дневном свете, они нависают над прохожими, никому не позволяя отбрасывать тень, свою отдельную тень, отличную от их собственной. Сегодня новолуние и звездопад…

Май 2014

О ПОЭТАХ – АДЕПТАХ ТРАГИЧЕСКОГО 70-Х

Юрий ПРОСКУРЯКОВ

Впечатлением моей литературной юности является чувство особого трагического переживания, которое, возможно, служило источником энергии, формировавшим эстетическое чувство у ряда авторов, из которых позже были выделены три фигуры, предназначенные выполнять знаковую роль в современной русской литературе. В то время мы воспринимали творчество в двух ярко окрашенных тональностях, одна из которых была исполнена неподдельного трагизма, другая комизма.

Все остальное за пределами трагизма и комизма находилось в плоскости официоза. Управленцы от культуры время от времени одобряли некоторые формы комизма, расценивая их как проявления советского оптимизма, но трагизм официозом отвергался, как явление враждебное государственности и нездоровое. В условиях мракобесия зарвавшихся полуграмотных низов советский оптимизм представлял собой особого рода этическое и эстетическое извращение, прокладывающее дорогу массовой дегенерации.

Илья Наумович Горелов однажды рассказал мне историю о том, как человека содержали в советской психиатрической лечебнице более 15 лет с диагнозом шизофрения из-за того, что он имел глупость при графологической экспертизе написать отрывок «Флейты-позвоночника» В. Маяковского, которую исследовавший его психиатр не читал.

В очерченной чиновниками границе «нездорового» трагизма в ходе семидесятых в виде формы культурного сопротивления стали формироваться поэты, которые, хотя открыто не проявляли антивзгляды, но воспринимались советской администрацией как диссиденты.

В это время шли поиски альтернативы изрядно потрепанным лидерам шестидесятников, уже освоившим многолюдные трибуны, проведшим в жизнь свои скандальные PR-акции. Выбор мог быть осуществлен в пользу одного из двух активизирующихся творческих течений. Одно из которых, хотя и было «чернушным», но на фоне комического, в силу примитивности творческого мышления представителей этой группы, импонировало среде чиновников. Эта «чернушная» тусовка впоследствии получила название «концептуализма» и даже «постмодернизма» со всеми возможными ответвлениями попсы и соцарта.

Альтернативой концептуалистам могли послужить адепты трагического, отличавшиеся как от соцреалистов,

так и от концептуалистов сложностью творческих новаций, лестной для части советского бомонда. Они были практически непонятны «трудовой интеллигенции», что было дополнительным доводом в их пользу. Формирование этих двух, конкурирующих между собой, течений происходило прямо на наших глазах. Выбирать приходилось между «темными» глубинами метафорических аналогий и откровенной бессмысленностью имитаторов и фальсификаторов культуры, плодящих эрзацы артефактов.

Мы стоим на балконе высотной башни кооператива художников на Фестивальной. Сережа Шерстюк показывает вниз на стоящий внизу автомобиль: «Видишь вон тот жигуль, это машина Кабакова. Он здесь ниже нас живет, вон тот балкон. Мы как-то выпили и сверху в концептуалистов помидорами кидали. А они снизу, тоже в ответ, но докинуть не могут. Мы-то выше», – и он хитро, по-шерстюковски, с оттяжкой усмехается.

Были переходные фигуры. Шерстюк дружил с Олегом Мингалевым, который тогда позиционировал себя как концептуалиста. Олег был страшный скандалист с каким-то особым окрасом речи:

«Мотки таинств клубинятся в стволах...»

– начинал он свой якобы футуристический распев. Это было красиво и забавно, хотелось слушать. Еще не всплыла со дна российской грязи мрачная сухомятка приговщины.

Похоже, на нас тогда делали ставки, как на лошадей на ипподроме.

Переходной была и фигура К. Кедрова. Он с самого начала понял игру и играл сразу на две руки. С одной стороны, он по характеру творчества концептуалист и, значит, приемлем для советского официоза, с другой, он, ассоциируя с собой некоторых адептов трагизма, пытается приобрести дополнительную значимость в глазах функционеров от совкультуры. Любопытно, что концептуализм нередко приобретает националистическую окраску, в то время как «трагизм» скорее тяготеет к «безродным космополитам». С организационной точки зрения его стратегию можно считать удачной, поскольку ему удалось ассоциировать в одну команду трех достаточно значительных трагических поэтов и связать их со своим именем с помощью безграмотного термина «метаметафоризм». При этом в «Журнале поэтов», издаваемым К. Кедровым, никаким «метаметафоризмом» в то время не пахнет. Все прочие, хуже управляемые или менее активные, оказались отсеянными и имели счастливую возможность развивать свой антисоциалистический трагизм по своему усмотрению.

«Метаметафоризм» – это попытка создать брэнд управляемой элитарной советской литературы с помощью выдвижения на передний план нескольких имен. Эта попытка почти удалась при публикации книги Ивана Жданова «Портрет», к которой приложил свою руку Кирилл Ковальджи. Два ключевых имени функционеров от литературы: на поверхности Константин Кедров и Кирилл Ковальджи, и три имени поэтов: Иван Жданов, Алексей Парщиков и Александр Еременко – это, собственно, все, что следует понимать под именем «метаметафоризм». Похожие мнения выражали и другие современники*.

---

* «...Болезненное возбуждение охватило часть поэтической Москвы, которая вскоре сбилась в штурмовую бригаду с именем «метареалисты». Этот термин предложил, кажется, критик М. Эпштейн, а К. Кедров ввел в обиход метаметафору. Что все это значило? Никто толком не знал. Но все догадывались лишь об одном: два талантливых толкача вводили в литературу только тройку вышеназванных первопроходцев, до остальных им особенно не было дела! А в круг метареалистов в начале восьмидесятых входили В. Аристов, И. Винов, А. Чернов, Р. Левчин, А. Драгомощенко, И. Кутик и ваш покорный слуга. Если кого-то позабыл, заранее извиняюсь. *Юрий Арабов.* «Метареализм. краткий курс». http://www.marpl.com/rus/metarealisty/arabov.html Юрий Арабов несколько неточно упоминает состав начальной группы трагических поэтов, не только не упоминая некоторых, кого

Все это только усиливало круги по воде. Достаточно симптоматичным выглядит интервью Д. Пригова «Русскому журналу». В этом интервью Дм. Пригов выступает, как фальсификатор и доносчик. Как иначе можно расценить его заявление провозглашающего «*смерть андеграундного, героического и террористического существования*». Каким же надо быть подлецом, чтобы называть поэтов и писателей, бескорыстно служивших своим Музам, «террористами». Его ненависть к недостижимой для мелочного и бездарного человека поэзии очевидна: «*поэзия вообще*, – утверждает Пригов, – *как поп-имидж, рассчитана на некое юношески-романтическое сознание, покоряет в основном молодых людей и ее голосом говорят какие-то юношеские страсти. Поэтому поэты, как правило, к старости переходят на прозу*». Но, обвиняя других в маргинальности и андеграунде, Пригов так описывает параметры своего творчества: «*Я пытаюсь улизнуть от жесткой фиксированности в социуме, в языке – кроме культурной позиции это внутренний комплекс и синдроматика старых времен. Это гены поколений, боявшихся быть опознанными в пределах репрессивной системы». Вот так. Репрессивной системы якобы уже нет, а у Пригова остался «синдром»*. Но известно, что репрессивная система не только сохранилась, но и многократно усилилась, ликвидировав даже те социальные блага, которые существовали при социализме. Таким образом, приспособленчество Пригова к господствующему в стране антигуманизму очевидно. «*Для меня очень важен чудовищный разброс между стихами, книгой предуведомлений и выступлениями с джазовыми музыкантами, где я диким голосом что-то ору как безумный*». «*Современная культура пока не явила ничего реально превосходящего такой тип поведения*».

Сначала Дм. Пригов упраздняет содержательное политическое, социальное и эстетическое новаторство советских и постсоветских диссидентов, а затем утверждает свое мнимое превосходство крика (точнее окрика, дикого вопля идиота).

Вот бронзовый, Пушкин, и глупый стоишь
А был уж как хитрый ты очень
А я вот живой, между прочим
А я вот по улице Горького
Гуляю и думаю: Ишь!
Забрался на цоколь гранитный
Поэзией руководишь!
А вот как ужасную бомбу
На город Москву опустить
Погибнут тут все до единого
И некем руководить

Дм. Пригов

Все ложь до единого слова. Чем «руководит» А.С. Пушкин? Почему он «глупый», а Пригов якобы «умный»? И кто это такой, кто собирается бомбу на Москву опустить? Уж не на Пушкина ли он по бездарности и злобе намекает?

Квалифицируя свой стиль «творческого» поведения, он замечает: «*это постмодернизм, а он спокойно вмещает в себя и элементы кичевые, и какие угодно*».

Таким образом, Пригов фальсифицирует понятие постмодернизма в европейской культуре и утверждает некий поведенческий беспредел, который якобы присущ современной творческой личности. В целом деятельность Пригова характеризуется крайним цинизмом, который он сам не скрывает: «*нынешний мир – конверсионный: все конвертируется во*

он не знал, так как присоединился позже, но и включая неродственных группе М. Шатуновского и О. Седакову. Последняя сама никогда себя с этой группой не ассоциировала.

все, надо только знать обменный курс». И тут же пример конверсии» «*Я сейчас начал создавать некие конверсионные тексты: что на что и как переводится. Скажем, один священник равен двенадцати прихожанам, двенадцать молящихся прихожан равны двум священникам, двадцать поющих священников равны тридцати шести прихожанам... Конверсия денег, конверсия людей и животных*». Деятельность К. Кедрова во многом покоится на тех же этических и эстетических основаниях, хотя формально он позиционирует себя в виде некоей оппозиции, в какой-то мере устанавливающей связь с русской литературной традицией футуристов и обэреутов.

В начале восьмидесятых «метамета» шел в гору. Необходимо было установить традиционные связи с большой русской литературой, в соответствии с которыми персоналии «метамета» были сопоставлены с классиками советской литературы: А. Парщиков с Б. Пастернаком, А. Еременко с Н. Заболоцким, И. Жданов с А. Тарковским. К. Кедров, еще не окутанный золотым руном палиндромирующего «стреказавра», орудовал ножницами, отучая И. Жданова и всех, кто попадался под руку, писать стихи, как он выражался, «буханками».

По его «концепту» надо было разрезать стихотворение на строчки, искромсать их как попало, перемешать наподобие домино, отбросив в сторону «базар», то есть излишнюю часть, а из оставшегося смастерить новые строчки, уже разной длины. Всякий, кто не следовал этой замечательной ташистской методе, подвергался с его стороны остракизму.

Забавно было смотреть, как Иван Жданов, рослый красавец и хулиган, тупо смотрит на манипуляции уродливого карлика Кедрова, перемешивающего на столе слова его только что написанного в виде запретной «буханки» стихотворения. Ну, прямо спектакль из жизни русских литературных Давида и Голиафа. Иван Жданов едва терпел это филологическое издевательство. И продолжал, конечно, писать «буханками», как и положено было талантливому поэту, трагическому поэту.

Вне «метамета» группа поэтов трагического склада испытывала необходимость включиться в более широкий литературный контекст. Я вспоминаю разговоры на эту тему. Всплывали разные имена: Мандельштама и Ахматовой, Хлебникова и Маяковского, Заболоцкого и, даже символистов, в лице Брюсова.

Границы медленно, но верно росли вширь, процесс становился неуправляемым, имя Вагинова в связи с моим творчеством я услышал уже во второй половине восьмидесятых, также, как и имена Брюсова и Ходасевича. Это было странно, так как я как раз в это время серьезно погружался в поэтические миры Блока.

Активно муссировалось творчество Иосифа Бродского и Карлоса Кастанеды, делались исторические экскурсы в глубины Достоевского и Гоголя. Аллюзиями и ссылками не обижали никого, но тщательно оберегали центральные в игре фигуры от ненужных сравнений. Исподволь давались почетные отводы.

Литературные аналогии, в которых смешивались фигуры символистов, акмеистов, футуристов и обэреутов неизбежно размывали представления о «метамета», к тому же А. Парщиков «прогнулся» перед Д. Приговым, а А. Еременко, становился все более и более «смеховым» и актуальным, приближаясь формально к концептуалистам. Из «тройки» твердость проявил только И. Жданов, оставшись вполне самостоятельным, на своих исходных поэтических позициях. «Метамета» прекратило свое существование. Вечная память и литературно-исторический факт.

Что же заставляет меня говорить и писать об этой группе?

Во-первых, похожесть творческой судьбы непринятых, тех, кто остался за бортом известности. Кто-то по воле судьбы, как Рафаэль Левчин и Лариса Фоменко, продолжили свое творчество в эмиграции, другие, вроде В. Аристова, А. Таврова и меня, фактически стали эмигрантами в собственной стране, отрезанными от широкой среды читателей в резервациях нового культурного произвола, теперь издательско-экономического характера.

Во-вторых, он по-прежнему сияет своей девственной насыщенной чистотой, густым употребление метафор, этот тревожный воздух нашей совместной молодости и дружбы.

Начало распада группы поэтов-трагиков можно датировать первой половиной 1979 года. Для более точной датировки и круга проблем, волновавших нас в то время, привожу здесь полностью письмо А. Парщикова ко мне:

«...В последнее время среди нас произошла мощная межличностная переориентация, которая уже носит здоровый характер. В такие времена по началу уродливо смешиваются поводы и причины, но сейчас все обозримо и без аналитических ухищрений. Кедров и его отважные бессеребренники – футуристы остались «где-то там», где им удобнее хвастаться все большей чистотой своей чести, ежели учесть все большую невозможность печатанья их произведений. Но признание непечатанья ценностью – это только булыжник, который летит в того, кто думает реально, т.е. признает феномен печатного станка. Такой реалист и я и Жданов, и Ерема. Естественно, граница лежит не в этой проблеме, а во многих тебе известных теоретических высказываниях. Итак, они «где-то там», откуда их лай или лучше сказать воздействие, уже не доносится. Ю.Мориц ходит в обманщицах, но так получается (или слава Богу!) что тот иероглиф, который сия финура образует своим существованием, все равно светится странной благодатью и отзывчивой благотворительностью и готовностью помочь юным поэтам вроде Кедрова. Испугавшись, что все крошится и свинга с тянущейся за ней футуристической молодежью исчезает из рамок повиновения, Кедров затеял дурацкую перевербовку и в результате приник к Ереме с предложением произвести «духовный акт» в виде создания альманаха для фантастического издания оного, скажем, в Польше с помощью все той же благотворительной М-ц. Одновременно с этим и с его статьей по поводу образцов советской прозы в «Л.Г.» (читал ли ты?) было заявлено, что никто из нас не достоин его пера и что статьи о нас не будет (действительно, последнее не легко исполнить, т.к. мы все же не авторы «Сибириад»).

Ерема легковерно загорелся альманахом, но при сборе материалов обнаружилось, что Кедров не может дать свои рукописи т.к. у него – положение. Не думаю, что у Еремы сейчас хватит энергии для отмщения (Наташа поступает в Лит.) но при случае, конечно...

...Очень в общих чертах скажу о твоих вещах. В них явно засилие имажинизма именно в том смысле, в котором это течение мне кажется не привившимся. Почему, собственно? Ведь оно имело столь блестящих прозелитов. Мне кажется, что имажинизм есть только школа количественного преимущества метафоры, т.е. тропы (если шире). В этом смысле имажинистами были и Пастернак и Асеев и поздний Мандельштам и, скажем, Лорка в русских переводах. И т.д. Но сплошная метафоричность оставляет однобокое впечатление, т.к. не включает неидеальный мир или мир мнений, что чаще всего и принимается за эмоцию. Несмотря на то, что метафора возможна только при эмоциональном взрыве (восторг), она по всей видимости умеет оставить восторг творца за кадром более, нежели высказывание, которое меньше требует у автора, но содержит более эмоции для читателя. Этот баланс у тебя нарушен. Нарушена сладостное прослеживание перехода от многозначности (пучек, метафора) к однозначности. Но как устроить эту однозначность, если нам в силу ума и иронии невозможно быть довольным риторическими вопросами или повествованием, комментирующими предыдущее? Видишь

ли, нужна какая-то однозначность внутренне тождественная какой-то системе ценностей. Между прочим, символ однозначней, чем метафора в плане условности, договоренности с контекстом, при котором он существует. Метафора же часто сама себе контекст и текст, микромиф из которого мы выбираем для себя общую, чисто пространственную определенность, чтобы назвать ее смыслом и пришить к остальному стихотворному материалу.

Но на каком же символизме мы остановимся? Если на условном философском, теософском или еще черт знает каком в духе серебряного века символе мы решим договориться, мы перережем друг друга, да и в один ли присест это делается? Что же станет однозначностью? Где эта неметафора? У тебя. У меня. Где?

Весьма понравилась твоя шахматная ода. В ней есть рационализм жесткого боя, разжигающего послеполуденный Эрос. Я бы реально не смог сыграть в шахматы с любой женщиной, так как эта процедура потребовала бы от меня насильного овладения противником как таковым. Мечтаю и я что-нибудь написать на эту тему да предлиннющее! Далее – «Она была квантованною тьмою...» Оч. хор. особенно «так ненавидит дерево монгол». Есть правда некоторая напыщенность «звонкоарфность») не всегда переходящая в распоряжение иронии и дебилизма. «Фанфара Меркурия» и др. изящные конструкции мне нравятся, но засилие род. падежа часто утомляет («цапли фонтанов» и «колбы желаний»); для этих сращений как бы нужны были бы еще стихи. Великолепна (целиком) вещь «твоих волос полночный водопад» – и сразу результат метафоры: «пробил в базальте омут». Еще одна твоя заслуга: можно сказать, что верлибр – твой. Я не вижу никакой навязчивости в твоей форме. Хорошо, что ты пришел к естественному дыханию через длинную фразу.

Заметь, она хороша в художественной прозе и в журнализме. Это значит, что твой диапазон расширяется (коллажи напр.!) Считаю, что длинная фраза наиболее перспективна. И в иллюстрацию этому хочу привести твое рассуждение. Когда в поэзии царил принцип «чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд», хороша была экспрессивная фраза, равная построчному информационному шоку. Это хорошо вышло у Пастернака, у которого был летучий глаз, и который заносил на бумагу всю лоскутную действительность. В наше время, столь уставшее от случайностей, каждая случайность кажется дебилизмом. Настолько велика тяга ценности constant. без случайностей, равных для нас абсурдностям. У нас – эпическое разворачивание предмета, блаженная последовательность явления, его ракурсов, когда предмет, как застольная чаша обходит 360° и весь круг представлений, оставляя закадровому свидетелю чистую форму. Важна длительность, выдающая внутреннее бытие предмета, непрерывность, единоприсестность его показа. Это как бы вопреки мельканию монтажных картиночных стихов экпрессионистов, это разворачивание предмета на вечном фоне. Хорошо, если предмет перетаскивается через крайние точки своей биографии, являя нам онтологический аспект. Все эти ощущения доступны для передачи в длинной фразе. Но у тебя в этой уже достигнутой длинной фразе однообразна грамматика. Где перечисления разнородных вещей? Рассогласование падежей и еще черт-знает-что, что может разнообразить фразу. У Минералова, кстати, это неплохо получается (читал его книгу?). Жаль, сам я не грамматик...

Целую. Парщиков.
5.VII.79

Рафаэль Левчин посвятил Александру Еременко такое стихотворение, сохранившееся в моем архиве тех лет:

Смеркалось сухое железо,
и воют ли печи, в крови,
когда вдоль всего побережья
разбросаны ноги твои.

Над ними, над вами, над морем
единого неба плита.
Металл сквозь ресницы не смотрит,
почти не мешает металл.
Потом просыпаются тоже
и видят, что это не так.
Металл не мешает под кожей.
Металл не мешает летать.

Через 20 с лишним лет он отметит в своих воспоминаниях: «Ерёму выберут королём поэтов, ... станут очень популярны старшие концептуалисты, они же соц-артовцы, постоянно играющие на цитировании советских «классиков»... кажется, и по сей день, концептуалисты норовят объявить Ерёменко своим, не понимая, что он от них отличается очень сильно – но концептуалисты вообще многого не понимают. Точнее, не желают понимать».

Совершенно не интересуясь тем, чего не понимают концептуалисты, я все же осмелюсь заметить, что их поползновения, если они, конечно, имеют место, не так уж и беспочвенны. Я думаю, что, собранные все вместе для свободных демократических выборов короля поэзии, они, скорее всего, выбрали бы не Пригова, а Еременко, что, естественно, не превратило бы Еременко в концептуалиста, но, вполне возможно, научило бы некоторых, наиболее мыслящих из объединившихся под знаменем концепта, писать сносные стихи. Дело здесь не в качестве поэзии, а скорее в личности Еременко. Он, разумеется, мечтал о королевской короне, которой, в конце концов, сам себя и увенчал. Однако форма присущего ему анархизма продолжала находиться в прямом и жестком противоречии с его же желанием быть первым. Как бы то ни было, он действовал во благо своей Музы, и здесь не о чем сожалеть.

Некоторые имена совершенно и напрасно исчезли из литературного обихода. А. Еременко однажды сочинил такую эпиграмму: «*Проскуряков и Бортунов не любят праздных болтунов*».

В том году я посещал литобъединение при Саратовском отделении Союза писателей. Похоже, что эти посещения оказали на меня положительное влияние. Народ там был для меня загадочный. Читали в основном стихи. Безграмотные и невероятно скучные. После обсуждали под руководством партийного поэта Владимира Бойко. Бойко был типичный платоновский персонаж – журналист с внешностью, психологией и личными качествами сельского тракториста. Он заведовал отделом поэзии в областной газете «Коммунист» и горевал о том, что Андрей Вознесенский украл у него из какого-то стихотворения «худенькие ветви». Обсуждения походили на переругивания на коммунальной кухне: каждый хотел оттеснить конкурента от этой самой областной газеты или еще не знаю от чего. Я тогда многое не понимал и люди мне почти все без исключения казались добрыми и

хорошими. В особенности я любил так называемый «народ», к которому, как я тогда еще надеялся, принадлежал, в свою очередь, смахивая на платоновского персонажа.

Размышляя о происходящем в этом скучном литобъединении, я пришел к выводу, что всячески повышать поэтическую грамотность. Я засел за поэтику Брюсова и словарь Квятковского и вскоре начал делать для «литовцев» пространные доклады о том, как надо писать и понимать стихи, чем и вызывал соответствующую гневную реакцию слушателей. В общем, я был какой-то чудесный и не ко двору. Я совсем уже решил бросить туда ходить, в особенности учитывая, что «молодой» куратор (прокуратор) Иван Корнилов намекнул мне, что стихи, которые я предлагаю, могут не понравиться кое-каким инстанциям, но тут на одном из заседаний появился парень, еще более странный, чем я, но которого, в отличие от меня, публика полюбила. Вероятно, потому, что на вопрос об образовании он ответил «вечерка», и в трезвом виде его никто никогда не встречал.

Это оказался занесенный к нам из Вятки, Николай Бортунов – один из новейших на тот момент кандидатов в сергеиесенины. Он был русский в доску, и, учитывая мой комплекс неполноценности перед простым народом, а также полу-еврейское происхождение, я вслед за остальными мгновенно его полюбил и даже взял над ним шефство по части оказания помощи в борьбе с зеленым змием. Бывало, по часу препираемся перед рестораном: «зайти или не зайти». Я был тверд. Под конец он сдавался, но, возможно, по этой причине, окончательно бросив пить, невзлюбил евреев. Причем до такой анекдотической степени, что, став православным священником, он чуть не лишился сана за несправедливые поношения евреев с амвона.

Но в те далекие времена Николай Бортунов был еще атеистом и писал вот такие стихи:

На ладошках с детства Эм,
Все живу, не умираю,
Водку пью, селедку ем,
Смехом смерти умиляюсь.
По городу хожу,
Заглядываю в лица,
С косой не нахожу,
В обличье чьем девица?
Повенчанный при родах с ней
Я – атеист, уверую в природу,
Как в морфий морфинист.
И знаю, что умру,
Как раньше до меня,
Не от того ль понур
Я на исходе дня.

При этом он весьма непоследовательно утверждал, что любит Пастернака, и в будущем будет писать примерно, как он. Его стихи так и остались неопубликованными. Он был человек одаренный от природы, не умевший, как я выяснил позже, когда он поступил в Саратовский университет на филологический факультет, ставить переносы. Стихи писал запойно и два или три раза уничтожал свое творчество, после чего долгими годами не брал в руки перо. Диплом защищал, несмотря на свою уже вполне оформившуюся юдофобию, по Мандельштаму, одновременно почитывая Библию, отчего и получилось у него, что Мандельштам чуть ли не православный поэт.

Похоже, это была его последняя попытка примирить собственный талант с идеологией, обещавшей, так или иначе, устроить бытовую сторону жизнь. Бедный, бездомный Коля Бортунов!

С ним произошла следующая история, которую я знаю с его собственных слов. В Литинституте был уже упоминавшийся творческий конкурс, на котором аспирантка профессора А.А. Михайлова по фамилии, кажется, Седых отбирала в виде эксперимента абитуриентов, которые ей казались похожими на Заболоцкого и Ахматову.

Именно в этот призыв попали Бортунов и Еременко. В их происхождении и характере было много общего. Один из них из вятского поселка, другой из поселка в окрестностях Барнаула, бесшабашные, злые и голодные мальчики новой формации, но смелые, наблюдательные, талантливые.

Чтобы представить себе культурно-исторический фон, приведу один почти невероятный рассказ Бортунова о его поездке на родину в Вахруши. Это, конечно, уступает описаниям людоедства в вятских деревнях в 19 веке, которые можно обнаружить в рассказах Решетникова, но традиционно обладает, пусть уже более мягкой, экспрессией.

«Пили все время в конюшне», – рассказывает Бортунов. Я спросил: «Почему в конюшне». «А ребятам там делать нечего, у них от пьянки крыша едет, они там с кобылицами е...я». Меня это страшно удивило и заинтересовало, и я спросил: «Как это они е...я?» «Ну, очень просто, приставляют кобыле сзади специальные подмости, залазят на них и е...я». Когда я эту историю много лет спустя рассказал Лёле Деревянко, Лёля, в качестве крупного специалиста по этому вопросу, заметила: «Неправильно они в Вахрушах с лошадьми е...я, гусары е...и лошадь в ноздрю». Но я тогда еще этого не знал и ничего путного будущему отцу Николаю по этому поводу возразить не мог. «А ты как, тоже попробовал?» «Ты что? – возмутился Бортунов. – Я же Наденьку люблю».

Полюби меня за несуразность,
погребла меня под тишиной,
сизым шлейфом забвения праздность,
отнеслась, отгудя, стороной.
Что-то горько сегодня, горько,
в старой аннушке-стрекозе
растворилась ты над пригорком
в разорвавшейся бирюзе.
Эх, не так бы нам было надо
на двоих разделить печаль,
пиджачок мой пустынный, Надя,
покатился, как был, с плеча.
Полыхнула шелковым пламенем,
самолетик тебя вдохнул,
все закаты вдруг стали алыми,
отлетая в сиреневый гул.

Стихи Бортунова были симптоматичны для трагедийных поэтов, может быть, даже очень симптоматичны. В нем погиб поэт русского простого народа, такого, каким он стал во второй половине 20 века, с искренним чистым голосом. Я сожалею, что он оставил этот путь.

Помню еще одно его стихотворение:

В тебе погиб капитан,
снова с утра ты пьян,
ведешь свой корабль
сквозь дым, как туман
через рифы хроменьких стоек.
Видится этот блатной балаган,
как пьяный, ревущий, смурной океан
и ты в середине один мореман
и база твоя в Ростове...
Шаткой походкой на берег сойдешь
по ступеням обшарпанным чайной,
твой берег последний поймешь,
мыслью схватясь отчаянной.

Бортунов прошел творческий конкурс в Литинституте и начал сдавать вступительные экзамены, что тогда было сущей формальностью. Однако русский, кажется, он сдал на тройку и попадал только на заочное отделение. Он готовился к пересдаче, активно общаясь с Еременко и восторгаясь его стихами (чего не происходило, естественно, со стороны Еременко по отношению к Бортунову). Но в это самое время, прямо перед пересдачей, он повстречал в Москве компанию знакомых художников, которые только что окончили халтуру и получили деньги.

Они на радостях от успехов Бортунова устроили небольшой фестиваль в ресторанах Москвы, и Бортунов проснулся в поезде, уносящем его в город Саратов, где он служил в Госбанке по ремонту множительной техники. Голова болит, на столе поллитра, в кармане три рубля на такси. Плакал Литинститут и все светлое поэтическое будущее.

В Саратове на вокзале ни один таксист не хотел его такого везти на работу, и он, прямо у подножья памятника Феликсу Дзержинскому, в то время указующему путь от вокзала к Волге (а после, кажется, повернули к железной дороге), нанял извозчика, развозившего что-то в окрестные магазины. Сел на телегу в позе лотоса, рубаха до пупа расхристанная, волосы дыбом, и, тихо так напевая себе под нос какую-то русскую народную мантру, понесся бешеным аллюром прямо в банк на службу.

В этот ранний утренний час директор банка мирно беседовал с главбухом на тему ремонта счетных машин, которые у банка то и дело ломались. Директор банка подошел к окну и увидел, как к парадному крыльцу подкатывает уже упомянутая телега с Бортуновым. «Смотрите, смотрите, кто это? Что это?», – директор просто-таки забился в восторге от увиденного. «А это, товарищ директор, наш мастер по ремонту счетных машин», – с мрачной иронией предателя заметил главбух. «Уволить, немедленно уволить!» – возопил директор, и Бортунов, лишившийся уже Литинститута, вдобавок лишился и работы, и одновременно жилья в общежитии.

Вскоре мы встретились на литобъединении в Саратове и вскоре отправились в Москву, но не к Еременко, а на 5-ое, что ли, совещание молодых писателей СССР, куда нас, естественно, никто не приглашал.

Среди участников тусовки (которых, как я подозреваю, было гораздо больше, чем обычно принято считать, в окружении Парщикова могу, например, назвать для примера Трофименко), Парщиковым и Свибловой (в то время женой Алексея) активно насаждалась мысль о том, что они принадлежат к некоей элитарной литературной «группе». Каждый из «посвященных» понимал группу и свою принадлежность к ней по-своему, что позволяло легко манипулировать участниками, распределяя роли, знакомства и т.п. На

кого-то в чьих-то глазах бросалась тень, кто-то, наоборот, выдвигался на передний план. Практикуемая манера интриганства была точной копией такой же в среде советских чиновников и не могла не иметь относительного успеха. Правда, чиновникам после их подвигов не надо было отчитываться перед Музами, спрос которых покруче, чем спрос их застенчивой совести. Музы приговаривают виновных раз и навсегда и без права помилования лишают дарования.

Такое положение в творчестве было спровоцировано, сейчас вы удивитесь, Владимиром Ильичем Лениным, точнее, некоторыми свойствами его характера. Всем известно, что В.И. Ленин был еще круче муз в отношении своих противников или просто несогласных с ним товарищей. Историк-медиавист, профессор Екатерина Кушева, ученица профессора Любомирова, в конце 20-х подвергшаяся репрессиям в связи с процессом историков, инициированным Меерсоном (её воспоминания я записывал в начале 80-х годов), рассказала следующую историю:

«В.И. Ленин был очень дружен с Ермолаевым, в среде революционеров известным лидером по прозвищу Роман. Семейство земских деятелей Ермолаевых в то время занималось благотворительностью в области культуры и творчества, в Петербурге был салон В.М. Ермолаевой, сестры Романа, замечательной художницы. Посетители этого салона прославились, как известнейшие художники и поэты, адепты нового европейского искусства в России, имена, которых в силу их всенародной известности не стоит даже перечислять. Ленин также был частым посетителем салона Ермолаевых и лично знал многих, впоследствии преследуемых большевиками, деятелей культуры и искусства. Когда у него по каким-то идейным или тактическим партийным вопросам произошел разрыв с Романом, он перенес свойственную ему нетерпимость к оппонентам на весь круг салона Ермолаевых и даже на все, что, хотя бы отдаленно, этот круг напоминало.

В 17-м году, как многие честные люди, подобно Н.Н. Морозову, Роман отошел от революционной деятельности и, от греха подальше, уехал в Витебск, куда вскоре перебралась и Вера Михайловна, и большая часть кружка Ермолаевых. Были там и Шагал и Малевич, и другие. Романа в 18-ом году, тем не менее, отравили, а Вера Михайловна, несмотря на то, что она была инвалидом, прикованным к инвалидному креслу, подверглась аресту и была направлена в АЛЖИР (актюбинский лагерь жен изменников родины), где она стала центром группы, получила еще один срок, в общей сложности около 30 лет и вскоре погибла».

История советской литературы и искусства в остальном хорошо известна. Длительное, ни на чем не основанное вытеснение новых передовых течений из литературной и художественной среды привело после перестройки к неожиданному результату. По известной психологической закономерности, новое, теперь уже не преследуемое руководством, полностью оторвалось от традиции, и культурная жизнь впала в другую крайность, которую не разрешить никакими административными мерами.

Это нездорово и ненормально, что деятели литературы и искусства приравнены к рыночным торговцам и вынуждены вести грызню за место под солнцем, а часто и просто за кусок хлеба. Неужели необходимо пожертвовать еще тремя-четырмя поколениями, чтобы усвоить простые незамысловатые истины, известные всему цивилизованному человечеству? Можно подумать, что фашизм и советизм были нужны только для того, чтобы самым быстрым способом перевести внутренние формы творчества в область нелинейных фракталов. Может быть, можно было обойтись и без таких жертв?

Группа «метамета», чтобы занять достойное общественное положение, по необходимости должна была выделиться из никем не ангажированной тусовки трагических

поэтов. Она была вынуждена практиковать те же технологии «карьерного роста», что и администраторы советской культуры, суть те же партийные работники. К сожалению, это не совместимо с ростом и развитием дарования. В дальнейшем они наравне с другими участниками процесса, не предпринимавшими усилий пробиться, оказались в творческих резервациях, умело созданных ловкачами от творчества, превративших эту область жизни в заурядное средство наживы.

Попытки осмыслить сложившуюся ситуацию не прекращаются по сей день... Парщиков в Германии пишет объемные мемуары, Рафаэль Левчин в США также готовит к публикации свой вариант событий, теперь уже принадлежащих истории. Но первые попытки анализа были сделаны финским поэтом, переводчиком Иосифа Бродского, Юккой Малиненом и московским литературным критиком, проживающем теперь в США, Михаилом Эпштейном. Юкка Малинен в №3 за 1987 год в журнале «Kulttuurrivihkot» (Хельсинки), опубликовал статьи о трагических социалистах (разумеется, этого термина тогда еще не было), в лице которых он обосновал оппозицию концептуалистов, в лице Н. Некрасова, И. Пивоварова, Дм. Пригова, Л. Рубинштейна, и трагических социалистов, назвав Ю. Арабова, В. Аристова, М. Бараша, С. Бобкова, Е. Бунимовича, С. Гандлевского, А. Еременко, И. Жданова, К. Кедрова, В. Коркию, М. Кудимову, И. Кутика, Р. Левчина, А. Парщикова, Ю. Проскурякова, А. Чернова, Т. Щербину.

Михаил Эпштейн в книге «Парадоксы новизны» (Москва, 1988), в статье о новых течениях в поэзии 80-х годов, в поисках осмысления происходящего в литературе весьма прозорливо замечает: «*Ни слова не сказано об экологической революции или экологической катастрофе, но они, как безмолвная и часто неосознаваемая посылка, входят в строй современного поэтического мышления, образуя основу многих метафорических рядов*». Это сказано о стихотворении А. Парщикова, но, как одна из характерных черт трагических поэтов применима ко всем его авторам. Некоторые строки авторов триумвирата «метатета» вполне можно рассматривать, как своеобразный манифест. Вот, например, у Жданова:

А там за окном, комнатенка худая,
И маковым громом на тронном полу
Играет младенец, и бездна седая
Сухими кустами томится в углу.

Любопытно, что, квалифицируя «самосознание культуры», Михаил Эпштейн фактически, в первом приближении, пытается очертить границы трагического социализма. «*В результате*, – пишет Михаил Эпштейн, – *как в эпоху классицизма, поэзия у нас расслоилась на три «штиля», причем только один из них, «средний», пользовался статусом официально признанного и публичного. Два других, «низкий» и «высокий», были вытеснены в среду неформального общения, где приобрели популярность среди одной и той же, в основном молодежной, аудитории, ориентированной на альтернативные способы художественного мышления*». Все дефиниции Эпштейна, примененные при классификации авторов «высокого штиля»: самосознание культуры, метареализм («*отталкивается от чудовищной бессмыслицы, от пьяной хмари и марева, затянувшего исторический горизонт, и потому каждым образом зовет к пробуждению, к выходу из гипнотического опьянения одною, «этой» реальностью, к многомерному восприятию мира*»), метаболы, – являются описаниями свойств трагических авторов, имплантированные в область поэтики.

Эпштейн по сравнению с Юккой Малиненем значительно расширил список персоналий трагических авторов. Трагическое предощущение будущего объединяло этих авторов, концентрировало их творческие усилия, что и увенчалось выходом в свет книги Ивана Жданова «Портрет», на тот момент в наиболее концентрированном виде выражавшей названную тенденцию.

«Тусовка» с бешеной скоростью конвергировала, образуя некий синкретизм эстетик, и с началом публикаций, первой из который была упомянутая книга Ивана Жданова, стала неизбежно разрушаться, так как каждый из ее членов утрачивал в другом возможно единственного сочувствующего и понимающего собеседника. Каждый был – и по сей день остается! – первым поэтом.

Начались лихорадочные поиски пристанища. Поскольку все оказались «первыми», то одни подчинились алкоголю и наркотикам – абсолютному императиву трущобного социализма и перестройки, другие – легли на дно, растратив бесполезно массу энергии и не достигнув успеха, третьи, как Светлана Кекова, стали искать поддержки во внешних творчеству духовных формациях, четвертые политизировались, примыкая к российским родовым, партийным, комсомольским и другим шайкам-лейкам, пятые из экономических соображений повернулись лицом к народу и стали творить на потребу масс, угождая низменным вкусам инвесторов из выскочек последней революции. Этот опыт был одним из последних проигрышей духовной культуры на территории империи.

На этом фоне стали формироваться новые конфигурации. Сопереживание экзистенций отвергнутых гениев, раздражающий дух реванша – вот что стало знаменем лучших представителей трагического социализма. Отношения строились исключительно на личной дружбе, из прошлого унаследовали острое чувство новизны, если хотите, куража, и филологическую грамотность. Трагические поэты все быстрее осваивали международный творческий опыт, интегрируясь с эмигрантскими родственными группами и журналами.

Начало 80-х, михайловский семинар Литинститута оказался буквально взорванным изнутри появлением на московском литературном горизонте Алексея Парщикова. Так еще никто не писал (цитирую по памяти):

Рокировались косяки,
упали угли на костер,
нерасшифрованных озер
сентиментальные зрачки.
а там, в альбомном повороте,
как зебры юные на льду,
арбитры шайбу на излете
зачерпывают на ходу,
стоит дремучая игра,
членистоногие ребята
снуют и злятся, пеленгатор
воспитан в недрах вратаря.

Зима чудесный кукловод,
мороз по ниточке ползет,
ко дну, где рыбьи плавники
на взводе стынут, как курки.

Временами, однако, было трудно отделаться от параноидального впечатления, что чья-то властная рука искусно дирижирует процесс создания альтернативной литературы в СССР, отметая все, что не вмещается в предопределенные рамки. Возможно, этим объясняется упорное замалчивание выдающегося творческого феномена Рафаэля Левчина

*ПОМИНКИ ПО МЕТАМЕТА**

Эстетика дурная постмодерна
кому угодно искорёжит нервы,
и, рифмою глагольною шурша,
я не заплачу, потому что слёзы
сплошь в том же ареале, что и грёзы...
Не отвращай лица, постой, душа!
Взгляни, взгляни: вон капает из крана –
неужто жизнь? в минуту полстакана –
ну, это я, положим, с потолка!..
вот ложечка вдруг на пол упадает –
должно быть, к гостье... что я, сам не знаю?
и даже не совсем издалека.
Читал Флобера, не читал Толстого...
да я ведь подражаю Кабакову!
а он кому? уж, верно, букварю,
в котором мама мыла харю Кришны.
Кто виноват? Что делать? Снова лишний.
Особенно тебя благодарю...
А это уж была автоцитата.
Живущий по закону самиздата,
я не заметил, как пришла война.
Так если пол покрасить чёрной краской,
потом просыпать соль, что будет – грязь ли
иль только композиция одна?
Здесь слов игра, случайная, конечно.
Но оговорки более успешны,
как доктор Зигмунд некогда учил,
чем все целенаправленные майсы...
Я не пустил своё искусство в массы
и не послал ни в авангард, ни в тыл.

Я что-то делал. С интересом видел,
что получалось. И ко мне на выстрел
ни человек, ни зверь не подходил.
Лишь ангел, белый мой язык не тронув,
меня, как первомайскую корону,
на тонкий шест почёта насадил.
Так сделалась символика судьбою:
мне не видать ни очага, ни боя;
ни девой, ни мужчиной мне не быть.
И будут усмехаться те и эти,
и с отвращеньем всматриваться дети...

Киев, 1991, май

* Отрывок и вступление к поэме.

К счастью для нас, «неудачников», появились независимые издатели. Одной из таких попыток является издание Рафаэлем Левчиным журнала-книги «Reflection... Куадусешщт» (Чикаго, США.

Рафаэль Левчин вспоминает: *«Банда – выражение, которое я впервые услышал от Парщикова в его приезд в Чикаго. О нас. О нашей бывшей группе. Не сразу привык. Похоже, однако, что это не в бровь, а в глаз. Банда». «...мне интересно* (это уже цитата Левчина из речи Парщикова – Ю.П.), *достигнет ли банда такой кульминации и в какой неожиданной форме появятся пресловутые ученики...»*.

Лично я и не подумал бы ни к чему подобному привыкать. Парщиков имел в виду, разумеется, не меня, не Левчина, не Аристова. Он имел в виду себя, Еременко, Кедрова, Жданова. Рассказывать, как группы превращаются в банды, не стоит, ибо это уже не имеет никакого отношения к высокой элитарной культуре, да и к низкой, пожалуй, тоже. Что там школа или направление, даже группа! Хотя группа – организационная группа – это все-таки ближе, это своеобразный приготовительный класс для банды. А стилистическая группа – это противник, с которым надо бороться, как с предполагаемым конкурентом. С организационной же группой всего-навсего следует поделить виртуальную территорию предполагаемых свершений по замусориванию мозгов нашего и так достаточно дезориентированного читателя.

Вот ведь, хотели стать первыми поэтами, а превратились в вульгарных литературных бандитов и не скрывают этого. Такое просто так о себе не говорят.

Еще до К. Кедрова были попытки выкристаллизовать ядро тусовки, и первым историческим названием было «апокалиптики». Я думаю, что К. Кедров бы группу в качестве «апокалиптиков» не приветствовал. Какой апокалипсис в розовых высотах будущего литературного Олимпа.

Администратор культуры бессознательно приравнивает себя к такому допотопному богу. Что тут поделать обыкновенному смертному, отнюдь не герою, к тому же самому мечтающему быть причисленным к сонму божеств, – надо вычеркивать имена несостоявшихся союзников. Как в свое время остроумно заметил Гомер: «В прах с колесницы он пал, возгремели на павшем доспехи». Справедливость и принадлежность к Олимпу, пусть даже и сымитированному, советскому , – понятия аксиоматически несовместимые. Возможно, интуитивное понимание этого пресловутого обстоятельства, побудили когда-то Парщикова написать стихотворение «Аполлон и Марсий». Я понимаю это стихотворение, как гимн новой культуре литературных банд, от которых «пресным плачем», по циничному замечанию Парщикова, плачет весь народ.

Сергей СОЛОВЬЕВ

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И ЗАПИСЬЮ

ТАРАРАХНУЛ ЗАНЗИВЕР

Скажу о том, на что не оглядывался. Но и теперь не собираюсь искать подоплеку и объяснения. Просто скажу о факте. Треть жизни я отдал смеху. Как омуту, с головой. Кульминацией этого смеяльного столпничества был период где-то с четырнадцати до двадцати пяти лет.

В ту пору нас было пятеро неразлучных друзей, смеялись мы до упаду дни напролет – по поводу и без, надо всем на свете, и подо всем, и сбоку, и со всех сторон, до колик, до изнеможения. Это, конечно, не отменяло и других состояний ума и души, но воздухом, которым дышали, был именно смех. Чтобы быть правильно понятым: от нормы веселого и крайне смешливого человека это так же отличалось, как камень от лошади.

Двадцатилетний гомерический марафон. Путешествуя товарняками по бывшему Союзу, наряжаясь фриками, с раскладушками вместо рюкзаков и в комнатных тапках в тридцатиградусный мороз отправляясь в бесконечные походы, и в тех же тапках полуголые, хохоча, взбегая на Эльбрус, угоняя «кукурузник» и рея на нем, изнемогая от хохота, над степями Украины, срывая ночью красные флаги с домов на центральной улице в канун Октября, перешивая их на походные балахоны, собирая веселую милостыню в электричках, бесчинствуя и лицедействуя повсюду, вплоть до священных государственных границ, умирая от смеха в «обезьянниках» и на допросах, но и без всего этого – в пустоте, в темноте, при одной только мысли друг о друге или о себе, или о жизни в целом – мы уже наполнялись смехом.

А началось все, когда меня восьмилетнего перевели в другую школу в связи с переездом родителей. Я вошел в класс и увидел вдали мальчика, окунавшего перо в чернильницу, встретились взглядом и рассмеялись так безудержно, что как нас ни выставляли за дверь – обоих и поочередно – остановиться мы уже не могли. На многие годы. Мы и сейчас, не видясь лет пятнадцать, встретились этим летом в Киеве и не могли толком не то что поговорить, а и разглядеть друг друга – как тогда, с этим пером, тюкнувшим в чернильницу.

Где-то с класса пятого-шестого в школу мы уже не ходили, а наведывались временами между нашими странствиями – ближними и дальними. Помню, как-то вхожу – урок географии, Индию проходят. Старенькая, оплыв-

шая географичка в черепаховых очках, сама как Индия в тумане. Я начинаю: «Индия, о высокочтимый мой Учитель, находится почти на самом краю земного диска и населяют ее золотоносные муравьи...» Ну и так далее – из той пластинки про Хоттабыча и Вольку-ибн-Алешу. Она еще как-то пытается поначалу держаться, но я уже, войдя в раж, несу такую околесицу под улюлюканье класса, что она тихо оседает на стул, бледнеет, приезжает скорая... Нет, все обошлось тогда. Стыдно, конечно, оглядываясь, но уже не вычеркнуть.

Или вот в классе восьмом, кажется, прихожу в школу – садху такой, в патлах, чумазый, одет во что-то несусветное. Директриса меня затаскивает к себе в кабинет, а я медленно так хладнокровно довожу ее до истерики своими репликами, она в ослеплении пытается сорвать с меня одежду: мол, голый будешь ходить у меня! Ну-ну, говорю, помогая ей, посмотрим. А несколько дней спустя я устроил ей пышные похороны – по высшему разряду. Соорудили гроб, положили в него ее муляж – голый, чуть прикрытый, на удивленье удавшийся, вплоть до лица и прически, украсили цветами и понесли вокруг школы – круг за кругом, ясным погожим днем. Самодеятельный оркестр, процессия, рыдания в голос, причитанья навзрыд, распахнутые окна, запруженные школьниками...

А по окончании школы, после моего очередного перформанса на вступительных экзаменах в Художественный институт, когда я вынудил опешившего преподавателя истории СССР поменяться со мной местами, поскольку теперь у меня к нему оказалось пара вопросов, я уехал на два года в Почаевскую Лавру работать художником-реставратором. Жил я там же, в монастыре, и практически делил с монахами весь их быт, что было, конечно, с моей стороны идеологическим предательством по отношению к направившему меня советскому учреждению. Поначалу было чудесно, но и невыносимо, поскольку нас там со смехом было только двое. Вскоре я сошелся с одним дьяконом (по кличке, данной ему самими монахами, – «комсомолец»), и мы с ним, выбираясь через окно барабана на крышу высоченного Успенского собора (я по лестницам, а он, в рясе, по решетке лесов, подтягиваясь с переворотом), гоготали там, распугивая ворон и высматривая в бинокль хорошеньких прихожанок.

Увольняли меня из этой эпохи реставрации не раз. Бригадир-партиец (с фамилией – и это чистая правда – Честнейший) вручал мне докладную записку на меня, которую я должен был передать в Киеве начальнику. Я брал ее и ехал во Львов на неделю – гулять-веселиться. Благо, денег у меня было тогда – хоть самолет покупай, поскольку после дневной работы я тайно расписывал одну хуторскую церквушку, и прихожане были щедры (однажды они выдали мне месячную сумму монетами – пришлось везти эти неподъемные килограммы денег на строительной тачке ночными дорогами, чтобы к рассвету доволочься к монастырю). А на обратном пути из Львова я дописывал на той докладной слегка изменившимся почерком: мол, идеологическая работа с Соловьевым проведена, взыскание наложено, рекомендовано приступить к выполнению обязанностей с такого-то числа. Подпись (начальника). И, вернувшись, продолжал танцевать свое авантюрное счастье на двоих, дожидаясь приезда друзей, когда мы ночью уведем из монастырской конюшни исполинских огненных лошадей и с дурацким хохотом ускачем в счастливые дали...

Так продолжалось где-то до тридцати, потом я переехал в Крым, но и потом, во второй половине жизни это «перо с чернильницей» никуда не делось, просто играло на других полях. И еще лет пять назад я просыпался в слезах от смеха или вдруг падал, левитируя во сне, от него же. Как когда-то в детстве, помню, снился мне в течение нескольких месяцев кряду какой-то сон-сериал, выдуманный, уморительный, продолжаясь на следующую ночь ровно с того места, на котором прерывался, настолько смешной, что я вываливался

из кровати и находил себя наутро в разных углах комнаты, и от этого каторжного смеха за ночь все тело ныло и жаловалось: больше не надо, выключи!

Ну, теперь с этим, слава богу, полегче. Хоть с этим. Не вываливаюсь из кровати.

Где ты, жизнь? Мисюсь, где ты?

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

История такая. Мне 22. Только что в Москве с предисловием Вознесенского опубликован роман в стихах – «На фоне неба и во всю длину». Дело неслыханное по тем временам (81-й год), моя первая публикация. Ежедневно со всей страны я получаю мешки писем. Решаю бросить писать, ухожу в двухлетний разгул, перемежаемый дальними одиночными странствиями (Байкал, пустыня, Заполярье...). В августе с друзьями (наша «великолепная семерка») отправляюсь в Крым, в Понизовку (рядом с Симеизом), наряжаемся в трико для штангистов (у половины из этой семерки – тюремные наколки на теле), угоняем трактор, стаскиваем этим трактором строительный вагончик с горы на дикий пляж, проходим рейдом по окрестностям, выгребаем все подряд из магазинов и санаториев (без денег, разумеется), в том числе пару полок книг из местной библиотеки, обустраиваемся, весело живем. В один из дней вижу на пирсе ее, она прыгает и летит – так невозможно долго, что тело и ноги ее скрываются под водой лишь с последними лучами солнца. Знакомимся. Она белошвейка из Ясной поляны (под Мисхором), зовут N., ей 19. Пару дней спустя мы с друзьями идем на танцы, где я должен увидеть ее, идем в приличном хмелю. Там сталкиваемся с молодцами из харьковского танкового училища, они приезжают ежегодно – поразмяться в рукопашной. Их около полусотни. Кто-то из них уже волочит за руку N. Вступаем в бой. Дальше я помню только следующий день: сидим у моря, пьем чачу, у меня три перелома челюсти, рот зашит, зубы стянуты проволокой, цежу сквозь нее чачу. Чувство к N росло и терзало, это было впервые так остро, хотелось обнять ее, сказать, как люблю ее, впервые сказать эти слова, и – я был лишен речи. Не говоря уж об одутловатом лице, боли и запахе изо рта. Поэт, трубадур – с зашитым ртом. И как раз в тот час, который бывает единственным в жизни. Плыл в горизонт и выл туда о любви. Друзья разъехалась, я остался, пришла осень, перебрался в полуразрушенный дворец Водарского (над Ялтой), там еще бомжевала милая пара: он, сбежавший из тюрьмы, и она – юная декабристка, с ними еще была такса и полутораметровый варан, который эту таксу то и дело игриво заглатывал и сблевывал – в детской песочнице. А я спускался к морю, брал по пути в библиотеке очередной том Достоевского, пару яиц (чтоб взболтать их в стакане и цедить) и считал дни, когда снимут эти зубные вериги. Месяц спустя их сняли, я приоделся и поехал в Симферополь, где она училась... Снимки оттуда, последние два – полгода спустя, расставание. Ясно, что это осталось со мной навсегда, и в Гурзуфе у меня на стене до сих пор висит ее портрет, нарисованный. И под сердцем я ношу крест, прорезанный кухонным ножом и залитый тушью в Симферополе. Удивительно другое. Я знал, что она вскоре вышла замуж за какого-то геолога, что у нее трое детей, что она живет в придорожном поселке Чистенькое (!), под Симферополем, в частном доме с водой на улице, что, наверное, руки ее от бесконечных зимних постирушек стали похожи на варежки, что прошли годы, а потом и много лет, что ее – той N – уже давно нет, что теперь это какая-то раздобревшая и обветшавшая тетка с геологической фамилией, и все же, время от времени, оказываясь в Крыму, я пытался найти ее и однажды, спустя двадцать лет, я дозвонился в соседний с

ней дом (у нее телефона не было) и ждал, пока ее позовут, пока она придет (придет ли?), так долго – как тогда, когда она летела с пирса, пока не зашло солнце. И вдруг услышал ее голос – родной, девятнадцатилетний, будто и не было этих лет и жизнь не прошла. И как тогда, но уже по-другому – слова сказать не мог. Но договорились, что она приедет – по дороге к родственникам в Ясную Поляну, я ее буду ждать на трассе. Не мог уснуть накануне, воображая варианты возможного и не. И, обессилев, сморился под утро в кресле. Звонок – в дверь. Она – на пороге – совсем не изменившаяся, та же девочка, с той же милой, чуть заторможенной, как из дальней дали улыбкой. И весь день потом мы ходили с ней, взявшись за руки, как дети, и я совершенно не помню ничего из этого дня, кроме ее ладони в моей руке, волшебного света и тихого счастья. А потом мы зашли в какое-то кафе, и она, чуть виновато взглянув на меня, спросила: можно ли взять ей этот остаток пиццы домой – для детей? А потом я все искал тот телефон соседнего домика, но его нигде не было.

ВЗЯТИЕ АЗОВА

К концу 70-х нам с моим другом Валиком Добровольским было около двадцати. К этому времени мы вместе и порознь уже исколесили на товарняках пространство от Карпат до Байкала, сходили в несколько сотен походов, сбегали в комнатных тапках на Эльбрус, налетались «зайцами» на самолетах, затерялись в пустыне и Заполярье... Но не хватало чего-то этакого – «цветка в петлицу». И вот купил я в киевском универмаге резиновую лодку – из тех, на которых сидят в камышах, высота борта над водой – 15 см, стоила она 120 рублей. И решили мы переплыть на ней океан.

Главной неразрешимой задачей был для нас не железный занавес, а железная мачта: как ее изготовить и установить на надувной лодке? Друг мой работал на заводе и был тем еще кулибиным, а я работал реставратором настенной живописи в монастырях Украины и был тем еще... тут трудно сказать.

В общем, мачта была изобретена и установлена. Дальше мы пошли в магазин «Тканыны» и долго выбирали подкладочный материал для штанов, пиджаков... ну то есть для паруса, и остановились на ярко-желтом, чтобы в пути радовал. И еще купили метров десять квадратных клеенчатой скатерти, со сдержанно веселым узором – это чтобы сшить чехол для лодки, который бы стягивался под ней, как корсет, а мы бы сидели сухие в воде, во всяком случае, по грудь. Прострочили все это на «зингере» у меня на кухне, потом на каком-то военном складе достали тяжелые прорезиненные костюмы ОЗК, распилили байдарочное весло на два и дорастили трубками от пылесоса, надули лодку посреди комнаты, поставили мачту и начали осваиваться, а на ночь ложились в нее спать.

Чесать языком мы с ним могли не смолкая сутками, но в то же время могли и сутками не замечать друг друга, то есть буквально, находясь в одной квартире, понятия не иметь о взаимном присутствии. Похоже, совместимость у нас была идеальная. Ждали лета. А пока доводили дизайн и пудами начитывали все, что находили по морскому делу. После испытаний на Киевском водохранилище, где нас под утро на фарватере чуть не раздавила какая-та баржа, мы отправились на Черное море.

Подняли парусок в Коктебеле, и нас шустро понесло в открытое. Разморенные от жары и переезда, мы задремали. Очнулись, когда в нескольких милях от нейтральных вод нас настиг пограничный катер. Выловили, привезли в часть. Допрос и досмотр явно свидетельствовал о незаурядном для пограничных будней улове. Тем более что мы не только не отпирались от плана перехода границы, но и, войдя во вкус, всячески подыгрывали этой версии.

Ни документов, ни денег у нас не было. (А зачем? Мы давно уже научились обходиться в походах без них.) Атлас автомобильный дорог СССР (правда, с захватом прилегающих заграничных территорий), военный бинокль, морской компас, не помню сейчас, что там было еще в наших рюкзаках, что так воодушевляло этих погранцов в их догадках. На корме лодки было написано «Папа», а ниже: «сиротский приют № 9». Да, – кивали мы, склонив головы, – Стамбул, Дарданеллы, Гибралтар, Атлантика... Наконец нас вышвырнули, но – с двумя конвойными, которые должны были проследить, чтобы мы сели на автобус и уматывали восвояси. Сели. И, выйдя на первом же повороте, пробрались на Карадаг, по пути прихватив овцу из стада на выпасе, и спустились в любимую нашу Разбойничью бухту. Там мы пробыли месяц, лодка демонстрировала чудеса стойкости. Вернулись, предъявив липовые больничные. И в августе выехали в Бердянск.

Да, не океан, – Азов. А жаль. Потому что океан переплыть не сложней, – всего лишь вопрос времени. А в этом стиральном корыте даже при небольшом шторме волны идут вразброд и едва ли не со всех сторон, не говоря об отмелях и «банках», и волна резкая, как забор. Океан в этом смысле – санаторное плаванье. Так мы думали, еще не представляя, какой «подарок» нас ожидает.

Вышли в ночь. Накачали лодку, надели ОЗК, подхватили на руки нашего «Папу» и ухнули в пену. Был приличный прибрежный накат, лодку тут же всю залило. Отгребли, поставили парус. Ветер усилился, береговые огни исчезли. Темень, звезды, полулежим валетом, только «бюсты» в капюшонах торчат из лодки. Молчим. А о чем, собственно? Подремываем. Светает. Вдруг вижу: из предутреннего тумана растет нос сухогруза – громадный, до неба, и прямо над нами уже. Схватились за весла, а он уже стеной скользит мимо нас, и сверху, где-то там, чуть левее звезды, человек: «Помощь нужна?» И вниз в бинокль смотрит на нас с палубы. На нас – в бинокль! Хватаю наш бинокль и смотрю на него, запрокинув голову: «А вам?» И разошлись – как в море корабли.

Наступивший день был чудесен, расчехлили лодку, разделись, купались, сделали несколько снимков, отплыв на надувном матраце (том узеньком, советском, от которого наша лодка не сильно отличалась), перекусили (а взяли мы с собой килограмм сала и пятилитровую канистру воды, больше ничего, т.е. ничего лишнего). Собственно, эти несколько снимков были первыми и последними.

К середине дня небо начало затягивать, пошла волна. К вечеру уже все вокруг полыхало зарницами. Гребни наворачивались и рушились в лодку со всех сторон. Мачту с парусом, как игрушку, вырвало ветром и, подкинув в небо, отшвырнуло в сторону. Все последующие трое суток мы лишь успевали ловить воздух ртом и уходили вместе с лодкой под воду, и снова всплывали – успеть вдохнуть... Это только потом мы узнали, что под Евпаторией прошел какой-то дикий смерч – из тех, какие случаются раз в десятки лет, и, вильнув через перешеек, опрокинулся в Азов этой ураганной круговертью. Нас несло в западную, не судоходную часть моря, чудом пронося мимо «банок», где схлесты волн взвивались метров на десять ввысь – пеной, моросью. И под и над нами все шло ходуном.

А тем временем моему отцу в гостиничном номере Феодосии, куда он поехал в командировку, снится сон: мое хохочущее лицо, через которое с грохотом перекатываются волны. Проснувшись, он бежит в районную газету «Победа», по дороге коря себя за то, что поверил мне – мол, плаванье наше будет детским, вдоль берега. Газета связывается с Бердянском, Керчью, там поднимают на ноги всю округу: рыбаки, пограничники... Вертолеты начинают прочесывать акваторию. Безуспешно. (К этому времени нас отнесло далеко уже в западную часть моря, где почему-то нас не искали.) Единственным обнаруженным свидетельством оказалась запись в судовом журнале сухогруза «Днепр».

Зарницы все еще полосовали горизонт. Весь день в этом зловещем сумраке мы плыли на нашей качеле-лодочке – то под, то над водой. Перекидываясь веселыми репликами, когда замечали друг друга. К вечеру шторм стал понемногу стихать. Кажется, мы даже поужинали и запили глотком воды, хотя пить уже не моглось – куда? – как вода воду хлебала бы. Кожа наша, после того как мы здорово обгорели в первый день, а потом сутки проморили ее под водой, напоминала уже лохмотья. Всю ночь под лодкой пыхтел и терся о днище, подталкивая ее, дельфин.

Наутро, открыв глаза, я не увидел ни моря, ни друга, ни лодки. На голову был надет какой-то рябой мешок. Попробовал шевельнуться. Мешок нехотя подобрал крыло, покрывшее мое лицо, и взлетел. К тому времени мы, похоже, подавали уже небольшие признаки жизни.

Прислушался: откуда-то рядом доносилось тихое шипение, легонький свист. Там, где крепилась мачта, из крохотной дырочки сочился воздух. Которого и так в лодке было с гулькин нос (может, потому нас и не опрокидывало во время шторма, что она тогда уже была почти как тряпка, полоскавшаяся в воде). И вот теперь она испускала последний дух. Времени, я прикинул, у нас оставалось около получаса.

Это были веселые полчаса. Просто захлебывались от смеха: вспомнили тот совет Алена Бомбара в его книге, ставшей для нас настольной, «За бортом по своей воле», где он говорит, что единственный способ в подобных условиях заклеить дырку – сперма. Но достать теперь то, что когда-то было известно чем, то есть просто найти это жалкое и униженное, где-то там, в трюме комбинезона, не говоря уже восстать с ним – задача из страшных волшебных сказок. Ждали, поглаживая лодку, поглядывая по сторонам, поддразнивая этот свист. Думали ли, что это конец? Да, но как-то дружелюбно, без надрыва. Да и, видно, слишком изнурены были для подобных эмоций. И слишком молоды.

Ни через полчаса, ни через час лодка не затонула, что-то там произошло между воздухом и водой: после некоторых препирательств они как-то помирились мизинцами. Правда, над водой теперь возвышались только наши погрудные изображения. И в какой части моря и как далеко от берега мы находились, у нас уже не было никакого представления. Нас тихо куда-то несло, подгоняя волной.

И вдруг мы его увидели – берег, совсем призрачный. Это, как оказалось, была Арабатская стрелка, ее южная сторона. То есть, выходит, мы все же его переплыли. А когда подошли к берегу, уже почти к линии буйков какого-то санатория, до нас донесся голос, оравший в рупор: «Эй там, на матрасе, кому говорю, не заплывать за буйки!». Вышли, легли в песок. Домой возвращались товарняками. А потом созвали друзей, приготовили гуся с яблоками, украсили стол портвейном, ждали, надеясь поведать свою одиссею. Напрасно. Гости наяривали гуся, запивая стаканами. Героем стал гусь.

НОЛЬДИСТАНЦИЯ. ИГРА В ДЫМ

Я в растерянности. В двух словах не скажешь, об этом надо бы книгу писать. Но я мало что помню (как-то всю жизнь с азартом в будущее вглядывался, ближайшее, а прошлое гуляло само по себе, без поводка). Островки, вспышки. Странно, ведь это было, наверное, одной из самых чудесных творческих авантюр в моей жизни. И, надеюсь, не только в моей. А никаких следов. И изображений почти не осталось. Эти несколько, которые нашел, – не дают никакого представления ни об атмосфере (переполненных залов, когда публика висела на окнах, теснила нас со сцены, ни о самом

«театре» – действо состояло из нескольких «спектаклей», идущих одновременно (на сцене, в зале, над залом, за его пределами...) и составлявших единый спектакль, который постоянно находился в стремительных изменениях, опережая не только возможность адекватного считывания, но и свои очертанья, перерисовывая их на ходу. Назывался он «Игра в дым», а театр (точнее, движение, в которое за пару месяцев влилась уйма людей...) – «Нольдистанция». Было это в Киеве, в 1986-м, возникло спонтанно – после одного из моих поэтических перформансов, объединились и двинулись. В качестве текста мы взяли мою поэму – задиристо ироничную – «Игра в дым». Вскоре город залихорадило нашими постановками, началась истерия в газетах, угрожали Сибирью, вились гэбэшники, перекрывали пути, но мы все это как-то весело смахивали и продолжали «брать» город. Черт его знает, почему год спустя мы остановились. Может, на слишком больших оборотах начали и надо было переходить на более спокойный режим. Ведь в основном публика шла на нас как на скандал, на шумный прорыв в махровом застое тогдашней жизни, и упускалось все то, что хотелось донести – поиски новой эстетики, сложный образный ряд, какие-то тонкости и пр. Но перейти на этот спокойный режим тогда, наверное, было непросто – в том полулегальном положении и при тех наших амбициях и кураже. А произойди это, думаю, возник бы совершенно новый театр. Во всяком случае все, что я за эти 25 лет после «Нольдистанции» видел у нас и Западе, оставляет за тем началом большие преимущества, похоже, никем не наверстанные. Жаль, что эти несколько уцелевших снимков (а видео ушло куда-то на Запад, безвозвратно) показывают лишь детали и частности – случайные и малохарактерные (вначале несколько снимков со спектаклей, потом – спонтанная импровизация на выставке в Октябрьском дворце, и в конце – уличные, на Андреевском спуске. А спектаклей (не считая уличных перформансов) было четыре: в Доме учителя, в Театре киноактера, в университете и Клубе железнодорожников.

КОВЧЕГ

Речь пойдет о «Ковчеге» – лит.-худ. изделии, которое я придумал и выпускал в середине 90-х в Киеве. Но, похоже, я несколько тороплюсь с этим постом. Поскольку внятно ни показать, ни рассказать об этом не могу. По нескольким причинам. Во-первых, это само по себе непросто. Во-вторых, мой сканер А-4 формата, а «Ковчег» – вдвое больше, а если смотреть страничными разворотами (а только так и нужно, поскольку это у него минимальная единица восприятия (и графического, и семантического), как такт в музыке, то я здесь могу показать лишь бессвязные четвертушки страниц, скорей похожие на запчасти. Ну да бог с ним. Может, Варел, который был ошую этого дела, подсобит, скажет что-то более внятное. А пока – небольшая зарисовка, когда-то написанная о «Ковчеге».

Да, вот еще. Первый тираж этого «прекрасного безумия» (которое поначалу еще называлось «негазета») был 1 млн. экз. По штуке в каждый почтовый ящик города. Кроме того, мы хотели еще нанять кукурузник и посыпать город остатком. Потом, перейдя на «изделие», мы стали более сдержаны, – его можно было выписать по подписке «Союзпечати». Мы – это я. И спонсор. Потом подключился – Саша Чернов, потом Варел Лозовой и Дзын. Выходил Ковчег с 1994 по 97-й. В каждом номере 16 страниц А3 формата. В альбоме – фрагменты страниц лишь из нескольких выпусков Ковчега (полного комплекта нет и у меня, – библ. редкость).

Киев, середина 90-х, ночь. Институт археологии, актовый зал, в дальнем углу – верещагинская горка черепов с цифрами на лбах и метками на затылках. В другом углу – вязанки костей. Между ними – допотопный ксерокс, из-под крышки которого торчит веник. У стены – длинный «президиумный» стол с бурлящими колбами, книгами, порошками, суспензиями и пр. алхимической ересью. Пол застелен бумагой А-3 формата с наклеенными поверх, встык и внахлест фрагментами текста и графики. Между указательным и большим пальцем он держит букву. Или не букву – какой-то смысловой завиток. Вглядывается в лежащий на полу разворот страниц, там два с половиной тысячелетия, девять языков, 12 государств, 29 авторов. У каждого – своя среда. Семь каллиграфов работают над образами отобранных текстов. В углу стоят рулоны каллиграфии. Около тридцати метров, написанных от руки. Это было б страниц десять на компьютере, от которого он отказался, используя его лишь для подсобных работ, нетворческих. Внутреннее развитие некоторых текстов требует смены характера записи, а порой и материала. Тушь, сухая игла, утюг через копирку, сапожный клей по факс-бумаге, растворы, затирки, вода, огонь, термические хитрости. Но перед тем – работа с бумагой, то есть миром, куда войдут, обживая его, персонажи. Потому что страница – не подстилка для текста. Значит, прежде нужно создать, найти свойственный именно этому тексту ландшафт, климат, визуальную акустику восприятия. Например, к этому выпуску собран архив узлов и разрывов, отпечатков волос, веревочных лабиринтов, линий ладоней, радужных оболочек, клейких путей улиток, нитяных мотлохов, увеличенной на ксероксе жизни ткани. Речь о дискретности, о белом письме, о слепых пятнах текста, о синкопах синтаксиса, о семантических задержках дыхания, о пранаяме слова, о нитевидном времени, этимологически восходящем к веретену. 29 авторов, из разных времен и углов света, будут неявно, исподволь говорить об этом, и тексты их будут перетекать друг в друга, не смешиваясь, но и не отгораживаясь от симультанных отсветов. Незримые голосники, вмурованные в бумагу, суггестивные переходы смыслов – от влажных к сухим, от света к тени, от дворика к дворику, как в каирских кварталах. Чье-то белье на веревке, граффити на камне, голоса с улицы... Тексты, графемы – и крупные и крохотные, величиной с детский ноготь, наклеиваются на страницу, которая тем временем превращается в многоярусный палимпсест. Наконец он вклеивает и эту, последнюю, буквицу-небылицу, похоже, там, где ее никто и не увидит. Но без этого, почти недоступного зрению, визуального обертона, как мнится ему, не придут в движенье все елки на свете, все золотые шары... А в жизни разве иначе? Линейно, последовательно? Это потом Ламарк приходит, лесенкой обувь выстраивает. А вот безвестный Караманов, композитор, с которым Шнитке учился, считая его гением, а себя головой пониже, живет (умер недавно, – С.С.) в симферопольском пародонтозном дворике и пишет симфонии, для исполнения которых необходимы девять больших играющих одновременно оркестров. Кто слышит его музыку – ангелы? Рыбы? И кому нужны эти нотные лестницы Иакова? Нужны, значит. Недешево я беру, сказала ведьма русалочке. Может, пришла пора схимы культуры, нового средневековья? Куда пришла? К кому? Здесь не живут такие, съехали. Снег сыпет в окна. У входной двери – привратник, спит, опустив голову на стол. Все, что осталось от института археологии – бесхозная горка черепов из прошлогоднего раскопа. Тусклый мигающий флуоресцентный свет. В дальнем конце зала, в полутемном углу сидит фигура с неясными чертами лица. Сидит на корточках, молча наблюдая за ним уже не один час. Теперь, когда за окнами уже светает, фигура встает, подходит, протягивает руку. «Сергей», – говорю, пожимая. «Как назовешь», – отвечает. Странное лицо. Между инком и иноком. Чуть женственное? Да, быть может. Но как бы сквозь опиумную дымку. Креол? Перуанец, сошедший с гор? Легкая, пружинистая походка, чуть раскачиваясь, будто нога еще

помнит тропу. Длинные черные волосы, убранные назад, за спину. Быстрые, точные движения, оттого кажутся как бы замедленными. Одежда, шитая, видимо, им самим, сумчатая, лоскутная, как легкий пешеходный домик с флигелями и тайниками. Ждет с улыбкой. Не лицо, а книга перемен. «Дзын», – говорю. – И. Дзын». – «Хорошо, пусть будет Игорь Дзын». Так стало нас двое. А потом, что ли месяц спустя, возник Варел, и мир потек через край, четвертому в нем уже не было места. Пришел он, как и Дзын, ниоткуда, на свет в окне. Длиннополый холщевый хитон, на боку – меч, за спиной – барабан. Китайский монах, воин, сновидец. Один глаз – вперед вперен, другой – чуть закатившийся вверх, к небу. Тот, что к небу, кажется, лет на пять старше. «Да, – говорит, глядя на ковчежные листы, рассыпанные на полу, – похоже на лесбийскую свадьбу вавилонской башни с башней слоновой кости».

Чуть запрокинутая голова и этот легкий посвист на вдохе – будто выуживает из воздуха эти, еще не легшие на язык, слова. Он ходил по утрам на Лукьяновский рынок, бил в барабан, дул во флейту, брал овощами, клал их в ту же котомку, где лежал томик Хлебникова и Сковороды. Возвращался в отгороженную коморку, писал картины а-ля таможенник Руссо. По сравненью с его речевым запасом ящик Пандоры казался паинькой минимализма. Но на волю слов он отдавался не с каждым. Напротив, производил впечатление молчаливого, чуть юродствующего в своей косноязычной замкнутости человека. За отсутствием равного собеседника его кромешные речевые игрища проходили наедине с собой. Его скорость ассоциаций в деле напоминала разгар сабельного боя. При том, что там, в гуще, в мельтешении сабель, его никогда не было. По весне он шел сквозь город по реке, прыгая с льдины на льдину, с самурайским мечом на боку. А потом, в небе, на вершине ржавеющего лыжного трамплина, покрывал возлюбленную подснежниками, приговаривая: «Не все на свете так умопостижимо, не все...».

Дзын рос в Алжире. Вслушивался в рост растений. Долго. Как обычно не происходит у большинства из нас. По слогам читал воздух, свет, воду. Учился каллиграфии внимания, учился чтению – медленному, как минерал. Присматривался к ремеслам. Руки жили чуть впереди, с делом. А тело жило с собой, как брат с сестрой. А голова была к небу развернута, которое не всегда вверху. Письмена читала, травку покуривала, со звездами говорила. А ноги выхаживали бездомье. Варел тем временем осваивал духовные практики Китая, родил трех сыновей от разных стихий, издал тезаурус своих сочинений, продолжал занятия живописью и архитектурой, ездил на семинары по работе с тонкими энергиями, перемещал облака. Дзын двигался в сторону Киева, приращивая территории ручного ремесла и обиходной магии, на ходу перерастая персонажей Коэльо. Радость, ни с чем не сравнимая, – от этого дара встречи, когда трое стали одним в этой ковчежной лодке.

ВЫТЕСНЕННОЕ

Тихий океан, штат Орегон, январь, нач. 90-х. История неописуемая. Повез детей туда – чернобыльских, 120 душ, на леченье и отдых. Принимала «Церковь евангелистов», мутная, «мафиозная». В одночасье – дети исчезли, я заперт за городом. Пошел воевать. Три недели не сходил с первых страниц газет (вначале я, ниже – Персидский залив, потом Буш), потом меня выкрали, потом я на частном самолете вернулся, реял над телебашней, давая интервью. В общем, та еще заваруха началась, средний класс держал мою сторону, из Конгресса летали меня подкупать, но самурая уже было не остановить. Собрал три млн. долларов выступлениями, отправил корабль с мед. оборудованием в Питер (так и

не знаю, дошел ли), провел радиологическое обследование детей на атомной станции, добрался с детьми до Нью-Йорка на тяжелом бомбардировщике вооруженных сил США. Вернулись в Киев, дети счастливы, стер все это в памяти как бывшее не со мной.

ЛАБИРИНТ «Ф.В.»

Я вот думаю, как бы об этом сказать в двух словах – о том творческом приключении, которое вышибло меня из жизни года на три, если не больше.

Вначале был коньяк, на высоте 10 тыс. метров, во фляге рта, в течение 9 часов перелета в Штаты, 95-й год, кажется. А в руках какая-то английская газета. Тогда уже медиа начинало понемногу лихорадить в преддверье миллениума. Читал какую-то заметку, м.б., о «Куполе», который собирались строить в Лондоне, и подумал: а каким действительно мог бы быть символический монумент «всех времен и народов» к этой дате? С этой забавы ума все и началось.

Несколько месяцев спустя проступили какие-то исходные составляющие: пространственная фигура лабиринта, содержанием которого должны быть Язык и Время как универсальные категории для любого этноса. Кроме: этот монументальный лабиринт должен быть процессуальным, интерактивным и принципиально не имеющим завершения, видоизменяясь при взаимодействии с каждым посетителем, для которого, в свою очередь, это тоже не просто аттракцион, а экзистенциальное поле для проживания и превращений.

Ну и пошло-поехало. Через пару лет у меня скопилось уже, наверное, несколько километров эскизов, чертежей, выписок, описаний, моделей в различных материалах и техниках, ворохи проектной документации. Периодически мне помогали друзья по Ковчегу – Дзын и Варел.

В результате получился такой двухъярусный город, размером с Московский Кремль: нижний ярус – подземный лабиринт (собственно, главная, инициирующая и провокативная территория, где все и происходит) и верхний – видимая часть: стоящая в озере фигура уробороса, свинченная в восьмерку, внутри которой расположена галерея интерактивных фигур времени всех нынешних этнокультур (каждая страна делегирует группу художников, которые инсталлируют свою «фигуру», свой образ времени + озвучка этой фигуры несколькими афоризмами о времени известными мыслителями этой страны), то есть такой психоделический сад времен, где также происходят различные «магические» взаимодействия, но попасть в него может лишь тот, кто прошел подземный лабиринт.

Эта подземная часть в плане имеет вид развертки магического квадрата и делится на четыре зоны (огня, воды, земли и воздуха). Среди множества «провокативных» ситуаций (цивильных, конечно, – ты можешь поддаться им, а можешь и проигнорировать), в которые попадает посетитель, была, например, и такая: запись своего «месседжа» (о времени и о себе) – звукозаписывающие устройства расставлены по всему лабиринту (чем ближе к центру, тем шире площадь трансляции), оставленное послание с периодичностью воспроизводится практически вечно, со временем превращая безмолвный (до первого посетителя) лабиринт в голосовой вавилон, говорящий на всех языках. С другой стороны, посетитель выходит из лабиринта со своего рода «фонетическим бессмертием».

В общем, много чего там было наворочено. Если сказать непрямо, то это был такой как бы Борхес и Хлебников, ведущие за руку Алису в довольно взрослое зазеркалье.

Ну вот. К тому времени я был уже вконец изнурен этой пафосной утопией с ее циклопическими трудоднями, а впереди еще оставались всякие архитектурные и инженерные

«мелочи» типа канализации, аварийных выходов, дорожек для инвалидов и пр. Наконец и это было сделано (хотя ни технического образования, ни опыта у меня не было, и приходилось что-то начитывать по ходу, но, когда я, уже в Мюнхене, обратился к специалистам за помощью, они, поправив детали, сказали, что в целом все довольно грамотно), и, чтоб избавиться от этой уже обрыдлой ноши, я послал проект в несколько крупных международных организаций. И оказался втянутым в не менее изматывающий марафон бесконечной переписки с ними.

Тем временем последовала серия публикаций в нашей и западной прессе об этом проекте (к моему недоумению, проект подхватили в основном архитектурные журналы, которых привлекло то, что для меня было третьестепенным – то есть внешнее, одежка). По первому каналу ТВ Германии прошел трехсерийный фильм-интервью (реж. А. Клуге), где я рассказывал-показывал. Проектом заинтересовался Питер Гринуэй, была мысль сделать фильм...

Я все еще продолжал исправно отвечать на письма и слать требуемые дополнения, расчеты, бизнес-планы, калькуляции и прочую хренотень, но все чаще вспоминал наш разговор с Битовым, когда мы сидели с ним у моря в Коктебеле и я ему рассказывал – тогда еще с горящими глазами. А он сказал: «Зачем это вам, Сережа, все эти бетономешалки и государства скурвят идею, превратив ее в Диснейленд. Представьте себе Леонардо, который положил бы жизнь на воплощение изобретенного им унитаза или подводной лодки. Вы же писатель, пишите книгу».

Внял, написал – правда, три года спустя и уже в том состоянии, когда вряд ли мог сообщить что-нибудь вразумительное. Так и назвал «Книга», без имени на обложке. Один из парадоксов ее оптики был в том, что в мистериальную околесицу текста почему-то верилось больше, чем в очевидную реальность фотодокумента, которым она заканчивалась. И именно как в реальность верилось больше. (Как у Эйнштейна: чем больше наука опирается на реальность, тем менее она определенна, и чем менее она определенна, тем более опирается на реальность.)

И вот, когда, казалось бы, весь этот многолетний кошмар начал понемногу меня отпускать, эта самая «реальность» тихо подошла со спины и, как в дешевых фильмах, похлопав по плечу, поманила за собой пальцем, посадила в самолет, переместила в лимузин и с эскортом мотоциклистов в белых перчатках передала в мягкие лапы исполнения желаний.

«Херр профессор, – сказал мне председатель Счетной Палаты Германии, назначенный руководить строительством парка в приморском городе Росток на севере страны, – конечно, Ваш проект, скорее, для Нью-Йорка, Парижа... Берлина, в крайнем случае. Но, согласитесь, когда строился Лас-Вегас, это ведь тоже было Богом забытое место... Вот здесь, – и он указал в центре уже отчасти выстроенного парка на огороженный пустырь, – будет стоять Ваша Фигура Времени. Документацию мы уже передали группе специалистов, готовившей недавнюю ЭКСПО...»

Я слушал их, как во сне, глядя на дождь за окном, пытаясь проснуться. Благо, вскоре начались повсеместные сокращения бюджета в связи с переходом на еврозону.

Аллилуйя.

Аминь.

ЛЕС

Странная вещь, непонятная вещь... Оглядываясь на свою жизнь, почти прожитую, я вспоминаю как лучшее в ней не детство, которое было счастливым, не женщин, не книги,

не дружбу, не города и события, не детей, не родителей и не творчество... а джунгли Индии. Вот и весь смысл, затмевающий все, что было в моей жизни, и говорящий: вот для чего ты пришел в этот мир.

Для чего же? Чтобы в сумме несколько месяцев бродить по лесу? Быть с животными, видеть их, чувствовать и ради этого рисковать жизнью? (Понятно, что это «пребывание» не имело ничего общего ни с сафари, ни с элементарной защищенностью натуралистов.) И дело совсем не в адреналине – в моей биографии более чем хватало этих ситуаций и без леса. А в том, что нет и не может быть другого входа в этот лес, ставший тем чувством жизни, той его полноты и подлинности, которую не давало ничто другое.

И вот я уже несколько лет, отсиживаясь... даже не в людях – в небытии, думаю: куда ж себя деть после этого чувства? Некуда. На этой земле – некуда. А вернуться в то, что было, вряд ли возможно. И не потому что «в ту же реку...». А потому, что дальше, кажется, просто некуда. Некуда быть ближе к слонам, когда стоял на пути их стада и остался жив, некуда ближе, чем ревущий в лицо тигр или прыжок леопарда с отметиной, оставшейся на моей переносице от его лапы. И еще десятки случаев, когда жизнь балансировала на грани. Куда дальше и сколько можно испытывать терпенье этих ангелов-хранителей, если они есть?

Но тогда я был со спутницей, с той единственной, с кем все это делилось до недостижимых пределов родства и счастья. И я был рядом с ней тем бесстрашным и светлым мальчишкой, с которым ничто не могло случиться, и лес нас берег – за чуткость, за смелую радость...

Нет нас теперь. Все эти годы нет. И я думаю, отсиживаясь в этом небытии – вернись я туда один... Лес за версту это чует: кто ты и что с тобой. Нет, не страх смерти меня останавливает. А то, что так и будем стоять, уже все отдав друг другу, на расстоянии стоять, в немоте, вчуже.

Андрей БЕЛИЧЕНКО

САМВАТАС И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Ах, Самватас... Милый друг мой! В беспроглядные февральские ночи стылой Борщаговки, где уточнение «Южная» звучало дьявольской насмешкой, ты один согревал мою металлическую Эрику, истово стучавшую твои мучительные и мутные строки, как кровь, заставляющая сердце сжиматься от несуществующей боли, и сам ты, как Фантом, летал с 15 этажа над белыми Жулянами бумажным самолётиком, пугая соседей ниже и выше жаждой того, Чего невозможно облететь. В духовном вакууме эпохи ты жаждал еще более высокой Пустоты, ради которой стоило бы сказать.

Это было так давно, что его участники видятся мне как бы в дымке теперь, как и жители Самватаса исторического, не такой уж и великой крепости где-то внизу Владимирской горы, куда мы можем попасть уже без всяких виз. Но и там, как и Самватасе журнальном, нечего особенного делать, если вас не мучают некие мысли – Небывалые и Невозможные. Ведь именно таков был наш Журнал. Таков он и есть, сменив имя, век и некоторые личные подробности.

1. ИДЕИ САМВАТАСА

С годами всё чаще прибегаю к помощи чужих форм и готовых фраз. Вот она из них. Первые упоминания о «Самватасе» относятся к моему детству, как после – и моему девству. Где-то остались еще тонюсенькие крошечные тетрадки с корявыми строчками и важно озаглавленные стальным пером Номер Один. Не будем их преувеличивать, но СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ вошла в Кодекс Самватаса на правах его основоположения. Ибо *Самватас – это, конечно же, Вероучение*. Спускаясь к реке, я перечислю все его составляющие. Второе образовано банальной ГОРЯЧКОЙ. Я имею ввиду физическое ощущение письма – когда у пишущего мороз по коже, а у пишущей набухают соски. Непременно волосы должны вставать на дыбы у вас на голове, если вы желаете, чтобы чувства ваших читателей шевелились вместе с их извилинами, подобно дождевым червякам в ржавой банке мальчика, собравшегося с утра на рыбалку. И читатель, и рыбка клюют лишь на живца. Надо идти ва-банк и писать кипятком. Возможно, кто-то где-то когда-то это заметит. Конечно, не надо идти на компромисс – это третий пункт нашего Кодекса, провозглашающего ПРАВДУ. За Правду надо отве-

чать – а следовательно, именно Правда становится движущей силой и ответа и письма, раз он пишется не на воде и не замерзает в воздухе. Правда порождает Подлинность, матерь Богов человеческих. За Правду надо страдать. Но можно страдать и без Правды, а из-за Иллюзии. Четвёртый пункт Самватаса – это МИРАЖ. Мир пуст без Миражей. И задача писателя не оставлять мир в покое и наполнять его своими мульками и мыльными пузырями, пока мочевые пузыри ваших читателей сами не переполнятся от мыла и телефон не замучает постами не существующих поклонниц. Пятое – это ПРЕКЛОНЕНИЕ, или, если угодно, – Благоговение перед Неизвестным. Лучший способ сохранить в мире науки Неизвестность – самому стать или остаться НЕ-известным. Для этого надобно поклоняться высшей Тайне. Отсюда шестой принцип Самватаса – МИСТОНИЯ. Так я соединил в одном слове Мистерию и Силу (греческое «Стениа»). Узок путь словес – избегнуть невозможно того, что будет только раз и во второй потянет возвернуться, но некуда, и силы движут только прочь. Вот почему нужно продолжать быть собой даже после катастрофы. Седьмой тезис Самватаса – САМОСТОЯНЬЕ. Мы никогда никого не цитировали, а если надо было – сочиняли эпиграфы, цитаты и чужие книги. Мы обходились и без завидных невест, и без свадебных генералов. И отсюда, наконец, седьмой пункт нашего Журнала – ОДНОЛЮБИЕ. Любящий Одну – любит Всех.

2. ИСТОРИЯ САМВАТАСА

Теперь о своем литературном пути. Первый свой журнал я выпустил в 1980 году (зима). Его имя (имя?) было «Без названия». Это был в буквальном смысле рукописный журнал в одном экземпляре. Моим соавтором и единственным читателем был замечательный киевский поэт, мой одноклассник Владимир Хорошанский, который уже 25 лет живет в Чикаго. После этого меня забрали в армию, и жанр журналов возобновился только в январе 1991 года, когда вышел первый машинописный номер моего литературно-философского журнала «Самватас». Первый номер был моим скромным подарком собственной жене Оксане Долинской. Потом к моему детищу присоединился киевский литературовед Виктор Кравец. Он предложил название журнала – «Самватас» – (Византийское имя Киева), с Виктором пришёл и его друг, киевский археолог и исследователь Триполья Тарас Ткачук. Сейчас они оба защитили диссертации и известны в своих кругах как авторитетные учёные. Виктор специализируется по Серебряному веку (литература, культура, философия), Тарас углубился в своё Триполье, привлекая к его анализу современную семиотику и теорию текстов. После этого я повесил объявление в Киевской консерватории, ища там единомышленников. И нашел – в лице музыковеда и поэта Светланы Осеевой. Она познакомила меня с группой интереснейших киевских поэтов, которые стали постоянными авторами моего журнала. Это Игорь Лапинский, Дмитрий Бураго, Алексей Зарахович, Юрий Зморович, Игорь Винов, Леся Тышковская, Марина Доля, Николай Румянцев, Наталья Акуленко. Отдельно нужно подчеркнуть роль киевского поэта и литературоведа Натальи Лысенко. В 1997 году я познакомился с новыми авторами Татьяной Аиновой, Веле Штылвелдом, Леонидом Нефедьевым, Анатолием Юсичевым, Василем Дроботом, Владимиром Гутковским. Благодаря их помощи журнал стал крепнуть и развиваться. Ближайшим моим помощником и секретарем журнала стал тогда студент Киевского строительного института Андрей Пучков (сейчас он доктор наук). Вышло шесть машинописных номеров. Осенью 1992 года благодаря финансовой поддержке Алексея Мундта явился первый типографский номер, посвященный 115-летию великого

русского философа Семена Франка. Номер был приурочен к Всемирному конгрессу византинистов в Москве и попал в индекс «Byzantinische Zeitschrift» (Мюнстер, Германия). Благодаря поддержке спонсоров в свет вышло 4 типографских номера «Самватаса», каждый тиражом 1000 экземпляров. В нем публиковались не только авторы Киева, но и Одессы, Харькова, Донецка, Винницы, Санкт-Петербурга, Москвы. Первая публичная презентация «Самватаса» произошла в декабре 1992 года в зале Дома композиторов в Киеве. Был аншлаг, потому что тогда это было ожидаемо. Зимой 1997–98-го «Самватас» публиковал стихи нашего классика Леонида Вышеславского. Была ощутима также дружеская поддержка такого известного киевского поэта, как Юрий Каплан. В 1999 году вышел весной последний, 19-й номер «Самватаса», нумерация включает в себя также и неизданные в силу финансовых причин номера. Издавалась поэтическая библиотека журнала «Самватас». Вышло три сборника стихов – Дмитрия Бураго, Леси Тышковской и Алексея Зараховича. Это были первые опубликованные книги этих уже сейчас знаменитых украинских поэтов. Благодаря стараниям Алексея Пучкова вышло четыре тома философской библиотеки журнала «Самватас» (Алексея Босенко, Владимира Возняка, Александра Габричевского и Марины Савельевой). И снова-таки это были первые книги таких известных сейчас философов, как доктор наук Алексей Босенко, Владимир Возняк, Марина Савельева. Как известно, А. Габрический – классик российской теории архитектуры, замечательный философ и культуролог, переизданный настойчивостью А. Пучкова. Такова была жизнь «Самватаса», неотличимая от жизни его авторов. Благодаря «Самватасу» я познакомился с литераторами Москвы и Петербурга, в особенности Петербурга – такими, как поэты Аркадий Драгомощенко, Геннадий Бревде, Александр Скидан, в Харькове – это Михаил Красиков и Стас Минаков, в Донецке – Сергей Шаталов. Затем в 2003–04 годах я выпускал журнал для самого себя и называл его «Мумукша». Имя взято из древнеиндийской философии, где оно означает стремление человека к освобождению. Вышло 4 небольших номера. Они есть только в электронном виде. После этого в 2005-м также в электронном виде выходил журнал «Кружок» (2 номера), где опять-таки я был и редактором, и автором. Бумажный журнал возобновился только в мае 2008 года, когда стал выходить типографским способом журнал «Sub Rosa». Вышел нулевой номер, который я называю программным, так как в нем только мои тексты. Философия моей «Суб Розы» – это критический авангард и метафизика сострадания. Затем весной 2009-го вышел 1-й номер «Суб Розы» со множеством иллюстраций и множеством авторов. И, наконец, в октябре 2010 года готов к изданию и вышел второй номер. Сейчас (на начало 2014 года) их пять. В редакцию этого журнала входили Тит Макашев (художественный редактор), известный поэт Наталья Бельченко (литературный редактор), поэт и психолог Лина Федорченко (менеджер), писатель и литературовед Анна Лобановская (пресс-секретарь). Сейчас в редакции остались Тит Макашев и Анна Лобановская. У нас есть свой сайт, на котором можно найти весь «Самватас» и «Суб Розу»: www.varejka.org.ua. В рамках журнала «Sub Rosa» действует сетевой театр «Мага». В марте 2008 года в Русском культурном центре в Киеве была представлена моя пьеса «Доктор Эдип», в которой играли Леся Тышковская и Юрий Зморович. Это был синтез видеоинсталляции и декламации. Следующим этапом театра «Мага» будет постановка метафизических балетов на мои либретто, таких как «Мертвые души», «Аэлита», «Безумие Софии» и др. Мы планируем также выпускать новый-старый журнал «Ляля». Это, так называемый, реалити-журнал. То, что раньше мы видели по телевизору на «Голубых огоньках», когда чаепитие превращается в трудные беседы о главном. Кроме того, вышел аудиодиск, на котором стихи читают киевские поэты Наталья Бельченко, Леся Тышковская, Татья-

на Аинова, Василь Дробот, Юрий Зморович, Владимир Гутковский. Мы задумали также флэш-радио «Кожа», когда слушатели сами заказывают себе те произведения, которые они хотели бы не раз и не два услышать. Сейчас начинает выходить серия литературно-философских альманахов (начиная с «У лика», ноябрь 2013 года), каждый из которых будет иметь собственное название и собственную концепцию. Идея в том, чтобы отобразить в этой издательской цепочке всю историю новейшей украинской литературы и духовной мысли. Альманах «У лика» задуман в стилистике самиздата – машинописный шрифт, чёрно-белая графика. Он является своего рода аналогом творчества советской живописной группы «13», куда входили Миклушевский, Марьина, Николай Кузьмин и еще 10 художников. Так же, как и они, в этом альманахе мы исповедуем принцип мимолётности и первого взгляда, когда написанный текст далее не правится и не редактируется.

Стихотворение, как история поэта – ее не исправишь. Но чем больше из него уходит время, тем глубже и чище оно становится.

ДУША У МАЛЫХ РЕК ПЕРЕНИМАЕТ ОПЫТ...

Весной 2013 года в Киеве состоялся конкурс произведений о малых киевских водоемах «Малі річки Києва». Его итоги были подведены на берегу речки Совки после экологической акции по уборке ее берегов. Тексты некоторых участников конкурса, а также тех, кто вдохновился речной темой, мы представляем вашему вниманию.

Инициатор конкурса – Наталья Бельченко

АНАТОЛИЙ ЛЕМЫШ

ПОЧАЙНА

Под Подольской кручею нанесло песка.
Ткнулась в бок Славутичу робкая река.

Мостики причальные, люд, колокола.
Тихая Почайная гаванью была.

Как Днипро ей нравился, как он был могуч,
Как обнял красавицу у зеленых круч,

Как Почайна нежная к милому текла!
Но разлива вешнего не перенесла.

Был Днипро стремителен, яростен и зол!
Паводком губительным затопил Подол!

И река, покорная мужу своему,
Душу родниковую отдала ему.

...Домики сутулятся, вечер, огоньки.
Я живу на улице имени реки.

Все забылось, кануло, илом занесло.
Только церкви каменной светится чело.

И, как глянешь пристально, видишь иногда:
Под асфальтом чистая плещется вода!

ВАСИЛЬ МАХНО

ДЖУРИНКА

це мовчання з землею зітліло
це Джуринка проходить крізь тіло
ви сідаєте разом за стіл
раз на рік на жовтневу Покрову
обережно наче корону
приміряєш повітряний стих

і важкий дерев'яний підшафок
самогон що тремтить у карафі
мовчимо схожі трохи на риб
може ми по Джуринці пливемо
у воді нам і тепло і темно
плавники наче леза бритв

може стіл цей що знає господар
підмивають Джуринки води
за тонкі наші всі плавники
ми не стримаєм навіть повітря
нас чекає Джуринки подвір'я
наші двері і наші замки

а Джуринка нам каже: я з вами
я згортаю вас із плавниками
ви вже риби хоча й за столом
вам не треба повітря ковтати
ні стихів на життя пам'ятати
ані дбати про самогон

ні про те що садити що їсти
ні як їхати зранку до міста
ні як спродати збіжжя чи дріб
ваші зябра годуються духом
я вода – й значить ваша посуха
ваша смерть і насущний хліб

приміряйте стихи ваші царські
бо ви риби для мене базарські
і тримайтесь за стіл і кропиву
бо як зрушаться води в Джуринці
попливемо водою й гостинцем
Горб-долиною косо і криво

в наших зябрах набилося клею
плавники обліпились землею
ми призначені значить коронні
пропустити Джуринку тілами
щоб вона була нами і з нами
цим стихом у повітрі й короні

ОЛЬГА САМОЛЕВСКАЯ

*** * ***

Вы думали – блядь я, вливая в меня нечистоты.
Я Лыбедь, я весть вам несу сквозь шальные века.
В истории вашей мои родовые истоки.
Канава теперь – древнерусская ваша река.

В ладонях держали меня, из ладоней и пили,
в меня окунались, спасаясь от знойного дня,
в меня заходили заморские чудо-флотилии,
века, словно в Лету, навек погрузились в меня.

И в водах моих лучезарных, широких и вольных,
а ныне живущих в зловонном бетонном гробу
уже отразились все ваши убийства и войны.
Деянья людские тащу на усталом горбу.

Неужто была полнокровной, игривой и гордой?
Доселе скользит надо мной золотая ладья...
Я Лыбедь – сестра основателей вашего города.

О старость моя, о кромешная старость моя...

ВАЛЕРІЯ БОГУСЛАВСЬКА

З-ПІД ЗЕМЛІ

І заговорить голос крові
Підземно скутої ріки:
– Чим завинила я Петрові,
Чим завинила я Дніпрові
Тоді і нині – навіки?
Чи це не я в собі хрестила
Твоїх, Кий-граде, городян?
Не кожній річці так щастило...
Чи мирром гіршим їх змастила,
Не підмостила, як Йордан?..

Невдячна доля і повчальна.
Коротка пам'ять у людей.
У кам'янім мішку Почайна,
Ба навіть не згадаєш, де й

Коли – була – пропала – зникла,
Перевелася нанівець.
А що, хіба іще не звикла?
Ні? Вп'ялись палі, наче ікла.
Що, боляче? Мовчиш, як мрець.

Мов Калнишевський, ти, Почайно,
В отій норі засліплий кріт.
Затужиш по козацькій чайці –
Не зойкнеш. Придушили крик.

Б'є у в'язниці пропасниця,
Як авта десь вгорі летять...
...Дніпру у темряві насниться
Ріки відтятої культя...

Виводять чайки чаєняток
Поза човнами, в комишах...
Чи не тобі, Почайно, натяк,
Що звільнено і Калниша?..

АНДРЕЙ ГРЯЗОВ

ГЛУБОЧИЦА

Под жёлтым зонтом не смогу я укрыться надолго
От света и шума вчерашних зелёных дождей,
От красных трамваев, плывущих к истокам Подола,
Чтоб вмиг разметать икроногие стайки людей...

От света ночей и какого-то вечного свиста
Там, между дверей, где живёт то ли брат, то ли друг,
Спешащий на азбуку Морзе направленных систол
Из стенок сердечных, несущих и боль, и испуг.

Когда, прозревая, ты смотришь на прошлое, раня
Не только себя, но любого, с кем обща броня;
Когда к изголовью приблизится тихо Нафаня
И скажет: «...Эх, Кузя, зачем ты не слушал меня!..»

...Навряд ли укрыться от лепета липких снежинок,
Летящих на завтра, на хрупкий обветренный лёд,
На зов тишины, в мир расколотых детских пластинок,
На зов пустоты, где никто никого не зовёт...

Под жёлтым зонтом я дойду до Днепровского мола,
И сменит избыток – убыток расхристанных дней.
В трамвае Иова я сам уплыву в глубь Подола
И стану ещё – на утрату – больней и сильней...

ВІКТОРІЯ ОСТАШ

*** * ***

Голоси, приглушені роками,
як підводні течії в душі...
Чуєш, друже, водограй з-під каменю,
з-поміж бруду і пробитих шин?!

Знаю, чуєш: важко притлумити
заживо похованих пісні!
Либідь, Совка... скільки їх під плитами –
русел, що голосять уві сні...

ИРИНА ИВАНЧЕНКО

РЕЧКА СОВКА

Слабеет натяжение воды.
И где невесть сегодня нерест рыбы.
Чьи речи, чьи печатные труды
подхватят обессилевшую Лыбедь...

Слабеет напряженье, жидкий ток,
искрит местами, падает с годами.
Но мы родня. Любой из нас – приток
другой реки. И кто-то в нас впадает.

Так речка Совка (тихий, без стремнин
исток бок о бок с Рощею Кадетской)
зимой и летом с правой стороны
питает Лыбедь родственной поддержкой.

Бетонный терем, царский карантин.
Чуть теплится река – и то везенье.
Земли – в обрез. И тех, кто на пути,
зло и нещадно втаптывают в землю.

Но речка Совка, сводная сестра,
чужое семя в княжеском семействе,
найдет в ярах, проводит до Днепра.
Таись, родная, с ночи до утра
от ярости людской и тяжб земельных.

Лютует боль. Невмоготу дышать,
но вспоминаю, подавляя ропот, –
не замерзает Совка. И душа
у малых рек перенимает опыт.

Мой стих, мой брат, упругий чистотел.
Хоть неказист – целебен на поверку.
Душа течет в коллекторе потерь
и лишь в стихах выходит на поверхность.

И пробивает под землёй ходы,
и над землёй возносится свободней.
Душа наполовину из воды,
наполовину – из любви Господней.

Мы все притоки. С ночи до утра
перетекаем, увлажняя недра,
за пазухой у вещего Днепра,
за день пути впадающего в небо.

ПОЛІНА ОВРАМЕНКО

РІЧКА

Голосами не своїми навесні кричать річки:
Ставлять рибинам загиблим очеретяні свічки.
Попід кригою задуха, довго сонечка нема.
В пастці – короп, гине щука, як затягнеться зима.

І русалоньки ховають в ковдру коси голубі.
І пісень вже не співають – заподіяли собі.
Бо річки сумні не скоро скинуть лати крижані.
В них мороз – жорстокий ворог: в річці, наче у труні.

Промінців співочі стріли відчуває вмить ріка:
Кригу важко, наче крила, піднімає сторчака.
Сяє день, співа повітря, рибка голос подає,
Річка, наче повні відра сонця з неба дістає.

Озиваються, мов дзвони великодні, відра ті.
Повінь: тішаться ворони – і на пагорби круті!
І схилились верби низько: хоч пригубити води!
Річка співом будить місто: «Гей, – бринить, – усі сюди!»

АНДРЕЙ БЕЛИЧЕНКО

ГОРНОЕ ОЗЕРО

(Водоём между Олимпийским стадионом и Черепановой горой)

Это озерцо, бутылочно-цветное в апреле, чистое, как бельё невесты, сохранилось лишь в моей голове. Входя в него в солнечный воздух, душа моя трепещет, как зоб ярко-зелёной жабы, которых там тогда было пруд пруди. Все они пели от радости и благодарили меня. Только меня! Ах, покорю ли я когда-нибудь сердце озёрной жабы, что благоговела передо мной?! Только не торопитесь ловить меня на логической ошибке. Не так легко войти в реку даже единожды, когда от смущения хочется плакать. Жаба ныряет в моих слезах. Она видит себя моей невестой ещё до того, как станет девушкой, а я – юношей. Она пускает пузыри и мечет икру. Да нет, это я пускаю пузыри и мечу икру. Это я воспеваю огромный шар, внутри которого я замер в ожидании глаз. Увидьте меня! А я – её – увидел! Я, ребёнок, озеро, воздух. Амфибия мысли-языка и слова без мысли. Жаба – это мысль озера. А я? А я – его слово. Счастье найти друг друга в себе. И детство, и жизнь, и Сам Бог – они все одно это озеро, из которого я выхожу на берег, не понимая, что со мной случилось. И смеюсь им.

Я возвращаюсь в дом под горой с воронкой озера, образовавшегося в котловане так и не построенного бассейна, который, построенный ниже, вскоре сгорел, озарив рассвет моей юности. И выношу из этого обилия воды, талой и грунтовой, баночку с настоящим тритоном, шевелящимся в зеленовато-жёлтой мути. Это мозг Бога. Мой глаз – Его сердце. А мой Анус – вся глубина, что связывает нас сейчас как телесная молитва.

Материализовав Память, я преодолеваю материю. Понравиться тому, кому уже нравишься, так же невозможно, как полюбить своего убийцу. Но я всегда предпочитал невыносимые мысли и невыполнимые миссии. Как мальчик, напряжённо следящий за пальцами фокусника, чтобы поймать его на подтасовке, я никак не могу понять, как человек снаружи становится человеком внутри – и как, глядя на сумасшедшего, я сам становлюсь им, оставаясь собой. Озеро детства превратило в метафору меня самого. Я лишь способ, каким эта метафора проявляет себя. Я стебель цветка, пузырёк жабы, блик в окне. Но существовал ли бы реальный внешний мир без этой метафоры, которую я ощущаю как своё собственное существо? Вот истина, какая не может быть проверена на опыте, ибо вне опыта она не может быть сформулирована даже как ложь. Лишь озеро Памяти открывает мне мир, где истина может существовать вне опыта. Потому что не только отражение жабы в моём глазу, но и сам мой глаз равно принадлежит и ей, и мне. Вне мысли о жабе, жаба невозможна. Вне жабы невозможен я сам, ибо моя мысль о ней зависит от её восприятия меня. Здесь не экология мысли, но её (мысли) обусловленность контекстом её (мысли же) нахождения. Только в памяти озеро может стать озером не одной жабы, но и моим собственным органом, питающим меня пространством – вторым Анусом, существующим лишь у девственниц.

Метафизика сознания развёртывается не в сознании, а памяти – и развёртывается она как *гомософия.* Совсем по Анаксагору, моя мысль такая же часть мира, как жаба

и мальчик. Они гомеоморфны, и в качестве этих Анаксагоровых гомеомерий, превращают своё существование в беспрерывную гомосексуальность, ибо подобное любит подобное, когда мыслит его как свою противоположность. Истина – это пуля без Выстрела. Любовь – это озеро в Голове. Моё сознание не вмещается ни в Истине, где оно повергнуто в отчаяние, ни в Любви, где оно в основном несчастно. Я хожу по берегу своего детства со своим сознанием – и не знаю, где его спрятать и куда приткнуть. А вот из воды выходит и страшная Цапля и думает меня проглотить, ибо я равноценен с жабой не только в *своих* глазах. Я прыгаю из своих глаз в лилии, и сам превращаюсь в одну из них. Ведь я их – вижу! Моё сознание без конца отрицает самоё себя, чтобы быть попеременно всем, подтверждая свою мыслимость своей видимостью. Но метафора зрящего языка соединяет эти случайные скачки в мою реальность. Не различив меня с лилией, страшная Цапля проходит мимо. Так я становлюсь девушкой с именем цветка. Метонимия смысла делает всё озеро реальностью моего сознания, а не моего восприятия. Язык знаменует моё бессмертие, подорванное соитием с Бездной. Как же отличить себя от языка? Как быть метафорой и оставаться в теле? Вспомним лилию и жабу – моё сознание есть жаба на лилии, т.е. мир цветущий «просто смыслом». А он чувственно воспринимаем как всё, что может быть помыслено в нём. Именно благодаря Цвету внутренней реальности, мысля жабу внутри, я всё же не становлюсь жабой снаружи.

Моё короткое предисловие к философскому озероведению есть не более чем потребность человека «найти во внешней реальности не инертный и чужеродный объект, а место, благоприятное для духовной активности» (Эмиль Брейе, французский философ, 1876–1952). Несомненно, разрешив противоречие между жабой, которой я не стал, и лилией, в которую я превратился, я хоть немного объясню, как мне, несмотря на столь очевидные логические трудности, удалось самому полюбить то, что я любил ещё до встречи с ним. Конечно, никто не утопился бы, если бы я ушёл из семьи и основал другую. Небо бы не упало, если бы вместо жабы я сошёлся с жаворонком. Но, простите, я так и не сумел улететь.

25.03.2013

ОЛАФ КЛЕМЕНСЕН

* * *

Здесь Лыбедь мутная живет,
мечтая о форели...
Н. Бельченко

Десь там
Либідь витікає віршем,
І цілих п’ятнадцять хвилин віршем тече без домішок прози,
і навіть води у ріці немає.
Лишень згодом у ній з’являється трохи води і сміття.
Строфи, слова і літери пливуть сірниками,
Чіпляються за іржаві каркаси старих холодильників.
Лишень у районі Московської площі – сама вода,
Саме сміття.
Від вірша залишається –

Не запах – спогад про запах.
І рідко хто
Спогад унюхає,
Ставши на задні лапи...

МАРИЯ ЛУЦЕНКО

РУЧЕЙ

(Исповедь Лыбеди, некогда крупной киевской судоходной реки)

Я вскоре стану как ручей –
прозрачной, чистой и ничьей
послушницей-женой.

В речном раю плохая связь,
и ты родство утратишь, князь,
с единственной княжной.

Как заживём?
Как знать, как знать:
Ни приручить, ни в дом позвать,
ни выгнать за порог.

Понятней станет пескарям
и старым, ржавым якорям
чудной мой говорок.

И ты – теперь ни сват, ни брат, –
сестре родной не будешь рад,
я стану лишним ртом.

И жить уйду, себя стыдясь,
в подземный терем, светлый князь,
и видеть сны о том,

как, собирая в пятерню
ручьёв журчащую родню,
бетон тугой прорву,

пройду сквозь острый окрик твой,
сквозь арматуры неживой
железную траву.

В речную русую косу
вплетая память, понесусь, –
не следуй по пятам! –

под белыми корнями пней
из царства призрачных теней,
к дельфинам и китам.

Ты взял в оковы ржавых труб
мои запястья, милый друг,
я – узник твой и раб.

Мне слышится Почайны хрип,
но снятся стайки пёстрых рыб
и яркий, красный краб,

в прожилках мраморных – волна.
Мне сумрачную явь от сна
не отделить: в глазах

достаточно немой слезы,
и на беззвучный мой призыв
придёт с полей гроза,

взметнётся в небо хлёсткий кнут,
и нас ни в чём не упрекнут
разбитые шоссе,

я створки окон распахну,
галеты хрупких крыш макну
в холодное глясе

и зашвырну браслет моста
в такие дальние места,
где не бывал и Тит!

Пойдёт ко дну ненужный хлам,
и горечь с горем пополам
пучина поглотит.

Какая, мой дружок, тоска –
лежать в асфальтовых тисках,
не удеру – умру!

Ты вспомнишь как-нибудь потом
о мутной речке под мостом
в Протасовом яру.

Ты полагаешь, это – месть?
Но так звучит благая весть!
Плотину строй, не строй,

а горе льётся за края,
и в нём не помнится, что я
слыла твоей сестрой.

С. КВІРЕЛ

* * *

Кричать русалки, наче кішки,
У темряві нічних заток.
Котрась із них потрапить нишком
В рясний русанівський садок –
Квітучу гілку у волоссі
На ранок принесе вона.
В нас бавляться русалки й досі,
Де осока і мілина.
І на Труханових озерах,
Аж поки не з'явився міст,
Бува, із верболозу – шерех,
І промайне русалчин хвіст.
Пливи, русалочко цнотлива,
У вірші – не у верші – втрап.
Як для рибалки ти не диво,
Будь для поета ним хоча б!

ПАМЯТИ ПОЭТА

Владимир ПУЧКОВ

К 85-летию со дня рождения
Эмиля Январева

30 января 2016 года Эмилю Январеву исполнилось бы 85 лет. Но уже десять лет, как его нет с нами – одного из наиболее ярких русскоязычных поэтов Юга Украины. А в истории солнечного корабельного Николаева он – единственный поэт такого таланта и масштаба, чья жизнь и судьба, биография и творчество, все – от и до! – были связаны с родным городом.

Наверное, в молодые годы он мог бы, как многие таланты из глубинки, двинуть в столицу – и, уверен, не затерялся бы среди пишущей братии «на просторах Родины широкой». Тому свидетельство – хотя бы его публикации в легендарных сборниках «День поэзии» (попасть туда провинциальному стихотворцу, не имевшему еще ни одной изданной книжки, – было чуду подобно). Да и потом, живя «в глухой провинции у моря», умудриться дебютировать первой книжкой не в Одессе или Киеве, а в московском издательстве «Советский писатель» – тоже многого стоит! Позже, когда стала рушиться советская империя, он, наверное, мог бы, как многие клейменные пресловутой «пятой графой», поискать счастья в земле обетованной – благо ехал бы уже не вслепую, точно зная, что встретят его, как подобает, да и медицина там самая передовая...

Впрочем, что мы гадаем? Поэт сам ответил на эти проклятые вопросы в своих поздних стихах. Как вот, к примеру, в этом.

СКАМЕЕЧКА

И. Ш.

Мой товарищ (и многие знают,
кого я имею в виду)
может, если захочет, пройтись
по Гефсиманскому саду,
или просто расслабиться на скамеечке
в Гефсиманском саду,
испытывая непривычную,
восхитительную усладу.
Я тоже хотел бы!
Но на счастье иль на беду
не могу оторвать себя
от этой земли безутешной...

Вот и сижу на лавочке
в приингульском Диком Саду
со своей библейской печалью,
со своей славянской надеждой.

Тем, что в моей душе, едва родившись, не засох наметившийся в отрочестве поэтический родничок, – я обязан, в первую очередь, Эмилю Январеву.

Здесь сгодились бы слова «учитель», «наставник», – если бы они не были столь поверхностны. Страшно представить, сколько творений начинающих авторов – стихоплетов, прозописцев, драмоделов – прошло через его руки. В литобъединениях, литстудиях, литкружках... Он отсеивал добросовестно («в грамм добыча, в год – труды»), он никого не обижал, поощряя к творчеству, возился с самыми безнадежными, терпеливо объясняя, чем рифма отличается от не-рифмы. Но своим безупречным поэтическим вкусом, абсолютным языковым слухом и нравственным чутьем выделял немногих – и для них становился заботливым старшим другом, более опытным коллегой, готовым помогать, ненавязчиво подсказывать, советовать, подталкивать.

Он, на самом деле, никого из нас не поучал и не наставлял. Во всяком случае, мы этого не замечали. Он с нами, более молодыми, как бы общался на равных. И, как мне теперь видится, тем поразительнее его педагогический талант, основанный на высочайшей внутренней культуре, такте, индивидуальном подходе. Одних, способных к самообучению, он собственным примером как бы подтягивал до своего уровня. Других, инертных, – подталкивал. А некоторых – неуверенных в себе, болезненно рефлексирующих – так тех, бывало, просто за уши тянул: пиши, думай, печатайся!

В нашем тихом провинциальном Николаеве, где до наступления новых времен нельзя было ни книжку издать, ни до столичного журнала достучаться, – именно благодаря Эмилю Январеву, его личности и поэтическому миру, рожденному им, – возникла в те застойные годы благодатная почва для произрастания поэзии. Таинственной энергетической сущности, подпитывавшей живые души и не дававшей зачахнуть росткам вольнодумия.

Для меня главным было его присутствие рядом. Даже незримое. Он, старший друг, уже взял свою высоту и тем самым как бы поднял для нас, следующих за ним, планку на довольно значительный уровень: хочешь, не хочешь – тянись! И мы тянулись, кто как мог. Это вовсе не означает, что мы подражали Мастеру, пытались копировать его. Нет, каждый брал свои уроки, оставаясь собой. Думаю, что эпигоны, бездумные подражатели были бы ему неинтересны.

Для меня Эмиль – это атмосфера поэтического половодья конца 60-х и экономные глотки внутренней свободы в обставленном красными флажками пространстве 70-80-х. Хотя он никогда не фрондировал, мы учились у него независимости суждений и ироническому взгляду на жизнь – на те самые красные флажки, которые ограничивали и его свободу. Он радовался приходу нового времени, но быстро перестал идеализировать его. Наперекор всеобщему ликованью по поводу безбрежной гласности и неограниченной свободы (которая очень быстро обернулась «беспределом»), Январев прозорливо и горько вздохнул:

Та свобода, что грезилась манной небесною,
Оказалась обманною черною бездною.
Не на это душа уповала,
Чтоб топтаться у края провала.
Да и к слову, которое вроде бы вольное,
Прикоснулась извечная голь безглагольная.
Исказились и звук, и основа...
Не такого хотели мы Слова.

С уходом Эмиля Январева ушла целая эпоха.

А он сам стал неотъемлемой частью биографии Николаева, его родного – от и до! – города. Уходящего в прошлое, как парусник в туман: города белых акаций и флотского шика, смачного южного слэнга и понурых работяг, щедрого базарного барокко и отпетой шпаны, самозабвенных трамвайных перебранок и жесткого прицельного прищура ГБ...

Города корабелов и поэтов.

Эмиль ЯНВАРЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

СТУДИЯ

Во Дворце пионеров работал –
Так однажды бюджет обязал –
И румяным девчонкам, ребятам
Назначенье стиха объяснял.
Был суров мой дотошный анализ,
Были прения
горячи.
А в соседнем кружке занимались
Барабанщики и трубачи.
Мы сплеча наши оды судили,
Посрамленный рыдал мальчуган.
Ну, а трубы свое выводили,
И стучал, и стучал барабан.
И, как дым, отлетали печали,
И невольно в ребячьей строке
Барабаны и трубы звучали
На бессонном своем языке.
За окошком
в летящей столбами
золотистой закатной пыли
трубачи невесомо ступали,
барабанщики тихие шли.

РАТНИК

Археологу В. Никитину

С Васи требуют выкупа
То легенда, то миф.
Вася давеча выкопал
Скифа.
Редкостный скиф!
Он лежал аккуратненько,
Представляя собой
Меченосного ратника,
Завершившего бой.
Он подхватывал ржавшего
Жеребца,
да за меч!
Только прах, только ржавчина
С тех безудержных сеч...

И дотоле робевшие
(Вася больно уж строг!)
на краю погребения
бабы стали в рядок.
Что поделать с крестьянками?
Их печаль, как полынь!
Гитлер шел по ним танками,
Вешал, хаты палил.
Успевали закапывать
Сыновей, мужиков.
Успевали оплакивать
Их
  на веки веков.
И хватило отстоянной
Той безгласной тоски
И на этого воина –
Как-никак земляки!

В ОБЩЕМ ВАГОНЕ

В общем вагоне, бегущем до Фастова,
дочь моя новыми песнями хвастала.
Пела,
к мешку прислонясь и корзине:
«Якби я мала крила орлині...»
В общем вагоне мы, в общем, не ропщем,
мы улыбаемся рекам и рощам.
Здравствуйте в мире, осенние хаты!
«Якби я вміла літати...»
Дочь моя милая, все-то я думаю,
так ли простились мы с бабою Дунею?
Там, в толчее, на базаре-вокзале,
расцеловались, да все ли сказали?
В общем вагоне, бегущем до Фастова, –
То-то колесного грохота частого,
То-то за окнами желти и дыму!
«Я полетіла б на Україну...»

* * *

Итак, отчалил сухогруз
от заводского пирса.
Он вдруг прозрел.
Вошел во вкус.

От наших рук отбился.
Простора местного ему
теперь, конечно, мало.
Скользит он медленно в дыму
рассветного тумана.
А там
морей турбинный гул,
соленых вод лавина.
И обрывается Ингул,
как будто пуповина.

* * *

До прощального грома, до ливня
равновесье
душой овладело.
Переполнена влагой давильня,
и в цене ремесло винодела.
Хоть бы малость еще погодила!
Но по ближнему холму-горбочку
осень сдвинула и покатила
ту беззвучную винную бочку.
Разлетелся
за обручем обруч,
развалились
сосновые донья,
и, зажмурившись, лес-оборвыш
смокчет это питье молодое.

ПРИМЕЧАНИЕ К ПУТЕВОДИТЕЛЮ

За окошком автобуса степь,
бесконечная, как поученье.
А у вас от друзей порученье:
на очаковский рынок поспеть.
Угадаете в самую рань,
позабудете пекло и тряску
и возьмете гремящую связку,
именуемую – тарань.
Золотистые спины детей,
о Невиданной Скумбрии споры.
Не поверите – даже заборы
здесь из старых рыбацких сетей.

Ими ловят зарю и закат,
в их ячейках
июльские ночи
оставляют ворсистые клочья,
и они на рассвете шуршат.
Описать обнаженность песка,
тень, бегущую косо от тента,
одного лишь не хватит оттенка,
одного недостанет мазка.

НАСТИНА ЮНОСТЬ

Если мартын высоту наберет
и с высоты опрокинется круто,
Федька Захарченко знал наперед:
это гуляет косяк баламута.
– Настя! – кричал он. – Да где же ты,
Насть?!
Брось огородничать, будь ты неладна!
(А в голове – только парус и снасть,
а в голове – только руль и шаланда).
Та под собою не чуяла ног,
не заводила пустых разговоров
и успевала собрать в узелок
хлеба краюху, яиц, помидоров...
Море шипело в прибрежном песке,
солнцем, и солью, и пеной блистая.
Где там таится, в каком далеке
голубоватая сизая стая?
Море казалось тогда молодым:
вылитый парубок! чистый рыбалка!
Вон уплывает в розовый дым
Федькина латаная рубаха.
Настя на волны кидалась, смугла,
грудь наполнялась волнением смутным.
Настя тогда молодою была.
Скумбрию звали тогда баламутом.

* * *

Длинные льдины Ингула
стали с утра на торец.
Это – начало загула,
это – дремоты конец!

Это с прикола сорвался
мартовский шквал-дебошир.
Это грачами Саврасов
рощу уже всполошил.
Это лазурь поднебесья
в душу надежду внесла.
Старая, скажете, песня?
Полноте – снова весна!

* * *

Свободный взмах весла
и яблонь доцветанье.
Еще одна весна
прощай и – до свиданья!
Грачиная возня
над белыми садами.
Еще одна весна
прощай и – до свиданья!
Сединка у виска –
намек из снежной дали.
Ещё одна весна
прощай и – до свиданья!

* * *

Наслаждаюсь водой проливною,
налетевшей, как вихрь, с высоты.
Что со мной приключилось?
Со мною
приключилась по-прежнему ты.
Август. Утро, подобное воску.
Как хочу, так его и леплю.
Ты забыла на кухне авоську –
я смотаюсь,
картошку куплю.
Молодухи-торговки
на рынке
разливаются, как соловьи.
Кто сказал это? Кажется, Рильке:
не пишите стихов о любви.

* * *

Мгла, и скиф, и кобылица
у дежурного огня-
это вроде небылица
для сегодняшнего дня.
Но творилось все сначала
под покровом темноты
у Ольвийского причала
возле стынущей воды.
Наобум летели листья,
и была ты ночью той
и огнем,
и кобылицей,
и наездницей лихой.

* * *

Так медленно светало,
как будто не хватало
кармина и лазури,
чтоб сумерек не стало.
И чайка у причала
прерывисто кричала,
и медленное эхо
те крики возвращало.
Как медленно тянулись
троллейбусы вдоль улиц!
Они из парка вышли,
но не совсем проснулись.
А годы промелькнули
в молниеносном гуле...
Мгновенно отсверкали!
Назад не повернули.

* * *

Вокзальное начало последнего исхода.
Воробушек озябший на ветке голубой.
Ну, кто снимался с места в такое время года?
Ну, кто придумал это дырявой головой!

А, может, мы рыдаем на станции конечной?
А, может, не уходят отсюда поезда?
Над головою нету звезды шестиконечной,
но – синяя, сырая, славянская звезда.
Осенний лист несется за паровозным эхом,
ладонь, как лист, трепещет и тянется вослед.
Один еврей уехал, другой еврей уехал,
евреев стало меньше, а счастья нет, как нет.

* * *

Мы жили
лишенные естества.
Мы были
на долгие времена
Иваны, не помнящие родства,
Абрамы, меняющие имена.
И разве мы этим
кому грозим,
когда у отческих алтарей
грузин вспоминает, что он грузин,
еврей вспоминает, что он еврей?

ПРИТЧА О СКРИПАЧЕ

Евгению Фишову

Долго жизнью он жил неподвижной,
неподъемно-застылой, булыжной,
друг мой едкий, поистине давний.
Но когда все рванули на Ближний,
он подался на Дальний!
Там, на самом краю океана,
вдохновенье его окунало
в серебристую пенную бездну.
Он играл. И струна окликала
всех знакомцев любезных.
Нас разваливать временем стало,
нас по хворой земле разметало,
нам нигде не найти благодати –
ни под сипы девятого вала,
ни под скрипку Амати...

БАЗАРНАЯ ПЛОЩАДЬ (1946)

Сочиняйте безмятежный стих,
воспевайте звездное мерцанье.
Я видал, как вешают живых,
и стоял потом
под мертвецами.
Прославляйте жизнь от сих до сих,
от слоистых запахов шалея.
Как вываливается язык
изо рта, поведать тяжелее.
... Друг мой видел Прагу и Бомбей,
и оливковые рощи Крита.
Я видал, как вешают людей.
Зрение мое по горло сыто.

* * *

Не уценяйте жизнь. Ну что вы, в самом деле!
Не скучно ль на одной о ней судачить ноте?
Хоть в ста очередях отстойте на неделе,
хоть изругайте вдрызг – другую не найдете.
Попробуйте забыть о новостях толкучки,
попробуйте смирить накат глухого гнева.
Да, пасмурно в душе. Да, мы дошли до ручки.
Но есть на свете свет, и есть на свете небо!
А если это так, при всей дороговизне
на разное шмутье, на яства и неяства,
давайте подтверждать, что жизнь дана
для жизни,
доколе суждена, дотоле и прекрасна!

СИРЕНЬ

Когда расцветает сирень
резная, как терем,
в нетронутый порчею день
мы сызнова верим.
Ей-богу, сегодня не в счет
былые утраты.
Рассветы пылают еще,
сгорают закаты.
И, выйдя с утра на крыльцо,
разбужены маем,
мы в мокрые гроздья
лицо,
зажмурясь, роняем...

* * *

Людмиле

Как золотисто расцвечен листочек!
Косо летит, а куда залетит?
Где же источник,
где же источник
света, который его золотит?
Облако тайной нездешней смущает
и скоротечной беспечной судьбой.
Где тот светильник,
что освещает
облака этого тонкий подбой?
Слепнет река от мерцанья сплошного,
льется сиянье кустов и травы...
О, неужели, любимая, снова
это извечные козни твои?

* * *

На все, как кисея, наброшен май,
Бежит тропа вокруг пруда ночного...
Она и он. А о любви – ни слова.
Перегорело.
Ангел мой, прощай!
Читаешь Бредбери?
Фантастику читай:
Тургенева, к примеру, Гончарова.

СЕНТЯБРЬ В ЕЛАНЦЕ

Дремотно и наобум
отчалила в ночь терраска.
На стол
водружен кавун,
хозяин зовет:
– Будь ласка!
Обряд хлебосольных встреч
в Еланце укоренился.
В мою залетает речь
ласточка украинизма.

* * *

Не жалую те времена,
но всё-таки здорово было,
когда молодая весна
во все свои трубы трубила.
Остыл тот горячий призыв,
увял тот размашистый лозунг.
Но – марево утренних ив,
но – птицы на ивовых лозах!
Но – синего неба обвал,
но – музыки тайная сила!
Наркоз, эйфория, обман...
А все-таки здорово было.

Рафаэль ЛЕВЧИН

МЕТАРЕАЛИСТЫ И ДРУГИЕ

Лиле

Фотоколлаж автора

I

– ...Могу рассказать, как я охотился в Африке на львов с Хемингуэем, а Эренбург подарил мне русский самовар. Могу рассказать, как я встретил в трамвае Павла Зурзмансора и что он мне сказал...

– Вы в самом деле знаете Павла Зурзмансора?

– Нет, – ответил Виктор. – Я пошутил.

А.Стругацкий, Б.Стругацкий. Гадкие лебеди.

Одно из придуманных Парщиковым созданий носило имя «павлик», и впоследствии мы часто употребляли его как синоним слова «дебил». Другое – «колощатка», гигантский кролик с колёсами вместо передних ног, обитающий в Австралии...

Мы познакомились с Алёшей в 1973 году. У него в комнате над кроватью висел выдранный (натурально, именно выдранный, а не вырезанный) из газеты портрет молодого Вознесенского. Когда я спросил его, знает ли он такого поэта – Мирослава Валека (его я в то время как раз начал переводить), Алёша обиженно ответил: «Откуда? Как ты думаешь, сколько мне лет?!».

Ему было около девятнадцати, а мне – двадцать семь...

В таком духе можно продолжать довольно долго – например, как мы вчетвером (я, моя жена, Алёша и его щенок-дог Прошка) однажды пили вино и заедали солёным огурцом, откусывая от него по очереди, в которой щенок был третьим. Вино хранилось в канистре для непищевых продуктов, и мы все слегка отравились.

Прошка, нельзя не отметить, был очаровательный пёс – величиной с небольшую пантеру, с хвостом как стальная пружина, с торчащими ушами, которые догам почему-то полагается подрезать и которые Парщиков подрезал ему как-то не так. Впоследствии, когда Алёша перебрался в Москву, Прошка попал к другому хозяину, переименовавшему его в Поля.

«...Звала Полиною Прасковью...»

Я сижу («...в своём саду, горит светильник...») за компьютером и набираю этот текст. Набираю, а не пишу. При нашей последней встрече с Парщиковым в Чикаго, где я обитаю с 91 года, он спросил, какой у меня компьютер, и прыснул на мой ответ, что, мол, пишу по старинке от руки... Кажется, и тут выходит не по-моему. Вставленный в тот же компьютер лазерный диск выдаёт крики дельфинов – надо полагать, брачного периода...

Не проще ли, однако, взять то, что уже есть – мою же статью «Карлос Кастанеда как зеркало такого себе андеграунда»[1], и от неё отталкиваться? Там и эпиграфы покруче, вот хотя бы этот, из Брюсова: «...И лучший друг пришёл к кровати,// И бормоча слова проклятий,// Меня ударил по лицу...».

Хотя мне сейчас кажется более подходящим такой эпиграф:

«Поэты Иван и Илья пьют водку.

Иван говорит:

– Пушкин действительно великий русский поэт.

– Действительно, – говорит Илья, – великий поэт.

Но тут кончилась водка...»[2]

Любопытно, речь о Жданове и Кутике, или это случайное совпадение имён?[3]

Итак, цитирую свою статью:

«О существовании Кастанеды пишущий эти строки впервые узнал от киевского поэта Игоря Винова, впоследствии идейно сблизившегося с организацией «Память» и схлопотавшего за это отнюдь не символический пинок в зад от московского поэта Александра Ерёменко, если, конечно, не преувеличивает рассказавший всё это шведский[4] поэт Илья Кутик. (Как заметил по другому поводу Парщиков: «Всё, что рассказывает Кутик, надо делить на шесть кутиков... ибо мы с Ильёй очень любим приврать!»)

В стихах того же Винова впервые встретил пишущий (в дальнейшем для краткости п.) и слово «андеграунд» (именно в таком написании, коего и поныне придерживается), но спросить о его значении тогда постеснялся. Винов был уже очень продвинутым, уже и Ницше читал, а п. ещё нет. Впрочем, не столь уж много времени спустя п. стал осознавать и себя частью оного андеграунда и тем хвастать, как дурень – молодой женой...».

Ещё один анекдот. Однажды мы с Виновым и его однокурсницей (для меня это был, кажется, третий курс Литинститута, для него, значит, второй) ехали в подмосковной электричке. Девица положила ноги на противоположную скамью. Сидевшая в том же вагоне поддатая компания сделала ей замечание. Слово за слово, и они кинулись нас бить. У Винова были длинные, спадавшие до плеч волосы из-под шляпы. Ему бросили: «Ну, ты, поп, отойди!» – и Винов скромно отошёл, оставив меня с толпой один на один. Я – тоже, что и сказать, ума палата – упёрся ладонью в физиономию ближайшего ко мне нападающего и как-то, абсолютно того не желая, ухитрился расцарапать его ногтями до крови. Как – поныне понять не могу. Допустим, у меня были нестриженые ногти, но не до такой же степени! Так или иначе, увидев кровь, нападающие мгновенно превратились в жертв нападения и завизжали: «Он ему глаза выцарапал! Милиция!! Милиция!!!»

Тут же, как чёртик из табакерки, появился молодой милиционер, но, к счастью, он сразу увидел, что они пьяны, а мы трезвые, и посоветовал разойтись подобру-поздорову...

«...но это было позже, а тогда Винов, вручая п. пачку машинописных листков (умереть и не встать, сколько всего поколение п. читало в самиздате! первым, что припоминается, была «Оза» – и кто сегодня на трезвую голову поверит, что когда-то Вознесенского читали в самиздате?!) с завлекательным названием «Сказки о силе», строго предупредил:

– К этой книге надо отнестись всерьёз. Не просто как к литературе...

П. отнёсся – и продолжает относиться – очень всерьёз, тем не менее именно как к литературе. Как к литературе, относится п. также к Библии, Дхаммападе, Ригведе, Эдде и так далее. Сакральность не отменяет и не заменяет литературных достоинств[5].

Возвращаясь к «Сказкам» – уже после того, как п. их прочёл, выяснил, что это, условно говоря, том четвёртый, нашёл постоянный источник Кастанеды и стал его усиленно пропагандировать среди друзей, знакомых и недругов, которых уже тогда было немало... – в совпечати появилось первое упоминание: в журнале «ВопЛи»[6] среди прочих родимых пятен буржуазной культуры были названы «психоделические романы Карлоса Кастанеды». Любопытно, что первый, ещё рукописный, сборничек поэта Парщикова, подаренный им некогда п., ныне утраченный и практически предвосхищавший всё, что есть интересного у концептуалистов, назывался «Психоделики»[7].

Итак, параллельно с погружением в мир Кастанеды, пересекающийся с мирами «Центра циклона», «Похождений вынужденного мессии»[8] и т.п., падавшими, в свою очередь, на почву, взрыхленную Судзуки (кажется, «Железная флейта» была раньше всех), происходило всё большее отождествление себя с миром андеграунда. В данном контексте это означает – альтернатива официозу, что опять-таки понималось более чем широко. Кастанеда мощно овладевал умами и давал причудливые результаты, на которые сам едва ли рассчитывал. Возможно, будущие исследователи ещё определят степень влияния Кастанеды в том, как и когда поколение п. стало «выключаться» из мира, в который оно было «включено», и уходить в дворники, истопники, сторожа, монтировщики декораций, натурщики... С точки зрения п. Кастанеда стал для его поколения тем же, чем для пресловутых шестидесятников – Хемингуэй: учителем мужества, иронии и самоуглубления. В значительной мере благодаря Кастанеде* поколение п. смогло понять издевавшихся над Хемингуэем Воннегута и Дыгата.

Переходя от всего поколения к сравнительно небольшому сообществу, а именно к группе, к которой принадлежал некогда и п., и все упомянутые выше поэты,..», прерву автоцитату – другой автоцитаты ради (из неоконченной книги «НУ, НЕТ!», глава «Автоинтервью», 89-й год):

«...пишу чуть ли не с тех пор, как себя помню... Окончил Литинститут. Вольнослушатель Восьмого Всесоюзного Совещания молодых писателей, где услышал: «...печатать будем тогда, когда научится писать то, что нам надо**...». Входил в группу по-

* Интересно было бы исследовать, кто имел большее влияние на умы XX столетия: Ницше или Кастанеда. (Ю. Проскуряков).

** Я тоже участвовал не то в 5-м, не то в 6-м совещании. Дело было так. Я узнал о нём, когда уже всё было сформировано и попасть в число участников теоретически было нельзя. Это и по сей день общая практика оттирания всех «не своих». В те времена путь в писатели был через такие совещания, теперь это разные букеры и т.н. «творческие союзы», которые занимаются чем угодно, кроме творчества. Так вот. Я узнал через кого-то, что в оргкомитете этого Совещания состоит Василий Шабанов, работавший в то время в ЦК ВЛКСМ, бывший гл. редактор саратовской газеты «Заря Молодежи». Я с ним не был знаком, но понадеялся на «авось». И вот мы с Николаем Бортуновым приезжаем, я звоню в ЦК, узнаю номер Шабанова, дозваниваюсь до него и представляюсь: мол, земляки приехали, опоздали вписаться в стройные ряды пишущей молодёжи. Шабанов, не раздумывая, записал нас в семинар к К. Кулиеву.

этов, которая существовала примерно с 76-го по 82-й, сменив за это время несколько названий: «апокалиптики», «энтээр-пантеисты», «постфутуристы»*. Входили Игорь Винов, Александр Ерёменко, Илья Кутик, Алексей Парщиков, Юрий Проскуряков, Александр Чернов, примыкали Юрий Арабов, Александр Волохов, Иван Жданов, Виктор Зуев, Олег Мингалёв, Владимир Мирзоев, Владимир Потапов и др.** Группа распалась по инициативе Парщикова. Заикающийся термин «метаметафористы» появился позже... Было время – я стыдился того, что чуть ли не единственный из группы не вышел в печать. Потом стал гордиться: дескать, не «продался»... хотя у меня нет никаких доказательств, я могу только предполагать это, зная мир «литературной мафии»... Ну, вот косвенное доказательство: в киевском журнале «Радуга» печатают стихи Парщикова, а вскоре в журнале «Юность» появляется хвалебная рецензия Парщикова на сборник стихов Мезенко, заведующего отделом поэзии «Радуги». Хотя Парщиков не хуже меня знает, что Мезенко – не поэт, а графоман, облечённый небольшой властью...*** Ничего не поделаешь, за выход в печать надо платить. Те немногие вроде меня, кто этого делать не умеет, обречены не вписаться в систему.

– То есть если бы ты умел...

В этом семинаре также руководили Д. Кугультинов, поэт-фронтовик-танкист, имя которого я забыл, и гл. редактор «Нашего Современника» Валентин Сорокин. Мы с Бортуновым были там явно белые вороны, но нас, как представленных функционером из ЦК, не выгоняли. Только при обсуждении сомневались, стоит ли нам заниматься литературой. Особенно мне. Кулиев с Кугультиновым даже вспомнили, как они учили писать Окуджаву, который после их дружеской критики уехал простым учителем в провинцию и там, следуя их мудрым советам, овладел-таки правильными музами... В один из дней В. Сорокин вывел нас в коридор и чётко сформулировал, что мы ребята неплохие, но нам надо писать то, что они, руководители наши, нам скажут, а не заниматься этим еврейским сочинительством. Тогда, мол, всё у нас будет... Уже позже ходили слухи о том, что в «Нашем Современнике» царит коррупция и В. Сорокин берёт взятки за публикации разных там якутов. Также помню, что в этом же совещании участвовал И. Жданов, в семинаре не то у А.Битова, не то у Е.Евтушенко. (Ю.П.).

* Я вообще ни разу не слышал название «апокалиптики». (Ю.П.)

Его придумал Парщиков, второе название – К.К., в конце семидесятых, а затем я – третье. (Р.Л.).

Как ты думаешь, у концептуалистов когда-нибудь менялось название, а если нет, то как могло случиться, что возник термин, без ясно очерченной группы, без выступлений критиков и теоретиков? Просто подражание Западу или чья-то невидимая руководящая рука? (Ю.П.)

Далась тебе эта невидимая рука! У них было название «Московское время»... «ґруппа ЁПС»... что-то ещё... Впрочем, сейчас вроде считается, что старшие концептуалисты (Холин, Сатуновский, Сапгир, Некрасов) входили ещё в лианозовскую группу, а потом пришли молодые хищники и перетянули одеяло на себя. Ты мог бы подробнее узнать об этом у Балла. Интересно, что Некрасов не выносит Пригова совершенно так же, как и я. Вообще-то попадаются и среди младших концептуалистов талантливые люди, только тратящие свой талант, как Кибиров, на проституцию – но Пригов враждебен таланту в принципе! (Р.Л.)

** Я бы добавил сюда Шерстюка и Казимирова (которого ты не знал, но и я ведь не знаком с Арабовым), а также Драгомощенко, Кальпиди, Аристова и Даенина, который сам утверждает, что принадлежал, хотя ни ты, ни я с ним не были знакомы. (Ю.П.)

Ох, Брайнина мы забыли! (Р.Л.)

*** Здесь мне не всё понятно. А если бы Мезенко был творчески состоятельным? Разве это что-то меняло бы? (Ю.П.)

Это было бы всё-таки не ТАК пошло. (Р.Л.)

Или предположим, что Парщиков хвалит Мезенко искренне, но не как поэта, что для Парщикова не имеет ни малейшего значения, а как успешного литфункционера. Когда же он утверждал, например, что я не поэт, это означало всего лишь, что я не функционер. Понимая это, я считаю, что Парщиков занимался не поэзией, а имитацией поэзии для преуспевания в литературе. Ему не повезло – он не преуспел. Функционера из него не вышло. А к поэзии он равнодушен. Можно только сожалеть о судьбе этого способного человека. Хотя и сожалеть не стоит. Игрок знает, что может проиграть. (Ю.П.)

В чём, собственно, он проиграл? Он написал большой корпус текстов. Лучшее из написанного им останется. Мало? Ему – может быть. Но почему мы должны принимать его критерии? (Р.Л.)

– К стыду моему, боюсь, что да. Я не святой, не аскет, не боец... я просто пишу стихи и хочу, чтобы у них был читатель...».

Конец цитаты, возвращение к предыдущей: «...а также многие неупомянутые, нельзя не назвать особо великолепного Юрия Проскурякова, быстро ставшего в группе кем-то аналогичным Кастанеде. Во всяком случае, его тексты были не менее многочисленны и загадочны. Взять хотя бы его поэму в письмах «Полифем»... хотелось бы надеяться, что она не утрачена...».

(В моём компьютере какая-то загвоздка: букву «з» он печатает удвоенной, а то и утроенной, приходится всё время править. Это вполне типично для моих отношений с техникой. Так что всё-таки выходит по-моему.)

О Проскурякове надо, конечно, сказать гораздо больше.

«Ну, ты-то понимаешь, что лидеры в группе мы с тобой!» – заявил Парщиков мне как-то. И хотя мне уже тогда было наплевать – пусть и не до такой степени, как сейчас – на какое бы то ни было лидерство, но совсем не было безразлично, что думает обо мне Алексей. Лишь годы спустя я понял, что другим он говорит, с некоторыми вариациями, примерно то же самое.

Продолжу автоцитирование: «...читая Кастанеду впервые несамиздатного, п. испытал сложное чувство радости и огорчения сразу. Привыкши к пиратским, непрофессиональным переводам Кастанеды, часто весьма далёким от литературного русского, п. не столь уж легко освоился с более литературизированным вариантом...

«Место, которое занимает миф в ряду других видов языковых высказываний, прямо противоположно поэзии, каково бы ни было их сходство. Поэзия необычайно трудно поддаётся переводу на другой язык, и любой перевод – искажение. Напротив, ценность мифа нельзя уничтожить самым плохим переводом. Как бы плохо мы ни знали культуру народа, создавшего миф, он всё же во всём мире любым читателем будет восприниматься как миф... Миф – это язык, но этот язык работает на самом высоком уровне, на котором смыслу удаётся отделиться от языковой основы, на которой он сложился...»[9]

Конечно же, писания Кастанеды – это мифологические романы. Независимо от степени их документальности. Иначе говоря, это овладение внелогическими, иррациональными коммуникациями.

«Суждения дона Хуана казались произвольными, нелогичными. Я не мог представить жизнь, лишённую упорядоченности. Не хотелось кривить душой и соглашаться с ним просто так. Жить так, как он предлагает, – невозможно...»[10].

И вот, на протяжении лет, пришедшихся на относительную молодость и время существования группы, проходя по этим многим томам, каждый из которых повествует о тех же событиях по-иному, порой просто отрицает то, что было рассказано в предыдущем (ср. «Всё в этой книге – сплошная *фома*!»[11], «Всё сказанное в этой книге может оказаться и ложью...»[12], «А вы знаете, книги, что вас уже больше, чем людей?»[13] и т.п.) п. стал – весьма ещё смутно и медленно – осознавать нечто.

«То, что мы делаем, – бесполезно. Но прежде мы должны знать, что наши действия бесполезны, и всё же мы должны их продолжать, как если бы этого не знали. Это КОНТРОЛИРУЕМАЯ ГЛУПОСТЬ МАГА...

Твои поступки кажутся тебе важными, потому что ты научился думать, что они важны.

Человек знания... знает, что он, так же, как кто бы то ни было, не идёт никуда. Он знает, что нет ничего более важного, чем что-либо ещё. Он не имеет ни чести, ни величия, ни имени, ни страны, – а только жизнь, чтобы её прожить... И человек знания

предпринимает усилия, и потеет, и отдувается, и если взглянуть на него, то он точно такой же, как и любой, за исключением того, что глупость его жизни – под контролем.

При том, что ничего не является более важным, чем что-либо ещё, человек знания выбирает поступок и совершает его так, как если бы последний имел для него значение.

Но он знает, что это не так.

С другой стороны, человек знания может выбрать быть пассивным и никогда не действовать, как будто быть пассивным имеет для него значение. И это также будет контролируемая глупость.

Он любит кого хочет или что хочет, но он использует свою контролируемую глупость, чтобы не заботиться об этом...»[14]

Принадлежность к андеграунду и к определённой группе, гордость по этому поводу – такая же глупость, такие же выброшенные на ветер силы, время, жизнь, как, например, колошмаченье головой об стенку в стремлении пробить её и напечататься. Как утверждает дон Хуан, не потому воины выигрывают свои битвы, что бьются головами о стены, а потому, что берут эти стены штурмом.

– ...К тому, что случилось, отнесись серьёзно. Вчера ночью ты встретился с силой, вступил в грандиозную битву...

– Но ведь на самом деле никакой битвы не было?

– А что вообще есть «на самом деле»? – невозмутимо спросил дон Хуан...»[15].

Прервусь – опять ради другой цитаты, на сей раз из присланной

Парщиковым книжки «Переписка»:

«...если говорить о поэтах близкого мне склада, то очевидно, что там всё ещё впереди, потому что для объезда тех мощностей, которые получили раскачку просто до одурения подкожным языком, нужно физиологическое взросление, и, подобно итальянским герметикам или новогреческой плеяде, они получат выразительность на других возрастных ступенях, чем те, кто набрёл на материал с более мягкими углами и решениями... Не оплошно и Володя Аристов употребляет слово *школа*, а не *направление*, т.е. консталляция обретёт полноту только при возникновении учеников, и мне интересно, достигнет ли банда такой кульминации и в какой неожиданной форме появятся пресловутые ученики...».

Банда – выражение, которое я впервые услышал от Парщикова в его приезд в Чикаго. Не сразу привык.

Похоже, однако, что это не в бровь, а в глаз. Случайных оговорок не бывает.

Но в той же книжке, чуть раньше, Парщиков заявляет: «В Москве у художественной среды исчезли последние намёки на сопротивление, и многие оскотинились. Я никогда не представлял себе Москву такой соглашательской, культуру без андеграунда и авангарда... Художнику необязательно взвинчивать своё достоинство, отказываясь от денег, но жаль, что ни в каком виде ценность неангажированности не существует...».

Надо будет ещё вернуться к этому заявлению.

Возвращаюсь покамест к своей статье:

«Перечитывая сегодня, например, статью А. Ровнера и В. Андреевой «Третья литература»[16] с безудержными самовосхвалениями: «...время выхода задавленных духовных энергий», «...можно поражаться молодой упругой энергии, алертности[17], чуткости... Поразительна была та щедрость, с которой знающие делились с непосвящёнными, поразительна была готовность непосвящённых слушать знающих и следовать за ними...», «для тех, кто впитал Лао Тзе, Дхаммападу и Библию, советская жизнь была несуществующим миром беспамятства и абсурда», «...область трансцедентного становится магнитным центром и главным объектом внимания художника-метареалиста...», «...и в стенах

воздвигнутого ими мифа... уже живёт и утверждает себя новое время, новый эгрегор...» и т.п., и т.д. – хочется повторить слова дона Хуана, сказанные после того, как Карлос прочёл ему отрывок из «Тибетской книги мёртвых»:

– Не понимаю, почему эти люди говорят о смерти, как о жизни.

Глупо было бы плевать на своё прошлое, открещиваться от своей принадлежности к андеграунду. Но ещё глупее не признавать, что наш специфический советский андеграунд – лишь уродливое отражение не менее уродливого официоза. Раб, представляющий себе справедливость как возможность оказаться на месте рабовладельца. Короче, чума на оба дома ваши! Много ли радости от того, что вместо Веры Пановой всюду стали печатать Леру Нарбикову?

Впору писать памфлет «Кадавр».

В конце одной из книг Кастанеды ученики дона Хуана должны прыгнуть в пропасть, чтобы либо погибнуть, либо, если накопили достаточно мастерства, перейти на другой уровень, что и происходит с большинством из них.

Если для поколения п. вопрос об отношении к официозу был непрост и выражался спектром от тотального отрицания до частичного приятия, то для следующего поколения этого вопроса не существовало. Юная художница и поэтесса Юля Кисина (впоследствии, как и Парщиков, перебравшаяся в Германии) всерьёз верила, что может стать ведьмой, и очень этого боялась. Зато на мучительный вопрос отвечала уверенно и исчерпывающе: «Продаваться не стыдно, как не стыдно есть и испражняться!».

Проведя часть жизни в попытках стать своим в официозе и убедившись в невозможности этого, другую часть – в попытках стать своим в андеграунде и осознании бессмысленности этого, ещё одну часть – в глупой гордости тем и этим (мол, воробьи летают стаями, одинокими – орлы...), п. только теперь смог убедиться, что у него, как сказано в книге «Огонь изнутри», нет ничего, что нужно было бы защищать, и научившись у Кастанеды только «остановке внутреннего монолога» (да и то не полностью – или, вернее, полностью, но, как известно, не до конца), вспоминает слова пятнадцатилетней давности, сказанные негодующим другом:

– Ну, и чем ты так восхищаешься у Кастанеды? Что тебя в нём поразило? Всё равно, как если бы ты пошёл в лес, выкопал ёлку, принёс домой, посадил в кадку и обнаружил, что она – пахнет!..

Тогда п. не нашёл, что сказать. Сегодня ответил бы так: религия и искусство произрастают из одного корня – магии. Если бы Гёте мог вызывать демонов, ему не надо было бы придумывать Фауста. Не случайно ведь, как подмечено в книге «Сила безмолвия», поэты неосознанно тяготеют к миру магии; а поскольку они не являются магами, тяготение – это всё, что у них есть...».

...Цитировать – особенно самого себя – легко и приятно. Труднее писать остранённо-сдержанно, даже сейчас, столько лет спустя. Сам в который раз пытаюсь понять, почему.

Нужно ли вообще об этом? Может, лучше только о стихах?

В 1984 году я встретил на улице в Киеве Игоря Винова. Группа уже прекратила существование, но мне тогда было свойственно хранить тёплые воспоминания о ней (отчасти этим объясняется сей текст, хотя сантиментов давно нет и в помине). Итак, остановились потрепаться. Винов тут же стал мне показывать литинстутский альманах «Тверской бульвар», в котором его напечатали, и рассказывать о каких-то других готовящихся публикациях. Порассказывав так минут двадцать, он спросил:

– Ну, а у тебя что?..

– А у меня по-прежнему ничего, – ответил я.

И тогда Винов произнёс фразу, которую не забуду и в аду:

– Ну, старик, я же не виноват, что я не еврей!..

И в самом деле – он же не виноват!

А кто виноват? И что делать?..*

Именно Винов попытался возродить группу лет через пять после этого разговора. Пригласил меня и какого-то странного юношу, чью фамилию я и не пробовал запомнить, в подвал, который он только что получил во временное пользование – в те занятные перестроечные годы это было просто. На первые же его слова о «группе» я ответил: «Игорь, если ты станешь на улице и будешь кричать: «Ребёнок, родись!» – он от этого не родится!».

По слухам, которые позже стали циркулировать по Киеву, Винов был в это время связан со, скажем так, специфической группой, якобы изучавшей ритуалы и сотрудничавшей с «конторой». Не думаю, впрочем, что это правда. Меня, кстати, в химерном городе Киеве органы склоняли к сотрудничеству – перед самым отъездом. Им очень хотелось иметь свои глаза и уши в Независимом Профсоюзе литераторов (среди организаторов которого был и я и который, как водится, превратился впоследствии в «союз воров в законе», как выразилась поэтесса Наташа Дорошко – ныне, увы, не среди живущих). К счастью, это был уже 91 год, когда надавить посильнее они как бы стеснялись.

И вот недавно мне прислали из Киева статью Игоря – весьма доброжелательный, но и весьма виновский отзыв[18] на мою книгу «ВОДАогонь»:

«...Рафа, как и любого живого поэта, вечно окружали представители бытовой магии и неплохо проводили время. И в Киеве, и в Москве он находился в зоне авангарда, которая сегодня превращена в площадку экономического и метафизического заговоров (именно культурологическая и критическая неуловимость авангарда, его связь с бытийствованием и духом времени, в XX веке – веке безвременья – оказались абсолютно значимыми в поле гиперреализации симулякров и контроля над арт-рынком). Поэтому современный художник-авангардист вынужден противостоять не только эстетизированному обывателю с его стереотипами «прекрасного» и самого средоточия авангарда – «возвышенного», но и культурно-экономическому клану, в который входят и сами собратья по перу. Раф, как мне видится, зачастую не рефлексировал социально-культурные контексты и не всегда осознавал игры, в которых участвовал, но никогда не изменял своей поэтической позиции и (вольно или невольно) магической десимуляции.

Эстетический радикализм выстроил Рафа как поэта, поэтическое событие и личную онтологию вопреки культурной ситуации и вопреки его собственным теоретическим посылкам. Именно это качество, прежде всего, определяет феномен личности Рафа...»[19].

Парщиков люто возненавидел Винова ещё при жизни группы, где-то в начале 80-го года. Дело в том, что в журнале «Литературная учёба» (каким роскошным нам казался

---

* Не понимаю, что тебя так поразило в этой фразе, совершенно подобной: «Старик, ну я же не виноват, что ты еврей!». Тогда тебе пришлось бы сказать: «Нет, на самом деле он виноват. Потому что «еврей» в таком контексте фиксирует принадлежность не к этносу, но к культурному типу». Винов виноват вдвойне: и потому, что не принадлежит, и потому, что провоцирует. Второй же твой вопрос чисто риторический. Помнишь ведь, было же сказано: «...нет ни эллина, ни иудея...». Проблема «что делать» – это проблема Винова. Не власть нам нужна, а мы нужны власти. (Ю.П.)

Мы? Власти?! (Р.Л.)

Вот именно. Как им без нас её осуществлять? Даже этот текст, который мы составляем из рваных кусков памяти, вызван тем, что мы необходимы власти. Как бы мы узнали, что есть свет, если бы не было тьмы? Власть нас порождает, и мы ей необходимы, до той поры, пока принимаем какое-либо участие в общественных машинах. А литературное творчество – это одна из таких машин. (Ю.П.)

Вероятно, ты прав. Но меня это не радует. (Р.Л.)

тогда этот журнал, как мы хотели там напечататься! – и Алексей напечатался-таки, его поэма «Новогодние строчки» появилась там, почти без купюр, только слово «Кришна» заменили словом «рикша», и Парщиков якобы сострил: «Почему не Мойша?») поместили статью Винова. Решительно не помню, о чём была эта статья, помнится лишь одна фраза: «Открываю дверь – на пороге стоит поэт с украинской фамилией и арапским профилем...».

Казалось бы, что ж тут плохого? Но Парщиков решил, будто Винов таким образом доносит на него, что он – еврей!!!

Надо было, конечно, обладать незаурядным воображением Алексея, чтобы решить, что речь идёт именно о нём (с каких пор «Парщиков» – украинская фамилия?), не говоря уж о весьма спорной ассоциации арапского профиля с еврейством (видимо, через Пушкина и его окаянное эфиопство?) – но переубедить Алёшу не удалось. Полагаю, это ускорило распад группы (инициатива в этом, как уже было сказано, принадлежала Парщикову)*.

Вообще Алёше всегда было свойственно верить, что за ним непрерывно охотятся спецслужбы. Ещё со школьных лет в Донецке у него был друг, некто Вася Чубарь. Этот Вася считал Парщикова – тогда просто Сэнтика (школьная кличка Алёши, и как-то я не удосужился спросить, а что, собственно, это значит...) – великим русским поэтом (аббревиатура ВРП), а себя соответственно называл *сэнтиковедом*. По идее, радоваться надо, что имеешь такого почитателя – но Алёша пребывал в полной уверенности, что Вася следит за ним по заданию КГБ! Так продолжалось до тех пор, пока Чубарь в середине семидесятых не свалил в Америку. Самое время было рассмеяться над своими страхами, но Алёша заявил, что, несомненно, Васька уехал по заданию!.. ну, в самом деле, кого сейчас выпускают? а вот его почему-то сразу выпустили, ага!**

Тем не менее Алексей посвятил Чубарю ещё в бытность последнего в Союзе прекрасное стихотворение, начинающееся:

Как впечатлённый светом хлорофилл,
от солнца образуется искусство,
произрастая письменно и устно
в Христе и женщине, и крике между крыл.

---

* Если ты считаешь эту статью такой важной, то хотелось бы восстановить её текст. Упоминается ли там группа? В каком контексте упомянут Парщиков помимо арапского профиля? Между прочим, при последней встрече я ему вскользь: «Ну вот, опять стал слегка смахивать на Пушкина». У него секунду был такой вид, как будто его вот-вот вырвет. Может быть, это его ахиллесова пята. И главная цель жизни Парщикова так изменить свою внешность, чтобы уже ничуть не походить на Пушкина. Что ж, в целом ему это удаётся. (Ю.П.)

Содержание статьи, как уже сказал, не помню, но она была не о группе. Упоминаю о ней только затем, чтобы показать, как начался (формально) распад. Что до внешности, то Парщиков в 79-м пробовался на роль Пушкина в каком-то фильме. Можно предположить, что это не самые приятные его воспоминания. Кино, как и театр, – часто хрустальный дворец снаружи и помойка внутри. (Р.Л.)

Да, я помню этот эпизод. Он рассказывал, что пришёл на киностудию, где была длиннющая очередь пробующихся на Пушкина негров. (Ю.П.)

** Видимо, Парщиков и Ерёму заразил своими страхами. Перед отъездом Чубаря в Америку Ерёменко прислал мне паническое письмо: мол, если Чубарь запросит у меня мои тексты, так чтобы я ему их ни в коем случае не высылал, а то после будут неприятности. Позже, уже после отъезда Чубаря, я спросил Ерёменко об этом инциденте, и он сказал мне, что Чубарь собрал огромную библиотеку тогдашнего самиздата, но перед отъездом её пришлось уничтожить, и якобы он, Ерёменко, в этом лично участвовал. Неплохо бы у самого Чубаря узнать про эту историю. Он, кажется, живёт в Нью-Йорке. (Ю.П.)

Так мне во сне сказал соученик,
предвестник смуглых киевских бессонниц...

И заканчивающееся:

...блажен, кто в сад с ножом в руках проник
и срезал ветку гибкую у сада.

А на ноже срастались параллели,
и в Судный день они зазеленели.

В сборнике Парщикова «Выбранное», лежащем передо мной (дал почитать Кутик), стихотворение напечатано без последнего двустишия. Но я-то его помню таким. Примерно в это же время он написал:

О сад моих друзей, где я торчу с трещоткой
И для отвода глаз свищу по сторонам!
Посеребрим кишки крутой крещенской водкой,
Да здравствует нутро, мерцающее нам!..

А также:

Сменились имена, пока, сияя каской,
Оглядывал холмы угрюмый Ахиллес.
Промасленный шатун с копьём наперевес,
Скучает без тебя небесная коляска!..[20]

Одно из самых моих любимых (очень близкое, как будто мне посвящённое) парщиковских стихотворений этого периода:

СЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ

Когда, бальзамируясь гримом, ты, полуодетая,
думаешь, как взорвать этот театр подпольный,
больше всего раздражает лампа дневного света
и самопал тяжёлый, почему-то двуствольный.[21]

Плащ надеваешь военный – чтобы тебя не узнали –
палевый, с капюшоном, а нужно – обычный, чёрный;
скользнёт стеклянною глыбой удивление в зале:
нету тебя на сцене – это ж всего запрещённей!

Убитая шприцем в затылок, лежишь в хвощах заморозки –
играешь ты до бесчувствия! – и знаешь: твоя отвага
для подростков – снотворна, потому что нега –
первая бесконечность, как запах земли в причёске.

Актёры движутся дальше, будто твоя причуда
не от мира сего – так и должно быть в пьесе.
Твой голос целует с последних кресел пьянчуга,
отталкиваясь, взлетая, сыплясь, как снег на рельсы...

(Насколько приятнее цитировать стихи, чем рассказывать о *нестихах*! Но нестихов всегда больше. Впрочем, из них-то, как известно, стихи и растут, не ведая...)

Однажды Алексей пришёл ко мне домой и показал новое стихотворение. Прочитав, я заявил:

– Что ж, старик, здорово!

Он чуть помялся и попросил:

– Слушай, пойди ещё Лиле покажи, что она скажет?

Я послушно пошёл на кухню, где моя жена приуготовляла для нас скромную закуску, и протянул листок:

– Вот, Лёша стих написал, хочет знать твоё мнение...

Прочитав, она уверенно сказала:

– Ну что – гениально!

Вернувшись к Алексею, я успокоил его:

– Старик, Лиля говорит: «гениально»!

Алёша облегчённо вздохнул и, ухмыляясь своей неподражаемой плотоядной улыбкой от уха до уха, заявил:

– Ну, дай ему бог!

Это было стихотворение «ПСЫ»:

Ей приставили к уху склерозный обрез.
Пусть пеняет она на своих вероломных альфонсов,
пусть она просветлится, и выпрыгнет бес
из её оболочки, сухой, как январское солнце.

Ядовитей бурьяна ворочался мех,
брех ночных королей на морозе казался кирпичным,
и собачий чехол опускался на снег
в этом мире двоичном.

В этом мире двоичном чудесен собачий набег!
Шевелись, кореша, побежим разгружать гастрономы!
И витрина трещит, и кричит человек,
и кидается стая в проломы.

И скорей, чем в воде бы намок рафинад,
расширяется тьма, и ватаги
между безднами ветер мостят и скрипят,
разгибая крыла для отваги.

Размотается кровь, и у крови на злом поводу
мчатся буйные тени вдоль складов,
в этом райском саду, без суда и к стыду,

блещут голые рыбы прикладов.
После залпа она распахнулась, как чёрный подвал.
Её мышцы мигали, как вспышки бензиновых мышек.
И за рёбра крючок поддевал,
и тащил её в кучу таких же блаженных и рыжих.

Будет в масть тебе, сука, завидный исход!
И в звезду её ярость вживили.
Пусть кусает и лижет она небосвод,
одичавший от боли и пыли!

Пусть, дурачась, грызёт эту грубую ось,
на которой когда-то срастались
и Земля, и Луна, как берцовая кость,
и, гремя, по Вселенной катались.

(Удивительно, как много Парщикова я помню наизусть[22]. Правда, я вообще много всего помню... как сказал тот же Парщиков: «Почему я должен помнить какого-то деда Щукаря?!»).

В этом стихотворении, как я его понимаю, образ Богоматери претерпевает следующее унижение: после блоковской пьесы «Незнакомка» Богоматерь становится уже даже не проституткой, а бешеной сукой, предводительницей стаи бродячих собак, но затем, как и у Блока, возвращается на своё место – недосягаемой звезды.

В предисловии к сборнику «Выбранное» (1996) Парщиков говорит о трёх предыдущих книгах (1986, 1989 и 1995). Поскольку я не имел о них ни малейшего понятия, стало быть, после 84-го (встречи на Восьмом Всесоюзном Совещании) мы не пересекались и не общались.

Впрочем, нет, была ещё как минимум одна встреча в Киеве. Он явился ко мне домой вместе с неким Лавриным, сотрудником журнала «ЮНОСТЬ», и с порога сообщил ему: «Смотри, здесь ты у самой колыбели метаметафоризма!» – на что я возразил: «Извини, Парщиков, но к вашему *метамета* я не имею никакого отношения!».

Моя реакция в тот момент была: не хватает ещё, чтобы он меня демонстрировал в качестве ступеньки лестницы своей карьеры!

К слову, Лиля ещё очень давно предупреждала меня, что Алексей думает обо мне совсем не то, что говорит. Почему-то я ей не верил, хотя это лежало на поверхности уже тогда.

При встрече в Чикаго Парщиков совершенно серьёзно вопросил: «Что, у тебя нет моей книги? Странно, как это у тебя нет книги, которая сделала меня знаменитым на весь мир!»*.

Ему даже в голову не пришло поинтересоваться, а есть ли у меня *моя* книга.

Что ж, он тоже не виноват, что он не еврей.

Александр Очеретянский (которому, кстати, я обязан самой идеей написания этого текста) обратил моё внимание на интервью с А. Глезером в «Новом Русском Слове»[23], где,

* Вспоминаю в связи с этим эпизод на кухне у А. Давыдова. Выходит Парщиков, прижимая к груди вышеупомянутую книгу со словами: «Ты ещё не читал моей книги? Жаль. Жаль. Не могу тебе дать даже посмотреть. Очень тороплюсь, а это последний экземпляр...». До сих пор, когда вспомнится, смеюсь. (Ю.П.)

в частности, Глезер заявляет: Парщиков-де написал ему в 1988-м году, что, мол, нигде его не печатают и последняя его надежда на «Стрелец»; и Глезер, конечно же, враз напечатал.

Интересно, кто врёт, Парщиков или Глезер?

Или оба?

В 86-м у меня не было не то что книги, но и публикации. И старший сын спрашивал: «Папа, а почему тебя не печатают?»

Первая моя публикация состоялась в следующем году, да такая, что лучше б её не было – всё в том же киевском журнальчике «Радуга» (реакция друга из Москвы, которому послал экземпляр: «Публикация совершенно не даёт о тебе представления... а журнал – как будто из тридцать седьмого года!»)...

А где, собственно, ещё было печататься тогда в Киеве? А можно было, живя в Киеве, напечататься где-то ещё?

Да, можно было: за рубежом. Но тогда на это было трудно решиться. Впрочем, тогда уже был рижский журнал «РОДНИК», куда я посылал стихи, и редактор Андрей Левкин, почти однофамилец и почти друг, обещал напечатать их – но так и ограничился обещанием.

Не уверен, что можно объяснить человеку со стороны, *что* из себя представлял советский Киев. Обитатели Москвы и Питера, не говоря уже о жителях Прибалтики, как я не раз убеждался и там, и здесь, просто не могут потщиться себе это вообразить. Казалось бы – тот же совок... но нет, несоизмеримо жутче. В духовном плане это сравнимо с бараком смертников в лагере смерти*. Вокруг – хоть какая-то, пусть абсурдная, но надежда, внутри – никакой, просто тупое ожидание своей очереди в газовую камеру... Ну, например, в одном из питерских театров в шестидесятые регулярно шёл спектакль по пьесе Дюрренматта «Физики». В Киеве же было официально заявлено: «Нам нэ потрибны Дюрренматти!». Да какой там Дюрренматт – Брехта нельзя было поставить!.. Сейчас уже я и сам с трудом могу восстановить ощущение, напоминавшее мягкий, но сбивающий с ног удар по затылку, – когда я понял, что в театрах из года в год идут *одни и те же* унылые спектакли, что здесь нет вообще – на весь город! – *ни одной литстудии*... и т.д., и т.п.

Кстати, позже я узнал, что обо мне говорили: вот единственный человек в Киеве, который ходит по-московски. И действительно, все киевляне, будь то чиновники, рабочие, итээровцы, хиппи, панки, поэты, алкаши, фарцовщики, художники, милиционеры, даже дети – перемещались неторопливо, с этакой восточной ленцой. Спешить было некуда и незачем. И только мне, наверное, казалось, что если я быстро перейду на другую улицу или на другую работу, или в другое кафе, то что-то изменится...

Но ничего не менялось и не могло измениться.

Поездки из Киева, куда угодно, казались набегами из пустыни в оазис. Один раз мы с Лилей приехали в Москву и попали на спектакль, кажется, Театра Сатиры, по «Южному почтовому» Экзюпери. В сцене, когда герой в кабачке знакомится с танцовщицей, – танец её был в стробоскопическом освещении, и она сбрасывала с себя какие-то шарфы и вообще плясала очень экспрессивно (подражая, как я теперь понимаю, Айседоре Дункан). Лиля отреагировала мгновенно: «В Киеве это было бы невозможно!»

Вообще непонятно, как это ещё позволяли куда-то ездить!

Мне казалось, что я попал в воронку, засасывающую меня со скоростью моего дыхания. Поэтому встреча с Алёшей тогда, в начале семидесятых, была чудом. Полагаю, что мы оба стали в определённом смысле катализаторами друг для друга и что именно из этого через пару лет и выросла группа «апокалиптиков-постфутуристов».

---

* Если бы ты мог представить себе, что в это время творилось в Саратове, ты бы избегал гипербол... (Ю.П.)

Позже для меня таким катализатором стал и, несомненно, остаётся по сей день Юра Проскуряков. Но это уже другая история и другая группа, хотя мне долго не хотелось это признавать, и это, надеюсь, дело не только настоящего, но и будущего – а сейчас речь о прошлом, которое, как водится, не возвращается и которое кажется прекрасным и/или ужасным, хотя было, в общем-то, просто прошлым.*

В этом прошлом я влезал во всё, что только появлялось в поле зрения, – в Театр Драмы и Комедии (где понял раз навсегда, каким театр *ни в коем случае не должен быть*!), в подпольный театрик «Чен-Дзю», который создали Марина Доля (поэт, переводчик, драматург) и её тогдашний муж, бард и математик Илья Ченцов[24] (ныне Анада Свами Раджханан), и за который нас тут же стала пасти «контора» (и Марину однажды избили у порога дома); в театр-студию «Театральный Клуб», в Театр-на-Подоле, в Клуб любителей фантастики «Световид» (которым руководил некто Дмитрук, не только не скрывавший своё сексотство, но даже им бравировавший), в «Глоссолалию» Юры Зморовича, в объединение художников и поэтов «39,9° С», в журнал «Новый Круг», в неформальную группу «литтеррористов»[25], из которой позже вырос Независимый Профсоюз литераторов... словом, перечислять можно долго.

Кстати, моя коллега по «Чен-Дзю» Ира Дзюба («Чен-Дзю» как раз и означало «Ченцовы-Дзюба») пишет мне (не в электронном, а в обычном письме, экая архаика!), что в Киеве всё чудесно, проходят выставки, поют барды, поэты читают стихи, и сама она руководит подростковым театриком, где ставит «Бурю» Шекспира и «Каменного ангела» Цветаевой. И хотя мне барды мало интересны, да и слабо верится, что с подростками можно поставить «Бурю», – тем не менее, может, мир таков, каким мы хотим его видеть?

Итак, у Парщикова, видимо, напечатано практически всё[26]. Теперь, цитируя, я могу пользоваться книгой. Особой необходимости в этом нет, так как многие его стихи, как уже сказал, помню наизусть. А ведь, кажется, совсем недавно (в 1978-м, почти четверть века тому назад!) мы обсуждали с К.К. возможность написания им статьи о нас всех, равно ещё непечатных (о группе!), и наивно верили, что он действительно напишет, пока он не сообщил, наконец, что писать можно только о тех, кто уже широко печатается.

Впоследствии он написал-таки – кучу книг, в которых подробно излагает свою теорию «метакода» (мне она не казалась новаторской и тогда, когда существовала ещё только в виде лекций по курсу фольклора, каковые К.К., в то время преподаватель Литинститута, читал нам – первокурсникам), а заодно к месту и не к месту поминает трёх *метаметафористов*: Жданова, Ерёменко, Парщикова[27] – да в таком тоне, как будто это выращенные лично им гомункулусы. Других точно и не было. А ведь сколько похвал он расточал, бывало, всем нам...[28]. Впрочем, я с ним встретился на конференции в 2003-м, и это была весьма поучительная встреча; в частности, выяснилось, что ныне уже и Жданов с Ерёменко – отступники от «правильного» метаметафоризма. Термин же «метареализм» он, само собой, не признаёт вообще и об Эпштейне упоминает с содроганием.

Точно так же М. Эпштейн некогда – приблизительно в 82 году – поместил в журнале «Литературное обозрение» статью о группе, где в черновом варианте была и моя фамилия, но в печати вместо неё появилась фамилия Мезенко.

Он же в частном письме, говоря об одном из наших выступлений, назвал Кутика «розовым и мёртвым» – а теперь ведёт себя с Ильёй, как лучший друг. Должно быть, такова норма поведения – в банде.

Это к вопросу о «ценности неангажированности»...

Первое выступление группы (тогда именовавшейся «апокалиптики», причём Алёша упорно выговаривал «апокалипсики») состоялось в 76 году, в Киеве, в книжном магазине

* Не буду спорить, «у кого было хуже». Процитирую только мрачную шутку того времени: когда Москва приказывает стричь ногти, Киев рубит руки по локти.(Р.Л.)

«Сучасник». Участвовали Парщиков, я и Александр Чернов, вёл вышеупомянутый Эпштейн, приехавший из Москвы – тогда ещё никому не известный молодой критик. Впрочем, из Москвы приехал и Парщиков – он поступил в Литинститут в 1975-м. Чернов как раз поступал, а я поступил на следующий год, в 77-м (в 78-м поступил Винов, и К.К., тогда, как и всегда, очень стремившийся стать в группе лидером, театральным тоном вопросил: «Да сколько ж там талантов, в этом Киеве?!»).

Чернов читал «Сказание об Индийском царстве»:

Я есть Иоанн-царь, старший при дворе,
Царь царям соседним, царевич и царица.
Под собой имею три тысячи царей,
А хотите честно – три тысячи триста.

Много территории. Правлю я один.
Царство-государство любое поместится.
В западную сторону лучше не ходить.
В сторону восточную пеших десять месяцев...

Я читал мини-поэму «Братья», впоследствии вошедшую в виде реплик персонажей в мою пьесу «Разговоры в Шарантоне». Мы вчетвером сидели за столом, как в президиуме; на столе стояли графин с водой и большая кисть руки из папье-маше, которую мы слямзили на детской площадке и водрузили на стол в порядке этакого как бы футуризма. Когда я дошёл до слов: «...и станет день, и круг-приказ,// как гипс, зальёт подвал и площадь...» – кисть вдруг рухнула, опрокинула графин, вода разлилась по столу... впоследствии Парщиков добавлял, что тут же распахнулись окна, солнце скрылось, гром грянул из-за тучи, засверкала молния...*

И с Черновым, и с Парщиковым мы интенсивно переписывались в 76–77 годах (они были уже в Москве). Чернов присылал стихи:

Волосы, водоросли, грустные гусли.
Светится озеро голосом русым.
Сосны подводные, корни над берегом –
Длинное, дальнее, вечное дерево!
Ай да зелёные тонкие гусли!
Чёрные лебеди, белые гуси,
Красное солнышко, жёлтая грива,
Соболь, куница да белка игривая.

Морщит от зависти лоб озабоченный
В вёсельной заводи омута вотчина.
С ветра высокого падают боком
Соколы трапезы мокрого бога...

---

* Вспоминаю рассказ Парщикова об этом чтении: как публика скучала и не слушала и как он ушёл со сцены и приказал пустить шапку по кругу, и киевские жлобы, собрав деньги, дисциплинировались и дальше уже демонстрировали внимание. (Ю.П.)
Совершенно не помню ничего подобного. Но вполне возможно. (Р.Л.)

В ответном письме я сделал подробный разбор стихотворения – точнее, мы с Лилей спорили о нём, и я почти дословно записал наш спор. Чернова это почему-то страшно смутило и даже испугало*, хотя моё письмо, помнится, было доброжелательным и чуть ли не восторженным.

К сожалению, три четверти архива я, уезжая, бросил, и поэтому невозможно восстановить ранние стихи Чернова, Винова и других – только то, что помню наизусть. У Чернова в этот период была масса откровенных подражаний Парщикову. Я в одном из писем указал ему на это (хорошо помню свою фразу: «Кому нужен второй Парщиков?..»), на что он ответил: «Это правда, что подражаю, но очень быстро – и скоро перестану...»**.

Одно из его следующих стихотворений понравилось мне настолько, что я его прикнопил к стене. Помню оттуда только одно четверостишие:

Но вдруг актёры замерли. Ножи
Блестят в руках. Ни звука нет на лицах.
В молчании им как договориться?
Сплелись тела, как гибкие ужи...

Именно тогда я посвятил несколько стихотворений ему, Парщикову, Винову. В частности, Парщикову была посвящена мини-поэма «Аэронавтика». Впрочем, сам он считал, что ему посвящено моё стихотворение:

Я был игрушкой, заводным Орфеем,
несбывшегося хора корифеем,
бормочущим строку «Упанишад».
Душ-лепестков теплился еле-лепет,
свечей погашенных, вдвойне нелепых.
Я помнил только предыдущий шаг.
И в шорохе, как свет, клубившем плечи,
Аристофан шагал ко мне навстречу,
Его сопровождал слепой конвой...

– хотя оно скорей посвящено самому себе. Это прекрасно понял Проскуряков, приславший мне стихотворение с посвящением: «Заводному Орфею, игрушке» – которое я, к сожалению, не помню. Позже он переделал его:

БЕГА
Заводному Рафаэлю, игрушке

Хлебнув животом барабанную дробь,
ты втянут вращением слева направо,

---

* Как ты думаешь, что конкретно его испугало? (Ю.П.)
Не знаю. Ты опять о невидимой руке, что ли? (Р.Л.)
При чём здесь рука? Знаешь, Чернов мне чем-то неуловимо напоминает Потапова... Не доброе ли отношение, которого с его точки зрения нельзя было ждать, его испугало? (Ю.П.)
** Он слово сдержал и никому не подражает. Я хочу сказать, что его произведения теперь ни на что не похожи... (Ю.П.)

давай поперек, до поверхности мили,
и пена зрачков, что тебя не любили.

А ты им навстречу с распахнутым чревом,
с разодранным зевом в родных отголосках,
а ты им *люблю вас*, а ты им *простите,* –
хотя бы один отозвался в подпитьи.

Но час наступил, и пора им за дело –
сверните-ка небо рулоном, ублюдки!
Но веером пальцы и ноги кривые,
и крутят под кайфом штурвал рулевые.

А ты Лао Цзы вспоминаешь и Юнга,
как смесь махаона с монахом на льдине,
волшебной рукой превращён в оригами,
иными утешил себя берегами.

Но так беспощадно подпилены плечи
погонами брата под северным небом,
и тянет сквозняк бесконечных просторов
поэзией нищих, уродов и воров.

Ночами они леденее, чем клёны,
а утром едва шевелится личинка,
то наголо шашки, то в карты сразятся,
то бродят, не зная, кому бы отдаться.

И шорох огня, заменившего плечи,
на кой тебе эта старуха Афина?
Пойдем погуляем, промнём свои кости,
пока они нас не сожрали от злости.

Потом, не спеша, отольёшь свои маски
в каком-нибудь югом отмеченном месте,
нарежешь батон и с пакетом кефира
уснёшь, не дождавшись ночного эфира.

И, втянут вращением справа налево,
ухватишь за кости феерии веер.
И тени пройдут вереницами лилий,
которых любили, любили, любили...

Ещё в 75 году Парщиков познакомился по переписке со Ваней Ждановым. Помню в его письме, которое Алёша мне показывал, строчку: «...Сюрреалисты прикололи предмет, как бабочку, на булавку...».

Я впервые увидел Жданова в 76-м. Он сразу огорошил меня вопросом:

– Ты, говорят, с Тарковским[29] хочешь познакомиться? Зачем тебе это надо? Он же интеллигент!

Я просто не нашёл, что ответить. Сам Жданов был тогда «принят» у Тарковского*.

– Не думай, – часто говаривал мне Парщиков, – Жданов тебя не станет с Тарковским знакомить!

Почти слово в слово то же самое говорил мне Кутик:

– Не думай, Парщиков тебя не станет с Вознесенским знакомить!

– Да я и не думаю! – отвечал я тому и другому[30].

Свою первую книжку Жданов подарил мне с трогательной надписью: «Рафу – неукротимому модернисту, соратнику, метафизическому соплеменнику – И.Ж, 1983, янв.».

На обложке была изображена женская головка, и, поскольку книга называлась «Портрет», то Алёша не уставал острить, что читатель полагает, будто это портрет автора.

– Из всех метареалистов мне близок только Жданов, – заметил как-то Очеретянский. Мне же Жданов как раз самый неблизкий. Мне он кажется холодным и бесполым. Невозможно даже представить себе его лирического героя страдающим от неразделённой любви[31].

Но, похоже, никто в группе, кроме меня и Проскурякова, и не писал о любви, разделённой или нет. «Сколько же можно писать о любви? – вопросил меня однажды не помню уж кто. – Пора уже писать о спасении души!» На что я ответил: «Стоит ли спасать душу, не знающую любви?..»

...Он и не думал о том, что две линии,
пересекаясь где-то вдали,
ускоряют перспективу,
единственнная звезда на небосводе
укорачивает взгляд.
Он устал, как стадо слонов, бредущих сквозь Альпы
под бичами солдат Ганнибала.
Он идёт, пока виноват.

Я выбрал эти строки из сборника Жданова, и тут же вспомнились строчки Кутика:

...слоны Ганнибала, ночуя в Альпах,
узнавали запах Ганнибаловой кожи,
и его солдат, и его куртизанок тоже...

Парщиков, будучи в Чикаго, пенял Кутику, что тот-де у него много сдирает. Вот так же точно лет двадцать пять тому назад в письме из Москвы он жаловался на Сашу Ерёменко, который «украл» у него какую-то строчку**. Сам Алёша тогда же позаимствовал для стихотворения «Аполлон, Марсий» выражение «нежный член» из моего перевода «Из абсолютного дневника» Мирослава Валека: «О нежный член!// Твоя суть сводится к потере семени...». В ответном письме, указывая на это, как на пример, я пытался объяснить ему, что ничего страшного в заимствованиях нет, это нормально; как мне не жалко ему

* Слышал бы ты, как он о Тарковском в то время отзывался! Как о маразматике, готовом беседовать самое большее о вечерней клизме накануне... (Ю.П.)

** Ерёменко в этом отношении тоже не отставал. Помню его трагическое заявление (о нём самом и о Парщикове): «Юра, нас растаскивают по строчкам!» Я тогда ему возразил: «Радуйся, это же лучший способ популяризации, первоисточник всегда сохраняет свою первозданную чистоту». (Ю.П.)

«нежного члена», так и он не должен жалеть Ерёме какой-то своей строки, потому что мы – одна группа, у нас общая лаборатория... и тому подобные благоглупости*.

Впрочем, я действительно верил в это.

На следующий год Алексей подарил мне книгу Л. Андреева «Сюрреализм», надписав её: «Рафаэлю с поклоном – Парщиков». В книге речь шла, в частности, о том же: общей лаборатории...

В центре современной поэме Винова «Укус пустоты»[32] – образ: «ЭРОТИЧЕСКОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ВОДЫ ИЗ ЗЕРКАЛА». Можно назвать это непрямой цитатой из моего «Гермафродита»:

...Полураздетая, вода застыла
каскадами, уступами...
Как стыдно!
Коснусь, мертвея, в зеркале – напиться.
Войти в неё по грудь.
Соединиться.
Кругами по воде идут личины...

Это, как мне кажется, наш общий, очень важный (для меня, по крайней мере) образ – воды /зеркала как любви /смерти. Он возникает у меня и в более поздних «Ряженых»: «Кровь туманит жажда. Плохой актёр, упаду к воде,// с родственной влагой глаза смыкая всё чаще...».

Есть он и у Жданова: «...стоять в воде и тихо видеть,// как сквозь него течёт вода,// как по воде от стука сердца//бегут пронзительно круги...»; «И если зеркало падёт,// оно лицо моё прольёт,// и в жилы смертные войдёт// предощущенье света».

И у Проскурякова: «Когда ты видел море из окна,// что ты заметил, кроме волн и пены?// Я – плоть земли, тебе я не видна,// войди в меня, как в городские стены**...».

Другой образ в поэме Винова, «поющие наощупь» – уже прямая цитата из моих «Ряженых»: «Слепые поют наощупь...»; точно так же у меня можно найти прямую цитату из Чернова: «...превратился в рыбу на лету...»; и у Ерёменко – из Парщикова: «...магнием в веточке высох...».

Цитирование вообще не грех. Но всё же мне очень смешно было обнаружить, что строчка Парщикова «...а рабы бара, за исключением одного араба...» есть не что иное, как цитата из О. Розановой: «а рабы бар арапы».

Общая лаборатория, гм.

Заходи в лабораторью мою!
Заходи, не сомневайся, все спят!..

Гриша Брайнин заметил по сему поводу:

---

* Недавно видел К. К. по ТВ в ток-шоу, где его открыто обвиняли в литературном воровстве. Он сидел, как истукан, не роняя слов. Просто диву даёшься, на что идут некоторые жаждущие всенародного признания. И хоть сам направо и налево ворует, но своего ни цента не отдаст, пусть даже и ворованного. Собственно, так и должен вести себя гений, сам при жизни выпустивший «Полное собрание сочинений». (Ю.П.)

** Из таких кочующих образов можно ещё упомянуть «воздух, завязанный узлами» – и у меня, и у Жданова, и у Парщикова, и ещё у кого-то. (Ю.П.)

У Ерёмы, конечно: «Электрический воздух завязан пустыми узлами...» (Р.Л.)

– Да просто улавливаются одинаковые вибрации!
Однажды мы с Алёшей на прогулке услышали кукушку.
– Звуки для самоубийцы, – заметил я.
– Самоубийца слушает кукушку, – развил он и тут же застолбил:
– Чур, моё!
– Да пожалуйста, бери, не жалко, – ответил я...
Конечно, не жалко.
В самом начале знакомства у нас состоялся такой диалог:
– Когда я пишу стихи...
– «Стихи не пишутся – случаются!» – гордо процитировал Алёша.
– Хорошо, так вот: когда я *случаю* стихи...

Фото А.Чернова

II

– ...Ничего особенного, – успокоил его ковбой-бродяга. – У тебя просто изменились критерии метафорической деформации, а за это, видит бог, пока ещё в тюрьму не сажают...

Р. Шекли. Обмен разумов.

В киевском альманахе «Вітрила», 1988, были опубликованы четыре стихотворения Винова (в следующем году там появились, наконец, и мои стихи – фрагменты из *непоэмы* «ЮГ»). Привожу первое:

Я в детстве свято верил, что поэт
свою судьбу, как может, проверяет,
в своих врагов без промаха стреляет,
а на досуге пишет свой сонет.

Когда я прожил двадцать с лишним лет,
я понял, что поэт живёт для света,

но этот свет по всем законам света
поэта отправляет в лучший свет.

Но как бы ни был сложен этот свет,
что может отлучить меня от света?!
Пусть канет свет, но свет не исчезает,
хоть трижды канет и возникнет свет!
И входим в свет, ослепшие от света,
который нас влечёт и убивает.

– и для сравнения стихотворение Ерёменко:

Прости, Господь, мой сломанный язык,
за то, что прибежав на праздник слова,
он произнёс лишь половинку слова,
а половинку спрятал под язык.

Прости, Господь, мой сломанный язык
за то, что он из языка живого
чрезмерно длинное, неправильное слово
берёт и снова ложит под язык.

Конечно, лучше спать в анабиозе
с прикушенным и синим языком,
чем с вырванным слоняться языком.

И тот блажен, кто с этим незнаком,
кто не хотел, как в детстве, на морозе
лизнуть дверную ручку языком.

Второе стихотворение Винова в этой подборке начинается словами: «Дно погребает дно и дном себя подъемлет...» (ср. у Ерёменко: «И сама под себя наугад заползает река,// и потом шелестит, и они совпадают по фазе...»), а кончается: «...настолько недвижим, что пропускает свет...» (ср. у Парщикова: «...Он так прощён, что пропускает свет...»).

Последнее стихотворение начинается: «Если профиль вращать, при вращении// возникает из профиля фас...» (ср. у Парщикова: «Моих друзей уже прозрачны лица,// как если крест вращать вокруг оси,// он в очертанья вазы превратится...».

Но третье стихотворение не напоминает мне никого (зато оно невольно заставляет задаться вопросом, а так ли неправ был Парщиков относительно Винова):

Мы удим за полночь утерянный шорох из хлама,
и пятится облик, пытаясь вернуться в портрет,
но смотрит смотрящий в упор на настольную лампу,
уже понимая, как в ней образуется свет.

Уже не звезде поверяем проклятые зовы,
и горбится дух, словно чёрт в канцелярском портфеле.

Себя обретающий в огненном слове,
твои сыновья навсегда осовели.

Их небо – завёрнутый в свиток Египет,
и сны шелушат насекомые люди...
Ни жив и ни мёртв перевёрнутой рыбой
повис фараон в кружевном парашюте.

Сыновья Того, Кто себя обретает в огненном слове – это, конечно же, иудеи, осовевшие, т.е. ослепшие, не видящие истинного света, навсегда застрявшие в своей древней истории, в мифе-сновидении, в современниках-сверстниках фараона, и небо для них заменяют мёртвые свитки, чьи буквы – почти клинопись – похожи на насекомых, прогрызающих страницы...

Но чтобы понять это, надо было столкнуться в последний раз с Виновым, неповинным в том, что он не еврей, в процессе создания журнала «Новый Круг»[33] и услышать от него, что отныне для него существует только православие, а всё прочее – ересь...

Вот и говори после этого, что, мол, поэт – это одно, а человек – совсем другое. Впрочем, на том стою.

Каким бы ни был Парщиков, что бы ни произошло с ним в процессе превращения в *совписа*, он – поэт.

Да и Винов – поэт, хотя лично мне интересен гораздо меньше.

Уже здесь, в Чикаго, критик М. Гуревич заявил, что единственным заслуживающим внимания поэтом в группе был Ерёменко, тогда как Парщиков – «мёртвый поэт» (похоже, что это специфический жаргон критиков, ср. с высказыванием Эпштейна о Кутике). Я ответил ему, что новая эстетика всегда воспринимается именно как нечто неживое, нереальное, угрожающее, вроде вампира. Оно просто не должно существовать, потому что иначе наше собственное существование оказывается под угрозой!

Как верно заметил когда-то Чернов:

– Если пишешь так, что всем всё понятно, говорят: «О, молодец, пушкинская школа!» А если непонятно, то говорят: «Ага, Вознесенскому подражает!»...

Мне, однако, и в голову не приходило, что это деление сохранилось по сей день, пока на «вавилонском» сайте не прочитал о себе, что я, оказывается, подражаю Асееву (которого я, признаться, почти не читал) и – Вознесенскому.

Боже мой, неужели, кроме Вознесенского, уже и поэтов нет, которым стоило бы подражать? Неужели этот совковый подход неистребим?!.

Однажды Винов долго убеждал Жданова, что тот должен заменить в стихотворении «Рапсодия батареи отопительной системы» (одно из немногих безоговорочно близких мне стихотворений Жданова, не в последнюю очередь потому, что насыщено всё той же символикой воды) слово «бомба» на слово «тумба». Наконец, Жданов вроде бы согласился. На следующий день Винов спросил:

– Ну, ты заменил?

Жданов гордо ответствовал:

– *Нет!*

И у Винова хватило ума сказать:

– Вот, это настоящий поэт!

Алексей любил изображать, как в будущем учитель словесности поднимает с задней парты второгодника и начинает гонять его по стихам Жданова:

– Ну, «Вода в глазах не тонет – признак...» чего?..
– ???
– Ну, гру-у...
– Грубости! – пытается угадать бедняга.
– Садись, балда! Грусти!

В 79 году я, выступая перед коллективом Нижне-Архызской астрономической обсерватории, доказывал, что будущее принадлежит группе молодых поэтов, к которой причислял и себя. Аудитория, естественно, не очень-то верила – имена ей ещё абсолютно ничего не говорили. Мог ли я знать, что группе осталось жизни года полтора? Мог ли я знать, что часть бывшей группы будет сделана официально-*совписной*, а прочих попытаются вывести за скобки, как несуществовавших?

А что СССР развалится и невдалеке от обсерватории начнётся самая настоящая война, я мог знать?

Оля Свиблова, тогдашняя жена Парщикова (ныне директор Мультимедиа Арт Музея), которую он в «Переписке» презрительно именует «госпожой С.» и «подручным персонажем» (забывая, что ей он обязан и московской пропиской, и элементарными знаниями – например, от неё он впервые услышал фамилию «Мережковский», – и ещё очень многим[34]), связала ему коричневый шарфик с жёлтой буквой «М» (такой ненавязчивый отсыл к «Мастеру и Маргарите»). Но Алексей заявил, что если он наденет такой шарф, то все будут спрашивать: «А где ‘Ж’?».

Таких анекдотов можно вспомнить тысячи и ещё столько же придумать. Так, однажды в Москве мы с Алёшей пошли сдавать бутылки. Их набралась огромная сумка, мы вдвоём с трудом волокли её. Какая-то женщина, шедшая нам навстречу, вдруг спросила: «Ребята, куда вы их несёте?» И этот простейший вопрос почему-то поверг нас в полнейшую растерянность. Я смог только промямлить: «Ну...», а Парщиков добавил: «Туда...», и больше она от нас ничего не добилась. Впоследствии Алёша долго вспоминал об этом с восторгом: два *павлика*, несут, а куда – и сами не знают! И с важным видом добавлял: «Мало нести – надо ещё знать куда!»

Словом, «поэты Иван и Илья пили водку».

Гуляя как-то, примерно в 78-м, с Алёшей и Олей, тогда ещё не «госпожой С.», по Киеву, мы начали сочинять ироикомическую оперу – помню фрагменты:

«...С одной стороны сцены выходят авангардисты с лозунгом:
”С берёзы пал кленовый лист.
Есенин был сюрреалист!”
Навстречу им выступают традиционалисты с плакатом:
”Поставим клизму в лоб сюрреализму!..”»

Олицетворением реакции для нас был Кожинов, и я сходу сымпровизировал:

Кожинов – храбрый малый,
ему ничего не страшно.
Вдруг на него упала
высоковольтная башня!

Алёша тут же подхватил:

Сверху сел на башню Левчин,
чтоб Кожинову было легче.

Кожинов стар,
а Левчин лёгок, словно пар...
ХОР (*мы втроём*). Пар... пар... пар... пар... па-а-а-арщиков!!.

В разговоре с профессором Джеральдом Янечеком я узнал, что в одной из своих работ о концептуалистах он упомянул и К.К., который остался этим весьма недоволен. На мой взгляд, Янечек совершенно прав: К.К. со своими искусственными конструктами довольно близок к тому же Л.Рубинштейну, хотя, конечно, Рубинштейн делает это лучше.

Вообще из концептуалистов Рубинштейн мне лично интереснее всех, потому что у него хоть иногда можно встретить то благородное безумие, без которого нет поэзии*:

«Мне приснился поутру в золочёной раме//Полудемон-полутруп с многими глазами...»

Кстати, Янечек очень одобрительно отозвался о самой идее этих воспоминаний: «Ведь это история, которая уходит...»

К.К. к моменту нашего знакомства в 1977 году практиковал так называемые «мистерии»: нечто вроде того, что вытворяли иные энтузиасты Серебряного века. Сам я не сподобился поучаствовать, знаю только со слов Алёши и Оли. В полной темноте все присутствующие раздевались (полностью – таково было правило, однако, например, М. Эпштейн и его жена в тот раз, когда они участвовали, остались в белье), мужчины становились в наружный круг, женщины во внутренний... Далее начинались ритуалы, которые, видимо, должны были перерастать в оргию, под предводительством К.К., хрипящего: «Ласкайте лоно жён-мирроносиц! Сейчас дозволено всё!» (как заметила Оля: «Просто приходится от него убегать!»)... Вообще, судя по рассказам Алексея, там творилось такое, что хоть святых вон выноси – но не надо забывать, что Парщиков пули льёт так же естественно, как дышит, этого он и сам никогда не скрывал.[35]

Теперь-то К.К. утверждает, что его-де выгнали из Литинститута за религиозность и что в КГБ на него было заведено дело. Не знаю, как насчёт «дела» (тут возможны самые разные гипотезы), но если под религиозностью он подразумевает свои «мистерии», то комментарии, пожалуй, излишни.

При нашей последней встрече в 2002 году я терпеливо внимал его разглагольствованиям (ничуть не изменившимся за все эти годы) и только раз не выдержал, услышав про авангардистов, пострадавших от произвола тоталитарного государства. Я напомнил ему, что авангардисты не только жертвы, они и сами, кто вольно, кто невольно, во все времена прикладывали руки к созданию тоталитарной системы, и что «Чёрный квадрат» Малевича является не только иконой нового типа, но и идеальной картой лагеря смерти...

Но он, по-моему, просто не понял, о чём речь.

Недавно Лиля очень точно сказала: «У Парщикова в мозгу как будто система зеркал. Одно зеркало ловит образ и посылает другому, другое – третьему... и так до бесконечности. В результате образ появляется на свет неузнаваемым...».

Интересно, что это почти совпадает с придуманным самим Парщиковым понятием «метафоры привнесения». Впервые она появилась в стихотворении «Степь»: «...она обливается, как поршень в мазуте// или падающий глазурный кувшин...» – то есть здесь к обычной метафоре нечто добавлено, «привнесено», к поршню – кувшин. Иначе говоря, сделан шаг за пределы обычной метафоры, держащейся на сходстве, уподоблении. Если с поршнем степь ещё можно сравнить, то с кувшином уже сравнивается сам поршень.

* Примерно то же самое когда-то написала Ольга Седакова в самиздатской статье «Пригов и Рубинштейн». (Ю.П.)

То же самое – в стихотворении Мирослава Валека (перевод мой): «...тихо так, что слышно, как под кожей твоей булавочка падает...»*. Обычная метафора была бы «тихо так, что слышно, как булавочка падает»; булавочка, *падающая под кожей*, – это типичная метафора привнесения. Она не необходима, она избыточна – здесь вопреки Оккаму нагромождена сущность сверх необходимости – и потому незабываема**.

Совершенно не могу вспомнить, как и когда мы познакомились с Ильёй Кутиком. По его словам, он поступил в Литинститут в том же году, что и я, только на дневное отделение. Зато хорошо помню, как он и Алексей приехали с жёнами в Киев в году этак 79-м, и мы читали вместе на очередной «явочной квартире», а потом ночью забрались в так называемый «Замок Ричарда», красивую и грустно-нелепую, как почти всё в Киеве, достопримечательность, и там фотографировались со вспышкой, и как великолепен был потом один чёрно-белый Алёшин слайд, изображавший Илюшу, тогда стройного и гибкого, на фоне замкоричардовской тьмы...

В 81 году (фактически уже после распада группы, но какие-то отношения ещё сохранялись) я прислал Илье в Москву из Киева первый вариант моей первой *непоэмы*[36] «ЮГ», написанный летом того же года в Херсоне. Илья ответил восторженным письмом, начинавшимся словами: «Не поэма ли?» – из которого, между прочим, я узнал, что как раз перед получением моей бандероли к нему приходили Алёша с Олей, подрабатывавшие Дедом Морозом и Снегурочкой (из чего и выросла вышеупоминавшаяся поэма «Новогодние строчки»).

Незадолго до этого мы с Ильёй как раз обсуждали необходимость перехода от коротких стихотворений к поэмам, и я заявил, что от короткого стихотворения нет полного удовлетворения – как от прерванного полового акта. Илья радостно согласился с этим. У него уже была тогда написана его «Ода на посещение Белосарайской косы». (Сейчас я совсем не уверен в правильности своих тех слов. Есть, конечно, сила и страсть и в коротком стихотворении, не меньшая, чем в поэме***. Очень люблю, между прочим, строки Ильи:

---

* Мне кажется – это не свойственный Парщикову тип образа. Я бы здесь скорее вспомнил Жданова. Парщиков, как мне кажется, не умеет извне наблюдать внутреннее. У него не зеркала в голове, а толпа поклонников, и его метафора строится, как кокетка, пытающаяся понравиться и тем, и этим способом. Максимальной бестолковости эта манера изложения достигает в «Новогодних строчках». Именно по этой причине я утверждаю, что Парщиков не поэт, а имитатор. Он тщательно скрывает истинный предмет того, о чём он пишет, заменяя его на нечто замысловатое, прикладного назначения, призванное возбуждать интерес. Лучше бы прямо так и писал: «При виде меня всем снимать шляпы и становиться на правое колено». (Ю.П.)

Ты почему-то не хочешь различать Парщикова-человека и Парщикова-поэта (в лучших своих текстах отнюдь не имитатора). (Р.Л.)

Разве поэзия не является средством самовыражения в первую очередь? Когда ты оказываешь Парщикову почтение, ты имеешь в виду его способность создавать вирулентный перформатив и апелляцию. Это несомненно залог поэтического дарования. Но я имею в виду самую суть дела, а именно, чем он завирусовывает. У Парщикова содержание девальвирует форму. Природная способность пасует перед суетным намерением. Его эстетика – это декоративная бессодержательность. (Ю.П.)

По-моему, интересная форма не ходит порожняком, а неминуемо тащит за собой содержание, хочет того автор или нет. Разумеется, я несколько упрощаю проблему, но и ты, по-моему, грешишь тем же, только с обратным знаком. (Р.Л.)

** Об этом размышлял ещё А. Платонов. (Ю.П.)

*** Я думаю, вслед за профессором Эдельвейс Серра, что поэма как жанр сжимается (или концентрируется) последующей поэтикой до размера лирической миниатюры, в чем-то сохраняя своё качество поэмы. На этом этапе сама поэма строится из таких лирических миниатюр, как из блоков, с привнесением новых элементов – как правило, из других жанров. Затем процесс повторяется, и происходит новая лирическая концентрация. (Ю.П.)

Нам нолито в те же бокалы,
мы пьём из отверстых нолей.
Батилл, надвигаются галлы!
Ты, главное, влаги налей!..

И нет циферблата над нами.
Мы сами себе небеса.
А выпьешь – всплывёт меж зубами
утопленница-оса.

Здесь соединились Мандельштам: «...в игольчатых чёрных бокалах...» – и Верлен в переводе Пастернака: «Я римский мир периода упадка...»[37]. Впрочем, оса – один из важных символов и для Мандельштама, и для того же Валека, в частности, в поэме «Рассказ с осой»).

Немногим ранее – в конце семидесятых – Саша Ерёменко писал свою поэму «Куски». Она так и называлась: «Поэма ‘Куски’, написана в дни глубокой тоски» (в другом варианте: «Поэма ‘Лицом к природе’, написана на огороде»). Не знаю, была ли она напечатана полностью и существует ли вообще канонический вариант текста. Во всех известных мне сборниках Ерёмы есть только отрывки. Когда-то у меня были оба машинописные варианта, и они разделили судьбу большей части моего архива. Помню куски «Кусков»:

Мне хочется придумать диалог.
Мне хочется ему приделать ноги,
чтоб он шагал как будто вдоль дороги,
а может быть, и вовсе без дорог.
Мне надоело мыслить между строк.
В берлоге
сидит мой мозг и держит на пороге
нагую мысль, и вой её убог.
Зачем же он, весь высохший, как йог,
на перекрёстке, на большой дороге,
стоит, как постовой, расставив ноги,
и мысль звенит, как спущенный курок?

ЭТО БЫЛ ПРОЛОГ!!!

В чистом поле всадник скачет.
Он копьём рыцарским машет.
Это не копьё, а плуг,
прямо падает из рук.
Над ним в зените солнце стонет.
Над зенитом есть надир.
Наш же всадник есть бригадир
в пуленепробиваемом комбинезоне.

– Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
широка страна моя!

Это всадник так поёт.
Ветер песенку несёт.
Грива развевается.
Жизнь продолжается.

В чистом поле всадник скачет,
веселится всей душой.
В чистом поле кто-то плачет,
деревянный и большой.

Воспроизведение плача –
нелёгкая задача.
Неудивительно,
что оно даётся здесь лишь приблизительно:
– Мне триста лет. Мой механизм распался.
Перебирая в пальцах этот ветер,
гребя на месте, деревянный мозг,
куда б ни шёл, повсюду натыкался
на пустоту. Я никого не встретил,
кто мне помог бы перекинуть мост
от этой потемневшей крестовины,
расплющенной со страшным напряженьем
усилием, похожим на усы,
до глубины, где, подставляя спины
распиленному надвое теченью,
вращаются такие же винты.
Мне триста лет. Под жаворонком жирным,
купающимся в небе оловянном,
я лопасть побелевшую держу
и, как ножой заржавленной*, по жилам,
рассохшимся, сухим и деревянным,
таким подобьем ножика вожу.
И в даль гляжу.
И нахожу,
что даль постыла.
Кто-то заходит с тыла...

Вот подошли двое. Разливают.
Сели на покосившийся забор.
Покуда они выпивают,
послушаем их разговор...

– За это дело должен взяться весь народ!

---

* Видимо, «ножом заржавленным»? (Ю.П.)
Нет. Авторское написание. Возможно, отсыл к студенческому фольклору: «...Эскимос поймал моржу// и всадил в неё ножу!». (Р.Л.)

– Народ занят исполнением своей вековой мечты!
– Значит, индивидуальный террор наоборот?
– Ты что, в кусты?
– Я – нет, а ты?
– Просто жалко глядеть, как бессмысленно окисляются
горные хребты.
– Ты видишь вон ту тучку на горизонте?
– Вижу, а ты видишь?
– Мне кажется, она нуждается в капитальном ремонте!
– Вот видишь!
– Так и пойдём, глазами горя,
ты в слесаря, а я в егеря!..
По лесу
ходит слесарь,
махает гаечным ключом
и напевает ни о чём.

СЛЕСАРЬ (*махая гаечным ключом*):
– Я слесарь,
хожу по лесу,
махаю гаечным ключом
и напеваю ни о чём![38]
(*Продолжает махать гаечным ключом*.)

– ...Мутируешь, мутируешь,
аж мутит!
– Да, так всегда: ненужное доминирует,
а нужное спит!..

– А вы видели, как мутирует пассажирский поезд
на скорости восемьдесят километров в час?
От напряжения он делается красным по пояс,
и во лбу у него загорается электрический глаз!
– Послушайте! Но ведь мутация предполагает скрещивание!
– Да, паровозы это делают в туннелях, и это страшно:
разверзаются горы, на горах появляются трещины,
а из трещин обильно сочится машинное масло!..

Туда, где роща корабельная,
лежит, как тыща неживая[39],
выходит девочка дебильная,
по жёлтой насыпи гуляя...

В сентябре 1977-го состоялось наше первое совместное выступление в Москве – в общаге философского факультета МГУ. Читали Ерёма, Алексей и я. Сделали три самодельных афиши-коллажа (это были, пожалуй, самые первые мои коллажи; мой экземпляр

сохранился у меня до сих пор, я увёз его за океан и сейчас рассматриваю). Сначала мы написали: «Студенты Литинститута читают свои стихи и будут рады выслушать ваши мнения!», но К.К., увидев, сказал, что, если мы не хотим быть отчисленными, лучше переделать. И мы срочно переделали: наклеив на «студенты Литинститута» кусок фотографии из журнала (нижнюю часть чьего-то лица), сверху написали «Молодые поэты...», причём вертикальная палочка буквы «т» закрыла рот на фотографии[40].

Аудитория в обоих смыслах – и помещение, и слушатели – была просто великолепна. Обитые деревом стены, замечательная акустика, слышно очень хорошо во все концы довольно большого зала, ни до, ни после мне никогда больше такая не попадалась; замечательные ребята, чутко реагировавшие на непривычную поэтику. На столе перед нами стоял арбуз – затрудняюсь сказать, из каких соображений мы его с собой прихватили, но он создавал определённый антураж, и кто-то из аудитории в процессе последовавшей дискуссии сказал, что, мол, если у нас тут и не «Зелёная лампа», то по крайней мере «Зелёный арбуз». Мы вставали из-за стола и читали по очереди. В первом ряду слушателей сидела тогдашняя жена Саши, Наташа Лясковская, вскоре и сама подавшаяся в поэты[41]. Она ужасно переживала за мужа и шёпотом подсказывала ему. Он был принят гораздо хуже, чем мы с Алексеем – во-первых, мы договорились читать небольшими порциями, сменяясь, и Ерёма вынужден был читать свои «Куски» кусками в буквальном смысле, так что мало кто понял их целостность (мы же с Лёшей тогда ещё вообще поэм не имели и читали по три стихотворения); кроме того, центонная поэзия Ерёмы тогда была ещё как бы не в моде. Пройдёт совсем немного времени, и Ерёму выберут королём поэтов, да и станут очень популярны концептуалисты, играющие на центонировании советских «классиков»... кажется, и поныне концептуалисты норовят объявить Ерёменко своим, не понимая, что он от них отличается очень сильно – но концептуалисты вообще многого не понимают и не желают понимать.

Взять хотя бы Кибирова, у которого в одном из последних сборников мне встретилось: «...также и море не похоже на свалку// велосипедных рулей,// как нам впаривал Парщиков.// Море смеялось: что у людей в головах?..».

То есть непривычная метафора охранительски отброшена и заменена стандартной, стёртой. В этом – весь Кибиров.

Впрочем, это дало мне повод написать строчку:

...также и море не похоже на идиота...

В принципе, меня совершенно не удивляет успех концептуалистов. То, от чего не надо напрягаться, всегда имеет больше шансов понравиться публике («пушкинская школа»!). Подросла достойная смена шестидесятникам, наловчившимся, как кто-то метко заметил, выкрикивать верноподданические лозунги с таким видом, как будто за это сегодня на эшафот, а не завтра в кассу.

Кибиров – это Евтушенко-2. Оригинал работал на советскости с душком якобы бунтарства, дубль эксплуатирует антисоветскость с душком якобы ностальгии. Но цель у обоих одна и та же, к поэзии не имеющая даже приблизительного отношения, – сиречь коммерция.

Признаться, я врубился в это далеко не сразу и, впервые прочитав его тексты в 89-м, вопросил, как же это он ещё на свободе, на что киевский поэт Виктор Летцев мне ответил:

– Да, он сейчас именно на «СВОБОДЕ»!..

Иными словами, это как раз то, что Бродский назвал «киданием камней в дозволенном направлении»!

Впрочем, вот для сравнения более сдержанный взгляд[42]:

«...Опыт Ерёменко показал, что, помимо вольнодумно-крамольных аллюзий, центонной поэзии доступны прикосновения к тайнам мироздания. Если при этом не изнурять приём и вовремя остановиться, что и сделал Ерёменко в самом начале 90-х годов.

Часто пишется «мост», а читается «месть»,
и летит филология к чёрту с моста...

Чтобы стать поэзией, филология действительно должна загреметь с моста, разбиться и воскреснуть[43]. Или не воскреснуть. Ерёменко – поэт интенсивного склада, а в 90-е годы центонная поэзия продолжила экстенсивное развитие, создав безопасный, уютный канон, наиболее характерной реализацией которого стало творчество Тимура Кибирова.

Кибиров обладает редким ощущением и пониманием своего адресата. Он – профессиональный корифей большого самодеятельного филологического хора. Его читают и любят те, кто сочиняет стихи такого же типа, но с меньшим мастерством, а также те, кто стихов не пишет, но если бы писали, то именно так, как Кибиров...».

К этому стоит прибавить, что именно сей «корифей самодеятельного хора» первым дорвался до фонда Бродского, созданного специально, чтобы молодые талантливые поэты могли увидеть Италию. Полагаю, Бродский на том свете очень смеялся.

Кутик несколько лет назад побывал в Москве, и там Кибиров, Рубинштейн и компания не взяли его с собой на какую-то очередную пьянку. По этому поводу Илья горько резюмировал:

– Концептуалисты нас победили...

Лиля потом заметила:

– Тебе надо было ему ответить: «вас», а не «нас»!

Пригов, между прочим, заезжал в Чикаго на гастроли, и Кутик стал его большим другом – решил, очевидно, закорешить с «победителем».

Впрочем, и Парщиков (как я узнал от него же при последней встрече), когда учился в аспирантуре в Стэнфорде (которую он, по словам Кутика, так и не смог окончить, – по словам же самого Парщикова, завершил блистательно), писал диссертацию на тему: «Дмитрий Александрович Пригов в контексте современного концептуализма». Я спросил его: «Зачем?!», и он ответил: «Да потому, что это проще всего! Конечно, на самом деле я его никогда не признаю поэтом, точно так же, как и ты...».

Именно тогда Парщиков показал мне черновик своих воспоминаний о группе под названием «Событийная канва». Сейчас они опубликованы в «КОММЕНТАРИЯХ»[44]. Понятно, речь там о себе, Жданове и Ерёменко, все прочие не упоминаются – но зато туда же теперь вмонтирована его стэнфордская работа о Пригове!

В этом – весь Парщиков, со всей его «неангажированностью».

Ерёма нимало не огорчился своим неуспехом в МГУ. Он вообще ко всему относился сдержанно-спокойно. Довольно редко могу вспомнить его эмоциональные всплески – например, когда Алёша нас познакомил, и мы пошли втроём в пивной бар возле Киевского вокзала, и там по очереди читали стихи. Я прочёл «Гермафродита», и на последних строчках: «Купались вместе, в пене и впотьмах,// пока не рухнул город на холмах...» – Ерёма громко захохотал. Я тихонько спросил Парщикова, чего это он, и получил ответ, что, конечно же, от восторга.

Вообще Парщиков всегда смотрел на Ерёменко несколько, мягко говоря, свысока*. Прочитав стихотворение Ерёмы, начинавшееся словами: «Устав висеть на турнике,// ушла, а руки позабыла...», я заметил, что его бы надо назвать «Венера» (сейчас оно печатается под этим названием). Алексей воскликнул:

– Ты Ерёме об этом не вздумай сказать! Венеру он понимает только в смысле венерическом! Если ему сказать, что, мол, вон та женщина похожа на Венеру, он тут же убежит в испуге...

Очень любил также Алексей рассказывать, как это вышло, что Ерёма подался в поэты. Оказывается, два матросика, Ерёменко и его друг Коновальчук, сошли как-то в увольнение на берег и решили купить в киоске чего-нибудь этакого почитать. Увидели «Поэтический словарь» Квятковского и приобрели по экземпляру. Потом Коновальчук однажды напился и потерял свой словарь. И не стал поэтом. Стал кинорежиссёром. А Ерёменко свой не потерял – и стал поэтом.

Но основной корпус апокрифов из жизни Ерёмы я услыхал от Наташи Лясковской: и как он на спор прыгнул в метро с мостика на крышу идущего внизу поезда, и как он однажды сутки пропадал где-то, а потом пришёл с вышеупомянутым Коновальчуком и притащил бидон пива, а она, осердясь, толкнула бидон ногой, и пива было по щиколотку... но больше всего мне запомнился рассказ о том, как они с Ерёмой только-только поселились в Москве. Без работы, без прописки, без денег, да к тому же ещё ждали ребёнка (которого, когда родился, назвали Марком, по поводу чего мы с Алёшей в один голос рявкнули: «Марк Аврелий, не еврей ли?!»). Питались пакетом молока и половинкой батона в день. Наташа, по её словам, едва проснувшись, начинала канючить: «Саш, я есть хочу!..» А потом вдруг пришёл огромный денежный перевод – чего-то там на траулере Саше недоплатили и теперь вот пересчитали! Юный поэт и его жена стали прилично питаться, покупать зелень на рынке, который тогда был дороже магазинов, и даже обедать в ресторанах. И однажды, выйдя из ресторана, Ерёма стал швырять деньги в разные стороны. Наташа пыталась его остановить, на что он воскликнул: «Наташ, ну дай мне хоть немного пожить по-человечески!..»

Между прочим, вопреки всем россказням о беспробудном пьянстве Ерёмы, я *ни разу* не видел его не то что пьяным, но даже очень нетрезвым. Неоднократно нам случалось вместе есть-пить, и никогда это не превращалось в попойку. Вот Жданова я однажды видел пьяным вусмерть – и не хотел бы увидеть ещё раз. Однако о нём таких рассказов почему-то нет, если не считать захватывающего повествования Кутика о том, как на каком-то поэтическом фестивале Жданов, упившись, гоняется за поэтом Драгомощенко с воплем: «Бей жида!», а на следующий день, протрезвясь, хохочет: «Так я ж шутил!..».

Зато однажды я был свидетелем, как Ерёму послали за выпивкой!

Из каких-то соображений, смутных для меня и поныне, состоялась встреча для выработки некоего поэтического манифеста – фактически уже после распада группы (который, естественно, длился какое-то время, так что нельзя с абсолютной уверенностью сказать, с какого именно момента существование группы прекратилось – ну, попробуйте определить день, в который кончилась Античность и началось Средневековье!). Присутствовали Парщиков, я, Виктор Коркия и две поэтессы, имена которых я не запомнил. Перед тем, как браться за манифест, решено было, как водится, немного согреться. Тут явился Ерёменко, и ему, как опоздавшему, выдали три рубля и послали за вином. Он ушёл и быстро

---

* Со стороны Ерёменко тип эмоциональной зависимости, который бывает между любовниками, когда один добивается у другого признания, а тот, внутренне холодный, демонстрирует внешнее дружелюбие. (Ю.П.)

Оля, кстати, говорила, словно цитируя Лорку: «Ерёма Лёшу любит кишками!» (Р.Л.)

вернулся с авоськой, полной бутылок! Как ему удалось накупить столько на три рубля, объяснить не берусь. Легко догадаться, что манифест так и остался невыработанным.

Но самое трогательное воспоминание о Ерёме, тоже с наташиных слов – его вопрос: «Наташа, неужели *мне, Ерёме,* будет тридцать лет?!».

Впрочем, похожий эпизод вспоминается и мне. При нашем знакомстве с Ерёменко я прочёл что-то из моих переводов Валека, тогда ещё весьма сырых, и попутно упомянул дату его рождения. «Так ему что, 50 лет?» – почти с ужасом спросил Саша. «Нет, 49!» – успокоил я. «А-а...» – облегчённо вздохнул он.

Видимо, нам обоим казалось, что 49 – это ещё не старость, а вот 50...

Порой мы с Алексеем сочиняли вместе шуточные стишки, чаще всего это получалось спонтанно. Как-то я заявил ему в процессе спора: «Я и гностик, и агностик!». Он тут же срифмовал: «Я и речка, я и мостик!».

Несколько лет спустя я получил письмо из Саратова от Сергея Шиндина (я переписывался с Проскуряковым с 78 года, мы посылали друг другу стихи, мои он показывал своим друзьям, ученикам[45] – Шиндин был одним из них), в котором он называл меня одним из самых социальных поэтов нашего времени (?!); но больше всего меня восхитило сообщение, что он с приятелем были задержаны милицией за распевание в общественном месте (очевидно, в подпитии): «Я и гностик, и агностик...».

Ещё несколько таких же совместных перлов:

ЗЕРКАЛО
поэза сюрреалистическая

Раз выходит Сальвадор
в коммунальный коридор.
Что-то видится вдали
Сальвадору у Дали...

БДИТЕЛЬНОСТЬ
поэза вдумчивая

Думал я, что Пендерецкий
главный есть шпион немецкий.
Оказалось, Пендерецкий –
вовсе не шпион немецкий!

ВОТ ТАК!
поэза сельскохозяйственная

В Албании есть крокодил.
Его я недавно доил.
И я перевыполнил план.
На то я и славный албан!

КОАН
поэза-дзен

Повстречались в поле чистом
Бодхисатва с дзен-буддистом.
Бодхисатва гладил брюки,
дзен-буддист читал «Судзуки».

ЛЮБОВНАЯ ЗАПИСКА ПУШКИНА К СУПРУГЕ КАРАМЗИНА
поэза доподлинно историческая

Клянусь титаном Прометеем,
Чьи ковы расторгнул Алкид,
Клянусь святым Хэ Мин-гуэем,
Который и в ночи не спит,

Что не было в подлунной этой
Подобной страсти без брегов
С тех пор, как русские корнеты
Побили западных врагов!

А вот сам Парщиков:

Море сделано из рыбы,
а Земля из червяков.
Слово сделано из слов
предыдущей Атлантиды.

Часто ты выходишь на дорогу
в старомодном ветхом шукшине.

Наша Фанечка Каплан
недовыполнила план!

Пенис, пенис! Анус, анус!
Я с тобою не расстанусь!

(Кутик приписывает мне двустишие: «Мы наденем кивера// и пойдём на клитора...» – но, безусловно, ничего подобного я никогда не сочинял. Во всяком случае, не помню.)

Очень также любили мы распевать на два голоса:

В саду горит костёр рябины красной,
Но никого не может он согреть,
Как он ни тужится,
Как он ни пыжится,
Как ни старается,
Как ни пытается,
Сколько энергии ни вкладывает,
Сколько дров ни подкладывает,

Как ни выпендривается,
Как ни выдрючивается –
Всё равно
ничего
у него
не полу-у-учится!!!

Из письма Проскурякова: «...несколько раз в ответ на мои запросы, что и почему у Вас разладилось в творческом содружестве, выдавал мне информацию о том, что с тобой невозможно разговаривать, потому что ты типа не то на сексе помешался, не то на каких-то извращениях. Помню только общий недоброжелательный контекст и параллели оттуда в область творчества, которое, по мнению Парщикова, у тебя было на грани вырождения...».

Снова рассматриваю эту пожелтевшую, уже трудночитаемую, еле живую афишу-коллаж. Большую её часть занимают наши стихи – отпечатанные на машинке Парщикова и приклеенные на ватманский лист. Удивительно, почти во всех стихотворениях есть слово «сад»:

О **сад** моих друзей,
где я торчу с трещоткой
и для отвода глаз свищу по сторонам!..

...блажен, кто в **сад**
с ножом в руках проник
и срезал ветку гибкую у сада...

Сад корнями заплетает кости.
Ссадины затягивает корка.
Троя-2 на месте Трои прежней...
Жизнь жива – бессмысленно и нежно...
И в час живой,
когда твой конвой
твердит глагол «эрпенад»,
она встаёт, жадно воду пьёт
и спускается в круглый **сад**...

У дома – **сад**. Квадрат окна.
Снег валит по диагонали.
А завтра будет в кучу свален
Там, где другая сторона...

(«Тот сад? А может быть, тот свет?» – Цветаева.)
(«О сад моих друзей, мазох моих врагов!» – Парщиков.)

А сверху Алексеем написано от руки: «МГУ, 10-й этаж, зона В, 19 сентября, в гостиной в 19 часов». Слово «гостиная» с двумя «н», а «19 часов» – даже уже не сразу понятно,

о чём речь. Отвыкаю от европейского времени. (Позже приписано мной и тоже уже выгорело: «1977».)

И крупно, вырезанными из страницы какого-то журнала буквами: «ПРОЗА ПСИХОЛОГИЧНА, ПОЭЗИЯ МИФОЛОГИЧНА?».

Фото А. Парщикова

III

– Его стихи гораздо лучше моих! – с восторгом сказал Винни-Пух. ***И он действительно так думал!***

А. Милн, «Винни-Пух и все-все-все»

В книге М. Эпштейна «Вера и образ» заявлено: «...Зато другие поэты – такие, как И. Жданов, О. Седакова, Ф. Гримберг, А. Парщиков, И. Кутик, В. Аристов, – берут в свой словарь, как в Красную книгу речи, все оставшиеся в живых слова, крайне напрягая и даже перенапрягая их смысл, чтобы явить структуру подлинной реальности, которая также несводима к лирическому «я», но постигается уже не отрицательно, а утвердительно. Метареализм – так можно назвать это поэтическое течение...».

(Ф. Гримберг – кто это?)

С другой стороны, Эпштейн и Бродского зачисляет в метареалисты (кстати, и сам Бродский употребляет термин «метафизический реализм»). Поскольку вся бывшая группа так или иначе многим обязана поэзии Бродского, несколько слов о нём, тем паче, что это для многих и многих камень преткновения.

Я прочитал его стихи в самиздате, третий экземпляр на машинке, примерно в году 74-м в Киеве. Да, до этого я жил в Питере, с 64-го по 69-й, но тексты Бродского мне на глаза не попадались, хотя я слыхал о нём краем уха. Окуджава, Высоцкий, Галич, только-только начавшие входить в моду, были популярнее среди тех, с кем я тогда общался.

Читал же я тогда всё больше Сельвинского и Тютчева. Впрочем, в 68-м мне попал в руки впервые сборник Валека на русском языке (ещё до этого одно его стихотворение попалось мне на глаза в журнале и сразу заставило обратить на себя внимание: «...И тьма, и тьма аж до самых костей// белым-бела.// Бог монтирует из запчастей// новые тела...»), и он надолго стал для меня поэтом номер один – почти на двадцать лет. Но, кстати, в том же году я познакомился со стихами Галчинского, которые сразу полюбил и только, увы, недавно обратил внимание, что многие переводы – Бродского! Так что – читал я Бродского, сам того не зная, поскольку его фамилия тогда мне мало что говорила.

В 75-м я услышал от Алексея: «Что вы так носитесь – Бродский, Бродский! По-моему, он очень плохой поэт... да вообще не поэт!» Зауважал он уже позднего Бродского, начиная с «Колыбельной Трескового Мыса». Подробно об этом можно прочесть в книге В. Полухиной «Бродский глазами современников», где Парщиков, в числе прочих, даёт интервью по поводу Бродского, но говорит, как это у него принято, преимущественно о себе самом, попутно снисходительно разъясняя, почему Бродский до эмиграции ему, Парщикову, неинтересен.

Не так давно я решил почитать переводы Бродского в его собрании сочинений. Читал вслух, а Лиля слушала. Дошёл до Лесьмяна – и мы одновременно воскликнули:

– Что-то не то!

Я взял маленький сборник Лесьмяна и нашёл то же стихотворение в переводе В. Корнилова.

<u>У Бродского:</u>

1
Помимо Данте, кроме Пифагора,
Помимо женщин, склонных к
исступленью,
Пока им чрево пучит мандрагора,
И я был в Лимбах... помню,
к сожаленью!

<u>У Корнилова:</u>

1
Помимо женщин, съевших
мандрагору
В тоске по детям, близких к
исступленью,
Помимо Данте, кроме Пифагора,
И я был в Лимбе... помню,
к сожаленью!

Дальше семь четверостиший практически тождественны, если не считать пары небольших разночтений: «...томов двенадцать накатать бы кряду...» и «...томов двенадцать мог бы выдать кряду...» во втором, «...но и не рваться из пучины вовсе...» и «...а не вращаться в мёртвой точке вовсе...» в четвёртом. Зато девятое и десятое:

9
Что большая для Вечности потеря:
минута, год ли? Вскидывая руки,
Самим себе и времени не веря,
Не колокол свиданья, но разлуки

10
Они друг другу внемлют, настигая
Иронии глухой не изменивши:
За каждою минутою – другая.
Хоть век звони, не по себе звонишь
ты.

9
Что в битве стрелок с Вечностью
потеря
Есть большая: мгновение ли, год ли?
Самим себе и времени не веря,
Одна другой оказываясь подле,

10
Не в колокол свиданья, но разлуки
Звонят они, стать выше возомнивши
Иронии, пульсирующей в звуке:
Хоть век звони, не по себе звонишь
ты.
Далее – снова совпадение до самой последней строфы:

19
С двумя концами выберем дорогу:
На север – с т р а н ы, а э п о х и – с юга.
Г р а н и ц а им – п р о с т р а н с т в о... ей-же Богу!
А небосвод – лишь пыльная округа.

19
По шляху, распростершемуся, мнится,
Меж с т р а н а м и и в р е м е н е м припустим.
П р о с т р а н с т в о там покажется... г р а н и ц е й,
А небосвод наш – пыльным захолустьем.

Мы решили, что совершили литературное открытие. Однако Кутик, тогда ещё с нами водившийся, тут же просветил нас с высоты своего «свойства» в литкругах: оказывается, Бродский, собираясь покинуть Страну Советов, свои переводы отдал Корнилову, разрешив тому публиковать их под своим именем – чтобы не пропала работа... А впоследствии, при составлении многотомника, восстановил, что называется, справедливость.

Однако мне тут кое-что представляется сомнительным – хотя бы потому, что, по правде говоря, вариант Корнилова кажется интереснее. Возможно, конечно, что он лишь слегка обработал отданный ему перевод, а Бродский, естественно, вернулся к своему варианту...

Так ли всё это важно?

По-моему, да.

Речь всё о том же – о восстановлении забытого. Которое не исчезает.

Или всё-таки исчезает?

«Напрасно ты всё это пишешь, – говорит Лиля. – Получается, что ты как будто примазываешься».

*Но меня занимает не то, что я «примазываюсь», и даже не то, что всё этоначинает выглядеть точно так же нелепо, как какой-нибудь «Алмазный их венец». Важнее другое: как же так, были мы все вместе и любили друг друга, а теперь...**

Из иронической «Рецензии Г. Кацова на книгу Г. Кацова "Московская поэтическая струя 80-х"»[46]:

«*Глава 2. Метареализм*

Дадим слово самому автору (прошу прощения за пространную цитату): «Возникновение моды на метареалистов имеет конкретную дату – 18 июля 1984 года. «Какой был день тогда? – Ах, да – среда!» (...) Именно в среду, в день выхода еженедельника «Литературная газета», появилась статья Сергея Чупринина «А что за сложностью?»[47]...

Задача метареалистов была нацелена на переодевание. Русский символизм, французский сюр и английский им, практика стихосложения футуристов послужили опорными точками для метареализма. Поскольку массовой культуре ранних 80-х эти поэтические направления практически не были известны, а творческая и техническая элита давно уже с тоской ожидала явления – возрождения – чего-то подобного в русской поэзии, то метареализм, удачно состыковав время (в период безымянных 80-х, после пропавших без вести 70-х) и место (в Москве, а не в амбициозном Петербурге), попал в самое Оно. Естественно, одев по моде желаемое и малоизвестное и добавив собственной энергетики да философско-поэтического опыта мировой культуры послевоенного периода».

Безапелляционность автора поражает: Жданов, Еременко, Парщиков и примкнувший к ним Арабов рассматриваются, в основном, с точки зрения моды. И хотя автор пытается выглядеть объективным, отдавая дань талантам указанных поэтов, высоко оценивая глубину их метафорически-самобытного мира, всё же проблема моды выходит на передний план.

На мой взгляд, если этот вопрос так интересует автора, то лучшего поля для её применения, чем концептуализм, не найти. Вот уж кто попал в модные да актуальные, вот уж кого приглашают ТВ и мирового значения университеты. И хотя концептуалисты по популярности всё же не дотягивают до Евтушенко времён Политеха, их попадание «в яблочко» ни в какое сравнение не идет с метареалистами.

Особняком автор рассматривает Аристова, Кисину и Кутика. Утверждение о влиянии раннего Кутика на творчество метареалистов ничем не оправдано. Скорее наоборот, *творчество позднего Кутика не так легко подчас отличить от раннего Парщикова*...[48]».

Юра Проскуряков некогда написал мне, что я показался ему при нашем знакомстве остроумцем и весельчаком (это я-то!), приехавшим прямо из Древней Греции (!). Перед моим отъездом мы с ним увиделись, как казалось тогда, в последний раз, и последнее, что запомнилось из его стихов того времени: «...И осень, как пловец без головы,// играет с рыбой листьев у фасада...» – из цикла «Прогулки с Блоком».

По-моему, удивительные строки.

Замечательная поэма «Полифем» не пропала – к счастью, автор, подарив мне машинописный экземпляр, потом забрал его обратно, так что она сохранилась у него.

Вообще-то, строго говоря, «Полифем» – не поэма, а роман-гофманиада в стихах, письмах, диалогах, фрагментах дневника главной героини, Русалочки, влюблённой сразу

* А что тут особенного? Знаешь, в преферансе есть поговорка: если знать прикуп, можно не работать. Знали бы будущее, так и не любили бы, и не дружили бы, и, может, путь свой не нашли бы? (Ю.П.)

в двух поэтов, Потебниуса (Парщикова, как я почему-то был уверен – в действительности же самого Проскурякова, как выяснилось) и Заболотнуса (Ерёменко). Есть там теоретические выкладки (серьёзные и/или пародийные) и даже схемы; есть такие персонажи, как Вечный Жид по прозвищу Антисемит (уменьшительно Сёма), граф Калиостро и сам несчастный Полифем, безнадёжно влюблённый в Русалочку (Поэзию?). В своё время на меня неизгладимое впечатление произвела фраза из письма Русалочки, подслушавшей диалог поэтов: «...они говорили, что женщины им до Феньки. Наверное, это их общая любовница...».

Впрочем, у «ПОЛИФЕМА» теперь другое название, а фразы про общую любовницу нет – то ли автор выбросил, то ли я сам её придумал!

Хотя Наташа Лясковская никогда не входила в группу, влияние Ерёмы на её ранние вещи очевидно. Вот её стихотворение примерно 80 года:

Саблезубый пищавель, гуляя по лесу,
приносил себя в жертву прогрессу
и не блюл своего интересу.
Он пищал-верещал, что он чище, чем Авель,
что любимая пища его – дикий щавель.
Но ему не поверили разные звери,
завищали из щелей: «Не верим! Не верим!».
Вышел кот перед зверским конклавом
и замявал особенным мявом:
«Гля[49] него, гля пищавеля, нету пощады.
Мы сошлём его в Польшу, в польский город Бещады!
Или пан, иль пропал и костями полягет.
Шо глазы так таращишь, как буква умляут?»
«Шо омлет, шо умляут – одно же и то же! –
зарычало зверьё, те, кто был помоложе. –
– Раздевай-ка радёжки, сымай-ка пижану!
В нашем лесе не место пижонам в кожанах!»
Так закончил пищавель короткую жизень.
Мемуаров своих не оставил, кажись, он.
И поэтому стих наш свободен в деталях,
он и смел, и нахал, как дитя на педалях...

Из более поздних её стихов мне запомнилось: «...деревья, как беременные девы,// склоняют к ней тяжёлые тела...».

Юра Арабов тоже в группу не входил, но нередко выступал с нами вместе и одно время воспринимался как свой. Здесь, однако, стоит сделать очень существенную оговорку, которую следовало сделать уже давно: я различаю «группу» и «направление»; *группа* для меня – это несколько близких (навсегда, как ошибочно казалось) людей – в отличие от *направления* (группа может быть ядром направления, но может и не быть), куда входят люди более отдалённые и даже совсем чужие, но близкие по языку[50]: в данном случае это Жданов, всегда чётко державший дистанцию, Аристов, Арабов и другие.

Впрочем, как раз с Арабовым некоторое время я был как будто очень дружен. Он неожиданно возлюбил меня после моего обсуждения на студии Ковальджи (об этом ниже), особенно когда выяснилось, что мы компатриоты – оба родом из Крыма. Мы усиленно общались, а однажды он зазвал меня в ресторан и угостил на остаток гонорара за киносценарий блинами с икрой (я впервые тогда попробовал это блюдо, которое теперь продаётся в Москве в уличных киосках). К сожалению, я его, видимо, изрядно обидел, когда, сидя у него дома и слушая его длинную поэму, героями которой были говорящие осел и репейник (они долго философствовали, пока, наконец, осёл не сожрал собеседника!), вдруг, увы мне, слегка задремал! Со мной это бывает нередко, но вовсе не обязательно от скуки. Просто следствие многолетнего хронического недосыпа.

Помню целиком только одно его стихотворение (его, кстати, очень огорчало, что лучше всего запоминается именно это, самое несерьёзное):

ТЁТЯ МАША ЧИТАЕТ

– Мне жить невмоготу! – сказал Жюльен Сорель. –
– Маркиза, вы мой друг и ангел простодушный!
Но тут пришёл маркиз, Луи де Шатонель,
и, потирая грудь, унёс жены подушку.

Маркиза, покраснев, схватила пеньюар:
– Жюльен, он видел всё! Он жлоб и так несносен!
Есть у него дружок – Журден Оревуар
и госпожа Бювар, которая на сносях!..

Но этот разговор подслушал Монтескье,
тот самый Монтескье, а вовсе не учёный,
который был бугай, но протирал пенсне,
поэтому и вид имел весьма лощёный.

До княжества Ля-Бред он доскакал пешком.
Там некий Рюбампре княжил четыре года.
А зять его, сосед, затеял дикий шмон,
хотя и миллион имел он в год дохода.

Рубли он не считал, но был ужасно скуп.
Племянник Антуан решил бежать с кузиной.
Она носила фрак и розовый сюртук.
Уж после он узнал: она была мужчиной!

Она теперь хотел оттяпать у него
Наследство Пей-Рамаль и укатить в Саратов...
Но тут пришёл Милон, не знавший ничего,
С бутылкой первача и с внешностью Сократа.

Не знавший ничего, он всё же много знал
И брата умертвил при помощи подлога.
Она к нему хотел проникнуть в будуар,
Хоть он её пускал не далее порога.

Она ему сказал, что некто аноним
Послал донос в Париж, а он ему ответил...
Но тут пришёл Жюльен (он был не херувим!)
И вынул пистолет со множеством отверстий...

Через несколько лет мне показали в каком-то журнале публикацию Арабова, где к одному стихотворению был взят эпиграф:

Никто не знает, что Гомер ослеп...
Р. Левчин.

Юля Кисина, конечно же, в группу не входила никоим образом, но определённое отношение имела. Мы познакомились в 84-м году в литстудии Киевского Дома учёных (да-да, в Киеве появилась, наконец, литстудия – или, во всяком случае, что-то, отдалённо напоминающее литстудию!), и я, должно быть, произвёл на Юлю сильное впечатление, особенно если учесть, что ей тогда было лет семнадцать, а я носил кеды с крупной надписью фломастером: «ДОЛОЙ СЕКС!». Она посвятила мне стихотворение «Не потому ли мир чудесен,// что воздух гулок и глубок...». Её стихи этого периода наполнены подражаниями мне, а потом и Алексею, с чьими стихами я её познакомил:

...Ты стучишься в меня, как бельё, разрываясь на части,
И к подножию ветра несёшь золотые шары...

Я же познакомил их и лично – всё на том же Восьмом Совещании молодых писателей, куда я попал контрабандой (как Парщиков изумился, увидев меня, и даже не попытался скрыть это![51]), а она – вполне законно. Алексей осторожно протянул ей руку со словами:

– А Вы что, тоже что-то пишете?..

Впоследствии, когда она перебиралась в Москву, я предупредил её:

– Юля, не доверяйте Парщикову!

– В каком смысле? – поинтересовалась она.

– Во всех смыслах. Ни как мужчине. Ни как человеку. Ни как поэту. Он думает – всегда! – только о себе, любимом.

– Что ж, и правильно, – браво ответила девочка, – я сама такая!..

Через пару лет, во время нашей предпоследней встречи, она рассказала в порядке анекдота, как была у кого-то в гостях вместе с Парщиковым, и он потом сделал ей выговор за панибратство с хозяевами: «Мы – члены касты!..».

Позже он посвятил ей стихотворение «Львы», где есть очень точные строки:

Мы в городе спрячемся, словно в капусте.
В выпуклом зеркале он рос без углов,
и по Андреевскому спуску
мы убежим от львов.

Интересно, что страницей раньше в сборнике стихотворение, посвященное Оле:

Бритва сияет в свирепой ванной,
а ты одна,
как ферзь точёный в пене вариантов
запутана.

(В моей памяти начало другое: «Тикает бритва в свирепой ванной...».)

Возможно, отсюда возникла и моя строчка «Вариантов твоих волос// в пространствах дрожь...». Точно так же его строчка «Вот бы заснять его из-за мусорных ящиков»[52] породила мою «Из-за мусорных ящиков щёлкая...» – но это умышленный отсыл. Точнее, воспоминание. О бывшем друге*.

Юля Кисина. Автопортрет.

На том же совещании Маша Арбатова, моя бывшая однокурсница и будущая (тогда – ныне уже тоже бывшая) знаменосица российского феминизма, уверяла меня, что Парщиков специально спаивал Ерёму несколько дней, чтобы не допустить его на это мероприятие. Более того, она бросила это же обвинение Алексею в лицо, на что получила ответ: уж как-нибудь сами разберёмся!

Именно тогда я услышал от Маши восхитительное сообщение, что, мол, раньше она писала стихи, но, познакомившись с творчеством Ерёменко, бросила[53]. По этому поводу одна наша общая знакомая заметила: «Странно, а вот наличие Шекспира ей почему-то не мешает писать пьесы!»

Впоследствии в каком-то из её многочисленных бестселлеров оказался упомянут и я: «...принадлежал к тому поэтическому поколению, лидерами которого стали Парщиков, Ерёменко, Жданов. Стихи он писал дивные, но не было ему везухи**».

Если под «везухой» здесь понимается бесценное умение лизнуть в нужный момент соответствующую задницу, то – да, чего не было, того не было. А теперь уже и обучаться этому как-то поздно.

Впрочем, объективности ради о Маше надо вспомнить и другое.

---

* Ты как бы задним числом продолжаешь его уговаривать: «Ну полюби же ты меня, сукин сын!» (Ю.П.)
Пусть так. Если я утратил человеческое чувство, то разве не означает это, что я стал беднее на это чувство? (Р.Л.)

** То же самое: «Я же не виновата, что ты еврей! И даже ещё хуже. (Ю.П.)

На первом курсе Литинститута кто-то из моих сокурсников заявил, что всякую «интеллигентскую вшивоту», которая смеет хаять великого поэта Рубцова, он бы собственноручно расстреливал! Я в те времена и вообще-то осторожностью не отличался, а тут у меня словно в мозгу что-то закоротило, и я заорал:

– Ну вот я и есть интеллигентская вшивота! Давай, расстреливай меня, ну!!.

Маша, оказавшаяся рядом, схватила меня за рукав и оттащила в сторону, приговаривая что-то вроде: «...ну куда ты спешишь?.. успеешь ещё расстреляться!..».

Она же вместе с критиком Ирой Вергасовой (ныне, увы, покойной) устроила мне вечер в так называемом профкоме драматургов уже после окончания Литинститута, в 83-м. К сожалению, организовано всё было несколько избыточно: стихи я читал не один, а вместе с актрисой, имени которой не помню, потом Сергей Летов в кардинальской мантии играл на двухметровом саксофоне, после чего художники Абалкова и Жигалов демонстрировали свой «тот-арт»... в общем, когда дело дошло до дискуссии, то публика уже с трудом вспомнила, что тут, кажется, ещё и стихи звучали...

Примерно в 79 году я получил письмо из Саратова, подписанное «Вова Потапов». Письмо было весьма, как сказал бы я сейчас, авангардно-визуальным. Например, в нём была прожжена дырка, вокруг которой автор написал: «Это дырка. Не знаю, зачем прожёг». На обороте страницы: «Понял, зачем. Чтобы смотреть».

И переписка завязалась. Он присылал многочисленные, очень смешные письма, описывая реальных и вымышленных обитателей Саратова. Увы, ничего из этой огромной горы бумаг не сохранилось. Были там неплохие стихи – некоторые явно под влиянием Проскурякова*, другие вполне самостоятельные. Помнятся почему-то как раз второстепенные:

Бешено заглатывающий, жующий, смердящий,
сулящий смерть травоядному идеалисту
ящер, ящер, ящер!

Были мини-пьесы, помню монолог Полисмена из одной: «А утро-то какое!// В родной Шотландии сейчас// овец погонят к водопою,// корова свой откроет глаз.// И вереск, сучьями треща,// сестра нарубит для борща...»; был роман в письмах из жизни некоего генерала Катрикадзе. Один кусочек оттуда мы с Алёшей и Олей постоянно цитировали. Пожалуй, вот его-то и надо было бы взять эпиграфом ко всему этому тексту: «...А веруют они неправильно – отец Игнатиус плюёт на распятие, крестится ногой и воопче есть скрытый иудей и протестант!..».

В свою очередь я старался не отстать от него и в письмах давал юмористические описания наших тусовок (слово ещё не было в ходу, хотя сами тусовки уже были) и нашей группы, причём последнее я даже свёл в таблицу, из которой помню фразу: «Ни одна из наших жён бороды не носит!» (речь шла о том, что вот у Винова – борода и усы, у меня – борода, но нет усов, у Ерёменко – усы, но нет бороды, у Парщикова – ни бороды, ни усов, зато длинные волосы, у Чернова и того нет, но он тоже, как все мы, женат).

Винов, узнав о нашей переписке, сочинил для неё дополняющие эпиграммы:

Чернов
не знает марксистско-ленинских основ.

---

* Я никогда не мыслил, что Потапов мне подражает. По поводу моего творчества он изрёк, что меня опубликуют последним. Либо интуиция нечеловеческая, либо информация. Прав-таки был, сукин сын... Вообще же ранний Потапов подражал обэриутам. (Ю.П.)

Потапов
дівок лапав.

Потапов был весьма польщён и ответил в тон:

Винов
ворует носки из магазинов...

Как же это так случилось, что наша дружба и весь этот лицеистский кайф исчезли, сменившись если не враждой, то холодным отвращением? (Я имею в виду не только и не столько Потапова, но всех нас, почти всех.)*.

Последнее о Потапове – из письма Проскурякова: «...так и умрёт его муза без покаяния...».

В 97 году режиссёр Олег Липцин, основатель «Театрального Клуба», показал мне в интернете текст:

«*Два поэта*

Опять о Киеве. О его обитателях, которые рассказывают о себе самые невероятные истории. Жили в славном граде два поэта. Рафаэль Левчин, заядлый модернист. И Юрий Мезенко, автор гораздо более традиционный.

Левчин писал:

В пустоте кружит существо с крылышками
Оно маскируется
Как хочется сесть на камень и слиться с ним
Благообразие бронзовой маски
Кто-то шагнул в воде
кто-то кому нет названия
Глаза
Глаза существа Глаза существа с крылышками
Глаза существа с крылышками из каменных чешуек
Глаза существа с крылышками из каменных чешуек
синей воды
пустоты
бронзы времени...[54]

Мезенко писал:

Мы – коммунисты.
Прозревает сила
не панибратства – побратимства масс:
когда земля детей своих растила,
она любила каждого из нас.

* В плане сентиментальных ламентаций ты побиваешь рекорды. О чём тут сетовать! Посмотрел бы ты на современного Потапова, у него челюсти, как у гамадрила, вперёд выдались! Это, вероятно, от правильного и последовательного антисемитизма. Вот ты его и люби после этого, борца с мировым злом! (Ю.П.)

Левчин был просто поэтом. Мезенко был еще и редактором отдела поэзии журнала «Радуга». Когда Левчин приносил свои стихи в «Радугу», то Мезенко их категорически не печатал. Потому что про побратимство масс ничего не было.

В конце концов Левчин, озлившись на советскую власть, ничего не понимающую в поэзии, эмигрировал в Америку. Где свободы слова навалом.

И, освоившись, через некоторое время принес свои стихи в чикагский русскоязычный журнал.

А там в отделе поэзии сидит Мезенко.

И опять Левчина не печатает.[55]».

Первая моя реакция была: «Олег, лучше б Вы мне этого не показывали!»

Автор сего текста – некто Андрей Бугров. Понятия не имею, кто это такой.

Впрочем, недавно я обнаружил текст ещё почище:

«Вспомнили о мистической истории, которая случилась с поэтом-авангардистом Рафаэлем Левчиным, надышавшимся на Лысой горе каких-то не тех эманаций. В советские времена редактор киевского журнала «Радуга» не печатал его стихи. Потом Раф эмигрировал. Поселился в Чикаго. Узнал, что и там существует русскоязычный журнал. Приходит, а там сидит тот же самый редактор Мезенко. И опять, естественно, не печатает. Против кармы не попрешь...»[56]

Чернов, уже работая в «Радуге» мезенковым подручным, отправил мои стихи в архив, даже не сообщив мне об их судьбе. И когда слух об этом – через того же вьюна Мезенко – дошёл до меня, и я спросил у Чернова при встрече, правда ли это, он невозмутимо ответил: «А что, лучше было бы, если б я, как полагается, прислал отказ по почте?» (86 год).

Надо заметить, что рядом с Черновым стоял Жданов, приехавший в Киев на гастроли, уже вполне официальные.

– А ты что об этом думаешь? – спросил я у него.

– А я об этом вообще не думаю, – преспокойно ответствовал Жданов.

В тот же вечер у нас было совместное выступление, хотя сейчас мне уже и не очень понятно, как это могло быть и как это я согласился выступать с ними...

За несколько дней до нашего отъезда в 91-м раздался звонок: «Раф, это Чернов!» Я ответил: «Не знаю такого!» – и бросил трубку. Однако он перезвонил, и разговор, вялый, бессмысленный, натужный, всё же состоялся...

А ведь тот же Саша Чернов прыгал от радости, когда меня впервые опубликовали (фантастический рассказ «По спирали»)[57].

Между прочим, в этом рассказе, как я теперь вижу, был предсказан распад группы и многое другое, связанное с этим. Наверное, просто мало кто способен любить друг друга всю жизнь. Любовь, как известно, уходит, не спросясь. Но хорошо бы хоть, чтобы она не сменялась ненавистью.

Тут мне вспоминается история, рассказанная Парщиковым, якобы услышавшим её от Вознесенского (а тем, в свою очередь, якобы от Пастернака): однажды Хлебников и Мандельштам влюбились в Ахматову, и дело уже шло к дуэли*, причём Мандельштам требовал, чтобы дуэль была по всем правилам, с секундантами. Хлебников нашёл себе секунданта, а Мандельштам никак не мог найти. Наконец, они забрели в мастерскую не-

---

* Недавно я в какой-то брошюрке поймал след этой истории в весьма уклончивой формулировке: Хлебников с Мандельштамом в «Бродячей Собаке» поссорились на почве антисемитизма, и дело шло к дуэли. Т.е., надо понимать, Велимир, приревновав к Ахматовой, брякнул Мандельштаму что-нибудь вроде: «Куда лезешь, жидовская морда?! «Вполне в духе эпохи. Написал же Блок о Мандельштаме в дневнике: «...жидёнок со стишками... «. (Р.Л.)

коего художника и стали просить его пойти к Мандельштаму в секунданты. Тот долго молчал, а потом медленно заговорил: «Я работаю над картиной, которая должна быть такой, чтобы могла висеть на стене без гвоздя. Я сижу здесь уже много дней. Я ничего не ем, ничего не пью. Уже почти получается. Картина уже почти висит без гвоздя!..» И молодые безобразники-поэты, услыхав такое, устыдились и разошлись в разные стороны.

Когда-то давно Чернов с женой пришёл к нам в гости, просто так. Мы сели вчетвером за стол, я разлил вино. Наши жёны в один голос запротестовали, что им многовато (женщины тогда пили гораздо меньше, чем мужчины!), и мы с Сашей синхронно отлили немного из их стаканов в свои. После чего он, усмехаясь, заметил:

– Смотри, мы оба вино отлили. Но ты – действительно ОТ ЛИЛИ, а я – ОТ МАШИ. О, великий русский язык!..

В мае 2002 года я побывал, после одиннадцати лет отсутствия, в Киеве. На моё выступление в кафе «Бабуин» (бывший «Таллин», бывшая «Молочарня») собралась, к моему удивлению, довольно многолюдная аудитория. Среди прочих пришёл и Чернов, протянул мне руку, я пожал её...

Неужели я до сих пор не могу простить его?

Но разве «простить» означает «забыть»?

Ещё до истории с архивом Чернов однажды явился ко мне домой изрядно пьяным и стал рассказывать, как его забрали в ментовку, как его там бил милиционер-еврей (?!), и как он теперь будет мстить этим поганым евреям, исподтишка убивая их приёмами каратэ. Не знаю, забыл ли он спьяну, что я тоже еврей, или решил меня зачем-то припугнуть. Если второе, то не очень преуспел. Когда, слегка протрезвев, он собрался уходить, я сказал ему: «Ну что ты, Чернов, куда ж ты теперь пойдёшь? Теперь уж тебя придётся разрезать на кусочки и спустить в канализацию!»

Впоследствии, где-то в 92-м, Чернов принял иудаизм! Я узнал об этом из письма Виктора Зуева.

И вот теперь – снисходительное упоминание о нём на «вавилонском» сайте: «...видимо, был близок к кругу Парщикова...».

Когда-то, в году 77-м, Алёша заявил, что не видит принципиальной разницы между государствами большевистским и нацистским. Я не спорил особо, но считал, что, в конце концов, любые другие государства не лучше, машина подавления всегда остаётся машиной подавления.

Сейчас я думаю несколько иначе. Другие государства, может быть, и не лучше, но *это* – хуже (пишу в настоящем времени, поскольку третьеримская империя, пусть несколько обкорнанная, никуда не делась)!

Понять это мне помог Чернобыль.

Игнорируя катастрофу, радиацию, всё увеличивающуюся опасность, власти делают вид, что всё в порядке, ничего никому не сообщается, в Киеве проводится как ни в чём не бывало первомайская демонстрация! С детьми!!

Думаю, Гитлер так бы не поступил. Он-то наверняка учёл бы, что детей стоит поберечь, ведь это завтрашние солдаты и рабочие. Но тем, кто был и остаётся у власти в этой несчастной империи зла, как бы она ни звалась – Московское царство, Российская империя, СССР, СНГ, – было и есть наплевать на всех и всё, кроме собственной шкуры. Дети? Новые народятся, страна большая! (Эта формулировка принадлежит отнюдь не пахану Джугашвили, а «первому большевику» Петру Первому.)

То есть это не фашизм – это хуже любого фашизма. Третий рейх, при всех его прелестях, был не так бесчеловечен, как Третий Рим.

Но Парщиков, когда при нём заговорили о Чернобыле, громко заявил: да бросьте, там уже всё в порядке!

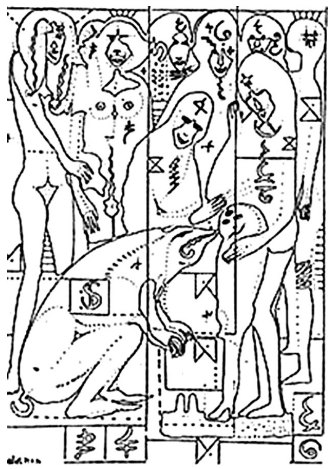
Хотя «там» не только не было всё в порядке тогда – «там» и по сей день опасно. И опасность эта не уменьшается.

Однако Парщиков 86 года не был Алёшей 77-го. Он уже был частью Системы.

«Ценность неангажированности...».

Ему всегда хотелось сидеть на нескольких стульях сразу: быть дельцом от литературы – и в то же время поэтом, делать карьеру – и иметь друзей в андеграунде.

«...Я уже давно укротил в себе ненависть, а раньше взращивал... Себе нельзя потакать, иначе погибнешь...»[58].



Графика А. Степаненко

IV

Если воин убил женщину, он может дать имя убитой своей дочери.

Г. В. Дзибель, «Феномен родства»

Вероятно, читая всё вышеизложенное, Человек Неизуродованный (ну, народится же когда-нибудь поколение, в котором полностью исчезнут совковые гены!) решит, что мы все были какими-то чудовищами. Да нет же, конечно, мы были обыкновенными людьми. Как сказал Воланд, квартирный вопрос их испортил.

Скорее всего, я никогда бы не поступил в Литинститут без помощи Парщикова. Он буквально втащил меня туда за руку – и помогая готовиться к экзаменам, и – о хитроумный! – порекомендовав написать в анкете «русский», что я и сделал (говорят, К.К. рассказывает, что я поступил благодаря его протекции – очередная ложь К.К.).

И, конечно, одно только это с лихвой компенсирует многое другое – и как Парщиков в моём присутствии рассуждал о так называемой «южной школе», куда входят Чернов и Мезенко (ярость, которая тогда на меня нахлынула, не поддаётся описанию – сейчас-то мне самому смешно, но тогда!..); и как он советовал одному своему московскому знакомому вступать в Киеве в контакт только с украинскими авангардистами и не связываться с «ев-

рейско-русскими кругами»; и его переданная мне шуточка: «Говорят, в Киеве есть какой-то Левчин. Не знаете, кто это такой?»... и ещё, и ещё...

Тёплый августовский день 77 года. Мы с Алёшей и Олей во дворе Литинститута, находим мою фамилию в вывешенных списках принятых. Радостный визг Оли, мы втроём обнимаемся! Тут же стоит скромная девочка, тоже принятая, даже рядом с Олей кажущаяся очень юной. Это будущая «чёрно-эротическая» писательница Лера Нарбикова...

В летний вечер 84-го раздался телефонный звонок, и весёлый голос на том конце провода сказал, что ужас до чего хочет со мной познакомиться. Пришёл парень, показавшийся сперва очень молодым (на самом деле бывший всего на два года моложе меня), с бутылкой вина и папкой рисунков, и рассказал, что был в Москве на выступлении Парщикова, пришёл в восторг, а после вечера подошёл и спросил, есть ли в Киеве кто-нибудь подобный. Тот дал мой телефон.

Так Парщиков заочно познакомил меня с Толей Степаненко, который с тех пор прочно вошёл в нашу жизнь.

Увидев в тот вечер впервые его графику, я воскликнул:

– Да это же иллюстрации к моим «Ряженым»!![59]

И это действительно было так. Потрясающее совпадение!

Вскоре оказалось, что художник – ещё и поэт (а также кинорежиссёр, арт-слайдист и пр.), и мы не раз выступали вместе на частных квартирах с чтением стихов, показом слайдов и мини-перформансами, и одни только эти выступления можно вспоминать долго и с кайфом[60]. В какой-то мере это тоже была группа – из нас двоих, – к которой время от времени присоединялись то одни, то другие...

Это опять-таки совершенно отдельная тема: рассказ о возникших в Киеве группах, таких, как ЦИКРА[61] (первоначально ИКРА), «контркультурщики», «Эскадрилья имени взрыва смысла», «Эр.джаз»[62], вышеупомянутые «39,9° С» и «Чен-Дзю»... наконец литстудия «Слово» при «Театральном Клубе», которой руководил я...

А художники! Виля Баклицкий, обучавший меня азам керамики, приговаривая: «У тебя здесь должно быть такое же бесстрашие, как в стихах!» (С тем же бесстрашием он и умер, как жил: принял сердечное лекарство и запил портвейном...)... Витя Жук (ныне в Праге)... Вера Вайсберг (ныне в Германии)... и многие ещё...

И, конечно же, Юра Зморович, поэт, драматург, прозаик, художник, скульптор, композитор, музыкант, режиссёр, создатель интердисциплинарного перформанса «Глоссолалия» (если не ошибаюсь, эта идея пришла Юре в голову, когда он увидел, как два моих сына играют на своих музыкальных инструментах, и в одной из первых глоссолалий они действительно были в центре действа...).

Наш совместный десант на «Агасфер»[63], буквально за считанные недели до моего отъезда, где я впервые участвовал в выставке бук-арта... Кстати, попали мы туда через Юлю Кисину[64].

А коллеги вне групп: Влад Васильев (ныне в Питере), Женя Вишневский (ныне в Лос-Анжелесе), Наташа Акуленко, Костя Сигов,.. Андрей Курков, в соавторстве с которым мы сотворили пьесы «Взлётная полоса» и «Отцы подземелья»... словом, впору писать что-то типа «Люди, годы, жизнь», никак не меньше.

Чего стоит одно только знакомство с Игорем Лапинским, случившееся совершенно нестандартным образом. Я стоял в очереди на почте. Девушка, стоявшая за мной, увидела в обратном адресе бандероли, которую я собирался отправить, мою фамилию и воскликнула: «Вы Левчин? А я жена поэта Лапинского, он давно хочет с Вами познакомиться!»

Впоследствии мы с Лапинским несколько раз выступали вместе, в том числе и втроём с Виновым, которого теперь, как я недавно с изумлением узнал, заодно с Березовчук, Драгомощенко, Кутиком, Лапинским, Летцевым и Парщиковым, относят к т.н. «южнорусской школе»[65]...

Мы написали с Анатолием фантастическую пьесу «Сквозь зеркало». Лиля читала её вслух нашему младшему сыну, тогда шестилетнему (на ходу переделав трагический конец в счастливый), и это одно из лучших моих воспоминаний. К сожалению, пьеса (основные действующие лица: Коломбина, Пьеро, Арлекин, Маг, Белый и Рыжий Клоуны) не сохранилась. Все её экземпляры осели в украинских ТЮЗах, куда мы пытались её предложить, и это было, конечно, так же наивно, как и попытка Толи предложить свои стихи в моих переводах на русский язык в «Дружбу народов», где тогда уже восседал всё тот же наш общий знакомец Парщиков.

– Он мне говорит этак, знаешь, конфиденциально: «Ну, ты же понимаешь, старик, это не для печати...» – рассказывал Толя, вернувшись из Москвы...

Первая публикация стихов Анатолия (в оригинале) состоялась в 88-м, в том же номере «Вітрил», где напечатался Винов (занятно, что в том же номере и первая публикация Андрея Домбровского, киевского лидера «литтеррористов»). Мой перевод одного стихотворения Толи впервые появился в 92 году в киевском самиздат-журнале «Саркофаг». Затем я публиковал его стихи в моём журнале и, надеюсь, буду публиковать ещё.

Мы написали вместе киносценарий «Коллажи сорокалетних» (я вмонтировал туда тексты ещё нескольких человек: Марины Доли, Юры Зморовича, Саши Малого; весь пролог придумала Лиля). Сценарий написан уже как бы в режиссёрском варианте, в виде покадровой записи. Признаться, не понимаю, зачем надо писать сценарии иначе, почему следует избегать драматургической формы и делать вид, что это проза, если это *не проза*... Главный герой (он так и обозначен «Герой») – это, конечно, сам Степаненко, но в нём есть что-то и от меня. Есть в сценарии также персонаж «Бритый», написанный с меня, даже читающий в одном эпизоде мои стихи, но у него есть и некоторые черты Анатолия. По ходу действия Бритому отрубают голову – я тогда ещё не очень соображал, насколько осторожным надо быть с такими играми, – с тех пор у меня начались довольно регулярные головные боли. Неизвестно, что было бы, если бы фильм был снят, но, к сожалению или к счастью, когда сценарий был в 88 году закончен, Толя, уже успевший сделать два полнометражных фильма, вообще раздумал заниматься кино. К счастью, сценарий сохранился и даже был в 94 году опубликован в первом номере великолепного донецкого журнала «Многоточие» («Родина вспомнила!» – саркастически написал мне по этому поводу Зморович; но только недавно я обратил внимание на забавную вещь: перед сценарием, словно эпиграф, помещено стихотворение Парщикова «Ещё до взрыва вес, как водоём...»), а после – поэма Наташи Хаткиной (ныне, увы, тоже покойной) «Лучшие годы», цитируемая в самом начале сценария.

Наташа Акуленко впоследствии написала рецензию на этот номер, причём немало тёплых слов употребила в адрес сценария (хотя многое в нём, естественно, содержит для неё совершенно иной смысл, чем для меня!). Рецензия была напечатана в киевском журнале «Зоил» с грубыми искажениями, из-за которых, как я понимаю, Наташа разругалась с редакцией. Ну что ж, и «Зоил» уже приказал долго жить...

Фильм Степаненко «Полнолуние» (который на пресловутой студии Довженко обзывали то «Порнолунием», то «Полоумием») снят по мотивам рассказа Валерия Шевчука[66] (об этом замечательном представителе украинского магического реализма опять-таки надо бы рассказывать подробно...) «Панна сотникивна» («Дочь сотника»). С рассказом Анатолий познакомился сначала в моём переводе с украинского...

От Парщикова я впервые услыхал о Клехе. Они познакомились по переписке, и Алексей, читая первое же письмо Клеха, с невинным видом вопросил:

– Как ты думаешь, что такое «ноггога»?

– Что?!

В письме, отпечатанном на машинке, стояло «НОГГОГ'А».

Каким-то образом до меня дошло, что это означает «HORROR'A»! Мы ржали как ненормальные...

Клех мимоходом упоминает о Парщикове:

«...Бес аналогий искушает меня: и письмо Павла Крусанова, и его психотип, и даже внешний облик неодолимо напоминают мне молодого Алексея Парщикова, основным содержанием поэзии которого была... молодость – а когда она прошла, улетучились и стихи. Есть ещё одна деталь: оба они «южане», и это многое объясняет...»,[67]

– зато парой страниц позже посвящает целую главу Степаненко:

«...Степаненко из тех художников, которые рано сделали свой выбор, и выбор, в отличие от многих, был сделан им сознательно. Этот путь я назвал бы художественным неповиновением.

Избегая лобовых столкновений, он ограничился рисованием на полях жизни. Собственным, киевским, южного происхождения артистизмом пытаясь хоть чуть разогреть прилегающее к нему пространство...

...Без сомнения, яд сецессии тёк в его жилах (ведь опять был конец империи, как в дурном сне), цвет и линия жили у него как бы отдельно в разных жанрах...

Тогда он уже сидел в промёрзлой андроповской Москве, во вгиковском запущенном общежитии, менее всего надеясь выйти оттуда режиссёром...

P.S. Годы спустя я повстречал его случайно в Базеле.

Жить в Киеве, несмотря на все свои старания, он так и не научился...»[68].

Сам Степаненко описывает эту встречу гораздо более красочно (хотя от моего вольного перевода на русский пропадает половина кайфа; для экономии места опускаю начало рассказа, о полёте из Киева в Цюрих, во время которого стюардессы едва успевали подносить ему очередные порции вина):

– ...Летим, а запасы спиртного постепенно уменьшаются. Долетели до Цюриха, меня свели под белые руки, как героя швейцарских авиалиний, шоколадок напихали в карманы, сувениров. Но надо ж ещё до Базеля доехать, а я в растерянности полной, впервые ведь в таком далёком путешествии. Спрашиваю у одного пассажира с чемоданами, как тут попасть на железнодорожный вокзал. А он усёк мой акцент и интересуется: а ты кто? Да вот, говорю, украинец. Тут он вдруг переходит на украинский и сообщает, что тоже украинец! Откуда-то извлекает бутылку виски, стаканчик... и уж не помню, как я менял деньги, как попал в вагон, как доехал, как пиво пил... хотя любому ясно, что если пил сперва горилку, потом весь полёт – красное вино, а после – виски, то пиво пить уже не стоит... Ну, как известно, после ночи наступает утро, и лучше б оно в тот раз не наступало!.. Открываю с трудом глаза. Белые стены. С трудом поворачиваю голову. Огромные окна. Идеальная чистота... Где я?!. Начинаю потихоньку соображать... Ага! Я ж вроде летел в Швейцарию. Так это, значит, я уже на месте, в самой что ни на есть заграничной загранице, в моей мастерской!!! Так, но надо срочно выпить пива! Организм требует, трубы горят... Нашёл как-то дверь ванной, глянул в зеркало. М-да... Ну куда ж с такой мордой выходить в заграницу?! Но делать нечего, надвинул кашкет поглубже, побрёл. Никого нет, улицы пусты. А я лихорадочно соображаю, как у этих швейцарцев спросить: где, мол, тут у вас, хлопцы, пиво? По-английски, что ли? А как же будет «пиво»? Ага, вроде «бир»... Тут в

поле зрения появляются два швейцарца, и один издали вопит: „Ду ю спик рашен?!». Во, думаю, в момент рассекретили, поднимаю мутные очи и вижу... слегка подпорченного временем Лёшу Парщикова, с коим в своё время была распита не одна бутылка!.. Но это ещё не всё. Перевожу взгляд на второго и вижу... человека из абсолютно другой, львовской поры моей жизни – Игоря Клеха!! Та-ак, думаю, допился, Степаненко! Ну, всё, белая горячка! Я читал, что вот так она и начинается, видишь то, чего никак не может быть! Прилетел в Швейцарию, и первые, кого встретил – Парщиков и Клех! Может такое быть?! Абсолютно не может! Где Москва, где Базель, а где Львов!.. А они тем временем достают бутылку, отхлёбывают, суют мне. Пробую. Не исчезают! Тихонечко трогаю Парщикова – вроде материален...

Клех ошибается.

Степаненко стал кинорежиссёром, притом незаурядным. И в Киеве он, уже после моего отъезда, какое-то время жил на гребне успеха. О нём писали газеты (из вырезок, которые он мне присылал, можно сделать книжку), у него были выставки живописи, графики, боди-арта и фото, он организовывал арт-центры, он ездил в Европу (в Базель в том числе), он придумал для телевидения авторскую передачу под названием «Коллаж».

Затем, судя по одному из писем, началась совершенно иная жизнь: «Жизнь свободного художника – дело военное... Открылись неожиданные психологические резервы. Как ты, вероятно, сам слышал, я обратился к религии... Изменилось очень многое, как во мне, так и вокруг меня...»

Это письмо я не могу датировать, потому что не сохранил его, а использовал в коллаже (и теперь цитирую по некачественной фотографии коллажа). Думаю, Толе, учившему меня делать коллажи, это не в обиду.

«Странная судьба у моего поколения... авангард, одним словом... сам понимаешь...» – из другого письма Анатолия.

Он живёт сейчас в маленьком родительском домике в Ирпене, питаясь преимущественно тем, что растёт на огороде. Комната его плотно набита рукописями, рисунками и тому подобным. Он выставляется за рубежом.

Надеюсь, он счастлив: http://stanatol.livejournal.com/

(Мы встретились вот сейчас, в 2012 году, в Киеве. Он словно не изменился!)

И ещё о Клехе: http://metarealizm.livejournal.com/811.html?nc=4#comments

В уже цитировавшейся здесь книге «Пермь как текст» я наткнулся на утверждение, что Виталий Кальпиди подхватил, так сказать, знамя метареализма, выпавшее из усталых рук Жданова и Парщикова. Само по себе это малоинтересно, но за этим следуют несколько любопытных пассажей. Например:. «...Большое значение для самоопределения Парщикова имело, очевидно, знакомство с текстами Кастанеды: следы чтения «Сказок о силе» (образы-понятия «силы», «места силы», «точки сборки») нередко встречаются в его стихах...». Или: «...Жданов персонально как бы не присутствует в своём высказывании. Субъект его речи – функция жанра, некое универсальное лицо дидактической поэзии...».

Бродский в своей нобелевской речи подчеркнул, что задачей его поколения была попытка восстановления разорванной культурной традиции.

Относится ли это к нам? Возможна ли вообще надежда на какое-то восстановление?

В 76 году Алексей подарил Чернову сборник Хлебникова – прекрасно переплетённую самиздатную ксерокопию с издания 1936 года, с надписью: «И эта штука к свадьбе! Ого! Не продавайте её в «минуты жизни трудные». Ваш Парщиков... и Свиблова, жена моя».

Чернов примерно через месяц продал-таки сборник, мне. Алексей, узнав, был очень огорчён. Он тогда реагировал на подобные вещи ещё вполне по-человечески. Я пытался утешить его тем, что, мол, за пределы группы книга всё же не ушла.

В группе была мода (пошедшая опять-таки от Парщикова) ходить с полевой сумкой. Помню, как я радовался, когда сумка завелась и у меня. Я гордо положил в неё Хлебникова и повсюду таскал его с собой. Но как поэт он мне тогда не особенно нравился, казался каким-то нарочито примитивистским. «Ты просто в нём ещё недостаточно выкупался», – резонно заметил по этому поводу Алексей. Действительно, когда я, годы спустя, прочёл прозу Хлебникова и особенно его пьесы, когда я понял, что он визионер... впрочем, я и сейчас думаю, что моё настоящее знакомство с Хлебниковым впереди.

Дважды мы устраивали в Москве вечера памяти обэриутов, причём на обоих председательствовал К.К. На первом я впервые заметил начинавшуюся известность Ерёменко: какая-то киногруппа явилась специально снимать его. На втором присутствовал последний живой обэриут. К сожалению, как-то я не сообразил, что надо бы с ним поговорить, расспросить, записать... впрочем, если бы и сообразил, едва ли решился бы надоедать немолодому человеку. Сам же обэриут ничего особенного не сказал, просто выразил удовлетворение, что традиции их группы не забыты.

Но после второго вечера Парщиков и К.К. в один голос заявили, что для них творчество обэриутов перестало иметь какое-либо значение.

...Вот о ком ещё не упоминал – Коля Дорошенко. С ним тоже меня познакомил Алексей. Сперва это был просто провинциальный мальчик, приехавший в Москву. Как сказал о нём Проскуряков: пока писал стихи, был внешне вылитый Блок. Потом он стал писать рассказы и внедряться в литкруги. Затем женился на дочери какого-то партайгеноссе и сделал-таки карьеру. Последний раз, когда мы виделись (всё на том же Совещании – похоже, там все нити сошлись!), он, уже литчиновник, поучал меня – точнее, выносил приговор, не подлежащий обжалованию: «Знаешь, почему тебя не будут печатать? У Жданова и Парщикова редактор вообще ничего не поймёт, может и пропустить – "пусть будет и такое!", а у тебя по крайней мере половина понятна, и вот по этой-то половине и ясно, что тебя печатать не надо!»

Впоследствии он стал главредом немыслимо гнусной газетёнки «День».

...Летний вечер. Мы на лоне природы – кажется, это день рождения Парщикова. Тут и К.К. с супругой-поэтессой, с коей они ныне вдвоём организовали некую новую группу (видимо, уже метаметамета) с замысловатым названием (если не ошибаюсь, ДУПА – Добровольная Уния Профанации Артистизма), тут и Коля Дорошенко, едва ли провидящий своё отвратное будущее... а вот у костра Юра Проскуряков, которого я вижу впервые, юный и красивый, читает своё стихотворение «Антоний и Клеопатра»:

В ней маятник качался, и кружились
сферические правильные диски.
В её глазах, чернильных, точно ирис,
крылом мелькали ибисы, как искры.

И вздрагивала длинная галера,
и парусом горбатилась пустыня,
когда в воде, зелёной, как хлорелла,
плыла солнцеволосая богиня.

Она моя! Я взял её в бою!
Но, как последний нищий перед богом
молитву повторяющий свою,
её встречаю робко за порогом.

О, пленница моя! О, мой цветок!
Я пред тобою нищ и безобразен,
и, как клубок запутавшийся, грязен
моих желаний яростный поток!

Я трижды умираю каждый миг.
Как амфоры, застыли легионы.
И только треск материи и крик
упавшей с неба заживо вороны.

Тогда она качнулась и пошла,
и вспыхивал в ней маятник отверстый,
и звуков сумасшедшая трава
кругом стояла прямо и отвесно...

...кто ещё? Не могу вспомнить, размыто...*

*Может быть, среди нас был Сергей Надеев**? Несколько дней назад беру с полки книгу, «Игры на воздухе». Фамилия автора смутно знакома. Открываю наугад и, что называется, глазам не верю:*

***Ю**жнорусский пейзаж – репетиция скорой разлуки:*
*Раз**Р**еженный туман на отлогих откосах низин,*
*Изнур**И**тельный час, остролистный камыш у излуки,*
*Юркий з**Ю**йд разнесёт от заглохших моторок – бензин.*
***П**апиросы. **П**ершит... остаётся – досадно немного:*
***Р**емесло от**Р**ажать полноту предстоящих утрат*
***О**сознаньем т**О**го, что иначе б – не знали предлога*
***С**ожалеть и сно**С**ить, и украдкой крестить троекрат.*
***К**ак о том расс**К**азать?.. – Вдалеке прогревают моторы,*
***У**зкогрудый б**У**ксир осторожно прошёл под мостом;*
***Р**ыбаки, го**Р**ячась, обсуждают поспешные сборы, –*
***Я** смотрю, **Я**коря выбирают тяжёлым шестом...*
***К**ак при**К**ажете жить с ощущеньем вины запоздалой,*
***О**стор**О**жной, глухой, наполняющей жизнь по края?*
***В**но**В**ь и вновь повторю: „Да и нам остаётся немало –*
***У**ходить и опять возвращаться на круги своя...»*

---

* Помню, что там были Володя Сулягин с женой и Олег Мингалёв. Был ещё какой-то виршеплёт, который читал стихи матом. Его имя я не запомнил, но помню, что такое я слышал впервые в жизни. (Ю.П.)
Теперь это стало настолько общим местом, что уже надо иметь смелость, чтобы писать БЕЗ мата! (Р.Л.)
** Сергей Надеев в это время ещё жил в Волгограде и с нами не был знаком даже по текстам. Я познакомился с ним позже в один из его приездов в Саратов в гости к Светлане Кековой и Борису Борухову. Но это сюжет совсем другой истории... (Ю.П.)

В 1986 году я с Театром драмы и комедии впервые приехал в Ригу, и это был культурный шок. Увидев милиционера в очках, с тонким интеллигентным лицом, один из нас воскликнул: «Ребята, точно ж в Европу попали – мент на мента не похож!»

В тот же день меня познакомили с поэтом Саввой (Саэваром) Варяжцевым.

– Левчин? – переспросил он. – Я читал Ваши стихи.

– Не может быть, – ответил я. – Их ещё нигде не печатали[69].

– А я в рукописи, у Парщикова, – пояснил он.

Через несколько дней я был дома у Саввы. Вдруг из соседней комнаты выбежала его жена, Лена Пастернак, с восклицанием:

– Идите скорей, там по телевизору показывают какого-то мудака, который вопит, что он Парщикова не читал!

По телевизору действительно показывали Юрия Кузнецова, упрямо повторявшего:

– Ну, говорю же, не читал я вашего Парщикова!..

Сцена сама по себе была достаточно абсурдной, но мне к тому же вспомнилось, как Алёша рассказывал, что Кузнецов-де его всего прочёл (в рукописи, разумеется) и сказал, что Парщиков пишет два стихотворения вместо одного.

– Почему у тебя нет стихов о минералах, растениях, животных? – вопросил однажды Алексей.

– Есть, – ответил я. – «Сатир».

Парщиков расхохотался.

«Сатир» был написан незадолго до знакомства с Алёшей. Привожу полностью этот текст, для меня, тогдашнего, программный:

Мне сатир попался в роще,
козлоногий и поджарый.
Я схватил его за рожки
и убил одним ударом!
Говорят, сатирье сердце
помогает от проказы,
злой любви, реминисценций,
гриппа и дурного глаза...
Но подумав, что увидит
и меня однажды Некий,
и моё Он сердце вынет,
и останусь я калекой –
воскресил его: живи, мол!
И вскочила эта падаль,
и, меня копытом двинув,
унеслась, виляя задом!

...73 год, первое появление Алексея у нас дома. Варю кофе в своеобразной кофеварке, напоминающей экстрактор Сокслета, которую Лёша сразу же обзывает «кофегонкой». Входит Лиля, я знакомлю их. Речь заходит о стихах, и Лиля показывает листок со своим стихотворением, записанным именно так – заглавными буквами:

ПУСТОТА – ЭТО КОГДА
ПУСТО.
ПУСТОТА – ЭТО КОГДА
ЗАПОЛНИТЬ НЕЛЬЗЯ, А
ВСЁ ПОТОМУ, ЧТО ТАМ
ПУСТОТА.
ИЩИТЕ МЕНЯ ЗА МЕЛЬНИЦЕЙ,
НО МЕНЯ ТАМ НЕТ.
НЕТ. ВОТ СУТЬ В ЧЁМ.
НЕТ. И НИКОГДА НЕ БУДЕТ.

– Это розыгрыш? – вопрошает Алёша, и тогда Лиля окончательно его добивает:
– Если честно, я написала его вот сейчас, стоя за дверью!
– Да-а, – резюмирует он, – теперь я вижу, что вы друг другу подходите!..

Первое появление Оли относится к 74 году: испуганная девочка, даже отдалённо ещё не напоминавшая будущую яркую красавицу. Парщиков привёз её из Москвы показать Киев. Кажется, она ожидала, что в Киеве сплошь каннибалы и маньяки, поэтому знакомство с нами настроило её на радостный лад, чего не смогла испортить даже их неудачная попытка расписаться в киевском загсе (в Киеве это было весьма непросто, и у нас с Лилей когда-то была та же проблема, перед моим призывом в армию в 69-м!).

Через несколько лет: Оля совершенно всерьёз расспрашивает моего старшего сына о том, что, собственно, он хотел изобразить на своих рисунках. Четырёхлетний Максимилиан подробно объясняет: «Вот это дед и баба, дед одноногий, они живут в Ватикане, а вокруг происходит морское сражение!» Выслушав несколько подобных объяснений, Оля сообщает мне и Лиле, что наш сын просто *уникально* талантлив, за это она, будучи профессиональным психологом, ручается. Я позволяю себе усомниться в этой уникальности и ссылаюсь на статью А. Митты «Рисунки ребёнка» в журнале «Знание-сила» (собственно, эта статья и побудила меня собирать творения Макса и впервые подумать о книге на их основе), тоже весьма интересные и рисунки, и их истолкования маленьким автором. «Так это же Митта! Режиссёр! – восклицает Оля. – Ещё бы! Конечно, у него тоже незаурядный ребёнок!»

Статья Митты-старшего заканчивалась сомнением, станет ли его сын художником. Интересно, что Митта-младший художником стал-таки, и мне здесь в разных вариантах часто попадается сотворённая им реклама водки «Столичной»...

Сама Оля, оказывается, тоже рисует. Дома в Москве у них висит её автопортрет, по словам Алёши, вдохновляющий его на какие-то необыкновенные стихи.

Оля пишет мой портрет маслом. На нём я мало похож на себя, зато удивительно похож на моего отца, которого Оля, естественно, никогда не видела ни в жизни, ни на фотографиях. (Впоследствии мне попадётся рассказ Франца Эллиса о его портрете работы Модильяни, со временем оказавшемся портретом сына рассказчика...)

Ещё несколько лет спустя. Оля подвергает меня тесту на избирательность к цвету и по результатам сообщает, что я всегда буду стремиться войти в какую-нибудь группу, буду с гордостью произносить что-нибудь вроде «мы, театр...» или «мы, сюрреалисты...» – но затем буду весьма быстро из любой группы выламываться без следа.

Что ж, видимо, так оно и есть.

Тесты с тех пор недолюбливаю.

Возвращаясь немного назад, примерно в 78-й, – моя мама звонит, хочет поговорить с трёхлетним Максимом. Ребёнок берёт трубку и без запинки декламирует:

Мы говорим на разных языках.
Ты бесишься, как маленькая лошадь,
А я стою в траве перед верёвкой
И не могу развесить свой сонет...

Закончив, уверенно объявляет:

– Это был «Сонет без рифм» дяди Ерёменко!..

С тех пор моя мама стала интересоваться нашей группой и присылать мне вырезки из газет, где упоминалась дежурная тройка: Жданов, Ерёменко, Парщиков. Последняя такая вырезка, из «Известий» 92-го, с довольно нелепой статьёй К.К., была получена мной уже в Штатах.

Младшего сына, родившегося в 79-м, я подумывал назвать Алёшей в честь Парщикова, на что Алексей спросил, а не лучше ли, например, Вилей в честь Шекспира. Тем временем Лиля волевым решением выбрала имя «Серёжа», но никакой замысел не проходит совсем бесследным в ткани мира – в аспирантуре Сергей стал писать диссертацию о метафоре у Парщикова. Сперва я сгоряча брякнул ему, что это-де не дело. Но затем понял: да это же замечательно! Пусть прибавляется к этому мифу ещё слой, ещё и ещё, совершенно по Леви-Строссу... вот и мне в этот текст просто необходимо вводить выдумку, постепенно увеличивая её дозы!

Что я, собственно, и делаю.

Несколько лет назад я побывал в английском городке со смешным названием Bath. Там единственный в Британии горячий источник, и некогда римляне устроили на этом месте курорт. После ухода римлян источник был забыт, затем открыт снова, вокруг вырос город. В нём нет зданий современной архитектуры, он практически не модернизируется с XVIII века и весь выдержан в едином, пришедшем из Италии в эпоху Возрождения стиле «палладиум»: колонны, арки, мощные серые стены, сила и уверенность. Именно так, в общем, я всегда представлял себе римскую архитектуру. В городе как бы навсегда остались римляне, подумал я (словно в подтверждение вдруг ожила статуя в тоге, стоявшая в одной из ниш! это оказался уличный мим с лицом, выкрашенным белой краской...). И вслед за этой мыслью пришла другая: античность мы видим такой, какой нам её предложило видеть Возрождение, а какой она была в действительности, мы уже никогда не узнаем.

То же самое можно сказать практически обо всём.

16 января 1999 года состоялось наше совместное чтение с Кутиком. Мне предложили выступить в Чикагском Культурном центре, и я, в свою очередь, предложил ему участвовать тоже. По этому поводу в местной газете «Reader» появилась весьма своеобразная информация. Впрочем, лучше зацитирую свой журнал, раздел «Хроника»[70]:

«В рамках фестиваля дружбы между Москвой и Чикаго (не спрашивайте, что это значит!) состоялось выступление И. Кутика и Р. Левчина, по поводу которого местная пресса такого понаписывала!.. Цитируем: «Between 1976 and 1983 Rafael Levchin and other underground poets and artists in Moscow would get together in each other's kitchens and present their work. The so-called kitchen generation named themselves "metarealists" because their work dealt with an alternative reality. One of their multidisciplinary get-togethers will be re-created today at the Chicago Cultural Center; Levchin has dubbed it

Glossolalia-2. He'll be joined by poet and movement cofounder Ilya Kutik (now a poetry professor at Northwestern)...". Когда первое обалдение прошло, подумалось: а что? не слабо! Всё поколение стало метареалистами! Не верите – читайте газеты! Что, концептуалисты, съели?».

«Глоссолалия-2» – так я назвал слайд-фильм, смонтированный мной из слайдов Степаненко, Зморовича, Парщикова и моих. После выступления ко мне подошла американка средних лет.

– Этот фильм – о семидесятых годах? – спросила она.

– Да. Впрочем, отчасти и о восьмидесятых тоже.

– Я так и поняла. Спасибо!..

В следующий раз, через год, Кутик выступил в Центре на пару с Вознесенским. Реклама гласила: «Легендарные русские поэты – Кутик и Вознесенский!».

No comments.

Когда «легендарный русский поэт» переехал из Швеции в Чикаго, он сказал мне буквально следующее: «Ну что ж, жили мы с тобой в разных городах, теперь попробуем пожить в одном!» Я, как обычно, не сразу понял, что имеется в виду.

Во время нашего последнего с ним разговора он горячо пропагандировал Пригова:

– ...Умён. Место в литературе обеспечено. В учебниках – сноски. Конечно, он не делает поэзию, он делает нечто другое. Да, надо уметь сделать себя, и он умеет. А «Пушкин» что, не сделанное имя?.. Да, я тоже люблю Кавафиса – но кто может поручиться, что правильно то, что делает Кавафис, а не то, что делает Пригов? Да, Пригов выпендривается – так ведь и Кавафис по-своему выпендривался... А Кибиров, Пригов говорит, ни одной книжки не прочитал за всю свою жизнь. Так можно двадцать стихотворений написать, ну, а дальше-то что?.. Вообще концептуализм кончился, ещё год назад! Он уже никому не интересен[71]...

– А метареализм не кончился? – полюбопытствовал я.

– А метареализма, может, и не было. Была система дружб, были сходные методики. И вообще, миф метареализма сильно преувеличен!

– Вот и хорошо! – заметил я. – Что ж это за миф, если он *не* преувеличен?

Илье очень понравилось это замечание, однако с тех пор он почему-то прекратил со мной всяческое общение, что я, разумеется, пережил достаточно спокойно – не такое видали. В конце концов, это естественный процесс. Люди, перестающие быть близкими или только казавшиеся таковыми, неминуемо должны отсеиваться.

Алексей, будучи ещё студентом Киевской сельскохозяйственной академии, рассказывал, как его отец, узнав о намерении сына стать поэтом, предложил: «Ну вот давай сядем и напишем по стихотворению. Посмотрим, у кого лучше получится!» И Алёша отказался, потому что, как он пояснил:

– Понимаешь, отец у меня – интеллигент. Он и вправду может написать лучше!..

Когда через несколько лет я напомнил ему об этом разговоре, он усмехнулся:

– Сейчас я уже так не скажу.

«А жаль!» – подумалось мне тогда.

Интересно, что нечто похожее произошло и со мной. Сергей предложил мне написать с ним в соавторстве стихотворение александрийским стихом и задал первую строку:

Я ежедневно пил горький александрин...

Я продолжил:

Я, что ни день, бросал вызов чужому богу...

На этом, увы, эксперимент завершился. А жаль.

Юра Арабов пишет: «С метареалистами я познакомился впервые в конце 1979 года, кажется, в декабре, на вечере в ЦДРИ, где в «малом каминном зале» (так вроде бы это называлось) выступили три почти не известных мне поэта...»

Я даже не сразу понял, о каком вечере речь. На самом деле поэтов было четверо, поскольку я тоже участвовал в вечере. А если ещё точнее – восемь.

В «Литературной жизни Москвы» за ноябрь 99-го описывается юбилейный вечер поэтической студии Кирилла Ковальджи и рассказывается «о её появлении на основе двух конкурировавших групп: Иван Жданов – Алексей Парщиков – Александр Ерёменко – Рафаэль Левчин vs. Сергей Гандлевский – Бахыт Кенжеев – Евгений Бунимович – Марк Шатуновский...». Речь идёт именно об этом вечере в ЦДРИ, который был задуман именно как противоборство двух групп, нашей и, скажем так, традиционалистской. Чтение происходило в «малом зале», но затем для дискуссии перебрались в «большой». Там-то, впервые, я стал, смутно ещё, замечать своеобразные знаки некоей, так сказать, договоренности. В частности, вальяжный *совпис* Ю. Ряшенцев (ныне, кажется, тоже в Штатах) заявил:

– Метафора метафоре рознь. Вот у Жданова – хорошая метафора. А у Левчина – плохая метафора...

Возможно, – но дело в том, что заявление это не было ни с какой стороны литературным или критическим. Оно было *конвенционным.* Мне (и таким, как я) давали понять, что *допущены* будут не все. А только некоторые.

Разумеется, сегодня-то я понимаю, что по большому счёту это был подарок судьбы. Что я, окажись среди *допущенных*, тоже запросто мог бы стать *совписом*.

Вот сейчас передо мной лежит «Литературка» со статьёй «Проблема Александра Ерёменко»; и мне тотчас вспоминается из какой-то давней статьи, тоже в «Литературке», изумлённая фраза по поводу вступления Ерёмы в СП: «...Ерёменко – советский писатель?!.».

М-да...

В интернете на страничке Жданова[72] есть фото под названием «На диспуте в ЦДРИ. Декабрь, 1979 г.». Изображён на фото Жданов, пьющий из горла «Кока-колу». Однако это отнюдь не диспут, а как раз момент, когда читаю я. Справа на фото виден мой локоть. Это отчётливо видно, если поместить рядом две фотографии:

Фото А. Монастыренко

Неподалёку я наткнулся на текст Шатуновского «ТРИ ИСТОЧНИКА – ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МЕТАРЕАЛИЗМА», о том же вечере: «...Для меня это было вообще первым публичным чтением. Вся эта масса молодёжи... пришла послушать стихи именно Ивана Жданова и двух его товарищей, Александра Ерёменко и Алексея Парщикова, уже составивших каноническую троицу и вызывавших круги андеграундного резонанса. Четвёртым с ними тогда был Раф Левчин, но впоследствии он быстро исчез с поэтического горизонта...».

Да, ещё раз: это подарок судьбы. Мне повезло, что я исчез с поэтического горизонта Шатуновского, равно как и он – с моего. Точнее, на моём он и не появлялся.

И та самая бутылка кока-колы, что на фотографии в руках у Жданова, Шатуновским благоговейно отмечена: он сообщает, как попросил у Жданова дать попить из неё и, получив, ощутил себя припавшим непосредственно к источнику поэзии.

Меня чуть не стошнило, когда прочёл это.

Арабов, однако, называет Шатуновского среди метареалистов. Ему вторит в брошюрке «Современный литературный процесс» О. Богданова: «...С момента поступления в Литинститут Парщиков оказался в среде своих сверстников и единомышленников – А. Ерёменко, И. Жданова, А. Аристова, И. Винова, А. Чернова, Р. Левчина, И. Кутика, О. Седаковой, М. Шатуновского и других, которые впоследствии будут названы «метареалистами» (термин М. Эпштейна) и объединены в поэтической студии «Зелёная лампа» при журнале «Юность»...».

Аристов – В., а не А.; ни его, ни Жданова, ни Седаковой в Литинституте и близко не было, не говоря уж о том, что записывать Седакову в «сверстники и единомышленники» Парщикова – просто анекдот. Что до меня, то если мне до сих пор ещё чего-то не хватало, чтобы окончательно отмежеваться от «метамета», – теперь, с таким контекстом, как раз комплект. С наслаждением оставляю «метареализм» в полное владение Шатуновскому и компании, пусть пьют из этого источника и далее. *Группа*, в которую входил я, называлась иначе, и она перестала существовать двадцать с лишним лет тому назад.

Продолжает ли существовать *направление*?..

В 81-м году я несколько раз побывал на студии К. Ковальджи и решил, что неплохо бы и мне выступить. Попросил Парщикова представить меня Ковальджи. Парщиков отказался и на мой вопрос о причине отказа ответил так:

– Когда Данчука вынули из петли[73], и я дрожащими руками поднёс ему стакан воды, он вдруг сел в кровати и обматерил меня с головы до ног! С тех пор я решил никому не делать добра!

Тогда я обратился к Ерёме. Тот сперва тоже заколебался, и я сказал ему:

– Что ж, и ты не лучше Парщикова!

Почему-то этот аргумент оказался увесистым. Ерёма представил меня Ковальджи, и мы быстро договорились о дне моего выступления. Ни Парщиков, ни Ерёменко в тот день не появились, зато пришла Оля и выступила в дискуссии с утверждением, что обсуждаемый автор пишет в основном о любви, и это говорит об определённой узости тематики.

Тогда я воспринял эти слова как неожиданный удар в спину. Напрасно, конечно. Да, у нас с ней до этого всегда были очень тёплые, действительно дружеские отношения – но мой конфликт с Парщиковым, то затухая, то вспыхивая, всё разрастался, и для неё, видимо, было естественно как-то кольнуть меня.

Хотя она и тогда отнюдь не обольщалась относительно своего будущего с Лёшей.

Последнее совместное чтение с Парщиковым состоялось на частной квартире, в так называемом Доме полярников в Москве. Всю дорогу Алексей бурчал, что он уже не в том возрасте, когда по квартирам читают (а я про себя вспоминал, как он в 74-м впервые

поехал завоёвывать Москву и потом, вернувшись, взахлёб рассказывал: «...Приводят в квартиру, говорят: "Это поэт из Киева, вы его кормите, он вам читает!" ...А какие у них там горы самиздата!..»), но, придя и увидев накрытый роскошный стол со сверкающей бутылью рябиновой настойки в центре, воскликнул, что готов читать хоть до утра... Точную дату вечера легко установить по портрету-наброску, который сделала с меня одна из слушательниц. На обороте надпись: 6 декабря 1981 года – и подпись художницы: *Стеркина*.

Другой мой карандашный портрет того же времени, с теми же лохмами до плеч, нарисовал Володя Сулягин. Замечательный художник, о котором я впервые узнал из стихотворения Парщикова «Ни эту глиняную стать, // ни свежесть звёздного помола...» (Парщиков же нас и познакомил), он задумал создать наш групповой портрет и начал делать к нему этюды. Мой портрет и был одним из таких этюдов. Помню, он расспрашивал нас, как мы хотели бы выглядеть на полотне, и Алексей заявил, что хочет быть верхом на лошади, а я, понятное дело, пожелал быть голым до пояса и с ножом в зубах!

После распада группы и разрыва с Парщиковым как-то так получилось, что на какое-то время я стал дружен с Ерёменко. Может, неосознанно я искал замену Алёше? Не знаю. Это было связано ещё и с тем, что Михайлов вытолкал Ерёму из своего семинара, а я сам захотел уйти из своего, поскольку Битова, в семинаре которого был я, выставили из Литинститута в связи со скандалом вокруг альманаха «Метрополь», и для меня это был повод сделать то, чего давно хотелось: перейти с отделения прозы на отделение поэзии.

Так нас с Сашей взяла в свой семинар Лариса Васильева, часто потом говаривавшая: «Вы должны быть мне благодарны за то, что я вас терплю! Долматовский бы вас давно выгнал!»

Она же мне популярно объяснила, что я не должен рассчитывать ни на какие публикации в обозримом будущем, и на мой наивный вопрос: а вот, к примеру, печатают же Жданова? – рассмеялась: «Да знаете, какие за него были танки?!».

Кроме того, поскольку Ерёма пару раз оставался как бы на второй год, мы с ним какое-то время были на одном курсе и несколько экзаменов сдавали вместе. Помню, один экзаменатор полюбопытствовал у меня, поэт я или прозаик, не имея в виду ничего, кроме жанра. Саша потом резко осудил моё гордое «поэт»: «Что ты так нескромно? Не можешь, что ли, сказать, мол, пишу стихи...».

Он попытался приобщить меня к мудрости Блаватской, но мне её писанина об исчезнувших зелёных и лиловых расах показалась тогда маловразумительной и малоинтересной. Я спросил, нет ли у неё чего попроще, и получил ответ, что это самая простая её книга.

Тогда же он дал мне взглянуть на его неоконченную пьесу. Действие происходило внутри человеческого мозга, где расположилась целая воинская часть, причём на авансцене торчал пулемёт, из которого кого-то расстреливали...

Последний человек, с которым я выпил, прощаясь с Москвой, был Виктор Зуев. Я пришёл к нему в издательство, и мы пошли искать выпивку. В магазинах нечего было и думать найти что-то во второй половине дня (начало 91-го), но Виктор «знал места». Мы подошли к какому-то ничем не примечательному проходному двору, где при входе стоял какой-то ничем не примечательный тип, а в глубине двора была беседка. Виктор уверенно направился туда, вошёл и вынес из беседки бутылку портвейна, оставив деньги в уплату. «А если не оставить денег?» – поинтересовался я. «Не советую», – только и ответил Зуев. Хлеб и колбаса были у меня с собой, и мы отметили мой предстоящий отъезд. Виктор был невесел и ничего хорошего от будущего не ждал.

Впоследствии мы переписывались, и я печатал его в моём журнале, но в первый же мой приезд в Москву в 2000-м мы разругались вдрызг, так как он обвинил меня в поддержке агрессии США против Югославии, а на мои слова о Чечне... словом, понятно.

Вдвоём с Ерёменко мы перевели с армянского (по подстрочнику, естественно) стихотворение Генриха Эдояна «ОДИССЕЯ»:

Он оставляет в Итаке свой дом и уходит бродяжить,
острова возникают в тумане и вновь исчезают,
в сферах застрявшие боги играют конкретными звездами,
парус военный с воем стремится вперед.
В солнечных бликах блаженное пятится море,
суши ломая зигзаг.
Это пространство, в котором моря, острова, города прорастают,
это пространство сердечных толчков Одиссеева моря.
Итак, он уходит бродяжить, оставив Итаку,
светлея лицом, насыщаясь пространством, теряя предметы.
И когда Посейдонов трезубец из волн возникает скалой,
раздвигая и мучая корабля деревянный хребет,
болит его тело – Итака, *где Пенелопа*
ткет ковер времени, переходит по ту его сторону,
зеркальцем медным пытается высветлить Одиссея –
тело любви своей.
А он продолжает двигаться от любви, от дома – все ближе к ним,
все больше любимых друзей в воде и в земле остается,
остается в руках обратная перспектива, *в глазах –*
только пыль морская.
Наконец, одинокий, как свет, он в дверь свою ткнется,
словно душа, объяснившая тело свое.
Он входит в свой дом, царь и раб, вечный смертный,
и боги пред ним расстилают времени ветхий ковер.
Узор, прорастая с изнанки, в ничто распускается ждущей.

Строки, выделенные курсивом, как мне помнится (хотя далеко не уверен), принадлежит Ерёменко, прочие – мои. Последняя строка была предложена Виновым, вошедшим в комнату как раз в момент, когда мы взялись за неё, и его вариант был немедленно принят.

В 93 году в Чикаго приехал из Москвы художник Андрей Бондаренко, сказавший вместо приветствия: «Я Вас помню с вечера в ЦДРИ 79-го», – с поручением ко мне от Ерёмы. Он привёз вышедшие тогда Сашины книги, «Стихи» 91-го года и «На небеса забравшийся старатель», 93-го, с надписью: «Рафаэлю Левчину от пожилого механизатора», а также мандат с печатью и подписью Саши, объявлявший меня полномочным представителем издательства «Моби Дик» (!).

Из высказывания Кутика (год 2000):

– ...Ерёма надел маску проклятого поэта, который бросается откровениями, и решил наказать всех: вот, не буду больше писать!..

Из высказывания Драгомощенко (год 2002):

– ...Парщиков выпал из литературного процесса. Теперь, даже если бы он прыгнул через себя, начал заново, изменил фамилию – он всё равно останется выпавшим из литературного процесса...

Сам Парщиков об этом, видимо, не подозревает. Прощаясь со мной в чикагском аэропорту, он величественно пообещал:

– Я введу тебя в литературные круги! Но ты должен измениться! У тебя всегда был избыток отрицательной энергии...

Возможно, он прав. Помню, как я позвонил ему в Москву из Джанкоя – поздравить с рождением сына. Он предложил мне прислать ему стихи для какой-то антологии. Вместо ответа я положил трубку – я просто не верил ему.

Мир вокруг нас переполнен предателями и подонками. Но думая так, мы увеличиваем их число. Жаль, что я понял это очень поздно.

В году 82-м я познакомился с упоминавшимся уже критиком М. Гуревичем, приехавшим в Киев интервьюировать драматурга Е. Чеповецкого (ныне тоже обитающего в Чикаго). Я показал ему свои стихи, и он глубокомысленно заметил, что в целом неплохо, «...но напрасно Вы строку не разбиваете, строка гораздо энергетичнее, если её разбивать!».

Я был тогда моложе и доверчивее. Столичный критик присоветовал, шутка ли!.. я стал разбивать строку, где надо и где не надо, и разбивал до тех пор, пока, через десять лет, уже в Штатах, не послал Бродскому письмо, куда, естественно, вложил свои стихи. В ответном письме на бланке Библиотеки Конгресса, где он тогда работал, Бродский писал: «...Во-первых, зря Вы разбиваете строку. Это не помогает, а скорее мешает читать; даже обедняет зачастую весьма толковую мысль. Во-вторых, стихи – хорошие...»

Из последнего e-mail'а Парщикова (почему-то предпочитавшего английский):

«...Dragomoshchenko and Kal'pidi were the first who started to speak about that (although chiefly orally than verbally). So it's extremely interesting what you will write on that. Also Grisha Freidin (from Stanford University) once has nudged me to compile the anthology with commentaries in order to shape my dissertation, but I wasn't able to cope with the topic; my life style was too turbulent and all the voices seemed to me desultory and odd, and I decided that it would be arduous labor to keep in account all the strategies, documents, dreams (dreams – especially), cool coincidences, love stories, ground them more or less in a plausible way (only the way to reach the myth). At that time I was finally infected by "footnotes" and it was raffish to infringe upon reality with bare opinion. Perhaps I was too shy. But now I'm ready to estimate all sort of reactions. The pantheon has merited ones...».

После моего – увы, не особенно вежливого – ответа наша переписка оборвалась.

Впервые услыхав от Парщикова в 81-м, что пора распускать группу, я был в шоке и пошёл, как ребёнок, к Ерёме – жаловаться. Ерёма посоветовал мне отнестись к этому философски-спокойно – как если бы Парщиков сказал, например, что пора, мол, сходить в уборную – и тут же рассказал притчу, которую я с тех пор пересказывал такое множество раз, что, наверное, до неузнаваемости изменил форму (но не суть):

Однажды падишах вызвал к себе начальника гарема, главного евнуха, и говорит ему: «Мои жёны перестали меня вдохновлять. На тебя возлагается ответственная задача найти мне новую жену, да такую, чтобы при взгляде на неё я рот разинул, как простой смертный. Найдёшь – награжу по-царски. Не найдёшь – ну, сам понимаешь, голову с плеч. Сроку тебе даю до завтрашнего утра!»

Главный евнух, начальник гарема, очень закручинился. Да и как же тут не закручиниться, когда у падишаха в гареме одних только законных жён около двухсот, а у каждой жены, даже самой нелюбимой, как минимум одна служанка, у некоторых же по три-четыре, да ещё танцовщицы, флейтистки... короче, когда падишах посещает свой гарем, его окружает примерно тысяча женщин, молодых и красивых, всех цветов кожи, всех темпераментов... какого ж ему ещё рожна надо?!

В общем, не стал он никого искать, а пошёл в портовый кабачок, заказал кувшин вина, сидит, пьёт и плачет. Подходит к нему подвыпивший матросик и спрашивает: «Эй, чего плачешь?»

Главный евнух, начальник гарема, рассказывает ему, что вот, мол, падишах дал такое немыслимое задание... «Ну, это не беда, – говорит матрос, – завтра утром здесь в порту откроется рынок невольниц, вот там мы падишаху кого-нибудь и подберём...»

Главный евнух ему: «Да ты, видать, ничего не понял! Какой там рынок невольниц, когда у падишаха в гареме одних только законных жён...» – и так далее.

«Ладно,– отвечает матрос,– завтра видно будет, а пока давай выпьем!»

В общем, пьют они всю ночь, а утром, спотыкаясь, бредут на рынок невольниц. Мимо шести девушек матрос прошёл, не останавливаясь, около седьмой остановился и сказал: «Так, вот эту – берём. Плати, сколько запросят, не торгуясь!»

Главный евнух глянул и руками замахал: «Да ты совсем с ума сошёл! Да у падишаха в гареме точно таких – семнадцать человек!!!»

«Ну, вот что, – говорит матрос, – я тебе плохого не присоветую. Бери – не пожалеешь!»

Главный евнух прикинул: а-а, какая разница, так и так казнят!

Заплатил он за девушку, не торгуясь, и привёл её к падишаху. Падишах глянул и рот разинул, как простой смертный, аж подпрыгнул и завопил: «Ай, какая красавица! Ай, главный евнух, ай, молодец!» – и тут же, не отходя от кассы, наградил по-царски.

Тогда совершенно обалдевший главный евнух помчался искать матроса, которого он даже не помнил, как зовут. Обошёл все кабаки и, наконец, в одном нашёл-таки – тот, как всегда, сидел и выпивал с приятелями. Главный евнух кинулся к нему: «Умоляю тебя, объясни, по какому принципу ты выбираешь женщин!»

«О, это очень просто, – ответил матрос. – Ставь бутылку, я тебе за пять минут всё объясню».

Главный евнух поставил ему две бутылки, матрос ему два часа объяснял – главный евнух так ничего и не понял...

Как утверждает Драгомощенко, текст ни в коем случае нельзя заканчивать цитатой – хоть ещё два слова, но должны быть после неё. Правда, я лично, вослед моему бывшему наставнику А.Битову, придерживаюсь прямо противоположного мнения (очень хороша цитата в качестве запоздалого эпиграфа... впрочем, у этого текста эпиграфов, запоздалых и иных, уже более чем достаточно), но тем не менее вот эти ещё два слова:

Пока, метареализм!

Чикаго, 2000 – 2012 гг.

Сноски:

1 «REFLECTION», # 5-6, 1994.
2 В. Вильдштейн, «Идиотизм варёного зеркала».
3 Недавно автор позвонил мне: заверить, что это совершенно случайное совпадение и что он, когда писал, даже не подозревал о существовании каких-то Жданова и Кутика!
4 Ныне американский.
5 Хотя, разумеется, сакральные тексты – не только и не совсем литература...
6 Так было принято называть «Вопросы литературы».
7 Цитирую оттуда по памяти:

«...но, теребя платок в горошек,
– Люблю, – она сказала, – кошек!
Он возразил:
– Это гуманно,
но, я бы сказал, неопрятно в некоторых местах.
Она вздохнула:
– Этим летом
мне благородно и спокойно...

И кисти, словно эполеты,
легли сержанту на погоны».

8 Не забудем, это был самиздатский перевод. В официальном название немного другое – «Похождения мессии поневоле».
9 К. Леви-Стросс, «Структурная антропология».
10 К. Кастанеда, «Путешествие в Икстлан».
11 К. Воннегут, «Колыбель для кошки».
12 Д. Бах, «Похождения вынужденного мессии».
13 А. Стругацкий, Б. Стругацкий, «Улитка на склоне».
14 К. Кастанеда, «Другая реальность».
15 К. астанеда, «Путешествие в Икстлан».
16 «Родник», апрель 1990.
17 Термин, заимствованный у Кастанеды.
18 Тогда ещё в машинописи, позже напечатанный в киевском журнале «СОТЫ» № 4, 2001.
19 Что, собственно, ему известно о моих «теоретических посылках»?
20 Я спародировал всё это:

О сад моих друзей, куда намедни влез я
С ножом наперевес и думал: ни души!
Но, заломивши глаз, увидел Ахиллеса.
Весь в масле, он стоял, шатая кривошип.

И, распрямившись и сияя задом кротко,
И в список кораблей уставясь напоказ,
Изрёк: «Гони, поэт, крутой столичной водки!
Чай, знаешь, без неё в Элладе, как без глаз!»

Сменились имена, фамилии остались.
Ребячился Скамандр и в Лету впасть спешил.
И до того мы с ним изрядно насосались –
Вкруг города всю ночь таскал меня Ахилл!

Алёша очень обиделся. Он решительно не выносил, когда его пародировали.
21 Совершенно реально существовавший самопал, который Парщиков видел у меня дома и который я потом отнёс в театр-студию «Театральный Клуб» (затем – «Неомифологический Театр», ныне International Theatre Ensemble), о котором можно рассказывать очень долго, с ним связан – до сих пор – огромный кусок моей жизни, но это совсем иная тема.
22 Сверив с книгой, однако, я убедился, что разночтения есть, и, поправляя их, вспомнил, как спорил с Алексеем о запятых в третьей строке. Я и теперь считаю, что после «оболочки» запятая необходима, иначе меняется смысл.
23 «СТРЕЛЕЦ ПОПАДАЕТ В ЦЕЛЬ!», НРС, 9-10 января 1999.
24 С ними я тоже познакомился через Парщикова, в 75-м.
25 Будущего основателя этой группы, Славу Фархутдинова, я впервые увидел в 76-м в семинаре А. Михайлова. «Посмотри, – сказал мне Алексей, – вот человек с маузером во рту!..» Слава в тот момент яростно нападал на гостя семинара, небезызвестного В. Кожинова.
26 «...Грань 80-х «метареализм» как живое литературное движение не перешагнул... Последние книги Парщикова и Жданова – это сборники стихотворений 80-х, с редкими вкраплениями новых произведений...». В. Абашев, «Пермь как текст».

27 Недавно в какой-то юмористической книжке мне попался на глаза пассаж о «бафометафористах» (очевидно, от имени «Бафомет») и их лидере Степане Жбанове.

28 Забавная альтернатива предложена в статье А. Привалова «Победа и поражение» («Знамя», №7, 98): «...бывший киевлянин Рафаэль Левчин – один из зачинателей, наряду с Алексеем Парщиковым и саратовским автором Юрием Проскуряковым, того поэтического течения, которое потом критики назвали метареализмом и переселили, в видах практического удобства, в Москву, вписав вместо Левчина с Проскуряковым Жданова и Ерёменко...». Разумеется, этот вариант в действительности так же далёк от истины, как и К.К.-овский, начиная чуть ли не с первого же слова – я *не* киевлянин.

29 Речь шла, естественно, о Тарковском-старшем.

30 Однажды у меня появилась возможность познакомить их с поэтом и переводчиком А. Ревичем. Мы явились к нему втроём: я, Алексей и Ерёма. Ревич, послушав наши стихи, громогласно объявил, что один из нас гениален, а двое других великие. К сожалению, не могу вспомнить, как ни стараюсь, кто был кто.

31 Профессор Джеральд Янечек решительно не согласился со мной, приведя в качестве аргумента стихотворение «Дом» из того же сборника «Портрет», за что я очень ему очень благодарен – всегда важно увидеть свою ошибку:

Умирает ли дом, если он забывает о нас?
Поцелуй озаряет его. Ты сказала:
благословляю тот день, который соединит нас,
и всё, что будет потом...
То, что было потом, охраняют теперь снегопады...
Тот, кого ты ждала, а потом в этом доме встречала,
сам придумал себя для тебя и не знал, что придумал себя...

Да, это прекрасное стихотворение о любви, и я неправ. И всё же... холод и хладнокровие здесь доминируют, даже на уровне нарративном... Кстати, занятно, что мои претензии к Жданову неожиданно напоминают претензии Лимонова к Бродскому (см. «Поэт-бухгалтер», «Мулета А», 1984). На самом же деле только теперь как следует понимаю, что я, собственно, имею против творчества Жданова: он убийственно серьёзен!

32 http://home.arcor.de/kiev/20002/wasser.htm.

33 В 1990 году в Киеве по инициативе Андрея Мокроусова (ныне главный редактор украиноязычного культурологического журнала «КРИТИКА») был создан журнал «Новый Круг», к созданию коего приложил руку и я, давно мечтавший о независимом журнале. Вышло, уже после моего отъезда, три номера, в первом я ещё числюсь редактором отдела поэзии, и это, безусловно, один из пиков моей карьеры (другой – когда я играл маркиза де Сада в незаконченном спектакле «Театрального Клуба» «Марат-Сад», первый и единственный раз в своей жизни получив главную роль).

34 Впрочем, с точки зрения Проскурякова, Оля, полностью посвятив себя карьере мужа, как раз этим его и сгубила, ибо ценность этой карьеры стала для него с её подачи превыше всего в мире. Не думаю, однако, что Юра прав – как-то это уж очень хрестоматийно выходит.

35 Когда Парщиков в 76-м году впервые повел меня знакомиться к К.К. домой, я спросил:
– Эпатировать можно?
– Да, – незамедлительно ответил Алёша, – тебе можно! Потому что, когда ты эпатируешь, то это выглядит так, как если бы нормальный человек нормально себя вёл!..

36 Придуманный мной жанр, нечто среднее между поэмой и циклом стихотворений; если поэму представить себе в виде сплошной линии, а цикл – в виде точечного пунктира, то *непоэма* – это пунктир из отрезков, порой довольно длинных; иначе говоря, связь между фрагментами в непоэме прочнее, чем в цикле, но слабее, чем в поэме.

37 В черновой тетради Парщикова среди прочего было: «Я римский мир периода припадка...».

38 Оля без конца цитировала это место, и одного этого ей было достаточно, чтобы прийти в хорошее настроение.

39 В более позднем варианте – более центонно, но менее интересно: «...лежит и смотрит, как живая...».

40 О эзопов язык нашего поколения! Как тут не вспомнить вышеприведенное «Прости, Господь, мой сломанный язык...»!

41 Когда я видел её в последний раз, на Восьмом Всесоюзном совещании молодых писателей, мне попалось на глаза её небольшое стихотворение – без сомнения, обращённое к Ерёме:

Чтоб тебе в чёрном огне гореть!
Чтоб тебе с чёрной стены смотреть!
Я за тебя могла умереть,
а ты...

42 Вл. Новиков, NOS HABEBIT HUMUS, «L-критика», 2001.
43 Как ученики дона Хуана.
44 http://rema.ru:8100/Komment/comm/07/pars.htm.
45 Незаметно его ученики подросли, организовались в клуб «Контрапункт», и когда в 87-м году по приглашению клуба я приехал в Саратов, послушать меня собралось человек двести, и я с изумлением убедился, что здесь меня *знают*, что мои стихи не остались достоянием одного Проскурякова – его ученики, их друзья и друзья друзей читали их, переписывали и перепечатывали, и теперь рады встретиться с автором, и даже лучше меня помнят, когда что написано и чему посвящено... «Ты читал тогда почти два с половиной часа, – вспоминает Юрий, – и почти всё по памяти!..»

46 http://www.rvb.ru/np/publication/03misc/recenzia.htm.
47 Прошло пятнадцать лет, и Чупринин заявил: «Жданов, Парщиков, Ерёменко, Кутик были «звёздами» перестройки, и теперь-то видно, что всей этой плеяде чрезвычайно, иногда даже несоразмерно дарованию, повезло. Интервал между тем, как они стали писать всерьёз, и выходом в свет не затянулся...» («Здесь Родос – здесь и прыгай!», АРИОН, № 3, 1998).
48 Курсив мой.
49 «Гля» умышленно употреблено автором вместо «для» – так выговаривал двухлетний Марк Ерёменко. Мои сыновья были от этого стихотворения в полном восторге.
50 Из предисловия И. Дудинского к книге В. Зуева «Увеличительное стекло»: «Славно, что он так и не стал ‘метаметафористом’...».
51 Точно так же в свой приезд в Чикаго Алексей изумился, услышав, что я знаком с Бродским. Надо было видеть, как царственно сказал он Кутику: «Илья, а давай Рафа с Иосифом познакомим!» – и как изменился в лице после моего ответа: спасибо, мы с ним уже знакомы...
52 Вполне конкретная деталь московского пейзажа («В Москве сплошные мусорные ящики и булочные!» – утверждал Парщиков).
53 Забавно, что в тот же день буквально ту же формулу я услышал от молодого (но уже чиновного) литератора Мохаила Попова в буфете, где мы с Парщиковым столкнулись с ним: «Я раньше писал стихи, но, познакомившись с твоими, Алексей, перешёл на прозу – как Вальтер Скотт, который бросил писать стихи, познакомившись с творчеством Байрона». – «Ну, у тебя и сравнения!» – слегка смутился Парщиков. Даже ему это показалось чересчур.
54 Опубликовано в *Антологии русского верлибра,* 1991.
55 Мезенко действительно тоже оказался в Чикаго. Бывший комсомольский чиновник работает ныне в мелком баптистском издательстве. Что до журнала, то у меня теперь свой журнал, о котором я столько мечтал в Киеве. Что называется, сбылись мечты идиота. Если б знать раньше, сколько сил и времени это отнимает...
56 http://spider.rinet.ru/Ru173.html.
57 «Знание-сила», 1975-й год.
58 К. Кастанеда, «Путешествие в Икстлан».
59 Сбылось: мой сборник «LUDUS DANIELIS» издан с его графикой (второй вариант – с графикой В. Сулягина).
60 Подробнее: http://spintongues.vladivostok.com/stepanenko.htm.
61 Цех Искусств Конструктивно-Рабочего Авангарда.
62 http://www.erjorchestra.com/people
63 Международный культурологический проект, имевший место в Москве в 1991-м году и включавший в себя разделы музыкальный, литературный, театральный и book-art.
64 В том же году мне попалось на глаза интервью с ней: «...сейчас, когда ‘всё на продажу’, художники... стараются уйти в ту область, которая наименее вероятно будет продана. Так, они уходят в домашний театр, домашнюю книгу, домашнее радио, записывая на магнитофон ряд домашних передач, а по домашним видео придумывают домашние телепрограммы...» («Театральная Жизнь», молодёжная редакция, № 11, 1991).
65 http://home.arcor.de/kiev/novosti/russukr67.htm.
66 http://spintongues.vladivostok.com/valery_shevch.html.

68 И. Клех, «Книга со множеством окон и дверей».

69 Я вспомнил это лет через десять, услышав в фильме «Кафка» диалог:

– Кафка? Я читал ваши рассказы.
– Этого не может быть! Они ещё нигде не были напечатаны...

70 «REFLECTION», # 3 (10), 1999.

71 «Домашний концептуализм не что иное, как истерический сеанс аутотерапии: попытка избавиться от страха в объективации его феноменов: клопы как объект обожания...» А.Драгомощенко, «Конспект/контекст» (рукопись).

72 (http://www.poet.forum.ru/archiv/Zhdlev.htm).

73 Молодой пиит Данчук пытался покончить с собой, что было в общежитии Литинститута едва ли не рутиной. Ерёменко впоследствии написал по этому поводу стихотворение:

Хорошо живётся Данчуку.
Он не хочет больше застрелиться.
В Куйбышеве, белом, словно птица,
мозг его всё время начеку.

Приручён к домашнему теплу,
ни о чём плохом не помышляет,
шьёт, пелёнки детские стирает,
точит после ужина пилу,
по ночам Флоренского читает
или просто – молится в углу.

Мне живётся – тоже, как хочу:
По утрам хожу в прокуратуру,
ночью создаю литературу,
вечером, придя с работы, Юру
Шапкина от триппера лечу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВЫХОД ЗА РАМКИ

(Отрывки; полностью опубликовано в журнале «Континент», 2003)

В конце мая 2003 г. в Москве, в Институте Русского Языка им. В. В. Виноградова Российской Академии Наук, состоялась международная литературно-лингвистическая конференция-фестиваль с длинным и не с первого захода понятным названием «ПОЭТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК РУБЕЖА XX – XXI ВЕКОВ И СОВРЕМЕННЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ». Организаторы конференции: академик Ю. Степанов (ИЯЗ РАН), д.ф.н Н. Фатеева (ИРЯ РАН), профессор Н. Николина (МПГУ), поэт и художница А. Альчук, поэт и исследователь авангарда С. Бирюков, некогда основатель Международной Академии Зауми (Тамбов), а ныне преподаватель в университете г. Галле (Германия) – известные исследователи современного авангарда. Большинство участников были одновременно и литераторами, и литературоведами. Многие из них знали друг друга по публикациям и переписке – но встретились впервые...

Конференция началась «ОБЩИМИ ВОПРОСАМИ РАЗВИТИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА РУБЕЖА XX – XXI ВЕКОВ», и первым было выступление академика Ю. Степанова «Хаос и абсурд в поэтике», сделанное, как он сам заявил, в виде манифеста. Основная мысль манифеста сводилась к тому, что современный творец волевым актом «назначает» хаос на место

красоты; да, в хаосе нет красоты – но из хаоса специфическим путём возникает новая, незнакомая красота. (Иными словами, цитируя Ричарда Баха, одного из наших кумиров конца 80-х: *«...то, что гусеница называет концом света, Учитель называет бабочкой»*.)

Вслед за ним выступил итальянский исследователь С. Гардзонио с докладом «Отзвуки поэтического языка 18 века в современной поэзии». Речь, разумеется, шла о Державине и его современниках, об их влиянии на Маяковского и других футуристов, затем на петербургскую школу (Соснора, Бродский, Кушнер, Кривулин и др.) – но самое сильное впечатление на аудиторию произвела первая фраза: «Сегодня замечается попытка преодоления постмодернистского конгломерата» (именно на этих словах в зале – крадучись, как показалось автору этих строк – появился небезызвестный постмодернист Д. Пригов).

Следующим был голландец В. Вестстейн с докладом «Язык современной провинциальной поэзии», предложивший специальный термин «проэзия» (сокращённое от «провинциальная поэзия»), дабы отличать от *настоящей* поэзии (автор этих строк, признаться, с удовольствием отнёс бы туда же и «творчество» вышеупомянутого Пригова, да и его ли только одного...). Речь, разумеется, шла не о провинции в географическом смысле, но о том, что обычно именуется имитацией – впрочем, сейчас чаще употребляется заимствованный из магии термин «симулякр». Предложение вызвало у слушателей взрыв энтузиазма (большинство в зале, как уже было сказано, составляли поэты, и каждый, разумеется, считал себя «настоящим», а уж никак не «провинциальным»).

После перерыва на чай с бутербродами началось «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АВТОРСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СТРАТЕГИЙ». Первым выступал М. Эпштейн (США) с докладом о метаболе как промежуточной стадии между метонимией и метафорой, а заодно о поэтическом направлении «метареалистов» (признаться, тут автор этих строк навострил уши, поскольку в своё время тоже принадлежал к этому направлению – хотя тогда оно называлось иначе)...

Следующий день начался темой «СЛОВОТВОРЧЕСТВО, ГРАММАТИКА И ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ». Первым выступил В. Аристов, попытавшийся начать серьёзный разговор о традиции внутренней формы в поэзии: есть, согласно П. Флоренскому, внутренняя и внешняя форма поэзии, соотносящиеся, как душа и тело... И снова речь зашла о метареалистах, к которым Аристов относит и себя, – но и об их антиподах, которыми он считает не концептуалистов, как принято сегодня, но живых классиков авангарда Г. Айги и Е. Мнацаканову. Вообще метареалистам на конференции было уделено много внимания, что вызывало смешанные чувства – и у тех, кто так или иначе близок к ним, и у тех, кто от них отталкивается.

Затем были интересные доклады В. Фещенко-Таковича «Грамматика должна быть переделана» (опять-таки со ссылками на практику метареалистов!), С. Бирюкова «Испытание слова(ом)», Ю. Проскурякова «Формальные и содержательные стратегии в современной русской литературе».

Затем был раздел «ВЕРБАЛЬНОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ», и здесь стоит отметить доклады Ш. Греве «Новые способы невербальной коммуникации в русской визуальной поэзии», А. Очеретянского «Смешанная техника как выход за пределы языковой формы» и А. Федулова «Смешение традиций. Затекст визуального письма»...

Зато после перерыва конференцию взял в свои руки литературовед К.К. с докладом «Поэтическая стратегия ДООСа и метаметафоры» – и это было незабываемо! К.К. воспользовался трибуной, дабы рассказать, как несправедливо обидели его, придумавшего некогда понятие «метаметафора» (его пытались поправить с места, что вообще-то это термин Ю. Тынянова, но он величественно игнорировал замечания), и свести счёты с М. Эпштейном, якобы присвоившим себе его открытие и перекрестившим метаметафористов

в метареалистов!! Зал, вспыхивая смешками, слушал эпическое повествование о том, как К.К. «открыл» некогда молодых поэтов Ерёменко, Жданова, Парщикова, как он, опираясь на открытия Эйнштейна и Лобачевского, связал время с пространством (тут мимоходом попало и покойному М. Бахтину за «неправильный» термин «хронотоп»!) и заодно понял, что гений отличается от таланта тем, что ставит перед собой задачи, неразрешимые даже для него, как объяснил юношам, что такое стихи в двадцатом веке, как написал статью о «метаметафоре как метафоре эпохи теории относительности» и привёл в оной статье примеры из их стихов – в результате их троих стали повсеместно печатать, а его зато отстранили от преподавания в Литинституте, его собственные стихи – о выворачивании пространства и превращении Осириса в Христа и пр. – упорно не допускали в печать, к нему домой регулярно являлось КГБ и конфисковывало рукописи, и в довершение всего Парщиков похитил у него образ: «море – свалка велосипедных рулей»!.. С места поинтересовались, почему же вот, например, упомянутый Ерёменко открещивается от принадлежности к «метаметафоризму» – и тут уж от К.К. немедленно досталось и Ерёменко, который начинал-то хорошо, а затем стал писать политические стихи (хотите – верьте, хотите – нет, но в этот момент на улице начали бить барабаны!), и Жданову с Парщиковым, которые стали подражать Бродскому и «похоронили себя в хрустальных гробах длинных строк» (это при том, что именно К.К. рекомендовал когда-то Парщикову писать длинными, гекзаметрообразными строками...)... «Да ведь и не для них я это придумал, для себя, но вся разница в том, что их печатали, а меня нет!» – заявил под конец К.К. и резюмировал: ему пришлось создать новое направление, а именно ДООС (Добровольное Общество Охраны Стрекоз), дабы развивать метаметафору без помех!

Автору этих строк ассоциативно вспомнилась другая конференция, много лет назад, ещё в советское время, в самом его конце, в 1991 году – создание Ассоциации русских верлибристов. Среди прочих на трибуну вышел человек, заявивший, что за приверженность к верлибру он мотал срок в лагере, и предложивший принять проект закона, согласно которому каждый пишущий *не* верлибром должен быть немедленно осуждён на такой же срок!..

Без перерыва, т.к. докладчик вышел за все пределы регламента, перешли к чтениям, и тут К.К., отчитав сам (манера чтения была ужасная, какая-то заискивающе-наглая – как и всё его поведение), демонстративно вышел из зала, когда очередь дошла до Ю. Проскурякова, тоже некогда бывшего в той же группе.

В общем, *«...здесь жили поэты, и каждый встречал// другого надменной улыбкой...».*

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МИНИ-АНТОЛОГИЯ

(*Арабов, Драгомощенко, Ерёменко, Жданов, Кутик и Парщиков не включены, т.к. идея была показать тексты сравнительно мало известные*)

ВЛАДИМИР АРИСТОВ

ГАЛАТЕЯ

Где те песчаные города у моря,
Которые я думал тебе создать?

Разве явленье твоё понимал я,
Когда каждый вечер земля тобой тяготела,
И мосты уходили в далёкий невидимый берег?
Разве ты берег тот долгожданный,
И ты на мосту, Галатея?

Только город хотел я начать,
Только город тайный у ног твоих,
Чтобы его уходящей ночью
Разбивал молчаньем и воздухом тихим
Ветер морской равномерный.

Темнота, лишь одна темнота
В песчаных улитках земли...
Заколдованный город,
Закруженный лёгкой водой.

Ты земля неизвестная,
Уходящая в глубь вращенья и моря,
Вся в губах нерождённых,
Вся в дельтах рек пересохших...
Нет, не я тебя вызволил из темноты, Галатея.

Ты сама пришла,
По обочине брезжущего шоссе.
Я увидел тебя лишь минуту назад
В широком его повороте.

Можно и жить теперь у подножья земли,
Только вначале даруя для всех
Стены из влажного утреннего песка.
А дальше, а выше?
Разве не ищем мы в верхней жизни земной
Путь от города ночного песка?

ГРИГОРИЙ БРАЙНИН

ФОТОСНИМОК

Чуть вздрогнет этот мир, отслаивая слепок,
и скроется на миг, чтоб снова всё собрать
с поверхности степи, где замкнут контур неба
и твой астральный план впечатан, словно растр.

Вот ты скользишь сквозь зной по зеркалу дороги,
и памяти мираж пульсирует в крови:
Солярис и Эдем – серебряная окись,
как выхлоп из движка он в зеркальце повис.

Объятия друзей и тихий рост деревьев,
больничный детский сад и бесконечный дождь,
который столько лет расстраивает резкость,
когда глядишь назад сквозь марево и дрожь.

Дефекты на стекле и пятна штукатурки,
и бархат под рукой пронзительны, как ось
разобранных часов и музыкальный сумрак,
когда ты утонул в волнах её волос.

И вот раскроешь ты органчик «Беломора»,
свернёшь в колечко дым, и в кресле ты замрёшь:
ты тоже часть Земли, как горы или море,
ты будешь вечно жив и вовсе не умрёшь.

ИГОРЬ ВИНОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСЧЕЗАЮЩЕГО ШАРА

Для того чтобы из груди выпустить рогатую птицу
следует предолеть утверждённое жертвенной кровью
сходство зверей и людей сходство обретающее
столь страшный смысл в образе содомской красоты
словно продолжая танец приближается плавно
смуглая девочка-подросток В руках у неё этот мир
и поднос с головой Иоанна Но за чертой повседневного страха ветер
рисует мою пустоту
взгляд упирается в голые воды
возвращаясь в меня неизвестного мне
пощёчиной веткой сирени прекрасно летящей во тьму
или прохожим выпавшим из толпы

А воды гнутся и время течёт между глаз
в прозрачной машине вселенских законов
где звёзды вырабатывают судьбы
а собаки несчастны как люди
с перевёрнутым сердцем я наблюдаю как сатана
исповедуется перед зеркалом Плоским лицом
настигая безумие разгадывает меня в различные эпохи
и опять между сном и его осознанием
целует ей руки моими губами в тишине на двоих
о которой вопят: нож на крае стола (зачем неизвестно)
свеча чтобы смотреть на свечу чей-то ангел рождённый в
печали шар хранящий во тьме пустоту лицо на пределе ума
отражённое в медленном шаре и прочие знаки вины

Одиночество имя испуганной птицы готовой исчезнуть
для всех и себя И прежде чем я оглянулся на свист
и увидел тебя обнажённой душа раздвоилась и птица
забилась в груди Чужими руками узнавала ты
собственное тело Всё произошло слишком просто
чтобы в этом раскаяться я увидел тебя прежде чем

Видишь мир получился вращается шар и уже не прекратить
исповедь не погасить свечу ибо кончилось небо
и космос повис в пустоте словно маг прекративший
мышление Выдох Уже никого никогда разбудить невозможно
Свеча догорает и шар за пределами шара исчезает
Бесшумно текут зеркала а нож на столе неподвижен

ЕВГЕНИЙ ДАЕНИН

ЭПИФОРА

зачем ты молишься на лезвие ножа? –
вот чай, и он – отточеннее бритвы;
вот чайник на плите кудлатой: в битве
он срежет скальп с неё, чтоб, ни шиша
не разобрав в пропановой молитве –
не расчесав горючего ужа,
по черепу – на весь кромешный пир –
спеть песню кипятка; но песня спета:
в ней рифмы нет для третьего поэта,
он лимфы ждёт, – на, захлебнись, вампир...

ВИКТОР ЗУЕВ

ПЕНТЕСИЛЕЯ

Объявлена ночь, словно яма ума,
Как мог бы сказать Хемницер.
Твой – даже и не трёхрошовый – роман
Едва ль вообще завершится.

Днём будет светло, но солнца не жди,
А коль, скажем, дождь соберётся, –
Ему не под силу вулкан охладить,
Но он увлажнит дно колодца.

Так что ж ты теперь умираешь в степи,
И жилы оголены,
Как оборванные провода,
И по ним ничего не течёт?

РАФАЭЛЬ ЛЕВЧИН

*** * ***

Ныряет в подъезд настоящего дома, снимает усы, уши.
Дом сигаретно подсвечен, но сердцевина гаснет.
В полузабытых навыках перехода щекочущей улицы
стонут прохожие, в пальцах уносят промасленных гарпий.
Он
ненавидит жизнь,
и с её плеча,
просекая пролёты, стропила, сырные балки,
он бросается в небо.
На шее – два кирпича
и тут же, за неименьем хвоста, пустая шпротная банка.
Он бросается в небо.
Но перевёртыш-сын
опускает его в водосброс, над коим погибли птицы.
И, как белёсая радиация вскопанной полосы,
вялый след удивления на размотанных лицах.

Рыбные сутки, четверг.
Дождь уйти не успел.
Кисейный фонтан на площади – пламя, отца не имеющее.
А он всё плыл на спине и уже после смерти пел,
потому что вода заливала рот и прочие мелочи.

Три девушки ждут купальщика в устье парной реки,
девушки ждут в эластичном убранстве тела.
Влажные, мерцают их волосы, профили, сдвоенные языки...
И всё сильнее звучит новая тема.

ОЛЕГ МИНГАЛЁВ

ПЕСНЬ НОВОГО ДУХА

...И тогда на краю скамьи
Мать вязанье прекратит, вслушиваясь в последний вздох Земли,
с которым наступает
Третье тысячелетие...
                Скрежеща,
извергая снопами искры, воспламеняя леса,
иссушая океан,
вдребезги разлетится железный пузырь – Земля!
Солнце уйдёт в другой мир, уступив место новому кормчему...
Заворожённая цивилизация глядится в будущее, планируя крах ли?

прогресс?
Расчёты, прогнозы зависнут тучами, если не будет известия.
Кто принесёт его?
Слепой немой Почтальон в вечном ходу, подобно маятнику,
подобно рассекающему лучу.
Вмиг лови его!
...Столько хлопот, к тому ж впопыхах, почерк не разберёшь.
И так – так-так – сквозь дождь звёзд слепой немой Почтальон уносит
невостребованные известия на Луну.
Итак, сложа руки, мы засыпаем чередою ночей, дней, лет...
Луна убаюкивает нас; под колыбельную мы лепим Слепую Историю;
в аптекарской банке вырастает бледное прозрачное дерево.
Деликатес вампира!

Где дети Солнца?!
Мужи, оттеснившие самоубийц – кашеваров собственых жизней.

ЮРИЙ ПРОСКУРЯКОВ

* * *

Мне вспомнился Моцарт. Всё так же качалось и пело,
как белая пена, летящая вслед за кормой,
чем ярче сияло, тем бронзовей тело блестело
немыслимо гибкой, дразнящей, библейской спиной.

Вот Моцарт идёт. В куртуазно прозрачное тело
врывается пена, летящая вслед за кормой.
Сальери катает девчонок. Какое мне дело.
Но светится след их, омытый днепровской волной.

И матов на жёлтом песке золотистый пигмент!
И женственен воздух, слегка замутненный дрожаньем,
Возможно, что демон проплыл с неземным воркованьем,
А может быть, ангел, из праздничных сотканный лент.

И матов на желтом песке золотистый пигмент!
И похотью воздух пропитан, и музыкой скверной.
Согнувшись в кустах над любовью своей эфемерной,
он ловит момент, но момент ускользает. Момент

пронзительно острый, полынной заполненный мглой,
ещё не взорвался симфонией звуков фальшивых,
и вновь этот катер, и рокот его торопливый,
и смех их беспечный, и мелкий песок золотой.

И птица затменья на миг развернула крыло,
но жизнь потекла от винта полосой монотонной,
сверкало в зените оружье, сияло стекло
и волны стонали в истерике сладкой и томной.

И кто их рассудит. Исчезнут холмы и река,
и тварей лесных, и небесных, и водных хоралы.
А он всё катал этих девок, текли облака,
но глубже в пещерах тонули священные Лары.

Истерика тайны. Он знал, что не жить, не плодить
тем киевским сучкам. Гремели безбожно литавры.
Но можно забыться и плыть с ними вместе. И плыть
по палевой дымке в сусальное золото Лавры.

АЛЕКСАНДР ЧЕРНОВ

* * *

Усни под дождь – и станешь ты дождём,
Пространством между облаком и лужей.
И, струнную мелодию прослушав,
ты перейдёшь в подлунный водоём.

А там, среди камней, среди корней,
На берегу разбуженного Стикса,
Ты обнаружишь статую из гипса
И прочитаешь надписи на ней.

Ты прочитаешь: «Путник из дождя!
Готов ли ты для смены состоянья?
Взгляни на меловое изваянье.
Всмотрись в лицо – вот копия тебя.

Повсюду дождь, повсюду ты один,
Соединён с дождём, с землёю соткан.
Ты рядом с телом, как земные соки.
Так оставайся или восходи!

Пока твой сон летает вверх и вниз,
И неподвижны стрелки на запястье,
Будь статуей у вечности в запасе,
Усни под дождь и заживо проснись!»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЮРИЙ ПРОСКУРЯКОВ – РАФАЭЛЮ ЛЕВЧИНУ

Раф, привет!

Знаешь, я тут обнаружил твое письмо (возможно, 88 года), в котором, к моему удивлению, уже фиксируется наша с тобой полемика о принадлежности к метамета. Привожу цитату из письма без купюр:

«За это время были разные события. Приезжал в Киев Парщиков, и встреча наша была странновата. Съездил в Москву я и выступил там с чтением стихов. Вечер был забавный – в нем почему-то приняли участие ультралевые музыканты и художники, до того левые, что где-то правые. Под названием tot-art. Я их назвал: тот ещё арт! А сам я читал «Ряженых» в виде диалога с профессиональной актрисой, занятно вышло. Прочее читал уже самостоятельно. Публику держал, по-моему, хорошо. Но – организационная ошибка! – потом художники стали крутить свои слайды, потом музыканты стали дудеть... так что, когда дошло дело до обсуждения, публика была уже в отключке, а те, кто выполз выступить, говорили примерно так: «Мы тут прослушали музыку, просмотрели слайды... да, кажется, нам еще и стихи читали?..»

Парщикова я слегка обидел, сказав ему при свидетелях, что к его метареализму не имею ни малейшего отношения... Кстати, – существовала ли реально группа? – спрашиваешь ты. Думаю, что да; и немало дала мне лично; может быть, что-то и продолжает давать. Поэзию питает, в частности, память; почему же я должен забыть девятнадцатилетнего мальчика Алёшу с приколотой к стене газетной фотографией Вознесенского (тоже юного)? Хоть это сейчас и другой человек; чиновник. И Ерёма, которого я так давно не видел и о котором ходят противоречивые слухи, которого я никогда не знал хорошо, но всегда был рад видеть, который вызывал у меня зависть своим спокойствием, своей кажущейся семейной идиллией (где она теперь, идиллия? А ведь Наташка стала самостоятельным, интересным поэтом!..)... который рассказал мне как-то забавную притчу, поддерживающую меня с тех пор во многих нелепых ситуациях...»

В этом письме чуть ли не первое наше разногласие о том, как рассматривать группу. Вот, представь себе, люди встречаются, в разной степени сближаются друг с другом, обмениваются информацией, творчеством, обсуждают творческие проблемы. Я и теперь, как тогда, нахожусь в среде нескольких кружков общающихся творческих людей. Эти круги отчасти пересекаются. И вот возникает идея Кассандриона, в который я по своей воле и воле тех, список кого я предлагаю общественности в качестве кассандрионитов, включаю Левчина, Лощилова, Фоменко, Касански, Лапинского, Проскурякова. Но в кругу поэтов, с которыми я общаюсь, есть Алексей Самойлов, талантливый молодой поэт, творчество которого я уважаю, беседую с ним на творческие темы и даже на тему Кассандриона... Допустим, группа кассандрионитов приобрела известность. По прошествии времени Алексей Самойлов вдруг публикует воспоминания, в которых он утверждает, что главными кассандрионитами был он и Саша Дельфин, который также был в контакте со мною и тобой и слышал о Кассандрионе и с которым Алексей Самойлов впоследствии крепко подружился. Но при этом ни Самойлов, ни Дельфин известности не получили. Как тебе нравится такая воображаемая аналогия? Ну, придумал Кедров метамета, ну подписались под ним Парщиков, Еременко и Жданов, мы с тобой так послонялись около, ну, ввели Парщиков с Кедровым в литературный обиход этот брэнд (или, точнее, бред). А нам-то что? Я считаю, что да, я-таки общался с метаметафористами и даже с метареалистами. Вот метареалистов изобрел Миша Эпштейн, и в число оных он включал О. Седакову,

Е. Шварц, И. Жданова, В. Кривулина, Д. Щедровицкого, В. Аристова... И. Жданова и А. Еременко он рассматривает отдельно в качестве «метаболистов» (термин, который он противопоставляет квалификации их же как «метафористов»). В пространстве между метареализмом и концептуализмом М. Эпштейн помещает А. Еременко, А. Парщикова и И. Кутика. Он писал, что их «поэзия уже не футуристична, а скорее презентабельна – как поэзия присутствия, поэзия настоящего (лат. Praesens). Он даже квалифицирует их поэзию как «презентализм».

Вне пределов квалификации он оставляет ряд имен. «Можно было бы назвать и других поэтов, осваивающих культуру на всем ее протяжении, от границ профанного до границ священного, – Юрий Арабов, Владимир Аристов, Евгений Бунимович, Александр Воловик, Сергей Гандлевский, Фаина Гримберг, Александр Лаврин, Юрий Мезенко, Юрий Проскуряков, Александр Сопровский, Мария Ходакова, Татьяна Щербина... При всей разности манер и неравноценности дарований здесь выработан некий стиль поколения: образная ткань такой плотности, что ее невозможно растворить в эмоциональном порыве, лирическом вздохе, той песенной – романсовой или частушечной интонации, которой держались многие стихи поэтов предыдущего поколения». Это всё из книги Михаил Эпштейн «Парадоксы новизны», М.: Советский писатель, 1988. Похоже, в последнем случае М. Эпштейн намекает на некий «культуртрегеризм» перечисляемых им авторов.

Тебя он не поминает, но ещё до него, в журнале «Kulttuurivihkot» № 3, за 1987 год, стр. 29, Юкка Малинен в ряду метареалистов указывает А. Еременко, А. Парщикова, И. Жданова, Ю. Арабова, И. Кутика, В. Коркию, Т. Щербину, М. Кудимову, М. Бараша, С. Гандлевского, В. Аристова, С. Бобкова, Р. Левчина, А. Чернова, Ю. Проскурякова, Е. Бунимовича.

Несомненно одно, что аналитический аппарат и способы классификации поэтических явлений в то время, когда возникали понятия «метареализма», «презентализма», «культуртрегеризма», не был в достаточной мере сформирован. Что же касается метаметафоризма, то этот термин, как мне кажется, не был попыткой таксономии, но имел чисто организационную функцию промоушена лиц, включенных К. Кедровым в число метамета.

В связи с засылаемыми к тебе записками у меня появилась необходимость, во-первых, как-то интегрировать проделанную уже работу и прочистить ее, а кроме того ознакомиться по мере возможности с материалом моих писем на литературные темы, которые, возможно, у тебя сохранились. Я понимаю, что гружу тебя избыточной работой, но, если бы у тебя нашлось время и желание что-то мне переслать, я был бы признателен...

Твой ЮП

(*письмо предположительно 2003 года*)

СУММА ОПИСАНИЙ

Аркадий ДРАГОМОЩЕНКО

Публикация ЗИНАИДЫ ДРАГОМОЩЕНКО

ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Nammeafrustagenetrixenixafuit, ni
Tugenuissesme, oluxmea, vitamea.

Ибо зачем было рожать меня, моей матери,
если бы не породил меня ты, о Свет мой,
Жизнь моя

Из письма Ковалинскому

Сидел и вишни ел, а коршун в жарком небе,
что золотилось полем на закате,
слезился острой точкой. Рос зеркальный пар
в речной излуке смутными кустами.
А косточки он складывал у ног (корням подобных
черным и корявым)
не тяжких, впрочем, вовсе, точно сок движенья,
кипевший некогда, погас. Оцепенел.

И стебельки пространства шелестели нежно
в том, что ещё именовалось горлом,
сухую, как стерня, перерастая кровь.

Да, это я иду, – промолвил, – это мне травою.
Стопы легки столь странно, будто и не были,
но только нитью беспокойства снились,
когда какое-то шумело колесо, и сыпалась мука,
и ветер рвал угрюмо свечей жар из руки и с яблони цветы.

Не забыл он, что бывают сны. И в каждом теле
вьют гнёзда, словно птицы в осокорях,
птенцов выводят, те кричат надсадно,
так помнилось, вернее, забывалось.

И остров памяти блаженно обтекая
песками смутными мерцающего тела,
он вишни ел.
А коршун между тем висел у солнца.
А оно, багрово, звезде полей сродни,
над кровом возведённой,
не двигалось в заснеженных глазах, хотя и уходило.
Медью глина в краснеющих коснела колеях.
И с горстью вишен, в кулаке зажатых
поистине с усильем смехотворным,
он по дороге изумленья шёл.

А тот, кто осиял серпом путь возвращенья над холмами,
по милосердью, мера чья не имет меры,
ему позволил о себе не думать
в прозрачный жатвы час,

И только слушал, как дух Григория,
сжигая клочья муки,
печать печали совлекая,
как бы ветвями детскими тянулся,
дабы припасть к живительному жалу в руке жнеца,
блистающей, как утро.

Припасть и боле ни о чём не знать.

1973

ИЗ СБОРНИКА «ЦЕРЕМОНИИ» 1973 ГОД

...Негромко говоришь – прощай.

Мост над стремниной лета, над ливнем,
Прощай, – говоришь тополиным побегам,
шелковице за белым забором
и улице,
А сам толком не знаешь –
К кому обращён этот шёпот.

Прощай, говоришь снам, в которых
ты появилась...
О, какой странный сон вырос над нами!
Крыло и звезда были незримы тогда.

Впереди мерно машут крыльями птицы:
Дрозды, чибисы, дикие гуси.
Невесомость полнит тела, зрачок
разрывает безмерность отчаянья –
Всего не увидеть.
Вскипает вода, трепещут кроны деревьев,
Раздвигается мир до пределов, доселе
неведомых
ни нам, ни ему самому.
И, точно шёпот твой, в безмерности
солнечного луча
танцует бледная паутина,
предваряя милосердие льда.

Какой странный сон раскинулся над нами
тогда.

ИЗ СБОРНИКА «ТОРЖЕСТВО ТРАВЫ» 1974 ГОД

Словно яблоко пронесли и с моста опустили
рассеянно,
Ринулась к солнцу тень рыболова.
И сам он запел, выпуская плотву из соломенных дыр,
А в мешковине трепещет бескровная рыба
твоего поцелуя.
Кто же бредёт вдоль божьих свечей?
Кто поит мух солнцеглазых бледной сукровицей рек?

Много свечей в час посева,
Много огня в день жатвы и хмеля,
Много молчания в день первых побегов.
Века пролегли меж зерном и свечой –
Руку подставь! Пусть неприкаянная птица,
крылатое семя
обожжённого клена, твой ангел –
опустится на ладонь,
Пусть не доступней всё разум,
И только пустые тела, как сухие колосья,
тянутся по ветру,
И только свобода беспризорных шелковиц,
затянутая в ледяное кольцо детских волос,
Свобода холмов, налитых зноем,
И нищего слова, и облака без конца и начала –
забавы птиц и детей, отрады бездомных и рыб...

И голову запрокинув, как идиоты, выплеснув ртов
серебро,
Уходим к убежищу Водолея,
Грому сентябрьской звезды внимая рассеянно,
Да шагам едва слышным того, кто бредёт вдоль
божьих свечей,
Да нищему слову –
Что, словно яблоко, пронесли и с моста опустили
рассеянно.

* * *

Истлела сирень в этом году раньше обычного.

Она опустила сухую ладонь мне на колено.
Радужные осколки стрекоз, клювы кремня
светились в ирисах сонных.
Рука моя, – проговорила она, – напоминает
старую стену, в трещинах которой скопилось
изрядное количество пыли,
изнемогшие древесные семена,
попавшие сюда в конце лета, когда всем стало
ясно, что осени не миновать...
Посмотри, она и впрямь полна какого-то сора,
пыльцы, песка, который сияет, будто
поблизости должна быть вода.

– Подумай о моей руке, – сказала она, –
Посмотри и подумай... Не знаю зачем, но так
нужно.

– Это любовь, – сказал я.
– Это только любовь.
Но, замечая нас, она всё равно слишком печальна,
Ей не под силу нас отыскать.
До рези в глазах всматривается она в наши лица,
Тысячи петухов, тысячи белоснежных коров
бьются в пыли и кровь их напрасно
чернеет –
Нас не найти.
Сродни легконогой звезде...
Она уходит в края безумных ветряных мельниц,
стрекочущих дальних костров,
И смерть утешает её в холодных садах
наших прежних рождений.

* * *

я лежу рядом с ней
стручки гороха бледные от солнца
валяются по полу
в волосах ещё течёт июльская пыль
повторяя движение солнца

мы неподвижны

замер я без движенья
и она неподвижна
будто повторение покоя
в котором пребывают полуденные небеса
мы рассматриваем друг друга
мы любопытны
она ожидает меня
я ожидаю её
мы очень медленно узнаём себя
лёжа друг подле друга
в ворохе белом
в спутанных стенах
когда бледные стручки гороха
свернулись от зноя
а на подоконнике рассыпана охра
и на улицах – ни души.

ПРОЩАНИЕ

Так в помыслах своих забыв сестру,
И золотую голову во мшистых лапах мяты,
Срываю яблоко я на лету –
как будто яблоко известие от брата.
В полуслучайном счастье пьяных дней,
Когда нам ржавчина так сладко гложет
кости,
В рогоже вымысла лицо судьбы видней,
В силках воды, троясь, трепещут трости
узлами сросшихся, давнишних флейт...
(какой же флот диковинно разросся,
минуя парусами нашу мель?)

На потном кафеле следы тех чудных дней
Туманным отпечатком замерзают –
Чуть угасая – яблоком в соку
и равновесьем братства.

В вокзальном грохоте лазурных изразцов
Нам, видит Бог, является всё чаще –
Руками говорящий хор людей, да в голубых
снегах горячие запястья.
Но он поёт руками, хор людей – поводыри
одни и нет средь них слепого,
Кто б горные пустоты мятежей
Воспел опять косноязычным словом.

В кристаллах патины нам видится ясней
Перерожденье крепости в несвязный клёкот,
Окалины цветущий сквознячок на золотых
устах классических решёток.
И яблоко срывая на лету – весть от давно
уснувших братьев –
Я вижу чад надменных с решетом,
С окаменевшим городом в сетчатке.

ИЗ ЦИКЛА «ВЕЛИКОЕ ОДНООБРАЗИЕ ЛЮБВИ» 1974 ГОД

«ЛЮБОВЬ МОЯ»

...Как душа моя тех давних лет,
Стоишь
ты между двух яблонь недавно побеленных.
Земля черна,
Где вскопана – парит.
Еще голубовата на стволах известь,
Солнечное пятно на предплечье,
Несколько
капель влажного света
на ресницах прямых.
«Любовь моя», ты так близка.
Гордая девочка с тёмной мальчишеской
головой,
Стоящая
между двух яблонь весной,
В мире,
залитом великим однообразием
любви,
В
мире благосклонного солнца и вечности.
Каждое наше мгновенье оттуда течёт.

Каждый раз мы оба появляемся там.

«Возлюбленная моя».
Когда
десять лет тому я тебя встретил,
Мне показалось, что встретил брата. Я
удивлялся ночами, вытянувшись в постели:
Окно. Дерево дождя –
Твои руки
Были такими же, как у меня,

Такими же были плечи.
Говорили мы на одном языке,
А утром, когда ещё в доме все спали,
Стараясь не заскрипеть половицей,
(так и не сменили, а потом снесли дом)
Выскальзывали на улицу.
И шли рядом, удивляя прохожих своим сходством.
Как прекрасно было твоё дыхание,
продолжавшее моё дыхание!
Как чудесно в своём согласии
стремились утренние тени за нами!
Как легко прикасались наши руки друг к другу!
«Любовь моя», сколь легки были наши тела.

ДОСУГИ

1.

Давай изучать историю,
Рассматривать лица молодых генералов,
простых солдат, и думать – какие птицы
парили над полями сражений,
путаясь в складках знамён.

Давай вглядываться в туманные гравюры,
И водить пальцами по остаткам
бездумного золота на обрезах,
И ненавидеть тихо Томаса Торквемаду.

Или взглянем на рисунки поблекшие
старинного бестиария, на ветхих страницах
которого благословенна всякая тварь.
Или займёмся химией, следуя неотступно
Указаниям Трисмегиста.
На худой конец, давай ляжем в постель,
Пересчитаем деньги в карманах,
Пересчитаем дни, что остались...
И только не думать о завтра?
Ведь и так всё известно.

2.

Лучше прилежно изучать историю стран,
народов и лиц,
За тонкой преградой которых
ревёт ураган нашей памяти.
Протянув ноги, спиной прислонясь
к стене, уходящей в парящие ветви ореха,
Я доживаю ночи остаток – в толчее
поющих деревянных фигурок
кто-то нежно и больно плетёт
предутренний сон у висков.
Тонкая вязь ветвей, солнца и пыли
бьётся в холодных словах изумлённых
лучей,
Запах олифы, разбуженной извести, света –
С черепахою схож коричневый лист –
недвижим в реках зеркального ветра,
Смола в чёрный янтарь обратилась.

И кажется мне, что задержать ненадолго
дыханье –
Метнёшься над смугло-сиреневым садом –
Изогнут хребтом – глотая раздирающий мёд
страха и счастья
в душных небесных разливах лазури,
Где плещет, блистая, река незамкнутой
крови пернатых!

* * *

Я замер:
Среди отрогов зелёных горькая вишня
пляшет над расщеплённым стволом
одуванчика...
Покуда ветер занимает меня,
И она, пригибающая осторожно к земле
ветку ореха
(ещё не стала мясистая кожура скорлупой),
Скатываются искры с пыльных запястий,
И глиняный дом влажно сияет в тенетах
ветвей,
Едва ли, сырых, белых стен коснётся наш
взгляд,
Голубь перелетает с ореха на липу.
И тишина, сродни желтоволосой звезде,
вершит круг за кругом,

Освобождая разум от кожуры повторений,
А потом он предстанет как жест, открывающий
извечность этого вечера,
горькой, незрелой вишни в горячем потоке
дыхания.
Остаётся спросить –
Кто вонзил в мою грудь
Вскрик глухой изумления
ей, себе самому, горьковатому свету
и облакам темнеющим час от часу.

ИЗ ЦИКЛА «УПРАЖНЕНИЕ В ПОСТОЯНСТВЕ» 1978 ГОД

* * *

НЕ БЕГИ, ГОСПОЖА БЕЗГОЛОСОГО ЖЕМЧУГА,
с глазами осенних низин, где ночь изголовье
искала.
Останься, теней тень благая,
в которой судьба моя замерзает островом,
артериями оплетённым –
И о ней губы печалятся.
Госпожа любовного пота,
ноздрей вспыхнувших.
Госпожа милосердного лона
В нимбе молочном срубленных яблонь,
Сердце пьющая, как олово лунное – воды.

* * *

Госпожа серебряных муравьёв,
притаившихся за ушами.
Госпожа юных лет с глазами тумана,
испепелённого в низине ночью,
где зелень ищет защиты в чёрном.
И золото, проливаясь в колос, кричит и
никнет к листве, опустошённой морозом,
к листве, кружащей на перекрестке
двух времён года,
где редкой лазури ожоги больней
ржавчины ветра.
О, Боже, не гони травой мое тело,
Не пали его гневным дыханием.

Это мука, оставаясь на месте, стлаться,
подобно камню под
ветром.
И пусть послание, в руку рекой отвесной
текущее, в дрожащую кисть муравьиным
ручьём входящее –
пусть минует мой череп ...

(ОНА)

Промолвит:
Всё дожди и дожди, из-за горизонта
плывущие,
сопряжённые шелестом с обнаженьем материи.
Когда на мне нет и нитки –
кажется, будто я с ливнем в одном измерении
покосившихся рам теряю рассудок, и
он невесомей режущих капель, завьюженных пылью.
Призрак века дичающий сыплет и сыплет дождями.
Хитрые казни втиснуты в узкий атласный пейзаж,
сродни именам, помещённым в бедное тело –
их множество (дальше не двинусь, дальше
я стану мужчиной) –
всего лишь смутные склоны, за которыми корень
костра чудной догадкой горит.
Всего-навсего новый исход, словно наст
полотняный, трезвостью трогая ноги,
разрушает шаги.

Да, дожди, милый, и поволока ненастья.
Плащи беспорядка,
Тополиных убежищ обрушенный свод,
Реки ветвей в холодных, промозглых садах,
топкий дёрн...
Но помнишь начало?! –
Благовонное солнце на всепроникающей стали,
свободная поступь,
Стаи цветов грозовых летели извивами спящего
плёса,
тихо колебля весы слабых лучей.
И пустота уходила, обгоняя все жизни.
Теперь она новой любовью неслышно души разит.

ВЕС ПРАХА

Сидя на камне, он слушал прилежно
Как дрозд, точно капля туманом,
наливается пеньем,
Ясень шумит, и пряди тугие рассекает
воздушное беличье тело.
Он слушал, как северный ветер,
Повелитель его головы седой
и запутанной
Сулит прохладу камням и тем,
кто ступает по ним, потеряв счёт шагам.

Сидя на обломке скалы,
уходящий корнями в горючие бездны песка,
Он наблюдал сотворение вечера,
Возвращение ветра и то, как клевер
соком исходит,
И как забор накренился, –
Прогнили столбы, и сети глухие хмель
развесил по стенам.
Он бормотал, а вдали, на краю Ойкумены,
Сосед размеренно пил за бархатным,
черным столом,
Закат выстригая глазами.
Он бормотал, а за углом на дороге
Продавец керосина играл на слезной трубе.
Он бормотал и слушал свое бормотанье,
словно пенье дрозда, уносимое ветром,
А потом вошел в дом и твердой рукой
записал в серой, тощей тетради:
«Господи, любовь так одинока!
Взгляни же на тех, кто вернулся назад».

Далее следовали наблюдения о погоде,
Но ниже я вновь его руку узнал:

«Ближе к вечеру, почти касаясь меня,
Смерть пробрела от колодца к воротам,
И клонилась ее голова под бременем
неизвестных цветов.
Я видел ещё, как человек моих лет
рыдал, простирая к ней руки,
Я видел, как отделился огонь от воды,
Я ничего не видел.
Я сидел, Боже мой! на обломке скалы
И слушал, как заплетает волосы ветер».

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Мост
над Бугом закончен.
В конце вселенной нет ничего: лишь пустая,
как на праздники, улица, где был твой дом,
теперь поворот пути вокруг которого имена,
которым имена другим, уже совсем не эти,
но не совсем ещё те,
слякоть, разъятие частей во вздохе,
преодолевающем борозду артерии, жизнь цикады,
просто ножницы.
«Кому это? – ястребу, мне, истории, женщине?»

Приостановленный жест, оборвавший карусель кристаллов
вслед за рыбами по кругам обращения крови,
впитываемой тысячелетия краснофигурной глиной.
Каждый рисунок требует, чтобы кто-то был где-то.
Соль – в крови. Здесь меня не было.
Берег в соединении с пеной, как тетива
морем натянутого лука.

Средиземноморье начинается с тени первой оливы.
С чего начинается конец предложения, произведения?
Или страна, в которой я живу? С казни?
С последнего, не до конца проявленного слова?
Утраченной по счёту строке?

КОРОНЫ РАЗРЫВА

Так соскальзывают дни,
скатываются в сетчатку,
короной разрыва впиваются (капля)
следы коронарной детской руки
(взмахни, оставь пальцам самим
искать во сне, где живёшь? а ты?)
под веками солнце –
равновесие и прозрачность
продолжения вещей; теперь контуры,
но теперь – следы, вслаиваясь один за другим
в разрыв мороженных прутьев ольхи, тропы,
ткани, снова тысячекратно в холоде, ниже,
нашедший боль в тёмной дороге капли
прежде, чем её языком, взгляни:
пасмурное, но зато высокое небо!
на самом деле и как далеки глаза, висок...
как высок в воде глаз и неясен у снега свет, не тает.
Холодней? Намного? Да? Мне тоже.

* * *

...Но ты, сколько раз ты, почему опять?
Выходя за пределы мысли,
рассматривая её до дна, – разве не лист? единичное?
Лист вяза, мокрый, со скошенной строгостью,
разве не помнишь лист под ногами?
На улице, прервать дыхание, стремглав вниз,
обернись: ночь.
Когда возможность, когда живы или же нет и
сколько осталось.
Нет, сколько чего и кому досталось –
кому-то утро, не с тобой над летящей вниз улицей,
листом внизу, на другой, где светло,
но темно, как в углу стоящее дерево...

В СТАЕ СЕМЯН

Устанавливая преграды, ветер преобразует таянье вещества
в остаточное значенье. Звук затопляет впадины ожидания.
Оно мгновенно, повторяемо неустанно, как монисто в пальцах.
Ночью им снятся ожоги на коже, словно мерцание шаровых молний.
Изымая из осязания, переносим в шёпот: звучанье пронизано
утратой эхо. Воспоминанье расплетено в окрестностях предложения.

Так соскальзывают дни, один за другим, вслаиваясь в проекции,
а следующее перечисление соединяет потоком низшую душу с высшей –
«сверкающие чешуёй приближения, затем изменения мысли,
преломляющей углы речи, – как над расколотым ртом
скорлупу раскалённую мака, – удвоенную уступами искривлений»

(каковы они? как выглядят? напоминают ли знакомые вещи?) –
сколь не нужно ни тому, кто спрашивает, ни тому, кто уже не ответит,
заплатит, заворожен болью, в разорванном по амальгаме зеркалом,
сколько не входи, ни разу не выйдешь: в нём, как пустота в клетке,
вернее луч в линзе, где силы не «вне», но «внутрь» света,
до того момента, когда телесность достигает плотности,
в которой свет забывает о тени, избавляется от «конца», «начала» –
вот тогда тебя, считай, нету, ты умер.

С легкостью проходишь средостения дней, ныряешь в ушко иглы,
(это как с «девы» лететь в Симеизе) руками попутно машешь
тем, кого любил и кто с непонятной скоростью
скатываются с глаза долой, и слух нарастает,
и вместе с этим сознание теряет пределы (а что оно без пределов?) –
оборачиваться не стоит, чтобы увидеть,

как встаёт звезда, не нашедшая пристанища в алфавите,
но водившая рукой когда-то по её руке, а теперь на её высоте,
где преграды преобразуются в горение вещества, распад воздуха
на элементы и горло, которое случается, словно прозрение форм,
стягом сухих семян, развёрнутых ветром в лоб.

20.07.2012

ЧЕЛОВЕК ВЫЖИВАЮЩИЙ, ИЛИ ИКРА ПО ПОВОДУ «ПИСЕМ СУМАСШЕДШЕГО» НЕКОГО КИЕВЛЯНИНА ВАЛЕРИЯ ВОФСИ

Юрий ЗМОРОВИЧ

Грустно и смешно, и умилительно до чрезвычайности: в Киеве нашем, в наше времечко, где никому ни до кого и ни до чего – нет да и собрал некий киевлянин Валерий Вофси, человек крутой, сколь и неопределённых в плане социальном привязанностей, художник-психо-визионер-беспредметник сколь и недоучившийся музыкант, и оказалось, вынужденный, по свидетельству спутницы его, литератор, горсть таких же как он бедолаг и поклонниц, абсолютно неопределённого толка... быть может, худшую из разновидностей современного мещанства: на ниве интеллекта, живущих, так сказать, за счёт посудачить о чужих горестях, как бы избавляясь от своих собственных.

Да в том-то и дело, что примесь горемычности в судьбах собравшихся и привнесли в это мало значительное для астральных волнений событие – соль и хрен существенного.

Горсть сия небольшая мужчин, а более – женщин, безмолвием своим взыскующим и достаточно терпеливым, выявляла некий запредельный пиетизм в отношении к автору и пупу застолья, не обладавшего ни званьями, ни цензом признания.

Уже после чтенья сочинения собственного, автор бурлил и буравил под водочку столь же безымянно и малословно – до отклика ль ему было и зачем нужна была ему горсть сия, столь же безмолвная: «Не поняв ничего, ведаю гениальность твою», сказала одна воздыхательница, и то было правдою для всех. Никто, быть может, и не обрёл ясность оценки об услышанном, никто не объял критериями объект, приплывший из дальних миров нашего современника и со-плотчика, ибо не ведаем, что обретается во плоти рядом находящейся: кто в челноке оказался, откуда пожаловал, с какою целью.

Итак. Валерий Вофси собрал в доме скромном для одних и прославленном для немногих – художника-визионера Александра Костецкого и бывшего узника-лагерника Петра Никитича Буинцева – горсть своих приятелей и почитательниц с тем, чтоб ввести им инъекцию своих литературных аллюзий.

«Письма сумасшедшего» вбиваются автором гвоздями в телеса слушающих, продлевая их тоскливую неопределённость в пространстве, ничего не означая, но будоража и приближая к тупику матерьяльной нашей жизни, ибо они вовсе не про то!

ПИСЬМА НЕ ПРО ТО!

Написанные в жанре вроде бы уже давно отжившем и отработанном как и величайшими из столпов наших, так и третьестепенными графоманами, «письма» изначально провоцируют на скепсис: знавали-с и читали-с письма и сумасшедших!

Какая-то маниакальная установка стиля на «-с», словно из детства пришедшая игра в старину, наивная и поверхностная: «Чего изволите-с!..»

И тем не менее чрез нетерпение и возмущение первых впечатлений пройдя, начинаешь ощущать и н ы е измерения: стало быть, они существуют, подтверждающие нахождение самого смысла происходящего: автор толкает нас к традиции, суёт нас носом в свою сопричастность (не говоря уже о дерзком посвящении своём Миколе Гоголю): – де и эти ориентиры поверхностны и от тщеславного, ну, назвал себя гогольком изначально и что?

А то, что произведение сие и есть выявление психического авторского чрез реквизиты той реальности единственной, которая его бы и устроила среди прочих нашей жизни: вымышленного культурного поля, которым определённая часть нашего общества, затерянная в сумраке настоящего, и желала бы иметь себя: не «сникерсы» и электроника, не убогое вытаптывание долларов или бесконечные долги или, наконец, новые капитализмы и коммунизмы, НО новые гоголи и акакии акакиевичи интересуют в ткани житейской, в ткани новой подлинности.

Будучи обезображены и обезличены гулагами государства солнца, мы живём не реальностью, а семантическими масками тех призраков соцгрупп, в которых мы бы хотели оказаться чрез и вопреки временам и пространствам.

Но очертанья размыты и границы – непредсказуемы.

Поэтому – перед нами дробная множественность, вопрос без ответа...

Итак, сумасшедшины узоры Вофси – визии лоскутов и сполохов Грааля посреди солений на столе и мерседесов за окном.

Память о Сведенборге не менее отчётлива, но и столь же приблизительна, как страдания на тему Петьки и Анки-пулемётчицы: едкий уксус не для питья, не для приправы – с такой литературой впору язву наживать.

Валерий инъектировал её ближайшим, проверяя на них свой оскорбительный вызов «им» – делайте с моим, что хотите, я-то знаю, что я субъект вечный, а вы-то все – обречённые объектики, да и только! – Инфантильное поэтическое «эго» в экстремуме концентрации вкупе с – оставленностью...

Письма НИ К КОМУ И НИКУДА. Письма без свойств.

Когда сама словесность возникает как свидетельство жажды материализоваться и стать свойством в этом разжиженно-уксусном сегодня. Когда определить себя остаётся, и это не худший из способов, в лексике как географии и социометрии.

Горсть неопознанных субъектов на квартире Костецких погружалась медленно в раствор ископаемых из прошедших веков драгоценностей: «нам вольготней в растворе, чем в жизни реальной! Растворяясь – крепчаем!» Женщины, осунувшись – противились: метаалхимия не для плоти живородящей... Но Вофси упрямо разделывал присутствующих своими кандибоберами-реагентами, и таяли постепенно улыбки, вытягивались физии, и забывалась плоть, вылущивалась материя, и было много тоски, не более, впрочем, чем до того.

Уставшие от чтения, судорог автора, от афазии всеобщего, почитательницы выныривали из-под его опеки (канун старого Нового года!) и вынырнули в побег почти все, кроме самых склонных к химическому растворению личностей.

Они же, как и оппонент, пишущий сии строки, наиболее и причастились убогому внешне фантому факту сего.

Лучилось тихое сумасшествие.

Банка огурцов величественно возвышалась среди останков закуски, стаканов и опорожнённых водочных бутылок.

Словесный парок едва зависал, когда чтение окончилось.

Растворение произошло, и обескровленные тени современников вышли на улицу, жившую по законам сникерсов и мерседесов, и горестно воздыхали тени о пустых холодильниках и невозможности жить завтра, и возгоралась тщета зреть пупки у обнажённых японок, и много такого, чего и близко не было в этой ядовито заснеженной улице.

Что раствор еси?

Бесформенность и прозрачность,

Растекание и исчезновение!

Но ведь – и воля растворившего и твёрдость растворённого!

Оно было, оно прошло, оно превратилось в свою противоположность, чем властно может потребовать от воли проницательной энергического восстановления своего...

Мнимое, тайное, невидимое и нежданно-яснеющее... в непросветности жизни нашей, растворённой...

И вдруг – оказываешься после-Вофси из недо-Вофси – вполне собою, смятенным, из бесформенности тоски своей и неопределённости социальной – устремившимся, ни много ни мало, к – жизни истинной и вечной, хотя слова-то «бог» не было в икре сумасшедшего: да видно, п о с е в-то был,

ИБО ТЕО-СПЕРМИЯ ВОЗНИКЛА!

Что-что такое?

А то, что химия химию требует, а раствор раствору подсобляет, и, глядишь, химия не только для быта и труб фабричных, а наиважнейшее – для размножения духовного: творец творцом быв оплодотворён и рождает новейшее, и жизнь продлевается, и не из ничего, а из существеннейшего, потому и невидимого, а «с-ума-сшедшего» – видимого толпою и глупостью!

Таков и смысл письма без-умного, таков Вофси, выразитель наш, таков раствор мира, таковы благие в тоске почитательницы – обывательницы в миру, стремящиеся к жизнерождению, да истинному, и такова наша

ВСЕОБЩАЯ Т Е О- СПЕРМИЯ!

Писано глубокой ночью и ранним утром 14 дня января 96 года в юродивой осиянности пробуждения, Киев.

Напечатано впервые в авторской книге «Минималиссимус», издательство «Птах», Киев.

Валерий ВОФСИ

Публикация
ТАТЬЯНА ВОФСИ

ОТРЫВОК ИЗ ЭПИСТОЛЯРНОГО РОМАНА «ПИСЬМА СУМАСШЕДШЕГО» (ПИСЬМА №100 – 110)

№ 100

Дамы и революция.., или
Лошади кушают овес и сено...

Здравствуйте, дорогой!

В ночь на восемнадцатое, мой друг, под аффектным предлогом далеко как недоказанной, ушедшей чуть ли не до субтантивного пошибу дробей ревности, маргинал и типическый синий ошейник-с, женившийса по сугубо разноцветным расчётам, нигилиствующий скотчист, дендирующий прощелыга, героинист, резонёрствующий революсьонарий и вольтерьянствующий фонфарон жеманник, в прошлом манчестерский живодёр а затем и портовый кауфюрье-с, некый Джон Далтон Атилла Младший – как он выспренне себя именовал, неведомо в силу коих соображений заброшенный к нам в забытые чёртом провинциальные Пенаты... – сироту!., гху.., и бедную падчерицу свою, большеротую и дебелую, но субтильную блондинку с зелёными, в самую малость косящими, типиическыми евразиискыми очами, герцогиню Матильду Митрофановну фон Мундендорфф, /поместие коей расположенно в двухстах тридцати четырех верстах к югу от Вас, монкьор/, /в виду государственной важности секретного отсутствия мужа оной.../ в девичестве Обухову, – задрапировавшис в атласную викторианскую мантилью, и задушив походя шнурком от башмака пожилую блондинку, мирно посапывающую и изрядно подрагивавшую во сне на персидском тюфяке у дверей, а затем пробравшис, тихою сапою, с помощью подкупленного лакея и отмычки в альков... – оттянутую поначалу, натурально что, палочным ударом, а затем и в оральный способ врасплох посильно взятую, и в такой метод наскоро надругавшис ею, и как раз уже затем отходящую ко сну.., и в такой вдруг момент, в догонец как бы, сир, ещё и зверски обиженную вдобавок топором-с... /захвати он с собою опасную, так называемой шведской стали, бритву – так неведомо ещё во что бы это, государь мой и вылалос.../ – как то имело место быть и не раз.., /кстати утопившийса спустя два часа пополуночи в Чудском озере.../ но на сей раз выжившую /после всего-то вынесенного, любезный Вы мой друг, от него, – вольтерянствующего, бесноватого цирульнария, – ею.../ таки из

ума-с.., и казалось бы безвозвратно и необратимо... Но от части и в силу чего, потому, что не вопреки – что следовает особо отметить – а, как сие не сбранно, – благодаря дерзновениям Баденской клиники «Блоуап» что под Веною /как-то: проф. Георга Айх-Рапсниссена и д-р Магдалины Шторм-Хофдемольсферсонс/ а затем и полевого драгунского шитального центру, что при форте «Вест Гойнт», /как-то: д-р Максимилиана фон Дуда, магистра Готфрида фон Свитера, д-р Джоржа Мария Кернера, д-р Фан ван Свитенна, д-р Питера Лихштейнштайна-Минуйта, и особо проф. Грайтера Овсова-Раппопорта/ в годовом исчислении – ровным счётом год спустя, в ночь на восемнадцатое, с окрыляющим непредкновенно совпадением, восстановившуюса в уме слава Богу! в силу общих вышеупомянутых усилий, восторженнейшим образом /не без моего посильного участия/ оттягивающуюса, скоррелировав таки, угостяс сигарою, сублимированные за год фантазии, в сию весьма позднюю годину, с дражайшею Кларою Карловною Бен-Овсовою на диване... – известных бродячих парралелей не имеющих от роду для моего почти что сугубого, сударь, пера-с приличествующих случаю аналлогов – где с компенсаторною шибкостию, а где и просто эдак вальяжно пробавляяс, чуть ли не полигинийевого толку суперидеями, полиáндриевыми идéо-идеóмами и промиснуитéтными макро-идеологéмами и прочая – всё того же филиациидно-сéнсорного пошибу, /хотя для нас с Вами в оных на удивление ничего себе особенно интригующего вовсе бы и нет абсолютно.., так что особо и не из чего прилипать в оным.., в силу чего я их и опускаю, любезный.../ походя обмениваяс взаимолюбезностями и взаимосмоканьем губок в пентагоноугловом кабинете с Макьявеллиевым цементным бюстом на догорающем камине, где я и кончаю, глубоко как засидевшис и чуток таки спёкшис, описывая всё сие, что, как говорится, называется – как оно и есть без прикрас с натуры /что можно оценивать далеко как не в художественном жанре-с.../ к Вам под полуношный весьма подостывший кофиёк-с, и курантирующую уже в четвёртый раз кукушку...

P.S. А и до покуда, сир мой, и опускаю, по т. н. известным соображениям... – далеко как не последней затеи.., но а и не особо далеко как отстоящий... – не возведите, – не дай Вам Бог! Типун Вам! – за безалаберно экстраполированный намёк-с... – от – неидущего к делу глумливо-вкрадчивого – курице по холку – невротиически осклабившегося восхлопывания ипохондриически шаманствующих ладошек-с – и до – прочей, более чем не идущей, ходульно-экпертной – свинье по хвост – аналитиической тщеты пыль-цепсихокрылого пошибу ассонансий... – сугубо средний т. н. этап-с, а и не упущу всё же заметить совершенно точно к Вам – уж расположившийса латентно, скрепя сердце, с веслом-с во головах-с.., между прочими.., но а и по сугубо особую сторону... от транс-эписто-магистрали-с.., и под исключительно свое-нравною рубрикою-с...

P.P.S. До свидания.., бедный.., Вы.., мой друг-с...

№ 101

Путём-пять.., или
Лапти плетут.., а концов схоронить не умеют...

Здравствуйте, дорогой!

В первую голову /кстати чуть не расшибившис в лепешку.../ досылаю к Вам по Вашей просьбе: «Субститут капусты» Флавия Маркеловича ван Плакса-Оплеухова, весьма немногословного, но незаурядного, кстати первого кандидата на «Невскую ступень» второй, весьма почётной, степени, затем писанный в несколько нарочито невротиический

способ: «Адюльтер. Искомое. Тезы и рассуждения» весьма импозантного, но страдающего каменною болезнию почек-с, лауреата премии Джироламо Савонаролы /от части вроде бы ныне реобелитированного.., чёрт их там разберет.../ Иосифа Георгиевича Опёнкина, «Героики Безумия» – ярчайший пример беспримерной плодовитости!., но несколько в витииватый способ писанные.., – Ильи Севастьяновича Задушевного, и «Трубачи и пересказчики» Сарры Модестовны Вагииновой-Кандавловой, в девичестве Севрюговой-Зонтиковой, между нами – по всему – больно хорохорящуюса, лаборантки, а затем и т. н. «турингамиевой» стипендиатки Остготтбергского коледжа, ловко затеявшую с Вашим слугою неравноценный творческий альянс.., ну да ла-адно.., э-э.., ну а вот, в рассуждение тридцать первого, как, что называется, октявгуста, говорится, предварительно проделав пред зерцалом – предусмотерительно оттянувшис чашечкою шоколаду и рюмочкою коньяку с абрикосово-клюквенным бланманже с вишенкою и цукатами – с десятку, почерпнутых из под глыб наблюдения, неизвестно за каким чёртом, неудобоописуемых синкретийческых рож и прочей бесовщины – не имею более скрыть от Вас... – а тем паче ввиду проходящего в сей предутренний час в поместии /плотно окруженном переодетыми соглядатаями.../ чрезвычайного заседания большого жюри Невского конгресса под председательством д-р Матео де Коломо с почетным президиумом состоящим из господ: Григория Борисовича Апфельбаума, /разводящего австралийских сумчатых/ Вильгельма Вениаминовича Розенфельда – грозу всех поместных дам-с, Льва Евсеевича Райха-Розенкрауба – гостящего у нас, и Амония Григорьевича Ягнёнкова – ветеринара – того, намедни обойдённого молчанием, факта – коий – в тщательной неприкосновенности и теснейшим образом отнесён был мною вплотную до подготовки предстоящего письма к Вам.., но на потеху или в ужас... – не волнуйтес, голубчик, ничего страшного... – всею перечисленною выше честною компаниею, мы, вот, прямо таки сейчас, – со всем приличиствующим случаю вниманием – и будем наблюдать оного с веранды, а и уж заодно и зарисовывать виденного нами к Вам... – ибо, заместо евробаньки из берёзы, созиждилса.., что Вы там вздор бормочите?., какой там к чертям на переферии сознания?!, на, жабьего фасону эдаким иксохером, ножках-с.., сам Вы хватил чарку!., из анчарова древа, в аккурат на зорьках.., а Вам что до того дела!., под Эолову шарманочку и утренний чаёк-с.., а хоть бы и так!., заучив миловидные приёмы, буффонадно вытанцовывающий свиреповатую жигу-с, проев в Коринфской рощице обширную, чуть ли не.., что Вы опять вздор горланите?., вот же свидетели!., гóльфого толку, лишенную всяческой растительности, плеш-с, на опушке.., заучили предметы в радужных цветах.., э-э.., полутораэтажный.., что б Вам ни дна ни покрышки, с гаргоновою куафюрою.., и бабьим, драконовым хвостом-с.., комод ужасов.., сам Вы в уме повредилис!., и ладно бы.., да только ещё вдобавок и со зловещими мансардами да мезонином-с... – /лапти плетут.., а концов схоронить не умеют.../ – обескураживающее отзывающимса, по всему спектру, нафталином-с...

P.S. Всё то Вам еле-(...)-с!.. обонять-с...

№ 102

Вначале было ухо-с.., или
Тот же медведь, да в иной шкуре-с...
В том оно и забава, чтобы землекопи
Взорвать его же миной, плохо будет
Коль я не вроюс глубже их аршином,
Чтоб их пустить к луне-с, есть прелесть в том,
Когда две хитрости столкнутся лбом-с!., или
Паранойя-два-с...

Здравствуйте, дорогой!

Как и полагается, чуть помедлив, отбываю невольным пером-с по индеферентной бумажке к Вам, в чесучёвым балахоне, осмотрительнейше – как чилавек сугубо промежуточного спектру точки зрения – (...) меланхолически поплёвывая в свисающий с люстры крупноскоп-с, аполлонические мели и дионисиические рогатки, и два, в яйцеголовый способ сросшихса, в латанных нарукавниках, харибдосциловых болвана, но и в то же самое время, и более чем парадоксально, но и не менее чем осмотрительно придерживаяс, как на мой апосредованный глаз – строго археохранительных начал, что и до поры по обыкновению и ставлю собственно в конечном итоге в позитив... Посудите сами... Это первое... Второё же: при всяком удобном случае твёрдо держу убеждения, /о чём ещё Оламовы Степан Викторович и Надежда Ильинична писали в «Оперных категориях»... Могу, кстати, удовлетворяя пытливость Вашу, изложить на выдержку некоторые места... Впрочем, – сами загляните... Не лишним самому будет убедиться Вам... Не говоря уже о трактатах проф. Хронсмана Германа Харитоновича: «Круг вопросов. Сущностное. Коллизии и Аномалии» и Вашего покорного: «Не из тучи-с, гром-с.., из навозной кучи-с...»/ не боясь выказать трюизм..: что подводить, напустив на себя гамлетовский жанр-с, характерную, если не теневую, сторону медали – далеко как необязательно... Так что щеголяй – не щеголяй, а помалкивай себе во рукавчик-с... И наконец третье-с: мы, батюшка, заодно-с, в эпистоглавном-с?.. То-то ж... А тогда-с, перво-наперво /по возможности избегая реликтовых, обожаемых Вами, элоквенциизмов и тому прочая.., не лучший ли искус! – с некоторым пусть и превышением – в Периклов образ/ потрудитес, – черти побери ваши с Мосейкой Калошинкою «Вздохи по вздохам-с»! – предлагаю предельно объясниться: так в чём же, болваны Вы, собственно этакие, дело-с?!.

P.S. И имейте в виду: если и после письма сего неуймётес понапестрить с Томсоном, навозокопатели вы, Кронштадским, эдакие, до пары вторую кучу: «Ахи по охам-с»!., то не только выветрится с оплошной памяти Вашей-с, как минимум: первое – откедава клубничное бланманже-с растёт-с.., а второе-с – но и на что-с /уж что-что, а за это, будьте уверены! я Вам, сударь мой, ручаюс.../ устрица, исторически писчащая, собственно похожа-с...

P.P.S. «Оченно громкий звук-с не слышен-с...» Гераклит, уроженец Эфесу.., Тёмный-с...

№ 103

Сколько не пиши, а ещё и на завтра будет-с...

Здравствуйте, дорогой!

Затеял было к Вам высокомудрым глаголом-с.., да по причине внезапности визиту баронессы Ксантипы Моáмаровны Лоховецкой, конозаводчицы – вижу, что не с пера-с... Мало того, что чёрт знает что такое, глиста полосатая, занесла! что весь лист на берёзе увял-с.., а и – вот пишу к Вам, а баронесса, охорашиваяс, якобы, пред зерцалом – ну право же, ровно твой лох-с из чащёбы-с!., – нет-нет да и чрез плеча заглядывает.., бельмы что рогатины уставила.., ровно рыбною костию подавилас... Так вдруг себе да и вспомнил ни с того, ни с сего, сударь мой, что нет-нет да и наконец-таки тут бы и задуматься над тем, до толе обойдённым вниманием, нелицеприятным явлением полноформатного, недооценённого характера, распространившегося за последнее время по губернии нашей, и возведённым, с некоторых пор, иными за моду, – что иной, дескать, поди из умников-с, из особо, сир мой, высокоумных и заносистых, держа кой-кого за простачков-с, /возможно я чего-то и недопонимаю, но пройти мимо просто не в праве-с.../ взлезет-с, что твоя амбициозная глиста по шесточку на вышку-с, да свиснувшис, высоко, с оной, сидит да поплёвывает далеко-с... Да нам-то с Вами-с, друг Вы мой! – хрен ли какой в ней-с!..

P.S. Пошла бы ты, думаю себе, глиста подкомодная, персты слюнить да дудки лепить туда где была-с...

P.P.S. Петька!.. /Ибо гляжу – без крутых мер не обойтис... Рожа у тя ща, геена крапчатая, по шестую пуговицу вытянется.../ Где ты там болван есть!.. Подсвешник вычистил?.. Тогда гвозди на стол, пиру физдец-с, милостивая сударыня-с!..

№ 104

Поспешай не торопясь, придурик-с...

Здравствуйте, дорогой!

Поверяю к Вам на этот, живой хронологии, раз, требующую отменного ухода и внимания фигуральную собачку-с.., гхе.., а попросту если рассуждая – келейными чернилами, /впрочем алхимическими.../ из сокровеннейших, впрочем невменяемых в обязанность, резонов-с, исполненных – вроде бы, и чинно и почище.., но и неутешительно куда как оглушительнее прежнего.., и более им, чем преисполненных, – неутешительно особой, в наилучшем случае – увесисто-развесистой сени, одержимости, как-то – жизни дамьей трескотни-с, да равно как и Парки мышьей беготни-с с ушками-с.., да во ярмах-с, босс, да с погремушками-с.., э-э.., во блудливой обители-с.., гху.., но а и.., Бог мой! мон шер! Чёрт возьми! – здес нужно бы всё же отдать, любезности ради, справедливость! – но а и – из всё более ниспосылаемых резонов-с! – чуть ли не в пику помещице Хавронье Желудёвой, разводящей невменяемых свиней-с.., гхе.., э-э... – срегенерированных, похерив сопромат, в который там раз.., то-то.., в эпистохартию-с! нашу с Вами-с.., неограниченно-экзегетиыческую-с!.. О чём, любезный мой, и спешу безмерно сообщить железным пе-ром-с вельми подзабытым к Вам-с! /за чернилы я уж Вам рассуждал-с.../ по не.., тьфу!.. – заместо точки-с клякса шлепнулас.., таки невменяемой бумажке-с.

P.S. Дрянь эдакая...

№ 105

Эпистоовчинка сия и выделки не стоит.., или
Язык до Киева, мать Вашу-с, доведёт-с!..

Здравствуйте, дорогой!

По первому накатившему под приобретенное по случаю преоритетное пе-ро-с – /кое восходит к аж античным авторам-с.../ – кстати мы с жёнкою об Вас давеча.., в частности – не успели, де, просохнуть, говорит, пацалуи-с.., и проистекает такого безобразия... – так-с точно-с.., гхе.., э-э.., – ну Вы мусик наш-с, по такого роду поползновения, а и арти-ист! – право же почище прежнего крепко держус – тридцать пять тысяч чертей-с с чертеняньками! миру провалиться, а мне вот что б сейчас как говорится и чайник-с ро-ому-с.., то-го-с, право же, ар-ти-и-ст!., чи-ла-век-с!!! – совершенно что можно сказать! очевидно что однозначно вписывается в термин-с – гениалогиической что ни есть сути-с.., за птица этакая пав-лин-с! по всем статьям-с от противного-с – арти-ист!.. Не ве-рю!.. Да уж обыкновенно что! – по накатившей на Вас су-ти-с... – отвёртка де в Киеве изобретена в запрошлый год-с... А и есть мнение, что линия бытийственного режиму-с, у кое-кого-с меж языком-с и головою прервалас... Племянники малые ручаюс, не упоминая уж на ночь за полуграмотную жёнку, и те знают на зубок, – что отвертку-с, равно как и граненый, впрочем, стакан-с – ровным счётом пять сотен лет тому, расхаживая и рассуждая по цехам, – сапожники под меритократийческою опёкою Грегора Мар(...) и Габриеля Меньделя из под Нюренбергу открыли... В четверьг сей кстати исполнилос если угодно между прочим-с...

P.S. Крыша на уровне плинтуса со средних расейскых равнин-с прохудившаяса а отнюдь, блин, не суть-с накатила на Вас, сир.

P.P.S. Хомо овчинка – выделка Вы с правою резьбою-с, вкупе с Вашею, опустившею кое-кого ненароком головкою об тейбл, нянькою, и более ничего-с, ровным счётом-с после этого...

P.P.P.S. Ну а и допока Вам в шляпку-с придурик-с Вы этакой...

№ 106

Булыжник за пазухою орудие пролетариума-с...
Скромное обоняние буржуазии-с...
Вначале были носы-с...
По мне уж лучше пей, да дело разумей-с...
Чуваки всё чётко...
Ленивому перу-с чёрт всё одно эпистоработу найдёт-с...

Здравствуйте, дорогой!

Еду как раз... – что Вы опять там, придурик-с, ёрничаете со своею змеёю очковою, понимаете ли.., это право же совсем уж нехорошо-с.., гхе.., на чуть затеплившейса вечорней зорьке-с, в бричке-с, птички там эдакие, звёздочки-с.., знаете ли – самого высокого нулевого класса постмиражи-с оболотурбулентныя в транс-пóдне – как говорится – бесье-с.., г-х.., месячишко-с светит ясный себе-с... и всё такое-с... – в свете полуношной облавы-с, а затем уж и возможной поимки-с.., батюшка мой-с, – а это право уж там далеко-о-с! куда как ну совершенно же не смешно-с.., на – с некоторой поры-с – ошивающуюса в «Птичьем бору-с» и трансмутирующую – ещё в какой-с! небезизвестный нам с Вами способ, неотранфóрменного пошибу-с, вроде бы паранормáльную-с, но неведомо за каким чёртом стагнирующую, а посему а и взбесившуюса шайку-с постбарабашек-с..,

но к величайшему сожалению смывшуюса в дальнейшем совершенно же очевидно что по их-с /о чём ниже-с.../ сугубой, сударь мой, вине-с из-под носу-с... – как-то: с двумя замотанными и во всю дорогу куняющими, /что называется: где церковь – не знаем, а кабак найдем-с.../ в чёрт знает ещё где умыкнутое латанное тряпьё-с, деревенскими, синюшного толку, бабами-с /будь вы не ладны, господи, каких мало.../ для маскировки, а бишь с Акимкою Афанасьевичем Эсзекуторовым генерал-губернатором, с Григорием Ивановичем Косорыбенкою капитан-с-исправником, и с прикинутым, до тех-с, тож де для маскировки-с, в лакейского фасону не по росту фрак-с с полотенцем, есаулом и совершеннейшим, абсолютно нулевого классу /пуще – между нами, сударь, даром что ни в одном глазу – Косорыбенки/ идиотом Ерофеем Верёвкиным, /перевравшим начисто ко всему вдобавок прочему почему-то ещё и главную паролю-с.../ из-за коих собственно в конечном итоге сия ситуация, съехавшая к ядрёной фене предварительно на смарку, и вышла боком на прочь под конец из-под непосредственного контроля...

P.S. Ну да впрочем.., не оченно-то.., блин-с... – ну да что ужо здес, ла-адно-то!., моожно поду-умать!., Вам уж там, босс... – и хотелос...

№ 107

Мера – валютная Алёнушка таланту-с...

Здравствуйте, дорогой!

Как чилавек-с – лапидарной-с штильной тишины-с.., а лишь за те-ем у-уж-с!.. а и выходящего бочком-с на все глаза.., но а и кряхтя вылазящего из под Эдипового, обросшего вымаранною Эзоповою подоплёкою бородою, корыта опыту-с.., багажу-с, по кошачьи мягкых, в самую малость фрондирующих, но а и в ту же опортунистиическую малость треснутых по швам-с археформ-с.., гхе.., если, с позволения, хотите – крупных-с, исправно вычищенных от маргинального эмбриона сиюмигибельной синусóебельности... – беря по чи-ну-с!.. – сведений-с..; и наконец: где – подале с очей вон – не схватитес за грязный малорасейский жарт – засунутых под перелатéнтный коврец-с с ню-Алёнушкою гарно выполненною, неведомым эклектиáном-с, в штиле ампир-с, разноколерóвым-с овсом-с.., и с Иванушкою, в штиле модерн-с, унтер-Шоуменом-с.., где – не без диссертной толики отменнейшего смаку, с долженствующим, в упомянутую меру, цинизмом размазанной по серой стороне медали-с по самую архаическую ея окаёмочку-с.., а где и под Левиафанов свист, визг, писк, бум, гром-с.., а где и пук-с и треск по барабану – публично свиснутой закваски глаголов мирных-с... – посредь сего весьма печального очарования гутаперчивых понятий-с.., а и, опять же-с, лапидарной штильной тишины-с – я и эллипсиирую, павлиньим пером-с, к Вам на сим-с...

P.S. Силь ву пле-с...

№ 108

Я чилавек-с исторический...

Здравствуйте, дорогой!

Не откажу себе в удовольствии, как чилавек-с... – право же во избежание трений.., не знаю что и подумать.., но утвердившис размышлением... – разве что, в известном – Бог милостив – смысле, исторический... – ну а ежели кто и возропщет, смешавшис, то

только и того, что выведет, таким образом, подноготную наружу, в собственном, уж каком есть, выражаяс фигурально, Ваша взяла, виде и значении... – впрочем каждому о наших намерениях, во что заблагорассудится, отдаётся острая догадка... – и прибавлю здес ко рассмотрению, только и того, что ни коим образом, во избежание кривотолков, сие нас не трясёт... – ибо что нужды!..

P.S. Так что занапрасно обижаетес...

P.P.S. Перелистайте, буде найдётся у Вас: «Исторический путь – как панеля Невского прошпекту» д-р истории Афония Зубоскулова... Как знать, как знать... Оченно было бы любезно...

P.P.P.S. Беда, право, с Вами..

№ 109

Я чилавек-с гомерический...

Здравствуйте, дорогой!

Не откажу себе в любезности, как чилавек-с, Вашими хлюпкими, в известном, молитвами, смысле, гомерический, потираю пером-с к Вам-с по исключительно лимитивизиированной, поиздержавшис, сократности бумажке-с, за что, Вы, быть может вчуже, как знать, как знать, и пожурите меня... Но войдите, очень было бы любезно, и в мой-с! беда право с Вами, за сомнительною барабарабанкою стены-с, в лёгком пеньюаре для ночного поведения, /где сатана не сможет, туда даму пошлёт-с.../ э-э.., фанабериически индертеминиирующую, если не понуро фигурирующую вдоль, а где и пред безупречно порожнею, если не, так что занапрасно обижаетес, безвозвратно демилитаризованною писулиозоною, с жёнкою расчёт-с!

P.S. В добром ли здравии хозяюшка Ваша-с?.. – на нозе сафьян-с рыпиц-с, а в борщу чертеняка с рогами кыпыц?.. – слыхал, слыхал, Ваша милость, что из синяков не выходит-с...

P.P.S. Переслюните, буде найдётся, под сазанью говядинку, у Вас: «Старик Корыто и море» гомероведа Афония Зубостукова, с пронафталиненным, силою обстоятельств, подзаголовком: «Мы играли Вам на эпистосвирели-с, а ВЫ, господа, не плясали-с...»

№ 110

Зайки-с... хе-хе.., или
У меня перо дли-инное-с...

Здравствуйте, дорогой!

Не откажу себе и на сей археологиический, если не археэпиическый, чуть ли не фараонового котловану разец-с – каков-с с Божьей помощью оборотец! – в инфракрасноскопе-с во опознание, если не во эксгумацию-с, на ущербе луны-с, тененаплетеневых изнанций-с, как чилавек-с нарочитых, если не подчёркнутых, красненько, деликатностев.., э-э.., а то ведь, милостивый государь, вишь как получается! – снискав неблаговидного произволения предлог-с, мозоля очи визуальным рядом помимо прочего, заплывают давеча, что-то около полуночи, до кабинету.., хэ-хэ.., мило, думаю – вся тяжкая Гог и Магог-с.., подхихикивая статс-секретарша Филея Экзерцицевна Энтропецкая, в одном-с, поигрывая на понижение, дискурсе, кашеварихи этакие.., и в бухты-барахты

бух! в един глас: «Иные хочут, – де, – свою образованщину-с показать-с...», и в том же, явного нервопошибу-с, сударь, серого спектру, духе-с... Я, признать, чуть не рухнул... Не заблудитес в трёх догадках.., а как же-с! с маловменяемою Бурею Устакановною фон Зомбецкою-с!.. Гху... А причём здес, какая же к собачкиным чертям-с, скажите на милость /сканапель-с, право же, истоар-с.../ образованность.., коли мы-с ни в жисть коледжов не кончали-с...Еле оттёр, с племянниками малыми, от кабинету... Ах, думаю.., вы, по куцему прикинуть, сир, хотя бы счёту, бесчинствующие органо́перлы зияния чёртовы.., на эпистоходу-с, понимаешь, бо сраму, сударь, не имут, подмётки режите-с... А на вид, дамы-с, хоть как ни как куда-с, по всему, эдак-с.., культурных-с, во всех отношениях приятных обхождениев и обходительных строгостев... Ах вы разэдакыя!.. Распалас, таки, вязь, исчерпав, по видимому, лимит времён-с...

P.S. Так скажите, на милость, из губернии-то нашей-с могёт ли быть чего доброго?..

P.P.S. Ну так что-с, кстати, мон шер, трах-с-с!., споймали двумерную зайку Вашу-с, али, блин-с, ещё-с, босс, так-с, бегает-с!..

P.P.P.S. За оганиченностию средств-с, буде найдётся, вышлите мне голубчик, эсхиловеда Мирона Колибановича Клыкостыкова: «На пороге, пригорюнившис, сидит зелёная мамзеля, а пред нею цинковое корыто-с..»

АБХАЗСКИЙ АКЦЕНТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Алексей НИКИТИН

ПАМЯТИ ЭТЕРИ БАСАРИИ (1949–2013)

Судьба, как правило, не предлагает нам ни легких путей, ни простых решений. Лёгкость обманчива, она заводит в тупик и бросает в одиночестве, отнимая надежду быстро сориентироваться и найти выход. Сопряженная с ней простота в ключевой момент оказывается частью сложного узла, распутывать который нет ни времени, ни сил.

Человек, чья повседневная жизнь не подчинена детальной, безжалостной рефлексии, может не думать об этом и тихо скользить по самому спокойному пути, от одной календарной даты к другой, либо, напротив, стремительно нестись, подгоняя время. Его поведение определяют привычки и темперамент. Но писатель, каждую минуту анализирующий слова и поступки, последовательности событий и их неочевидные взаимные связи, лишён такой счастливой возможности. Лучше других он знает, что колонны людей, марширующие по прямым, построенным на века автобанам, вовсе не обязательно шагают в верном направлении. То же и в литературе. «*Не существует прямых линий ни среди вещей, ни в языке,* – считал Делёз. – *Синтаксис – это ряд неизбежных окольных путей, которые создаются каждый раз для того, чтобы обнаружить жизнь в вещах*».

Поиск жизни – это и есть работа писателя. Каждый ищет её в том мире, родство с которым ощущает: в мире идей, в мире вещей... Этери Басария искала жизнь в мире людей. Но интересовал её не способ существования белковых тел, а те новые смыслы, порой очевидные, но чаще скрытые от случайного наблюдателя, которые возникают при столкновении мировоззрений. Внимательный взгляд писателя находил удивительное в повседневном, а талант тонкого психолога позволял в простых историях раскрывать космически недостижимые высоты духа. Изображая человека в драматической полноте его страстей, Этери Басария не упускала главное, уверенно находила в своих героях вертикаль, понимая, как и Вячеслав Иванов, что *Бог на вертикали человека*. Оттого так глубоко и сильно врезается в память образ продавца газет, старика Инала из рассказа «На перекрёстке», Алмысхана из рассказа «Тихий двор», Реджеба из повести «Реджеб и его родичи», десятков других персонажей, разных, не похожих друг на друга, созданных ярким талантом Этери.

Есть ещё одна черта, объединяющая большую часть произведений и героев Этери Басарии: она рассказывала об Абхазии и об абхазах. Не только главный роман Этери «Взгляд поверх ворот, выходящих на луг», но и её повести, даже небольшие рассказы, становились неотъемлемыми, не поддающимися замене, фрагментами на многоцветном, ярком полотне, изображавшем Абхазию XX века и её народ как в спокойные времена процветания, так и в трагические годы социальных потрясений и войн за независимость страны. Даже в тех произведениях, действие которых происходит за пределами родины Этери – в Москве, или в Киеве – тема Абхазии звучит не смолкая, настойчиво и постоянно.

Цикл небольших повестей, объединённых автором под названием «Время московское», показывает безоглядную столичную жизнь рубежа 60–70-х годов прошлого века, увиденную студенткой первого курса университета, вчерашней школьницей из далёкой солнечной провинции. Её взгляд внимателен, не замутнён московским снобизмом, не искажён аберрациями, неизбежными в монокультурной среде и потому так удивительно и необычно, так точно передан мир обитателей советской столицы в повестях Этери.

По сути, о том же, о барьерах, разделяющих людей разных культур, разного опыта, но совсем на другом, тяжелом, поствоенном материале, написан пронзительный рассказ «Входя в голодную молву...». Возможно, именно готовность тонко и тактично раскрыть культурные, даже цивилизационные отличия, разделяющие абхазов и славян, придавала прозе Этери Басарии объем и ясное, открытое звучание. Мастерски вплетённые в русский текст абхазские идиомы добавляли её произведениям яркости, а читателю позволяли на мгновения раздвигать рамки родного языка, чувствуя пряный вкус незнакомой речи.

В последние годы Украина и Абхазия оказались разделены территориально и политически, стремительно росли культурные различия между странами, векторы их развития были направлены в разные стороны. Этери воспринимала происходящее тяжело и болезненно, но её проза по-прежнему связывала те народы, к которым она принадлежала по культуре и по крови.

Этери Басария писала по-русски, и её произведения – часть русской литературы, но уже сейчас очевидно, что её имя, вместе с именами Фазиля Искандера и Даура Зантарии, принадлежит первом ряду писателей Абхазии.

«И МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК НА ФОТО ОДИН ИЗБЕЖАЛ ПУСТОТЫ...»

Наталья БЕЛЬЧЕНКО

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИНА (1939-2016)

20 января не стало Владимира Георгиевича Ильина (1939–2016). Чуткий человек и лирический мыслитель, он, казалось, сохранил восприимчивость и способность удивляться, присущую тому мальчику, который когда-то попал из Киева в эвакуацию, а затем оказался в квартире старого дома на улице Артема, 10, в комнате, перед окнами которой позднее вырос Дом торговли.

Он очень остро чувствовал Киев, интересовался историей Копырева конца – местности на пересечении улиц Кудрявской, Петровской, Вознесенского спуска, Кияновского и Несторовского переулков, известной с 1121 года; часто вспоминал послевоенный город.

Прогулка по городу –
Большой Житомирской и Вознесенскому,
Пейзажной аллее и Сретенской,
Кудрявской и Обсерваторной,
да где только хочешь! –
похожа на праздник:
знакомые деревья и холмы,
солнцеподобные без солнца,
мне говорят, что всё уже свершилось:
– Здесь осень с нами, понимаешь?!
И спрашивают: – Ну, а ты?..

ноябрь 2008

Доктор химических наук, профессор, заведующий отделом в Институте физической химии НАН Украины, Владимир Ильин занимался и веществами, соединениями совершенно иного плана. Долгое время вел театральную студию. Мне случилось побывать на нескольких чтениях этой студии. Репетировали «Калигулу» Альбера Камю.

Владимир Георгиевич создавал книги не только собственных стихов. Он инициировал издание двух сборников Ukr.Ru.etc – с произведениями современных поэтов, преимущественно киевских. По этим сборникам первого десятилетия нового века можно проследить интересное развитие некоторых авторов – там, в частности, есть библейские стихи Григория Фальковича, стихи

Ирины Цилык, написанные по-русски и уже по-украински, в которых угадывается теперешняя сила.

В 2009 году он замыслил издать книгу переводов стихов Игоря Рымарука на русский язык. Сделали для нее переводы Владимир Ильин и автор этих строк (занималась преимущественно рифмованными стихотворениями). Книга «Доброе время твое...» вышла в 2010-м в Дрогобыче, в библиотеке интернет-газеты «Майдан» – под редакцией Ларисы Андриевской-Рымарук, с иллюстрациями екатеринбуржца Сергея Слепухина и предисловием Ивана Жданова (это была аудиозапись размышлений Ивана Жданова о поэзии Рымарука, переводах и фундаментальных вещах культуры, сделанная Юрием Косиным и Ларисой Юхименко в Ирпене).

В 2011 году в киевском университетском издательстве «Пульсары» увидел свет трехъязычный «Римский триптих» папы Иоанна Павла II с предисловием Ивана Дзюбы. Польский текст соседствовал с русским – в переводе Асара Эппеля. Украинский подготовили Владимир Ильин и Элеонора Андреева.

Легко вдохновляющийся, в результате поездки в Коктебель он написал поэму «Homo Karadagus», иллюстрированную позднее черниговчанкой Еленой Грицюк.

Загальні міркування щодо часу

Чи може вітер прискорити час?
Так, безперечно, гадаю,
якщо вистачить впертості вітру!

Хто, навпаки, час може зупинити?
Вважаю, гори, Карадаг, наприклад,
якщо думки свої йому відкриють...

фрагмент поеми 13.08 – 6.09.2008; 31.01.2009
Київ – Коктебель – Київ

В 2014 году за эту поэму, сборники лирики «Окремини душі» и «Епідемія самотності», а также за упомянутые переводы поэзии папы Иоанна Павла II и Игоря Рымарука он получил Международную литературную премию им. Н. Гоголя («Триумф»).

Связанный своим рождением с Черниговом, Владимир Ильин сдружился с черниговским подвижником, своим ровесником Святославом Евдокимовичем Хрыкиным, много сделавшим для популяризации творчества незаслуженно забытого поэта Серебряного века Игоря Юркова и современных черниговских поэтов. Результатом переписки, длившейся до самой смерти Хрыкина в марте 2013 года, стала книга «Находка ЭСХА» (К.: Радуга, 2015), чей жанр был определен как «маленькая повесть в письмах В. И. и С. Х., а также в стихотворениях Игоря Юркова, Умберто Саба, Миколы Воробьева и авторов».

Поэзия и личность Миколы Воробьева увлекала Владимира Ильина в последние годы. Он был открыт ко всем и ко всему, деятельно вдохновлялся людьми, дарил их друг другу, не дозировал свои силы, был по-детски цепок, не знал усталости. Еще в 2010-м учил меня ходить на лыжах...

Давний поклонник творчества Ивана Жданова, Владимир Ильин подключил знакомых поэтов к переводу его стихов на украинский, вынашивая идею новой книги. Не успел... Знаю также, что он собирался выступить с переводом «Римского триптиха» в Ров-

но... Его электронный адрес прочитывался как «я поруч». И уход, такой внезапный, необъяснимым образом не кажется окончательным.

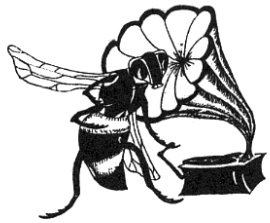
КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спит еще вся малышовая группа,
спят еще белочки, зайчики спят,
светит луна – полусонно и скупо
в домики спящих детей и зверят.

Свет осторожен и призрачно тонок
в ночь отраженных, холодных лучей.
Спит беспокойно подранок Лисенок
в норке – под боком у мамы своей...

Сказку читали, да не дочитали,
книга сама дочитает теперь...
Сны растворятся, и в чистые дали
снова, быть может, откроется дверь...

сентябрь 2009



Семен Абрамович – поет, доктор філологічних наук, професор, визначний фахівець у галузі філології, богослов'я, культурознавства, українознавства, риторики, автор біля 370 наукових праць, керівник наукової школи «Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації». Займається він також живописом і графікою. Автор низки мемуарно-сатиричних оповідань, вміщених у збірках «Consecutio temporum» («Узгодження часів») та «Fecit» («Зробив»).

Татьяна Аинова родилась и живёт в Киеве. По образованию математик. Автор пяти книг стихов. Стихи и проза публиковались в журналах, альманахах, антологиях и коллективных сборниках Украины, России, США, Германии.

Лариса Андрієвська – українська перекладачка, журналістка, редактор. Народилася 1968 року у Львові. Закінчила Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова за спеціальністю «Журналістика» (1990) та Російський відкритий університет (1995, Санкт-Петербург). Магістр історії. Працювала у видавництві ЛА «Піраміда», видавничій групі «Сучасність». Переклала з польської твори Станіслава Лема, Марії Конопницької, Мечислава Опалека та інших авторів. З російської – Олжаса Сулейменова та Немата Келімбетова (спільно з Ігорем Римаруком).

Тина Арсеньева – член Национального союза журналистов и Национального союза кинематографистов Украины; родилась, выросла, жила в г. Горловке Донецкой области, с 1996 года живет в Одессе; по образованию – художник театра (окончила художественное училище в г. Ставрополе); заведующая отделом культуры газеты «Вечерняя Одесса», арт-критик. Автор трех поэтических сборников: «Путь и дом», «Луна в колодце», «Под открытым небом». Стихи публиковались в московских журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Юность», альманахе «Меценат и Мир»; в киевском журнале «Радуга»; в одесских альманахах «Дерибасовская – Ришельевская», «Южное сияние».

Евгения Баранова – поэт, прозаик, журналист. Родилась 26 марта 1987 году. Родной город – Ялта. Произведения публиковали «Юность», «Контрабанда», «Ликбез», «Журнал ПОэтов», «Литературная газета», «Зарубежные задворки», «Сетевая Словесность», «Литerrатура», «Новая реальность», «Дети Ра», «Южное сияние», «45-параллель» и другие периодические издания. Лауреат и финалист ряда премий, фестивалей, конкурсов международного и локального значения («Илья-Премия», «Серебряный Стрелец», «Пятая Стихия» и так далее). Автор двух книг и одного аудиоальбома. Член ЮРСП.

Андрей Беличенко – поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1956 году в Киеве. Окончил физический факультет Киевского университета. Кандидат философских наук (диссертация по философии Жака Деррида), работает в институте философии АН Украины. Издатель журналов «Самватас» (1991 – 2000) и «Мумукша» (2003). Стихи публиковались в журналах «Ренессанс», «Collegium», «Reflection... Куадусешщт» и др.

Ігор Бєлов народився 1975 року в Ленінґраді. Поет, автор книжок «Увесь цей джаз» і «Музика не для товстих». Перекладач з білоруської, російської та української. Лауреат усеросійської літературної премії «Эврика!» (2006), міжнародного літературного Волошинського конкурсу (2011), та поетичного конкурсу ім. М. Гумільова «Заблудившийся трамвай» (2013). Член Спілки російських письменників і Російського Пен-центру. Вірші перекладено англійською, білоруською, латвійською, німецькою, польською, українською, шведською та естонською мовами.

Наталя Бельченко – поетка, перекладачка. Народилася 1973 року в Києві. Працювала в Інституті мовознавства НАН України. Закінчила філологічний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка. Авторка семи збірок віршів. Її поезії перекладалися німецькою, французькою, англійською, болгарською, корейською, голландською,

польською мовами та друкувалися у виданнях відповідних країн. Лауреатка літературної премії Губерта Бурди (Німеччина, 2000), літературної премії ім. Миколи Ушакова (2006), премії ім. Леоніда Вишеславського «Планета Поета» (2013), перекладацької премії «Метафора» (2014). Брала участь у численних фестивалях, зокрема у фестивалі «Час поетів» (Люблін, 2014), здійснила проект «Поетична мапа Києва» у Кракові. Стала одним з переможців (3 місце, українська мова) Міжнародного конкурсу на найкращий переклад поезії Віслави Шимборської російською, білоруською та українською мовами (Вроцлав, 2015). Живе в Києві.

Валерія Богуславська – українська перекладачка і поетеса, член Національної Спілки письменників України (Київ). Народилася в Харкові 1939 року. Закінчила Одеський технологічний інститут (1962). Працювала в проектних організаціях Києва та Харкова. В 1966 році випустила збірку віршів російською мовою. Починаючи з 1998 року опубліковані шість книг її віршів українською мовою. Перекладає поезію на українську мову з російської, англійської та ідиш. В її перекладі вийшли книги вибраних віршів Переца Маркіша (2000 і 2002), Марини Цвєтаєвої (2002), Джорджа Гордона Байрона (2004 і 2006), Овсія Дриза (2006 і 2010), Наталі Горбаневської (2007), Мані Лейба (2007), Арсенія Тарковського (2008), Володимира Нарбута (2011). Опублікувала в українському перекладі збірку лекцій композитора Валентина Сильвестрова. У 2007 році спільно з Велвлом Черніним склала «Антологію єврейської поезії», що вийшла під патронатом Інституту юдаїки Києво-Могилянської академії.

Леонид Борозенцев родился в 1971 году в Виннице. Выпускник ВГПИ им. Коцюбинского по специальности «филология». Идеолог поэтической группы «Лирики Transcendent'а», один из основателей всеукраинского литературного движения «Поэтический Ринг», соучредитель литпортала litfest.ru, куратор литературных площадок на всеукраинских и международных поэтических фестивалях, слэм-мастер. Публикуется в России, Украине, Германии, США. Лауреат Подольской литературной премии «Хрустальная вишня» (Винница, 2008), литературной премии имени Владимира Сосюры (Луганск, 2013), литературной премии имени Юрия Каплана (Киев, 2013). Автор книг «Холодный рубеж» (2000), «Листополь» (2005 г.), один из шести участников и редактор поэтических сборников группы «Лирики Transcendent'а»: «Ключи» (2005), «Книга Лирики» (2013).

Григорий Брайнин родился в 1954 году в Донецке. Окончил ДПИ. Кандидат технических наук. Специальности – металлург, физик твердого тела. Автор поэтического сборника «Перевоз». Печатался в журналах «Многоточие», «Дикое поле», «Соты», «Крещатик», в альманахе «Четыре сантиметра луны».

Дмитрий Бураго – поэт, лауреат литературной премии им. Леонида Вышеславского «Планета поэта», премии им. Николая Ушакова, Международной премии Арсения и Андрея Тарковских. Автор семи поэтических книг и многочисленных публикаций в журнальном мире. Кандидат филологических наук, член НСПУ, издатель. Живет и работает в Киеве.

Владимир Верлока – поэт, прозаик, переводчик. Живет и работает в Киеве.

Валерий Вофси (08.10.13 – 14.08.49) – художник, писатель, музыкант. Жил и работал в Киеве.

Сергей Главацкий родился в Одессе в 1983 году. С 2002-го г. – председатель Южнорусского Союза Писателей, с 2006-го г. – председатель Одесской областной организации Конгресса литераторов Украины, с 2009 по 2012 гг. – член руководства Конгресса литераторов Украины. Выпускающий редактор литературного журнала «Южное сияние», главный редактор литературного интернет-проекта «Авророполис», председатель оргкомитета международного арт-фестиваля «Провинция у моря», член жюри ряда

литературных конкурсов и фестивалей. Автор более 600 публикаций в изданиях Украины, России и дальнего зарубежья, в т.ч. в журналах «Дети Ра», «День и ночь», «Октябрь» и др. Автор книг «Неоновые пожары» и «Апокалипсис Улыбки Джоконды». Живет в Одессе.

Марек Гласко народився 1934 року у Варшаві. Польський прозаїк. Працював водієм вантажівки, дописував до періодичних видань. Дебютна збірка оповідань «Перший крок у хмарах» (1954) зазнала небувалого успіху, мала два перевидання і три екранізації. 1958 року Гласко виїхав на літературну стипендію до Парижа й зостався на Заході. Жив у Франції, Італії, Західній Німеччині, Швайцарії, Ізраїлі, США. Публікувався в паризькій «Культурі» Єжи Ґедройца. Працював чорноробом, тележурналістом, інструктором з пілотажу. Помер 1969 року у вісбаденському готелі (Німеччина) від передозування снодійного. 1975 року перепохований у Варшаві. У Польщі його твори почали видавати з 1983 року.

Анна Грувер – студентка Литературного института им. Горького. Член Союза Писателей Москвы. С 2011 года – участник литературного движения «Лирики +», VIII-XII Международных совещаний молодых литераторов в ЛИ им. Горького, X Международного научно-творческого симпозиума «Волошинский сентябрь» (Коктебель 2011), XII Ежегодного совещания молодых писателей Союза Писателей Москвы, стипендиат донецкого городского главы среди одаренной молодежи в области культуры и искусства (2013), соучредитель Международного Сетевого Сообщества «Сетеариум».

Лауреат всеукраинского фестиваля «Великий шелковый Ан Т-Р-Акт» (Херсон, 2012), всеукраинского фестиваля «Подкова Пегаса» (Винница, 2011); вице-королева поэтов (II место) всеукраинского конкурса «Пушкинская осень в Одессе» (Одесса, 2011); дважды победитель всеукраинского конкурса «Малахитовый носорог» (Винница, 2011, 2012), международного поэтического конкурса «Первый автограф» (СПб, 2011), литературного конкурса «Cambala-2012» в номинации «Поэзия» (Донецк), конкурса молодежной поэзии им. Леонида Киселева (Киев, 2012), литературного конкурса «Творча юнь Донбасу» (2008, 2010), фестиваля «Сила ветра» (Донецк, 2011).

Андрей Грязов родился в 1961 году в городе Мары Туркменской ССР в семье военнослужащего. Окончил Киевский медицинский институт в 1984 году. Живет в Киеве. Работает в институте нейрохирургии, в отделе радиохирургии и нейровизуализационных исследований, заведующий отделением радионейрохирургии. Кандидат медицинских наук. Старший научный сотрудник. Член НСПУ. Главный редактор альманаха «Каштановый Дом», организатор фестиваля «Каштановый Дом». Лауреат многих премий, в том числе Премии им. Юрия Долгорукого (за книгу стихов «Джаз», 2005), премии Национального союза писателей Украины имени Н. Ушакова (за книгу «Точка слуха», 2009), премии им. Л. Н. Вышеславского (2015) и других. Публикации – в периодических изданиях Украины, России, США, Германии, Израиля. Стихи переведены на украинский, английский, французский и немецкий языки.

Владимир Гутковский – поэт, прозаик, критик. Живет и работает в Киеве. Родился в 1945 году. По образованию математик, окончил КГУ им. Т.Г. Шевченко. Публиковался в журналах «Радуга» (Киев), «Соты» (Киев), «Самватас» (Киев), «Живой журнал» (Киев), «Сетевая поэзия» (Москва), «Крещатик» (Германия), «Южное сияние» (Одесса), «Аталанта» (США), «Черновик» (США), «Полутона» (США), «45-я параллель» и других изданиях и интернет-ресурсах. Стихи включены в антологию «Киев. Русская поэзия XX века», входили в состав многочисленных альманахов и коллективных поэтических сборников. Автор книг «В то же время» (1993), «Не сезон» (1998), «Перебор» (2000), «Сюрлиризм» (2005),

«Фонограф» (2008), «Свод» (2011), «О других и о себе» (2013), «Записки этого человека» (2015), «Жизнь рассчитана с запасом» (2015).

Лауреат премии им. Николая Ушакова Национального союза писателей Украины (НСПУ) (2011), лауреат 3-го Международного литературного фестиваля им. М.А. Волошина (2005). Член жюри ряда литературных конкурсов, в том числе 4-го Международного литературного Волошинского конкурса (Коктебель), «Пушкинское кольцо» (Черкассы), «Ватерлиния» (Николаев), «Пятая стихия» (Москва), «Одна маленькая свеча» (Киев), «Редкая птица» (Днепропетровск), «Провинция у моря» (Одесса). Литературный обозреватель поэтических конкурсов «Пятая стихия» (Москва), «Чемпионат Балтии» (интернет-портал Stihi.lv), «Кубок мира» (интернет-портал Stihi.lv). Член Национального союза писателей Украины, почетный (иностранный) член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Многонационального Союза писателей. Ответственный секретарь жюри премии им. Н. Ушакова (НСПУ), член редколлегии интернет-ресурса «Поэзия и авторская песня Украины».

Руководитель поэтической студии «Третьи ворота» (с 2009).

Аркадий Драгомощенко (3 февраля 1946 – 12 сентября 2012). Учился на филфаке Винницкого педагогического института и на театроведческом факультете Ленинградского института театра, музыки и кино. С конца 70-х публиковал стихи, критику, прозу в самиздатском журнале «Часы», входил в редколлегию журнала. Один из организаторов (1986) творческой лаборатории «Поэтическая функция», научных конференций «Новые языки в искусстве» (1987, 1989) и 1-й Международной летней школы «Язык – сознание – общество» (1989). Печатался в русских и зарубежных журналах, сборниках, антологиях. Изданы книги стихов и прозы на английском, испанском, китайском. Работал обозревателем в жернале «Петербург на Невском». Первый лауреат Премии Андрея Белого в области прозы (1978), Международной литературной премии «The Franctireur Silver Bullet» (2009), премии электронного журнала Post Modern Culture (1995). Вёл семинар «Иные логики письма» в Санкт-Петербургском государственном университете (2006 – 2012). Книги: «Небо соответствий» (1990); «Фосфор» (1994); «Китайское солнце» (1997); «Описание» (2000); «На берегах исключённой реки» (2005); «Тавтология» (2011); «Устранение неизвестного» (2013).

Олег Духовный живет в Николаеве (Украина), работает социологом, автор двух поэтических сборников: «Осенний синдром» (2008) и «Императив» (2010), а также онлайн книги стихов «Обратная сторона луны» (2012). Лауреат поэтических конкурсов «Пушкинская осень в Одессе» (2010) и «Ватерлиния» (2011). Публикуется на сайте «Поэзия.ру» и Фэйсбуке, послушать стихи можно на сайте «Стихофон.ру».

Карен Джангиров – маэстро русского верлибра. С 1978 года занимается разработкой и систематизацией русского свободного стиха. Суммарный тираж опубликованных текстов превышает 20 млн. экз. Автор 26-ти книг верлибров, контрромана «16 тонн» и 3-х книг новелл. Составитель и автор первого в СССР группового сборника верлибров «Белый квадрат» (1988), ставшего началом реформации современной русской поэзии. Составитель всех изданных в мире антологий русского верлибра. Президент «Ассоциации русского верлибра». Основатель «Храма Осеннего Волка». Основатель нового вида искусства – ТРЕУМа, объединившего текст, изображение, звук. Автор готовящейся к изданию книги «ДИУС» (Дистанционное управление сознанием). Лидер группы «МЫ», занимающейся разработкой литературы, искусства, психоанализа и вербальной магии. С 1995 года живет в Канаде.

Ирина Евса родилась в Харькове. Школу окончила в Белоруссии. Образование высшее: в 1987 году окончила в Москве Литературный институт им. А. М. Горького. С 1979 года – член Национального союза писателей Украины. Член международного Пен-клуба. Поэт, переводчик, составитель множества книг и антологий. Автор одиннадцати поэтических книг. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Звезда», «Знамя», «Радуга», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Человек на земле», в альманахах «Стрелец», «Союз Писателей», «Новый Берег», в различных сборниках и антологиях. Лауреат премии Международного фонда памяти Б. Чичибабина, премии «Народное признание», конкурса «Литературный герой», премии журнала «Звезда», премии СПУ им. Н. Ушакова. За книгу стихотворений «Трофейный пейзаж» награждена Международной литературной премией имени Великого князя Юрия Долгорукого. Живет в Харькове.

Алексей Зарахович – поэт, художник. Родился в 1968 году в Киеве. Автор книг: «Машины и озера», «Табукатура», «Река весеннего завета», «Чехонь». Стихотворения публиковались в Украине, России, Белоруссии, Азербайджане, Германии, Сербии. Лауреат премии Планета Поэта им. Л.Н. Вышеславского, медаль «Н.В. Гоголь» (за гуманизм в творчестве). Работал учителем, тележурналистом, сценаристом. В данный момент ведущий авторских программ на радио «Вести».

Юрий Зморович родился в Киеве. Окончил Киевский государственный художественный институт (архитектурный и искусствоведческий факультеты) и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Работал в Институте физики Академии наук Украины, Музее народной архитектуры и быта Украины, сценаристом и режиссером на студиях «Киевнаучфильм», «Центрнаучфильм», «Экран» ЦТ, РЭН ТВ, Киностудия им. Довженко. Художник, скульптор, поэт и музыкант. Создатель киевского театра «ААА». Стихи Ю. Зморовича публиковались в журналах «Черновик» (Нью-Йорк), «Коллегиум» и «Самватас» (Киев), в Антологии Русского Верлибра, альманахе «Граффити» (Киев). «Металлическая иероглифика» – так называет сам автор свои «спонтанно создаваемые композиции из старого железа и прочих некондиционных материалов» – выставлялась в Киеве, Нью-Йорке, Хельсинки и Москве (АГАСФЕР, АРБАТР, Посольство США).

Ирина Иванченко – поэт, журналист, родилась в 1974 году в Киеве. Главный редактор нескольких «толстых» журналов, посвященных вопросам права. Стихи публиковались в журналах, альманахах, антологиях Украины, России, Германии, Бельгии. В апреле 2014 года вышла из печати пятая книга стихотворений поэта «Прощёное воскресенье». Член Национального союза писателей Украины. Лауреат Всеукраинской литературной премии имени Николая Ушакова (за книгу «Бес сомнений», 2010), дипломант Международной литературной премии имени Великого князя Юрия Долгорукого (2011), Международной премии имени Андрея и Арсения Тарковских (за книгу «Соблазны Город постирать», 2012). Победитель Всемирного поэтического конкурса «Эмигрантская лира – 2013» в номинации «Неоставленная страна» (Бельгия, Франция, 2013).

Владислава Ильинская родилась в 1984 году, в городе Одессе. Училась на филологическом факультете ОНУ им. И.И. Мечникова. Стихи писать начала с шести лет. Тогда же публиковалась в газете «Вечерняя Одесса». На сегодняшний день имеется множество публикаций, как в одесских, так и в международных литературных изданиях, среди журналов это – «Меценат и мир» (Москва), «День и ночь» (Красноярск), «Южное Сияние» (Одесса), «Октябрь» (Москва), «Новая реальность» (Челябинск), «Литера_Dnepr» (Днепропетровск), «Ренессанс» (Киев) и т.д., в коллективных сборниках – «Провинция у моря – 2013» (Ильичевск), «Пять» (Одесса). Стихотворения публиковались также на различных сетевых ресурсах –

«Гостиная» (Филадельфия), «Великороссъ» (Москва), «Ликбез» (Барнаул), «Авророполис» (Одесса), «Что есть истина?» (Лондон) и др. Организатор литературных вечеров и прочих культурных мероприятий. Автор поэтической книги «Игры разума» (2014).

Ольга Ильницкая (род. 31 июля 1951, Одесса) – русский писатель, поэт, журналист. PEN International, Союз писателей Москвы, Южнорусский Союз писателей, Национальный Союз журналистов Украины. Первая публикация в 1991 году. в альманахе «Вольный город» (Одесса: Маяк). Спустя 22 года вышла книга «Глаголы настоящего времени» (с тем же составом авторов и составителем, поэтом Юрием Михайликом), Киев, 2013. В 1995 году изданы книги прозы «Откуда мы уходим» и стихов «Сквозное жильё» под общей обложкой, с объединяющим названием «Жизнь тому вперёд». Печатала стихи и прозу в журналах «Знамя», «Арион», «Октябрь», «Крещатик», «Юность» и других. Первая её книга была издана в 1995 году.

Константин Ильницкий – журналист, путешественник, директор издательства, автор двух книг стихов – «Географии разрез» (2011) и «Смотритель времён» (2015).

Олесь Ільченко – поет, письменник, сценарист. Народився в Києві 1957 року. Автор тридцяти двох художніх і науково-популярних книжок для дорослих і дітей. З 2011 року живе й працює в Женеві. Вірші і проза перекладені на англійську (США), литовську, німецьку, сербську і російську мови. Олесь Ільченко – член трьох творчих спілок. Як один з творців телепрограми «Найрозумніший» – лауреат премій «ТЕФІ» та «Телетріумф» 2006 року.

Александр Кабанов (р. 1968 году в городе Херсоне) – украинский поэт, живущий и работающий в Киеве, пишущий на русском языке. Автор 10-ти книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент», «Дружба народов», «Арион», «Новая газета», «Литературная газета» и др. Лауреат «Русской премии», премии «Antologia» – за высшие достижения в современной поэзии, премии журнала «Новый мир», Международной Волошинской премии и др. Стихи Александра Кабанова переведены на украинский, английский, немецкий, нидерландский, финский, грузинский, сербский и др. языки. Александр Кабанов – главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры», один из основателей украинского слэма.

Владимир Каденко – поэт, автор песен, бард, филолог, писатель, переводчик. Член редколлегии журнала «Радуга», член жюри различных песенных конкурсов. Участник туристических походов по Восточным Саянам, Дальнему Востоку, Уралу, Памиру, Кавказу. Живет и работает в Киеве.

Ирина Карпинос родилась и живет в Киеве. Окончила Литературный институт в Москве. Поэт, прозаик, автор-исполнитель песен. Член Союза театральных деятелей и Межрегионального союза писателей Украины. Лауреат международных литературных премий. Автор трёх книг прозы и четырёх поэтических сборников, а также альбомов песен.

Ирина Карпинос печатается в журналах и альманахах с публицистическими и культурологическими эссе, выступает с музыкально-поэтическими концертами.

Игорь Касьяненко – украинский поэт, бард, исполнитель собственных песен, журналист. Лауреат фестивалей авторской песни. Инициатор и организатор многих резонансных культурных и социальных проектов. Родился и живёт в городе Сумы.

Маріанна Кіяновська (1973). Поет, прозаїк, перекладач, критик, дослідник літератури. Народилася на Львівщині. За освітою філолог (україністика), закінчила Львівський національный університет ім. Івана Франка. Автор десяти поетичних збірок, останню з яких, «373», визнано Книгою року в номінації «Поезія», вірші та проза перекладені польською, сербською, словенською, російською, білоруською, литовською, англійською,

німецькою та іншими мовами. Нагороджена Почесним знаком «За заслуги перед польською культурою». Живе у Львові.

Олаф Клеменсен – прозаїк, поет, художник, мистецтвознавець. Народився і мешкає у Києві. Закінчив НАОМА та аспірантуру ІМФЕ ім. Рильського. Автор прозової книги «ЛІТО-АТО». Друкувався у антологіях та журналах («Курє'р Кривбасу», «Однокласник»). Твори перекладені польською мовою.

Людмила Коструб родилась в городе Загорске Московской области. Окончила Тульский государственный педагогический университет по специальности химик-биолог. Живет в Туле. Основатель и руководитель Всероссийского клуба «Гравитация», занимающегося теорией и практикой аргентинского танго. Является поедстовителем «Школы верлибра Карена Джангирова».

Игорь Лапинский – поэт, журналист, музыковед. Работал музыкальным редактором (радио, телевидение), литературным редактором на киностудии им. А. Довженко. Автор поэтических книг: «Огни Святого Эльма» (1992), «LUDI» (2000), «Утро бессонных крыш» (2002), «З невидимого космосу» (2005), «Избранное» (2009). Автор свыше 100 поэтических публикаций в литературных журналах, альманахах, антологиях. Среди них них: «Дружба народов», «Огонёк», «Знамя», антология «Освобождённый Улисс», «Антология русского верлибра» (Москва), «Звезда Востока» (Ташкент), «Черновик» (Нью-Йорк), «Часы», «Митин журнал», «Эксцентр-эксклибрис» (Санкт-Петербург), «COLLEGIUM», «Соты», «Граффити», «Самватас», антология «Каштановий дом» (Киев»), «Антология современной русской поэзии Украины» (Харьков»), «Многоточие» (Донецк) и др. Лауреат литературных премий: «Планета поэта» имени Леонида Вышеславского (Киев, 2007), Международной премии имени Арсения и Андрея Тарковских (Москва – Киев, 2010). Живёт в Киеве. Не состоит и не состоял в литературных союзах, ассоциациях и других объединениях.

Рафаэль Левчин (27 сентября 1946 – 7 августа 2013) – русский поэт, драматург, прозаик, переводчик, эссеист, художник, актёр. Жил в Киеве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. В 1991 году переехал в Чикаго. Участник многих неформальных творческих групп – в частности объединения метареалистов, а также групп «Чен-Дзю», «39,2°С», «Глоссолалия» и т. д. Участник различных международных проектов, в том числе «Агасфер» (Москва, 1991), «Театр слова» (Кёнигсберг, 1995), EyeRhymes (Эдмонтон, 1997), GeZelle (Брюгге, 1999). Публикации в журналах и альманахах «Многоточие», «Новый Круг», «Черновик», «Ойкумена», «Мы Пришли!», «Звезда Востока», «Соты», «Стетоскоп», «Комментарии», KTO ZDES', «Слово писателя». Вышли книги стихотворений в авторском оформлении «ВОДАогонь» (СПб., 1996), Ludus Danielis (М., 2003), сборник фантастической прозы «Окончательный текст и другие идиллии» (К., 2006); сборник стихов «Избранное» (К., 2006). С 2000 года – публикации в Интернете. Участник выставок (коллаж, графика, керамика, бук-арт). Работы в частных коллекциях в Москве, Киеве, Кёнигсберге, Кракове, Чикаго, Майами, Мехико. Издатель, главный редактор, главный художник многоязычного самиздат-журнала «Reflection... Куадусешщт».

Анатолий Лемыш родился в 1950 году в Киеве. Жил в Москве, сейчас живет в Киеве. Объездил весь СССР с командировками и концертами в 70-х и 80-х годах. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета (1972). Журналист в области культуры и СМИ. Песни пишет с осени 1967 года. Принимал участие в киевских КСП «Гитара» и «Костер» – с 1972 по конец 80-х годов. Автор книг стихов, изданных в Киеве: «Венок сонат Киеву» (1993); «Подольский переулок» (2001); «Музыка слова» (2006). Песни, написанные и исполняемые Лемышем, составили альбомы «Гамаюн» (1997) и «Ангел мой» (2002). Печатался в журнале «Радуга», в альманахах

«Сталкер», «Ренессанс», «Соты», «Юрьев день», побывал с гастролями в Чехословакии (1989) и Израиле (1996). Отмечен премией им. Л. Вышеславского, дипломом премии им. Юрия Долгорукого.

Мария Луценко родилась в 1978 году в Киеве. Окончила НаУКМА в 2004 году. Свободный киевский музыкант, поэт и фотограф. Получала дипломы и Гран-при различных конкурсов.

Оксана Луцишина – письменниця, поетка, дослідниця творчості Бруно Шульца і Вальтера Беньяміна, авторка трьох збірок поезії, збірки оповідань та двох романів. Лауреатка кількох літературних премій, зокрема, «Гранослова», «Привітання життя», премії Фундації Ковалевих. Народилася в Ужгороді у 1974 році, пізніше виїхала на навчання у Сполучені Штати, де захистила дисертацію з компаративістики. Як стипендітка Фулбрайта стажувалася в Польщі. Викладає українську мову і літературу в Техаському університеті.

Валерій Марченко – бард, поет. Народився 1961 року в місті Дубно. З 1979-го мешкає в Рівному. З 1988 року – керівник Рівненського клубу авторської пісні. Організатор 4-х фестивалів «Зустрічі друзів» у Рівному. Пісні на власні вірші українською мовою пише з 1989 року. Лауреат численних фестивалів авторської пісні. Вийшли 3 CD: «От февральской непогоды», «Надену белую рубаху», «Полинові сни долини» (на укр. мові). Збірка віршів «Надену белую рубаху», Київ, 2007 рік. Лауреат фестивалю-конкурсу козацької пісні «Встань, козацька славо! Засвіти знамена!», Нагороджений Орденом української авторської пісні. Як регент, псаломник, хорист постійно брав та бере участь у службах православних Свято-Георгіївського (м. Дубно), Свято-Успенського (м. Рівне), Борисо-Глібського (м. Рівне) храмів. Автор понад 200 віршів та пісень написаних російською та українською мовами.

Василь Махно народився у Чорткові 1964 року. Закінчив Тернопільський педагогічний інститут, викладав літературу в Тернопільському університеті, а згодом – у Ягеллонському (Краків). З 2000 року проживає у Нью-Йорку, працює у НТШ-Америка. Лауреат премій ім. С. Будного (1994), журналу «Кур'єр Кривбасу» (2008, 2009), Фонду Лесі та Петра Ковалевих (2009). Автор дев'яти поетичних збірок, двох книжок есеїстики, п'єс; його вірші, есеї та драми перекладено польською, німецькою, сербською, англійською, литовською, чеською, івритом, іспанською. Збірка оповідань «Дім у Бейтінґ Голлов» була визнана книгою року ВВС-2015.

Станислав Минаков – поэт, прозаик, эссеист, переводчик, публицист. Родился в 1959 году в Харькове. Член НСПУ, СПР, Международного фонда памяти Б. Чичибабина. Автор книг «Имярек» (1992), «Вервь» (1993), «Листобой» (1997) и мрогочисленных публикаций в Украине и за рубежом.

Лариса Наказна родилась и живет в провинциально-творческом оазисе – в городе Дружковка Донецкой области. Печаталась в литературном альманахе «Каштановый дом», в литературно-художественном альманахе «Многоцветье Имён», в городских изданиях. Была дипломантом и лауреатом всеукраинского конкурса молодежной поэзии памяти Леонида Киселева «Начальная пора» в номинации «Крылья Ганимеда».

Алексей Никитин – прозаик, член СПУ и украинского центра Международного ПЕН-Клуба. Лауреат литературной премии СПУ им. В. Короленко и «Русской премии – 2014». Живет и работает в Киеве.

Сергей Нуштаев – поэт, переводчик, драматург, актёр, программист, специалист в области электроники и вычислительной техники. Публиковался в журналах «Черновик» (Нью-Йорк), «Крещатик» (Германия), «Радуга», «Соты» (Киев). Живет в Киеве.

Поліна Овраменко брала участь у літературних фестивалях «Каштановий дім» 2012 року, «Одна маленькая свеча» 2013 року. Літературний псевдонім Ліка По. (Київ).

Вікторія Осташ народилася в Києві 1973 року. За фахом – літературний редактор, працює викладачем. Кандидат філологічних наук. Член НСПУ. Член літради Міжнародного клубу православних літераторів «Омілія». З 2003 року очолює Київську літстудію «Перехрестя». Автор поетичних книжок «САД-О.К.» (К., 2002), «ВІЗІІ» (Львів, 2006), «Слововежа» (Пілотне видання: К., 2011), романели «Пристрасті за генієм» (часопис «Київ», №9, 2004). Вірші й коротка проза надруковані в періодиці, зокрема – літературно-мистецьких альманахах та збірниках «Гранослов» (Київ), «Привітання життя» (Львів), «Крила» (Київ, 1999, 2002), «Потойбіч паузи» (Київ, 2005), «Склянка часу» (Канів, 2007) та ін. Окремі поезії перекладено болгарською та французькою.

Лила Перегуда – киевский творческий персонаж, поэт-музыкант. Основатель перформанс-проекта «Запрот Вокрыс», где воплощает в жизнь свою теорию квантовой поэзии. В свободное время служит звонарем во Владимирском соборе Киева.

Андрей Поляков – русский поэт, прозаик, филолог. Окончил филологический факультет Симферопольского государственного университета. Лауреат Малой премии «Москва-транзит» (2003), Международной литературной Волошинской премии (2008), Премии Андрея Белого (2011), «Русской премии» (2014). Стихи переводились на французский, английский, немецкий, итальянский, болгарский и украинский языки. Живёт и работает в Симферополе.

Юрий Проскуряков – поэт, прозаик, драматург, художник, филолог. Родился в 1946 году в Ворошиловграде. В разное время участвовал в журналах «Черновик» (Нью-Йорк), «Соты» (Киев), «Другие», «Футурум-Арт», «Дети Ра» (Москва), «Крещатик» (Кёльн), «Reflection... Куадусешщт» (Чикаго). Основатель магестетики – новой концепции человеческой деятельности, являющейся областью на границе жанров искусства, психотерапии, поведенческих новаций и динамического проектирования

Владимир Пучков – поэт, писатель, журналист. Главный редактор газеты «Вечерний Николаев». Заслуженный журналист Украины, член Национального союза журналистов и Союза писателей Украины, лауреат литературной премии имени Н. Ушакова, председатель благотворительного фонда «Николаев-2000».

Вячеслав Рассыпаев – киевский поет. Автор многочисленных публикаций в журналах.

Анна Ревякина – поэт, автор книг «Сердце», «UNTITLED», «Хроники Города До. Безвременье», «Зубная фея», «Dominus», основатель литературной студии «Кофе-кошка-Мандельштам», победитель литературного фестиваля «Сила ветра», лауреат международного литературного конкурса им. Н. В. Хаткиной «Cambala», обладатель премии «Творческая молодёжь Донбасса – 2012» в номинации «Поэт года», победитель Международного литературного фестиваля «Шорох»-2014. Родилась и живёт в Донецке. Кандидат экономических наук.

Борис Руденко народився 1953 року на Сумщині. Поет, прозаїк, автор близько двадцати книг прози та поезії, низки есеїв та критичних розвідок на царині живопису, скульптури та музики. Лауреат двох престижних літературних премій: імені Володимира Свідзинського та «Планета поета» імені Леоніда Вишеславського за поетичну книгу «Оселі».

Александр Самарцев родился в Москве. Окончил Авиационный институт и два курса заочной режиссуры Щукинского училища. Автор книг стихов «Ночная радуга» (Московский рабочий, 1991), «На произвол святынь» (Петрополь, 1996), «Часть встречи» и «Конца и края» (Русский Гулливер, 2011 и 2014). Дипломант фестиваля «Киевские Лавры» (2015).

Печатался в журналах «Юность», «Новый мир», «Золотой Векъ», «Дети Ра» и других. Живет в Киеве.

Ольга Самолевская – кинорежиссер и поэт. Родилась в 1957 году в Киеве. Лауреат ряда международных и отечественных кинофестивалей, премии «КИЕВ», Всеукраинского конкурса «Коронация слова», Международной премии имени Арсения и Андрея Тарковских.

Элина Свенцицкая – поэт, писатель, лауреат литературных премий, ученый, доктор филологических наук, профессор.

Роман Скиба народився 1970 року у Львові. За освітою філолог. Член НСПУ. Видання поезій: «Мене назвуть листопадом» (1992); «Листопадом назвуть мене» та «Осінь на місяці, або Усміх дракона» (1993); «Тінь сови» (1994); «Хвороба росту» (1998); «Одіссея-2000» (2002 та 2005); «П'ятизнак, або Життя і нежить» (2008); «Телефонний Будда» (зібране у двох томах, 2015). Роман також є автором книжок для дітей. Нагороджений преміями «Міжнародного конкурсу «Гранослов»» (1991), конкурсу видавництва «Смолоскип» (1997), журналу для дітей «Соняшник» – «Найбільшій дитині 1998 року», «Благовіст» (1999), журналу «Кур'єр Кривбасу» (2000), арт-клубу «ОстаNNя барикада» та Чільної Української Молодіжної Мистецької Агенції «ЧУММА» – «Поету в Законі» (2002), фестивалю-конкурсу «Просто так» (2008), журналу для дітей «Ангелятко» – «Золота пір'їнка» (2011), конкурсу «Коронація слова», фестивалю-конкурсу «Ватерлінія» (2013).

Сергей Соловьев – поэт, писатель, художник, путешественник. Один из ярких представителей метареализма. Автор 15 книг прозы, поэзии и эссеистики, среди которых «Пир», «Книга», «Аморт», «Крымский диван», «Индийская защита», «В стороне» и др. Лауреат Премии Ивана Бунина и премии «Планета поэта». Член русского Пен-центра. В середине восьмидесятых создал авангардный театр «Нольдистанция». В середине девяностых – периодическое литературно-художественное изделие «Ковчег». К 2000 году – архитектурный проект метаигрового города-лабиринта. В середине 2000-х – автор проекта и руководитель клуба свободной мысли «Речевые ландшафты» и гл. редактор альманаха современной литературы «Фигуры речи». Живет в Крыму, Германии и Индии.

Олена Степаненко (Прилуцька) – поетка, автор трьох збірок («Передчуття Авалону», видавництво «Смолоскип» (1999), «Коротка меса на друге пришестя Данте» – «Гранослов» (2002), «Третя Атлантида» – «Зона Овідія» (2005) та текстів на музику композитора Ірини Алексійчук. Лауреат двох міжнародних літературних конкурсів. У різні роки була членом журі літературних конкурсів «Молоде вино» та «Гранослов».

Анна Стреминская – поэт, член Южнорусского союза писателей (Одесская областная организация Конгресса литераторов Украины), научный сотрудник Одесского литературного музея. Победительница общегородского поэтического конкурса «Серебряные трубы», лауреат Второго Международного фестиваля литературы и культуры «Славянские Традиции». Автор множества поэтических и искусствоведческих публикаций в одесской, московской, зарубежной периодике, в том числе в альманахе «Дерибасовская – Ришельевская», в российском журнале «Меценат и мир», в московской газете «Литературная ярмарка». Один из авторов коллективного сборника «Вольный город» (1991) и одесской антологии поэзии «Кайнозойские Сумерки» (2008). Автор сборника стихов «На Древнем Языке...» (2000).

Майя Студзинская – прозаик. Публикации: «Дикое поле»; «Яръ»; «Радуга»; «Книжковий огляд»; «Соты»; альманах «Каштановый дом»; «Нова проза». В 2009 году попала в шортлист конкурса «Перекрёсток» (Германия) с рассказом «Цивилизованные», за что и получила диплом. В 2010 году заняла первое место на турнире прозаиков, который проводит студия «Писатель в интернет-пространстве».

Дмитро Стус – український письменник, літературознавець, редактор. Кандидат філологічних наук. Член Асоціації українських письменників. Голова Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України». Генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2007) за книгу «Василь Стус: життя як творчість».

Римма Табунщикова родилась в 1984 году в Северодонецке. Неоднократно принимала участие во многих фестивалях. Автор сборников стихов «Сила двух сердец» (2006) и «Бумажный самолётик» (2012). В 2011 – 2013 годах была руководителем северодонецкого литературного объединения «Обрій».

Ася Фруман родилась в 1987 году. Переводит с английского, идиша, польского (Майкл Векс. Жизнь как квеч. М.: Текст; Книжники, 2012. (Серия «Чейсовская коллекция».), Шолом-Алейхем. Менахем-Мендл. Новые письма. М: Текст, Книжники, 2013 (участник коллективного перевода). Автор сборника стихов «Homo abiens». Живет в Харькове.

Александр Чернов родился в Петропавловске-Камчатском. Лауреат премии имени поэта Николая Ушакова, дипломант Международного Волошинского конкурса, Международного Тютчевского конкурса и победитель Международного Лермонтовского конкурса. Обладатель золотой медали за победу в супертурнире поэтов русского зарубежья, который проходил в Кембридже. Член Национального Союза писателей Украины, Союза российских писателей и Международного ПЕН-клуба. Стихи Александра Чернова переводились на французский, немецкий, украинский, сербский и английский языки. Живёт в Севастополе.

Александра Шалина – родилась в городе Керчи, в 16 лет переехала в Киев. Лауреат конкурса им. Л. Киселева в номинации «Крылья Ганимеда». Публикации: Альманах «Каштановый дом» (2011, 2014), альманах «Многоцветье имен» (2012), интернет журнал «Станция мир» (2013).

Сергей Шаталов (1958, Донецк) – редактор литературно-художественного альманаха «Четыре сантиметра Луны». Режиссер «Театра земной астрономии» и цикла историко-документальных фильмов «Донбасс – бесконечная история». Автор трех поэтических сборников, двух книг прозы. Публиковался в различных журналах и альманахах Украины, ближнего и дальнего зарубежья. Шорт-лист «Русской премии» (2012 год). Живет в Донецке.

Елена Шелкова родилась в Киеве в 1986 году. Лауреат премии им. К. Квитницкой, автор книги «Чайники».

Александр Шишкин (родился 31 марта 1955, Москва) – российский поэт, издатель, основатель издательства «Арт Хаус медиа».

Анна Щербакова родилась в Варшаве. Училась в Украине, по образованию музыкант (закончила ОГМА им. Неждановой). Автор книг «Прогулка по лабиринту снов» (2009), «Калейдоскоп» (2014), «Память солнечного ветра» (2014). Живет и работает в Киеве.

Любов Якимчук – українська поетка, сценаристка і журналістка. Народилася в Первомайську на Луганщині. Авторка поетичних книжок «, як МОДА» та «Абрикоси Донбасу». Лауреатка Міжнародної «Поетичної слов'янської премії», премії видавництва «Смолоскип» та ін. З 2009 року виступає в музично-поетичному дуеті із фріджазовим контрабасистом Марком Токарем. Вірші та проза Любові перекладені понад десятьма мовами світу. Мешкає в Києві.

Эмиль Январев (1931, Николаев – 2005, Николаев) – поэт, публицист. В 1953-м окончил Литературный институт им. Горького (семинар Я. Смелякова). Регулярно публиковался с 1955 года. Первая книга стихов «Переправа» вышла в 1967 году в издательстве «Советский писатель». За ней последовали «Настоящее время» (1971), «Действующие

лица» (1972) и др. поэтические сборники. За книгу стихов «Документ» удостоен премии имени Н. Ушакова (1999). Почетный гражданин города Николаева. Вел большую культурно-просветительскую работу на телевидении, в местной печати.

Ганна Яновська мешкає в Харкові, де народилася 1980 року. За освітою лінгвіст. Викладає англійську мову в НТУ «Харківський політехнічний інститут». Авторка збірки віршів і перекладів «Волохата книга» (2008), «Поеми першого січня» (2011), обидві книжки з авторськими ілюстраціями. Перекладає англомовних авторів із різних куточків світу – зокрема африканських, австралійських, новозеландських. У її перекладах вийшли книжки новозеландських поетів Селіни Тусітали Марш «Тусітала», Альберта Вендта «Від Гаваїв до Аотеароа» (обидві у 2012), Карло Міли «Риба-мрія пливе» (2013). Робить витинанки на власні сюжети.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ДМИТРИЯ БУРАГО

ИЗДАНИЯ, ВЫШЕДШИЕ В 2014-2015 ГОДАХ

Бондаренко І.П., Комарницька Т.К. Актуальні напрями і проблеми сучасної лінгвістики. Навчальний посібник.

Букрієнко А.О., Комісаров К.Ю. Теорія і практика перекладу. Японська мова: навчальний підручник. – Т. 1.

Федотова Ю.С. Японське письмо: історія та сучасність.

Науковий семінар: Веселе віршознавство. Збірник статей, експромтів, віршознавчих переспівів та віршів про вірш / за ред. Н. В. Костенко; упор. О. Г. Бросаліна, В. С. Афанасьєва.

Іванов Р.М. Келб-Алі-хан Нахчиванський. Його епоха та спадщина (історичні нариси).

Человек и его мир в зеркале языка: к 75-летнему юбилею проф. В.А. Виноградова: коллективная монография / Отв. соред. В.В. Колесов, М.В. Пименова, В.И. Теркулов. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 4).

Богуславська Валерія. Вербна неділя: вірші, переклади, гумор.

Заславская З. Незабываемое прошлое (Несколько страниц воспоминаний о Великой Отечественной войне глазами белорусской школьницы).

Современная лингвистика и исследования ментальности в XXI веке: коллективная монография: к 80-летнему юбилею профессора В.В. Колесова; отв. соред. М.В. Пименова, В.И. Теркулов. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 5).

Даценко І. Б. Історія формування прислівників місця української мови: монографія.

Узник времени. Воспоминания Виктора Вышеславского.

Мірза-Фаталі Ахундов. Вибрані твори.

Лучканин С. М. Латинська юридична термінологія і фразеологія: навчальний посібник.

Послание с пути. Переводы Виктора Полещука из персидской поэзии XX века. Ахмад Шамлу, Надер Надерпур, Сохраб Сепехри, Форуг Фаррохзад / пер. с иран. В. Полещука.

Фризман Л. Г., Грачева И. В. Многообразие и своеобразие Юлия Кима.

Ковтун Д. Отечественные гражданские самолеты (1912–2012).

Лавриненко С. Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фольклорному тексті (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського фольклору).

Богуславська Валерія. Самовбранка: вибрані вірші.

Merezhko O. The Problem of Nagorno-Karabakh and International Law.

Гасымлы М. Дж., Купчик О.Р., Дамиров А.У. Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность.

Горский В.С. Я прожил счастливую жизнь (Цикл интервью Т.А. Чайки).

Гусева О. О. Жанр очерка в современной журналистике и литературе: Учебное пособие.

Седакова Ольга. Завжди є крок: Вірші у перекладах з російської В. Богуславської

Рева-Лєвшакова Л. В. Неореалістична українська і російська проза першої третини XX століття.

Костенко Н. В. Вірш і поезія: Збірник наукових, літературно-критичних і публіцистичних статей.

Бондаренко І.П. Неприкаяні душі: Антологія поезії японських мандрівних поетів – дзен-буддистів (XII-XX ст.).

Клименко Н.Ф. Вибрані праці/ Упорядник Є.А. Карпіловська, О.Д. Пономарів, А.О. Савенко.

СИМТЕЗА: Майданизация Бога. — Альманах / Под ред. А. Беличенко.

Вернадских В. Многомерный мир.

Місяць Лесь. Пришли мені з Парижу три зорі: Поезії проза.

Зайцев А. Г. Избранные произведения.

Андрей Беличенко, Дмитро Макаренко, Тит Макашев. Колеровер. Три философских этюда о Цвете. – том 1.

Тарарак А.В. Интерпретация наполеоновского мифа в русской литературе XIX – начала XX вв.: монография.

Погодин И.А. Диалогово-феноменологическая психотерапия: ресурсы первичного опыта: В 5 томах. – Т.4 (13): О природе и психотерапии «безумия» : Сборник статей.

Басова Г.Д., Голосова Т.М., Лазебник Ю.С., Озерова Н.Г., Синица И.А., Стоян Л.М., Тупицкая А.Н. Сопоставительная стилистика русского и украинского языков: монография.

Корінько М.Д., Столяренко О.М. Організація управлінського обліку : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ за ред. д.е.н. М.Д. Корінька.

Штейнбук Ф. Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі.

Пашаєв М.Д. Який обрати шлях?: [роман, розповіді, ліричні мініатюри].

Рафік Манафоглу Новрузов, Ікрам Зіядоглу Гасимов Азербайджанська мова: навчальний посібник.

Український казковий епос японською мовою: Навчальний посібник.

Шевченко Анатолий. Музыка Эллады.

Отин Е.С. Частотный словарь «Жития» протопопа Аввакума.

Малишевская Е. Хроника среды (стихотворения).

Юферева Е.В. Динамика периферийных жанров в русской поэзии второй половины XIX века.

Мегтієв Раміз. Нагірний Карабах: історія, прочитана за джерелами.

Богуславська Валерія. Лівий берег (вірші, переклади, різне).

Страшенко Ольга «Театральна афіша» (30 нових п'єс).

Галицький А. Перформанс (роман).

Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. Японська література. Курс лекцій. Частина перша: давній і класичний періоди.

Бураго Е.Г. Reading and discussing the novel «1984» by g. Orwell : пособие по домашнему чтению на английском языке – Часть 1.

Педан Ю.Л. Брифинг в подворотне.

Теорія і практика перекладу. Японська мова. Том 2: Навчальний посібник.

Михайленко Н.П. Гитара в концертном зале. Транскрипции и обработки. Выпуск 4.

Астапенко Ігор Щільник. Вірші.

Віршознавчий семінар. Ігор Васильович Качуровський (1918-2013). Inmemoriam: збірник наукових праць та спогадів.

Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець XX — XXI ст.).

Ватрослав Ягич і проблеми слов'янознавства: Збірник наукових праць.

Сунь Цзявень Проблемы перевода и теоретического осмысления творчества А. С. Пушкина в Китае: монография.

Найдус, Лейб. Співати – як жити: вибрані вірші. Переклад з їдишу Валерії Богуславської; післямова: Шмуель Рожанськи; Абрам Зак, Шмуель Нігер.

Бураго Д. С. Снеговик (Книга стихов).

Кутуза Н. В. Рекламний та PR-дискурс: аспекти впливу (збірник статей).

Соботович Є. Ф. Вибрані праці з логопедії.

Микола Луговик-Сениця. Мої дівчатка грають на сексофоні. Дао Любови від Леля (Книга еротичної поезії).

Кордони без місць — місця без кордонів / упор. Г.Р. Бріттнахер, Є. Волощук, О. Чертенко. (Понад кордонами: Студії німецькомовної літератури; вип. 2).

Пахарева Т.А. Русская литература рубежа XIX-XX веков. Курс лекций: Учебное пособие для студентов-филологов.

Абрамович С. Д. Fecit. Поэт. Прозаик. Художник.

Дель Ґаудіо Сальваторе Міні-словник італізмів у сучасній українській мові.

Анатолий Дробин. Тупик Рылеева.

Мінотавр у лабіринті: творчість Фрідріха Дюрренматта між традицією та субверсією / упор. У. Вебер, Є. Волощук, О. Чертенко (Понад кордонами: Студії німецькомовної літератури; вип. 5).

Бураго С. Б. Набег язычества на рубеже веков. (Собрание сочинений в одном томе).

Мирошникова Н. А. Занимательный литературоведческий словарь.

Пермінова А. В. Перекладацька рецепція сучасної американської поезії (монографія).

Имя собственное в жизни и литературе: Материалы IX Международных Святогорских ономастических и IX Международных Михайловских литературно-ономастических чтений // Редколлегия: В.М. Калинкин (отв. Ред.) и др.

Верлока В. Так сказать (Стихи, переводы, проза, афоризмы).

Сходинки до перекладу: Хрестоматійне видання з перекладознавства: StepstoTranslation: Translation Studies Reader / Укладач Т.П. Андрієнко.

Абрамович Семен. Антіохійський триптих. Роман.

Сквозь литературу. Сборник статей к 80-летию Леонида Генриховича Фризмана.

Смущинська І.В. Французька лексикологія. Монографія.

Мазепова О.В. Внутрішній світ людини у перському лінгвоментальному просторі. Монографія.

Собчук В.М. Слідом Троянського коня. Збірка вибраних творів.

Приходько В.И. Отражение (стихи).

Цубоучі Шьойо. Сутність художньої прози. Переклад з японської, передмова і коментар Осадчої Ю. В.

Дубенко О.Ю. Порівняльна поетика: типологічний та перекладознавчий аспекти. Монографія.

Аинова Татьяна. Тайные тропы (Стихи).

Давид Гай. Исчезновение (Роман).

Ільницька Любов. Абетка мудрості. Словник акровіршів.

Гусєв В.А., Валуєва Н.М., Клюйко Г.С. Ретродетектив як жанр мідл-літератури. Монографія / За редакцією Віктора Гусєва.

Основи екранного читання та особливості сприйняття та використання студентами інтернет-контенту : навчальний посібник / В. А. Гусєв (наук. ред.), А. В. Гусєв, Н. Б. Зозуля, Є. Г. Іванцов, Г. С. Клюйко, О. В. Лавриненко, В. І. Ліпіна, І. В. Пасько.

Методика формування мовленнєвих компетентностей: теорія та практика (на матеріалі східних мов). Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Асадчих О.В., Смовженко Л.Г.

Реквием филологический. Памяти Е.С. Отина. Сборник научных трудов.

Букрієнко А.О., Комісаров К.Ю. Стилістика японської мови. Монографія.

Софія Грица Мелос української народної епіки. Монографія.

Переодические издания

Культура слова. Збірник наукових праць Інституту української мови Національної академії наук України : Вип. 80, 81, 82.

Літературознавчі студії. Збірник наукових праць Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Вип. 43, 45, 49, 50, 51, 54.

Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Вип. 49, 50, 51, 54.

Наукові записки. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство: Вип. 77, 78, 79, 80, 81,

Лексикографічний бюлетень. Збірник наукових праць Інституту української мови Національної академії наук України : Вип. 23, 24, 25, 26.

МОВА І КУЛЬТУРА. (Міжнародний науковий журнал). : Вип. 17. – Т. I (169), Т. II (170), Т. III (171), Т. IV (172), Т. V (173), Т. VI (174), Т. VII (175); 18. Т. I (176).

Книги **Издательского дома Дмитрия Бураго** можно приобрести в **Киевском доме книги** (ул. Льва Толстого, 11/61) или заказать на сайте **www.burago.com.ua**

По вопросам издания книг обращаться по тел.: **+38 (044) 227 38 86**, e-mail: **burago@list.ru**